THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3328
.A5
D5

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/pismafmdostoevsk00dost

ЦЕНТРАРХИВ

PG 3328
.A5
D5

Pisma
F. M. Dostoevskogo

ПИСЬМА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

К ЖЕНЕ

ПРЕДИСЛОВИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВА

ОБЩАЯ РЕДАКЦИЯ
В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1926 — ЛЕНИНГРАД

VI—15—V—23.

Гиз 4932. ГЛАВЛИТ—Москва. № 13232. 3.000 экз.

Трудовой Рабочий Кооператив „Печатный Техник“, Большая Якиманка, д. 32.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

1.

В личном архиве Ф. М. Достоевского, поступившем в Центрархив в ноябре 1921 года, кроме тетрадей с материалами к его романам, обнаружены одиннадцать пакетов с автографами писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне за время с 1866 года по 1880 год. Письма обвеяны „семейным настроением“ и порой глубоко интимны. Писанные в момент событий, под наплывом неостывших чувств и переживаний, они хранят следы волнений души писателя. В них нет того изящества и мастерства, каким можно восторгаться при чтении писем Тургенева. Достоевский, разрушавший обычные канонические формы романа, был своеобычен и в письмах... Длинноты, мелочи, своеобразный пафос, мешающий порой сжатому изложению, спокойному, уравновешенному тону обсуждения, и полное пренебрежение к стилю—вот характерные черты эпистолярного творчества Достоевского. Насыщенные динамикой духа, письма длительны, тяжеловаты, но потрясающе искренни и красноречивы. Изумительна откровенность Ф. М., удивляет и страстная стремительность его высказываний, желание ввести собеседника во все мелочи далекой для него жизни, но глубоко захватившей в тот момент Достоевского, как зрителя и участника. Письма его к Анне Григорьевне в 80 г.г., после более чем десятилетней совместной жизни, не отличаются по тону и манере откровенно говорить о том, что есть на душе, от писем 60-х г.г.—писем его к Анне Григорьевне, только что нареченной невесте. Правда, уж к этому времени Достоевский, как он обмолвился в письме, пережил второй фазис отношений к ней. Что же разуметь под этими фазами? Какие моменты можно приурочить к ним?

Без сомнения, первый момент—первая встреча, момент знакомства Федора Михайловича Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной. Это было 4 октября 1866 г., когда Анна Григорьевна Сниткина, по предложению своего учителя стенографии Ольхина, направилась к „странному“ характером Достоевскому, жившему на углу Столярного и Малой Мещанской, в доме Алонкина, и была у него в $11^1/_2$ час. дня.

Порешив с вопросом об условиях работы, Анна Григорьевна согласилась с утра следующего дня начать ее, и вечером того же дня получила от Федора Михайловича первую стенограмму его романа „Игрок“... Так, с первого же дня взаимообщение Анны Григорьевны, будущей спутницы Достоевского, просто и без замедления вошло в деловую, потом, позднее, порой тревожную, порой спокойную, но преимущественно занятую колею. Иначе пережил первый день совмест-

ной работы Федор Михайлович. Время с вечера 4 октября до утра следующего дня прошло для него под знаком тревоги и беспокойства. Договорившись с стенографисткой, Анной Григорьевной, Ф. М. приступил к диктовке; но, записывая адрес, при вручении рукописи, Федор Михайлович не узнал фамилии Анны Григорьевны и только после ее ухода заметил свою оплошность и от излишней в данном случае подозрительности пережил волнение и страх при мысли о возможной утрате рукописи. Адрес Анны Григорьевны Ф. М. записал на обороте переплета записной тетради (значащейся теперь под № 3—нумерация Анны Григорьевны), куда вписал летом того года материалы для романа „Преступление и Наказание". Запись эта сохранилась и гласит: „Анна Григорьевна, на Песках, у Первого Военного Сухопутного Госпиталя, в Костромской улице, в собственном доме" *.

По поводу этой записи Анна Григорьевна обратилась к своим детям со словами, записанными на отдельном листке, вложенном в ту же тетрадь: „Обращаю внимание моих детей: на обложке переплета записан рукою Федора Михайловича мой адрес. Запись эта была сделана в первый день нашей общей работы, при чем Федор Михайлович забыл записать мою фамилию и очень сокрушался весь этот день, не зная, как меня найти (т.-е. как вернуть продиктованную частицу романа), на случай, если б я отдумала работать и к нему не пришла в назначенный день".

Работа продолжалась; одновременно с этим родилось и крепло интимное чувство. Наступил второй момент—8 ноября, когда, по воспоминаниям Анны Григорьевны, Федор Михайлович сделал ей предложение... А через $1^1/_2$ месяца Ф. М. сам уже говорит о новом, третьем,—еще более вводящем нас в интимную жизнь этих людей,—моменте. Получив от Каткова вперед за роман тысячу рублей, Ф. М. писал своей невесте из Москвы 2 января 1867 года: „Наша судьба решилась, деньги есть, и мы обвенчаемся как можно скорее... И тогда наступит третий период нашей жизни".

Вот внешние пункты пережитого Федором Михайловичем и Анной Григорьевной в последние месяцы 1866 г.

Вся дальнейшая жизнь, до смерти Ф. М., отражена в значительной степени в публикуемых письмах, которые, для удобства обозрения, лучше всего поделить на три неравные группы: в первую группу отнесем все письма заграничного периода, ко второй—письма последнего десятилетия жизни и в третью—письма о Пушкинских днях в Москве (май—июнь 1880 г.), составляющие часть переписки последнего периода, но самостоятельную и обособленную по содержанию.

Анна Григорьевна, выражая свою волю относительно напечатания этих писем, определила и их значение: „Письма Федора Михайловича ко мне, как представляющие собою чрезвычайный литературный и общественный интерес, могут быть напечатаны после моей смерти в каком-либо журнале или отдельною книгою... Желательно, чтобы письма были напечатаны в хронологическом порядке, все цели-

---

* Ниже этой пометы еще два адреса: 1) „Долгомостьев, по Невскому Проспекту, против Знамения, дом Кохендерфера, 77, кварт. № 22" и 2) „Аксаков, Hôtel de France, № 63. На среднем дворе с Большой Миллионной". Все эти три записи современны: писаны карандашем. Аксаков Иван Сергеевич в то время был в Петербурге. Прим. *Н. Б.*

ком. Если нельзя напечатать целиком, то можно бы было напечатать лишь письма, относящиеся к Пушкинскому празднику". (Записная тетрадь самой Анны Григорьевны № 5, с надписью: „Объяснения домашних дел и указания, сделанные А. Г. Достоевской, на случай ее смерти или тяжелой болезни, в марте 1902 года и в последующие годы". На переплете надпись: „En cas de ma mort ou d'une maladie grave". См. стр. 23—24 в отделе: „Письма покойного Федора Михайловича ко мне, за время 1867—1880 г. г.").

Но помимо историко-литературного и общественного характера, письма имеют биографическую значимость там, где на-лицо высказывания писателя о себе и своих близких. Надо отметить, что в письмах внутренний рост художника Достоевского не получил полного отражения; письма больше рисуют его как семьянина, богато освещают его внутренний мир как отца и мужа. И лишь письма о Пушкинских торжествах должны быть выделены, как страницы исключительно ценных признаний великого писателя о событиях тех дней.

Автобиографические черты особенно ярки в письмах первого периода. Опуская детали и мелочи повседневной жизни, отметим наиболее существенное,—это овладевшую Ф. М. страсть к рулетке. Настроение Ф. М. в месяцы увлечения азартной игрой резко колеблется: приподнятый, уверенный в выигрыше тон сменяется при проигрыше (а такие случаи не раз были) печальным, подавленным чувством сожаления и огорчения от того сознания, что на эту страсть пошли буквально последние средства. Федор Михайлович, в порыве охватывавшей его страсти, пускался на последние меры в целях отыграться и, как видно из писем, спускал буквально все, что имел с собой...

Страсть была болезненная, изживалась Ф. М. тяжело, и поистине трогательно его признание в том, что, в конце концов, он преодолел эту страсть... С религиозной точки зрения взглянул на свою привязанность Ф. М., и в письме 4 апреля 1868 года заявил: „Да, мой друг, я верю, что, может быть, бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это (проигрыш всего.—Прим. *Н. Б.*) для меня беспутного и низкого, мелкого игрочишки, вразумив меня и спасая меня от игры, а стало быть—и тебя, и Соню, нас всех, на все наше будущее!.. Эта мысль мерещилась мне еще до отъезда моего сюда; но она только мерещилась, и я бы ни за что ее не исполнил, если б не этот т о л ч о к, если б не эта беспутная потеря последних крох наших..." Конечно, потеря „последних крох" отрезвила Достоевского.

Об игре Федора Михайловича в рулетку в эти годы знали и раньше. Из письма его к А. Н. Майкову 16/28 августа 1867 г. точно был известен факт его проигрыша в Бадене. Письма к жене свидетельствуют, что эта страсть была длительной и не раз увлекала Ф. М. на опасный путь, так как почва для нее в эти тяжелые в материальном смысле (как это видно из воспоминаний Анны Григорьевны и писем самого Федора Михайловича) была благоприятной. Без сомнения, надежда поправить безденежье, материальный расчет гораздо больше играл роль в поездках Ф. М. в Saxon les Bains, чем психологическая предрасположенность, душевная страсть. Для решения этого вопроса, небезразличного для изучения психологии писателя, письма дают верный источник и богатый материал. Письма дают исследователю творчества Достоевского возможность определить (ретроспективным способом),

какие переживания, связанные со страстью к рулетке, были знакомы душе творца романа „Игрок“ и нашли отражения в созданных образах—героях этого романа.

Письма второго периода,—с момента возвращения на родину до 1880 года,—интересны, поскольку в них главным образом сказался Федор Михайлович как внимательный, чуткий и любовно относившийся к детям отец и семьянин. В письмах есть упоминания о ряде лиц—современниках, с которыми встречался и работал Федор Михайлович, особенно как редактор журнала „Гражданин“, но это все штрихи, правда, не безразличные, но краткие.

Нам теперь хотелось бы читать в письмах подробные, мотивированные оценки Достоевским лиц и событий, но он иногда скользит только по их поверхности, намеками объясняя суть дела посвященной во все Анне Григорьевне. И все-таки перед нами пройдут крупные современники Достоевского: Победоносцев, Вл. Соловьев, А. Майков, Н. Н. Страхов и даже сама Анна Григорьевна в откровенных оценках Достоевского.

Вместе с тем облик самого Ф. М. здесь раскрывается неожиданно новыми, подчас наименее известными и наиболее человеческими сторонами. Скупо, но все же автор „Подростка“ поделился ценными признаниями о ходе своей работы над планом этого романа в Эмсе летом 1874 г. Обрисовывается в сообщениях Ф. М. запутанное, длившееся годами дело о наследстве, доставшемся всем Достоевским, после тетки Куманиной. Из писем видно, что Ф. М. принимал горячее участие в этом процессе *.

2.

Письма Федора Михайловича о Пушкинских торжествах 1880 г. в Москве, когда он, как представитель Славянского благотворительного общества, произнес 8 июня свою знаменитую Речь, обнимают собой время с 23 мая по 8 июня того года.

Значение этих писем, как представляющих чрезвычайный литературный и общественный интерес, определено Анной Григорьевной безусловно верно. В письмах Ф. М. ярко отражена картина тех дней, когда люди разных мировоззрений сошлись около памятника Пушкина, чтобы продумать до конца, что такое Пушкин, и высказать свое искреннее, убежденное слово.

Ф. М. в письмах раскрывает картину борьбы двух непримиримых направлений общественной мысли того времени и отмечает свое участие в этой борьбе и значение своего голоса.

Живая и нетерпеливая односторонность современников сказалась и в письмах Ф. М. Он пишет 28—29 мая Анне Григорьевне: „Остаться здесь я должен и решил, что остаюсь... Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни любители Р. Словесности, а вся наша партия,

---

* О наследстве после Куманиной, о ссоре Достоевских из-за этого и об участии Ф. М. в этом процессе см. дополнительно в воспоминаниях Люб. Фед. Достоевской „Достоевский в изображении его дочери“. Перевод с немецк. Л. Я. Круковской, под ред. и с предисловием А. А. Горнфельда. М. П., 1923, стр. 94 — 98; также см. недавно опубликованные письма Ф. М. к А. Н. Майкову в сб. „Ф. М. Достоевский“. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. П. 1922, стр. 430 и сл.

вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина, как выразителя русской народности, отрицая самую народность". А дальше о себе, о том, почему он значителен, как представитель: „Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Сергеевич Аксаков,—Юрьев и проч. (не имеют веса), но Иван Аксаков и устарел и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуются. Мой голос будет иметь вес, а стало-быть и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Когда Катков сказал: „Вам нельзя уезжать, Вы не можете уехать"—человек вообще не славянофил,—то уж, конечно, мне нельзя уехать".

Об умалении значения Пушкина, конечно, никто и не думал. Это ложная предубежденность, плод партийного пристрастия Ф. М., верившего, что подлинная правда только в устах и сознании человека своей группы. Еще не видя ни Тургенева, ни других инакомыслящих, Ф. М. уже жил этой мыслью. Предугадывая это расхождение взглядов, Ф. М. перед поездкой в Москву писал К. П. Победоносцеву 19 мая так: „Должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина. И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду и даже, может быть, прямо на неприятность. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там, в Москве, свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов... *

В письме 5 июня к Анне Григорьевне Ф. М. отмечает раскол партий, как факт, угрожающий, по его мнению, раздором: „Подходил ко мне Островский—здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград а мы то либералы. И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся".

На фоне изображаемой Ф. М. борьбы этих общественных групп и идейных направлений проступает заинтересованность самолюбивого Достоевского в своем успехе. В письме 27—28 мая он пишет: „Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало-быть, в России) буду впредь более известен как писатель, т.-е. в смысле уже завоеванного Тургеневым и Толстым величия" **.

---

* Иначе смотрел на вещи, напр., И. С. Аксаков, если только нельзя заподозревать искренность тона его письма к жене, А. Г., урожденной Тютчевой: „Ты с трудом поверишь,—писал он 14 июня 1880 г.,—что собственно я несравненно сильнее интересуюсь общим значением этих пережитых дней, чем тою ролью, которая выпала мне лично на долю..." („Р. Архив" 1891 г., кн. 2-я, стр. 90).

** П. Бартенев сохранил такой любопытный штрих в воспоминаниях: хотя содержание речи Ф. М. никому не было известно до ее произнесения, однако, в одном из заседаний приготовительной комиссии едва было не постановили не допускать Д. к чтению чего-либо на Пушкинском празднике. Некоторые члены комиссии настаивали на таком недопущении, потому что Д. якобы нанес Тургеневу обиду, спросив его прямо и во всеуслышание, на одном из Петербургских общественных обедов, чего именно хочет он от нашего студентов, и тем приведя знаменитого друга молодежи в неловкое положение и смущение. На этот раз большинство членов комиссии не допустило такого остракизма; но прения были горячие. („Р. Архив" 1891 г., кн. 2, стр. 97, примечание).

Речь Ф. М. имела необычайный успех. Ей одинаково рукоплескали в тот день как Аксаков, считаемый главою славянофилов, так и глава западников—Тургенев.

Я. П. Полонский на другой же день после речи послал такое письмо в стихах* Ф. М., где выразил свое впечатление от его вдохновенной речи:

„Федору Михайловичу

Достоевскому.

Смятенный, я тебе внимал,
И плакал мой восторг и весь я трепетал.
Когда ты праздник наш венчал
Своею речью величавой,
И нам сиял народной славой
Тобою вызванный из мрака идеал.
Когда ты ключ любви христовой превращал
В ключ вдохновляющей свободы,—
. . . . . .

Я. Полонский.

1880 8 июня.
Москва.

Написал что написалось—пришли и помешали досказаться.—

Я. П.“

Иван Сергеевич Аксаков в письме к жене 14 июня 1880 г. из Троекурова свое впечатление от пламенного слова Достоевского передал так: „На другой день, 8-го июня, должен был читать Д. (мы, было, так и разделились, зная сходство наших направлений); но, видя его (Д.) нервное беспокойство, я предложил ему читать первому. Он прочел, прочел мастерски, такую превосходную, оригинальную вещь, еще шире и глубже захватывающую вопрос о народности, чем моя статья, при чем не в форме логического изложения, а в живых, реальных образах, с искусством романиста, и впечатление было поистине потрясающее. Я никогда ничего подобного не видел. Оно охватило всех, как публику, так и нас, сидевших на эстраде, даже отчасти и Тургенева (они друг друга терпеть не могут). Успех Достоевского—истинное, многознаменательное событие. Он совершенно потопил Тургенева и всех представителей его направления. До сих пор Тургенев был идолом молодежи, и во всех речах его публичных были всегда тонкие намеки либерально-неопределенного смысла, вызывавшие фурор. Он всегда тонко льстил молодежи; да и накануне еще, говоря о Пушкине, воздавал хвалу Белинскому, дал понять, что он и Некрасова очень любит, и т. д. Достоевский же пошел прямо наперекор, представил, что Белинский

* Автограф находится среди писем Я. П. Полонского к Ф. М. Д., изданных нами в книге: „Из архива Достоевского.—Письма русских писателей“. Под ред. Н. К. Пиксанова, изд. Центрархива М. 1923, стр. 81.

ничего не понял в Татьяне, ткнул пальцем прямо в социализм, преподал молодежи целое поучение: „смирись, гордый человек, перестань быть скитальцем в чужой земле, поищи правду в себе, не какую-либо внешнюю“ и т. д. Татьяну, которую Белинский, а за ним и все молодые поколения, называли „нравственным эмбрионом“ за соблюдение долга верности,—Достоевский, напротив, возвеличил и прямо поставил публике нравственный вопрос: можно ли созидать счастье на несчастии другого?!

Важно именно то, как отнеслись к этому молодые же люди, которых, может быть, до тысячи было в зале. Все пришло в такой экстаз, что один юноша ринулся к Достоевскому на эстраду, упал в нервный обморок. Тут были „курсистки“ курса Герье (крайнего западника), еще в прошлом году делавшие овации Тургеневу. Бог знает где, тут же в собрании, добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется...

Надобно при том заметить, что Достоевский имеет репутацию „мистика“, т.-е. не позитивиста, а верующего человека; да он и тут помянул о Христе. Одним словом, торжество нашего направления в лице Достоевского было полное, и все речи людей так называемых 40-х годов показались дребеденью. Волнение было так сильно, что нужно было сделать длинный перерыв“. („Русский Архив“ 1891 г. кн. 2, стр. 96—97.)

Исчерпывающей сводки всех воспоминаний и оценок речи Ф. М. мы не намерены давать здесь; указания на литературу интересующиеся могут найти, во-первых, в „Библиографическом указателе сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности М. Ф. Достоевского, собр. в Музее памяти Ф. М. Достоевского“ в М. Историческом Музее (1846—1903), сост. А. Достоевской (П. 1906 г.), см. отд. V, стр. 82—94; во-вторых, в книге В. П. Межева—„Puschkiniana“—Библиографический указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочин. и пр. П. 1886. См. отд. 5-й, стр. 74—75 и др.

Из не указанного там надо отметить воспоминания очевидцев: А. Ф. Кони—„На жизненном пути“, т. 2-й, стр. 88—95. П. 1912 г., а также рассказ очевидца Н. Н. Страхова в сб. „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского“. П. 1883, стр. 304—313, в приложении, стр. 343; Л. Нелидовой—„Памяти И. С. Тургенева“—„Вестник Европы“ 1909, сентябрь, 234. Сводку газетных откликов на Пушкинские торжества и отзывы о речи Д. можно прочесть в книге „Венок на памятник Пушкина“. СПБ. 1880, гл. VI: „Наша печать по поводу открытия памятника Пушкину“ (стр. 107—148).

К юбилею Д. (1921 г.) переизданы отзывы о речи Д. (в отрывках) Гл. Ив. Успенского и К. Н. Леонтьева в книге „Достоевский и Пушкин“. Ред. А. Л. Волынского. П. 1921 г.

3.

Сам Ф. М., под неостывшим впечатлением от того восторга, какой вызвало его пламенное слово в присутствующих, верил в великое действие Речи: „Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений... Полная, полнейшая победа!“ (письмо к Анне Григорьевне 8 июня).

Действительно, был неподдельный восторг, был порыв, и в непосредственном порыве, мы видим, слились люди разных „вер",—всех охватило одно чувство: и умного Тургенева, и уравновешенного Анненкова, и спокойного Аксакова. Но примирения полного, соединения путей, слияния идейного, конечно, не было: победа была, но временная. Трудно было слить столь различные по существу такие общественные струи, представителями которых были сам Достоевский и Тургенев, и эти небывалые дни единодушного увлечения были кратковременны. Прав был „Вестник Европы", не слишком доверявший приподнятому примирительному настроению и заявивший тогда же по поводу торжества и Речи Достоевского, что „значение Пушкина ценилось (тогда) не столько со спокойной исторической критикой, сколько с восторженным чувством поклонения, отвечавшим настроению минуты. Достоевский сказал даже, что Пушкин—пророк, а его поэзия—преобразование будущего России, когда русский народ возвестит истину всему человечеству. У нас, как известно, все общественные увлечения совершаются порывами, которые быстро проходят, оставляя иногда замечательно слабое впечатление" *. Все слились, но не объединились в порыве увлечения мощью и широтой Речи Достоевского, который выдвинул ту широту взгляда, какая не достигнута была Тургеневым. Речь Достоевского была „событием", как это заявил Аксаков, но цементом для оформления жизни она не стала.

Либеральная пресса, вскоре после появления в печати Речи Д., отнеслась к ней критически; и Ф. М. не далее, как через месяц, должен был пережить чувство разочарования в современниках. „Вестник Европы", когда еще не смолкли восторги, возбужденные Речью Д., уже не разделяет общего ликования и холодно замечает: „Мы полагаем, что тема Д. о будущем или даже о настоящем первенстве русского народа над всеми остальными имеет уже тот недостаток, что представляет не новый пример национального самопрославления". Еще строже относятся к Речи „Отечественные Записки". Глеб Ив. Успенский, спешно дававший для них отчет о своих впечатлениях с праздника, отмечая, как факт, что „тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения", закончил статью свою, однако, осторожно, сомнением: „Мудрено понимать человека, примиряющего в себе самом такие противоречия, и нет ничего невероятного, что речь его, появясь в печати и внимательно прочитанная, произведет совсем другое впечатление". Так и случилось. Сам Г. И. Успенский, прочтя речь, ответил на нее в 4-й главе той же статьи „На другой день" („Отеч. Зап." июнь) более решительно: „Несомненна, по словам Д., неразрывная связь скитальца с народом, его чисто народные черты; в нем все народно, исторически неизбежно, законно. Вот, основываясь на этих то уверениях, я и передал речь г. Достоевского в том смысле, как она напечатана в письме из Москвы, радуясь не тому всемирному журавлю, которого г. Достоевский сулит русскому человеку в будущем, а тому только, что некоторые явления русской жизни начинают выясняться в человеческом смысле, объясняются по „человечеству", не со злорадством, как было до сих пор, а с некоторою внимательностью, чего до сих пор не было. Но у г. Достоевского, оказывается,

* См. подр. „Венок на памятник Пушкина", СПБ. 1880 г., стр. 143 и др.

был умысел другой. Уж и в тех выписках из его речи, которые приведены, читатель может видеть местами нечто всезаячье. Там воткнуто, как бы нечаянно, слово „может быть", там поставлено, тоже как бы случайно, рядом „постоянно" и „надолго", там ввернуты слова „фантастический" и делание *, то-есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостью, которая не дает возможности продешевить, и т. д. Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить мало-по-малу все свое „фантастическое делание" в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения. Помаленьку, с кочки на кочку, прыг да прыг, всезаяц мало-по-малу допрыгивает до непроходимой дебри, в которой не видать уже его заячьего хвоста. Тут оказалось, как-то незаметно для читателя, что Алеко, который, как известно, тип вполне народный, изгоняется народом именно потому, что не народен. Точно так же народный тип скитальца, Онегин, получает отставку от Татьяны тоже потому, что не народен. Как-то оказывается, что все эти скитальческие-человеческие народные черты—черты отрицательные. Еще прыжок, и „всечеловек" превращается в „былинку, носимую ветром", в человека—фантазера без почвы. „Смирись",—вопит грозный глас:—„счастье не за морями". Что же это такое? Что же остается от всемирного журавля? Остается Татьяна—ключ и разгадка всего этого „фантастического делания". Татьяна, как оказывается, и есть то самое пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что, прогнавши от себя всечеловека, потому что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), продает себя на съедение старцу, генералу (ибо не может основать личного счастья на несчастьи другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собою. Но увы!—тут же оказывается, что жертва эта не добровольная: „я другому отдана!" Нанялся—продался. Оказывается, что мать насильно выдала за старца, а старец, который женился на молоденькой, не желавшей итти за него замуж (этого старец не может не знать), именуется в той же речи „честным человеком". Неизвестно, что представляет собою мать. Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей **.

„Слово" еще беспощаднее. „Всего удивительнее в речи Д. то, что, сбив с толку свою аудиторию этою всечеловечностью и всемирностью русского человека, стяжав за этот непонятный в первую минуту магический фокус горячие аплодисменты, он (Д.), в сущности, грубо и резко осмеял этого русского всечеловека. Мы полагаем, что Д. не станет отрицать того, что он вызвал фурор, главным образом, тем, что аудитории его чрезвычайно приятно показалось носить в груди идеал всемирности, как свою специальную и особую сущность. По нашему мнению, и тут мало похвального со стороны публики и со стороны Д., присвоить себе исключительно такое крупное свойство, которое присуще всем европейским народам, и несправедливо, и чересчур эгоистично, так же эгоистично, как, например, отрицание во время крепостного

---

* Курсив подлинника здесь и далее. *Н. Б.*

** „Ф. Достоевский и Пушкин." Под ред. А. Л. Волынского. Парфенон. П. 1921 г., стр. 13—14.

права человеческих свойств у крестьян. Крепостники пресерьезно лишали своих крестьян многих свойств человека, вообще, или же умаляли эти свойства до последнего предела. И Д., как казалось с первого раза, учит русское общество думать о других народах, как думали наши помещики о своих крестьянах. На самом же деле оказывается, что Д. смеялся над всемирными стремлениями русского человека".

Даже консервативный,—как сам себя называет в предисловии к отдельному изданию статьи „О всемирной любви" (П. 1881 г.),— К. Н. Леонтьев, откликнувшийся на речь Достоевского большой статьей, напечатанной в „Варшавском Дневнике" за июль и август, также не согласился с Д. „По моему мнению, речь Достоевского, — писал Леонтьев,—речь пламенная, вдохновенная, красная, так сказать, но в основании своем совершенно ложная, ибо нельзя же смешивать так опрометчиво и грубо, как сделал Достоевский, объективную любовь поэта, любовь изящного вкуса, требующего пестроты, разнообразия, антитезы и даже трагической борьбы, с любовью моральной, с чувством милосердия и со стремлением к поголовной, однообразной кротости" *.

Наиболее существенной критике положения Речи Д. подверг известный профессор Петербургского Университета—государствовед и публицист, постоянный сотрудник „Голоса" — Ал. Дм. Градовский (1841—1889) в статье „Мечта и Действительность", напечат. в фельетоне „Голоса" за 25 июня 1880 г. № 171 (перепеч. в „Собр. соч.", т. 6-й, П. 1901, стр. 375—383). В серьезной и увлекательной статье он разбивает все положения Ф. М., развивая в противовес взглядам Д. свое целостное понимание типа „скитальца", создавшегося в атмосфере общественных отношений.

„Нам представляется, — писал Градовский,—прежде всего недоказанным, что „скитальцы" отрешались от самого существа русского народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящего времени нисколько не определены пределы их отрицания, не указан его объект, так сказать, а пока не определено это, мы не в праве произнести о них окончательное суждение.

Тем менее в праве мы определять их, как „гордых" людей, и видеть источник их отчуждения в этом сатанинском грехе.

Достоевский выразил „святая святых" своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора „Братьев Карамазовых". В этих словах заключен великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет и намека на идеалы общественные" **.

Суждения Градовского были резки и неотразимы, и понятно, почему именно статья Градовского производит такое сильное впечатление на Ф. М., что он пишет „ответ Градовскому",—о чем и сообщает Пуцыковичу 18 июля из Старой Руссы: „20 мая отправился в Москву на праздник Пушкина,—и вдруг последовала кончина императрицы. Затем праздник все откладывали, и так дошло до 6-го июня, а в Москве мне не давали даже выспаться,—так я беспрерывно был занят и окружен новыми лицами. Затем последовали праздники и затем,

---

* Там же, стр. 16—19.
** Соч., т. 6-й. П. 1901, стр. 378—379.

буквально измученный, воротился в Старую Руссу. Здесь тотчас же засел за Карамазовых, написал три листа, отослал и затем тотчас же, не отдохнув, написал один № „Дневника Писателя“ (в который войдет моя речь), чтоб издать его отдельно, как единственный № в этом году. В нем и ответы критикам, преимущественно Градовскому. Дело уже идет не о самолюбии, а об идее. Новый неожиданный момент, проявившийся в нашем обществе на празднике Пушкина (и после моей речи), они бросились записывать и затирать, испугавшись нового настроения в обществе, в высшей степени ретроградного, по их понятиям. Надо было восстановить дело, и я написал статью, до того ожесточенную, до того разрывающую с ними все связи, что они теперь меня проклянут на семи соборах“. „Таким образом,—заключает Достоевский,—в месяц по возвращении из Москвы я написал всего буквально шесть листов печати. Теперь разломан и почти болен“ („Московский Сборник“, под ред. Сергея Шарапова, М. 1887 г., стр. 14—15).

Накануне, 17 июля, Достоевский писал Елене Андреевне Штакеншнейдер следующие любопытные строки: „11-го июня я возвратился из Москвы в Руссу, ужасно усталый, но тотчас же сел за Карамазовых и залпом написал три листа. Затем, отправив, принялся перечитывать все написанное обо мне и моей московской речи в газетах (чего до сих пор не читал, занятый работой) и решил отвечать Градовскому, т.-е. не столько Градовскому, сколько написать весь наш profession de foi на всю Россию: ибо знаменательный и прекрасный, совсем новый момент в жизни нашего общества, проявившийся на празднике Пушкина, был злонамеренно затерт и искажен. В прессе нашей, особенно петербургской, буквально испугались чего-то, совсем нового, ни на что прежнее не похожего, объявившегося на Москве; значит не хочет общество одного подхихикивания над Россией и одного оплевания ее, как доселе: значит, настойчиво захотело иного. Надо это затереть, уничтожить, осмеять, исказить и всех разуверить: „ничего, де, такого нового не было, а было лишь благодушие после московских обедов. Слишком-де, уже много кушали...“ „Я еще в Москве решил, напечатав мою речь в „Московских Ведомостях“, сейчас же издать в Петербурге один № „Дневник Писателя“—единственный номер на этот год, и в нем напечатать мою речь и некоторое к ней предисловие, пришедшее мне в голову буквально в ту минуту на эстраде, сейчас после моей речи, когда, вместе с Аксаковым и всеми, Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая мне руки, настойчиво говорили мне, что я написал вещь гениальную. Увы! так ли они теперь думают о ней. И вот мысль о том, как они подумывают о ней сейчас, как опомнились от восторга, и составляет тему моего предисловия. Это предисловие и речь я отправил в Петербург, в типографию, и уже и корректуру получил, как вдруг я решил написать и еще новую главу в „Дневнике“, profession de foi с обращением к Градовскому: вышло два печатных листа, написал—всю душу положил и сегодня, всего только сегодня, отослал ее в Москву в типографию“ („Русский Архив“ 1891 г., кн. 3, 307—308).

Но Достоевский заранее предугадал перемену отношения в будущем к его речи общества и прессы, и С. А. Толстой, в письме 13 июня, это предчувствие и высказал прямо в словах: „Вчера лишь воротился

из Москвы в Старую Руссу...“ „О происшествиях со мною в Москве вы, конечно, узнали из газет!..“ „Не беспокойтесь, скоро услышу: „смех толпы холодной“. Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях...“ „Речь моя скоро выйдет (кажется уже вышла вчера, 12-го в „Московских Ведомостях“) и уже начнут же ее критиковать—особенно в Петербурге! („Вестник Европы“ 1908 г., 215—216).

Еще более горькое признание по поводу критической оценки его речи современниками вырвалось у Ф. М. в письме к О. Ф. Миллеру от 26 августа 1880 г.: „За мое слово в Москве, видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство—мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев * не был облит такими помоями, как я“. (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, стр. 343, СПБ. 1883 г.)

Пушкинская Речь Достоевского—знаменательная дата его трудов и дней. Речь была последним словом писателя, на ней оборвалась его деятельность. Напечатанная в единственном номере „Дневника Писателя“ за 1880 г., вышедшем в свет в день погребения Достоевского, Речь о Пушкине была прекрасной страницей выражения умершим своего преклонения и восторженного почитания гения Пушкина. С другой стороны, Речь для Достоевского была проявлением и его общественного credo; в ней Ф. М. через голову Пушкина сосчитался со своими идейными противниками. Письма Ф. М. к Анне Григорьевне еще раз убеждают нас, как серьезно смотрел Ф. М. на свое выступление и какое значение он придавал своей Речи на Пушкинском празднике.

Письма печатаются по новой орфографии, но с соблюдением пунктуации подлинника и особенностей написания слов (адресс, к тому же, воксал и др.).

Н. Бельчиков.

---

* К. Н. Юханцев был судим 23—25 января 1879 г. в СПБ., в Окружном суде за растрату крупной суммы О-ва Взаимного Поземельного Кредита (подр. см. А. Ф. Кони „Судебные речи“ 1868—1888 г., стр. 447—465).

ПИСЬМА

Ф. М. Достоевского

А. Г. Достоевской

1866—1880 г.г.

ОТ РЕДАКЦИИ

1) Все места, которые в оригинале были подчеркнуты автором, напечатаны в разбивку.

2) Все пояснения редакции, имеющиеся в тексте, напечатаны курсивом в круглых скобках.

3) Все слова, фразы и целые предложения, которые автором в оригинале были зачеркнуты, по возможности восстановлены в печатном тексте и заключены в квадратные скобки.

4) Все вводимые редакцией даты ставятся в квадратные скобки.

ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЕМ.

1866 г.

1. Петербург ..... 9 декабря.
2. Москва ..... 29 декабря.

1867 г.

3. Москва ..... 2 января.
4. Гомбург..... 17 мая.
5. „ ..... 18 мая.
6. „ ..... 19 мая.
7. „ ..... 20 мая.
8. „ ..... 21 мая.
9. „ ..... 22 мая.
10. „ ..... 23 мая.
11. „ ..... 24 мая.
12. „ ..... 25 мая.
13. „ ..... 26 мая.
14. Saxon les Bains..... 5 октября.
15. „ „ „ ..... 6 октября.
16. „ „ „ ..... 17 ноября.
17. „ „ „ ..... 18 ноября.

1868 г.

18. „ „ „ ..... 4 апреля.
19. „ „ „ ..... 4 апреля.

1870 г.

20. Гомбург..... 17/29 апреля.

1871 г.

21. Дрезден..... 1 февраля.
22. Висбаден..... 28 апреля.
23. „ ..... 29 апреля.
24. „ ..... 1 мая.

1872 г.

25. Москва..... 2 января.
26. „ ..... 4 января.
27. Старая Русса..... 27 мая.
28. „ ..... 28 мая.
29. „ ..... 30 мая.
30. Старая Русса..... 3 июня.
31. „ ..... 5 июня.
32. „ ..... 8 июня.
33. „ ..... 9 июня.
34. „ ..... 12 июня.
35. „ ..... 14 июня.
36. Москва ..... 9 октября.
37. „ ..... 10 октября.

1873 г.

38. Москва ..... 20 мая.
39. Петербург..... 12 июня.
40. „ ..... 14 июня.
41. „ ..... 22 июня.
42. „ ..... 26 июня.
43. „ ..... 5 июля.
44. „ ..... 10 июля.
45. „ ..... 12 июля.
46. „ ..... 20 июля.
47. „ ..... 23 июля.
48. „ ..... 26 июля.
49. „ ..... 29 июля.
50. „ ..... 10 августа.
51. „ ..... 13 августа.
52. „ ..... 15 августа.
53. „ ..... 19 августа.
54. „ ..... 20 августа.

1874 г.

55. Москва ..... 25 апреля.
56. „ ..... 26 апреля.
57. Петербург ..... 6 июня.
58. Эмс ..... 13/25 июня.
59. „ ..... 16/28 июня.
60. „ ..... 23 июня—5 июля
61. „ ..... 6 июля.
62. „ .....28 июня—10 июля.
63. „ ..... 1/13 июля.
64. „ ..... 5/17 июля.
65. „ ..... 8/20 июля.
66. „ ..... 14/26 июля.
67. „ ..... 16/28 июля.
68. „ ..... 17/29 июля.
69. „ ..... 20 июля—1 августа.

70. Старая Русса ..... 17 декабря.
71. „ ..... 18 декабря.
72. „ ..... 19 декабря.
73. „ ..... 20 декабря.

1875 г.

74. Новгород..... 4 февраля.
75. Петербург..... 5 февраля.
76. „ ..... 6 февраля.
77. „ ..... 7 февраля.
78. „ ..... 8 февраля.
79. „ ..... 9 февраля.
80. „ ..... 10 февраля.
81. „ ..... 11 февраля.
82. „ ..... 12 февраля.
83. „ ..... 12 февраля.
84. „ ..... 13 февраля.
85. „ ..... 13 февраля.
86. „ ..... 14 февраля.
87. Старая Русса ..... 6 апреля.
88. Петербург..... 12 мая.
89. „ ..... 13 мая.
90. „ ..... 14 мая.
91. „ ..... 25 мая.
92. Берлин..... 27 мая—8 июня.
93. Эмс..... 29 мая—10 июня.
94. „ ..... 1/13 июня.
95. „ ..... 4/16 июня.
96. „ ..... 7/19 июня.
97. „ ..... 10/22 июня.
98. „ ..... 13/25 июня.
99. „ ..... 15/27 июня.
100. „ ..... 18/30 июня.
101. „ ..... 21 июня—3 июля.
102. „ ..... 23 июня—5 июля.
103. „ ..... 25 июня—7 июля.
104. „ ..... 27 июня—9 июля.
105. „ ..... 1/13 июля.
106. Петербург ..... 6 июля.

1876 г.

107. Берлин. ..... 7/19 июля.
108. Эмс ..... 9/27 июля*).
109. „ ..... 13/25 июля.
110. „ ..... 15/27 июля.
111. „ ..... 18/30 июля.
112. „ ..... 21 июля— 2 августа.
113. „ ..... 24 июля— 5 августа.
114. „ ..... 26 июля— 7 августа.
115. „ ..... 30 июля—11 августа.
116. „ ..... 2/14 августа.
117. „ ..... 6/18 августа.

*) Так и подлиннике. Прим. *Н. Б.*

1877 г.

118. Петербург.. ..... 6 июля.
119. „ ..... 7 июля.
120. „ ..... 11 июля.
121. „ ..... 15 июля.
122. „ ..... 17 июля.

1878 г.

123. Москва..... 20 июня.
124. „ ..... 22 июня.
125. „ ..... 29 июня.
126. „ ..... 7 ноября.
127. „ ..... 8 ноября.
128. „ ..... 9 ноября.
129. „ ..... 10 ноября.
130. „ ..... 11 ноября.

1879 г.

131. Старая Русса..... 19 июня.
132. Петербург ..... 19 июля.
133. Берлин ..... 22 июля— 3 августа.
134. Эмс ..... 24 июля— 5 августа.
135. „ ..... 25 июля— 6 августа.
136. „ ..... 28 июля— 9 августа.
137. „ ..... 30 июля—11 августа.
138. „ ..... 1/13 августа.
139. „ ..... 4/16 августа.
140. „ ..... 7/19 августа.
141. „ ..... 10/21 августа.
142. „ ..... 13/25 августа.
143. „ ..... 14/26 августа.
144. „ ..... 16/28 августа.
145. „ .... 19 августа— 1 сентября.
146. „ .... 24 августа—13 сентября *).
147. „ .... 27 августа— 9 сентября.

1880 г.

148. Москва. ..... 23/24 мая.
149. „ ..... 25 мая.
150. „ ..... 25/26 мая.
151. „ ..... 27 мая.
152. „ ..... 27/28 мая.
153. „ ..... 28/29 мая.
154. „ .....30 мая—30/31 мая.
155. „ ..... 31 мая.
156. „ ..... 2/3 июня.
157. „ ..... 3/4 июня.
158. „ ..... 5 июня.
159. „ ..... 7 июня.
160. „ ..... 8 июня.
161. Старая Русса ..... 11 августа.
162. „ ..... 12 августа.

*) Так и в подлиннике. *Н. Б.*

Милая моя Аня, прелестная моя именинница, — не разсердись на меня, ради бога, за мою слишкомъ глупую осторожность. Я сегодня рѣшился у тебя не быть. Чувствую себя еще не совсѣмъ здоровымъ. Пустяки совершенные, но все-таки нѣкоторая слабость и несовсѣмъ чистый языкъ. Видишь ангелъ мой: необходимо до послѣдней крайности быть у Базунова. Но Базуновъ отъ меня в верстѣ, а къ тебѣ въ четверо дальше. Не лучше-ли хоть немножко поостеречься, но ужъ навѣрно выздоровѣть завтра, чѣмъ прохворать еще недѣлю? И къ Базунову-бы совсѣмъ не слѣдовало. Вчера сидѣлъ надъ передѣлкой 5-й главы до второго часа ночи, (а послѣ обѣда ничего не заснулъ, не дали, безпокоили) Это меня доканало. Заснулъ я уже въ четвертомъ часу ночи. Сегодня какъ-то вялъ. Да и лицо у меня совсѣмъ не именинное, такъ что я ужъ лучше посижу дома. Обѣдать буду опять одинъ супъ дома, какъ вчера. — Не сердись моя прелесть, что пишу тебѣ такими глупостями; я самъ слишкомъ глупъ сегодня. А ты ради бога не безпокойся. Мнѣ главное-бы сегодня заснуть. Чувствую что сонъ подкрѣпитъ

меня, а ты завтра зайди ко мне поутру
как обещала. До свиданія милой другъ, обни-
маю и поздравляю тебя

Тебя безконечно любящій
И въ тебя безконечно вѣрующій
твой весь
Ѳ. Достоевск

Ты мое будущее все — и надежда
и вѣра и счастье и блаженство —
все. —

А

9 Декабр
66

1866 г.

1.

Милая моя Аня, прелестная моя именинница, — не рассердись на меня, ради бога, за мою слишком глупую осторожность. Я сегодня решился у тебя не быть; чувствую себя еще не совсем здоровым. Пустяки совершенные, но все-таки некоторая слабость и несовсем чистый язык. Видишь ангел мой: Необходимо до последней крайности быть у Базунова [1]. Но Базунов от меня в версте, а к тебе в четверо дальше. Не лучше ли хоть немножко поосторожничать, но уж наверно выздороветь завтра, чем прохворать еще неделю? И к Базунову бы совсем не следовало. Вчера сидел над переделкой 5-й главы [2] до второго часа ночи; (а после обеда ничего не заснул; не дали, беспокоили). Это меня доканало. Заснул я уже в четвертом часу ночи. Сегодня как-то вял, да и лицо у меня совсем не именинное [2а], так что я уж лучше посижу дома. Обедать буду опять один суп дома, как вчера.—Не сердись моя прелесть, что пишу тебе о таких глупостях: я сам слишком глуп сегодня. А ты ради бога не беспокойся. Мне главное-бы сегодня заснуть. Чувствую что сон подкрепит меня, а ты завтра зайди ко мне поутру как обещалась. До свидания милый друг, обнимаю и поздравляю тебя.

Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий

Твой весь

Ф. Достоевский.

Ты мое будущее все—и надежда и вера и счастие и блаженство—все.

9 декабря/66 [Петербург].

2.

Москва 29 декабря/66.

Не сердись на меня, мой бесценный и бесконечный друг Аня, что я пишу тебе на этот раз только несколько строк единственно с целью поздороваться с тобой, поцаловать тебя и уведомить тебя только о том как я доехал и приехал, не более, потому что еще никуда и носу не

показывал в Москве. Ехал я благополучно. Спальные вагоны скверней-шая нелепость: сыро до безобразия, холодно, угарно. Весь день и всю ночь до рассвета пострадал зубною болью (но весьма сильною); сидел неподвижно или лежал и беспрерывно вызывал воспоминания последних $1^1/_2$ месяцев [3]; к утру заснул, крепко; проснулся с затихшей болью. В Москву въехал в 12 часов; в половину первого был уже у наших [4]. Все очень удивились и обрадовались. Елена Павловна [5] была у них. Очень похудела и даже подурнела. Очень грустна; встретила меня довольно слегка. После обеда началась зубная боль опять. Я с Соней [6] остались на полчаса одни. Сказал Соне все. Она ужасно рада. Она вполне одобряет; не находит и отрицает препятствия à la Юнге [7]. Разумеется все было рассказано без больших подробностей. Много еще нам с ней придется переговорить. Она качает головой и несколько сомневается в успехе у Каткова [8]. Грустит собственно о том, что такое дело висит на такой ниточке. Спросил ее: что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне [9]? Она отвечала: о какже, беспрерывно! Но не думаю, чтоб это могло назваться собственно любовью. Вечером я узнал от сестры и от самой Елены Павловны, что она все время была очень несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение: что ей некогда было думать о любви. (Это вполне верно). Я ужасно рад и это дело можно считать покончeнным. А о моем браке с тобою я объявлю родным при первых надеждах на успех у Каткова. Весь первый день, т.-е. вчера, у меня болели зубы, за ночь вспухла щека и потому сегодня не болят. Сегодня поеду к Любимову [10], но во всяком случае думаю, что у Каткова не буду. И вообще не знаю еще плана действий. Увижу по обстоятельствам. Постараюсь поспешить изо всех сил, чтоб поскорей воротиться к тебе. Лишнего не останусь. Я часто бываю очень грустен, какая-то беспредметная даже грусть,—точно я совершил перед кем нибудь преступление. Тебя представляю себе и тебя воображаю себе поминутно. Нет, Аня, сильно я тебя люблю, тебя любит и Соня: Ужасно бы желала тебя видеть. Волнуется и интересуется.

А теперь обнимаю тебя крепко и цалую — до близкого письма и свидания. Напишу тебе еще подробнее и получше дня через 2 или три—как только что-нибудь сделаю. Теперь спешу изо всех сил: чувствую, что везде опоздаю (вот беда-то будет!) Что делать — праздник у всех, и время у всех ненормально.

Как-то ты проводила вчерашний день? Думал тебя во сне увидеть—не видал. Загадал о тебе на книге, т.-е. развернуть книгу и прочесть первую строку на правой странице; вышло очень знаменательно и кстати. Прощай милочка, до близкого свидания. Цалую тысячу раз

твою рученку и губки (о которых вспоминаю очень). Грустно, хлопотливо, разбиты как-то все впечатления. Масенька мила и ребенок [11]. Приехал и Федя [12]. Все прочие дети ужасно милы и рады, Юля не удостоила выходить [13]. Но вечером прислала ко мне из других комнат спросить: может-ли она загадать на меня. К ней сошлись подруги и гадают в зеркало. Я отвечал что прошу. Мне вышла брюнетка, одетая в белое платье. Я послал им сказать, что все вздор, не угадали.

Не увидишь-ли, милая, Пашу [14]. Передай ему от меня поклон и скажи что Сашенька [15] и Хмыров [16] очень про него расспрашивали и страшно жалеют, что он не приехал и не приедет; они его очень ждали, даже гадали приедет-ли он или нет.

Цалую тебя бессчетно. Поздравляю с Новым годом и с новым счастьем. Помолись об нашем деле, ангел мой. Вот как пришлось до дела я и боюсь. Но однако буду работать изо всех сил. Через два или три дня напишу тебе. Надежды впрочем не потерял.

Твой весь, твой верный вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю как во все мое будущее. Знаешь вдали от счастья больше ценишь его. Мне теперь несравненно сильнее желается тебя обнять, чем когда-нибудь. Мой поклон нижайший Мамаше [17]. Передай мое почтение и братцу [18].

Твой беспредельно любящий

Ф. Достоевский.

На 3-й странице приписка:

P. S. Сонечка уговаривает и велит мне заехать самому в Почтамт, потому что если туда подать письмо, то может и сегодня пойдет.

1867 г.

3.

Москва 2 Января/67.

Вчера получил твое дорогое послание, бесценный и вечный друг Аня, и был ужасно рад. Наверно и ты получить успела мое письмо в тот (или на другой день), как послала мне свое. Теперь спешу тебя, главное, уведомить о делах. Дело свое я решил, (т.-е. приступил к нему) скорее чем думал, и теперь оно, в главном почти решено. Я было думал начать действовать через Любимова (редактора Русского Вестника), поехал к нему на другой день по приезде и — к счастью не застал его дома. Тогда я отправился в Редакц. Русского Вестника и опять-таки к счастью, зашел к Каткову (к которому не думал сначала заходить сейчас, расчитывая пустить вперед Любимова). Катков был ужасно занят; я просидел у него 10 минут. Он принял меня превосходно. Наконец я встал, после 10 минут, и видя что он ужасно занят сказал ему, что имею до него дело, но так как он занят, то и прошу назначить мне время: когда приехать к нему, чтоб изложить дело. Он вдруг стал настоятельно просить, чтоб я изложил дело сей же час. Я взял да и объяснил все в три минуты, начал с того, что женюсь. Он меня поздравил искренно и дружески. „В таком случае, сказал я, я прямо вам говорю, что все мое счастье зависит от вас". „Если вам нужно мое сотрудничество (он сказал: „Еще бы, помилуйте!") то выдайте мне 2.000 вперед, так и так—и я изложил все. Литераторы и всегда берут вперед, заключил я, но так как эта сумма очень сильна и таких вперед не выдают, то все зависит от вашей доброй воли". Он мне ответил: „Я посоветуюсь с Леонтьевым [19]. Все дело в том: есть ли у нас такие деньги свободными, пожалуйте ко мне дня через два, а я употреблю все мое старание". Через 2 дня он сказал мне решенье окончательное: 1.000 рублей сейчас можно, а другую тысячу отсрочить просит на два месяца. Я так и принял и поблагодарил.

Теперь бесценная Аня дело в таком виде: Наша судьба решилась, деньги есть и мы обвенчаемся как можно скорее, но вместе с тем предстоит и страшное затруднение, что вторая тысяча отсрочивается

на такой долгий срок, а ведь нам нужно две тысячи до последней копейки сейчас (помнишь мы расчитывали [но все ж]). Как это разрешить—еще не знаю, но все таки, как-бы там ни было, а свадьба наша может устроиться. И слава богу, слава богу! Обнимаю тебя и цалую, раз 100 зараз.

Теперь! Я думаю, что на днях, завтра или после завтра, получу либо деньги, либо переводы (праздники ужасно мешают) и—тотчас в Петербург, к тебе. Мне страшно грустно без тебя, хоть меня здесь все очень любят. Могу сказать, что 6-го или 7-го буду в Петербурге. Не говорю совершенно наверно, потому выдача денег зависит от них, но 90 вероятностей на 100, что 6-го или 7-го буду тебя обнимать и цаловать тебя, твои ручки и ножки (которые ты не позволяешь цаловать). И тогда наступит третий период нашей жизни.

Теперь несколько слов о здешней жизни. Ах, Аня, как ненавистны мне всегда были письма! Ну что в письме расскажешь об иных делах? и потому напишу только сухие и голые факты: Во-первых, я уже тебе писал, что Соне все в тот-же день открыл, и как она была рада. Не беспокойся, не забыл передать ей твой поклон, и она тебя уже очень, очень любит. По моим рассказам, она тебя уже отчасти знает и ей многое (из рассказов) понравилось. Сестре сказал на другой день, после первого ответа Каткова. Была очень рада. Александру Павловичу [20] сказал на третий день. Он меня поздравил и сделал одно замечание, весьма оригинальное, которое я тебе передам после. Затем наступило время довольно радостное. Новый год встречали весело всей семьею. Были и Елена Павловна и Марья Сергеевна [21], (удивительная шутиха). Ровно в 12 часов Александр Павлович встал, поднял бокал шампанского и провозгласил здоровье Фед. Мих-ча и Анны Григорьевны. Машенька и Юлинька, которые ничего не знали, были очень удивлены. Одним словом все рады и поздравляют.

До сих пор мало кого видел, кроме Яновского [22] (моего одного приятеля) и Аксакова [23], который ужасно занят. Яновскому Майков [24], бывши в Москве, сказал про нас, что он „видел тебя и судя по тебе, ожидает полного счастья Фед. Мих-чу". Мне очень приятно было, что Майков так отозвался. Яновский много про тебя расспрашивал и тоже очень рад и поздравляет.

С Аксаковым говорил о сотрудничестве.—

Вообрази, до сих пор еще не успел просмотреть двух последних глав [25]. Здесь вышла ноябрская книга [26].—Вчера в Новый год, Елена Павловна позвала всех к себе на вечер. Стали играть в стуколку. Вдруг Александру Павловичу подают письмо (присланное в квартиру Елены Павловны с нарочным из Межевого института) а он передает его мне. Кое-кто стали спрашивать: от кого? Я сказал: от Милюкова [27],

встал и ушел читать. Письмо было от тебя; оно очень меня обрадовало и даже взволновало. Воротился я к столу в радости и сказал, что известия от Милюкова неприятные. Через четверть часа почувствовал как-бы начало припадка. Пошел в сени, намочил голову и приложил к голове мокрое полотенце. Все несколько взволновались. Я дал поутихнуть и вызвал Соню, которой и показал твой поклон. Затем, когда приехали домой прочел все твое письмо вслух Соне и Маше. Не сердись моя радость, они видели и свидетельницы как я тебя люблю—как я бесконечно тебя люблю и тем счастлив!

Елена Павловна приняла все весьма сносно, и сказала мне только: „Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала вам ничего решительного, иначе я бы погибла". Я очень рад, что она все так принимает и с этой стороны уже совершенно теперь спокоен.

Завтра-же начну хлопотать о скорейшем и немедленном [устройстве] получении денег. Хочу тебя видеть каждый день, каждый час все больше и больше. Скажи спасибо от меня Паше за то, что он тотчас-же у тебя был. Обнимаю и цалую тебя бессчетно и когда пишу это, то бесконечно мучаюсь, что это только на письме покамест. О как бы я тебя теперь обнял! Прощай дорогой друг, Аня, будь весела и люби меня. Будь счастлива; жди меня; все тебе кланяются.

Думаю, что больше не напишу тебе,—разве что случится особенное. Мамаше твоей передай поклон.

Еще тебя цалую, (не нацалуюсь) твой счастливый

Ф. Достоевский.

На 4-й странице приписка:

С этакой-то женой, да быть несчастливым—да разве это возможно! Люби меня, Аня; бесконечно буду любить.

4.

Hombourg
Пятница 17 Мая [1867][28]
$11^1/_2$ часов утра.

Здраствуй милый мой ангел.

Обнимаю тебя и цалую крепко-крепко. Всю дорогу думал о тебе,

Я только что приехал [29]. Теперь половина двенадцатого. Немного устал и сажусь писать. Мне подали чаю и воды умываться. В промежутке напишу тебе несколько строк. В Лейпциге мне пришлось дожидаться с $^1/_2$ 6-го до 11 ночи, но уж таков Schnell-Zug. Сидел в воксале, закусил и выпил кофею. Все ходил по зале, огромной и залитой волнами дыма, пропитанного пивом. Разболелась голова и расстроились нервы. Все думал о тебе и воображал: Зачем я мою Аню покинул. Всю тебя вспомнил, до последней складочки твоей души и твоего

сердца, за все это время, с Октября месяца начиная и понял что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела как ты,—я и не стою. Как мог я бросить тебя?.. Зачем я еду?.. Куда я еду?.. Мне бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя богу, развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего что низко и дух мертвит; а я (хоть эта мысль беспрерывно и прежде мне в тихомолку про себя приходила, особенно когда я молился)—а я, такими бесхарактерными, сбитыми с толку вещами, как эта глупая теперешняя поездка моя сюда,—самое тебя могу сбить с толку. Ужас как грустно стало мне вчера. Так-бы кажется и обнял тебя, кабы ты со мной была, а назад не воротился, хоть и мелькала мысль. Как вспомню о всех этих Врангелях, Латкиных, Рейслерах [30] и о многом прочем, еще их поважнее так и собьюсь совсем и спутаюсь. Глупость, глупость я делаю, а главное скверность и слабость, но тут есть крошечный шанс и... но чорт с этим, перестану!

Наконец сели и поехали. Вагон полный. Немцы преучтивые, хотя ужасно зверские снаружи. Представь себе: Ночь была до того холодна, как у нас в Октябре, в ненастье. Стекла отпотели, — а я-то в своем легоньком пальто и в летних панталонах. Продрог ужасно; удалось часа три заснуть—от холоду проснулся. В три часа закоченелый выпил в подвернувшемся воксале чашку кофею и обогрелся минут десять. Затем опять в вагон. К утру сделалось теплее гораздо. Места здесь есть прекрасные, но все сумрачно, облачно, сыро и холодно, холоднее чем в Дрездене. Ждут, что разгуляется. В Франкфурте и двух минут не был, боясь упустить отправляющийся вагон сюда — и вот я здесь, в Hôtel Victoria. Комната пять франков в день и—видимо разбойники. Но пробуду дня два и уж самое бóльшее—три. Иначе невозможно—даже еслиб успел.

А зачем ты заплакала, Аня, милочка, меня провожая? Пиши мне голубчик сюда. Пиши обо всех мелочах, но не очень большие письма (не утомляй себя) и не подписывайся всеми буквами, (на случай если я уеду и письма останутся).

Аня, ясный свет мой, солнце мое, люблю тебя! Вот в разлуке-то все почувствуешь и перечувствуешь и сам узнаешь как сильно любишь. Нет уж мы с тобой начинаем сростаться.

Успокой же меня, авось завтра найду твое письмо, ты мое тоже может завтра получишь.

Не получив [следующего] второго от меня письма не пиши!

Прощай радость, прощай свет мой. Немного нервы расстроены, но здоров и не так чтобы очень устал. А что-то ты?

Твой весь до последней частички и целую тебя бессчетно.

Любящий тебя Д.

5.

Hombourg
18 Мая [1867], 10 часов утра. Суббота.

Здраствуй, ангел мой Аня, вот тебе еще несколько строк,—[ежед.] ежедневных известий. Каждое утро буду тебе писать покамест; и это мне в потребность, потому что думаю о тебе ежеминутно. Всю ночь снилась ты мне и еще, представь себе, Маша[31], моя племянница, сестра Феди. Мы с ней во сне помирились, и я очень был доволен. Но к делу.

День вчера был холодный и даже дождливый; весь день я был слаб и расстроен нервами до того, что едва держался на ногах. Хорошо еще, что в вагоне успел кое-как заснуть часа два. Целый день вчера спать хотелось. А тут игра, от которой оторваться не мог; можешь представить в каком я был возбуждении. Представь же себе: начал играть еще утром и к обеду проиграл 16 империалов. Оставалось только 12 да несколько талеров. Пошел после обеда, с тем чтоб быть благоразумнее до нельзя и, слава богу, отыграл все 16 проигранных да сверх того выиграл 100 гульденов. А мог-бы выиграть 300, потому что уже были в руках, да рискнул и спустил. Вот мое наблюдение Аня окончательное: Если быть благоразумным, т.-е. быть как из мрамора, холодным и нечеловески осторожным, то непременно, безо всякого сомнения, можно выиграть сколько угодно. Но играть надо много времени, много дней, довольствуясь малым, если не везет, и не бросаясь насильно на шанс. Есть тут один жид: он играет уже несколько дней, с ужасным хладнокровием и расчетом, нечеловеческим, (мне его показывали) и его уже начинает бояться банк: он загребает деньги и уносит каждый день по крайней мере по 1.000 гульденов.—Одним словом, постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтоб быть благоразумнее, но с другой стороны я никак не в силах оставаться здесь несколько дней. Безо всякого преувеличения Аня: мне до того это все противно, т.-е. ужасно, что я-бы сам собой убежал, а как еще вспомню о тебе, так и рвется к тебе все существо. Ах Аня, нужна ты мне, я это почувствовал! Как вспомню твою ясную улыбку, ту теплоту радостную, которая сама в сердце вливается при тебе, то неотразимо захочется к тебе. Ты меня видишь обыкновенно Аня, угрюмым, пасмурным и капризным: это только снаружи; таков я

всегда был, надломленный и испорченный судьбой, внутри же другое, поверь, поверь!

А между тем это наживание денег даром, как здесь, (не совсем даром: платишь мукой) имеет что-то раздражительное и одуряющее, а как подумаешь для чего нужны деньги, как подумаешь о долгах и о тех, которым кроме меня надо, то и чувствуешь, что отойти нельзя. Но воображаю же муку мою, если я проиграю и ничего не сделаю: столько пакости принять даром и уехать еще более нищему нежели приехал. Аня, дай мне слово, что никогда никому не будешь показывать этих писем. Не хочу я, чтоб этакая мерзость положения моего пошла по языкам. „Поэт так поэт и есть".

Обнимаю тебя Аня, свет мой. Авось от тебя сегодня письмецо получу, друг мой единственный. До завтра. Завтра напишу непременно. Во всяком случае ни за что не останусь здесь долго.

Вчера, к ночи, велел затопить камин, который дымил, и я угорел. Ночь спал как убитый, хотя и болела голова. Сегодня-же совершенно здоров. Солнце светит и день великолепный.

Прощай радость моя.

Твой вечный Ф. Д.

На 1-й странице приписка:

Если не получишь почему нибудь в какой нибудь день от меня письма—не беспокойся. [Это] Через день получишь. Но полагаю, что этого не случится.

6.

Hombourg
Воскресенье 19 Мая [1867]
10 часов утра.

Здраствуй милый, бесценный мой ангел. Пишу тебе несколько строк ежедневных. Прежде всего о делах.

День вчера был для меня прескверный. Я слишком значительно (судя относительно) проигрался. Что делать: не с моими нервами, ангел мой, играть. Играл часов десять, а кончил проигрышем. Было в продолжение дня и очень худо, был и в выигрыше, когда счастье переменялось—все расскажу когда приеду. Теперь на оставшиеся (очень немного, капелька) хочу сделать сегодня последнюю пробу. Сегоднишний день решит все, т.-е. еду ли я завтра к тебе, или останусь. Завтра во всяком случае уведомлю. Не хотелось бы закладывать часов. Очень туго пришлось теперь. Что будет то будет. Употреблю последние усилия. Видишь: усилия мои каждый раз удаются, покамест я имею хладнокровие и расчет следовать моей системе; но как только начнется

выигрыш, я тотчас начинаю рисковать; сладить с собой не могу; ну что-то скажет последняя сегоднишная проба. Поскорей бы уж.

Вчера ангел мой в 12 часов пришел я на почту отдать мое второе письмо к тебе, и почтмейстер подал мне письмо от тебя. Милочка, спасибо тебе. Я тут же перечел его в конторе и как мне приятно было, что оно писано карандашем (моя стенографка). Все прошлое вспомянулось. Не тоскуй, моя родная, не тоскуй мой ангел! Ты меня чуть не до слез перевернула, описывая свой день. Экое ведь дикое наше положение. И войдет ли кому в голову у наших в Петербурге, что мы в настоящую минуту с тобой в разлуке и для такой цели! Дикое положение, решительно. Ох кабы поскорей это все кончилось, поскорей бы уж какой-нибудь результат. Поверишь ли ангел мой мне здесь ужасно наскучило, т.-е. собственно игра уж наскучила. То-есть не то, чтоб наскучила, а устал я ужасно как нервами, нетерпеливее стал, поскорее стремлюсь к результату, тороплюсь, рискую, а из этого и выходит проигрыш!

Здоровье мое, не смотря на то, очень хорошо. Нервы расстроены, и я устаю (сидя-то на месте), но тем не менее я в хорошем очень даже состоянии. Состояние возбужденное, тревожное,—но моя натура иногда этого просит. Что за день был прелестный вчера; я таки капельку погулял в парке. Надо сознаться, что местоположение здесь обворожительное. Парк великолепен, воксал тоже, музыка прекрасная, лучше Дрезденской. Вот бы пожить-то здесь, еслиб не проклятая рулетка.

Прощай мой ангел, тихий, милый кроткий мой ангел, люби меня. Еслиб, мечтаю теперь, хоть на минутку тебя увидеть—сколько бы мы с тобой переговорили, сколько впечатлений накопилось. В письме не упишешь; да и я сам тебе прежде говаривал, что я не умею и не способен письма писать, а вот теперь как напишешь тебе несколько словечек, то как-будто и легче. Ради Христа береги здоровье, постарайся хоть чем-нибудь себя развлекать. Помни просьбы мои: Если что с тобой случится, пошли к доктору и тотчас же дай мне знать. Ну прощай радость моя; цалую тебя тысячу раз. Помни меня. Пожелай счастья, сегоднишний день все решит. Поскорей бы уж, да не волнуйся и не беспокойся очень. Обнимаю тебя,

Твой весь и всегда

Твой муж Ф. Достоевский.

P. S. Подробностей сколько выиграл, сколько проиграл не пишу; все расскажу при свидании. Одним словом, покамест плохо.

7.

Hombourg
Понедельник 20 Мая [1867]
10 часов утра.

Здраствуй милая моя, бесценная, единственная, сокровище и радость моя.

Милый мой друг, вчерашний день опять ничего не решил; я все еще на одной точке и леплюсь кое-как и не добился, покамест, ни до какого результата, так что и опять не выезжаю; что-то скажет сегоднишний день? Может-быть что-нибудь и будет решительное. Во всяком случае, завтра получишь от меня точное известие, т.-е. выезжаю ли я, или нет.

Ангел мой, ты не поверишь как я обрадовался и с каким счастьем прочел я, на почте, твои две крошечные писульки на двух листиках. Я их целовал и так рад, так рад был твоей любви. Она видна, в каждой строчке, в каждом выражении твоем; и как ты хорошо пишешь письма! Куда мне так написать и так выразить мое сердце, мои ощущения. Я и на яву-то, и когда мы вместе, не сообщителен, угрюм и совершенно не имею дара выразить себя всего. Формы, жеста не имею. Покойный брат Миша часто с горечью упрекал меня в этом. Милая моя, простишь-ли ты когда-нибудь меня за то, что я тебя так мучаю, покинул тебя и не еду! Твое письмо, в этом отношении, решительно измучило меня вчера, хоть ты сама и ни словом, ни мыслию не упрекаешь меня, а даже, напротив—ободряешь и утешаешь. Но ведь я чувствую все. И во-первых, я сам не сообразил еще прежде всей затруднительности, всей муки моей будущей, решаясь ехать сюда. Я твердо был убежден, что еду только на четыре дня, и не сообразил, что если внешние обстоятельства, совершенно не от меня зависящие, задержат меня, то что будет с нами обоими. Будучи вблизи, возле тебя, я не сообразил тогда, как я люблю тебя и как тяжела для нас обоих разлука. Мы уже начинаем сростаться и кажется сильно срослись вместе, Аня, и так сильно, что не заметили, я по крайней мере. Ты не знаешь, как мне хотелось, на пример вчера быть с тобою, и я со слезами молился ночью о тебе, удержаться не мог.

А вчера был день решительно пакостный и скверный. Главное все это бестолково, глупо и низко. А все-таки оторваться от моей идеи не могу, т.-е. бросить все как есть и приехать к тебе. Да теперь это почти что покамест, и невозможно, т.-е. сейчас-то. Что завтра скажет? Веришь-ли: Я проиграл вчера все, все до последней копейки, до последнего гульдена, и так и решил написать тебе поскорей, чтобы ты прислала мне денег на выезд. Но вспомнил о часах и пошел

к часовщику их продать или заложить. Здесь это ужасно все обыкновенно, т.-е. в игорном городе. Есть целые магазины золотых и серебренных вещей, которые только тем и промышляют. Представь себе какие подлые эти немцы: он купил у меня часы, с цепочкой (стоили мне 125 руб. по крайней цене) и дал мне за них всего 65 гульденов, т.-е. 43 талера, т.-е. почти в $2^1/_2$ раза меньше. Но я продал с тем, чтоб он дал мне одну неделю срока и что если я в течении недели приду выкупить, то он мне отдаст, разумеется с процентом. И представь себе на эти деньги я все-таки отыгрался и сегодня пойду сейчас выкупить часы. За тем у меня останется 16 фридрихсдоров. Я отыграл их тем, что переломил себя вчера и решительно не давал себе увлекаться. Это дает мне некоторую надежду. Но боюсь, боюсь. Что-то скажет сегоднишний день. Одним словом, завтра скажу тебе какое-нибудь в е р н о е слово.

И так, простишь-ли ты меня за все это. О, Аня! Перетерпим это время и может-быть потом будет лучше. Не мучайся очень обо мне, не тоскуй. Главное не тоскуй и б у д ь з д о р о в а: Ведь во всяком-же случае я о ч е н ь с к о р о возвращусь. А там мы вечно с тобой. Эта разлука минутная, даже полезна для нашего счастья. Она много много дала сознания. — Пиши мне побольше подробностей о себе, не пропускай ничего. Если нездорова, не скрывай и напиши это. Я здесь здоров совершенно. Вчера была прелестная погода, сегодня тоже недурна, кажется. Вчера было воскресенье, и все эти Гомбургские немцы с женами, [которые все] явились после обеда в воксал. Обыкновенно по будням играют иностранцы, и давки нет. А тут давка, духота, толкотня, грубость. Ах какие подлые эти немцы. Прощай Аня, прощай радость моя, будь весела и счастлива. Люби меня. До завтра. Обнимаю тебя крепко, крепко. Люблю беспредельно, твой весь, до последней капли

Ф. Достоевский.

Завтра напишу непременно.

На 1-ой странице приписка:

P. S. Ради бога, Аня, н е в ы с ы л а й мне сюда никаких писем, ничего не может быть такого особенно важного тем более из Москвы. Пусть подождет. А то я могу выехать отсюда каждый день и с письмом расстренемся.

8.

Hombourg
Вторник 21 мая [1867],
10 часов утра.

Милый мой ангел, вчера я испытал ужасное мучение: иду, как кончил к тебе письмо, на почту и вдруг мне отвечают, что н е т от

тебя письма. У меня ноги подкосились, не поверил. Бог знает, что мне приходило в голову, и клянусь тебе, что более мучения и страху я никогда не испытывал. Мне все приходило в голову, что ты больна умираешь. С час я ходил по саду, весь дрожа; наконец пошел на рулетку и все проиграл. Руки у меня дрожали, мысли терялись и даже проигрывая почти как-то рад был, говорил: пусть, пусть. Наконец, весь проигравшись (а [мне] меня это даже и не поразило в ту минуту) ходил часа два в парке, бог знает куда зашел; я понимал всю мою беспомощность; решил что если завтра, т.-е. сегодня, не будет от тебя письма, то ехать к тебе немедленно. А с чем? Тут я воротился и пошел опять заложить часы, (которые по дороге на почту успел выкупить), заложил тому-же, как и третьего дня, и вдруг мне мелькнула мысль: что ведь ты, в сущности, и не могла мне написать, т.-е. прислать письмо к понедельнику. В Субботу ты получила мое первое письмо, отвечала мне тут же на почте, затем уж в субботу и не писала более, потому что уж отвечала утром на почте (два лоскуточка). Поэтому в Воскресенье и не послала мне письма; в Воскресенье-же получив мое письмо (второе) отвечала мне в тот-же день и могла послать только стало-быть в Понедельник, а след. раньше Вторника (т.-е. сегодня) я и не могу получить. Все это стало для меня наконец ясно, и поверишь-ли, поверишь-ли—я точно из мертвых воскрес. Теперь пишу тебе, а сам весь дрожу: ну что если я ошибся и сегодня не будет от тебя письма? Ну что тогда будет? О, не дай бог! Теперь спешу на почту. Аня, милая, что-же ты для меня такое значишь, наконец, что я так мучаюсь? Ведь я никогда, никогда еще до такой степени не мучился и не боялся, как вчера, в тот ужасный час! Нет, Аня, сильно надо любить, чтоб так чувствовать! Господи, ну что если и сегодня не получу. Тороплюсь докончить это письмо и побегу. Если от тебя опять нет письма, то каково мне: надо ехать, а денег нет. Я и закладные за часы почти проиграл, всего у меня теперь двадцать пять флоринов, а надо расплатиться в отеле, надо заплатить за дорогу, господи! Теперь опять у меня вчерашние страхи почти возобновились

Если же ты не больна и все как следует, то, друг мой, с получением этого письма, тотчас-же займись поскорее моими делами. Слушай-же: Игра кончена, хочу поскорее воротиться; [пришли] пришли-же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать, (20) империалов. Немедленно, в тот-же день, в ту-же минуту, если возможно Не теряй ни капли времени. В этом величайшая просьба моя. Во-первых, надо выкупить часы (не пропадать-же им за 65 гульденов), за тем заплатить в отеле, за тем дорога, что останется привезу все, не беспокойся, теперь уж не буду играть. А главное спеши послать. Завтра или после завтра подадут в отеле счет, и если не будет еще денег

от тебя, надо итти к хозяину извиняться, тот, пожалуй, пойдет в полицию: избавь меня от этого мучения, т.-е. высылай скорее. И [обделыв] обделай это все сама, одна, хозяйке не говори, т.-е. не советуйся; нечего им наши дела знать. Сделать-же это легко: Поди к какому-нибудь банкиру получше, в контору (О банкире хоть на почте справься, у чиновника который письма выдает), придя в контору банкира принеси ему 20 империалов и спроси: могут-ли они тотчас-же перевести деньги в Hombourg (точнее дай адресс) такому-то, т.-е. мне, poste restante. (Разумеется могут). Затем они примут от тебя деньги, с вычетом, разумеется, за комиссию и выдадут тебе вексель на какого-нибудь здешнего, Гомбургского банкира; (не беспокойся, они уж знают на какого; у них везде есть банкиры корреспонденты). Этот вексель ты вложи ко мне в письмо, запечатай, снеси на почту (туд) и застрахуй, скажи что письмо денежное. Вот и все. А я здесь, получив от тебя письмо и деньги, пойду к банкиру и он мне по этому векселю, выдаст деньги. Ради бога, давай банкиру адресс точнее, Hombourg, а не Hambourg, напиши адресс на бумаге. Буду ждать с нетерпением. Получив-же, тотчас-же приеду.

Друг милый, у нас останется очень мало денег, но не ропщи, не унывай и не упрекай меня. Что до меня касается, то относительно денежных дел наших, я почти совершенно спокоен: У нас останется 20 империалов, да пришлют еще двадцать. Затем, воротясь в Дрезден, тотчас-же напишу Каткову и попрошу у него, прислать мне в Дрезден, еще 500 рублей. Конечно он поморщится очень, но—даст. Давши уже столько (3.000 руб.) не откажет в этом. Да почти и не может отказать: ибо как-же я кончу работу без денег. Конечно скверно; но ведь это всего на 23 листа, а ведь заработаю-же я ему. В ожидании-же ответа просидим в Дрездене. Ответ придет не раньше как через месяц. Ангел мой: мучаюсь об тебе, что ты будешь в такой скуке в Дрездене сидеть. Я-то сяду за статью о Белинском [32] и в ожидании ответа от Каткова кончу ее. А там уедем в Швейцарию и поскорей за работу. Ангел мой, может-быть это даже и к лучшему: Эта проклятая мысль, мономания, об игре — соскочит теперь с меня. Теперь опять, как и третьего года, (перед Преступлением и Наказанием) трудом возьму. Что будет, то будет. Но страшно мне, что тебе будет скучно. Об тебе, об тебе только я и беспокоюсь. Голубчик мой, кабы поскорей увидеться. Не сердись за это бестолковое письмо; я спешу из всех сил, чтоб поскорей узнать судьбу мою на почте, т.-е. есть от тебя письмо или нет? Даже весь дрожу теперь. Получу письмо и буду счастлив! Обнимаю тебя, друг мой, не тужи, не [горюй] горюй, а обо мне не беспокойся: только-бы от тебя письмо сегодня получить, и я буду счастлив. До сви-

дания, до близкого, обнимаю тебя, не мучайся, не горюй. К тому же это вовсе не так важно в сущности. Такие ли бывают неудачи в жизни, у каждого, у самого счастливого. Я же, за эти деньги, купил себе избавление от дурацкой идеи и это, может-быть, еще дешево заплатил. Ну, что будет, то будет. Обнимаю тебя крепко. Цалую бессчетно.

Твой весь, твой муж тебя обожающий

Фед. Достоев.

P. S. Ради бога, торопись с деньгами. Поскорей бы только отсюда выехать! Деньги адрессуй poste restante.

Замучил я тебя, ангел мой!

9.

Hombourg
Среда 22 мая/67
10 часов утра.

Здраствуй милый, мой ангел! Вчера получил твое письмо и обрадовался до безумия, а вместе с тем и ужаснулся. Что ж это с тобой делается, Аня, в каком ты находишься состоянии. Ты плачешь, не спишь и мучаешься. Каково мне было об этом прочесть? И это только в пять дней, а что же с тобою теперь? Милая моя, ангел мой бесценный, сокровище мое, я тебя не укоряю; напротив, ты для меня еще милее, бесценнее с такими чувствами. Я понимаю, что нечего делать, если уж ты совершенно не в состоянии выносить моего отсутствия и так мнительна обо мне (повторяю, что не укоряю тебя, что люблю тебя за это если можно вдвое более и умею это ценить); но в то же время, голубчик мой, согласись, какое же безумие я сделал, что не справившись с твоими чувствами приехал сюда. Рассуди, дорогая моя: Во-первых уже моя собственная тоска по тебе сильно мешала мне удачно кончить с этой проклятой игрой и ехать к тебе, так что я духом был не свободен; а во-вторых: каково мне, зная о твоем положении, оставаться здесь! Прости меня, ангел мой, но я войду в некоторые подробности на счет моего предприятия, на счет этой игры, чтоб тебе ясно было в чем дело. Вот уже раз двадцать, подходя к игорному столу, я сделал опыт, что если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет никакой возможности проиграть! Клянусь тебе, возможности даже нет! Там слепой случай, а у меня расчет, след. у меня перед ними шанс. Но что обыкновенно бывало? Я начинал обыкновенно с сорока гульденов, вынимал их из кармана, садился и ставил по одному, по два гульдена. Через четверть часа, обыкновенно (всегда) я выигрывал вдвое. Тут-то бы и остановиться, и уйти, по крайней мере до вечера, чтоб успокоить возбужден-

ные нервы (к тому же я сделал замечание, (вернейшее) что я могу быть спокойным и хладнокровным за игрой не более как полчаса сряду). Но я отходил только чтоб выкурить папироску и тотчас же бежать, опять к игре. Для чего я это делал, зная наверно почти, что не выдержу т.-е. проиграю? А для того, что каждый день, вставая утром, решал про себя что это последний мой день в Гомбурге, что завтра уеду, а следственно мне нельзя было выжидать и у рулетки. Я спешил поскорее, изо всех сил, выиграть сколько можно более, зараз в этот один день (потому что завтра ехать) хладнокровие терялось, нервы раздражались, я пускался рисковать, сердился ставил уже без расчету, который терялся и — проигрывал, (потому что кто играет без расчету, на случай, тот безумец). Вся ошибка была в том, что мы разлучились и что я не взял тебя с собою. Да, да, это так. А тут и я об тебе тоскую и ты, чуть не умираешь без меня [тебя]... Ангел мой, повторяю тебе, что я не укоряю тебя и что ты мне еще милее так тоскуя обо мне. Но посуди милая, что например было вчера со мною: Отправив тебе письма, с просьбою выслать деньги, я пошел в игорную залу; у меня оставалось в кармане всего на все двадцать гульденов (на всякий случай), и я рискнул на десять гульденов. Я употребил сверхестественное почти усилие быть целый час спокойным и расчетливым и кончилось тем, что я выиграл тридцать золотых фридрихсдоров, т. е. 300 гульденов. Я был так рад и так страшно, до безумия захотелось мне сегодня же поскорее все покончить, выиграть еще хоть вдвое и немедленно ехать отсюда, что не дав себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и все, все проиграл до последней копейки, т.-е. осталось всего только два гульдена на табак. Аня, милая, радость моя! Пойми что у меня есть долги, которые нужно заплатить и меня назовут подлецом. Пойми, что надо писать к Каткову и сидеть в Дрездене. Мне надо было выиграть. Необходимо! Я не для забавы своей играю. Ведь это единственный был выход—и вот, все потеряно от скверного расчета. Я тебя не укоряю, а себя проклинаю: зачем я тебя не взял с собою? Играя по маленьку, каждый день, возможности нет не выиграть, это верно, верно, двадцать опытов было со мною, и вот, зная это наверно, я выезжаю из Гомбурга с проигрышем; и знаю тоже, что еслиб я себе хоть четыре только дня мог дать еще сроку, то в эти четыре дня я бы наверно все отыграл. Но уж конечно я играть не буду!

Милая Аня, пойми (еще раз умоляю) что я не укоряю, не укоряю тебя; напротив себя укоряю, что не взял с собою тебя.

NB. NB. На случай, если как-нибудь письмо вчерашнее затеряется, повторяю здесь вкратце, что было в нем: я просил выслать мне

немедленно двадцать империалов, переводом через банкира, т.-е. пойти к банкиру, сказать ему что надо переслать, по такому то адрессу в Гомбург (адресс вернее) poste restante, такому то, 20 золотых и банкир знает уж как сделать. Просил спешить как можно, по возможности [в тот] чтоб в тот же день на почту пошло. (Вексель, который тебе дали бы у банкира надо вложить в письмо и переслать мне страховым.) Все это, если поспешишь, взяло бы времени не более часу, так что письмо могло бы в тот же день пойти.

Если ты успеешь послать в тот же день, т.-е. сегодня-же (в среду) то я получу завтра в четверг. Если-же пойдет в четверг я получу в пятницу. Если получу в четверг, то в субботу буду в Дрездене, если же в пятницу получу, то в Воскресенье. Это верно. Верно. Если успею все дела обделать то может-быть не на третий, а на другой день приеду. Но вряд-ли возможно в тот же все обделать, чтоб выехать (получить деньги, собраться, уложиться, приехать в Франкфурт и не опоздать на Schnell-Zug). Хоть и из всех сил буду стараться, но вернее всего, что на третий день.

Прощай Аня, прощай ангел бесценный, беспокоюсь об тебе ужасно, а обо мне даже нечего совсем тебе беспокоиться. Здоровье мое превосходно. Это нервное расстройство, которого ты боишься во мне— только физическое, механическое! Ведь не нравственное-же это потрясение. Да того и природа моя требует, я так сложен. Я нервен, я никогда покоен быть не могу и без того! К тому же воздух здесь чудесный. Я здоров как нельзя больше, но об тебе решительно мучаюсь. Люблю тебя, оттого и мучаюсь.

Обнимаю тебя крепко, цалую бессчетно.

Твой Ф. Д.

10.

Hombourg
23 Мая/67 10 часов утра.

Не я святая душа, ясный ты мой ангельчик, а ты, у тебя святая душа. Какое прелестное письмо ты мне прислала вчера и как я его цаловал! В моем положении такое письмо как манна небесная. По крайней мере знаю, что есть существо, которое меня на всю жизнь любит. Добрая ты, светлая прекрасная душа. Всю жизнь тебя буду любить бесконечно.

Пишу только несколько строчек, наскоро; Спешу на почту: может-быть ты уже успела выслать деньги и я их сегодня и получу. А уж как-бы [д] надо. Ни копейки нет, а сегодня наверно счет из отеля пода-

дут, потому что сегодня минет неделя как я стою, а у них у всех счеты подаются понедельно. Ну, а если не получу сегодня,—нечего делать, еще сутки потерплю, не беспокойся, милая. Да вот что еще: Вчера вдруг наступила погода холодная, да так холодно, что даже странно, ветер и дождь целый день. Сегодня хоть нет дождя, но хмурится, ветрено и холодно очень. Не знаю, как меня угораздило вчера простудить себе ухо и к вечеру прикинулись зубы. Минут пять было так, что даже дергало. Весь вечер просидел и пролежал дома, закутавшись во что попало. Сегодня хоть и прошли за ночь зубы, но в ухе все еще чувствую как-будто нездорово, а потому простудись я снова и опять заболят зубы. И потому милочка: если я и получу сегодня деньги, то может быть все еще не выеду. Боюсь я голубчик. Как я ехал сюда, я провел мучительнейшую ночь, от холода, в вагоне в моем легком пальто. А теперь еще холоднее. Дай переждать немножечко мой ангельчик. Совсем я тогда простужу зубы, на несколько лет. Позволь переждать, милочка, не ропщи на меня, не сердись. Я люблю тебя бесконечно, но ведь что же будет если я приеду домой со стонами и криками. Впрочем надеюсь, что зубы совсем теперь затихли и не возобновятся. Дай-то бог. Тогда ни минутки не замешкаю. Да и во всяком случае, всеми силами буду стараться не замешкать. Верь ты мне. Верь. Верь, что мне также хочется обнять тебя, как и тебе меня. Еще больше может-быть. Ангел мой, прости ты меня тоже за вчерашнее письмо, не прими за какой-нибудь хоть самый малейший упрек. До свидания, до самого близкого, обнимаю тебя от всей души, цалую бесчетно.

Твой бесконечно любящий тебя муж

Ф. Д.

Карандаша у меня нет, а то бы распечатал письмо на почте и уведомил тебя, получил-ли я сегодня деньги или нет. Все равно, если вчера послала во время, то уже наверно сегодня получу. Цалую тебя еще раз, бесценная моя.

P. S. Половина двенадцатого:

Твое письмо получил, а банкирского нет. Сказал мне почтмейстер, чтоб я на почту зашел в пять часов по полудни и что может быть тогда будет. Но вряд-ли. Стало быть завтра наверно получу. Сегодня-же во всяком случае выехать невозможно; не беспокойся, ангел мой, не задержусь, постараюсь всеми силами скорее.

Это хорошо, что на здешние деньги. Так и надо. Но смущает меня: что если здесь не разменяют потому, что на Francfort. А впрочем конечно разменяют.

Благодарю тебя, милая, от души целую и обнимаю.

P. S. Голубчик мой, прочти со вниманием это письмо. Холод страшный, а зубы ноют. Ну если я разболеюсь. Да потерпи-же хоть капельку. Клянусь что употреблю все силы чтоб приехать скорее.

11.

Hombourg 24 Мая/67.

Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я все проиграл что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера-же получил и вчера проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на тебя, что скажешь ты про меня теперь! Одно, и только одно ужасает меня: что ты скажешь, что подумаешь обо мне? Один твой суд мне и страшен! Можешь-ли, будешь-ли ты теперь меня уважать! А что и любовь без уважения! Ведь этим весь брак наш поколебался. О, друг мой, не вини меня окончательно! Мне игра ненавистна, не только теперь, но и вчера, третьего дня, я проклинал ее; получив вчера деньги и разменяв билет я пошел с мыслью хоть что-нибудь отыграть, хоть капельку увеличить наши средства. Я так верил в небольшой выигрыш. Сначала проиграл немного, но как стал проигрывать,—захотелось отыграться, а как проиграл еще более, тогда уж поневоле [начал] продолжал играть, чтобы воротить по крайней мере деньги нужные на отъезд и—проиграл все. Аня, я не умоляю тебя сжалиться надо мной, лучше будь беспристрастна, но страшно боюсь суда твоего. Про себя я не боюсь. Напротив, теперь, теперь, после такого урока, я вдруг сделался совершенно спокоен за мою будущность. Теперь работа и труд, работа и труд и я докажу еще что я могу сделать! Как уладятся обстоятельства дальнейшие—не знаю, но теперь Катков не откажет. А все дальнейшее я думаю будет зависеть от достоинства моего труда. Хорош будет и деньги явятся. О еслиб только дело касалось до одного меня, я бы теперь и думать не стал, засмеялся-бы, махнул рукой и уехал. Но ты ведь не можешь-же не произнести своего суждения над моим поступком и вот это-то и смущает меня и мучает. Аня, только-бы любви твоей мне не потерять. При наших и без того скверных обстоятельствах, я извел на эту поездку в Гомбург и проиграл слишком 1.000 франков, до 350 рублей! Это преступление!

Но не оттого я истратил, что был легкомыслен, жаден, не для себя, о! у меня были другие цели! Да что теперь оправдываться. Теперь поскорей к тебе. Присылай скорей, сию минуту денег на выезд,—хотя-бы были последние. Не могу я здесь больше оставаться, не хочу здесь сидеть. К тебе, к тебе скорее, обнять тебя.

Ведь ты меня обнимешь, поцалуешь неправда-ли? Ох еслиб не скверная, не холодная эта сырая погода, я вчера по крайней мере хоть-бы в Франкфурт переехал. И не было-бы ничего, не играл-бы! Но погода такая, что мне с моими зубами и с моим кашлем возможности не было тронуться, чтоб проехать целую ночь в легком пальто. Это просто невозможное дело, это был прямой риск схватить болезнь. Но теперь не остановлюсь и перед этим. Сейчас-же по получении этого письма вышли 10 империалов, (т.-е. точно также как—тот вексель Robert Thore, и тут вовсе не надобно собственно империалов, а просто Anveisung, как прошлый раз. Одним словом, точно также, как прошлый раз). Десять империалов, т.-е. 90 с чем то гульденов, чтоб только расплатиться и доехать. Сегодня пятница, в Воскресенье получу и в тот же день в Франкфурт, а там возьму Schnellzug и в Понедельник у тебя.

Ангел мой, не подумай как-нибудь, чтоб я и эти проиграл. Не оскорбляй меня уж до такой степени! Не думай обо мне так низко. Ведь и я человек! Ведь есть же во мне сколько-нибудь человеческого. Не вздумай как-нибудь, не доверяя мне, сама приехать ко мне Эта недоверчивость к тому что я не приеду—убьет меня. Честное тебе слово даю, что тотчас поеду, не смотря ни на что, даже на дождь и холод. Обнимаю тебя и цалую. Что-то ты теперь думаешь обо мне. Ох кабы мне тебя видеть в ту минуту, как ты читаешь это письмо!

Твой Ф. Д.

P. S. Ангел мой, обо мне не беспокойся! Повторяю, еслиб я был сам по себе, я-бы только засмеялся и плюнул. Мне ты, твое суждение одно мучительно! Вот что только одно меня и мучает. А я—замучил тебя! До свидания.

Ох кабы поскорее к тебе, поскорее вместе, мы-бы что-нибудь выдумали.

12.

Hombourg.
25 Мая/67, Суббота, 10 часов утра.

Аня, ангел мой, единственное мое счастье и радость,—простишь-ли ты меня за все и все мучения и волнения, которые я заставил тебя испытать. О, как ты мне нужна. Вчера сидел целый вечер один, пробовал читать мои три перечитанные книжонки; а в голове все одно стучит, одно: что-то ты? Что с нами будет теперь? Я не говорю про дальнейшее. Дальнейшее просто неразгаданно. Но бог спасет как-нибудь. Я и никогда в жизни моей дольше шести месяцев не расчитывал, также как и всякий, живущий одним своим трудом, чуть не

поденным. На труд-то вот я и надеюсь теперь. Пойми Аня: он должен быть великолепен, он должен быть еще лучше Преступл. и Наказ. Тогда и читающая Россия моя, тогда и книгопродавцы мои.

В дальнейшее будущее наше я верю, только-бы бог дал здоровья (а здесь припадков не бывает).

Но ближайшее дальнейшее неразгаданно (время когда придется возвращаться в Россию, с долгами и проч.). Уж и не знаю что будет. Теперь-же серьезно и решительно верю в помощь Каткова. (Помогши раз и увидев, что я к зиме работу кончу, поможет и другой, поможет и зимой, когда приедет, беда в том что все будет мало). Но теперь-то только-бы переждать, теперь-то только-бы быть обеспеченным, до присылки от Каткова. А с чем? У нас и тридцати талеров верно не наберется. Одна надежда, что пришлет мамаша. Удивительно, что там происходит и почему не высылают. Одно меня ободряет: еслиб нельзя было прислать, то верно написали-бы. Да и никто из них не пишет. Странно. Может быть выслать не умеют. Авось уведомят.

К тебе, к тебе Аня, теперь только и мысли чтоб поскорей к тебе. Вместе сойдемся, вместе обо всем переговорим, обо всем перетолкуем. Жду завтрашнего дня с нетерпением болезненным. Не смотря ни на какую погоду поеду и с вечера начну упаковываться. Одна беда: Раньше двенадцати часов наверно не получу письма (коли денежное) а может и в четыре по полудни. Но во всяком случае выеду и ни за что не останусь. Еще беспокойство одно есть: вчера подали счет хозяйский за неделю, ужасный счет, я отговорился, что еду в Воскресение и разом заплачу. Нахмурились, но еще молчат. Но вот беда: Счет еще подростет к воскресению и боюсь, что присланных денег не хватит на проезд и на счет. Поеду в третьем классе. Застану-ли в Франкфурте Шнель-цуг. (Ничего-то здесь узнать нельзя). Не пришлось бы ночевать где-нибудь. Погода-же ужасная, холодная и дождливая. Ночи как у нас в Октябре, но нужды нет,—непременно поеду, Надену двойное белье, две рубашки и проч. Но авось все сойдет хорошо. Аня, ангел, только-бы к тебе мне приехать, поскорее, а там все уладится исподволь. Как приеду—сейчас напишу к [Каткову] Каткову. Может ответ прийти и через 2 недели, но надо расчитывать на месяц. Я решил просить тысячу, хотя бы с рассрочкой. Тогда переедем, поскорее в Швейцарию. Проезд будет стоит 50 талеров, но ничего! И там за работу!

До свидания Аня, сердце мое! После завтра у тебя, меньше чем через 48 часов. Часы считаю. Дай бог, чтобы все удалось! Прости меня, ангел, прости сердце мое.

Твой Ф. Д.

13.

Hombourg.
26 мая/67, 10 часов утра.

Милый ангел, пишу на клочке; бумага и пакеты все вышли; взял хозяйской. Если получу сегодня от тебя деньги, то постараюсь изо всех сил сегодня же и поехать. Поезд отсюда идет в 3 часа 20 минут, но застану ли во Франкфурте—не знаю. В Шнель-цуге, как мне сказали нет третьего класса; если же поехать в третьем классе (не в Шнель-цуге), то надо ночевать дорогой: одно на одно и выйдет. А Шнель-цуг дорог. У хозяев счет дойдет сегодня до 70 гульденов. Останется 20, а 20 minimum стоит один Шнель-цуг. Без копейки ехать нельзя; но так как я имею непременное желание выехать, то как нибудь обделаю. Одно всего больше беспокоит: холод. Простужусь—хуже будет. По газетам в Берлине холера, а в Париже, третьего дня, 24 Мая ночью был мороз, яблони и вишни пропали, никогда не запомнят. Все покрылось инеем а днем, 24 мая был снег и град. Вчера здесь в Гомбурге, днем дыхание замерзало. Попробую надеть двойное белье, а там что бог даст. Во всяком случае, ангел мой вечный не беспокойся. Я всеми силами хочу выехать. Если завтра не приеду и вместо меня получишь это письмо, то знай, что что-нибудь не уладилось, какая-нибудь мелочь, какое-нибудь обстоятельство, а что я всетаки на выезде. Обнимаю тебя мое сокровище крепко, цалую бессчетно, люби меня, будь женой, прости, не помни зла, нам ведь всю жизнь прожить вместе.

Твой вечный и верный
Фед. Достоевский.

Воскресение сегодня, вряд ли конторы будут отперты чтоб разменять. Да вот что: Если получу не утром, а в 5 часов по полудни. Ох не желал-бы.

Ангел, друг мой, прости меня.

14.

Bains-Saxon.
5-го октября 1867 г. 6 часов.

Милый друг мой, возлюбленный мой ангел, Аничка (и Сонечка [33]). Со мной случилось, с первого шага скверное и комическое приключение. Вообрази, друг милый, что как ни глядел я, во все глаза, а проехал Bains-Saxon мимо. Три станции, а образумился в городке Sion, где и вышел, доплатив еще им, разбойникам, 1 ф. 45 сант. Каково! Не имею понятия как это устроилось. Я каждую станцию смотрел.

Дорога была скверная, холод, дождь ужасный и град. Как нарочно, когда я подъезжал к Bains-Saxon прояснело. А я их то и проехал.

Дорогой читал. 90 сантим. проел. Виды—восхищение! Истинно сказать, Женева стоит из всей Швейцарии на самом пакостном месте. Веве, Vernex, Montreux, Chillion и Вильнев—удивительны. И это в дождь и в град. Что-же было-бы при солнце. Горы очень высоки и очень снежны. Холод.

В Сионе прождал час и поел. В Restaurant у станции дали сосисок и супу. Это ужас ужасов! Стоило франков.

В 5 часов взял билет, заплатил опять 1 ф. 45 сант. и теперь сейчас только, в 6 часов приехал в Saxon les Bains. Ничего еще не видал. Сумерки полные. Saxon—деревнюшка жалкая. Но отелей много и на большую ногу. Сейчас объявили (без спросу моего) что тут рулетка и не угодно-ли на рулетку.

Спросил про письмо: Сказали, что из отеля пойдет в 10 часов и что раньше нельзя. Я и принялся писать, заказав росбиф и кофей, ибо совсем голоден.

Вот и все Аничка, дальше не знаю что будет, что бог даст.

Ангел, ангел милый, береги Соню, береги себя будь весела.

Сколько-бы хотел тебе рассказать. Всю дорогу ты мне представлялась. В Сионе на одной картинке видел твой портрет. У хозяйки дочка, 9 месяцев, хохочет и ко мне ручки протягивает. Я об тебе сейчас вспомнил. Милая, здорова-ли ты. То-то буду мучиться—по вечерам.

Я думаю что наверно приеду завтра.

Поездов завтра три отсюда: в 5 часов утра, в 11 часов утра, и в $5^3/_4$ вечера.

Прощай, ангел милый, обнимаю и цалую тебя Соню, Соню береги! Цалую твои ручки и ножки. Твой муж верный и любящий

Ф. Достоевский.

P. S. Письмо я положу в ящик отеля сейчас. Пойдет оно на почту сегодня в 10 часов. Но сама почта в Женеву пойдет не раньше как завтра утром в 5 часов утром. Стало быть ты раньше 12 часов не получишь. Я же, если поеду завтра, что я думаю наверно, поеду не иначе как в 11 часов утра. Следств. буду в Женеве в $5^1/_2$ часов вечера.

Если же поеду отсюда с последним вечерним поездом в 6 часов, то приеду в 12-м часу ночи [34].

До свидания ангел милый

Твой Ф. Достоевский.

15.

Воскресенье 6-го октября.
Saxon les Bains.
7½ часов вечера.

Аня, милая, я хуже чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1.300 фр. Сегодня—ни копейки. Все! Все проиграл! И все оттого, что подлец лакей в Hotel des Bains не разбудил, как я приказывал, чтоб ехать в 11 часов в Женеву. Я проспал до половины двенадцатого. Нечего было делать, надо было отправляться в 5 часов, я пошел в 2 часа на рулетку и—все, все проиграл. Осталось 14 франков — ровно чтоб доехать. Иду в 5 часов на железную дорогу — объявляют что прямо в Женеву нельзя доехать, а надо ночевать в Лозанне. Вот сюрприз! А у меня всего 14 франков. Я беру кольцо, отыскал такое место чтоб заложить, обещались к 8 часам дать денег, но говорят 10 франк. Теперь я переехал ночевать к другому хозяину, Mr. Орса (пансион). Завтра утром хочу отправиться в 5 часов. Буду в Женеве в 11. Если не приеду—значит что нибудь задержало. Это письмо посылаю на случай, потому что приеду может быть раньше его. Я здоров. Аня, судьба нас преследует. Успел получить твое милое письмецо. Душа ты моя, радость ты моя! Не думай обо мне, не убивайся! Брани меня скота, но люби меня. А я тебя люблю безумно. Теперь чувствую как ты мне дорога.

До свиданья, до скорого.

Твой весь Ф. Достоевский.

16.

Saxon les Bains.
Воскресенье. (16) 17 ноября, 67.

Милый мой голубчик, радость моя Анечка (с Соничкой и Мишкой [35]) целую вас всех троих, (если надо), крепко, а тебя Аня 50 раз. Что ты милый голубчик? Как ты время проводила? Здорова-ли ты? Из ума ты у меня не выходила. Приехал я без четверти четыре. Что за день! Что за виды дорогою! Это лучше вдвое, чем в прошлый раз. Какая прелесть н. прим. Vevey, не говорю уж об Montreux. Я подробно разглядывал Веве. Этот хороший город, в котором вероятно и хорошие квартиры есть и доктора и отели. На всякий случай, Аничка, на всякий случай; хотя наши старушенки тоже чего-нибудь стоят и помогут при деле. Ах голубчик, не надо меня и пускать к рулетке! Как только проснулся — сердце замирает, руки—ноги дрожат и холодеют. Приехал я сюда без четверти четыре, и узнал, что рулетка до 5 часов. (Я думал, что до четырех). Стало быть час оставался. Я побежал.

С первых ставок спустил 50 франков, потом вдруг поднялся, не знаю насколько, не считал; за тем пошел страшный проигрыш; почти до последков. И вдруг на самые последние деньги отыграл все мои 125 франков и кроме того в выигрыше 110. Всего у меня теперь 235 фр. Аня, милая, я сильно-было раздумывал послать тебе сто франков, но слишком ведь мало. Еслиб по крайней мере 200. Зато даю себе честное и великое слово, что вечером, с 8 часов до 11-ти, буду играть жидом, благоразумнейшим образом, клянусь тебе. Если же хоть что-нибудь еще прибавлю к выигрышу, то завтра-же непременно пошлю тебе, а сам наверно приеду после завтра т.-е. во Вторник.

Не знаю когда пойдет к тебе это письмецо.—Сейчас меня прервали, принесли обедать. Забыли хлеба. Сошол вниз спросить, и вдруг хозяин отеля, встретив меня (и подозревая, что я Русский) спрашивает меня: „Не к вам-ли пришла телеграмма?“ Я так и обмер. Смотрю: A Mr. Stablewsky. Нет, говорю, не ко мне. Пошол обедать и сердце не на месте. Думаю: С тобой что-нибудь случилось, хозяйки или доктор подали телеграмму по твоей просьбе; имена Русские все коверкают, на почте исковеркали,—ну что если от тебя ко мне?. Сошол опять: Спрашиваю: нельзя-ли узнать откудова телеграмма? (Так-бы кажется и распечатал, прочел) говорят: Из Пруссии. Ну, слава богу!. А уж как испугался, господи!

Анечка, милая, радость ты моя! Все это время об тебе буду думать. Береги себя! Умоляю тебя, цалую тебя. Голубчик мой, как я раскаяваюсь: давеча я был такой нервный, так сердился, кричал на тебя. Ангел ты мой, знаешь как я тебя люблю, как обожаю тебя. Люби только ты меня.

До свидания милая. До вторника наверно. Цалую тебя миллион раз и обожаю на веки, твой верный и любящий

Федор Достоевский.

Здоровье мое очень хорошо. Право прекрасно себя чувствую. Дорога хорошая помогла.

Молюсь об тебе и об них.

На поле последней страницы написано:

Аня, милая, не надейся очень на выигрыш, не мечтай. Может быть и проиграюсь, но, клянусь, буду как жид благоразумен.

17.

Saxon les Bains.
18 ноября/67, Понедельник.

Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, Ангел мой, не печалься и не беспокойся. Будь уверена что теперь настанет, наконец время, когда я буду достоин тебя, и не буду более тебя об-

крадывать, как скверный, гнусный вор! Теперь роман, один роман спасет нас, и еслиб ты знала как я надеюсь на это! Будь уверена, что я достигну цели и заслужу твое уважение. Никогда, никогда я не буду больше играть. Точно тоже было в 65-м году [36]. Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла. С любовью и с надеждой примусь за работу и увидишь что будет через 2 года.

Теперь-же ангел мой не беспокойся. Я надеюсь и рвусь к тебе, но до четверга двинуться не в состоянии. И вот почему: узнай все:

Я заложил и кольцо и зимнее пальто и все проиграл. За кольцо и пальто надо будет заплатить 50 франков, и я их выкуплю—(увидишь как). Но теперь не в том дело. Теперь три часа по полудни. Через полчаса я подам это письмо и пойду взять на почте твое, если есть (Утром толкался на почту—никого там нет, никто не сидит). Таким образом мое письмо пойдет завтра—или в 5 часов утра или в одиннадцать—не знаю. Но во всяком случае ты завтра его получишь. Но в [это] отели за все это время я задолжаю и выехать мне будет нельзя. И потому умоляю тебя Аня мой ангел-спаситель: Пришли мне чтоб расплатиться в отели 50 франков. Если в среду, утром рано или завтра во вторник вечером успеешь послать, то я получу в среду вечером и в Четверг, утром, или в 6-м часу вечера, буду у тебя.

Друг мой, не печалься что я разорил тебя, не мучайся за наше будущее. Я все, все поправлю!

Друг мой, я попрошу у Огарева [37] 300 франков до 15-го декабря. Во-первых он не Герцен [38], а во-вторых, хоть и тяжело мне это до мучительной боли,—я все таки не свяжу себя ничем нравственно. Я выговорю это, занимая, я благородно скажу ему. Наконец он поэт литератор, у него сердце есть, и кроме того сам он ко мне подходит и ищет во мне стало-быть уважает меня. Он не откажет мне на эти три недели.

В то же время напишу Каткову (который тоже не откажет) чтоб, в виде исключения прислал мне в декабре не 100 а 200 (а остальные 200 руб. по уговору, помесячно). 15 декабря мы Огареву заплатим 300 франков и у нас останется еще 380 франков.

Между тем из занятых теперь у Огарева 300 ф. мы заплатим: за пальто и кольцо—50 ф. за твои платья 80 ф. За брилианты 150 ф. [39]. Итого 280 франков. Останется почти ничего, но зато останутся вещи. Без уплаты хозяйкам за одни брилианты и кольца можно прожить до получения денег. 15 Декабря можно опять выкупить и опять заложить и так будет продолжаться месяца три, а через три месяца я уже доставлю Каткову романа на три тысячи и уж наверно он [пошлет] пришлет тогда по моей просьбе, к твоим родинам [40], по крайней мере 300 ф. а [мож] еще через 2 месяца и еще 500.

Что же касается до трат на счет нашего будущего гостя и ангельчика, то я за это время, изобрету и достану деньги. Будем лезть из всех сил, сначала по маленьку, а потом поскорей и дело сделаем!

Аня, милая, ради бога не тревожься! Я теперь здоров, но каково мне будет сидеть до Четверга и ждать минуты, когда увидимся! Аня, я недостоин тебя, но прости мне за этот раз. Я еду с крепкой надеждой, и клянусь, обещаю тебе в будущем счастье. Люби только меня, так как и я тебя: бесконечно, вечно люблю. Не считай теперешних поступков моих за легкость и за маловесность моей любви. Бог видит как я сам наказан, и как я мучился. Но всего более мучаюсь за тебя. Боюсь что теперь ты будешь одна (до Четверга) тосковать, плакать, мучиться, не будешь беречь себя. Ангел мой святой, Аня, пойми что я серьезно говорю, что другая жизнь начинается; увидишь меня наконец на деле. Спасу и поправлю все. Прошлый раз я приезжал убитый, а теперь надежда в моем сердце, только одна мука — как дожить до Четверга! Прощай.

На поле 4 стр. приписано:

Мой ангел, до свидания, обнимаю и цалую тебя. О зачем, зачем я от тебя уехал! Цалую тебя твои руки и ноги твой вечно любящий

Федор Достоевский

На 2 стр. приписано:

P. S. Деньги пошли так: Заверни 50 франковой билет (который достань у менялы) в письмо, вложи в конверт и прошли Saxon les Bains, poste restante, recommandé!

P. S. Но ради бога, не горюй, не печалься, как подумаю что ты заболеешь в эти дни—сердце кровью обольется! И я мог тебя оставить! Не знаю как и дожить до Четверга.

Не подумай, ради Христа, что я буду играть на эти 50 франков. О ради Христа не подумай! Сейчас к тебе.

Я [пойду] потому приеду в шестом часу, (а не утром) что здесь, в этом проклятом отеле, никаким образом нельзя добиться, чтоб разбудили в четыре утра.

1868 г.

18.

Saxon les Bains.
Суббота, 4-го Апреля [1868 г.]

Милый мой ангел Нюта, я все проиграл, как приехал в полчаса все и проиграл. Ну что я скажу тебе теперь, моему ангелу божьему, которого я так мучаю. Прости Аня, я тебе жизнь отравил! И еще имея Соню!

Я снес кольцо; она кольцо взяла, но с большим отвращением и денег мне не дала, потому что говорит нет, а сказала притти за ответом в 7 часов. Теперь 6¼. Но говорит что больше 10 франков не даст. Просто за просто, по всему видно, она трусит и что ее скрутили, т. е. здешним начальством запрещают давать ей. Она даже проговорилась мне. Я буду умолять, чтобы она дала не 10, а 15 франков. Но не только с 15-ю а и с 20-ю франками (которых она наверно не даст)—мне уже нельзя теперь приехать. На отель надо все-таки положить хоть 17 франков, проезд франков 8 и того 25 фр. А у меня—ничего, ровно ничего [ни одного], несколько сантимов.

Чтобы ни было Аня, а мне здесь невозможно оставаться. Выручи ангел-хранитель мой, (Ах ангел мой, я тебя бесконечно люблю, но мне суждено судьбой всех тех кого я люблю мучить!)

Пришли мне как можно больше денег. Не для игры (поклялся бы тебе, но не смею, потому что я тысячу раз тебе лгал). Вот счет самого худшего положения, хотя может быть и лучше, но я беру самое худшее, потому что это вернее.

Если твои деньги придут после завтра утром, то в отеле надо считать дня за четыре

итого minimum	60 фр.
На проезд	10 „
Для выкупа кольца	20 „
итого	90 фр.

Ангел мой, пришли 100 фр. У тебя останется 20 или меньше, заложи что-нибудь. Только бы поскорее к тебе!

Играть не буду. Твои письма получал я прежде (с деньгами) утром (в последний раз до 9 часов) так что тотчас же успел и отправиться. Если получу теперь тоже утром, то мне будет время одуматься и я не пойду играть (игра начинается с 2-х часов).

— Я брал самое худшее. И потому я может быть наверно не истрачу 90 франков. Но если останется из присланных тобою ста за всеми расходами, даже сорок франков, то не пойду играть, а все привезу к тебе.

Слушай еще: в 7 часов эта гадина даст мне от 10 до 15 фр. Так как все равно мне ничего с этими деньгами нельзя будет сделать, а жить здесь для меня ужас, то я пойду их поставлю. Если только выиграю 10 франков, то завтра же утром, не дожидаясь твоего письма, отправлюсь к Вам, для письма же дам здесь, на почте свой адресс в Женеве, с тем, что когда, без меня, придет твое рекомандированное * письмо и 100 фр., то чтоб немедленно мне переслали письмо в Женеву, по моему адрессу.

Вот шанс, по которому я может быть еще могу воротиться завтра. Но боже мой! какой слабый шанс!

Прости Аня, прости милая! Ведь я как ни гадок, как ни подл а ведь я люблю Вас обеих, тебя и Соню (вторую тебя) больше всего на свете. Я без вас обеих жить не могу.

Ради бога обо мне не грусти (клянусь тебе, что я [впри] бодрее смотрю, чем ты думаешь; а ты до того меня любишь, что наверно будешь обо мне грустить).

Не жалей этих ста франков Аня! С Майковскими [41] у нас все-таки 200 будет, а я как приеду, тотчас же исполню одно намерение: Ты знаешь, что я должен писать Каткову. Ну так я знаю что теперь напишу к нему! И будь уверена, что имею надежду. Я имел это в виду еще три дня назад.

Прости, прости меня Аня! Ноги твои цалую, прости своего [пус] беспутного. Соня-то, Соня-то, милая, ангел!

О не беспокойся обо мне! Но об тебе, об тебе как я буду беспокоиться. Что если 4 дня вместо одного!

Обнимаю, цалую вас обеих, бесконечно люблю, береги Соню, береги изо всех сил, хозяйке и всем скажи что получила письмо и что я может быть еще дни два не приеду!

Как я буду без вас!

У меня-то еще есть занятие. Я буду сочинять или письма в Россию писать. Но ты, ты! Ты все будешь плакать! О Аня! чем я рискую?

---

* Застрахованное. *Ред.*

Ведь у тебя молоко пропасть может. Не жалей этих 100 франков, ворочу, только бы мне самому-то (*на поле приписка*): скорее к тебе воротиться! Твой и Сонин на-веки, вознагражу, любовью вознагражу!

Твой Ф. Достоевский.

(*На второй странице*):

Не считай Аня моего требования 100 франков сумасшедшим. Я не сумасшедший! И [про] порочным не считай тоже: не сподличаю, не обману, не пойду играть. Я только для верности спрашиваю.

Работать буду теперь день и ночь. Приехав в Женеву, в Сентябре прошлого года, мы были еще в худшем положении.

19.

Bains-Saxon.
4-го Апреля, 9½ часов вечера [1868 г.]

Ангел Аня, вместо [себя] меня придет к тебе завтра в 5 часов, это письмо,—если только ты вздумаешь наведаться вечером на почту. (Очень может быть, что не вздумаешь, в горе, за хлопотами с Соней, (которой я недостоин). Какой я отец?) А главное—так-как уже получишь утром от меня письмо.—А между тем хорошо-бы еслиб и это письмо ты прочла завтра!

Дело в том что от этой подлой M-me Дюбюк я получил, в 7 часов, сегодня, 20 франк. но так как у меня было только 50 сантимов и 20-ти франков, во всяком случае бы не достало расплатиться и к тебе приехать, то я пошол играть в 8 часов и—все проиграл! У меня теперь те же 50 сантимов. Друг мой! Пусть это будет моим последним и окончательным уроком. Да, урок ужасен.—Слушай милая, как-то раз, т.-е. в последний раз прежде ты мне прислала очень скоро деньги—так что я мог с утренним поездом и отправиться. Самое скверное, т.-е. долгое будет если я возвращусь во Вторник. Но еслиб бог сделал так, чтоб они пришли в понедельник рано, то я-б мог может-быть, приехать и в Понедельник! О, еслиб это могло только случиться!

N. B. (Кстати, на случай если мое письмо сегодняшнее, пущенное к тебе в 6 часов, не дойдет до тебя (т.-е. пропадет, чего кажется быть не может) то объявлю тебе, что я в нем писал о том что все, до тла проиграл и кольцо заложил, и что мне нужно в самом скором времени 100 фр. При этом умолял тебя, чтоб ты не тосковала, что так много, 100 фр., т.-е. почти все и давал тебе последнее и великое слово мое—уже более не играть, а прямо получив эти 100 франков к тебе ехать).

Теперь, ангел мой радостный, ненаглядный, вечный и милый—выслушай то́ главное, которое я намерен теперь сказать тебе!

И во-первых, знай, мой Ангел, что еслиб не было теперь этого скверного и низкого происшествия, этой траты даром 220 фр., то может-быть не было-бы и той удивительной, превосходной мысли, которая теперь посетила меня, и которая послужит к окончательному общему нашему спасению! Да мой друг, я верю, что может-быть бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это для меня беспутного, и низкого, мелкого игрочишки, вразумив меня и спасая меня от игры—а стало-быть и тебя и Соню, нас всех, на все наше будущее!

Выслушай-же.

Эта мысль мерещилась мне еще до отъезда моего сюда; но она только мерещилась, и я бы ни за что ее не исполнил, еслиб не этот толчок, еслиб не эта беспутная потеря последних крох наших. А теперь исполню. Я, признаюсь тебе, даже нарочно медлил писать к Каткову, что́ уже неделю тому назад надо-бы было сделать (чтоб извиниться на счет моего опоздывания). Я ждал результата поездки моей сюда. Теперь-же, проигравшись весь, весь завтрашний день просижу над этим письмом и напишу его здесь, т.-е. вполне приготовлю. Как только ворочусь в Женеву,—в тот-же день и пущу в Москву.

В этом письме, совершенно откровенным и прямым тоном объясню ему все мое положение. Это письмо до того будет искренно и прямодушно, что мне кажется я безо всякого труда буду писать его.

Начну с того, что объясню ему причину почему опоздал. Причина случайная,—родины. Этого больше не повторится (т.-е. опаздывания) он поймет это. За тем скажу ему, что и мое и твое здоровье в Женеве только расстроилось, что переехать в лучший климат и мне, и главное тебе советуют доктора, и что это только и способно меня успокоить.

Но так-как я не могу теперь, ни в каком случае, рассчитывать на большие средства, да и времени у меня нет чтоб переезжать, то и намерен, (т.-е. желаю ужасно) переехать недалеко, два шага от Женевы, в город Вевей, на правом берегу озера, где нет бизы и резких перемен климата.

В этом городке, где прекрасный и здоровый климат, но который ужасно похож на дачу, т.-е. на деревню,—я проживу в полном уединении до окончания моего романа [42]. А уединение и спокойствие мне для этого необходимо. К осени роман будет окончен; присылать буду безостановочно. Тем временем жена моя поправит здоровье и мы выкормим наше дитя, не боясь простудить его, вынося на внезапную здешнюю бизу.

За тем напишу ему, что мне тяжело уже жить за границей. Между тем есть 3000 руб. вексельного долгу. Вся надежда моя на роман и на

успех его. Я душу мою в него хочу положить, и может быть он будет иметь успех. Тогда вся будущность моя спасена. Роман будет кончен осенью, и если будет хорош,—у меня купят на второе издание. (Разумея, что если Каткову весь долг уплатится, т.-е. отпишется) тогда я, воротясь, прямо предложу кредиторам второе издание!.

И так скажу ему: от Вас Михаил Никифоровичь зависит все мое будущее! Помогите мне теперь кончить этот роман хорошо (а мне мерещится, что он будет хорош)—поддержите меня теперь, дайте мне возможность хорошего климата и уединения вплоть до осени,—и вот чего я желаю:

Взял я у вас, Михаил Никифоровичь, всего теперь 5060 р. [43] перед. [Из] Но так как доставлено мною романа почти 12 листов, то можно считать примерно, что за мной остается теперь около 3300 р. Я прошу прислать мне теперь еще 300 р. долгу будет стало-быть 3600 р., но менее чем в два месяца я пришлю еще от 10 до 12 листов, стало-быть долгу будет уже только около 2000.

До полной присылки этих 10-12 листов, т.-е. полной 2-й части (или по прежнему счету 3-й и 4-й части) я обещаюсь денег больше не просить. Но после присылки, через два месяца, попрошу еще, [рублей] но зато еще через два месяца, придет 3-я часть, т.-е. 5-я и 6-я и тогда за мной останется всего только о д н а т ы с я ч а не более, а может быть менее. Но за тем будет еще 4-я часть (т.-е. 7-я и 8-я) и я вполне мой долг выплачу.

(N. B. Я действительно не помню как я решил в последнем свидании с Катковым, по 150 р. [44] лист или по [150] 125 считал. Это я ему и напишу: т.-е. если роман будет хорош, т.-е. произведет эффект, то 150 (если так условлено, если же не очень хорош, а только хорош, то по чрезвычайной его величине (40 листов) я согласен взять и по 125 р.).

Триста рублей, т.-е. почти сейчас, мне нужно главное теперь потому (если только возможно, чтоб мой переезд состоялся)—что как мы ни считали с женою, а все таки менее 1000 франков, чуть-ли не на два месяца, с переездом и уплатою мелких долгов невозможно!

Итак в руках [Каткова] ваших Михаил Никифоров. почти моя участь.

Во всяком случае 2-е издание Идиота все таки принадлежит Вам, до тех пор, пока я не уплачу Вам всего, т.-е. не кончу романа, а там к вам же обращусь с просьбою дать мне средства переехать к осени в Россию.

Вот содержание моего письма [45]. Прибавлю еще, что в видах твоего и моего здоровья и всех наших обстоятельств, попрошу его отвечать мне немедленно. С этим ответом для меня сопряжено почти все, а вы, скажу ему, слишком благородный человек, чтоб обидеться этою прось-

бою отвечать скорее. Вы для меня [скажу] почти Провидением были все это время и через Вас я счастлив тем, что еще год назад дали мне помощь для брака. Вот как я на вас смотрю.

И так [как] вот какое письмо, милый Ангел мой Аня, хочу я послать Каткову в тот-же день как приеду. Клянусь тебе друг мой, что я надеюсь на благоприятный ответ!

Теперь выслушай Аня далее.

Ответ от Каткова и 1000 ф. придут (я твердо надеюсь что придут) 1-го Мая здешнего стиля. Я в этом уверен как в боге. Весь вопрос теперь заключается собственно в нас самих т.-е. во мне и тебе, и как бог нам даст сладить это дело; Дело-же и весь вопрос в следующем:

Удастся ли нам, к 1-му Мая здешнего стиля (когда Катков уже пришлет ответ) сделать так, чтоб за всеми уплатами и за всеми расходами и с переездом (к 1-му Мая) в Вевей—сохранить 400 или по крайней мере 350 франков? Выслушай:

Я так рассчитываю: Закладов около 200 франков будет, то что возьмет кредит, M me Ролан [46] и проч. тоже [рублей] 100 франков. Жосселен [47]—200 франков (на худой конец) и наконец 100 франков для твоих летних платьев (это во что-бы то ни стало!) [48].

И того стало быть—на 600 франков. Значит останется 400 фр. (Но мы с тобой, когда ворочусь разочтем все подробно. Может-быть M-me [Josslin] Жослен и больше возьмет. Но это ничего! Главное поскорей из Женевы!) Теперь:

Про Вевей мы еще с тобой много поговорим, но однако я [полу] полагаю, что мы там уже не 100 франков, а много что 50 будем за квартиру платить. Да и пища конечно дешевле. Переедем через озеро, Жозефину [49] с собой возьмем.

Если даже останется только 300 франков чистых, со всеми расходами, по приезде в Вевей то и эти 300 франков все таки не мало. потому что в Вевее наверно все дешевле Женевского.

Теперь ангел мой, милая, радость, небо мое бесконечное, жена моя добрая,—одна у меня забота! Выслушай:

Эта забота—что будет с тобою? Вевей городок еще меньше Женевы. Правда, местоположение картинка, и климат прелестный, но ведь ничего-то нет более, кроме может быть библиотеки. Правда, в шести верстах, не более—Vernex Montreux, там музыка, воксал, гуляния и проч.—но все таки опять уединение до осени! Скучно тебе будет моему ангелу и вот чего я боюсь!

Для того-ли я взял тебя от матери, чтоб ты так скучала и такую тяготу выносила? но милая подумай в чем наше теперь главное:

Главное—это успех моего романа! (О прочь теперь игру, проклятый мираж, ничего не будет подобного никогда более!) Если-же роман успеет,—то и все спасено. И ктому-же его надо кончить непременно как можно скорее, к осени. Стало быть во всяком случае путешествовать уж нельзя было, до времени, а надо было на месте сидеть. Женева мне опротивела. В Вевее-же мы будем как в деревне, как на даче. Я буду писать день и ночь, и новое место меня надолго успокоит, припадки в прелестном климате утихнут, Женевская тоска пройдет может быть. В виду буду иметь то, что если кончу роман и удачно и скоро, то скорее освобожусь. Через два месяца я попрошу еще рублей 300 или 400. Следственно жить будет чем. Между тем ты там поправишься тоже здоровьем в хорошем климате, и мы, к окончанию романа выкормим и укрепим Соню. (О еслиб мамаша приехала! [50] Как-бы помогла она нам во всем!) Затем к осени, когда кончится роман, и весь долг Каткову, (или около того) выплатится—я попрошу рублей 1000, и в Сентябре, в половине или в конце, мы оставим Веве и поедем через Италию, которую я хочу показать тебе, через Флоренцию, Неаполь, Венецию, Вену—в Россию. (Если будет мамаша, то предварительно можно посетить два-три места в Швейцарии). В Россию мы приедем конечно без денег, но если успех романа, (о чем я увижу, услышу и мне знать дадут) то я получу и заказы и продать Идиота могу. Я прямо скажу кредиторам: Если вы посадите меня теперь, т.-е. потребуете, чтоб я сейчас продал роман, то я продам его за бесценок. Подождите на мне месяца четыре—и я с вами расплачусь.

Чем мы будем жить в России? Но в России я найду средства, найду новую работу, новый заказ.

И так все от романа и от успеха и от поездки нашей в Вевей зависит. Может быть все будущее. И чем дальше тем легче будет. И может быть года через три, мы окончательно на хороших ногах будем стоять!

Аня, милая! не знаю как тебе, но мне вся эта теперешняя мысль нравится. Катков непременно поможет, я убежден, я уверен. Я тебе прочту письмо к нему, которое напишу здесь завтра, как только ворочусь и обниму тебя и Соню. О милые! Но согласись, согласись радость моя, что еслиб не было теперь со мной мерзейшего проигрыша,—то я-бы не решился на этот шаг, который нас от всего избавит и который я считаю теперь верным! Господи, да может-быть еще бога благодарить надо будет за этот случай, что установил меня теперь окончательно на одной надежде,—на работе моей.—Не думай, о не думай мой ангел что я, из 100 франков, которые ты мне пришлешь, хоть один франк проиграю теперь! Да еслиб теперь я знал бы наверно, что я что-нибудь и выиграл-бы, еслиб еще раз рискнул, то право мне

было бы совестно и пред тобою и пред собою за этот выигрыш, после теперешней окончательной решимости моей и новых надежд моих!

И еслиб ты знала как это все меня вдруг теперь успокоило и с какою верою и надеждою буду я писать завтра письмо к Каткову. Это уже не прежние письма будут! Я теперь в такой бодрости, в такой бодрости! Одно, одно меня мучит: как подумаю, сколько времени мне теперь еще не видать вас, тебя и Соню! Может даже до Вторника! Только и буду думать что об Вас день и ночь! Но главное мучает меня что ты придешь в отчаяние, заплачешь, заболеешь, и пожалуй молоко тебе в голову бросится. И зачем, зачем я давеча тебе всего этого не написал, а послал это отчаянное письмо! Но давеча, [я] мне хотя и мерещилось, но я все таки окончательно еще не выяснил себе эту превосходную мысль, которая мне пришла теперь! Она пришла мне уже в девять часов или около, когда я проигрался и пошол бродить по аллее. (Точно также как в Висбадене было, когда я тоже после проигрыша выдумал Преступление и Наказание и подумал завязать сношения с Катковым. Или судьба или бог).

Аня, верь богу, милая, верь его милосердию и знай, что никогда я не был бы в силе и в надежде! Только об вас, об вас обеих тоскую ужасно! Что с тобой будет, что с Соней! Может-быть ты так будешь тосковать, истощать себя! А Соня! Соня! Кабы мне поскорее быть при вас!

Милая до 1-го Мая проживем кредитом, закладами, Майковскими деньгами. Теперь я тотчас-же за работу, сажусь и ура!

Но вы, вы обе—о боже мой! Проживем еще любовью, сердечным согласием. Я теперь так ободрен, так уверен, что мы переедем в Вевей. Ей богу, ей богу это лучше выигрышу! (А главное, тоже, кабы мамаша приехала, это главное! Денег на прожитье достанет, об этом и говорить нечего!).

Обнимаю тебя, обнимаю Соню, будьте веселы, будьте счастливы, ждите меня! Трепещу за вас.

Не мучай себя, спи больше, кушай больше. Кстати, скажи как-нибудь ловче дома, что я приеду в понедельник, на день опоздав. О милая! Благословляю Вас! О, кабы поскорей и счастливо свидеться!

Я здоров совершенно.

Одного только боюсь, что ты не пойдешь вечером на почту и это письмо тебе не попадется сегодня. Может быть я его адрессую тебе на дом.

До свидания ангел, до радостного! Обнимаю Вас обеих.

Ваш весь

Ф. Достоевский.

В Вевее непременно будем. Верь, верь, надейся!

1870 г.

20.

Гомбург,
29/17 Апрель/1870 11 часов утра.

Бесценная моя Аня, сейчас только что приехал на место, еще не ел и не умывался, и рука дрожит: устал и измучился ужасно, а ночью ничего не заснул. Холод до того здесь сильный (хотя солнце светит и ярко), что я очнуться не могу от изумления. Ночью в вагоне (мы были набиты, с Лейпцига, как сельди в боченке) все закоченели и не знали что делать. Вообрази себе к утру, на зеленых полях, появился снежный иней, и все поля, дороги леса и дома были как в густом слое снега до самых семи часов. Здесь первым делом велел протопить. Впрочем кажется я нисколько не простудился. Солнце ужасное, а на дворе ровно +2 градуса Реомюра. Сейчас мне сказали что на прошлой неделе было слишком двадцать градусов тепла, Hôtel, в котором я остановился называется Hôtel du Parc, и близь самого воксала. Кажется плохенькой; меня привел Dienstmann. Неряшество и комната довольно мизерная, а между тем $1^1/_2$ флорина. Нумер я занимаю десятый. Ну вот и все, друг мой, покамест обо мне. Немножко голова кружится и очень грустно. Умоюсь, поем, оденусь и пойду в воксал. Проходя мимо слышал в нем концерт; кажется есть публика.

Теперь об тебе голубчик милый: Напиши мне, без утайки, все подробности до тебя касающиеся. Главное, здорова-ли? Не простудилась-ли? Ибо полагаю, что и у вас такой-же холод. Нет-ли новостей? Об Любе напиши голубчик подробно. Поцалуй ее за меня и передай ей мое глубочайшее почтение. Как будешь цаловать ее, то цалуй по два раза—один раз за себя, а второй за меня. Как вы разместились в комнатах? Спит-ли мамаша в твоей. По такому холоду надо бы топить.—Я забыл тебе сказать, Аня чтоб ты на почту ходила за моими письмами скорее позже чем раньше, ибо я могу послать письмо и вечером, а оно придет пожалуй поздно.—Впрочем от 4-х бы до 5-ти вот как.

Не взыщи ангел мой бесценный, что пишу кратко: говорю, так устал, что едва перо не валится. Может быть я из этого отеля перееду—очень уж скверен кажется. Что-то напишу я тебе завтра, бесценная моя, насчет успеха? Невыгодно приезжать с расстроенными нервами. А впрочем, что будет то будет; я решился крепиться.

Цалую тебя 1000 раз (на первый случай) Любу также. Не знаю поклонишься-ли от меня мамаше и Ив. Гр-чу [31]. Если не найдешь не удобным, то поклонись. Не оставляй конверта и письма на виду, чтоб не догадались откудова.

Много-бы написал тебе, если-б не был так разбит. В дороге не все один холод был; были и смешные вещи. С Эйзенаха (на рассвете) начиная виды изумительно хороши! Какая зелень!

Не пиши мне, Аня, в Hôtel, а пиши poste restante. Это лучше.

Крепко, крепко обнимаю тебя и цалую, твой любящий тебя всем сердцем муж Федя.

Ф. Достоевский.

Перекрести Любу [32] на ночь и поцалуй за меня.

1871 г.

21.

[Дрезден. 1871 г.].

Аня, милый мой голубчик, не переписывай то, что вчера стенографировали; я решился совсем это уничтожить. Но в замен, если не очень отяготит, перепиши самый последний листок (возьми в Русском Вестнике). [По] Если же, например, будешь чувствовать себя нездоровой, то и не переписывай: я просто вычеркну. Заметь, что это надо только к 5 часам, а потому не надрывай себя и не спеши очень. Неугомонную Любку цалую, равно как и господина NN [53] находящегося покамест в т е с н о м уединении и неизвестности, и покамест еще молчаливого, но который задаст себя знать как и Любка.

Тв[ой] Ф. Достоевск[ий].

1-е февраля $4^3/_4$ часа.

Разбуди меня в 2 часа, но загляни ко мне раньше *).

22.

Висбаден.
Пятница 28 апреля [1871 г.].

Аня, ради Христа, ради Любы, ради всего нашего будущего не беспокойся, не волнуйся и дочти письмо до конца со вниманием. В конце увидишь что в сущности беда не стоит такого отчаяния, а напротив есть нечто что приобретется и будет гораздо дороже стоить, чем за него заплачено! И так успокойся, ангел, и выслушай, дочитай. Ради Христа не погуби себя.

Бесценная моя, друг мой вечный, ангел мой небесный, ты понимаешь конечно—я все проиграл, все 30 талеров, которые ты прислала мне. Вспомни, что ты одна у меня спасительница и никого в целом мире нет кто бы любил меня. Вспомни тоже Аня, что есть несчастия, которые

*) Анна Григорьевна в копии своей сделала приписку: „Писана в 1871 году в Дрездене. Федор Михайлович иногда оставлял записки ночью на столе, не желая будить домашних и имея необходимость что-либо им сообщить".

сами в себе носят и наказание. Пишу и думаю: Что с тобою будет? Как на тебя подействует, не случилось бы чего! А если ты меня пожалеешь в эту минуту, то не жалей, мало мне этого!..

Телеграму я тебе послать не посмел и не посмею, после давешнего письма твоего, где ты пишешь что будешь беспокоиться. Вообразить только как пришла бы телеграма завтра Schreiben sie mier [54]... Ну что бы с тобой было!

Ах, Аня, зачем я поехал!

Вот как было дело сегодня: Сначала получил твое письмо, в первом часу по полудни, но денег еще не получил. Затем сходил домой и написал тебе ответ (подлое письмо и жестокое; я же в нем почти упрекаю тебя). Вероятно ты получишь его завтра в субботу, если сходишь на почту не [позже] раньше 4-х часов. Письмо отнес, а он мне опять сказал что нет денег, было уже половина третьего. Когда же я пришел в третий раз в половину пятого, то он мне деньги выдал и на мой вопрос: Когда они пришли? отвечал преспокойно, что около 2-х часов. Зачем же он не выдал мне когда я был в третьем? Тогда я, видя что надо дожидаться половины седьмого чтоб отсюда ехать отправился в воксал.

Теперь Аня, верь мне иль не верь, но я клянусь тебе, что я не имел намерения играть! Чтобы ты поверила мне я тебе признаюсь во всем: когда я просил у тебя телеграмой 30 талеров, а не 25, то я хотел на 5 талеров еще рискнуть, но и то не наверно. Я расчитывал, что если останутся деньги, то я все равно привезу их с собой. Но когда я получил сегодня 30 талеров, то я н е х о т е л и г р а т ь по двум причинам 1) письмо твое слишком меня поразило: вообразить только, что с тобой будет! (и воображаю это теперь) и 2-е) я сегодня ночью видел во сне о т ц а [55], но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (А теперь как припомню и мой сон три дня тому что ты поседела, то замирает сердце! Господи что с тобою будет когда ты получишь это письмо!)

Но прийдя в воксал я стал у стола и начал мысленно ставить: Угадаю иль нет? Что же Аня? раз десять сряду угадал, даже Zero угадал. Я был так поражен, что я стал играть и в 5 минут выиграл 18 талеров. Тут Аня я себя не вспомнил: Думаю про себя—выеду с последним поездом, выжду ночь в Франкфурте, но ведь хоть что нибудь домой привезу! За эти 30 талеров, которыми я о г р а б и л тебя мне так стыдно было! Веришь-ли ангел мой, что я весь год мечтал что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил тебе. Ты для меня все свое заложила в эти 4 года и скиталась за мною в тоске по родине! Аня, Аня вспомни тоже, что я не подлец, а только страстный игрок.

(Но вот что вспомни еще Аня, что теперь эта фантазия кончена навсегда. Я и прежде писал тебе что кончена навсегда, но я никогда не ощущал в себе того чувства, с которым теперь пишу. О теперь я развязался с этим сном и благословил бы бога, что так устроилось, хотя и с такой бедой, еслибы не страх за тебя в эту минуту. Аня если ты зла на меня, то вспомни что я выстрадал теперь и выстрадаю еще три-четыре дня! Если когда в жизни потом ты найдешь меня неблагодарным и несправедливым к себе—то покажи мне только это письмо!)

Я проиграл все-к половине десятого и вышел как очумелый; я до того страдал, что тотчас побежал к священнику (не беспокойся, не был, не был и не пойду!). Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди. Но я заблудился в городе и когда дошел до церкви, которую принял за русскую, то мне сказали в лавочке, что это не русская, а жидовская. Меня как холодной водой облило. Прибежал домой; теперь полночь, сижу и пишу тебе. (К священнику [56] же, не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду!)

У меня осталось полтора талера мелочью, стало быть на телеграму есть (15 грошей) но я боюсь. Что с тобой будет! И потому решил написать письмо и завтра в 8 часов утра отправить тебе, а чтобы ты получила без задержки в воскресение, то пишу по адрессу, а не на poste restante. (А ну как ты бы, ожидая меня, не пошла совсем на почту!) Но я завтра может быть еще пошлю тебе письмо на poste restante, отнесу только поздно, а после завтра, в воскресение, наверно еще напишу.

Аня, спаси меня в последний раз, пришли мне 30 (тридцать) талеров. Я так сделаю что хватит, буду экономить. Если успеешь отправить в Воскресение хоть и поздно, то я могу приехать и во вторник и во всяком случае в среду.

Аня я лежу у ног твоих и цалую их, и знаю что ты имеешь полное право презирать меня, а стало быть и подумать: „Он опять играть будет". Чем-же поклянусь тебе, что не буду; я уже тебя обманул.—Но ангел мой, пойми: ведь я знаю, что ты умрешь, еслиб я опять проиграл! Не сумасшедший-же я вовсе! Ведь я знаю что сам тогда я [пробал] пропал. Не буду, не буду, не буду и тотчас приеду!.. Верь. Верь в последний раз и не раскаешься. Теперь буду работать для тебя и для Любочки здоровья не щадя, увидишь, увидишь, всю жизнь, и достигну цели. Обеспечу вас...

Если же не успеешь выслать в воскресение, то вышли в понедельник пораньше. Тогда в среду, к полудню, я буду у вас. Не тревожься если в воскресение нельзя будет выслать, а обо мне не очень думай, мало еще мне этого, не того я достоин!

Но что мне сделается! Я вынослив до грубости. Мало того: я как будто переродился весь нравственно (говорю это и тебе и богу) и еслиб только не мучения в эти три дня за тебя, еслиб не дума поминутно: Что с тобою будет? то я даже был-бы счастлив. Не думай что я сумасшедший, Аня ангел-хранитель мой! Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия [37], мучившая меня почти 10 лет. Десять лет (или лучше с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами) я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено! Это был вполне последний раз! Веришь-ли ты тому Аня, что [я] у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть дело лучше и спорее пойдет и бог благословит! Аня сохрани мне свое сердце, не возненавидь меня и не разлюби. Теперь, когда я так обновлен—пойдем вместе и я сделаю что будешь счастлива!

А Люба, Люба, о как я был подл! Но я об тебе только думаю Воображу только что с тобой будет, когда ты это прочтешь! Да и до этого письма сколько измучаешься, видя что я не еду, надумаешься! Принесут-ли письмо тебе это во время? А что коль затеряется! Но как же затеряться если телеграма дошла по этому же адрессу. Напишу на всякий случай еще poste restante несколько строк. Завтра и отдам в продолжение дня.

Думаю: получу иль не получу от тебя завтра письмо? верно нет! Ты ждешь меня завтра самого и писать не будешь.

Если в воскресенье тебе не удастся выслать мне деньги, то напиши мне письмо. Я так буду счастлив, хотя бы ты и прокляла меня, хоть несколько строк твоею рукой. Если же не успеешь в воскресение написать то пошли письмо в понедельник пораньше вместе с деньгами (если и деньги не поспеешь в воскресение). Письмо во всяком случае прежде денег придет. А я [тут] так был-бы счастлив твоим письмом! Аня, как подумаю что с тобою будет, когда получишь это: то точно обмираю весь. Только эта и будет мука. А прочее все (скуку, тоску, неизвестность) все это я вынесу. Мало мне! Постараюсь заняться чем нибудь; сяду писать в эти три дня два нужные письма—Каткову и Майкову! Аня, верь что настало наше воскресение и верь, что я отныне достигну цели—дам тебе счастие!

Цалую вас обеих, обнимаю, прости Аня!

Твой весь отныне.

Федор Достоевский.

P. S. К священнику не пойду, ни за что, ни в каком случае. Он один из свидетелей старого, прошедшего прежнего, исчезнувшего! Мне больно будет и встретиться с ним!

P. S. S. — Аня, радость моя вечная, одно впредь мое счастье— не беспокойся, не мучайся, сохрани себя для меня!

Не беспокойся и об этих проклятых, ничтожных 180 талерах, правда, теперь опять мы без денег, — но ведь не долго, не долго; (а может и Стелловский выручит[58]). Правда наступает время проклятых закладов, которые так тебе ненавистны! Но ведь уж это в последний раз, вполне в последний! А там я добуду денег, знаю, что добуду! Только бы в Россию поскорее[59]! Напишу к Каткову и буду умолять его ускорить и, я уверен, он примет в соображение. Так напишу что примет[60].

Ради бога только не беспокойся обо мне (ведь ты ангел, ведь ты меня и проклянешь, а пожалеешь) а стало быть будешь беспокоиться. Но не тревожься: я перерожусь в эти три дня, я жизнь новую начинаю. О кабы поскорее к вам, поскорее вместе! Только одно и страшно: Что с тобой будет как получишь письмо это? Одному только верь — моей бесконечной любви к тебе. И теперь уже не буду мучить тебя никогда ничем.

P. S. S. Всю жизнь помнить это буду и каждый раз тебя ангела моего благословлять. Нет уж теперь твой, твой нераздельно весь твой. А до сих пор на половину этой проклятой фантазии принадлежал.

23.

Висбаден.
29 апреля 71. Суббота.

Милый друг Анечка, я уже послал тебе сегодня (в 9 часов утра) мое вчерашнее, ночное, письмо, по адрессу Moritz-Strasse и т. д., это же посылаю теперь в предположении что то не дойдет, или как нибудь замедлится и адрессую на poste restante, по всегдашнему, и таким образом буду уверен, что во всяком случае завтра, в воскресенье, ты получишь от меня известия.

Я тебе описал все в том письме; я проиграл твои последние тридцать рублей и прошу тебя еще раз спасти меня, в последний раз,— выслать мне еще тридцать рублей.

Друг мой, я проснулся сегодня в 8 часов, а заснул в 4 часа ночи, спал всего четыре часа. Надо было сбегать на почту отнести мое ночное письмо. Днем еще пуще страх за тебя: Господи, что с тобой будет и что я наделал.

(Телеграму не посмел послать чтоб тебя не испугать и рассудил что лучше письмо на Moritz-Strasse и т. д. чтоб вернее и может быть скорее дошло к тебе. Все это я тебе разъяснил в вчерашнем ночном письме).

Предстоит суток трое мучений нестерпимых, нравственных конечно. Телом я здоров кажется. Но ты-то, ты-то здорова-ли? Вот что сокрушает меня!

К Священнику не пойду. Забыл тебе приписать в том письме кое что может быть важное: Если получишь письмо мое дома, т.-е. по адрессу Moritz-Strasse и т. д., и так как ты вместо письма ждала меня, то ты бы могла сказать мамаше, которая знает разумеется, что ты меня ждала, что со мной случился припадок и что я, в припадочном состоянии не мог уже рискнуть выехать, чтоб пробыть в вагоне 17 часов в натянутом положении и ночь без сна и потому дня два или три остался еще отдохнуть, чтоб не повторился припадок. Вот чем объяснить мое замедление в ее глазах. Если же она узнала или догадалась что ты понесла закладывать вещи чтоб выслать мне, то и тут можно кое-что сказать, [например, что по обыкновению, в припадке, я испортил тюфяк и что там потребовали с меня за это талеров 15, и так как я, стыдясь заводить дело их тотчас же заплатил, чтоб не кричали], что у меня и денег не осталось воротиться в Дрезден, и так как денег надо ждать трое суток от тебя, то эти трое суток лишняя трата и потребовалось уже не 15 талеров выслать, а более.

Аня, все об тебе думаю и мучаюсь. Думаю и об нашем возвращении в Россию, все расчитал, на Каткова и на Майкова деньги мы обернуться можем и Катков пришлет скорее Июня (я буду писать ему и просить), но Майкову я буду писать настоятельно. Я расчитал, что все можно обделать, даже запастись платьем и бельем и доехать—все на эти средства. Ну, а в Петербурге я достану денег. В этом я убежден. И кроме того убежден что не откажет мне И. Гр. в 4 тысячах взаймы [61] и это все в первый месяц решится. Он будет жить все лето в Царском Селе. Ты представить не можешь, Аня, как я надеюсь что мы воскреснем и отлично поправимся, к зиме же. Бог поможет и я верую в это.

Я пришел к убеждению, что в нашем положении, с нашими экстренными тратами, какие бы не получались деньги—все нам будет мало, все мы будем иметь вид разоренных, а чтоб вылечить это—нужна разом сумма значительная, кроме наших средств, т.-е. 4 или 5 тысячь. Тогда, став на ноги, можно будет итти. Так я и сделаю. И сколько ни размышляю—невозможно чтоб Ив. Гр. мне отказал. Невозможно ни под каким видом.

Но главный первый шаг тепер—переезд в Россию! Вот бы что осуществить прежде всего. Сегодня же сяду писать к Каткову.

Аня, не тоскуй по деньгам. Понимаю как тяжелы тебе заклады, но скоро, скоро все кончится навсегда, и мы обновимся. Верь.

Ах, береги себя, для будущего ребенка, для Любы, для меня. Не тоскуй и не сердись, что я так пишу: я сам понимаю каково мне говорить тебе: береги себя, когда сам тебя не берегу.

Аня, я так страдаю теперь, что поверь слишком уж наказан. На долго помнить буду! Но только бы теперь тебя бог сохранил, ах что с тобой будет! Замирает сердце как подумаю.

Сегодня дождь, сырость, мокрять. Так все уныло и грустно,—но о будущем думаю с бодростию. Мысль о будущем даже обновляет меня. Если только чуть-чуть будет у меня спокойного времени и роман мой выйдет превосходен, а стало быть второе издание [62], в журналах кредит вперед [и примем опять поклон]; и мы на ногах.

Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и с фантазиями! О, с какою ненавистью буду вспоминать об этом времени.

Прости только ты меня и не разлюби.

До свидания друг мой, обнимаю тебя и Любу, завтра опять напишу.

Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. Я слишком понимаю, что в воскресение тебе никак почти нельзя будет достать и выслать денег. Буду ждать до Вторника, но и в понедельник на авось наведаюсь на почте. На почте я по крайней мере два раза в день бываю. В среду может и увижусь с вами, т.-е. наверно если бог поможет и получу не позже чем во вторник в три часа.

Я потребовал себе счет в Отеле. 18 флоринов, но зато цены варварские. Значит ко вторнику будет флоринов тридцать или немного больше, на остальные доеду в третьем классе.

До свидания ангел мой, до свидания, цалую тебя

Ф. Д.

24.

Висбаден.
1 Мая 71-го. Понедельник.

Милый друг мой Аня, пишу тебе только несколько строк в ожидании твоего письма. Иду сейчас на почту и если не получу от тебя хоть какого-нибудь письма, хоть нескольких строк—буду очень несчастен. Денег получить от тебя я сегодня, разумеется, не надеюсь.

Только и думаю о том как-бы поскорее воротиться. Живу как в лихорадке, но очень тошно. Вчера был очень тяжелый день для меня и ктому-же дождь. Вечером только прояснилось и я ходил гулять. Но вечером мне всегда грустнее. Беспрерывно думаю о тебе: как на тебя подействовало, представляю себе это. Сплю дурно, с дурными снами.

Что Люба? Расцалуй и скажи ей, что папа цалует. Напоминай ей обо мне изредка чтоб она не забыла.

Страшно боюсь что при расчете не хватит на все денег. Но я как нибудь обделаю (Будь уверена—не пойду туда. Впрочем об этом и писать лишнее).

Вот уже неделя как мы не видались.

Ну до свидания милая, я как в лихорадке, что-то почта скажет сейчас! Проклятый почтмейстер, он пожалуй не выдаст письма или затеряет. Еслиб ты знала какая здесь небрежность и высокомерность в почтамте.

Если надо будет тебе еще что нибудь приписать, то ворочусь домой, распечатаю и припишу.

До свидания бесценный друг мой.

Обнимаю всех троих

твой Ф. Достоевский.

$^{1}/_{2}$ второго.

Сейчас (ровно в час) получил твое бесценное письмецо и приписываю несколько слов.

Всего больше (совсем не шучу) огорчило меня то, что Люба принимает хозяина за меня. Неужели успела забыть? Но ведь она и всех мужчин называет папа. Легкомысленное создание! и легкосердечное; но таковы все женщины.

Кроме тебя одной: Спасибо Аня, заслужу тебе, выручила.

Теперь о самом необходимом:

Я получил только письмо, а денег еще нет.

Я объяснил все почтмейстеру и он мне положительнейшим образом объявил (толково обо всем распросив) что раньше 7 (семи) часов вечера, я сегодня денег не получу. Я все таки зайду на почту в три часа.

Ну что теперь делать Аня! Если не выеду отсюда в 4 часа, то не выеду сегодня и из Франкфурта! Нет поезда.

Ночевать стало быть в Франкфурте (здесь дорого и хлопотливо, а счет ужасный, вряд-ли хватит денег). Если ночевать то где? В гостинице? Но разбудят-ли утром? Просидеть ночь на станции? Но ведь станция всетаки на ночь запирается.

Как нибудь решу. Вернее всего жди меня завтра до 12 часов ночи. Поезд приходит к одиннадцати. Ради бога не сделай глупость не выйди на станцию в этот час. Ради бога, слышишь, прошу тебя.

Важнейшее замечание: Если я не приеду завтра (т.-е. во Вторник) к полуночи, то ради Христа умоляю тебя не отчаявайся и не подумай что я опять проиграл. Не будет этого и не может

быть. А если случится, что опоздаю то каким нибудь образом был задержан в дороге. Мало-ли случаев, мало-ли задержек?

Последнее: Вероятно я [буду]-приеду голодный, потому что, кажется, не хватит денег для обедов в дороге. И потому прошу приготовить кусочек чего нибудь (ну хоть чего нибудь) к моему приезду. И если ты вполне христианка, голубчик Аня, то не забудь приготовить к моему приезду пакет папиросок, потому что у меня наверно ничего не будет курить.

Я и теперь весь измок и дождь все льет, а зонтика нет. Плохо если не обсохну к отъезду.

До свидания, до скорого.

Обнимаю тебя

твой Ф. Достоевский.

1872 г.

25.

Москва 2 Января/72 года.

Милая, бесценная моя Аня, вчера был обрадован твоим письмом и от Любочки. Ангельчик мой! воображаю как она писала. Расцалуй ее и будь подобрее к ней если она капризится. Федька[63] истинно обрадовал меня тем что выздоровел, здоровы ли вы только теперь? Расцалуй мальчишку моего; бьюсь об заклад что он узнает меня по приезде и улыбнется мне.—Слушай Аня, меня ваши 13 градусов беспокоят (Здесь в этом роде но сегодня не более 8). У тебя пальто не для 13 градусов, не простудись ради бога, береги себя и если что — извести по телеграфу. Беспокоюсь я за вас очень и, главное, хочется увидеть. А между тем здесь, (по поводу праздничного времени) я узнал как много трачу времени даром, что и скучно и убыточно. Вчера оставил только визитные карточки Каткову и его супруге; Сегодня же, не смотря на то, что Катков ужасно занят, и главное, что и без меня бездна людей поминутно мешают ему своими посещениями—отправился в час к Каткову, говорить о д е л е. Едва добился; в приемной комнате уже трое, кроме меня, ждали аудиенции. Наконец я вошел и прямо изложил просьбу о деньгах и о сведении [„прежних“] старых счетов. Он обещал дать мне окончательный ответ после завтра (4-го числа). И так только 4-го получу ответ, а там на счет выдачи и прочего опять потребуется свое время. Хорошо если я выеду 5-го, а ну как если 6-го или 7-го? Главное проживусь. Обедать звал меня Аверкиев[64] завтра; у Верочки[65] же я провожу только вечера, а обедать совещусь, потому что у них кажется о ч е н ь т о н к о и это видно, так что обедаю на свой счет. Итак после завтра я тебе напишу о результате окончательно. Если же [удастся выехать 5-го то уж] что случится напишу и завтра. Кажется Катков даст что нибудь—и это верно. Я сужу по его тону и не захотел бы он сам меня задерживать напрасно. От Каткова поехал к Аксакову, который прекрасно и радушно принял меня и у

которого просидел часа три. Звал в четверг к себе вечером, но только случай какой нибудь может задержать меня и в Четверг в Москве.

Я все думаю, голубчик мой, не испугал бы тебя как нибудь Поляков [66]. Но ради бога не тревожься, он никаких мер дурных не успеет принять до моего возвращения, еслиб и хотел повредить. Вот с Гинтерлах [67] так надо бы было объясниться; эта меня более беспокоит.

Где встречала Новый Год? Я разумеется у Верочки. Был Саша Карепин [68] и было довольно забавно. Но все таки грустно очень. Плещеева [69] здесь нету. Думаю заехать к Чаеву [70]. В Беседе [71] кажется не буду. У Елены Павловны быть еще не успел, а главное—дети у ней в скарлатине. Береги наших, ради бога береги. Глаз немного стал болеть больше (но не такие припадки, как в Петербурге). До свидания, ангел мой. Я думаю после 4-го числа тебе уже и нечего писать ко мне, потому что мы с письмом разъедемся. Но 4-го напиши и если что нибудь случится, то пиши или телеграфируй. Но дай бог чтоб не было никаких этих крайностей.

Обнимаю тебя от всего сердца, люблю тебя очень. Цалую и благословляю детей, очень благодарю Любу за пифо*) поцалуй ей за то ручку, купи нададу и скажи что от папи. Разиняротого Федюрку цалую прямо в ротик.

Твой весь

Ф. Достоевский.

26.

Москва. 4 Января 1872 г.

Добрый, бесценный голубчик мой Аня, был сегодня у Каткова и—опять затруднение: Извинялся и просил повременить когда сведут счеты, которые еще свести не успели. Дело думаю решится завтра, но если и благоприятно, то вряд ли (с здешнею медлительностию и неаккуратностию) решится в один день. Думаю, однако, что никак позже 6-го или maximum 7-го не засижусь, тем более, что проживаюсь ужасно и не хватит пожалуй денег, хуже всего если решение будет неблагоприятно, а я боюсь, что так пожалуй и будет, хотя Катков чрезвычайно желает сделать мне все, что возможно. От Каткова я прошел (в том же доме) к Воскобойникову (прежнему знакомому, а теперь работает у Каткова в Редакции Москов. Ведомос.). От него я узнал, что счеты мои у них в большом беспорядке, но что он сам, по просьбе Аверкиева, проверял их третьего дня и в результате должно быть 1300 руб. моего долга. Заметь, что два последние забракованные ими листа романа в счет не вошли [72].

*) Очевидно, детское название письма. (Прим. ред.).

Потом он мне сказал, что с прошлого года, все выдачи денег производятся не иначе как с согласия Леонтьева, которому сам Катков уступил в этом добровольно деспотическую власть. Таким образом все зависит от согласия Леонтьева, а в расположении этого человека ко мне, я не могу быть уверенным. Воскобойников[73] даже полагает что Катков не отвечал мне сегодня единственно потому, что не успел еще переговорить с Леонтьевым, который очень занят в Лицее.

Так что я опять совсем не уверен и, главное, если мне откажут, принужден буду с ними просто порвать, что уже очень худо.

Как я жалею, что написал тебе, чтобы ты мне с 4-го числа уже не писала. Можно бы было и 5-го написать без опасения, что мы с письмом разъедемся.

Твои письма, ангел мой, меня очень радуют. Но все ли у вас теперь хорошо? Рад за тебя и за Любу что вы обе повеселились на елке. Поцалуй ее. Боюсь что забудет обо мне. Что Федя? Здоров-ли, тепло ли у вас? Топи, голубчик, если у вас чуть-чуть холодно! Сегодня здесь 20 градусов. Вчера Аверкиев принес утром мне билет в Театр и я видел его драму, после того у него обедал, а вечером был у Верочки. У них какое-то уныние и совсем нет денег. Я предлагал на перехватку по братски у меня—она не взяла. Но сегодня Соня должна была получить из Р. Вестника 140 р.

Вообще мне здесь скучно, а главное—совершенная неизвестность. Завтра во всяком случае напишу тебе.

До свидания, голубчик, радость моя Аня. Обнимаю тебя от всего сердца. Признаюсь тебе, что я все еще крепко надеюсь. Вот черта: я рассказал Каткову, глаз на глаз, сюжет моего будущего романа и слышал от Аверкиева что он уже рассказал сюжет двум лицам.

Если так, то не может-же он относиться к моей просьбе пренебрежительно. (Иное дело Леонтьев).

Обнимаю детишек Любочку, Федюрку. Корми их получше Аня, не скупись на говядинку. Боюсь, что пристают к тебе кредиторы... Полякова боюсь ужасно.

До свидания Ангел мой, цалую Любочку и Федю, обнимаю тебя твой весь, тебя любящий

Федор Достоевский.

Что делаешь запись имения на брата—это хорошо.

Тебе все кланяются. Мое почтение Ольге Кириловне[74] и супругу ее.

27.

Старая Русса Суббота 27 Мая/72.

Милый друг мой Аня, сегодня, в час по-полудни увидал Федю. По моему он совершенно здоров и весел. Тотчас узнал меня и полез срывать шляпу. Я боюсь, что он помешается на шляпе. Священник уже подарил ему в полное владение свою старую-старую шляпею. Но не в шляпе главное дело, а [все], чтоб сорвать ее с головы. Теперь его закачивают спать (3 часа), а все два часа он лез ко мне и без умолку болтал. Очень тоже любит ползать по полу. Не похудел ни мало. Но маленьких пятнушек, с горошинку, и не очень ярких по лицу много. Но мне сказали что пятнушки были первоначально больше и краснее, а что теперь сильно проходят. Животик у него совершенно хорош и марается очень хорошо и акуратно. Вид очень веселый. Первые дни говорят грустил больше, т.-е. тянулся из комнаты в комнату и все искал. А первую ночь, няня говорит, совсем напролет не спал, но с апетитом впрочем ел. Теперь же спит хорошо. Вообще все, что до него касается хорошо. Вчера здесь открыли воксал. Я подожду еще день а если пятнушки не пройдут обращусь к Рохелю [75] или к Шенку[76] за советом.

Священник встретил меня с радостию, все распрашивали и я все рассказывал. Няня тоже довольна удачей операции, но кажется недовольна, что не едешь ты сама.

В настоящую минуту у меня голова кружится потому что я ничего не [спал] спал. В Новгороде парохода не застали, потому что он, по поводу открытия воксала, сделал экстренный рейс с губернатором, но пришел в 6 часов утра и все таки приняли на пароход не иначе как по взятии билета уже в ¼ 8-го. С двух до 6 часов провел я в гостиннице Соловьева, где впрочем спал часа полтора. Здесь погода ясная, но каждый день вспрыскивают дожди, и не так знойно как в Петербурге. Впрочем великолепно.

Теперь главное о Любе. Я о ней очень беспокоюсь. Ну что если ты с ней пойдешь на улицу, а с тобой случится обморок? Наконец ты можешь заболеть. Кроме того, выпрямится-ли ручка когда снимут перевязку через три недели? Довольно зла произошло от нашей небрежности и доверчивости. Надо чтоб косточки совершенно срослись. Не подействовали бы на нее тоже зной и духота, не заболела бы она? А что если и ты расхвораешься? Ради бога проси Маму не оставлять тебя. Твое положение с Лилей несравненно хуже и неприятнее, чем положение Ольги Кириловны, которая будет окружена всеми удобствами и утонченностями науки. Да и сами они, я убежден, маме не

дадут даже вымыть своего ребенка. Думаю тоже о том, как ты будешь возвращаться сюда: переезды хлопотливые, с задержками, ломкие.

Тоскую тоже без Лили. Оставил я ее в такое критическое время и хоть пользы не много бы ей принес, но все таки на глазах, сам бы не тосковал.

Осторожно ходи с нею по улицам. В Петербурге так толкаются, столько пьяных. Ради бога не ходи смотреть на праздник 30 Мая. Ей сломают опять ручку в толпе наверно.—Все об этом думаю и об тысячи вещах и все тоскую.

Сбила тоже меня с толку твоя записка. Во первых, у нас прачки нет, кому же я, сейчас, отдам все мыть? Я думал что у нас давно есть прачка. Марья привела какую то, и я выдал ей на пробу постирать несколько вещей, (записав белье, разумеется). Во вторых, в твоей записке, которая лежит теперь передо мною, ясно и точно сказано что все белье, чистое и черное, и большое я найду в большом сундуке. Совершенно исковерканный и измученный дорогой, едва стоя на ногах, принялся я искать в большом сундуке и что же—ничего не нашел белья [77]. То-есть в полном смысле слова хоть бы одну штуку. Есть две или три твоих рубашки, кажется еще Дрезденской стирки, а больше нет ничего, кроме разных лоскутьев. Правда есть еще какая то салфетка, в которую тоже завернуты какие то лоскутки—и только. А белья нет никакого. Лежит же белье какое то в шкапике, потом черное мое в большом платяном шкапу, да какие то штуки на стульях, да в комоде во втором ящике две-три салфетки и черные простыни—одним словом все разбросано и разметано в совершенном беспорядке. Прачка придет опять в Понедельник, тогда соберу все остальные лоскутья, выдам и запишу. А теперь ноги подламываются. Я часа полтора перебирал сундук. Ничего не помял. Впрочем там еще буду искать. Вообще не имея реестра нашего белья, трудно мне будет придти к порядку.

Здесь, чтоб письмо пошло в тот же день, надо непременно доставить его на почту до девяти часов утра. И так, это письмо никоим образом не могло бы пойти сегодня, а пойдет разумеется завтра.

Обо всех других делах не думаю, слишком устал и клюю носом. Мучусь только не случилось бы чего с вами и предчувствую что все три недели не буду покоен.

Здесь, когда начинают купать детей в соленых ваннах, то через две недели начинает появляться сыпь, а месяца через три проходит (т.-е. проходит золотуха). Не золотушлив ли и Федя? Может еще до купанья, а просто от одного здешнего воздуха, у него уже появились пятнышки? Не надо-ли стало быть его покупать. Впрочем если пятнушки пройдут сами собой, то нечего ходить к Шенку или Рохелю.

Кроме этих пятнушек (которые исчезают), повторяю, он совершенно здоров и весел.

Цалую Лилю бессчетно. Говори ей обо мне, напоминай. Спрашивала ли она обо мне хоть разок. Ну до свидания, прошу тебя очень писать ко мне, хоть по пяти строк, но чаще и, главное, с полною откровенностию.

Очень цалую тебя, твой совершенно усталый

Федор Достоевский.

(*На поле четвертой стр.*):

Пятнушки на лице у Феди гораздо меньше горошинки, (я ошибся), а цвету бледно-коричневого, были же вначале у него красные. Очень расчесал себе руки и ноги.—Очень кусается. Проснулся, весел совершенно.

(*На верху 4-й стр. с обратн. стор.*):

Вообрази: Священник еще не получил моего второго письма.

28.

Старая Русса. Воскресение 28 Мая/72.

Милый друг мой Аня, хочу написать тебе еще раз, а уж там начну писать, как уговаривались, через день. Очень жду от тебя письма, но вот уже семь часов и по всей вероятности сегодня не получу. Что Люба? Ужасно беспокоюсь об Вашем предстоящем житье в Петербурге.—Федя вчера вечером был в бане, но ночью часто просыпался, впрочем совершенно здоров, какает чудесно, отменно весел, срывает шляпы и смеется. Подозреваю, что хотят вырезаться зубы, потому что он очень уже кусается, но жару нет. Мне кажется няня слишком уж любит его закачивать спать, по моему от этого только кровь густеет, а ему надо бы побольше гулять. Семейство Священника, а главное сам он, кажется очень любят Федю. Пятнушки все еще продолжаются, мелкие, почти совсем под цвет волос его, крапинками. Сегодня даже три новых красных больших пятнушка. Но я вижу и у б е д и л с я, что это совсем не болезнь, а просто цветет. Тут произошли три большие перемены: воздуха, воды и пищи. Сейчас священник мне рассказывал, что встретил какого то доктора и спросил его, что такое если пятнушки на лице, как у Феди? Тот отвечал, что это всегда у маленьких при таких переменах, и что довольно одной из них, например воздуха, чтоб произвести на несколько дней не то что цвет, а даже сыпь. При этом спросил: худенький или полный мальчик? Коли полный, то непременно слегка зацветет на несколько дней. Узнав же, что

весел, кушает и ходит отлично, жару нет, сказал, что совсем не о чем беспокоиться и что так именно и должно происходить. Я впрочем если завтра, или после завтра не пройдут еще пятнушки, то не смотря на его полное здоровье позову Шенка. Признаюсь тебе, что я до твоего приезда, боюсь советываться с докторами: нападешь на дурака, который тотчас же закричит что надо лечить от золотухи, тогда как у Феди никакой нет золотухи. Это случается между докторишками сплошь.

Береги Любу и старайся сама больше обращать внимание на физическую сторону своего здоровья. Больше спи например. Не выходить нельзя,—но ужасно боюсь не случилось бы с вами чего на улице

Мне здесь страх скучно. Погода здесь хорошая и не очень жаркая, солнце, но весь день беспрерывно спрыскивали дожди. Мы с Румянцевым [78] ходили сегодня утром к протопопу (Ивану Смелкову) [79] с визитом. Протопопша очень изъявляла желание с тобой познакомиться. Протопоп казался очень довольным моим посещением, но мне кажется он в 10 раз хуже нашего Румянцева.

Был в воксале, был в конторе вод и вывел заключение, что ничего нет здесь труднее, как получить какое нибудь сведение. Все сам отыскивай. Гуляющей публики в саду не так чтобы очень много. Но есть порядочно приезжих офицеров. Много золотушных детей. Впрочем продолжают приезжать, ходят по городу и ищут квартир.

Я убежден что мне все это время до вас, будет очень скучно. Завтра примусь за работу. Главное что ты мне не можешь помогать стенографией а то мне бы хотелось поскорее отправить в Русский Вестник [80]. Священник отдал мне сегодня деньги [81], я взял наконец без отговорок, 21 руб., а 4 издержаны. Всего на все у меня в кармане 72 руб. Ах Аня надо работать и работу кончать а там деньги будут.

Но об Вас беспокоюсь до мучения. Ну что если ты захвораешь, заснешь невольно,—что будет с Любой? Хоть бы письма ты писала. Что Мама? Не родила-ли Ольга Кириловна? (В эту минуту Федя проснулся и ужасно болтает с няней, очень любит говорить, но все для-для-для-ли-ли-ли или хохочет, а больше ничего не выговаривает). Шляпу сорвал с меня и с Священника сегодня раз десять.

Публика здесь очевидно ужасно церемонная, тонная, все старающаяся смахивать на гран-монд, с сквернейшим французским языком. Дамы все стараются блистать костюмами, хотя все должно быть дрянь страшная. Сегодня в саду открытие театра, идет Комедия Островского цены высоки, но хотел было пойти для знакомства. Кофейных, кондитерских мало ужасно. Ужасный мизер эти воды и парк мне решительно не нравится. Да и вся эта Старая Русса ужасная дрянь.

А все таки воздух оживил бы и тебя и Любу, и вот ждать. Цалую тебя, а Любу благословляю и молюсь за нее. Напоминай ей обо мне. Поскорей бы вы здесь все, во всем комплекте, а там помышлять бы и о дальнейшем.

Ради бога пиши обо всем откровенно. Видишь я тебе все откровенно пишу.

Твой Ф. Достоевский.

Поцалуй Любу. Цалую тебя. Не худей пожалуйста.

29.

Старая Русса. 30 Мая 72.

Сейчас получил от тебя друг мой известие о смерти Марьи Григорьевны [82]. Ужасно изумлен и ужасно мне ее жалко. Экая бедная! Но как-же она умерла 1-го Мая, когда уже месяца три как мы слышим о ее болезни?—Жалко детей, Павел Григорьевич ровно через год женится [83]. Намерение твое на счет Мамы я в высшей степени порицаю. Это против всех правил опытности и знания сердца человеческого. Если ты привезешь ее в Ст. Руссу и здесь только откроешь, то она тем сильнее здесь будет поражена, т.-е. будет поражена наисильнейше, и ты выбираешь самый громоносный случай. Слушай: Если Павел Григорьевич в отчаянии, а дети плачут, то если теперь открыть маме,—половина горя ее уйдет на сострадание к тем и на мысль, что те все-таки не только не меньше, но и больше ее потеряли, особенно дети. Горе ее поневоле смирится перед их горем, и маме легче будет плакать над детьми и с детьми. Тогда как если теперь от нее скрыть, то после первого мгновения горя она бросится в Петербург к детям, чтобы над ними поплакать (но она убеждена будет, что она им будет и полезна) и как она будет досадовать на тебя припоминая, что она долго не видала детей, или пожалуй побранила или подумала дурно о Маше! Одним словом надо открыть ей сейчас и для облегчения вдвое немедленно свести ее с Павлом Григорьевичем и детьми, особенно с теми, которые плачут. Иначе ты может быть будешь виною ее болезни.

Но я знаю, что вам всем, Сниткиным что ни говори—ничего не поделаешь и потому убежден что ты меня не послушаешься. Привезти же Маму в Ст. Руссу уже после открытия, (когда сама ты воротишься) я бы тебе советовал непременно. Здесь место уединенное, комнат очень много и она может жить как у себя в Саксонии и отдохнуть. Смотриже, пригласи и настаивай. Но для этого непременно надо теперь открыть.

О Лиле я забочусь и мучаюсь, воображаю духоту или холод Петербургские. Ты ничего не пишешь про погоду. Выпрямится-ли

ручка? В газетах читаю об оспе в Петербурге. Берегись Васильевской и Петербургской Части,—там оспа. Пиши пожалуйста о Лиле.

Федя здоров и весел. Призывал вчера Шенка.

Он осматривал подробно и сказал, что решительно ничего не значит, что так у всех детей. Никаких соленых ванн не нужно, а что не худо бы его мыть по временам в корыте мылом. Так как Федя при нем смеялся, то он не мог не полюбоваться ребенком и сказал что это славный мальчик для 10 месяцев.

Няня у нас хороша и любит Федю, но какая то своеобычная и за ней тоже нужно следить. Никогда не любит говорить как марается ребенок и т. п. Здесь вечера после 7 часов сыреньки, а она выносит Федю все в той же рубашечке и даже без шляпы, да и на землю сажает. И я и священник за этим наблюдаем. Не беспокойся.

Где ты теперь? Не переехали-ли куда? Вот на Ольгу Кириловну чтоб не произвела дурного впечатления смерть здоровой, молодой женщины, т.-е. в мнительности, накануне родов.

Вчера получил твое первое письмецо. Слишком уж коротко пишете-с.

В Сундуке отыскал наконец 2 простыни и несколько салфеток, но это и все. Моего белья там не было, а нашел я все мое белье по другим местам.

Обнимаю Лилю. Хорошо бы теперь писать хоть капельку почаще.

Цалую тебя

твой Ф. Достоевский.

P. S. Ужасно жаль Машу! Вот бы только бы жить.

Боюсь, что зарядило несчастьями. Поскорее бы съехаться. Я все вижу дурные сны.

Пятнушки у Феди гораздо меньше, но он ужасно расчесал до рубцев свои ноги, т.-е. еще прежние пуп[ы]рышки от Волховских комаров и здешних клопов. Все это видел Шенк и сказал что никакой нет болезни, что комарные волдыри пройдут сами собою, а пятнушки вздор и если чешутся то тем лучше, ибо всякая детская сыпь чем больше чешется, тем и безвреднее. Его слова. А у Феди и сыпи-то нет.

Завтра 7 дней Лилиной Люцте. Не поджила ли хоть сколько нибудь.

30.

Старая Русса. Июня 3 /72.

Любезный друг Анна Григорьевна, твое письмо от 30-го я получил только вчера. Почему-то не пришла почта. А сегодня тоже не надеюсь получить, потому что уже семь часов вечера. Ты пишешь

что я напрасно беспокоюсь. Но как не беспокоиться, когда столько самых неожиданных усложнений на каждом шагу. Ты пишешь что была больна; но ты можешь быть больна еще раз: Еще что-то скажет мама, с своею болезнию и с своим неведением о судьбе покойницы Марьи Григорьевны? Кроме того хорошо ли сойдет с Ольгой Кириловной? Тебя все это должно волновать. Между тем ты теперь единственное провидение Лили. Кто побеспокоится о бедном больном ребенке если ты заболеешь. Как же не беспокоиться мне здесь? Не пишу уже ничего собственно о Лиле. Каждую минуту она может разбередить свою ручку, пока не срослась; достаточно лишь отвернуться от нее на миг.

Сейчас принесли твое письмецо от 1-го Июня, за которое очень тебе благодарен, потому что эти известия несказанно ободряют меня. Но всего хуже то что ты не спишь. Слушай Аня: Не помогут ли в чем здесь сестры милосердия? Ты бы поспала а те бы посидели с ней. Иначе тебе одной не справиться. И вообще твое положение не казисто, а как далеко еще до конца! Бедная Лиля, разумеется ей скучно и тоскует. Феде тоже видимо скучно, а ведь ты знаешь какой он не капризный и простоватый мальчик! Любит меня ужасно, чуть я войду к нему приходит почти в исступление, кричит, рвется ко мне. Любит быть у меня на руках. Мне кажется ты найдешь что он вырос и возмужал. Няня делает все что может, чтоб развлекать его, и мне даже ее жалко. Здоровье ее получше, но Федька тоже встает по ночам, и хоть бы плакал, а то встает и начинает прямо хохотать. Жизни детишки требуют, солнца, расти хотят, а тут и солнца то нет. Лиля в душной скорлупе города, а мы здесь в куче грязи. Вот уже четвертый день отвратительная погода. Вчера же и сегодня такой [л] же дождь, такой дождь—что я и в Петербурге никода не видывал. И не перестает до сих пор. Все размокло и разбухло, все раскисло. На дворе грязь какую и вообразить нельзя и наверно завтра еще будет так продолжаться. Кроме того холодно: Я и вчера и сегодня топлю, и наконец частая перемена ветру. Фечка просится тоже гулять, но и подумать нельзя. Тоскует и плачет. Я ему показываю лошадок в окно когда едут, ужасно интересуется и любит лошадей, кричит т п р у. Но теперь и к окошкам подносить нельзя, потому что дует в каждое окно ужасно. Еслиб не топить, то и жить нельзя б было.

Хотел бы я узнать, как ты решила с лечебницей, где расчитываешь жить и нельзя ли чего сделать чтобы вам возвратиться пораньше, только не рискуя делом.

Про маму думаю по прежнему: Сказать надо теперь. Еще пожалуй она обвинит в душе Ив. Григорьевича что он берег ее для ухода

за Ольгой Кириловной и потому и не объявлял о смерти Маши, а объявил уже после родин, тогда как если объявить теперь, то поверь что у ней удвоится забота об Ольге Кириловне в решительную минуту, из одной потребности внутреннего возрождения энергии после такого горя, и эта забота излечит и самое горе отвлечением на другой предмет... В одном только я сомневаюсь: в том, что ее ноге не легче. От горя иногда усложняется и усиливается болезнь, даже хоть и наружная.

Как у вас погода? Такая-ли хлябь как у нас. Это ужас. Нет ничего несноснее зелени и деревянных домов во время дождя и при таком ужасном небе.

Еслиб ты знала как мне скучно жить. Писать хорошо когда пишется, а у меня все идет туго. Да и охоты нет совсем. Читать тоже нечего. Какая Александра Михайловна [84] была у тебя? Сестра моя?

Я не знаю успею ли подать сегодня это письмо, чтоб оно пошло завтра до 8 часов, утра. До почты далеко и кроме того я не могу итти: до того грязно и мокро. Не смейся. Здесь итти почти невозможно в такую погоду.

Народ здешний тоже не совсем хорош. Кроме нашего священника все остальные ужасно странны, глупы и грубы.

Ради бога езди, а не ходи. Не глупи по прежнему, не носи Любу. Езди непременно на извощиках и непременно сделай так, чтобы выспаться. Недостаток сна тебя убьет. Здесь обо всем этом надо вновь распорядиться. Надо чтобы хоть два месяца ты могла отдохнуть.

Я тоже, хоть и не позволяю себе ничего лишнего и даже счеты веду, а все таки у меня деньги выходят. В эту неделю я уже рублей 20 истратил.

До свидания голубчик Аня, цалую тебя и Лилю. Передай ей от меня 1000 поцалуев и мою молитву о ней.

Твой Ф. Достоевский.

31.

Старая Русса 5 Июня. Понедельник /72.

Милый друг мой Аня, получил сейчас твое письмо от Субботы. Все эти известия меня просто убивают. Прежде всего ты, собственно твое положение: Разумеется не выдержишь, так жить нельзя. Не спать и мучиться с Любой,—сверх физических сил. Надо непременно на что нибудь решиться. Мое мнение—надо ехать тебе сюда, во что бы ни стало немедленно, сейчас. Надо взять от Барча [85] записочку или изустное наставление вообще об Любиной ручке, и привезти ее сюда

в перевязке. Здесь же, когда минет месяц, пусть снимет перевязку Шенк. Не думаю, чтобы случилось что нибудь дурное: Спроси Барча и Гламу [86], распроси что бы могло случиться очень дурное? (Я думаю ничего) и разъясни им что тебе никак нельзя оставаться долее. Я за тебя решительно боюсь. Вспомни, что ведь всем нам хуже будет и все дела наши расстроятся если ты сляжешь. На счет Мамы я так думаю: Если ей возможно пусть едет с тобою сюда, если же нет, то неужели ей захочется вторую дочь потерять? У тебя есть дети и свои обязанности, нельзя же тебе все время заботиться только о [них] других. Я к тому, что тебя не должны они задерживать в Петербурге. Денег достала бы столько, чтоб хватило на проезд. А там пусть пришлет Ив. Григорьевич. Сообрази еще, что если оставаться в Петербурге то непременно пока выйдет месяц после операции, ибо через 3 недели нельзя разбинтовать ручку, еслиб даже они соглашались. Я очень помню, что и Барчь и Глама сделали гримасу на первоначальный вопрос мой о 3-х неделях и советовали месяц. Ну а ведь месяца ни за что тебе в Петербурге не выдержать.

Так уж не лучше ли теперь воротиться, предоставив все дело Шенку, тем более, что и дела то кажется никакого больше не будет.

Ты вот хочешь завтра (т.-е. во Вторник) перебраться к Ив. Гр-чу. Хорошо тебе там будет, воображаю! Ольга Кириловна кажется целым месяцем ошиблась. Ты живешь в доме, в котором такая суматоха, где все больны, где Ив. Гр-чь наверно потеряет голову, где тебя стеснят, а Люба всем надоест и главное Ольге Кириловне. Нет Аня, прежде всего приезжай сюда, в Старую Руссу, но немедленно сей же час.

Подумай что ведь нерешимость гораздо не выгоднее для всех. Что может тебя, в самом деле, задерживать? Когда ты будешь читать это письмо, Любиной перевязке будет ровно две недели.—Это уже срок чрезвычайно обнадеживающий. Ведь она здорова, спокойна, имеет апетит и только мучается скукой и всех сама мучает. Ну, если здесь, через две недели Шенк найдет что нибудь при разбинтовке перевязки, тогда в крайнем случае опять хоть поедешь. Но ведь этого же совсем быть не может. И потому приезжай.

Может быть тебе тяжело оставить Маму и [тяжело с] семейство Павла Григорьевича? Но подумай что ты взамен того положительно будешь в тягость в доме Ив. Гр-ча. Что же касается Мамы умоляй ее приехать в Руссу, если теперь нельзя, то когда вылечит ногу.

Уверяю тебя Аня, что я сам приеду за тобою. Я вижу что подлее и сквернее твоего положения быть ничего не может, если же ты заболеешь—тогда будет поздно. Тогда я ничего уже не напишу во все лето и что тогда—повеситься?

Я не могу жить в этом беспорядке. Все причины оставаться тебе

в Петербурге — фиктивные. Для чего ты там живешь в самом деле? Все сомнительное в ручке Лили прошло. Деньги? Но возьми у Ив. Гри-ча несколько денег, очень немного, чтоб добраться только и дело кончено.

И потому с получением этого письма, прошу тебя очень, настаиваю—начни сейчас укладываться, сходи к Барчу или Гламе и отправляйся сюда в тот же день.

Кроме того, так как я до невыразимости страдаю всеми сомнениями—отвечай мне в тот же час, как получишь это письмо. (Да и вообще я желаю, чтобы каждый день писались письма—иначе нельзя).

Уклончивость или ложное известие о том что ты здорова и что тебе хорошо—будет подлостью передо мною или перед Лилей (не говорю уже перед бедным Федей). Лиля и без того мучается по даче, только не может сказать по чему, но очень возможно, что она заболеет в Петербургской духоте!

И что ж, лучше что ль будет, если я через три через 4 дня сам приеду за тобой, потеряв время. И без того много денег и времени потеряно без малейшей пользы для нас.

Снимать же повязку Лили ни в каком случае раньше месяца я бы не хотел.

Не может же мама претендовать на тебя что ты неблагодарная дочь. (*Следующая фраза зачеркнута*).

Федя здоров, но я бы желал чтоб ты воротилась. Ему очевидно чего-то недостает и иногда он очень скучает.

Главное прошу тебя уведомь меня сейчас, сию секунду, не отложно и во всяком случае пиши каждый день, хоть по три строчки.

Со вчерашнего вечера погода разгулялась. Здесь во всяком случае здоровее, чем в Петербурге. Еще скажу: при тебе будет меньше выходить денег. У меня теперь всего на все 57 руб. Это с священниковыми 21 р. отданными мне. Я берегу впрочем очень.

Вчера был у обедни в Соборе. Протопоп уже два раза приходил ко мне. Я был у него один раз, пойду еще.

Мне нестерпимо скучно жить. Еслиб не Федя то может быть я бы помешался.

Пишется ужасно дурно. Когда-то добьемся хоть одного месяца спокойствия, чтоб не заботиться сердцем и быть всецело у работы. Иначе я не в состоянии добывать денег и жить без проклятий. Что за цыганская жизнь, мучительная, самая угрюмая, без малейшей радости и только [мучайся] мучайся, только мучайся!

Ты не сердись, это к тебе не относится. Но пойми что лучше бы жить с здравым смыслом, а не наперекор ему. Взвесь же мое пред-

ложение и воротись сюда сейчас. Я [тебя] не пойму никак причин которые тебя могут задерживать. Одно что ты больна. О, не дай бог если наконец и этого добьешься! Тогда все пропало и главное средств ни гроша чтобы что предпринять.

Ради Бога отвечай сейчас-же. Твой очень тебя любящий

Федор Достоевский.

На поле 1-й стр. приписка:

Я перечитал это письмо. Не сердись ради Христа на меня. Я не тебя укорял. Но ведь наконец до того станет тяжело, что не вытерпишь. Я предвижу весьма возможный ужас что ты не выдержишь и заболеешь и потому заранее в отчаянии. Но если, на беду, мама.

Приписка внизу 1-й стр.:

очень заболеет и тебе надо будет остаться при ней — останься, но извести меня тотчас-же и пиши каждый день. Если сама заболеешь хоть каплю — пиши сейчас, сию минуту, или вели написать, (*здесь зачеркнуто слово*), но без „лжи".

На поле 2-й стран.:

Успокойся, я подожду твоего ответа, но только немедленно пришли его и пиши каждый день (не надо слога, три строчки).

На поле 4 й стран.:

Бедную мученицу и для других мучительницу Лилю цалую 1000 раз. О как до помешательства тяжело жить!

32.

Старая Русса. Четверг 8 Июня/72

Сейчас получил твое письмо, друг мой Аня, от 6 Июня. Письма ко мне, приходят кажется позже всех в городе. Почта приходит в час, а я получаю в 6 пополудни. Заметил это почтальону — он же на меня и раскричался. Ужасно здесь дерзкий народ.—Пишешь о том, что Барчь хочет снять перевязку 12 числа. Я рад если это возможно, но и боюсь. Ну что [еще] если не поджила еще совсем ручка, и начнет кривиться? Может быть Барчь делает это не видя другого исхода, т.-е. за невозможностью тебе ждать. Ах Аня, поторопимся и что будет потом! Вот моя последняя просьба: Решись только в том случае, если Барчь вполне и настойчиво удостоверит тебя, что нет ни малейшей опасности.

И опять таки: по снятии перевязки надо взять инструкцию, ведь быть не может, чтобы тем совсем и кончилось! Некоторое время все еще надо беречь ручку и ходить за ней, а может быть и лечить. Спроси непременно, не забудь Барча: Не заболит ли ручка, по снятии перевязки наружно (кожа н. прим. начнет слезать), потому что слиш-

ком долго была герметически закупорена от влияния воздуха. Наконец, не опасно-ли, сняв перевязку оставить ребенка действовать ею как здоровой рукой. Осторожно-ли будет? Ну обопрется обо что нибудь, стукнет ручкой и суставчик еще чуть-чуть сросшийся опять надломится?

Это хорошо, что ты переехала к Сниткину-доктору [87], а не к Ивану Григорьевичу. Я решительно был в тоске от прежнего твоего намерения. Ну как можно жить в душных комнатах, где столько мебели, где есть родильница и ребенок, с Лилей, которая капризится и плачет. Вот было бы безумие-то. Ну и у Сниткина-доктора вряд-ли тебе будет хорошо. Эх Аня, лучше бы было остаться в Максимилиановской до Середы, если уж Барчь находит возможным снять перевязку! Ну что 35 рубл., а по крайней мере была бы у себя дома. А то еще на Любу будут коситься. Там тоже есть ребенок. Люба будет мешать, надоест.

И так буду ждать вас мало по малу. Мне здесь очень скучно. Работа же—труд (да еще скверный), а не развлечение. Еслиб не Федя совсем бы умер с тоски. Федя весел, но слишком уж тих. Ужасно мил. У него не проходят на руках и ножках комариные болячки. Каждую ночь расчесывает, страх смотреть и не знаю что предпринять. Здесь же его вновь кусают какие то мошки, которые теперь развелись. Их укус очень чешется, делается волдырь и не проходит. Может быть те же комары.

Не забудь купить пакетов, выходят. Не достанешь ли больших пакетов для меня? Не забудь взять Р. Вестник и Беседу.

Мне решительно некогда ходить в гости, а надо сходить к Протопопу. Некогда даже и гулять. На минутку забегаю лишь читать газеты. Деньги здесь очень выходят.

Обнимаю тебя. Лилю цалую бессчетно. Хоть бы взглянуть то на нее!

Твой весь

Ф. Достоевский.

Теперь каждый день буду отсчитывать до вашего возвращения.

Не знаю по какому адресу теперь писать к тебе. Пишу на старый.

А Маму не привезешь? Пригласи ее, если так, настоятельно. Да обратите вы внимание на ее ногу посерьознее.

33.

Старая Русса, 9 Июня/72.

Милая Аня, пришло твое письмо от 7-го, в котором ты меня стараешься успокоить. Я и спокоен, только глупо было Барчу с самого

начала не говорить в чем дело. Эти господа воображают что все мы живем какими то отвлеченными существами, у которых ни дел ни забот и все время свое. Вот выходит теперь что снятие перевязки действительно важная вещь: Зачем же было с самого начала не рассказать в чем ход дела: не было бы многих недоразумений. То, что снимают повязку 14 а не 12-го мне кажется хорошо. Только жаль и тревожит заране, если найдут что дело еще не сделано и надо перевязку другую, войлочную. Без сомнения если тебе велят остаться еще, то остаться необходимо. Но уж как бы желательно чтоб поскорее вы воротились. Скука здесь хоть умри. Но если и на скуку приедешь, то все таки мне кажется тебе лучше будет, чем теперь в Петербурге, а Лиле и подавно. Ты пишешь что письмо тогдашнее отправила в минуту раздражения. Да и ведь то одно что есть такие минуты раздражения много показывают (*зачеркнуто 4 слова*). Думаю тоже про Лилю: в Петербурге ей теперь хуже чем зимой, а здесь воздух чистый, песок и может быть ванны помогут. Об ваннах спроси хоть Михайлу Николаевича [88]. NB. Здесь, чтоб допустили пользоваться ваннами надо представить удостоверение от доктора, который, описав в этом удостоверении болезнь, помечает что такому то больному надо принять на первый случай столько то ванн (10 положим), а там он увидит. За эти 10 ванн вносятся деньги сюда в контору, и выдается билет на пропуск в ванны. Взять это свидетельство можно и от Петербургского доктора. Не взять ли у Мих. Н—ча, если найдет полезным? А впрочем ведь это все равно. Не обойдемся же здесь без Шенка.

Для посещения воксала, музыки, библиотеки надо взять билет единичный или семейный и заплатить особо от 4-х до 6 руб., кажется.

Если Барчь настаивает снимать перевязку собственноручно—то и чудесно. Пусть по крайней мере начатое дело окончится и раз навсегда. Но то, что он о с о б е н н о настаивал меня несколько тревожит.

Мне ужасть как надо переписывать то, что я успел написать. Ужасно затянется работа. Дорого стоила нам эта люцьта.

Протопоп предложил мне Владиславлевскую люльку, которую они, когда жили, здесь у него оставили, и уже прислал мне. Это огромнейшая люлька в которой можно спать и большому, глубокая и без раскачки. И так для детей кроватки есть.

Ты пишешь что осматриваешь квартиры. Когда ты находишь время? Спрашиваешь моего мнения; да что же я могу сказать не видав? Одно только скажу окончательно: ни за что не брать квартиры в Шестилавочной. Принцип же мой ты знаешь на счет квартиры; хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно, ибо в такой б о л ь ш е н а р а б о т а е ш ь. А то сохранишь рублей 200 экономии, а на 1000 руб. не допишешь. Из твоих же описаний мне несравненно больше нра-

вится в Саперном. Но так как с Троицкой разница в цене малая, то конечно на твою волю. Да отдавай между прочим преимущество высоким потолкам. Чем выше, тем лучше, пусть меньше комнат но выше потолки.

600 или 700 руб. не бог знает что если бог нас сохранит. Но в том беда, с которого времени их считать? С Сентября или с того дня как наймешь? Что делать впрочем? Надо покориться. Только чтоб работать. Вот в чем вся штука и загадка. Хорошо бы нанять теперь и дать задаток.

Федя здоров и весел. Но лучше если бы ты поскорее воротилась. Побольше развлечения ему полезно. Погода у нас не дурная. Обнимаю Лиличку. Помнит ли она меня? Не забыла ли?

Твой

Федор Достоевский.

34.

Старая Русса 12 Июня/72.

Сейчас, уже в 7-м часу, получил твое письмо от 10 Июня. Мне решительно все позже и позже приносят и определили, кажется, из всего города приносить последнему. Таков здесь разряд на чины у почтовых чиновников. Отвечу тебе только несколько строк; на все твои намерения я вполне согласен как ты и знаешь сама, но ужасно буду скучать если Барчь оставит тебя еще на 4-ю неделю, (хотя что же делать, надо слушаться). Ты пишешь что скучаешь по мне верно больше чем я по тебе. Отвечу: я не знаю по ком я больше скучаю, но мне так скучно, что, поверишь-ли?—досадую зачем нет припадка? Хоть бы я разбился как нибудь в припадке, хоть какое нибудь да развлечение. Гаже, противнее этого житья быть не может, вместе с Старой Руссой.—Федя здоров, но вчера несколько раз очень плакал и почти всю ночь эту не спал. Теперь ясно, это зубы. Ночью плакал ужасно, неслыханно; приду я тотчас развеселится у меня на ручках и начинает мне показывать как мычит коровка, пищат птички. Сегодня днем веселее гораздо. Маленький понос (но слишком маленький). Очень вкусно ел, сейчас спал и встал веселый. Что-то будет эта ночь?

Милая Лиля как должно быть ей скучно! Так вы живете в Фонарном [89] почти одни, а семейство на даче!—вот это хорошо. Если скоро выедешь ради бога обрати внимание на то, что я уже писал тебе про дорогу. Не утоми себя и сбереги Любу.

Вчера получив твое письмо я очень встревожился за брата Колю [90], а написать тебе позабыл. Нельзя-ли тебе, голубчик, перед

отъездом, еще раз узнать об нем подробнее и не дать ли ему еще хоть капельку денег? Ну что если умрет. Тяжело мне будет.

До свидания друг мой, благодарю что обо мне хоть немножко скучаешь. Я все работаю, но для меня это мучительно. Вот уже семь часов, а я еще со двора сегодня не выходил. У нас дни так себе, только ветрено.

Целую тебя и твои ручки, а Лилю 1000 раз.

Тв. Ф. Достоевский.

А что если ты отправишься в Среду и стало быть это письмо не дойдет до тебя? Но в Среду наверно не отправишься. Зато не знаю: писать ли тебе теперь еще, завтра или после завтра? Соображусь с обстоятельствами.

35.

Старая Русса,
Среда, 14 Июня/72.

Сегодня получил твое письмо от 12-го и вижу что ты решительно собираешься к нам, милая Аня. Поэтому пишу лишь два слова, единственно в той печальной надежде, что тебе еще не удастся уехать, а стало быть еще получишь это письмо. Федя здоров и в хорошем расположении. Все мы ждем тебя. У меня в ночь на 13-е число был припадок из сильных, так что до сих пор темно в голове и разбиты члены. Это еще больше остановило мою работу, так что и не знаю как я буду с Р. Вестником и что обо мне там думают [91]. Что пароход не доходит,—то это вздор. Сегодня еще пришел к самому берегу. Он будет не доходить в конце Июля или в Августе, когда река обмелеет. На счет денег нечего и говорить, плохо.—Ужасно боюсь за вас с Любой, за вашу дорогу. Опасно еще то, что чуть ветер и пароход не идет, а выжидает. Тебе бы в Петербурге взять прямо до Руссы и с пароходом. Ну до свидания. Цалую тебя. Приезжай скорее. Сегодня среда, что то скажет Барчь! И когда я об этом узнаю? А на счет того, что ты приедешь завтра, в четверг,—то разумеется в это трудно поверить. Хоть бы в субботу.

Ну до свидания. Цалую тебя 1000 раз и Лилю. Боюсь я за нее в дороге.

Твой муж
Ф. Достоевский.

Всем поклон. У нас сегодня дождь.

36.

Москва.
Понедельник 9 Октября/72.

Милый друг Аня, вчера вечером получил твое доброе письмецо, за которое от всего сердца благодарю тебя и крепко цалую. И так и Люба и Федя думают что я сплю в моей комнате? Мне жаль их, ангелов, хоть бы забыли меня немножко. Говори им что я гостинцы здесь покупаю и привезу им. Как ты поживаешь? Я переехал еще в субботу (заплатив в Европе за день) к Елене Павловне [92] и стою в особом отделении ее нумеров, через дом. Мне покойно. С Любимовым по виду все улажено, печатать в Ноябре и Декабре [93], но удивились и морщутся, что еще не кончено. Кроме того сомневается (так как мы без Каткова) на счет цензуры. Катков впрочем уже возвращается: он в Крыму и воротится в конце этого месяца. Хотят книжки выпускать Ноябрскую 10 Ноября, а Декабрскую 1-го Декабря,—т. е. я должен чуть не в три недели все кончить. Ужас как придется в Петербурге работать. Вытребовал у них старые рукописи пересмотреть (да и Любимов ужасно просил)—страшно много надо поправить, а это работа медленная; а между тем мне очень очень хочется выехать в Среду. И потому сижу дома и работаю. И однако вот сейчас надо будет съездить к Веселовскому [94], которого наверно не застану дома; стало быть к нему проездить придется раза два или три. Вчера заезжал к Перову [95], познакомился с его женою (молчаливая и улыбающаяся особа). Живет Перов в казенной квартире, еслиб оценить на Петербургские деньги тысячи в две или гораздо больше. Он кажется богатый человек. Третьяков [96] не в Москве, но я и Перов едем сегодня осматривать его галлерею, а потом я обедаю у Перова. Ни у кого еще не был. Разыскивал Аверкиева, но адресса [найти] найти не мог. Если узнаю то заеду к нему. Не знаю поеду-ли в Беседу. Дела с поправкою рукописи бездна, времени не будет (а по моему [так] с Беседой время и терпит). Ну вот и все мои пока приключения. Погода здесь летняя, но по вечерам сыренько. Купи себе ради бога шляпку. Все таки жду от тебя письма. Завтра во Вторник может быть еще напишу. От тебя же [прошу вс] желал бы получить еще хоть одно письмо. И очень прошу если хоть какой нибудь худой случай с детьми, то дай знать даже по телеграфу. Но это в худом случае (не дай его бог) а сама со Вторника могла бы уж и не писать мне (если тяжело), потому что в Среду наверно хочу выехать. Если задержит что на день, то это возня с поправкою рукописи. Но не думаю. Если запоздаю хоть днем—уведомлю.

До свидания друг мой милый, цалую тебя крепко, ты мне снилась во сне.

Твой Ф. Достоевский.

Любу цалую. Скажи ей что люблю ее больше всего на свете, так же как и Федю. Господи как я за них боюсь здесь! По ночам такая приходит грусть.

Все тебе кланяются. Сонечка [97] такая хворая, Машенька [98] же толстая, но с признаками золотухи. Елена П-на хлопочет с утра до ночи.

37.

Москва.
10 Октября/72.

Милый друг мой Аня, Сижу за работой и поправок оказывается столько, что выеду не в Среду, а в Четверг. Пишу в три часа ночи. Спать хочется ужасно, но работы такая бездна, что нельзя лечь, и в добавок завтра утром в 9-м часу пойду опять к Веселовскому, которого все не могу застать (он с утра до ночи в суде по делу Мясниковых [99]), но более как до Четверга здесь жить не хочу, скучно здесь ужасно. Пишу тебе лишь для того, чтобы в Четверг меня не ждала напрасно.

Сегодня обедал у Перова. Цалуй детей. Ради бога Анечка, сбереги их. Цалую и обнимаю тебя

Твой весь с ног до головы

Федор Достоевский.

11 часов утра. Ночью был один из сильных припадков. Голова болит, работать надо, не знаю что делать. А к Веселовскому не ходил, проспал. Надо будет бежать сегодня на авось после обеда, или в суд. Ч[орт] возьми сколько этот Коля задал мне шатанья и муки.

1873 г.

В 1873 году Ф. М. предпринял усиленные хлопоты по делу о наследстве после тетки Куманиной, затянувшемуся с 1869 г., так как другая сторона наследников (Шеры, Казанские и др.) энергично повела дело об утверждении своем в правах. Кроме Веселовского, Ф. М. сносится с двумя еще адвокатами — Поляковым (Петербург) и Жеромским (Москва). Будучи занят, как редактор журнала „Гражданин", Ф. М. нашел себе помощника в лице своего племяника — сына Мих. Мих.—Федора Мих. младшего. Оба они за лето были в Москве, встревоженные видимым оборотом дела в пользу другой стороны наследников. Анна Григорьевна проводила лето с детьми в Старой Руссе; туда и шлет с сообщениями обо всем этом деле письма Ф. М. (подробности см. в соответствующих примечаниях).

38.

Москва.
20 мая/73 г.

Милый друг мой Аня, сегодня в полдень, так как поезд опоздал на час, приехал я в №№ Ел. П-ны. [Ник] Никого не застал: Соня с детьми на даче, а Елена Павловна к ней уехала. Узнал что Ел. П-на будет вечером и занял номер. Затем оделся и поехал к Полякову [100], который у Ел. П-ны оставил адресс своей гостинницы. Его к счастью застал. Он очень был доволен меня увидев и выразился что без меня ничего не мог сделать. Он рассказал что узнавал везде в суде: никакого дела к слушанью 21 Мая нигде не назначено. Но что, по его [мне] мнению Ш е р ы [101] непременно что-то затеяли. [Был он]. Он добыл копию с Завещания и всего подлинннго дела (18 листов) и заплатил за это [25 листов] 25 рублей. (Не худо кидает деньги!) Говорит что было необходимо. Рассказал что был у Варвары Михайловны и что та встретила его недоверчиво и сказала ему между прочим: „Неужели брат Федя хочет меня лишить всего". Я отправился тотчас-же к Варе. Она, между прочим, в большом горе что зять ее, Смирнов, умер (3-тьего дня схоронили) и оставил вдову (ее дочь) и пятерых маленьких детей. Варя бедная плачет, но встретила меня очень приветливо. Она (и по моему искренно) даже рада что мы начинаем дело. Она убеждена, что Шеры начали и даже что-то уже подали. Она уверяет что вызов наследников был тому назад несколько месяцев. Просила не забыть ее при дележе в 14-й доли. Но все они здесь убеждены, что Шеры выиграют, основываясь на ка-

ком то решении Сената, в Декабре, по какому-то подобному же делу в пользу единокровных. Между [тем] прочим Варя потому убеждена, что недели 2 тому приезжал брат Андрей М-ч [102], остановился у ней, и не найдя Веселовского в Москве, послал ему в другой город телеграмму. Брат Андрей приехал только потому что узнал о Шерах и тоже (как и мы) был уверен в возможности (*не разобрано*) получить все; подбивал на это и Варю.

Все здесь кажется уверены что наши росписки в взятых мною [102а] и братом Мишей 10000 и слова тетки на счет нас в завещании, [нас] лишают нас права искать теперь, но Поляков на это смеется. Брат же Андрей вероятно на это расчитывал, коли не писал мне ничего. Веселовский по вызову брата Андрея приехал и на другой день, (рассказывает Варя) брат воротился от него убитый и что Веселовский, будто бы, убедил его что ничего не поделаешь и что Шеры правы. С тем брат Андрей и уехал. (NB. Но откуда же брат Андрей получил известие? Это неизвестно). Варя дала мне весьма важные подлинные метрические документы, это мне доказательство что она за нас и была очень дружелюбна. Я просидел у ней долго и поехал к Полякову уже вечером. Рассказав ему и вручив документы, я предложил ему ехать завтра к Веселовскому, который бывает в городе 2 раза в неделю, от 10 до 12 часов. За тем решить окончательно что делать. В том что Шеры что то начали—нет сомнения. Но что, где и когда? неизвестно и это Поляков хочет розыскать. Он говорит что пробудет до Середы и уедет оставя знакомого [чиновника] человека следить за делом в суде и чуть узнает, что Шеры подали уведомить его в Петербург. Поляков более чем когда нибудь горячится и надеется. Он говорит что имение по оценке обозначено в 52.000, т. е. по оценке опекунской и судейской. Если так по первой казенной оценке, то наверно дороже. Я прямо сказал Полякову что я начну дело лишь в случае что начнут Шеры, ибо не хочу обижать сестры. Сказал я это еще до поездки к Варе. Но теперь явно что она уже начала и может быть потаенно. Что сделаем в эти три дня напишу тебе. У Вариньки был Жеромский [103] и Варя нашла что Жеромский дельнее Полякова. Жеромский в 2 дня, достал по приходам все метрики, в суде же тоже узнал что 21-го ничего не будет, но остается действовать и узнавать. Он говорил Варе что действует за Колю даром по дружбе. Жеромский (как и Поляков) смеются над надеждами Шеров и [не верьте] не верят в декабрьский приговор сената.

Ну вот все о деле, завтра узнаем более. Боюсь только что Поляков потратит денег.—Затем вечером приехал в №№ где застал Елену Павловну. Завтра приедет и Соня. Елена Павловна говорит что за Соню очень боится и что та решительно губит себя работой. Пишу

тебе поздно, вставать завтра рано, ночь я не выспался и теперь едва хожу. Ночью совсем не спал. Напиши мне как ты, здорова-ли, пожалуйста подробнее. Мне весь этот день после всей этой тревоги и деловитости, очень солоно пришелся. Прежде я не так приезжал в Москву. О детях черкни все что можно подробнее. Хотя уже и $^1/_2$ одинадцатого, но служанка ждет письма положить его сегодня же в почтов. ящик. Машенька очень заболела. Сегодня приехал (до меня Витя [104]) и прямо проехал в Даровое [105]. Ради бога напиши о детях.

Прощай, обнимаю тебя. Твой весь тебя крепко любящий

Ф. Достоевский.

На 4-ой странице сбоку приписка:

Чуть с тобой обморок, или что нибудь, хоть каплю, сейчас телеграфируй. Не мучь себя очень заботами. В четверг выеду наверно, если не успею раньше. Тв. весь.

39.

[Петербург].
Вторник 12 Июня 73.

Милая Аня, письмо твое получил всего сейчас, в 8 часов вечера, и уже думал идти пускать телеграму на имя священника [106]—так об вас беспокоился. Рад что у вас благополучно. Боюсь что ты слишком устала. Ангельчиков моих Федю и Лилю цалую. Мне очень скучно. Дачу найми как можно скорее с садом. Вчера утром меня судили, осудили 25 р. и два дня на абвахте, но окончательный приговор скажут лишь 25 Июня, а стало быть ждать еще долго [107]. Пишу на скоро. Пиши скорее. Дела у меня много. Сейчас нагрубил мне метранпаж нестерпимо. Он у Мещерского [108] ждал в передней, а я его сейчас у себя на стуле—вероятно за это. Но причина важнее и я беспокоюсь: все дело в том что Мещерский Траншелю [109] не заплатил, а в долг, вот они теперь все и делают страшно небрежно, и с нестерпимыми грубостями, а я так не могу. Сейчас, воротясь домой застал у себя Полякова и Федю [110], кое как сговорились, Поляков стребовал у меня оставшиеся 25 руб. за поездку в Москву. Федя очень тебе кланяется. Дела бездна, людей почти не вижу. Вчера впрочем был у Кашпиревых [111].

Хожу в детскую комнату и смотрю на их пустые постельки. Поцалуй их очень. Прощай, целую тебя

Твой весь

Ф. Достоевский.

Не жалей детям гостинцу.

Смотри за ними. Выспись, это главное и старайся не простудиться.

40.

[Петербург].
Четверг 14 Июня/73 г.

Милая Аня, сейчас получил твое письмо. Очень рад, что вы все здоровы. Детей цалуй. Очень буду рад если тебе ванны приносят пользу. Если довольна дачей то чего-же лучше. Я очень занят. Теперь 9 часов вечера а я еще и не начинал большую статью, которая завтра должна быть сдана [112].

Ктому же очень устаю, много ходьбы и всяких мелких хлопот. Ко мне никто не ходит. Вчера был Ив. Гр-чь, спрашивал о тебе. Ничего особенного. Федя просил отсрочить долг, т.-е. никогда конечно не отдаст. С типографией все дрянные мелкие хлопоты. Хозяин ко мне заходил раза 4, все когда меня нет, под разными глупыми предлогами; должно быть хочет завести знакомство. Александра [113] может быть и порядочная но манерничает. Одним словом нечего писать о себе, и без того загроможден делом не сплю целые ночи. А тут духота, пыль.

Желаю тебе жить веселее моего. Письма твои имеют деловой характер, да тем лучше. Не забывай уведомлять о детях.

Целую их 1000 раз.

До свидания

твой Ф. Достоевский.

Священнику кланяйся.

41.

Петербург 22 Июня/73
Пятница.

Милый друг мой Аня, вчера так устал и так много было неотложного дела (корректуры и чтение статей) что решительно не мог тебя уведомить о приезде. Переехал я, разумеется, благополучно. Застал же все в порядке и дома и по журналу, только много мелких хлопот. Лег я спать ночью только в три часа, но все таки выспался и сегодня свеж, не смотря на погоду, которая вдруг переменилась с сегодняшней ночи: из невыносимой жары сегодня холод как в Октябре, небо все в окладных тучах, свинцовых, гадких, очень низких, но дождя нет. Вчера утром же по дороге из типографии встретил Ив. Григорьевича. (Он без меня заходил). Он сообщил мне что и Анна Николаевна отправилась в город и вероятно ко мне зайдет. Но однако она не заходила. Он же зашел ко мне и выпил чаю; расспрашивал о тебе, я все сообщил. Между прочим сказал что уже отправил к ним твое

письмо. Сказал ему и о деньгах, только не очень настаивая. Он сказал что ему завтра обещал отдать долг Варламов. (Если уж на это рассчитывает, то значит у самого тонко). Я просил его не беспокоиться, объяснив что до понедельника у меня будет, а на той неделе может и справлюсь как нибудь (благодаря 20 р. взятым у тебя).

Застал у себя два письма—твое которое пришло еще в Понедельник и от Феди из Москвы. Федя пишет, что у В. Михайловны, сам, своими глазами, читал в газете „Современные Известия" от 12 Июня, в Отделе Судебной Хроники, что в Москов. Окружном Суде, по 5-му Отделению, 12-же Июня, слушалось дело об утверждении в наследстве Шеров и Казанских [114].

Варя сообщила ему тоже будто слышала что Шерам было в суде отказано, но что она думает будто сообщавший ей—солгал. Вызов же наследников, по словам же Вари, был сделан. Федя в тревоге и спрашивает меня: „Что же Поляков-то"? Я тотчас написал Полякову, но вчера же встретил его у Полицейского Моста. Письма моего еще он не получил и сообщил ему известие от Феди на словах. Он засмеялся с тупым высокомерием и отвечал вздор. Я сказал что уже достал № Совр. Известий (в Редакции) и читал сам.—Вздор.—Да читал же своими глазами!—Вздор, не то, как нибудь вздор. Я в Москве, в Окружн. Суде справлялся и мне сказали что в Туле. Вздор!—Да возьмите газету и прочтите!—Прочту, но ничего не будет, вздор! Ну что делать с такой тупицей! Между тем в Москве очевидно что-то произошло и очень может быть что Полякова надули через интриги Веселовского в суде. Одним словом, ездил деньги взял и не умел даже в суде справиться! Федя пишет что Шеры хлопочут более чем когда нибудь, на стены лезут; просил меня отвечать ему, но так как объявляет в письме что 22 выезжает из Москвы, то я, разумеется, не отвечал. Не знаю что из всего этого выйдет.

Заходил ко мне еще вчера Страхов [115]: тревожит меня очень одно соображение: в будущую субботу, т.-е. через неделю, 30 числа, мне может быть и не [удаст] удастся к Вам ехать! Дело в том, что деньги на Июль месяц я должен буду получить (от какого то Дмитревского) по распоряжению Князя [116], только 1-го Июля. Согласятся ли мне выдать 30 Июня? Если же уехать 30 Июня, то и у самого денег не будет, да и сотрудникам в понедельник 2-го Июля заплатить будет [нечем] нельзя, как теперь через Секретаря [117], которому я оставил в этот раз деньги. Все это решится на будущей неделе. А покамест я очень в унынии.

Ходил вчера к Филипову [118], по одному делу (литературному) узнал от него, между прочим, что Клец [119] приедет в Петербург дня на три в Июле, около половины.

На следующей неделе должен быть мой арест [120]. Мне очень весь сегодняшний день без вас грустно. Думаю о тебе и о детках. Боюсь за сегодняшний холодный день: у вас верно еще сырее нашего. Опять у ангела моего Лили будут зубки болеть. Береги ее Аня. (*зачеркнута целая строчка*) Тебе бог за это зачтет. Все они мне оба сегодня вспоминаются весь день. И во сне снились. Федька так цаловал меня в Середу утром и Лиля не выдержала, заплакала на пароходе (между тем крепилась [резвилась], резвилась, хотела показать что твердо перенесет). Люблю тебя Аня, пиши мне больше о себе и о детях. Больше мелких подробностей. В случае чуть больны — сейчас зови Шенка. В случае деньги зайдут за половину—сейчас меня уведомь. Я хоть из под земли а достану.

Обнимаю тебя и всех вас Ф. Достоевский.

И Федю и Лилю цалуй очень. Скажи что скоро, скоро приеду.

42.

[Петербург].
26 Июня/73.

Милая Аня. Вчера я получил твое и Лилино письмо, за которое вас обеих и благодарю. Только пиши почаще, а то уже я начал беспокоиться. У меня-же столько дела (мелкого, беготного) что нет даже минуты свободной и хорошей чтоб поговорить с вами. Рад что покамест все вы здоровы, но боюсь дальше. Все мне кажется что вы там—одни и что вас кто нибудь там обидит. Деньги 25 р. произошли из заклада твоих вещей, что̀ и узнал я вчера от Анны Николаевны, которая зашла ко мне в 5 часов пополудни вчера, когда я уже выходил из дому. В это время принесли и твое письмо. По всему видно что у Ив. Гр-ча у самого ужасно тонко. У меня же пока денег достало на все. Вчера встал в 8 часов утра чтоб итти в суд выслушать окончательный приговор. Но Председатель суда сказал мне что можно и не ждать приговора, а на вопрос мой когда исполнение, он объявил что еще 2 недели должен быть срок для кассации. И так еще 2 недели я свободен, а там на 3-ю неделю арестуют. Но вот что: Так как приговор вчера прочтен окончательный, то смущает меня: не взяли бы с меня подписку о невыезде из города [121]? Тогда я, если так целый месяц к вам стало быть не приеду. С другой стороны, если и не возьмут подписки о невыезде, то все равно если не получу деньги в Субботу (как я писал тебе) и стало быть не выеду, то и в следующую субботу нельзя будет выехать, потому что тогда наступит срок ареста. И потому надо во что бы ни стало настоять на получении денег в Субботу. А не знаю удастся-ли? Кроме 1000 мелких

хлопот надо изо всех сил всю неделю работать писать, чтобы к Пятнице все сдать и управиться. И потому, с сей минуты, мне предстоит дня три сущей каторги.

Ты хорошо делаешь, что ходила в театр. [Не в]. Довольно-ли денег? У меня выходят ужасно на редакцию. Сам очень лишнего не трачу. Был у Кашпиревых дня три тому. Его нога хуже, а Соф. Сергеевна в тот день получив взаймы откуда-то 220 р. потеряла их в Гостином дворе, так что дома у них ни гроша. И все это правда. Деньги же 220 р. предназначались на уплату процентов за долг в 2000 одному кулаку, которому они уже три года уплатить не могут. Софья Сер-на при мне плакала жалея потерянные деньги. Действительно их положение ужасное, и хоть они принимали меня донельзя радушно, но представь мое-то положение—сидеть и видеть ее слезы и знать, что должен им 400 руб.

Цалую тебя и детей. Может очень скоро увидимся. Моих всех мелких хлопотишек не описываю. Нужно ужасно много сделать, чтобы возможно было приехать к вам, так н. прим. нужно наперед целых $^2/_3$ № уже иметь в составе, чтоб осмелиться отлучиться на 4 дня.— Вчера был у меня Соловьев [122], воротившийся из за границы. Мучение мне с этими визитами, да еще с иными редакционными письмами, которых никак нельзя миновать. Был Поляков; в начале Июля хочет ехать в Москву и в Тулу. Здесь душно и жарко ужасно. Обнимаю тебя и цалую крепко. Детишек особенно. Поговори им что нибудь обо мне. До свидания.

Твой весь Ф. Достоевский.

43.

Петербург
5-го Июля/73 Четверг.

Милая Аня, пишу тебе вне себя от усталости, ничего не спал. Сегодня утром приехал, дорогою мочил дождь. Нашел целых 5 писем, на которые надо немедленно отвечать, все по журналу. Сегодня же должен отсмотреть с переправкой 3 корректуры. Получил довольно любезное письмо от Мещерского, просит у меня извинения что я за него просижу [123] (это наверно Филипов ему передал, которому я передал в свою очередь, что Мещерский слишком небрежно обращается со мною, не изъявив даже сожаления, что я буду сидеть за него). О деньгах пишет как о совершенно решенном деле; а между тем Дмитриевский [124] приехал всего только сегодня и прислал мне сам 700 руб. Теперь, голубчик Аня, я как расчитал так и ужаснулся: 100 тебе, 100 Печатки [ну] [125], 50 жалование Пуцыковичу 100 журнального долга Гладкову [126], да мелких расходов (Тришину [127], служитель и проч.руб. 20)

да хозяину [128] 50, сочти-ка что остается. И однако может быть надо будет поделиться с Ив. Гр-м, к которому я послал уже письмо что приехал; в понедельник же расчет за №, который очень дорог (даровые статьи, Филипповские прекратились). Я же ничего не пишу за хлопотами (*зачеркнуто три слова*) у меня колоссальный дефицит. Но все равно; покрайней мере сию минуту хоть что нибудь есть. О будущем и думать не хочется: Голова кружится и боюсь припадка.

Теперь о деле: Завтра пошлю на имя Румянцева тебе 100 руб. (т.-е. постараюсь не проспать на почту). На конверте не напишу: для передачи Г-же Достоевской чтобы не было разговору. В конверте же ему будет коротенькая записочка чтоб передать тебе деньги. Письма же к тебе в его конверте не будет. Ты же, по получении теперешнего письма (которое придет раньше) уведомь его непременно что тебе будет на его имя [письмо] 100 руб. и что это потому что ты живешь не по твердому паспорту. Извинись перед ним.

Из денег не передашь ли частичку хозяевам [129]?

Не сердись на меня что пишу только о деле. Ей богу еле жив, чуть не падаю. Хоть бы в два то часа сегодня заснуть! Отложить же посылку тебе письма и денег не мог. На всякий случай все таки поскорее.

Что дети? Пиши мне о них подробнее. Как можно больше, не ленись ради бога; подумай что я ведь здесь один и в чортовой работе.

Как то дела наши, как то дела! Ну до свидания.

Твой весь Ф. Достоевский.

Дорога была пренесносная и еслиб не один болтун, навязавшийся рядом со мною, то право умер бы со скуки. От Соловьева пришло самое любезное письмо; уехал в Москву.

Болели у Лили зубки? Искал ли меня Федя? Не простудились бы? У вас тоже был дождь.

До свидания тв. Ф. Достоевский.

Крепко цалуй детей. Лили скажи чтоб была умница и милая и написала письма, а Федьку поцалуй и в губки и в грудку и во все. Лили цалую ручки. Письмо няняшино передал.

На поле 4-й стр. приписка:

Служанка передала что в понедельник был Ив. Гр-чь и уведомил что может быть зайдет Ольга Кириловна с ребенком, а сам ушел. Трудно понять. Но Ольга Кириловна не зашла.

Сейчас воротился домой а без меня был Тришин и записал свое имя.

44.

Петербург,
Вторник 10 Июля/73.

Милочка моя Аня, из письма твоего, которое получил вчера перед вечером вижу, что ты еще не получила моего письма, не смотря на то что я послал его в день приезда сюда, т.-е. в Четверг вечером, там на многие твои вопросы есть ответы. Я послал тебе и деньги, которые ты теперь, когда дойдет это письмо, уже наверно получила. В твоем милом и добром письме всего более мне тяжело было прочесть о твоих припадках (потери зрения). Стало быть и ванны тебе еще ничего не помогли. Ах, Аня, до чего это дойдет! Как ужасно мне думать о твоей хворости в виду того что я могу умереть и что тогда с тобой и с детьми и с твоей хворостью. Неужели никак нельзя излечить? Но хорошо что хоть написала. Ради бога не бойся и впредь что растревожишь меня, пиши подробно о твоем здоровье, подробно и акуратно, а не будешь писать, я еще пуще буду думать дурное. Все буду подозревать что скрываешь? Слышишь?

Известия о детях и о том что они меня жалели на меня ужасно подействовали; не поверишь как мне здесь без вас тяжело. Милая Люба! Не напророчила б она что я никогда не приеду. Да и Федя, милый Федя. А между тем действительно перспектива впереди претяжелая и я очень-очень может быть не приеду к 15-му. Дела так слагаются. Из 700 полученных рублей я истратил 100 Печаткину, 100 тебе, 100 долгу в кассу Гражданина 50 хозяину, 75 Ив. Г-чу, 50 жалов. [П-чу пи] секретарю Редакц.; Сегодняшн. № Гражданина Сотрудник. до 150 р., наконец отдал Тришиным, жалование служителю, купил зонтик и в кассе у меня всего на все 64 р. Теперь слушай: За следующий № в понедельник надо никак не меньше уплатить как 125 р. Предположим я обойдусь, но вопрос: с чем я попаду к Вам и на что доеду? Между тем Ив. Гр-чь еще сегодня заходил ко мне; об Образцовых [130] ни слуху ни духу, он спешил к Архангельскому [131]—и ведь очень возможно, что он пожалуй и в июле еще ничего не получит.

Но положим что к концу недели Образцов приедет и деньги будут. [Деньги] Дело в том что мне надо отсидеть мой двухдневный срок. Когда то еще прокурор распорядится, напишет отношение в полицию, та приедет за мной, и вот как раз подгонят дело к пятнице или субботе. И я чувствую что это непременно так будет.

Но пусть эту субботу нельзя, но на той неделе к 20, т. е. к пятнице надо ждать Мещерского и Победоносцева [132]; а ну как их ждать тоже неделю, т. е. уже до 27? Меж тем я уже уведомил Мещерского сам письмом что 14 Июля уеду и только к 19 возвра-

щусь, так чтоб знал если хочет застать меня, и вот он приедет, а меня нет!

И так видишь, Аня, что если не удастся приехать к 15, то пожалуй и до Августа не удастся! Я сижу и просто в отчаянии. А между тем надо непременно писать статью. Суди о моем положении. И вот получил твое письмецо и так захотел к Вам. Милые Вы мои, не могу я с Вами врозь жить. А между тем надо. Чтоб ч. взял мое положение!

[Вчера] В Воскресение приходила ко мне Анна Николаевна, расспрашивала о тебе и посидела часок. У них там тоже хлопоты: денег страшно тонко, все заложено, за вещи страшно мало дают, маленький все кричит, а служанки грубят и не слушают. Ив. Гр-чь в отчаянии главное потому что откладывается его отъезд искать имение. Стало быть сильно же он верует что непременно и скоро получит, но его вера может и не сбыться. А если сбудется, то тотчас же должно быть уедет, так что нам например серьезно и переговорить нельзя будет с ним на счет займа. Ктому же должно быть ему вексель дадут а деньги мизерные.

Я уже не хожу обедать в трактиры, а готовлю дома. Александра готовит не совсем скверно и кажется все таки выйдет дешевле. Посмотрю и погляжу дальше.

Тришины приезжали ко мне и пили кофей, жаловались на Пашу, были ужасно вежливы и любезны, получили проценты и уехали.

В Воскресение я ходил в Летний Сад на иллюминацию. Но мне до того стало скверно и тоскливо, что я не дошел и до средины сада повернул домой и прошел пешком. Правда проиграл рубль в лотерею, но и только. Анна же Николаевна опять что-то выиграла.

Кроме этого никуда не ходил и никого кроме сотрудников да Пуцыковича не видал. Вместо того чтоб писать, вот уже второй вечер читаю статьи, накопившиеся в Гражданине. Эту работу ставят ни во что. А что она стоит, сколько берет времени, доводит до одурения и отупения. Решительно я становлюсь совсем злым.

Милый мой голубчик, если ты отдашь рублей 50 хозяину, то довольно ли у тебя останется? И вообще уведомляй меня чаще и об деньгах заранее, чтоб я мог приготовиться и как нибудь перехватить.— Впрочем теперь все надежды что Ив. Гр-чь получит. Если же его надуют, то и мы провалимся.

Ну а что я без тебя то буду, если недели три-четыре прийдется не увидать? Друг мой не знаешь ты как я тебя люблю. [*Зачеркнута одна строчка*]. Но что об этом. Крепко обнимаю тебя и цалую (хотя эти поцалуи в письме ничего не стоят). Повторяю, я без Вас жить не могу.

Детишек цалую бесконечно. Говори с Любой [со мной] обо мне, говори что я очень скоро приеду, и гостинцев привезу и пишу что люблю ее очень и по ней тоскую. Боюсь чтобы Федя не забыл меня совсем. Напоминай и ему. Ведь ей богу если месяц не приеду, он меня и не узнает! Цалуй их и люби. Да слушай Аня: Если чуть-чуть, лишь только чуть-чуть ты нездорова—сейчас пиши. Иначе я надумаюсь и намучаюсь. Пиши чаще.

Я было уже хотел ехать в пятницу на почту, чтобы отослать 100 р. отцу Ивану, как пришел Ив. Г-чь, я и попросил его отослать, потому что дел был полон рот. Прощай, обнимаю вас всех а тебя пуще всех.

Твой муж.

На поле четвертой страницы написано:

P. S. Всего больше боюсь задержки от суда. Вот уже Вторник, а никаких оттудова известий. Пожалуй еще неделю не посадят. Если не посадят до Субботы и если деньги будут, то наверно приеду.

45.

Петербург. 12 Июля/73.

Милый мой голубчик Аня, тотчас же и отвечаю тебе, ибо после с вечера буду так занят что не найду и свободной минуты. Пишу обычную проклятую статью. Надо написать к завтраму утру, к 8 часам, 450 строк, а у меня написано всего 150. Между тем я все более и более как [дур] будто дурею и решительно стал ужасно туго писать. Голова постоянно не свежа. Это голубчик мой очень серьезно для нашей будущности. Я решительно стал замечать, уже с месяц тому назад, различие между легкостию моего писания в Дрездене и тягостию здесь. Приписываю тому, что редакторство своими беспрерывными мелкими заботами, суетней мне несвойственной и проч. решительно давит меня, так что долго придется отдыхать после этого проклятого года. А еще придется-ли?

Твоим письмом доволен, твои письма меня всегда радуют, и чего ты извиняешься что нечего писать? Напиши что нибудь и того довольно. Теперь к делу. Аня, я в большом горе: решительно не предвижу возможности поехать к Вам после завтра или даже в Воскресение, а может быть и бог знает до которых пор. Все дело стало—за деньгами. У меня всего на все, 50 р. Между тем номера Гражд. стали ужасно дорого оплачиваться. В следующий понедельник мне надо выдать 130 руб. (minimum) а где я возьму? Не выдать же ни за что нельзя: есть писатели новые и марать журнал, неуплатой, невозможно [*Зачерк-*

нуто две строчки]. Да и вообще никому нельзя задолжать: тотчас же разнесется слух, что Гражданин не платит. До завтра т.-е. до конца писания об этом думать не буду, но с завтрашнего дня попробую заложить часы у Ив. Григорьевича знакомого жида (который ему же перестал давать деньги) рублей за 80 кабы! Не знаю удастся-ли! Что же до Ив. Григорьевича, то его и Ан. Н-ну я часто видаю. Вчера хотел было ехать к ним на дачу на именины О. К-ны, так как он очень звал, но стала дождливая погода и я не поехал. Он взял всего у меня 75 руб. и в ужасном, болезненном волнении и беспокойстве что никаких ровно известий об Образцове. На днях отправил туда телеграму в 40 строк и грозит судом.

Я впрочем, по некоторым данным, убежден что Образцов непременно приедет на днях и ободряю Ив. Григорьевича сколько могу. Вчера у них были именины, а сегодня зашла ко мне Анна Николаевна. Она только что носила закладывать вещи. Ив. Гри-чь (он все заложил и ходит в каком то ужасном старом платье) заложил свой фрак и жилет, а Ольга К-на два корсета, А. Н-на за все это получила 15 руб. Понимаешь как у них тонко. И так вот в каком положении в настоящее мгновение дела. А всего более убивает меня что я никак не могу приехать, и что бог один знает смогу ли поехать и в следующую-то субботу? Я тебе писал в прошлом письме почему.

Видеть же вас всех для меня самая жгучая потребность: здесь с ума можно сойти от всякой пакости и от отвращения с которым на все смотришь. Цалую вас всех. Ты говоришь что видела меня во сне (если не лжешь). А я тебя уже два раза видел. Федю и Любу цалуй, если Люба будет плакать в Субботу что я не приехал скажи ей что теперь трешкот задержал и что я через 2 дня приеду. Береги их, обращай на них больше внимания, занимайся ими побольше, голубчик ты мой. Федьку мне очень хочется видеть. Поздравь его с днем рождения. Сделай для детей как нибудь праздник. На счет же денег тебе высланных, то ведь я уверен что ты отлично распорядишься, но на всякий случай имей в виду наши дела вообще и поприжмись. Ты писала что-то о своих вещах у Ан. Н-ны чтоб заложить. Но вещей нет: заложили тогда для меня и получили за все 25 р. 9 рублей проценту за твои вещи внесены и еще что-то внесется 22 числа, что-то в этом роде говорила сегодня Анна Н-на. Прощай, обнимаю вас всех, пожелай мне не лопнуть с натуги сегодня ночью на подлом писаньи статьи. Обнимаю вас и цалую.

Скажи Любе, что ее цалую 1000 раз, Федю тоже.

Достоевский.

На поле второй страницы:

P. S. Кстати, милка ты моя, ты мне очень бы нужна была [мне] в эту минуту. Понимаешь? Да правда ли что видишь меня во сне? Может не меня. Цалую твои ножки и все. Очень цалую.

Твой Дост.

На поле 1-й страницы:

Меня не арестуют и штрафу не требуют, бог знает почему. Придут по обыкновению не во время. Медлят и только меня в раздражении держут.

46.

Петербург.
20 Июля/73.

Милый ангел мой Нюта, со вчерашнего дня, как приехал, все бегаю по горло в деле и вот теперь уже 10 часов вечера, а у меня едва лишь вышла самая маленькая минутка написать тебе. Доехал я благополучно и все время погода была прекрасная. В Новгороде стояли часа четыре и я уходил гулять и был в соборе. На станции, как я возвратился уже около 10 часов подошла ко мне женщина и стала допрашивать: Кто я, где живу, какая у меня прислуга, кто именно и проч? „Так Вас то мне и надо сыскать, у меня к Вам письмо от Вашей супруги". Это та самая Натальина родственница, с которой ты мне послала 30 р. и карточки. Все это она мне передала. Сама же она в Петербург еще и не ездила, а была лишь в Новгороде, потом опять отправилась в Старую Руссу (именно в понедельник на том же пароходе, на котором и я к Вам приехал, но меня тогда не видала) жила в Руссе и теперь (опять вместе со мной) приехала из Руссы и уже едет прямо в Петербург. Я полагаю Наталья знала что она возвращалась на время в Руссу. И так в результате я и деньги и карточки получил.

Приехав все по обыкновению застал в беспорядке. Сегодня же утром разом получил от князя телеграму и 2 письма на счет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым: он жалуется, что №№ должны стоить дорого, что он не может платить сверх 130 р. за № и проч. Чорт его дери я никогда не писал ему что надо больше 130 и что у меня денег не достает. Сегодня же отвечу ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления (хотя впрочем в его письме есть и самые дружеские фразы и выходки).

Вчера всю ночь не спавши сидел за корректурой (стоющей сочинения) и сегодня и завтра буду. Сейчас Кашпиревы присылали звать к себе и разумеется я отказался. Был Миша сейчас [133]. Он без гроша

до будущей недели. Я ему [пр]поручил сходить к Клейну [134] завтра и дать мне знать, а на время дал ему 10 р. За этим верно, не пропадет.

Приходил Иван Григорьевичь сегодня, я передал ему шаль [но 3] и пакетик с карточками, но забыл передать твое письмо (в письме Натальиной тетки). Предлагал ему денег, но он не взял и очень интересовался обойдусь ли я к понедельнику без его помощи? Архангельский сообщил ему что Образцов ему телеграфировал что 25 будет в Петербурге. Ив. Григорьев. говорит что не надеется получить всю сумму.

Жду от тебя с нетерпением письмеца радость моя Нюта. Ты немножко мерзка в одном отношении, но все таки радость моя единственная и мне без тебя крайне тяжело здесь одному. Тебе никогда не понять [ту] мое здешнее одиночество. Вот уже теперь полное то одиночество и в добавок одни неприятности. Напиши о детях подробнее, что Лиля, что Федя. Подробнее об их разговорах и всех их жестах. Цалую тебя, голубчик, пиши (*зачеркнуто одно слово*) только. Сам постараюсь быть к 4-му Августа (или вроде того). Это ужас как далеко и долго. Мещерский пишет что приедет разве в Сентябре. Цалуй детей передай Любе что каждую минутку вспоминаю об ней и об Феде. Не забыл бы Федя меня. Милый мой мальчик! Ты не можешь понять каково мне без них.

До свидания, обнимаю тебя, люблю тебя

Твой весь навсегда.

Ф. Достоевский.

На поле первой страницы написано:

Напишу скоро и напишу много, — скверная и ревнивая жена! Ах Аня, кого ты вздумала подозревать?

На поле третьей страницы написано:

Ив. Григор. говорил, что Раухфус (доктор) находит в Грише [135] начало Английской болезни, вот бы им в Руссу-то, если не поздно!

47.

[Петербург].
Понедельник 23 Июля/73.

Милый друг мой, Аня, сейчас получил от тебя письмо, а оно с Пятницы, ужас как долго идет! Я уж об Вас надумался и настрадался. Скажи, голубчик Аня, можно ли так писать как ты пишешь: „У меня случилось несчастье... Я в большом горе“,—и не объясняешь что случилось. Ради бога немедленно напиши, непременно, — иначе рассержусь и поссорюсь с тобой, и до тех пор не приеду пока не на-

пишешь. И не делай этого вперед никогда, ради бога, мне и без того тяжело. (*Зачеркнута одна строчка*). Напиши же, слышишь, сейчас-же.

Рассказами о детях ты много дала мне удовольствия. Пиши всегда об этом. Я точно оживаю и точно с ними сижу.

Кроме ужасно тяжких мыслей и уныния, напавшего на меня почти до болезни, при одном соображении, что я по крайней мере еще на полгода закабалил себя в эту каторжную работу в Гражданине,—я, кроме того еще серьезно опасаюсь заболеть. Вчера так даже вечером ощущал лихорадочные припадки, болела спина и отяжелели ноги. Сегодня мне впрочем гораздо лучше, только сплю худо, кошмары, дурные сны и желудок расстроен. Пиши мне сейчас-же, каждый раз по получении письма, не отлагая до другого дня и я точно также буду отвечать и на твои письма.

Мещерскому на его грубое письмо я отлично ответил, — без задору, ровно, строго, прямо. Не посмеет более себя выказывать. В Субботу утром приходила Анна Николаевна, взяла из твоего комода несколько вещей (6 штук чего-то, красная клетчатая мантилья, что-ли, занавесы и проч.) и сверх того взяла у меня 10 руб. С домашними расходами у меня вдруг таким образом осталось 53 руб. (накануне дал Мише 10 р.). В субботу же по поручению моему Миша ходил в Контору Клейна—и что же 50 экземпляров, говорят они, проданы, а самого Клейна нет в Петербурге, в Москву уехал, будет в первых числах Августа, денег не оставил. (Вероятно в 50 экземплярах только признаются, а продали еще больше). Между тем в Понедельник расплата с сотрудниками. Сегодня встал в 10 часов и пошел по закладчикам. Везде 60 и ничего больше. И только в одном месте, у Аничкова моста дом Лопатина дали 70, по моему настоянию. Но я все таки в беспокойстве, потому что выдали мне квитанцию где значится что я продал часы и деньги 70 руб. получил сполна. Они меня успокоили и сказали, что у них это общая формула, у всех частных банков. Конечно может быть не надуют. Таким образом денег у меня хватило: я выдал 106 руб. и осталось для житья до 15 р. с мелочью. Но зато без часов.

Теперь я совершенно один, даже Страхова нет. Мне ужасно начинает нравиться один из новых моих сотрудников, Белов [136] (пишет критич. статьи), но далеко живет. А кажется мы могли бы сойтись. Ив. Гр-чь тоже сегодня не приехал. Был только Паша вчера и бедный Миша. У него только что выздоровела жена, бывшая при смерти и сверх того вчера в воскресение была она именинница, а денег, кроме 10 р., он ничего не достал.

С субботы на Воскресение, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он

полетел, перевертываясь, в низ, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: прощай Федя! и тут проснулся. Напиши мне как можно скорее о Феде, не случилось-ли с ним чего с субботы на Воскресение. Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успокоюсь до письма твоего.

Сплю я, просыпаясь ночью раз до 10, каждый час и меньше, часто потея. Сегодня, с Воскресения на понедельник, видел во сне что Лиля сиротка и попала к какой то мучительнице и та ее засекла розгами, большими, солдатскими, так что я уже застал ее на последнем издыхании и она все говорила: Мамочка, мамочка! От этого сна я сегодня чуть с ума не сойду.

И вообще я чувствую что это лето и эти занятия не доведут меня до добра. Что же касается до приезда моего к Вам, то до 5-го Августа и не жди меня: никакой, ни малейшей не будет возможности. За будущий 31 № к 30 числу Іюля я вообще покоен, т. е. в том что деньги наконец к Ив. Г-чу придут и он меня выручит. Ну а за редакцию не спокоен. Надо самому писать длиннейшую статью, а я очень расстроен.

Сегодня (без меня) приходила Настя и получила наконец от Александры письмо от Прохоровны (NB. Александра ходила к ней без меня, да дома не застала). Настасья прочитала письмо и на увещание Александры написать матери, отвечала: Да и писать то нечего, жива здорова, ни от отца ни от брата писем не получала. Однако обещалась написать. Сообщи Прохоровне вместе с моим поклоном.

Обнимаю тебя искренно, со всем жаром [дру] души. Пиши скорее. Пиши о детях, и о том какое с тобой случилось горе? Слышишь? Не расстраивай меня и не раздражай еще более. Цалую тебя 1000 раз, Лилю, Федю тоже. Об них думаю и часто мучаюсь; ну случись что̀— что̀ с ними будет.

Ваш весь Ф. Достоевский.

На четвертой странице на поле написано:

Вообще о моем здоровьи не беспокойся (в предположении что ты обеспокоишься). Сложения я крепкого. Погода у нас дурная, раз 20 в день дождь, гром и зарницы по ночам и вот уже 3-й день, оттого и сплю дурно.

48.

Петербург. Четверг 26 Июля/73.

Милый друг мой, Аня, сейчас получил твое письмецо. Пишешь очень редко. Очень благодарен тебе за все сведения о детях и рад

что ты и детки здоровы. Оживляешь меня. А я серьезно было расхворался и даже немного лежал: лихорадочное состояние (но без очень сильных припадков) и сильнейшее расстройство желудка (уже больше недели). Принимал касторовое масло — ничего не помогло. Лихорадочное состояние как будто ослабело и как будто я стал несколько сильнее, но желудок все в том же состоянии и тяжела голова. Подожду немножко и позову Бретцеля [137] если в Петербурге. Но кажется и так все пройдет. Заметь себе что я постоянно выхожу со двора, хотя впрочем и не гуляю.

Третьего дня пришел Иван Григорьевичь в большой радости: приехал 23 Июля Образцов и он уже с ним виделся, да сверх того с Варламова получил все деньги, все вместе разом. Обращение Образцова несколько свысока и строго. Да сама [она] старуха прислала письмо на Вы, и опять белья в подарок. В письме пишет что она не только сохранила, но и приумножила капитал, понимая свою обязанность. Образцов объявил что даст 16.000 деньгами и 80.000 векселем по 12 Марта сроку, и назначил 25 число. Судя по черновой росписке, которую должен дать Ив. Гр-чь (целый акт) и по форме выдачи денег, я усумнился и советывал ему быть осторожнее. Он очень стал жалеть что нет авдоката, чтоб посоветоваться, и времени чтоб съездить в Сиротский суд и узнать про отчеты опеки. Во всяком случае положил отложить до сегодня (26) получение денег, о чем и уведомил Образцова телеграмой. Вчера, в три часа я его встретил на Невском с Ольгой, но одну секунду, ибо начинался ливнем дождь. Он успел мне сказать что был в Сиротском суде и решил согласиться на все что предложил Образцов, и сверх того обещал быть завтра (то-есть 26-го сегодня) у меня. Теперь уже седьмой час, но он не был. Полагать надо что они получили, но или Ольга Кир-на закапризилась или дела задержали (а дел у них по выкупу вещей бездна) и будет или поздно вечером (только меня не застанет) или завтра утром.

Голубчик Аня, мне кажется он не в состоянии будет помочь нам, как мы с тобой расчитывали: тут Ольга и многое кое что другое.

Между тем завтра вексель Печаткина, 30 №, а к 1-му все сроки долгов.

Вчера приехал Победоносцев был в Редакции ждал меня, но я не был и просил запиской заехать к себе в 9-м часу. Я был у него вчера и сидел до 12. Все говорил, много сообщил, и ужасно просил опять сегодня приехать. Если же я буду болен, то дать ему знать и он сам ко мне приедет сидеть. Укутал меня пледом и так как кроме служанки в пустой квартире не было никого, то не смотря на выбежавшую в переднюю служанку, провожал меня по трем темным лестницам вниз, со свечей в руках, до самого подъезда. То-то увидал

бы Владиславлев. На острове Вайте читал мое Преступление и Наказание (в 1-й раз в жизни) по рекомендации одного лица, слишком известного тебе одного моего почитателя, которого сопровождал в Англию. Следственно дела еще не совсем очень плохи. (Пожалуста не [болтай] болтай), голубчик Анечка.

Я за болезнию и за статьею о Тютчеве [138], (умер) присланною Мещерским бросил мною начатую статью. Но следующий № во всяком случае должен выпустить сам а потому в Субботу ни за что не могу выехать и всю неделю буду писать политическую статью. Я дал слово Мещерскому; между тем никогда в жизни не писал политических статей. Газет надо перечесть десятками. Да и боюсь чтоб не разболеться. Зато в следующую Субботу (в Августе) приеду непременно. Да и пальто теплое будет. Знаешь Аня, я ведь знаю когда простудился. Это было в три часа ночи на станции Новгородской дороги при переходе на Николаевскую, тут пришлось $1^1/_2$ часа ждать, и я провел их на платформе в ужасный холод и туман. Тогда и подумал: а ну как простужусь. Все были или в пледах или в теплом пальто, а я один только в летнем.

Береги себя, голубчик. Если получу, пришлю тебе деньжонок. Целую детей 1000 раз. Говори им обо мне. Скажи Любочке, чтоб не тужила и ждала меня и что приеду надолго. Федю милого расцалуй и не давай ему забыть меня. До свидания, мой милый Ангел. Дел у меня бездна— бездна! Этот раз целый № прокорректовать по редакторски, т. е. переправляя. Это ужасная работа. Напишу тебе вероятно хоть две строки в Субботу или в Воскресенье, если хоть что нибудь узнаю об Ив. Г-че. Цалую вас всех. Любите меня.

Твой Ф. Достоевский.

А ужасно, ужасно надобно тебя видеть, не смотря даже на лихорадку, которая в одном отношении даже облегчает меня, удаляя.....

До свиданья голубчик.

Пишу тебе, какое же твое горе?

Дождусь ли ответу? Дела не читай.

49.

Петербург,
29 Июля/73 г.

Милый мой голубчик Аня, вчера получил твое милое письмецо. Пишешь что ждешь меня сегодня (Воскресенье) Нет, милая, никак нельзя: дела такая бездна и все такой гадости!.. Теперь налегла на меня переписка с разными авторами и опять с Мещерским. Это все время и все соки у меня отнимает. Прошлую неделю начал писать статью

и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтоб поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева,[139]—безграмотную до того что понять нельзя и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи сидел и переправлял, живого места не оставил. Напишу ему прямо что он ставит меня в невозможное положение. Между тем к следующему № надо начинать уже другую статью, политическую. Таких статей я никогда не писывал.

Мало того что сегодня я к Вам не приехал, но даже и за следующую субботу боюсь, так как у нас теперь в типографии раньше часу пополуночи не готовы с №. Впрочем наплевать на №, они рассердят меня наконец окончательно. Даю слово что приеду если не в Воскресение, то в Понедельник. Вот только погода ужасно изменчивая, дожди. Дай то бог хорошеньких деньков к тому времени.

Обнимаю тебя и цалую голубчик мой, тебя и детишек. Жаль мне вас и что я не с Вами. А детишек то как жаль, а тебя то как бы хотел обнять. Здоровье мое лучше, лихорадочное состояние совсем прошло, но желудок и утомление—вот что не прекращается.

Наконец то вчера, 28 числа, зашел ко мне Ив. Гри-чь, а то, получив деньги, всѐ не заходил. Каналья Образцов их обрезал ужасно, причел какие-то проценты—одним словом досталось им всего—вексель до марта в 80.000 и только 13.000 руб., да и то сериями. [он м] Ив. Гр-чь меня спрашивал сколько бы мне надо было. Я повторил по возможности весь наш расчет, помнишь в Парке на лавочке, но теперь сказал что мне нужны по крайней мере 2.000. Он сказал что подумает. Я очень не просил. Но сегодня приходила Анна Николаевна и говорила, что деньги выходят ужасно, что он уже 7.000 заплатил и что Ольга не знает про бо́льшую часть этих долгов, что деньги исчезают и мельком сказала, что Ив. Гр-чь может дать разве 1.600. (Ив. Гр-чь вчера уходя сказал что посоветуется с мамой). Вчера же он мне дал 60 р., которые у меня занял и 200 руб. (а главные [это] деньги после 1-го Августа). Из этих 260 р., с теми, что у меня оставались, я заплачу завтра за №, вчера выкупил часы, дал вперед за статью 25 руб. Страхову (который воротился) и сверх того останется у меня руб. до 70.

Вот положение дел. Я очень понимаю что у них деньги выходят. Но каково же иметь Варгунина, Замысловских, Трощиных, Печаткина [140] хозяйство и деньги тебе—на шее, и так, что отложить нельзя, а вынь да положь и главное, ни на кого не достанет. А до Марта у них уже не будет ни копейки. Тяжело нам будет с тобою Аня. Еще тяжелее моя работа, которая так мало дает мне и убивает меня, так что я надолго не способен буду что нибудь делать, чтобы нажить хорошие

деньги. А долги наши все растут да растут.—Я предчувствовал что на Ив. Г-ча надежда плоха.

Они ищут квартиру и собираются прожить еще зиму в Петербурге, потому что если бы даже хотели, то и тут не в состоянии бы были купить именье теперь, осенью, чтобы переехать прямо в него [141], так как денег нет, а есть только билет, который нельзя разменять без очень большого урона. Анна Николаевна ходит и ищет квартиру. Ольга уже некоторое время больна странной болезнию, она вся в чирьях, покрыта огромными чирьями по всему телу но не по лицу.

Ну вот тебе отчет о положении дел. Я и представить себе не могу что скажут Варгунин и Замысловский когда придешь к ним с половинною уплатою.

Приходил Страхов, просидел до ½ 12-го и я должен поскорее дописать и снести в ящик.. Представь себе только что я это написал так и вспомнил что марки у меня нет позабыл купить и стало быть письмо мое не пойдет завтра, а теперь ночь. Ах как это досадно! Ты бог знает чего надумаешься не получая от меня ответа. И зачем я вчера не написал или сегодня утром! Ты не поверишь как меня это расстроило. Ах как скверно что Страхов задержал меня! Цалую тебя, ангел мой, бесконечно. Ты не можешь представить себе какая мне тоска. Я думаю это лето отзовется на моем здоровьи зимою. Цалую детей. Бедные, не могу я их видеть и слышать, поневоле снятся мне во сне. Цалуй их. Таким образом это письмо ты получишь пожалуй в Четверг. Ведь к Вам по четыре дня ходят письма, точно в Одессу. Послать в Москву завтра в Среду утром получится, а в Старую Руссу придет в Среду, а принесут тебе в Четверг. О как несносно жить! У меня сто мелких глупостей по журналу, о которых я должен помнить поминутно и вот забыл о марке. До свидания милая моя, о если б поскорее этот чортов год кончился!

На поле четвертой страницы:

Цалуй детишек, люби их, обходись с ними нежно, а я тебя—за это буду вечно любить. До свидания, обнимаю тебя. В Воскресение наверно жди, а к тому времени может и еще напишу.

Твой весь Ф. Достоевский.

50.

Петербург,
10 Августа/73

Милая Аня, вчера прибыл в Петербург, много перенеся дорогою, главное усталости, и даже сегодня нездоров, а вчера решительно был

болен. Расскажу по порядку. Извощик ехал превосходно, менее чем $1^1/_2$ часа и дорога прекрасная и веселая, поминутно деревни. Звад стоит на припеке, тени нет, строение богатое, живут зажиточно, но вонь во всех домах (чрезвычайно в то же время чистых) нестерпимая. Пахнет вялеными снетками, ибо в каждом доме, под крышей устроено вяление снетков. За постой ничего не взяли, за стакан чаю (весьма хорошего) 10 к. и за рюмку водки 5. Но за то с 11 часов и почти до 5 надо было ждать парохода. Сверху зной и припек а с озера ветер. Пароход сначала прошел мимо, чтоб отыскать трешкот, а потом уже обратно взял нас. Те которые ехали на трешкоте рассказывали потом буквально ужасы. С 9-ти часов до 4-х их тащили, зной сверху и ветер с озера, и шевельнуться нельзя, и ни одного куска хлеба, даже воду надо было тут же доставать из озера. Все, буквально все, проклинали трешкот. Затем в $^1/_2$ двенадцатого пустились из Новгорода и одна чортова кукла, дама из любезных, протрещала всю ночь визгливым подлым языком с своими кавалерами, так что я ни одной минутки даже вздремнуть не мог. Кстати Аня, знай, что когда повезешь детей, то нужно очень, очень укутывать. Час слишком когда ждут Николаевскую дорогу, (в Чудове) ужасно холодно и сыро. Мне в теплом пальто стало холодно. В вагонах же духота и жара, а тут вдруг на этот холод отворят окно. В дороге мы простояли $1^1/_2$ часа, потому что с поездом шедшим впереди нас что-то случилось. Приехали в Петербург уже в 11-м часу. Дома у меня Александра все вымыла и вычистила. Хозяин дурит, вчера съехали еще жильцы и приехали другие. Дворники грубы ужасно, не позволяют дома стирать даже самых мелких вещей и за каждую услугу требуют особой платы. Сложить дрова или принести—они на это только смеются, не наше дескать дело. Мещерского я застал, очень был любезен, но вчера же уехал. Про редакционную квартиру ничего не решено. Пуцыковичь ищет чтоб нанять тут же и для себя. Статей отсмотреть приходится бездна меж тем ничего еще не готово. Вчера после обеда успел заснуть два часа, но встал в ужасной лихорадке, в ознобе и жаре. Сел за работу и когда кончил в три часа ночи, то, вставая с кресел зашатался и повалился в кресло обратно. Никогда еще у меня так не стукала кровь в голову. Ночью спал долго. Теперь чувствую лихорадочное состояние и кроме того ужасно кашляю. Дни хорошие. Ночью валил дождь.

Вчера в Редакцию ко мне зашла Анна Николаевна и пробыла минутку чтоб отдать деньги. Спросила о тебе. Вчера когда я спал приходил от Вольфа [142] с требованием 25 экземпляров Бесов и оставил бумажку, т. е. требование. Александра сказала чтоб зашел завтра (сегодня) от 12 до 2-х. Теперь третий час, но он еще не заходил. Значит бесочки то опять пошли и ведь без малейшей публикации, заметь себе.

Сегодня рано утром заходил Ив. Григорьевичь, хотел зайти потом. Я спал и не видал его.

Аня, голубчик, имей в виду, что погода может перемениться, что сообщение может измениться и проч. и проч. и потому, если к 20 числу, будет стоять погода очень хорошая,—то и переезжать бы Вам. Три-четыре дня не придадут здоровья детям.

Кстати, захвати на всю дорогу провизии. Этот обратный путь так лежит, что в Новгороде например, если не итти в гостинницу Соловьевых,—то ничего буквально кроме чаю не достанешь, а во время пути даже в Любани, кроме кофею и чаю нет ничего. И ради бога не простуди детей [143]. Да непременно найми прислугу, как ты хотела.

Цалуй деток милых, Любку и Федю. Все они мне мерещутся и всю дорогу мерещились. Прощай, обнимаю тебя, ну что если Август изменится к худшему. Теперь пока хорошо. Ужасно много воротилось в Петербург, совсем не те улицы.

Пишу тебе отрывочно кое [что] как. Не взыщи. Все голова кружится. Потею. Купил pastille d'Ems, но не помогают.

Цалуй моих ангелов и люби их.

Твой весь Ф. Достоевский.

Пиши. Хватит ли денег. Цалую тебя.

51.

Петербург 13 Августа.
Понедельник/73.

Милый мой голубчик Анечка, получил твое милое письмо и очень мне грустно было читать как детишки заплакали когда я уехал. Милые голубчики! Скажи им сейчас же, что Папа их помнит, цалует и в Петербург зовет. Обнимаю и цалую их беспрерывно и благословляю. Я Аня, все нездоров: нервы очень раздражены, а в голове как туман, все точно кружится. Никогда еще, даже [боле] после самых сильных припадков не бывало со мной такого состояния. Очень тяжело. Боюсь очень за голову. Сам не понимаю что со мной делается. Точно сон и дремота и меня все разбудить не могут. Отдохнуть бы надо хоть недельки две от работы и заботы беспрерывной—вот что. Ближайшая же причина полагаю в том, что еще не очнулся от припадка, ни разу не успев выспаться—то дорога, то всякие излишества, то опять дорога, а потом тотчас здесь усиленные занятия, не спанье. Очень, очень боюсь чтоб не случилось еще припадка. Ты, Аня верно [*зачеркнуто несколько слов*] думаешь что припадки мои как прежние, а я наверно знаю, что случись теперь вот в это время еще припадок—и я погиб. Удар бу-

дет. Я слышу это, я чувствую, что это так. А между тем работы бездна, а забочусь я все один, все один. Особенно эта неделя чрезвычайно тяжела для меня, все то сотрудники манкировали и я один вертись за всех.

За 25 экземп. Бесов от Вольфа получил 61 р. 25 к. А от Клейна вчера получил лишь 75 р., а остальное после. При этом он сделал мне нестерпимую грубость, за что я сильнейшим образом осадил его, так что он мигом притих и вероятно будет знать теперь с кем имеет дело. Остальное он отложил до 20 Августа, но я сказал, что приду 1-го Сентября, но с тем чтоб мне доставлен был полный счет экземплярам, которые будто бы никак нельзя сосчитать, т. е. в точности узнать сколько всего продано. Из за этого и спор вышел. Ив. Гр-чь хотел совершить какую то доверенность на мое имя. Дело состоялось иначе, но паспорт мой, который он взял себе, остался у него. Завтра же он кажется едет из Петербурга, и я очень забочусь о моем паспорте, ибо полагаю, что он забыл его у меня в редакции на столе, думая что отдал мне. А в Редакции паспорта уже нет. Боюсь очень не пропал бы. Третьего дня приходит ко мне Жеромский. Дело пошло в охранительном порядке, точь в точь как предсказывал Поляков, и стало быть очень пока неудачно для Шеров. Но Корш, адвокат Шеров, очевидно уже сделал предложение Жеромскому и подкупил его и тот пришел ко мне с предложениями: не желаю ли я допустить Шеров к наследству и тогда мирно покончить. Я сказал, что нет и подожду Полякова, (о котором ни слуху ни духу). Между тем я еще недавно слышал что Коля болен очень. Спрашивал Жеромского уже провожая его в дверях, как здоровье Коли? О, нет никакой надежды.—Что вы? Что с ним?—У него рак в заднем проходе, (последняя степень геморроя, перед самою смертию). Я слышал от Барча, он только что его освидетельствовал. К Сентябрю умрет непременно.—Можешь себе представить как меня поразило!.. Вчера же (в Воскресение) и поехал к Коле. Он здоровее чем когда нибудь. Правда был недавно болен так, что, Саша говорит, боялись чтоб не помер, серьозно. Но теперь здоровее прежнего, никогда никакого рака не было, и никогда никакой Барчь его не свидетельствовал. Можешь себе представить как врет и может врать этот подлячишко Жеромский.

Мы с Колей очень согласно проговорили. Обедал я у Саши (чванилась) и насилу то, под конец, об тебе спросила и о детях, уже после обеда. (А ты все первая лезешь с визитами). Дрянь людишки, дрянь, кроме Коли. Хотел было кстати зайти и к Паше (наконец-то) и вдруг как раз он переехал, таинственно и никому не сказавшись, трепеща Тришиных, в Николаевскую улицу, рядом с прежней квартирой Ив. Гри-ча. Однако я все таки отыскал их вчера в Николаевской

улице и просидел у них час. Паша чего то объелся и его при мне рвало, и вообще он ужасно смешон в недрах своего семейства. Прятанье в квартире от Тришиных—совершенный водевиль. Дочка их, бедненькая, такая худенькая и такая хорошенькая! Так мне ее жалко стало. Домой воротился в 9 часов, измученный и просидел до 5 утра за чтением статей.—До свидания Ангел милый, цалую твои руки и ноги и желал бы чтоб ты меня хоть на десятую долю так любила, как я тебя люблю, не на словах только. До свидания. Такое маленькое письмо, а ужас как утомило меня. Цалуй детишек ангелов, богов моих.

Твой и ихний весь Ф. Достоевский.

52.

Петербург 15 Августа [1873 г.]

Сейчас, голубчик мой Аня, воротясь домой получил твое письмо и очень испугался видя из него что ты так опасаешься за мое здоровье, и потому [еще] не садясь за обед, спешу ответить тебе, чтобы ты не решилась, пожалуй, ко мне приехать раньше срока и тем повредить детишкам и их ваннам. Уведомляю тебя голубчик что мне совсем теперь легче, я нисколько не ошибся, объясняя тебе в прошлом письме в чем дело: просто после припадка не отдохнул, в Старой Руссе предавался излишествам—нормальным в обыкновенное время, но не нормальным после такого нервного потрясения как припадок. Затем опять езда (всего более утомляющая) и здесь возня с №, т. е. не спанье опять. Вот почему чуть было и не упал в обморок. И признаюсь слабость сил продолжалась долго, всего два-три дня, как я совершенно вошел в себя. Но теперь кажется я опять по прежнему и чувствую себя и сильным и свежим. Вот и все, а потому беспокоиться нечего. То, что ты пишешь о 24-м числе, совершенно для меня ясно, и я в высшей степени с тобой согласен. Да и недолго ждать, всего девять дней. Только все таки беспокоюсь как то ты довезешь детей? Аня, сообрази что я скажу тебе: Наталью не привози, выбери прислугу более нянюшку чем кухарку (ты мне говорила про какую то на ваннах, к которой дети привыкли), а здесь я говорил Александре; она очень не прочь остаться в кухарках. Не думай чтоб она не была работящая, лучше еще других и совершенно честная на счет денег и чистоплотная. А что же делать если она готовит так, что я все могу есть. Таким образом у нас будут на первый раз: кухарка, горничная, которую привезешь, т. е. будущая няня и Прохоровна покуда можно, покуда дети к той не привыкли. Вот как я рассуждаю. Сама увидишь, что будет хорошо. Попробуй-ка так.

Теперь Середа вечером, и я до Субботы буду не разгибая шеи сидеть. Так сошлось что на этот № вся корректура (редакторская)

моя, а потому до субботы и писать тебе не буду. Не беспокойся же обо мне, голубчик, будь здорова, проживите этот остаток лета весело. Цалую тебя крепко и детей Любу и Федьку ангелов. Ив. Григорьевичь вчера уехал в Москву и далее выбирать именье—примерно до 20 Сентября. Цалуй деток милых, будь весела, голубчик ты мой, обнимаю тебя бессчетно раз.—(Полнокровия у тебя нет, а просто что нибудь расстроено, потому и кричишь по ночам).

Твой весь Ф. Достоевский.

53.

Воскресенье 19 Августа/73.

Очень мне жаль, милый дружочек мой, что так напугал тебя. Это вот как вышло: 15-го кажется или 14-го я от тебя письмо получил и увидел из него, что ты очень о здоровьи моем беспокоишься. Я и написал тебе тотчас, что я уже поправился (что и правда было) и все приписываю излишествам и усталости. Письмо отправил и с 15 на 16 проработал всю ночь, а как стал поутру ложиться и уже лег, в 5 часов, вдруг вспомнил засыпая, что ты писала в письме что выезжать из Руссы надо или 24-го или 16—17-го, потому что 19-го все бросятся ехать и тесно будет. Я и подумал: вот она о здоровьи моем беспокоится, письмо то мое еще когда то придет, а получит мое 2-е (тревожное) письмо, да и решит вдруг сгоряча ехать 16—17-го. Между тем погода великолепная, значит лишить детей, раньше времени, воздуху. В Петербурге жарко, пыльно. Вскочил с кровати, приготовил телеграму, оделся и снес ее в телеграф, благо в двух шагах, и сдал без 10 минут 6 часов, рассчитывая что еслиб ты и сегодня, 16-го, ехать захотела, то все еще тебя телеграма может застать в Руссе и остановить поездку. Вот каким образом все это вышло. Признаюсь была у меня мысль: а ну как ты испугаешься! Да все таки не думал чтоб до такой степени. Живите себе, голубчики, там докуда можно, ну а в конце то месяца приезжайте. Я Аня очень много думаю о вашем путешествии. Теперь вот погода хорошая. По моим расчетам к 25 будет луна к полнолунию и ливмя дождь. Для детей надо иметь про запас настоящую зимнюю одежду. А в вагонах нужно спорить за места, настаивать. Только случаем иногда найдешь хорошее место; на Николаевской хуже всего в этом отношении.

Я Аня ужасно занят работой, все больше чужие работы переделываю, редактирую просто как каторжный. Сам своему здоровью дивлюсь, что все это выношу. Об 1000 мелких хлопотах тебе и не пишу. Но есть, Аня, крупные хлопоты, серьезные, и все эти я предвидел заране. Серьознейшее дело теперь — это наша квартира. Нельзя

оставаться Аня, говорю не горячась, с рассудком. Я пересказывал дело Анне Николаевне и она говорит, что нельзя оставаться. Сливчанский— это какой-то помешанный (я серьозно это думаю). Он нам в декабре скажет съезжайте безо всякой причины и выгонит нас на улицы. У Александры паспорту срок вышел. Паспорт ее он сам видел и знает, что она не бродяга. Она переслала паспорт в Кронштадт Градскому главе и деньги для высылки нового и получила почтовую росписку, что паспорт принят. Но из Кронштадта вот уж 2 недели ни слуху ни духу. И вот Сливчанский пристает к ней и грозит прогнать из дому. Сегодня встретил ее и говорит: „Я твоему барину такое письмо напишу что увидит!“ Каково же это с жильцами поступать, коли гнать от них прислугу из пустяков, за которые уж он ни за что отвечать не может. Третьего дня, из Редакции, Гладков прислал мне, только что полученное, чрезвычайно важное от князя на мое имя письмо. У нас в Редакции, кроме человека прислуживающего есть еще рассыльный, и ходит он нарочно по распоряжению князя в русском платье с бородой, но в щегольском платье и в щегольских сапогах. Рассыльный спешит ко мне с большим запечатанным пакетом в руках входит на лестницу, хочет позвонить—и вдруг хозяин идет сверху с лестницы: „Как ты смеешь ходить по парадной лестнице! Ты мужик! В мужицком платье не ходят по этой лестнице! Марш с черного хода!“ схватил его за рукав и стащил с лестницы, и тот должен был идти через двор с черного хода. А между тем видел же письмо в руках. Согласись Аня что иные могут и обидеться, например еслиб был здесь Мещерский, а те которым не очень нужно пожалуй бросят и не пойдут отыскивать черный ход. Посыльные из книжных лавок за книгой пожалуй и уйдут. Да и не дозволит хозяин, если только узнает, отпускать книгу через парадный ход. Встает чем свет и целый день ходит по всем лестницам и по всему дому, шпионит и порядки производит. Я хотел было к нему идти и объясниться о рассыльном, но рассудил что ведь он тотчас же скажет мне съезжайте. И до твоего приезда решился было сносить. Но вот сегодня опять стеснение: Александра по праздникам иногда, (очень редко) отпрашивается в гости. А так как мне тоже надо уходить, то я выходя из квартиры запираю квартиру на замок и ключик оставляю у дворника, чтоб если я или Александра раньше меня воротилась, то ключь всегда бы найти у дворника чтоб можно было в квартиру войти. Так и было раз, недавно, дня 4 тому что я оставил ключь у дворника. Он узнал об этом и тотчас же запретил дворнику брать у меня ключь. Таким образом я теперь уходя из дому, когда Александры нет, должен буду ключик оставлять в нужнике, в известном месте на полке. А ведь это все таки риск; ведь у меня редакционные деньги в квартире остаются. Если он наших детей уви-

дит на дворе, он непременно за что нибудь придерется и закричит на няньку, что и делал с другими: Ведь я уж все равно тогда исколочу его. И потому я положил съехать во что бы то ни стало. Беспрерывный страх во всю зиму и беспрерывная боязнь ссоры—да ведь я от этого болен буду при моей впечатлительности! Эх Аня, я видел что за человек, когда мы, помнишь, были у него и он, из за кошки, сказал нам: „ступайте". Знай тоже что теперь цены на квартиры, сравнительно с прошлой зимой еще поднялись на 30 процентов. В жильцах он уверен вот и кутит. Я положил, что хоть бы 900 руб. заплатить но съехать! Положительно говорю — не хочу оставаться на этой квартире. Что за квартиру [наверстаем] переплатим, то на другом наверстаем: на здоровьи детей и на моем спокойствии. При спокойствии я больше и лучше могу писать. [*Полторы строчки зачеркнуты*]. Говорю тебе что больше наработаю при спокойствии. [*Полторы строчки зачеркнуты*]. Я не вступался, не объяснялся с хозяином, даже прячусь от него, несмотря на придирки с его стороны, потому что боюсь истории. Вчера я видел квартиру близ Владимир. церкви—очень хорошенькую, но 900 руб. Посмотрю еще. Желал бы нанять хоть на Песках только бы не жить в этом доме. Ужас для меня—книги. Ну как это перевозить.

До свидания, голубчик. Если пишешь, что любишь меня, то вникни в наше положение, поразмысли. Ведь после худо будет, коли зимой он нас сгонит.

Да и квартира то уж как скверная и тесная, а детская комната и твоя—затхлые. Наша столовая по ступенькам никуда не годится: ничего там нельзя сделать. До свидания, обнимаю тебя. Если отыщу квартиру оставлю за собой и задаток дам, не ожидая тебя, потому что квартиры с каждым днем разбираются. До свидания же.

Твой весь

Ф. Достоевский.

Если отыщу квартиру, перед самым твоим выездом из Руссы то телеграфирую тебе адресс новой квартиры, но не думаю, чтоб я, до приезда твоего, и переехал.

Анна Николаевна и Ольга Кириловна уже переехали на новую квартиру (900 р.) близь Технологического Института. Все без нянек, ищут нянек. Ив. Гр-чь уехал уже дней 5 и писал им из Москвы. Гриша сидит, закрывается ручонками и плачет о тяте, ходит, ищет его,—даже боятся за него. У меня был некто (*зачеркнуто пять строчек*) он говорил мне что уж искал. С виду из тех, которые свои деньги, если захотят, добудут.

Обнимаю тебя еще раз и Любу и Федю.

P. S. Сейчас принесли твое письмо и я должен был разрывать уже запечатанный конверт, а у меня совсем времени нет. Вот что о кухарке: я ведь сам не знаю что будет потом. Александра хорошая работница, очень, и стряпает хорошо. Очень хорошо себя держит и ведет, но опять-таки вынесет-ли она всю нашу семью и останется ли потом, когда будет потруднее—не знаю. И потому если только найдешь не вздорницу, чистоплотную (это 1-ое дело) и которая хорошо готовит (слышишь?), то нанимай и приезжай с ней сюда. Вот последнее мое слово. Тогда Александру отпустим. (В ней есть и недостатки, слишком н. пр. чувствительна, но не белоручка, далеко нет). И так привози свою. А Прохоровну, если только возможно это, я бы навсегда (*дальше написано на узком поле той же страницы*) оставил! Поговори с Ан. Николаевной и с Ольгой Кириловной! 6 нянек переменили и не могут найти. Дети беспрерывно в ушибах и колотушках.—Обе они говорят что у нас Прохоровна клад.

Твой весь

Ф. Достоевский.

На той же странице на длинном поле написано:

P. S. Сейчас иду со двора и так как Александры нет, то распрятал все деньги по всем углам квартиры, а ключик в условном месте в сортире.

На обратной стороне на полях написано:

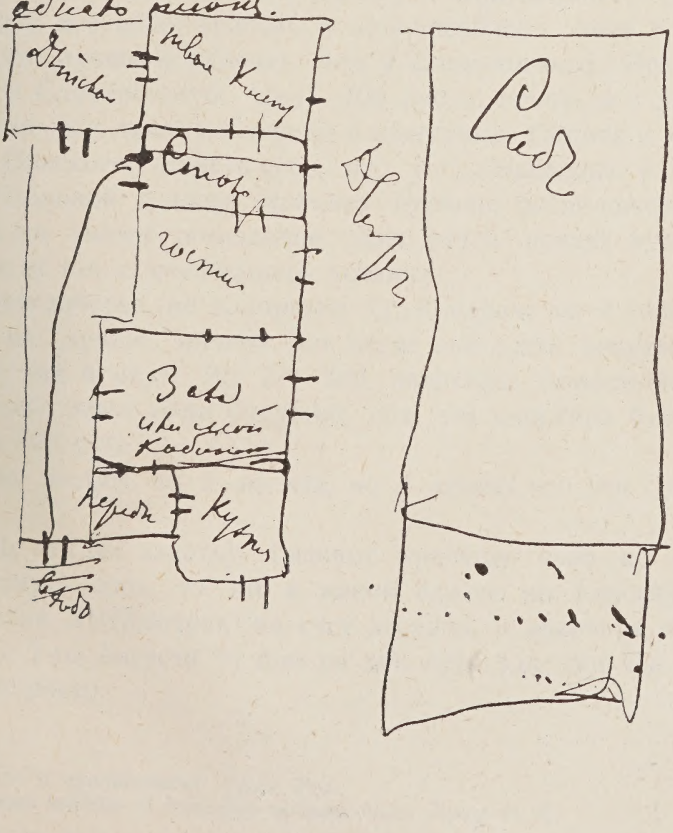
Цалую детей, благословляю их и обнимаю! До свидания—Любу, Федю. Вчера приходила ко мне Ольга Кириловна одна, сидела и пила чай. Приходила собственно узнать от Александры о служанке, которую та обещалась Анне Николаевне, найти для них.

54.

Петербург.
Понедельник, 20 Августа, /73.

Милая Анечка. Боюсь, что ты рассердилась на меня за квартиру; между тем кто же себе злодей и почему не искать лучше, если можно. Сегодня Анна Николаевна сообщила мне адресс квартиры ею для нас отысканной, на углу Николаевской и Разъезжей, без контракта, 4 [больших] комнаты (2 больших) 700 руб.—Но я еще вчера отыскал квартиру почти подле нас, на Лиговке же, но по другую сторону Невского проспекта, ровно в таком же расстоянии от Невского как и теперешняя наша квартира. Так что мы [живем] будем жить почти на Невском. Это по другую сторону Лиговки, сейчас из вокзала взять налево № 28

въ 3ем этажѣ, но по настоящему она во 2мъ всего двѣ маленькія лѣсенки. Подвесенантьевой не выше, какъ теперь у Свѣнчанского, ни одной ступенькой. Входъ у Свѣнчанского лучше, но здѣсь чисто и свѣтло. Затѣмъ квартира чище и новѣе Свѣнчанского, домъ старый и сухой. Комнатъ 5 и больше Свѣнчанск. Полы паркетные. Комнаты большія больше чѣмъ у Свѣнчанского. 2я гостиная Конечно ровно меньше чѣмъ Зала у Свѣнчанск., затѣмъ столовая, маленькая но прекрасно устроенная, затѣмъ твоя комната не маленькая и затѣмъ комната Ней. Корридоръ удивительно удачно расположенный. Вотъ одинъ планъ.



дом Ногиновой. Тут нет такой езды и грому, как теперь подле наших окошек, где с 4 часов утра везут возы на железную дорогу. Там тихо и дома все барские, красивые. [Этот д] Квартира на дворе, но сейчас же из ворот. Прекрасный и глубокий двор. На нем еще каменный дом и флигель. Чистота и порядок. И тут же на дворе сад, с тенью, цветами, пребольшой, немного разве меньше чем у вас в Ст. Руссе у Гриббе. Детям полный вход. Это очень хорошо. Квартира в 3-м этаже, но по настоящему она во 2-м всего две маленькие лесенки. Подыматься не выше как теперь у Сливчанского, ни одной ступенью. Вход у Сливчанского лучше, но здесь чистый и светлый. Затем квартира чище и новее Сливчанского, хотя дом старый и сухой, комнат 5 и больше Сливчанских. Полы паркетные. 1-я комната больше чем зала у Сливчанского, вторая гостиная капельку разве менее чем зала у Сливчанского, затем столовая, маленькая, но прекрасно устроенная, затем твоя комната не маленькая и затем комната Феди. Корридор удивительно удачно-расположенный. Вот однако план *).

Из передней—корридором можно входить в столовую и через столовую или к тебе в гостиную (коридор же повторяю превосходен) или к тебе в спальню. Днем же через мой кабинет. Одним словом все крепко, все цело, красиво и приспособлено. Анна Николаевна находит что это лучше и удобнее чем у Сливчанского. Вся квартира больше чем у Сливчанского. Цена 700 руб. с водою и с дворником. Жильцы в доме все люди почтенные и известные. Тишина и порядок и два шага от Невского. Заметь себе, что у Сливчанского у нас решительно нет Столовой, а здесь столовая отлично расположена и сверх того для тебя много помещения. Для детей воздух лучше, места больше и сад; и нет сумасшедшего хозяина.

Есть и неудобства, но вздорные: 1) Контракт на 2 года. Но это только нам же лучше, ничего нет легче как сдать квартиру теперь в Петербурге, так и рвут. Во 2-х все квартиры повысились в цене против прошлой зимы и на будущий год эта квартира будет стоить уже не 700 а 800 руб.

2-е Плата вперед за 2 месяца, но я думаю что это совершенно все равно.

Но я еще не дал задатку. Главное трепещу чтоб не перебили. Но если и решусь дать то ни в каком случае не перееду раньше твоего прибытия. NB (Контракт на счет хозяина, и квартира будет считаться лишь с 1-го Августа **) или со дня переезда, так что мы почти ничего не потеряем).

---

*) План см. в приложениях. Прим. Ред.
**) Очевидно, описка—1 сентября должно быть. Прим. Н. Б.

Понимаю, что одно тяжело—это переезд. Но что же делать! Зато на два года спокойны.

Анна Николаевна поощряла дать задаток скорее.

Был у Сливчанского. Был очень вежлив, но объявил твердо что мужиков по лестнице не пустит. На счет же оставления ключа изменил гнев на милость и согласился чтоб оставлять у дворников.

И так, Аня, не знаю, решусь или не решусь. Во всяком случае я еще буду жить у Сливчанского, когда воротишься и будем до 1-го августа. Много бы надо о квартире переговорить, о чем много и долго писать. До свидания. Это только чтоб тебя уведомить. Я еще Сливчанскому ничего не говорил. Больше писать думаю что не буду тебе, да и времени не будет. Жду вас 25-го или около. Анна Николаевна [*зачеркнута целая строчка*] хочет ехать поскорее в Финляндию. Очень очень жаловалась на здоровье и главное на усталость за все это лето. Действительно она бедная много работала, все за нянек, нет у них нянек. Целую и обнимаю тебя и детей. Благословляю в путь. Ну дай бог, дай бог.

Твой Ф. Достоевский.

(*На правой стр. на поле:*) Редакция помещается в Надеждинской, близко от Невского, так что близко будет от квартиры.

1874 г.

55.

[Москва].
25 Апреля 1874 г. Четверг.

Спешу тебя уведомить, голубчик Аня, что я в Москву приехал во время, но не смотря на то что ехать было довольно удобно и спалось, я все таки весь разбит, голова тяжела и почти лихорадка. Полагаю, что это все еще вследствие непрошедшего совершенно припадка. Сегодня никуда и не пойду. Письмо пишу чтоб уведомить, а то и шевельнуть языком, не только пальцем не хочется.

Надеюсь отлично выспаться ночью и завтра встать совсем здоровым.

Здесь хоть и ясно, но также почти холодно как и у нас. Деревья голые; в вагонах встретил Мещерского. Верочка только что уехала в Даровое, Соня, Машенька и часть детей в Москве.

Завтра, твердо уверен окончу дела (т. е. получением отказа) и быть можно поскорее вернусь.

Не думаю чтоб затянулось дело.

Извещай меня о всем характерном. Очень может быть что завтра напишу. Может быть в Воскресенье выеду. Если можно то уведомлю раньше. Завтра решится—

До свидания, целую тебя.

А пока твой Ф. Достоевс(кий).

56.

[Москва].
Апрель 26, пятница /74.

Милая Аня, напишу только два слова. — Письма от тебя сегодня не получил, а между тем уже 8 часов вечера.—В таком случае и мое вчерашнее пожалуй не получишь во время. Хотелось-бы что нибудь прочесть о детках.—Катков был очень любезен и просил отложить ответ до воскресения. Ясно, что хочет посоветываться с Леонтьевым. Но не думаю чтоб согласился, хотя я его, повидимому, и

не удивил; Сам мне сказал что Мельников [144] тоже 250 р. просит. Боюсь, что на 250 согласятся а на выдачу вперед не решатся. (Может денег не быть).

О подробностях до свидания.

Из Москвы конечно еще что нибудь напишу, но выеду стало быть не раньше понедельника. Не хотелось бы замедлить еще позже; Здесь мне очень скучно. Цалую детишек. Пиши о них подробности. Цалую тебя очень. Сегодня я здоров совершенно, кроме очень сильного насморка. Удивительно мне, что здесь и горлу моему легче.

До свидания. Цалую Вас всех еще раз.

Ф. Достоевский.

57.

Петербург.
Четверг 6 Июня. 74.

Милый друг Аня, расстался я со всеми Вами и мне смерть грустно. Стою (в) уже второй день, в сквернейшем, (как оказалось) Hotel Dagmar и в скверной моей комнате мне мерещутся детки и ты. С дороги же особенно расстроены нервы. Ну вот тебе отчет по порядку:

Вчера приехал в Петербург сонный и решительно исковерканный дорогой и дремотой сидя. В Dagmar остановился потому что подвернулся первый из Dagmar на станции. Тотчас же, выпив их ужасного чаю, отправился по делам. В Редакции узнал что Князь еще в Петербурге и получил 6 руб. за два Идиота (больше не продано). Затем отправился в Общ. вз. Кредита где Миша уже ждал меня и тотчас же сам отдал мне 2 золотых. Но билета в вз. Кредите заложить оказалось невозможным, ибо надо быть членом Общества. (Кстати Шевяков [145] поглядел на меня и даже головой не кивнул; я разумеется также). Но Миша предложил немедленно отправиться с ним в Волжско-Камский банк и заложить там. В Волжско-Камском банке дело тотчас уладилось, и отчасти благодаря книгопродавцу Надеину, который подвернулся тут в банке, по своим делам, и отрекомендовал меня одному чиновнику, по словам Надеина „обожателю моих произведений". Заложил я от своего имени. Копию с обязательства, выданную мне, я оставил на сохранение, пока буду за границей, у Миши. Полагаю что это безопасно и ты не рассердишься за это: заложено на мое имя, при свидетелях и по возвращении из за границы [146] я успею взять копию от Миши. Срок до 5-го Сентября, т. е. на три месяца; за вычетом $^0/_0$ получил всего 117 р. 50 к. Впрочем если хочешь я напишу Мише и он тебе перешлет „Копию с обязательства" в Ст. Руссу. Но по моему не надо. Миша рассказал мне что в С. Пет. Вед. пущено объявление Корша и Полякова (впрочем без их подписи) о продаже Рязанского

имения [147]. Сегодня в Четверг есть оно и в Голосе, достань и прочти. Объявление короткое но пышное, покупатели приглашаются [или] узнать о подробностях или на Литейную (вероятно к Коршу) или в Павловск, в Солдатскую Слободку, дом Толмачевых.—Миша слышал откуда то странное известие что будто хочет купить Губонин (в этой железной дороге имеющий участие) и что ему наши предлагают по 80 р. десятину, все 5000 десятин, и он не прочь. Верно слух какой нибудь пустой, но было бы уже слишком великолепно.—Надеин ужасно (до невероятности) увивался за мною, чуть не молился на меня, так что странно было, и предложил мне положительно издать полное собрание моих сочинений, уладив все дела по денежным расходам издания и все только из 5%, и как только он их выберет, то все издание будет принадлежать уже мне. Я ничего не ответил и сказал только что дам ответ по возвращении из за границы, он остался очень кажется доволен, что я не отказался формально. Об этом право можно подумать; впрочем как ты решишь так и будет [148]. Мне кажется (по некоторым данным), что всех их книгопродавцев взволновали несколько три статьи обо мне Ореста Миллера в „Неделе“ в результате очень хвалебные[149]. Но обо всем этом после.—Затем поехал к банкиру Виликену и там мне дали на Берлин (а не на Эмс, ибо там нет таких банкиров) перевод. Я перевел 450 руб. за 417 талеров и сколько то грошей.—Остальные деньги часть променял на Наполеондоры (15 штук) а часть русскими кредитками оставил пока на дорожные расходы.—Затем был у Бунтинга [150] и он переставил пружины.—Затем заехал к Губину, не застал дома, но узнал что придет домой вечером. Затем был у Страхова и застал у него Майкова, который по поводу Среды (Комитет) приехал в город. Майков был как то холодноват. От Страхова узнал что Тургенев хочет остаться весь год в России, написать роман и хвалился, что опишет „всех ретроградов“ (т. е. в том числе и меня). [151] С богом, но осенью надо первым делом отдать ему 50 р. [152] Затем обедал у Вольфа и опять отправился к Губину, и в этот раз застал. Губин говорил как то все враждебно относясь к Полякову. Поляков был, по его словам, у него сам и он сообщил копию с исполнительного листа ему, но что Заенчковский (по словам Губина) хочет, по совету какого то своего поверенного, аппелировать. Но это конечно вздор. Губин прибавил, что и вексель, гарантированный Заенчковским, был бы неблагонадежен. Соковнин же, по его словам, все еще хочет принять долг на себя, под вексель, гарантированный его женой, но хочет видеть исполнительный лист. В Пятницу, т.-е. завтра [сегодня] по словам Губина, назначено совершить все это дело у нотариуса, но Губин боится что Матусевичь (судебный пристав) не захочет выдать у нотариуса исполнительный лист, под предлогом что есть закон, что если

Судеб. пристав возвращает исполнительный лист, то прекращается претензия. Губин как то хочет все уладить и надеется на пятницу. В результате—я мало понял, полагаю только что ему не нравятся переговоры с Заенчковским. (Претензию свою и исполнительный лист Матусевичь впрочем уже предъявил о б о и м опекунам Стелловского и Губин говорит, что Заенчковский увидит из этого что не смотря ни на какие апеляции взыскание [апеляцией] не остановится). Я просил его уведомить о решительных случаях тебя; адрес твой у него есть. От Губина поехал к Полякову, было часов 7 и не застал дома, даже на звонок не отворили; квартира пуста и прибит билет извещающий что Поляков в Павловске (и адрес). Затем я решил что останусь в Петербурге еще на день, т. е. и на четверг и поехал на вечер к Князю, где кроме некоторых гостей были Майков и Страхов. У Князя болела нога, сам он едет в Соден ($1^1/_2$ часа от Эмса) лечиться. Все мне были особенно рады, Князь чрезвычайно мил. Все сказали мне что я очень поздоровел и даже пополнел (между тем мне ужасно хотелось спать и я был измят). Князь говорил мне a parte, что он совершенно не знает как быть с Гражданином, денег на издание нет и никто ему в долг не дает. Боюсь ужасно, чтоб если прекратится издание, не коснулся как нибудь меня расчет с подписчиками, (т. е. я не про то боюсь что Князь не заплатит, а что, на первый случай, выйдет какой нибудь скандал и заденут мое имя в печати). Но видно тоже что ему ужасно хочется продолжать издание. Пуцыковичь убежден что так и будет, т. е. что Гражданин будет выходить целый год. [153]—Меня очень смутил Князь и один его родственник (большой мой почитатель) что мне лучше бы ехать в Соден а не в Эмс, ибо Эмс глубокая долина в ущельи, очень сырая и дождливая. Мне же сырая погода, я знаю это, вреднее всего. Меня они все убеждали в Берлине сходить к одному знаменитому доктору Фрёриху и спросить его мнения. Не знаю сделаю ли это. Но вот что я пропустил тебе написать: перед тем как быть у Полякова, я был у Бретцеля, который мне дал коротенькое письмецо к доктору Орту в Эмсе. И вдруг Бретцель сказал мне, что в случае, если в Эмсе, я увижу, не будет мне пользы, то чтоб я переехал в Соден, где почти одно и то же. Этот Соден, выскочивший со всех сторон теперь, меня смущает и право я думал бы зайти к Фрериху. Впрочем т в е р д ы й совет тогда Кошлакова лечиться в Эмсе, сделал то, что я не смотря на все эти толки, еду теперь в Эмс н е п р е м е н н о и уже в Эмсе посмотрю, и то недели две-три спустя, как мне быть. Бретцель расспрашивал о твоем здоровье и н а с т о я т е л ь н о сказал мне что в Старой-Руссе тебе бы надо было пить железную воду Швальбах Вейнбрун (есть еще Швальбах Штальбрун, но тот для тебя крепок). Кажется я в именах не ошибся. По

словам Бретцеля вреда от этого не произойдет тебе никакого, а польза будет несомненная. Я просил его немедленно написать тебе, с медицинским росписанием правил как пить, и вот мой совет тебе Аня, на который ужасно прошу тебя обратить внимание: немедленно (*зачеркнуто несколько слов*) посоветуйся с Шенком и если он чуть-чуть скажет что Швальбах тебе полезен, то и вышли Бретцелю тотчас 10 р., и он берет на себя (как мы условились) выслать тебе от Штоля и Шмидта 20 полубутылок воды (7 руб. стоит вода, по каталогу, а 3 р. мы полагаем на пересылку). Если ты даже начнешь питье и позже 20-го Июня, то все успеешь отлично поправиться. Через 20 дней (по полубутылке в день) ты увидишь надо ли продолжать и можешь ему примерно после 15 бутылок выслать еще 10 р., и он вышлет еще 20 полубутылок. После 40 полубутылок можно и кончить. Бретцель клянется что будет польза. Не щади же, голубчик, каких нибудь 20 руб. тебе же будет лучше.—Если же Шенк отсоветует (чего не думаю), то просто напиши Бретцелю что вода нашлась в аптеках и в Ст. Руссе. (Бретцель даже полагает что это так и есть) и что ты последуешь его совету и будешь пить.

Но вот что прошу: Если последуешь совету, то не бери в аптеках ваших, если даже и найдется, чтоб не сбиться и взять не того Швальбаха. Лучше пусть сам Бретцель вышлет. [Молю] Прошу тебя, ангел мой, не затягивай дела и спроси Шенка (Шенка и без того давно пора позвать для Феди). Не щади 20 руб.—здоровье дороже всего.

Сегодня был у Кашпирева. У него нога опять в гипсе. Доктор Каде обещает ему что к зиме он будет ходить, хотя и хромая. Они перебираются через неделю на Дачу, близ Гатчины. Говорит что этого требуют доктора. Софью Сергеевну [134] не видал, ее не было дома. Благодарил меня, что я навестил его. Он очень жалок. Обедал у Вольфа вместе с Страховым, затем зашел к Базунову (который в Воскресенье едет тоже за границу) и просил настоятельно высылать тебе Русский Вестник за июнь и июль. (Майский я беру с собой). Обещали.—Затем поехал (в седьмом часу) к Полякову и опять не дозвонился. Может быть он еще не получил твоего письма. Это мне было очень досадно, ибо еслиб не было дано этого рандеву (от 6 до 8 часов), то я бы сам отправился бы может быть в Павловск. Но я проспал до 11 часов а потом рассудил, что если поеду в Павловск и там узнаю что он уже уехал в Петербург, то не поспею во время видеться с ним и в Петербурге. Может быть он тебе напишет. Тогда напиши ему, что я у него был (5-го и 6-го числа). Напиши это непременно.

Завтра просыпаюсь в 8 часов, чтоб успеть все сделать, а теперь устал от письма ужасно. Уже одиннадцатый час. Через час лягу. Очень у меня смутно на душе и тоска. Думаю о вас, о Фединьке милом, ко-

торый меня крестил, об ангеле моем Любочке и о тебе очень. Аня, милая, ради бога будь внимательна к ним. Что ты их любишь я знаю (*вычеркнута целая фраза*). Да уважай*) няню. Найдешь другую и проворнее на вид, но вряд ли будет так любить ребенка как она. Старушка, слабая, а вскакивает ночью в один миг чуть только шевельнется Федя. Не сердись на меня за эти просьбы. Ты ведь знаешь как вас всех люблю. А мне теперь очень тяжело одному.

Обнимаю тебя крепко, жду в Эмсе твоего письма. Цалую Любу, Федю. Благословляю их. Поклонись Александру Карловичу, Анне Гавриловне [153], отцу Ивану и всем (Няне и Прасковье тоже). Ах ангел мой как я боюсь за вас. Пиши же.

В Петербуге хотя и было ясно (сегодня только облачно) но холодно не по сезону. Боюсь пробыть в Берлине лишний день, так как приеду в Воскресенье и пожалуй контора банкира заперта.

Ну, до свидания, цалую тебя крепко и всех вас тысячу раз и еще раз благословляю.

Твой на всегда
Ф. Достоевский.

Боюсь ужасно устану дорогой, [авось] авось даст бог з айму [дв целую скамейку и буду спать в вагоне. Не забудь же Швальбах.

Скажи, что детям привезу гостинцев и игрушек.

58.

Эмс. 13/25 Июня. Среда. [1874 г.].

Вот я и в Эмсе, голубчик дорогой Аня, приехал вчера около полудня, но до того устал с дороги и от хлопот в Эмсе, что решительно не мог вчера же вечером (как расчитывал) написать тебе. Голова кружилась и в ушах звенело. Из Петербурга выехал я в пятницу утром в холодный дождливый день и в Эйдкунен прибыл бодро и даже ночью успел проспать часа четыре в лежачем положении. Холод в Эйдкунене был еще сильнее чем в Петербурге и так шло до Берлина, где тоже в 1-й день было так холодно, что я хотел было надеть ватное пальто. Во 2-ю ночь почти не спал в вагоне. Было много интересных и даже смешных приключений в дороге, расскажу при свидании. В Берлин приехал в Воскресенье и банкирская контора Мендельсона, на которую был сделан у меня от Виликена перевод была заперта. Доктора не принимают тоже по Воскресеньям, и я должен был нестерпимо скучать весь день. Спать впрочем не лег (приехали

*) (Первоначально: „не обижай". Затем другими чернилами зачеркнуто „не", а „обижай" переправлено на: „уважай". В подлиннике было еще одно слово, которое густо зачеркнуто и потому не разобрано.)

в 7 часов утра) ходил в Королевский Музеум смотреть Каульбаха, в котором нашел одну холодную аллегорию и больше ничего. Но другие картины, древние, разных школ там не дурны и мы с тобой, в первый проезд наш, напрасно там не побывали. Но, боже что это за скучный, [за] ужасный город Берлин! Скучно и тоскливо (по вас) было до невероятности. Все смотрел на фотографию Любочки, раза три взглядывал, припоминал.—Немцы в Воскресенье были все на улицах и в праздничном платье, народ грубый и неотесаный. Мне в кондитерской один молодой человек советовал съездить в театр Кроля за Тиргартеном, где увеселительный сад и опера. Действительно шел Фиделио и мне очень хотелось съездить, но прийдя домой, до того почувствовал себя усталым что так и свалился спать. На утро был у Мендельсона и был у Фрерихса. Этот светило науки немецкой, живет во дворце (буквально). Дожидаясь вызоза я спросил у одного ожидавшего больного сколько платят Фрерихсу, и он ответил мне что это не определено но что он сам даст 5 талеров. Я решил дать три. Больных он держит минуты по три, много пять минут. Меня держал буквально 2 только минуты и лишь дотронулся только стетоскопом до моей груди. За тем изрек одно только слово: Эмс, сел молча и написал 2 строки на клочке бумажки: „вот вам адрес доктора в Эмсе, скажите что от Фрерихса“. Я положил три талера и ушел: было зачем ходить. В этот день были наконец открыты магазины и я отправился покупать Анне Гавриловне шаль, которая стоила мне много хлопот. Искал—искал магазина. Магазинов в Берлине бездна, товаров бездна, но добиться долго не мог: или не понимают, или показывают очевидно не то. Наконец в одном магазине дали мне адресс в другой и там, хоть и не было шалей но за ними послали и я наконец купил. Думаю что хороша очень и даже может быть матерья лучше твоей, потому что цвет чернее, самый черный какой только может быть а твоя ударяет в рыжеватый оттенок. Они уверяют что качество цвета очень ценится. Велика как твоя, без всяких вышивок, но с легкой бахромой (иначе не бывает). Спросили 22 талера. Я торговался, уходил из магазина, и наконец то согласились отдать за 19. Была тут и другая шаль, которую отдавали за 18, но цвет был не так черен. Я решился взять в отчаянии найти другую. Когда я их уверял что была куплена шаль (твоя) с вышивками и дешевле, то они спросили давно ли это, и когда я сказал что 5 лет назад то они засмеялись: „с тех пор сказали они почти все эти товары поднялись процентов на 25“. Так как Анна Гавриловна дала 14 руб. серебряных, то по курсу [даже] это было бы талеров 16, значит я переплатил лишку не более 3 или много что $3^1/_2$ руб. Эту переплату, голубчик Аня, уж мы лучше подарим Анне Гавриловне (они так любят тебя и детей) и ты наверно на меня за это не станешь

сердиться. Теперь эту шаль буду таскать с собой в чемодане, потому что переслать в Россию по почте возможности нет и представить, дорого возьмут, сам привезу. Затем накупил много папирос а так как оставалось время съездить в сад Кроля то поехал. В этот день погода была ясная. Этот сад мерзость ужаснейшая, но публики бездна и немцы гуляют с наслаждением. За мои 10 входных грошей я имел право пройти и в театр, но только стоять в галерее. Театр огромная темная зала где до 1000 человек публики, сцены в 10 шагов длины, оркестр в 12 человек (веесьма недурной) и дают можешь себе представить, „Роберта". Я прослушал половину 1-го акта и убежал от страшных немецких певцов прямо домой, ибо пора было ехать. Наконец отправился в 10 часов вечера в Эмс. Здесь [ночны] ночи темные как зимой. В эту ночь не спал нисколько сидели мы как сельди в боченке, но когда стало рассветать—Аня, милая ничего я в жизни не видал подобного! Что Швейцария, что Вартбург (помнишь?) сравнительно с этой последней половиной дороги до Эмса. Все что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самом очаровательном в мире; холмы, горы, замки, города как Марбург, Лимбург с прелестнейшими башнями в изумительном сочетании гор и долин—ничего еще я не видал в этом роде и так мы ехали до самого Эмса в жаркое, сияющее от солнца утро. Эмс совершенно в этом роде. Вчерашний же день был очарователен. Эмс это городок в глубоком ущельи высоких холмов—этак сажень по двести и более высоты, поросших лесом. К скалам (самым живописным в мире) прислонен городок, состоящий по настоящему из двух только набережных реки (не широкой) а шире негде и строиться ибо давят горы. Есть променады и сады—и все прелестно. Местоположением я очарован но говорят что это самое местоположение, в дождь или в хмурое небо, переменяется [да] в мрачное и тоскливое до того что способно в здоровом человеке родить меланхолию, но за то удобствами я далеко не очарован, цены, цены—ужас! Все что мы с тобой воображали, рассчитывая, о частной квартирке для меня в Эмсе, оказалось невозможным, ибо частных квартир—нет совсем ни одной. Лет 5 тому назад Эмс мало значил, но теперь когда вдруг его прославили и стали в него съезжаться со всей Европы, всякий домохозяин догадался что надо ему делать: все дома переладили и перестроили в Отели. И потому есть два сорта отелей: домов 10 под настоящими, формальными отелями, и за тем все (буквально) остальные дома называются приват-отелями. В них те же номера, та же прислуга и даже почти во всех рестораны. В самом маленьком доме до 20 №-в. Номера почти все небольшие. Я остановился в hôtel de Flandre у железной дороги и мне за 25 грошей дали комнатку в которой нельзя повернуться, без самой

необходимой мебели (без шкапа для платья [даже] и без комода) и указали мне на стене 3 гвоздика, на которые я бы мог развешивать платье. Прислуга ужасная. Я тотчас отправился искать квартиру и заходил домов в 15. Везде одне цены. Впрочем за 25 грошей (меньше нет цены за комнату) а за талер показывали комнатки все таки больше и лучше моей и комфортнее, но маленькие и главное—кругом все набито квартирантами, кто поет, кто хлопает дверями, а я ведь расположен роман писать! [156] Табльдот везде в отелях и в ресторанах в час по полудни, ибо все встают в 6 час. утра чтобы в 7 быть на месте, у источника и пить воду, которую уже потом, после $8^1/_2$ часов, не дадут и источник запрут. В 4 часа, еще не обедав, я пошел (окончат) к доктору, чтобы знать по крайней мере окончательно на сколько он меня присудит недель пробыть в Эмсе. Пошел к доктору Орту (Бретцелеву) а не к Гутентагу (Фрерихсову) и отдал Орту письмо Бретцеля. Орт тоже живет в великолепной квартире и тоже у него толпа посетителей. Он прочел Бретцелеву записку и осмотрел меня очень внимательно и сказал что у меня в р е м е н н ы й катар, и более ничего; похожего на чахотку нет ничего, но что болезнь довольно важная, потому что без лечения чем дальше тем менее будет способности дышать, кроме общего расстройства (желудка, лихорадки и проч.) нашел что у меня расстроена наиболее задняя часть груди и когда я ему сказал что я не чувствую ничего особенного, стоял на своем, но сказал что с дороги я д о л ж е н был непременно расстроиться, но что через несколько дней эта задняя сторона может облегчиться, обещал успех от лечения наверно, но предписал пить не из Кренхена как Кошлаков, а из другого источника, Кессельбрунена, под предлогом что я наклонен к поносу, как писал ему Бретцель. Досадуя теперь ужасно что так и забыл сказать ему что я наклонен более к запорам чем к поносу и боюсь чтоб из предписания пить Кессельбрунен не вышло ошибки. Дней через 5 пойду к нему опять и объяснюсь. Он предписал мне диету — есть больше кислого и с уксусом (салату например) и есть мясо с жиром. Сверх того пить красное вино, или французское или здешнее, Эмское, местное. С завтрашнего дня начну вставать в 6 часов и ходить пить воду (два стакана в день). Это Эмское вино кислятина первостепенная стоит 20 грошей бутылка! К французскому же и приступу нет: по талеру бутылка Медока, который у нас, у Фейка, в 50 коп. Затем стал искать обеда и нашел что в [русски]больших отелях (Roussicher hof и Englych-Отель) есть, кроме табльдота в час, diners a part, но по талеру и 10 грошей, т. е. по 40 грошей. Спросил такой обед: подали кушаний 10, хорошо приготовленных, из которых 5 мясных, так что я устал есть и половину обеда отослал назад. Но за 25 грошей, в табльдоте, дают меньше. Других обедов—н е т во всем Эмсе.

По порциям можно везде, но за порцию берут грошей по 15. Наконец я решился взять в одном доме квартиру. Хозяйка — одна старая дама в очках, имеющая впрочем мужа, вежливая, но хитрая старуха. Прислуга женская. У ней 26 номеров в доме. Мне показали на выбор две квартиры—одна прекрасная и большая комната, комфортно меблированная, с балконом 14 талеров в неделю [месяц], а другая квартира из 2-х комнат, но уже меньше гораздо, тоже очень комфортно меблированные, но только одна комната совсем светлая, а другая, спальня, хоть и имеет два окна, но окна выходят на капитальную стену в 2-х аршинах расстояния, и в ней гораздо темнее, тоже 14 талеров в неделю. Я торговался ужасно и выторговал по 12 талеров в неделю. Кроме того она взялась сама приготовлять мне кофе, обед, вечером чай и чего нибудь з а к у с и т ь на ужин—это за полтора талера в день. Таким образом в неделю с квартирой будет $22^1/_2$ талера. Я забыл тебе сказать (и главное) что Орт назначил срок моему леченью не 6 недель, а 4 только. Таким образом хоть деньги и идут ужасно, но их достанет. Вечером я переехал из отеля к хозяйке. Н а в с я к и й с л у ч а й тебе адресс [дома отеля] (Haus Blücher № 7 *) но непременно пиши только на poste restante, ибо почем знать, я могу съехать отсюда.

В заключение об Эмсе—здесь давка, публика со всего мира, костюмы и блеск и все таки одна треть №№ не заняты. Магазины подлейшие. Хотел было купить шляпу, нашел только один магазинишка, где товар в роде как у нас на толкучем. И все это выставлено с гордостью, цены непомерные, а купцы рыло воротят.

Ангел мой Аня, пиши ко мне бедному почаще. Письмо от вас придет может только послезавтра, а ты не поверишь как я беспокоюсь чтоб знать о детях. Нервы у меня расстроены (с дороги) и вчера вечером, когда я остался один просто хоть плачь. Вспоминаю об моих ангельчиках Любе и Феде, и боюсь за них: Смотри за ними, голубчик и обо всем пиши откровенно. Не заболела бы ты как нибудь! Вчера ночью вздрагивал ужасно (а уже три ночи сряду все ты мне снишься). Прощай, крепко обнимаю тебя и целую и благословляю моих ангелов. Завтра встану в 6 часов и пойду пить воду, ложиться стало быть надо в 10 часов вечера. Когда же писать роман—днем, при этаком блеске и солнце, когда манит гулять и шумят улицы? Дай бог только начать роман и наметать хоть что нибудь. Начать это уже половина дела. Стало быть придется мне гораздо раньше воротиться к Вам. В следующем письме напишу об этом больше. Напишу дня через три-четыре, после твоего письма. Поклон всем и няне. Цалую тебя тысячу раз и люблю до бесконечности. Представь ты мне треть-

*) Т. е. я стою в № 7 (номер комнаты, а не дома). (Примеч. Ф. М. Достоевского).

его дня в Берлине снилась в каком виде: что будто мы только что женились и я везу тебя заграницу и люблю ужасно, но что будто есть уже и Люба и Федя, только где то не с нами и мы об них говорим. До свидания.

Твой Достоевский.

59.

Воскресенье, 28/16 Июня/74. Эмс.

Понять не могу милый друг мой Аня какая путаница в числах месяца. У нас здесь сегодня, в Воскресенье, 28-го числа н. ст. (я проверил по газетам) а ты пишешь мне в Воскресенье (прошлое) от 12. В прошлом моем письме (от Середы из Эмса) я тоже напутал и выставил 27 нов. стил., тогда как было 25-е.—Но вот что уже серьезно. Первое письмо твое (от пятницы) помечено 7-м числом ст. стиля, а на конверте штемпель Старой Руссы 10-м а Петербург 11-м. Это странно. Если ты подала в пятницу, или даже в Субботу, то как же мог ваш почтмейстер отослать письмо только лишь 10-го числа. Поговори об этом почтмейстеру настоятельно *).—И представь себе, твое первое письмо, от 7-го, (кстати: выставляя на письмах число, выставляй и день, не забудь это)—получил я только вчера, в Субботу, тогда как мог получить в Пятницу, [тогда] потому что здешний олух чиновник на poste restante, не смотря на то, что я уже раз 5 приходил спрашивать, воображал что я не Dostoievsky, а Tostoevsky, и смотрел письма в отделе буквы T. так что письмо целые сутки у него пролежало даром. Они ужасно выговаривают и преглупо слушают. Один немец мне в дороге говорил: Упа, упа. Что такое упа? спросил я его, и наконец то оказалось что упа есть опера (он говорил со мной о музыке). Сегодня почтмейстер очень извинялся, но за то я получил и второе твое письмо сегодня. Милочка Анечка, благодарю тебя за то что пишешь акуратно. Пиши пожалуйста почаще чем раз в неделю, пиши раз в 5 дней; так и я буду писать. Твоими же письмами я любуюсь и читаю их с наслаждением, и говорю про себя каждый раз: какая она у меня умница. Я например пишу 8 страниц и всего не выскажу, а у тебя на 4-х все прекрасно высказано, все что надо; дельно, толково, ничего лишнего, ум в понимании что именно надо сказать непременно и тонкость чувства. Ты именно догадалась что мне очень будет приятно читать про разговоры детей. Кроме того ты мне пишешь милые слова и говоришь что любишь (если не обманываешь). А уж я то так тебя люблю мой ангел, особенно теперь. Дорогая ты моя.

*) Я, пожалуй, пришлю конверт для улики. (Примеч. Достоевского).

Как я рад что пока дети здоровы. Правда, твое письмо неделю назад писано. Береги их, ради христа изо всех сил. Великолепно сделаешь если попьешь Швальбах и я рад отзыву Шенка о твоем здоровье. Но всего больше буду рад когда опять вас увижу. А то мне здесь очень уж становится скучно. На другой день после того как писал тебе (т.-е. в Четверг) пошел в 1-й раз на источник. Он от меня в 2-х шагах. Погода была ужасная и дождь лил как из ведра, так что я взял у хозяйки [дождик] зонтик чтоб добежать. Там уж был весь сброд. Весь Эмс просыпается в 6 часов утра (я тоже) и тысячи две пьющих все уже толпятся в $^1/_2$ 7-го у двух источников: Кренхен и Кессельбрунен. Тут же в саду играет музыка и начинает обыкновенно с скучнейшего лютеранского гимна к богу; ничего не знаю приторнее и выделаннее. Каждый пьющий должен купить здесь себе стакан на весь сезон, на котором черточками обозначено число унций в стакане. Я пью 6 унций, по два стакана и гуляю между двумя стаканами час, а в 8 возвращаюсь к себе и пью кофе. Вкус кислосоленый и отзывается несколько тухлым яйцом, вода теплая, как отеплевший в стакане после 10 минут чай. Целых два дня (даже и вчера) погода была переменная, то дождь то солнце, и так было скучно как не надо больше. От сырости должно быть состоянее мое ухудшилось, хрип сильнее и кашель стал суше, а вчера и третьего дня болела даже грудь, что очень редко бывало в Петербурге. Пойду к доктору дня через два и объясню ему что мне даже стало хуже. Правда, так скоро ничего еще и не могло оказаться, но полагаю что я в сырость простудился. Сегодня же великолепный день, солнце, и все сияет и ужасно жарко и мне лучше гораздо. Я все боюсь что доктор ошибся назначив мне Кессельбрунен, а не Кренхен. Бретцель написал ему что я подвержен поносам. Но поносы хоть и были, но от расстройства желудка, главное же состояние мое напротив не понос, а противуположное. Что то будет не знаю.

В ясное время хожу гулять а вечером на музыку. В воксале из русских газет всего одни Москов. Ведомости, из французских довольно. Все здесь мизерно и жалко, магазины прескверные. Одно местоположение лишь прелестно, но всего лишь на одну минуту, потому что Эмс есть тесное ущелье между двумя цепями гор и весь он узнается в одну минуту. Сад и парк я знаю уже вдоль и поперек, а за тем уже и некуда ходить. Ктому же вечно толпы публики (множество русского говору, но более всего немцев). После кофе утром я что нибудь делаю, до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что нибудь новое. Но сам за то не могу еще ничего скомпоновать из романа. Боюсь не отбила ли у меня падучая не только память, но и воображенье. Грустная мысль приходит в голову: что если я уже не способен больше писать. А впрочем посмотрим.

В 12 часов выхожу погулять час перед обедом (ибо обедаю ровно в час по полудни). Толкаюсь в толпе, захожу в Курзал читать газеты. Знакомых у меня один только какой то немец, приехавший со мной, в одном вагоне сюда из Берлина лечиться (грудной) и нежно (в хорошем смысле) прощавшийся с женой (оба они молодые) на моих глазах в Берлинском воксале перед последним свистком машины. Мы с ним иногда теперь встречаемся и говорим по немецки. Да встретил я, или лучше сказать подошел ко мне в саду (потому что сам никого не узнаю) Случевский (литератор, служит в цензуре, редактирует илюстрацию) [158] и с радостью возобновил со мной знакомство. Я его мельком встречал зимой в Петербурге. Он еще человек молодой, здесь с женой и детьми. Напросился ко мне на визит, не знаю придет-ли. Это—характер Петербургский, светский человек как все цензора, с претензиями на высшее общество, малопонимающий во всем, довольно добродушный и довольно самолюбивый. Очень порядочные манеры. Он мне показал на гулянье всех здешних русских. С женой он почему то никогда не гуляет, но кажется детей своих любит. Третьего дня вечером, в довольно сырую погоду, после унявшегося дождя встретил я его с одним русским семейством и он упросил меня с ним итти. Мне так было скучно что я пошел. Дама—директриса института в Новочеркасске лет сорока, а кажется 25, с ней дочка—молчанка, лет 15, но очень хорошенькая. При них же родственник или знакомый, довольно оригинальный и несколько смешной человек. Мы сделали прогулку, по сырой дороге, недалеко в горы, до первого ресторана, отдохнули, выпили Maytrank и ушли назад. Эта барыня навела на меня такую тоску, что я буду теперь решительно бегать от всех русских. Дура, каких свет не производил. Космополитка и атеистка, обожает царя но презирает отечество. Детей воспитала в Дрездене и они два месяца назад тому оба померли в России, осталась одна последняя дочь. Вероятно с горя отправилась в Париж. (Это у них служба называется, по 4 месяца отпуску за границу, с пособием от казны!) В Париже ни с того ни с сего вырвала у дантиста великолепный зуб, который не болел но ей почему то мешал (у ней зубы как перлы и сама очень собой недурна). Дантист ее хлороформировал и сломал ей челюсть (!). Другой знаменитый дантист в Париже сказал ей что она может получить костоеду и погибнуть и она теперь опять должна ехать в Париж лечить изломанную челюсть. Теперь же приехала в Эмс неизвестно зачем, и вообще все эти люди делают неизвестно что, ездят неизвестно зачем. Болтушка и спорщица. Я сказал ей прямо, что она несносна и ничего не понимает, разумеется смеясь и светским образом, но очень серьезно. Расстались мы вежливо, но уже никогда не встречусь с ними. А ночью у меня был даже кошмар.

Таким образом [со мно] у меня тоска чрезвычайная. Не понимаю как проживу здесь месяц. Авось что нибудь скомпаную и сяду работать. Живу же пока, в материальном отношении, довольно удобно: хозяева вежливы, кормят меня недурно. [Вот] Весь дом (каменный и красивый, теперь имеющий большую ценность) принадлежит хозяйке и она же мне стряпает сама кушанье. Дочка ее лет 17, хорошенькая собой и получившая некоторое воспитанье, скромная и невинная носит иногда ко мне обед и чай сама и даже прибирает и моет в доме Служанка на всех 12 или 15 жильцов одна—рябая девка Мина, лет 35, работает как вол и получает жалованья, с Марта по Октябрь, всего 7 талеров, т.-е. по талеру в месяц; правда, весь расчет ее на пурбуар от жильцов. Вообще в доме порядочность. Во всем 2-м этаже я был один, но вчера приехали какие то богачи из Вены (муж и жена) и заняли весь этаж, так что у меня очутились соседи и теперь немного возятся за дверью и мне мешают. Ну вот пока и все касательно моей обстановки. Нравственное состояние, как я уже писал тебе—тоска и скука, и кроме того думаю о тебе поминутно, Анька, я тоскую о тебе мучительно! Днем перебираю в уме все твои хорошие качества и люблю тебя ужасно, и нахожу что всем бы ты взяла, кроме одного твоего маленького недостатка—рассеянности и домашней небрежности, (т.-е. не к детям небрежности, я ведь понимаю какая ты мать!) а просто маленького неряшества. За то остальное все в моей Анечке признаю совершенством и редкостью. Голубчик, я ни одной женщины не знаю равной тебе. Ну вот эта третьегоднишняя дура, ну как и сравнить с тобой, а ведь почти все теперь как эта дура. Зато вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мученьем, обнимаю тебя мысленно и цалую в воображеньи всю (понимаешь?). Да, Аня, к тоске моего уединения не доставало только этого мученья; должен жить без тебя и мучиться. Ты мне снишься обольстительно; видишь-ли меня-то во сне? Аня, это очень серьезно в моем положении, еслиб это была шутка я б тебе не писал. Ты [боясь] говорила что я пожалуй пущусь за другими женщинами, здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведал, что и вообразить не могу другой кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе ежедневно Слишком привык к тебе и слишком стал семьянином. Старое все прошло. Да и нет в этом отношении ничего лучше моей Анечки. Не прюдствуй читая это; это ты должна знать от меня. Надеюсь что письмо это никому не покажешь.

Про детишек пиши все и именно что они говорят и делают. Цалую Любку и Федю. Скажи что я об них думаю, приеду к ним и привезу гостинцев (привезу-ли только гостинцев-то!). Всем кланяйся. Обнимаю тебя еще раз.

Твой вечный муж
Дост.

Я тебя истинно люблю и молюсь за Вас всех каждый день горячо. Детей благословляю.

Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил императора Вильгельма: высокого роста, важного вида старик. Здесь все встают (и дамы) снимают шляпы и кланяются; он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой. Наш царь, напротив, всем здесь кланялся и немцы очень это ценили. Мне рассказывали, что и немцы и русские (особенно дамы высшего нашего света) так и норовили чтоб как нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть. Русских было тогда в Эмсе еще больше, теперь же главный русский beau monde уехал. Вильгельм шел разговаривая с одной девицей, мать ее и отец следовали в двух шагах сзади. Девушка с лица похожа на горничную, крупные молодые черты, но очень недурна, немка, из grand monde. Одеты великолепно мать и дочь. Дойдя до места император с ними простился а они обе присели важно, по придворному, и гордые и счастливые уехали в великолепной коляске. Сзади в 10 шагах, пока шел Вильгельм с девицей, валила (буквально) толпа всех здешних дам, иные все в кружевах, как на бале. То-то должно быть завидовали!

Отцу Иоанну и хозяевам особый поклон. Детишек обнимаю. Говори им обо мне почаще, чтоб не забыли меня.

Напиши мне которого именно числа Федино рожденье в Июле, чтоб я без ошибки мог отпраздновать.

P. S. Когда то теперь получу от тебя письмо — бог ведает! сам напишу дней через 5. В этот промежуток буду у доктора.

Главное, будь здорова. Береги детей.

Д.

60.

Эмс.
Воскресенье 5 Июля н. ст.,
23 Июня/74.

Милая Аня, я удивляюсь твоему молчанью. Вот уже опять Воскресенье, а от тебя нет ничего. Еслиб ты даже ждала моих писем, чтоб отвечать, и тогда слишком пора бы прийти твоему ответу, а хоть одно то из моих писем отсюда ты наверно уж получила. Но ты, во всяком случае, обещалась писать по Воскресеньям, и если так, то письмо твое должно бы прийти еще третьего дня в Пятницу. Пишу теперь еще, не дождавшись от тебя ничего, и если получу от тебя, завтра, рано утром, что нибудь, то припишу что нибудь в этом письме. Не то, так и так пойдет. Если тебя так утомляет переписка со мною, то прошу лишь хоть одну страницу простого известия о детях [или] и о

твоем здоровье, но с тем чтоб писать каждые пять дней. Целую неделю ждать — слишком долго. А теперь уж и не неделю жду с последнего письма: вот уж девятый день идет, а пожалуй и десять [будет] пройдет.

Уведомляю о себе: Леченье мое идет акуратно, но пользы пока никакой. Даже напротив больше кашляю и больше мокроты чем прошлым летом. Писал ли я тебе что доктор переменил мне, наконец, Кессельбрунен на Кренхен, и по 3 стакана в день, а не два? Кренхен, чувствую, [что] действует капельку лучше; но я решительно почувствовал наконец (да и другие больные убедили меня) что с молоком Кренхен лучше действует, и на желудок и на сухость кашля. Кроме того, трех стаканов мне мало; после утреннего приема трех стаканов, мне бы с 7 часов утра до 4-х пополудни, легче, а с 4-х и во всю ночь труднее. Я решился наконец идти к доктору и настоятельно просить, чтоб разрешил с молоком и еще вечерний прием Кренхена в 4 часа, по примеру других больных. Был у него с этою целью вчера, и наконец то он разрешил, и молоко и еще 2 стакана по вечерам. Таким образом кончилось же тем как предписывал Кошлаков. Орт единственно потому что я, две недели тому сказал ему о предписании Кошлакова пить Кренхен с молоком, переменил Кренхен на Кессельбрунен и запретил молоко, т.-е. из самолюбия. Но таковы все они, мошенники. Я же, если не потерял совсем, так испортил себе целые две недели лечения. Предвижу что может быть придется остаться здесь лишнюю неделю, потому что все еще имею надежду (и даже сильную) что Кренхен мне поможет. Узнав что у меня начала болеть немного печень, и иногда желтеет язык, Орт с какою-то радостью об'явил мне что это — самый ясный и первый признак хорошего действия вод, и что начинается оно всегда с болей печени. Ну вот и все о моем лечении. Скука моего житья здесь нестерпимая. Несмотря на то что начал работать (увы, только еще над планом[159], да и тот не дается) не знаю куда деваться от тоски. Кое что читаю, но это мало. Между тем все здесь дорого очень и деньги идут. Мало с кем вижусь. Меня уведомили что Княжна Шаликова[159а] меня отыскивает вот уже неделю и очень хочет меня видеть. Чтоб не быть невежливым я зашел к ней, не застал дома и оставил карточку. Вчера она сама наконец пришла ко мне утром: ужасно постарела и поседела (кажется на вид лет 50), больна, кашляет, но добрая и милая старая девица. Сидела у меня час и звала проехаться с какими то ее знакомыми, на Рейн (1/4 часа езды в вагоне) в замок Штольценфельс. Не знаю поеду-ли.—Погода здесь теперь жаркая, но были ветры и дожди, да и теперь переменно: один день 25 градусов в тени, а на другой день только 15 и довольно часто утренние туманы. Ну вот тебе реляция обо мне формальная; внутреннего и

существенного не описываю, ибо, кажется, вижу милая Аня, что это лишнее.

Еще раз прошу и умоляю тебя: Пиши мне в каждые 5 дней по разу, ну по 12 строчек, в роде телеграммы, о здоровьи детей и своем. Ты поверить не можешь как я беспокоюсь о детях и мучусь от того. Теперь, не получая писем, только о них и думаю. Если до Вторника, т.-е. до после завтра, ничего не получу, то пошлю телеграму на имя Александра Карловича.

До свидания. Благословляю детей, а тебя цалую. Кланяйся от меня всем. Няне поклон.

Твой Ф. Достоевский.

61[160].

[Э м с].

Понедельник 6 Июля [24 Июня 1874 г.].

Сегодня, в 8 часов утра, получил наконец твое милое письмецо, бесценная моя Аня, поцаловал его и тем помирился с тобою, а то признаюсь, очень уже сердился; да и грустно, обидно как то было. Как я рад, что вы все здоровы; как будто оживешь после этого известия и все просияет кругом. Буквально говорю. Еще раз прошу тебя, милая Анечка, пиши мне каждые пять дней, хоть по немногу (но побольше 12 строк) все таки буду веселее и спокойнее за вас. А то слишком уж письма редки и тяжело. Теперь ты, я думаю, [ты] давно уже получила и 2-е письмо мое из Эмса. Это третье.—Вчера в 3-ем часу Княжна Шаликова вдруг прислала за мной ехать с ними в Штольценфельс гулять, так как я дал слово, хоть я и очень дурно был настроен, но нечего делать поехал.—Это $^1/_4$ часа езды на Рейне, при впадении в Рейн нашей речонки Лана, при которой стоит Эмс (Lahn). Вид удивительный. Замок по другую сторону Рейна, куда перевоз на лодке. Это старый замок средних веков, но лет 25 тому назад, развалины (хорошо впрочем сохранившиеся) были реставрированы заново для нашей покойной императрицы Александры Федоровны, которая здесь несколько [дней] времени прожила. Мы осмотрели весь замок, гуляли, пили кофей и любовались заходящим солнцем на Рейне, который очень хорош. Я провел время ни скучно, ни хорошо, в этой дамской компании. Была одна знакомая княжны с которой она живет и которая сама жила некоторое время у Каткова. Она вдова, лет уже 40, болезненная, когда то была хороша собой. Моя почитательница. Когда Княжна до того как мне сделала визит, отыскивала меня на музыке, или у источника, стараясь узнать по лицу, то она говорила Княжне поминутно: „Всматривайтесь, и чуть найдете человека с самым г л у б о к и м в з г л я-

дом, таким какого ни у кого нет, то смело подходите, это он". Она меня видела когда-то у Каткова. Потом была одна мать с дочерью тоже директриса одной Московской женской гимназии. Эта директриса уже не похожа на Новочеркасскую, преумная женщина, только уж очень больна, почти совсем без легких. Дочка ее, лет 17, бойкая барышня, собой недурна. Но Княжна-старушка мне решительно нравится: простодушие, наивность, правдивость и редкая почти детская веселость. Маленькая, седенькая, одетая слишком скромно, но чрезвычайно хорошего тона в высшем смысле слова. Всю то Европу она искрестила, везде была, все первейшие писатели английские и французские с ней знакомы лично. Но главное в ней чувствительность которая даже и насмешка и самая ясная веселость. Очень что то тоже кашляет. Они мне много насказали полезных советов на счет приема вод, главное и на счет диеты, и я очень рад что их выслушал, потому что я таки делал промахи. Голубчик Аня, ты пишешь что начала пить воду и не надеешься на пользу: в этом ты глубоко ошибаешься. Увидишь. Я целых две недели третировал Кренхен свысока, а теперь сильно начал надеяться, ибо почему то предчувствую что будет польза. Рад Кренхену с молоком и то что почти удвоена прежняя порция. Встаю например в 6 часов с хрипом и кашлем. Пока одеваюсь, хрип и кашель меня мучают. Ровно в 7 часов я на месте и пью первый стакан. И что же после 3 х стаканов, до самого вечера мне легче, хрип исчезнет, кашель тоже и воздуху для груди точно прибавилось. Но главное действие, впереди внутреннее, химическое на весь организм. Так и будет с тобою, может быть даже и неприметно тебе самой. Всю зиму будешь говорить что никакой пользы не было, а между тем в постель не сляжешь; а почем ты знаешь, если-б не пила вод, то может быть и слегла бы. Не жалуйся на то что кофей не пьешь. Это я знаю тяжело, отвыкать от привычек. Ктому же я слышал, что не только Кренхен, но и при приеме всяких вод, тоже сначала вызывается жолчь и начинается раздражение нервов. Не от того ли у тебя и апетит меньше, не от начала ли действия вод? От жолчи будешь немного раздражительна.—Апетит у меня прекрасный и мне все говорят, что при водах это превосходный признак. Благодарю тебя за известия о детях и об их словечках и поступках. Это меня ужасно радует, занимает и веселит. Анекдот Феди с мужиком слишком примечателен, как пророчество будущему характеру: Решимость, доверчивость, и что он не оглянулся на вас так тут [то] нельзя винить сердце. Он еще и не знает этих требований и даже наверно не понимал что с вами расстался. Если б оставить его с мужиком дальше, то наверно бы спросил его: „где няня?". Крепко цалуй Любку, и, ради бога, поменьше с нею умственных занятий, не торопись; дай ей тельце свое

поправить в запас на всю зиму. Как я рад что у вас погода хорошая. Как бы здесь, за границей где нибудь, дети поправились!—Но в Эмсе климат странный. Сегодня например солнце, барометр превосходный, в полдень, судя по вчерашнему и по всему, наверно будет 24 градуса Реом. в тени. Вообрази же что в 7 часов утра этот же термометр в тени показывал лишь 11 Реомюра. 11 градусов и 25 через несколько часов—какие крутые перевороты! Как не простудиться нечаянно. Это от того что ущелье, ночью влажно и вдруг в ущельи завязнет какое нибудь облако: Вот и 11 градусов! Вчера же утром в 7 часов было 18 в тени, т.-е. облаку не угодно было переночевать в Эмсе.

Мне довольно спокойно на квартире. Рядом со мною, во всем этаже (бельэтаж) только одни жильцы—муж с женой из Вены, богачи и занимают одни 4 великолепные комнаты. Но вчера у них был первый еженедельный платеж хозяйке и они крепко таки поспорили с нею, за ужасный счет, который она им представила. Такой же счет представила она и мне; я крепко спорил и хоть два только талера, да отспорил у ней! Аня, работа моя туго подвигается и я мучусь над планом. Обилие плана — вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу что в нем соединились 4 романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть. Авось управлюсь. Главное план, а работа самая легче. Аня, голубчик, главная работа моя, разумеется и во всяком случае, будет осенью. Ужасно смущает меня мысль ежедневная: как то мы устроимся осенью и на какие средства! (У Некрасова просить еще н е - в о з - м о ж н о[161]; да и наверно не д а с т. Это не Катков а ярославец). Но, бог выручал нас доселе, и бывали времена и хуже.—Не пугай меня пророчествами железного характера, Анечка. Это все что есть в тебе худого. Твой характер натуральный—это простой и ангельский — вот что.

Крепко цалую тебя, а на счет непристойных снов, то голубчик, мой, еслиб ты только знала какие я вижу! Даме впрочем это не так прилично. Ничего, ничего — молчанье.! Напротив я очень рад, и цалую тебя, страстно в с ю.

До свидания. Пиши чаще. Детей перецалуй. Напоминай им обо мне. Мне чаще пиши. Всем кланяйся, кроме соборного протопопа А впрочем и ему.

Твой весь

Ф. Достоевский.

62.

Эмс.

Пятница 10-го Июля нового стиля 28 Июня [1874 г.]

Вчера 9-го/27 получил твое бесценное послание, ангел мой Анечка и оно меня чрезвычайно утешило: Получил я его в 8 часов утра, идя от источника, а как раз, в ту ночь, ровно в полночь был у меня во сне припадок[161a] который чрезвычайно расстроил меня, до того, что я уж вчера и не отвечал тебе: буквально не мог; да и теперь, хоть хожу, говорю, а писать очень трудно, все болит и в голове каша, и грустно. Впрочем ты ведь знаешь.—Припадок был в постели и без последствий и никто не слыхал его. Полагаю что не из самых сильных. За то, думаю, что теперь на некоторое время отделался.— У меня и в Петербурге после припадка происходило обыкновенно весьма сильное скопление мокроты в груди и кашель усиливался, дня на три. Так и здесь; но кажется Кренхен оказывает некоторые успехи: все таки меньше и мокроты и кашля, и легче дышать и не ноет по ночам в груди. Полагаю теперь наверно, что хоть какая нибудь польза от моего здешнего лечения останется. Но не надеюсь очень большой пользы. Не знаю только как устроится все дело: Я пью Кренхен вот уже две недели и то первую неделю пил всего только по три стакана без молока. Через 11 дней будет ровно месяц моему здешнему питью вод. И однако же неделю я пил Кессельбрунен, совсем другой источник, а это в счет по моему не должно итти. Кошлаков же приказывал Кренхен с молоком пить 6 недель. И так очень думаю, что если пойдет леченье на лад, то доктор оставит меня еще хоть на неделю [пр] пить Кренхен. Ну, а если на две? Ведь придется остаться, хотя это было бы мне ужасно тяжело: Скука терзает меня, изгрызла меня в этой скверной дыре. Что за публика, что за рожи! Какие подлейшие немцы! Немцы с „вывертом“. Русских здесь на половину, про них и говорить нечего; всегда грустно смотреть на русских толкающихся за границей; бессодержательность, пустота, праздность и самодовольство во всех возможных отношениях. Не глядел бы на них, но здесь и гулять негде; или толкись на пространстве весьма тесном для такой публики, или уходи в горы, но дальше, потому что ближайшие тропинки все полны. А дальше итти нельзя; мне сказали что с моею грудью положительно вредно уходить далеко по горной дороге, ибо слишком большое усилие надо делать чтоб взбираться туда. А в довершение счастья у нас жара собачья: вот уже дней пять 26 и 27 градус. в тени Реомюра. Я как во Флоренции, меняю по три рубахи в день. Но во Флоренции хоть вечером то можно было выйти, а здесь в половину уже 8-го, все больные уходят домой, а гуляют только здо-

ровые, которых много и которые чорт знает зачем сюда наехали. Чуть зайдет солнце за горы (Смеркается рано, в 9 часов почти ночь) то сейчас же начинается сырость. Да и днем, когда кругом точно печка, нет-нет да вдруг и потянет прескверный, свежий ветерок но вовсе уже не целительный, а губительный, точно сквозной. Все эти тысячи людей ходят в совершенно летних костюмах один только я, хоть и в [зимнем] летнем жилете, но в зимнем пиджаке и потею ужасно. Сшить же платье из коломянки не решаюсь: Во 1-х просят нестерпимо дорого, а во вторых приехав сюда, я заказал белый жилет портному, которого мне указали как лучшего. Что ж, он только 3-го дня (т. е. слишком две недели спустя) доставил его, не смотря на то что я заходил каждый день. Сверх того короток, морщит и матерья подлейшая (пике). Я заплатил деньги, три талера, но носить вряд ли буду [т]. И так можно ли здесь заказывать? Во всем Эмсе только два портных что тут делать. Мне надо было помады купить после ванны, и француженка запросила с меня 2 талера за помаду. Я стал браниться и торговаться и она уступила за талер.

Свинское, подлое место, подлее которого нет на свете!

Здесь есть, с которыми я раскланиваюсь из русских, из тех которые увидя вас вечно подходят рекомендоваться. Один из них (держит себя большим джентльменом) уверяет что встречал меня у Полонского [162], Сюда приезжает по понедельникам Висбаденский поп Тачалов заносчивая скотина, но я его осадил и он тотчас пропал. Интриган и мерзавец. Сейчас и Христа и все продаст. Ерник Дрезденский поп кричит всем что он пражскую церковь построил, а Тачалов хочет высказаться что это он обращает старокатоликов. И ведь удается каналье, уверить, тогда как глуп как бревно и срамит нашу церковь своим невежеством перед иностранцами. Но в невежестве все они один другому не уступят.

Твое письмецо и рассказы твои о детках меня оживили; я был в таком грустном настроении после припадка, а оно как раз и пришло. Пиши, ангел мой, почаще, мне очень тяжело. Перечитал письмо раза четыре. Спасибо что меня любишь, я тебе верю, и это одно меня здесь поддерживает. Про деток рассказывал вчера Княжне Шаликовой. Она вчера уехала в Рейхенгалль, в Баварской Тироль. Это прелестная, хотя отчасти и комическая старенькая старушка, слишком чувствительная, слишком восторженная, но и истинно добрая. Она ужасно просила меня познакомить [с] ее с тобою, если она приедет зимой в Петербург. Это будет хорошо, потому что она совсем нескучна.—Работы мои, на время припадка (дня 4) совсем оставил. Не могу совсем. Не хотел бы еще с кем нибудь знакомиться, и потому постараюсь сидеть больше дома, да и ноги болят и голова тоже. Хозяйка то и дело что припи-

сывает мне на счете, и кормить начинает хуже. В эту жару у меня и апетит стал хуже и жолчи больше. А здесь апетит дело важное: [Первый] Главнейший признак что воды действуют. — Милая Анечка, ну вдруг случится, что видя хорошее действие вод доктор усадит меня недели на 2 лишних (а если в самом деле будет польза, как же можно мне бросать дело и бежать?) Тогда ведь тебе придется, пожалуй, (хотя не думаю) одной переправляться в Петербург из Руссы. Впрочем, повторяю, не думаю чтоб так было и время все таки будет мне к вам явиться.—Напишу тебе еще дней через 5. Пиши тоже. Здесь почти нет никаких русских газет. Московские Ведомости да и те, вот уже больше недели как не приходят!—Обнимаю тебя тысячу раз; ты одна у меня в сердце, и в душе и во сне. Деток милых благословляю и цалую. Каждый день по нескольку раз вспоминаю их милые личики. Скажи им что я их цалую и говори с ними обо мне почаще. Пей воду и старайся поправляться. Совещайся с доктором когда надо, не скупись. Чуть что у вас случится, или не дай бог, сама заболеешь — сейчас же извести. — До свидания, больше решительно написать не могу, механически не могу; голова кружится и все болит (после припадка).—Сидишь дома без движения, в тени, и то потеешь. Ночью сегодня пять раз переменил рубашку. Обнимаю тебя тысячу раз.

Твой весь тебя одну любящий сердечно и всегда.

Твой муж

Ф. Достоевский.

Всем нашим кланяйся, а деток поцалуй лишний раз от меня. Тебя цалую 15000 разов и все не будет лишнее, напротив будет совсем не лишнее.

63.

Эмс.

Понедельник 1/13 [Июля 1874 г.]

Сегодня 6-й день моему припадку, голубчик Аня, и в голове у меня несколько прочистилось (хотя далеко несовсем) и потому мне вздумалось написать тебе, чтоб подать тебе пример писать через 5 дней, хотя от тебя и не получил еще письма, после того о получении которого уже писал тебе. Но и не расчитывал получить; думаю только, что ты послушаешься меня и, по моим последним просьбам, станешь писать каждые пять дней. — Княжна Шаликова рассказывала мне что Катков [уе] когда уезжает из Москвы, пишет жене своей каждый день по письму. (Княжна давно уже уехала, еще в Среду). Со мной случилась здесь маленькая история: я принужден

был переменить квартиру. Рядом с моими двумя комнатами нанимали 3 комнаты какие то богачи из Вены, муж и жена, пробыли недели — 2 и уехали. В тоже утро приезжает из Вены какой то австрийский граф с лакеем и говорит что ему надо все 5 комнат этажа (т. е. и мои), а то ему некуда девать своего лакея. Хозяйка приходит ко мне и начинает умолять, сложа ладони, чтоб я уступил графу две мои комнаты, а сам перебрался бы в верхний этаж, где тоже две комнаты и отдает она их мне с уступкой, т. е. не по двенадцати а по 8 талеров в неделю. Я увидел что мне нельзя не перебраться, ибо наживу в хозяевах врагов, а они уж и без того начали меня скверно кормить и ужасно обсчитывать. Комнаты оказались ужасно низенькие и душные, а весь этаж полон самыми мелкими жильцами из немцев, хохочущими, топочущими, поющими и кричащими, безо всякой деликатности, как настоящие грубые немцы. На другой же день я приискал квартиру, и как раз чрезвычайно удачно, — тоже очень близко от источника, тоже privat-hôtel, тоже 12 талеров в неделю и в бель-этаже, но комнаты еще лучше и удобнее меблированы, больше, выше и сверх того с балконом. Обедать я буду в ресторане за 20 грошей, но прежняя хозяйка [бр Д] бравшая с меня тоже 20 грошей (а когда и 25) давала мне вдвое хуже и беднее кушание. Здесь утренняя порция кофе 8 грошей, а у той хозяйки 12 грошей (а прежде ставила и 15). Ужин, т.-е. котлетка и чай с печением (собственно чай мой) здесь 10 грошей, а у прежней хозяйки 15,— так что я даже выиграл. Кроме того та брала по талеру в неделю за прислугу, а здесь прислуга вместе с квартирой. По крайней мере не будут меня так нагло грабить как грабили в той квартире.

Таким образом вторую половину моего здешн.го бытья пробуду я на другой квартире. Не знаю только сколько еще придется мне здесь остаться я рассчитываю что дней 12, не более, от сего дня.— Здесь некоторые опытные больные (наприм. Кублицкий [163], посещающий Эмс уже 20 лет) уверяют что важное тоже дело не перепить вод лишнего, потому что это только ко вреду будет. Кошлаков говорил 6 недель но таких сроков здесь не знают и никто долее 28 дней не лечится. Это maximum, но остаются и гораздо менее. Моя 1-я здесь неделя когда я пил Кессельбрунен и держал ошибочную [недельн] диету не может итти в счет. Вообще дней 12 останусь, но никак не более, а там что скажет доктор. Нельзя чтобы не вышло пользы. Все больные говорят, что главная польза оказывается в последствии (т. е. уже зимой), но такое мнение, по моему, только райские песни. Положительного же я заметил над собою что, особенно в последнюю неделю, не так задыхаюсь как в Петербурге, не ударяет кровь в голову, когда кашляю и наконец, что почти совсем не бывает сухого кашля (т. е. кашляешь-кашляешь и не можешь откашляться, как

в Петербурге). Но взамен того — все-таки кашляю: Чуть сырость—тотчас же накопляется мокрота и даже в очень сырые ночи, хоть и не очень, но пенье в груди попрежнему. Обескураживает меня то, что если есть облегчение действительно (а оно есть), то единственно после приема воды, а чуть перестану пить и начинается опять по зимнему. А впрочем и в сжатом воздухе также было: чуть перестал лечиться и началось хуже, хотя уже не возвращаюсь к тому состоянию, в котором был до лечения. В этом действительно помог и сжатый воздух. Здесь вообще чувствую что как будто мне больше воздуху дышать. Но что за подлый здесь воздух! Веришь ли, Аня, я считаю Эмс даже хуже Петербурга по климату. Последние 8 дней была каникулярная жара (26 в тени). Но это равняется по мучению 37 Флорентинским (помнишь). Здесь мне открыли старожилы н.прим. вот какое свойство Эмса: чуть упадет ветер и хоть даже всего только 20 град. но все начинают потеть, все мокрые. Я в эти 8 дней 26 град. переменял по 4 рубахи в ночь. Но то скверно, что вдруг все стоит не шелохнется, воздух недвижим, и вдруг потянет откуда-то (из ущелья) буквально ледяной струей,—ну и простужаются. Насморк здесь вещь самая обыкновенная. В эти дни просыпаясь в 6 часов, я недоумевал каждый раз смотря в окно, в чем выйду?—весь укутанный или на легке, потому что туман, целое облако, мрак и сырость, через полчаса все расходится и опять блеск. Вчера и третьего дня были дожди и много туману и мне было хуже.—Но всего больше потел я потому что все ходил в моем драповом пиджаке, хоть и в белом жилете. Мне сказали что я непременно простужусь окончательно если не заведу летнего платья из коломянки и я принужден был заказать за 17 талеров. Сегодня будет готово, но цвет и выбор мне не нравится, да и матерья не английская а здешняя. Одним словом здесь все ужас как дорого. Жилет мой белый, от другого портного, (3 талера) нельзя носить. Я купил еще шляпу [впрочем] еще как приехал, 2 талера,—эта вышла недурная. Одним словом, милая моя Анечка, я предчувствую что ты, читая письмо это, обвинишь меня в эгоизме: „все об себе да об себе". А ты не поверишь, друг мой бесценный, как мне тяжело без вас! Здесь много детей; чуть услышу детский голос и у меня захолодеет на сердце. Вчера, к вечеру, перетащившись на новое место, только и думал что о тебе, да об детках. Так грустно стало вечером. Жду с нетерпением письма от тебя, рассчитываю что получу в среду [Пишу]. Пиши больше об детках. Я прочел рассказ об мужике и Феде [164]. Княжне Шаликовой и она разахалась от восторга, равно как и о перемене голов. Веришь ли писал тебе в прошлый раз письмо, а ведь даже не помню что писал и при каких обстоятельствах на почту отдал: совсем померкло все в голове и должно быть этот раз был сильный припадок.

Обнимаю тебя изо всех сил, цалую детишек (что делаю мысленно каждый день) всем поклон, батюшке и Александру Карловичу; няне тоже не забывай ей водочки.—[Подлый] Висбаденский поп напомнил мне о проигранном пари и потребовал чтоб я внес 25 талеров в славянский комитет; непременно внесу, [с.... он сын]. Вот грубая-то тварь. Я сам впрочем был с ним не совсем вежлив. Если еще раз сойдусь—разругаюсь: редко встречал что нибудь антипатичнее. Вообще, чувствую, что у меня здесь сильно страдает печень. Апетит хорош но странно; я не только не пополнел, (как в Старой Руссе) но еще похудел.

До свидания мой ангел бесценный, обнимаю тебя, [и веришь ли] цалуй Любу и Федю; Люба-то меня помнит, но помнит-ли Федя?

(На всякий случай мой адрес: Bad-Ems hôtel Ville d'Alger № 4—5 но пиши непременно попрежнему poste restante)

Твой Достоевский.

64.

Эмс.
Пятница 17/5 Июля/74.

Милочка моя Аня, вчера получил бесценное письмо твое и боюсь что опоздал ответом на него, ибо хотел сперва, сходить к доктору и только узнав его решение написать тебе; сегодня же задержали разные мелкие пустяки, так что теперь уже 11 часов утра и не знаю успеет ли пойти сегодня это письмо.—Приход каждого твоего письма для меня равен какому то „освобождению", накануне и за два дня я становлюсь боязлив и мрачен: „все ли там благополучно, не случилось ли чего?" Не поверишь, как я стал мнителен и раздражителен. Очень рад, что будешь писать каждые 5 дней. Известия о детях мне необходимы. Не могу смотреть даже здесь на детей хладнокровно, а если заслышу где писк детский, то впадаю в тоску и в дурные предчувствия. Раздражительность мою приписываю леченью: у всех говорят, так же расстраиваются нервы и в особенности страдает печень. По моему и мозг.—Ты пишешь о своем леченьи; но только плохо, что лишилась апетита и худеешь. Кончай скорей эту воду, Аня, допей ее и принимайся есть все безо всякой диэты, а то это значит только мучить себя.—Пеняешь мне зачем я пишу только 5 страниц. А потому во 1-х что каждый раз боюсь опоздать на почту, во вторых что положил писать чаще и наконец чтоб была пустая страница для обертки письма, иначе все через конверт просвечивает.—Всех вас очень люблю и цалую 1000 раз, Деткам напоминай обо мне. Наблюдай особенно Любу, так как она в тебе более нуждается чем Федя, у которого с в о я няня,

у ней няня только Федина. Теперь расскажу поскорее что надо о себе. Припадочное состояние продолжалось дней шесть. Есть здесь один Кублицкий, очень похож на Полонского во всех отношениях, и даже также как у Полонского ноги болят. Я с ним иногда встречаюсь и говорю, но ходить с ним не могу, потому что он одну ногу едва волочит, он же претендует, что я слишком скоро хожу. Раз утром в 8 часов (5 дней тому назад), на другой день (как я переехал на новую квартиру) слышу окликает меня, в [аллее] (по которой я по обыкновению прохаживаюсь полчаса после утренней воды) Кублицкий: „Ф. М—ч у вас нет лихорадки?“. Я оглянулся: „что это вам так прямо вздумалось начать с лихорадки, точно выстрелили, нет, никакой у меня нет лихорадки“. „Я к тому что в середине лечения, многие ощущают обыкновенно лихорадку, или тяжесть в ногах, боль в голове и проч.“ „Нет я ничего не чувствую, прощайте“. „Прощайте“... С тем и расстались. В тот же день сейчас после обеда заболела голова. Пошел пить воду, читал газеты, вечером в 6 часов перехожу мостик и вдруг чувствую озноб. Поскорее пришел домой, ударило в жар, ночью бредил, но потел и переменил 4 ночных рубахи и измочил потом все простыни. На утро даже похудел от поту. Решил, что простудился в день переезда на квартиру, когда при 25 град. в тени шел дождь, поднялся туман, а у меня балкон стоял открытый до 10 часов ночи. „Но каков же, однако, глаз у этого Кублицкого“. И главное ведь ничего больше и не сказал, как только спросил, неизвестно зачем о лихорадке.

Я однако же, пожалел денег, к доктору не пошел, тем более, что на утро, кроме раздражительности (которая каждое утро у меня ужасна) ничего особенного не чувствовал, апетит был прекрасный, и все отправления тоже. Решил что лихорадка мимолетная, как это и есть в моей натуре. Но ровно в 7 часов по полудни меня опять ударило в жар, ночью хоть не бредил, но потел точно также, как и в первую ночь. На утро опять здоров, вечером на третий день в 7 часов опять жар, опять всю ночь потел, наконец вчера жару не было, но все таки потел. Я думаю Аня что я от этого поту стал вдвое легче весом, похудел же ужасно. Однако же вчера отправился к Орту и все ему рассказал, главное то что я уже 12 дней принимаю Кренхен 5 стаканов с молоком (три утром, три вечером) *), кашляю по утрам вставая очень, затем после Кренхена, впродолжение всего дня, кашляю очень мало, очень легко отделяется мокрота, почти никогда сухого (прежнего кашля). Но за то все таки, пробуждаясь, каждый день—кашляю. Орт очень подробно и долго меня осматривал и вот что изрек с самодовольным видом: „В трех местах грудь зажила со-

*) Таков счет стаканов (5 и 6) в оригинале; Д. допустил ошибку.

всем, но в двух (спереди внизу и сзади в спине) еще не зажило. И потому: продолжать лечение, вместо недели, которая мне оставалась сроком, (прежде определенным) пить Кренхен, прибавить еще неделю; вместо 3-х стаканов с молоком по утру—пить по 4 стакана и по 2 вечером, и я вам ручаюсь, что выздоровеете совершенно; говорю же по фактам, ибо в трех местах уже зажило. Заживет и в двух остальных. Простуды не было никакой, а просто сильнейшее действие вод, что есть самый хороший и ободряющий признак".—И так, Аня, милая, вот пока в каком положении дело. Я сам думаю, что Кренхен приносит пользу большую, но за то,—от сегодня 12 или 13 дней еще продолжать пить! Ну а если найдет нужным и через 2 недели еще остаться недельку, т. е. что-нибудь еще не заживет в груди? Веришь ли, Аня, мне до того опротивел Эмс, что хоть уехать не докончив лечения. Я возненавидел здесь каждый дом, каждый куст. Вид публики для меня несносен. Я до того стал раздражителен, что (особенно рано утром) на каждого в этой беспорядочной толпе, которая теснится у Кренхена, смотрю как на личного врага моего и может быть рад бы был ссоре. Говорят это тоже действие вод (тем более, что в другие часы дня я гораздо добрее), но мне то не легче; нечего делать, буду терпеть еще, в ожидании успеха. Веришь ли я иногда мысленно сравниваю: „где мне было лучше: здесь или в каторге?[“] И всегда решаю, буквально (и вполне беспристрастно) что в каторге все таки лучше, покойнее: не так я волновался, раздражался, не так был мнителен.

На счет денег будь покойна, у меня хватит, а только согласись, это под конец, все вышло так, как Кошлаков предписывал, т. е. Кренхен с молоком и 6 недель. Правда я буду пить только 5, а кто знает может и на шестую оставят.

Все что я читаю—мне противно. Про свой план думаю с раздражением. Мне все говорят, что малейшее умственное занятие вредит лечению, раздражит к худшему нервы, и что надо жить жизнью растительною. Доктору очень нравится что у меня апетит. „Главный признак успешного лечения говорит он и признак того, что лихорадочные припадки не от простуды". Одним словом он, кажется, меня находит одним из самых успешных пациентов.

Аня, милая, бесценная, как я рвусь к вам, как мне здесь противно! Ты спрашиваешь люблю ли я тебя и вижу-ли тебя во сне? Что на это отвечать? Но кстати (мимоходом): веришь ли, что я обратился в мумию и что во мне нет желаний. Первый раз в жизни, неужели тоже от лечения? В таком случае... Тем не менее целую тебя ангела моего, 1000 раз каждодневно, мысленно, но представляю тебя не иначе как вместе с детками. Представляю же вас всех часто. Я думаю я сделался очень чувствителен как женщина.

Я ложусь (уже в постель) ровно в 10 часов, встаю в 6 часов утра, но ночью просыпаюсь раз по пяти, хотя спал бы хорошо, еслиб не пот. На новой квартире мне очень хорошо. Прежняя хозяйка ужасно меня обсчитывала. Обедать я хожу теперь по разным ресторанам. Чай держу свой. Стараюсь скупиться. Немцы и вся публика несносны. Впрочем лица беспрерывно меняются. В последнюю неделю ужасно много наехало новых; Русских тоже много. Я с некоторыми только кланяюсь, с иными разговариваю.—Писал бы тебе и больше подробностей, но лучше расскажу при свидании, а то напрасно загромождать письмо пустяками.

Расцалуй Федичку, который ничего не нашел приказать написать папе. Милый, славный мальчик, и наверно пречувствительный! Все они у нас чувствительные, но не экспансивно, а про себя, (что и дурно и хорошо) и наверно — оба поэты. Это очень хорошо, если только писать не будут. Ходи за Лилей и за ее душой.— Полякову писать не стану. Я на все согласен напиши ему. Все они более или менее мерзавцы. Губин все п о г у б и л. Очень любопытные сведения об Иване Григорьевиче: и покупка имения и жизнь в Петербурге. Тут о н а влияет [165].

Цалую вас всех, обнимаю. Всем кланяюсь — Александру Карловичу, сестре его, няне, отцу Иоанну нашему. Думаю как тяжело будет деткам переезжать в Петербург.

Обнимаю тебя особенно и цалую всю. Люблю тебя бесконечно.

Твой Ф. Достоевский.

Ты одна у меня радость и одна моя надежда, н е и з м е н н а я. Я люблю все подробности, которые пишешь о себе,— особенно некоторые.

Я думаю, я пробуду в Эмсе вплоть до дня рождения Феди включительно [166].

65.

[Э м с],

Понедельник 20/8 Июля/74.

Милый друг мой, дорогая Аня, сегодня получил твое письмо, и хоть не успею отправить сегодня ответ, но все равно начну его. Благодарю, во первых, что пишешь чаще. Это прекрасно. А то ждать было мучительно. Отправив тебе последнее письмо (в Среду кажется) я очень тосковал о том, что ты писала о своем здоровье и рад был, что Шенк хоть на время отложил питье вод. Чтож если Швальбах так враждебно действует,—так и оставить его. Но Шенк велел, как ты пишешь, только погодить, а там опять начать; не видит ли он при-

знаков действия вод? Может быть эта тоска твоя, раздражительность — больше ничего как действие вод. На меня здесь Кренхен точно также действует, и хоть теперь мне только скучно и тоскливо, как в каторге, но все таки я не так раздражителен, как был еще недавно. А еслиб только рассказать все другие действия на организм! Лихорадка моя прошла на другой же день как я отправил тебе последнее письмо, и я уже больше не потею совсем, хотя жара ужасная. Из того что прошло лихорадочное состояние без малейшего приема лекарства и заключаю, что лихорадка была не простудная, а просто действие вод. Пишешь тоже, милочка Аня, жена моя, о других припадках. Хотя тоже у меня в этом роде: Сначала были ужасные желания, потом вдруг все прошло и я обратился в мумию; потом опять началось, хотя едва, но однакоже с ночными последствиями, что очень дурно, ибо все таки действует на грудь. Что касается собственно до леченья, то боюсь сглазить, а кажется что лучше: дышать легче, хрипу и одышки очень мало, даже вот уже дня три по утрам, когда просыпаюсь мало очень кашля. Однакож скверно то, что иногда простужаюсь: Чуть только на потную грудь капельку ветерка и вот уже здесь и простудился и прокашлял вечер, или день (редко дольше, быстро проходит). Теперь мне остается дней 9 или 10 принимать (по последнему решению доктора). Что то будет? Не заживет ли в самом деле? И однакоже, если я пробуду даже до 1 Августа (нов. стиля), то все таки я пил Кренхен в сложности всего только 4 недели (5-ю неделю Кессельбрунена, я думаю, нельзя считать). А Кошлаков сказал шесть недель. Вся важность теперь в двух вещах: во 1-х долечиться, а во вторых не перелечиться.

Кроме того, надоело здесь до того, что лучше, думаю иногда, не долечиться. Говорят же здесь иные пациенты, что с одного разу никогда не вылечиваешься радикально, если даже и сильно действуют воды, а главное 2-й раз, т. е. на будущее лето приехать на 2-й курс, тогда, дескать, болезнь искореняется окончательно. Однако шутка это сказать! Мало ли что выдумаешь; и подумать только об этакой муке. Ах Аня, как мне здесь все ненавистно. Какие подлые немцы; а русские может еще хуже немцев. Эмс, большею частью, каждые две недели переменяет своих жителей; остаются не более $^1/_3$ старых, а другие уезжают, так что вдруг начинаешь примечать, что совсем пошли другие физиономии. Еслиб ты, Аня, знала, какие здесь противные физиономии; прежде был еще остаток публики, бывшей при императорах а теперь—это бог знает что такое. Я все стараюсь ни с кем не знакомиться, хотя есть которые гоняются чтоб со мной познакомиться (из русских например). Кроме того—Эмс страшно дорогой городишко. Я очень много плачу, и еслиб ты знала как всякий из этих немцев, считает тебя за доходную статью, как безо всякого стыда приписы-

вает на счете то, что ты никогда не брал, надеясь что ты не проверишь! Но обо всех этих мелких подробностях расскажу после, если только [это] будет стоить потом припоминать о такой пакости.

Вторник 21 Июля.

Твои анекдоты о детишках, дорогая ты моя Анька—меня просто обновляют, точно я у вас побывал. Лилины „добрые люди“ меня ужасно развеселили; я читал твое письмо в саду, только что получив с почты и выбрав уединенную скамейку, чтоб прочесть, и расхохотался так что и сам неожидал. А знаешь, в воспитании наших деток есть большой недостаток: у них нет своих знакомств, т. е. подруг и товарищей, т. е. таких же маленьких детей, как и они. А все таки хоть ты и пишешь письма, а я об детях беспокоюсь страшно. Почему Федин жар не понравился Шенку? Находит он это опасным, что-ли? Впрочем во всяком случае скоро вас всех увижу. Теперь не худо чаще писать уже хоть потому одному чтобы знать поскорее когда нужно прекратить письма. Полагаю наверно, что к 1-му Августа отсюда выеду, а ведь бог знает: может и до 7-го Августа велит остаться Орт. Излечение хоть и заметно, а все таки идет довольно медленно. Правда до 1-го числа еще 9 дней, даже 10, но все мне как то не верится что можно в этот срок получить облегчение окончательное, потому н.пример что вот хоть сегодня н.прим. с утра кашель усилился, потому что в воздухе очень сыро и понизился барометр, хотя дождь и нейдет. Невероятно кажется воображению чтоб все это так вдруг прошло, хотя и действительно получилось облегчение.—Опять таки если долго лечиться, то выдержит-ли организм? Мне здесь только что рассказали про одного больного, который принял ванн 20 (я ванн не принимаю) и почувствовал чрезвычайное облегчение; но доктор, обрадовавшись прописал ему еще 10 ванн и тем вдруг ослабил его так, что все прежнее лечение было парализовано и он уехал больнее чем приехал. Орт особенно расспрашивал меня (и спрашивает каждый раз) не начинаю ли я чувствовать слабости, потери сил? Я в последний раз отвечал ему что ничего такого не чувствую, но не знаю правду-ли я сказал? Я уже давно чувствую как бы беспрерывную усталость, хотя пью, ем, сплю и хожу по прежнему. Здешние воды, говорят, очень сильны и я понимаю, что Орт боится расстроить организм и тем потерять все результаты леченья.

На днях встретил здесь Штакеншнейдера[167], того самого, который прокурором в Харьковском Окружном суде. Он только что женился в Харькове, в Мае месяце, и поехал с женою, месяца на два, заграницу (это как мы, помнишь, только мы не на два месяца). Он очень простодушный и откровенный молодой человек, очень не глу-

пый, был у меня и рассказал мне что были они в Париже и там — поистратились, но так, что приходится очень и очень рассчитывать как добраться до дому. Но в Швейцарии, дней 5 тому назад, в Цюрихе, одна медицинская знаменитость, которую он просил осмотреть свою немного заболевшую грудь, осмотрев его испугался, и велел настоятельно, пока он здесь за границей, не потерять времени и хоть две недели да полечиться Кренхеном. (Сюда многих присылают недели на 2, или даже на 10 дней.) Они стоят в тесной квартире, впрочем ходят в лучший table d'hôte обедать. Ей лет 18 и она[168] очень недурна собой (hautes couleurs) совсем русская, и оба они ругают ужасно немцев. Я у них не был и наровлю нарочно отдать визит в тот час, когда порасчету их не будет дома. Дело в том что мне все это скучно, всякое знакомство, всякое новое лицо скучно. Нет Аня, голубчик, я себя ей богу по праву, считаю выше всей этой среды — и не нравственными достоинствами конечно (об этом богу судить) а развитием: что их веселит, то мне скучно, разговоры их, мысли их — для меня бесцветны и мелки, тон их — низок, образование совершенно ничтожное, самостоятельности никакой, за то чванство и грубые выходки. Я не про Штакеншнейдеров говорю, а про всю эту здешнюю шваль, и русских и немцев. Я до того иногда раздражителен, что хоть и даю себе слово молчать, но не могу иногда удержаться. Давка у Кренхена, где раздают воду в стаканы (ты отдашь свой стакан, и тебе из за балюстрады возвращают его наполненный) ужасная. Хуже всего хлопочут и теснятся женщины, и, кто бы мог подумать,— старики немцы. Отдает стакан и толкается, и рвется вперед и руку протягивает и весь дрожит. Почти каждый день я какому нибудь из этих немцев не удерживаюсь и читаю наставления: Mein Herr, man muss ruhig sein. Sie werden Kriegen. Man wird nicht verzeihen. И вообще я считаюсь (я слышал это) между некоторыми пьющими [человеком] немцами очень желчным русским — и как ты думаешь, главное за то, что я не даю обливать себя водой (как случилось раз) и сверх того не даю класть себе сзади, на мое плечо или спину, руку с стаканом сзади меня ожидающего. Немцы до того грубо воспитаны (все) что если он стоит сзади кого бы там ни было в ряду и ждет очереди, то так как он держит в руке стакан и от нетерпения беспрерывно подымает его чтоб показать что он ждет, то, чтоб не держать стакан на весу, он и кладет обыкновенно свою руку со стаканом на плечо впереди стоящего, даже хоть на даму. Я этого раз не позволил и прочел одному немцу наставление, что он дурно воспитан. Немец вспыхнул и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. Я ответил ему что чтоб быть вежливым для деликатного человека всегда найдется место. Тем и закончился спор. Поверь Аня, что измучившись $1^1/_2$ часовой про-

гулкой (при питье вод) когда прийдешь домой и пьешь в 9-м часу, сквернейший в мире кофей, но с ужаснейшим апетитом, то вспомнив иногда об утренней какой нибудь встрече, так и захохочешь, ну а в другой раз ужасно досадно и серьозно: нельзя же все приписывать действию вод—есть и вещи сами по себе очень досадные, независимо от действия вод.

В другой раз на днях, в table d'hôt'e рядом со мной, одно многочисленное русское семейство, [во] заметил я, ищет моего знакомства. Ну и пусть. Но я ни слова еще не сказал, а мне встречаясь все вдруг начинают кланяться. Отец семейства (егоза ужаснейшая) полез заговаривать о литературе. Нечего было делать я сел на третий день обедать на другом конце залы, и уж кажется явно сделал, потому что прежнее место давно уж считалось моим. Чтож ты думаешь, он таки пришел ко мне на новое место, разговаривать. — Есть впрочем и порядочные русские.

Но впрочем я все пишу тебе о таких пустяках. Скучно мучительно,—вот что главное! Клянусь, до сих пор я не знал что такое скука. Перекрещусь выехав из Эмса. Но кстати—куда выеду из Эмса? Здесь у докторов за правило взято послать хоть на неделю, после конца курса, подышать чистым воздухом: в Баварский Тироль например, или даже на Комо. Но я, очевидно, до того истощу здесь финансы, что хоть на прямое у меня на все достанет, но заезжать куда. нибудь уже нельзя будет. Не хватит кармана.

Анька милая, радость ты моя, об которой мечтаю, обнимаю тебя крепко-крепко. Будь здоровее, будь веселее (отчего ты хоть в преферанс не играешь, как в прошлый год) и ходи за детьми. Детишек благословляю и цалую. Напоминай им обо мне. Скажи им, что я только об них и думаю. Ну прощай. Пошел дождь (при 25 град. тепла) и хоть почта и близко, но не знаю как туда попаду. Еще раз обнимаю тебя и цалую всю, как ты и вообразить себе не можешь.

Няне и всем поклон.

Твой весь Ф. Достоев(ский).

Я здесь очень похудел – всем телом: действие вод.

66.

Эмс

26/14 Июля. Воскресенье.
[1874 г.]

Бесценный друг мой Аня. В прошлом письме своем ты обещала писать во Вторник, и так как в таком случае, письмо твое должно было прийти непременно вчера, в Субботу, то я был чрезвычайно поражен что оно не пришло. Мало того, сегодня, в Воскресенье, за-

ходил утром в 8 часов на почту (почта из Берлина [иногда] приходит и сюда в 10 часов вечера) думая что вчера поздно могло прийти твое письмо, но опять таки услышал: „nichts da". Признаюсь я в большом волнении и дай бог, чтобы с вами со всеми ничего не случилось. Ночью даже худо спал, думая что ты захворала, а потому и не могла написать. Воображаю тоже не случилось-ли какой беды с детьми, и ты не хочешь писать, чтобы не испугать меня. Ах Аня, если ничего не случилось то худо с твоей стороны, голубчик, обещая наверно и точно писать,— сманкировать. Еслиб ты знала как на меня это все болезненно действует! Вот я тебя теперь упрекаю, а сам думаю: „А что если она теперь больная лежит". У нас здесь, в Эмсе, такое проклятое заведение что по Воскресеньям, с 9 часов утра, почта заперта и открывается лишь вечером, на одно какое то мгновение. И вот уже я здесь 5 воскресений, а ни разу не мог застать это мгновение, потому что точного часу не назначено; придешь вечером — говорят: „сейчас была отперта, а теперь уж до завтра". Это у них такой порядок при таком огромном числе посетителей! — Так что я теперь вдвойне в тоске. Может и сегодня не получу письма от тебя, если даже оно и прийдет. Что же если не получу и завтра и после завтра? Тогда телеграфирую. Пройду сегодня на телеграфную станцию узнать, нет-ли телеграммы. Вообще весь день для меня сегодня будет мученьем, вплоть до того времени как получу от тебя что-нибудь.

Еслиб получил вчера, то вчера же и отправил бы тебе ответ. А сегодня, так как почта будет заперта, то не знаю удастся ли еще отправить. Кроме того, что мне, прежде отправки, хотелось бы сначала и твое письмо получить, на случай если в твоем письме будет что-нибудь, на что, надо будет настоятельно-скоро ответить. О себе скажу, что леченье мое идет ни то ни сё. Вот уже 10 дней прошло как Орт назначил мне усиленный против прежнего прием вод, предвещая успех. В результате, хоть и есть д е й с т в и т е л ь н о облегчение, т. е.—все таки меньше перхоты, легче дышать и проч., но хрипота в известном (больном) месте остается и больное это место в груди окончательно не хочет зажить. К тому же у нас, последние 4 дня, дожди, а утром туманы и холода. Усиленные хрипоты приписываю конечно этой сырости. (Сегодня, например, ясный день, хотя утром был страшный туман, и мне несравненно легче), но уж одно то, что п о п р е ж н е м у сырость имеет такое влияние на грудь показывает что болезнь не прошла, и что перестань я пить Кренхен и в с е опять воротится. В результате думаю так: нельзя чтоб я не вынес какой нибудь (и может значительной) пользы от леченья в Эмсе, но эта польза, очень-очень похожа на ту пользу, которую я вынес зимой от леченья сжатым воздухом, т. е.что получил решительное облегчение,

что без лечения сжатым воздухом может лежал бы и иссох от лихорадок и диссентерии, но тем не менее полного излечения не получил. Так верно будет и здесь.—Вчера ходил к Орту и объяснил ему, что до срока положенного им самим в прошлый раз (9 дней назад) для моего лечения и излечения, с надбавкой лишней недели и проч. (о чем я писал тебе),—остается всего 3 дня (Срок выходил во Вторник), и что я прошу его посмотреть меня. Он осматривал и слушал и, кажется, по виду его я заключил что результат не совсем благоприятен. Он сказал мне чтоб я еще остался в Эмсе неделю, так чтобы было ровно 6 недель моему пребыванию в Эмсе, и опять таки весьма утвердительно обещал [169] результат благоприятный. Я остаюсь, таким образом, примерно до 3-го или 4-го Августа, а там уж и не знаю, набавит ли он еще неделю или нет? [Д] Думаю что нет. Этим Ортом я, все время, не совсем доволен; он обращается как то легкомысленно и лечит точно на угад. Штакеншнейдер болен, кажется, еще больше меня и приехал сюда всего только на 3 недели, так как буквально не может пробыть дольше, и его доктор, Гроссман, которого мне здесь многие хвалили за его старательность и чрезвычайную внимательность к своим больным—Гроссман назначил ему разом и Кренхен и пульверизационное лечение горла (здесь всех этим лечат) и минеральные ванны. Я же еще вчера приставал к Орту, не прибавит ли он еще чего к леченью моему и он отвечал что ничего не надо. Штакеншнейдер удивился услыхав что Орт даже горло мое не рассматривал никогда. Мне давно уже говорили чтоб я сходил к Гроссману. И вот я вчера утром, перед Ортом, пошел к Гроссману. Тот выслушав что я лечусь уже 5-ю неделю у Орта, на отрез отказался меня выслушать: „У вас дескать есть доктор, так чего же вы ко мне приходите". Вот какие у них здесь нравы. Он, из camaraderie ремесленной своей чести, [и чтоб] отказывает больному, тогда как больной имеет полное право не доверять своему доктору, а он обязан помогать всякому приходящему. Больной, таким образом, не смеет даже доктора переменить.

Таким образом я пробуду здесь, от сегодня, еще неделю, и может быть $^1/_2$ недели следующей, а там конечно уеду, тем более что более 6 недель никто и никогда здесь не брал курсы. Если не вылечился в такой срок как 5 недель, то оставаться долее бесполезно. Таким образом думаю, голубчик Аня, что по получении этого письма, если захочешь мне сейчас ответить, то ответить можешь (и я даже прошу тебя непременно написать) ибо очень может быть что письмо еще успеет дойти. На всякий случай напиши его покороче. К тому же ведь [во] я же оставлю здесь адресс на Петербург poste restante и письмо это непременно нам воротят, прошу же я непременно написать потому, что может быть останусь и дольше, как решит Орт; я же пойду

к нему не раньше Понедельника или Вторника послебудущей недели, т. е. дней через 9 от сегодня, чтобы получить полнее результат по отбытию всего назначенного им срока.—

Чтоб заключить о себе, скажу еще что вообще здоровье мое здесь чрезвычайно укрепилось, хоть я и не потолстел вовсе. Все отправления мои (сплю, ем и проч.) превосходны, каких уже много лет не было и даже силами я гораздо крепче, чем когда приехал сюда, бодрее, меньше устаю. Штакеншнейдер находит что я цветом лица несравненно лучше, чем как он помнит меня в Петербурге. Все это я приписываю не Эмскому климату, который ужасен, а решительно действию Кренхена (вот почему все еще надеюсь что он и груди поможет, потому что здесь самый явный признак успешного лечения, — это тот, когда весь организм параллельно исправляется). Что же до скуки моей здесь, то она безмерна, неисчислима. Я не знаю куда деваться от нее. Считаю что это даже ненатурально, а болезненно. К Эмсу я чувствую отвращение, ненависть, злобу. Теперь я вижусь лишь с одним Штакеншнейдером, да и то у источника; мы пьем и прохаживаемся вместе. Он по моему прекрасный и препростодушный человек. Молодая жонка его больше сидит дома и даже немного больная (ногами). Они звали меня и я раз у них был. Они очень экономят, хотя и получили деньги.— Да и я не знаю как съэкономить, потому что деньги очень выходят, не смотря на то что все расходы мои ведутся точно и правильно. Обедаю я теперь дома (мне приносят из отеля, за талер) чтоб не обедать за табльдотами, где почти везде, в залах, сквозной ветер.—Дома же очень работаю над планом, об этом ничего не пишу. Но если выйдет план удачный, то работа пойдет как по маслу. То-то как бы вышел удачный план! А выйдет ли? Мне бы хотелось написать что нибудь из ряду вон. Но одна идея что От. Записки не решатся напечатать иных моих мнений, отнимает почти у меня руки. Но об этом не упишешь в письме. Вообще думаю о будущем очень. Думаю и о том чем будем жить: задача большая. Выручал бог до сих пор, как то будет дальше. Подлинно на одну только милость его надеюсь.

Голубчик ты мой, скоро может увидимся. Как я мечтаю об этом! Письмо это продержу как можно долее, в надежде что придет сегодня от тебя. Ах кабы пришло, а то не поверишь, как я боюсь. Обнимаю тебя и детишек, благословляю их. Мне все снятся дурные сны, брат, отец, а их явления, никогда не предвещают доброго[170]. Ты знаешь, я этому давно уже принужден верить, по грозным фактам. Цалую тебя крепко, стал мечтать об тебе больше, а это тяжело. Скажи что нибудь от меня детишкам. Живы-ли, здоровы-ли они, мои ангелы? Всем кланяйся, няне особо. Твой всегдашний и неизменный

Ф. Достоевский.

5 часов вечера. Сейчас отперли почту и от тебя нет ничего! Господи, чтоже это с вами случилось! Но если ты больна почему же Александр Карловичь не может уведомить, а слово дал. Аня, Аня, еслиб ты знала как я теперь буду мучиться! Мне и без того до того тошно что хоть руки на себя наложить от тоски! Но что если в самом деле беда, а не одна твоя забывчивость! Господи, да хоть бы какое нибудь уведомление, хоть несчастное, только б не эта неизвестность!

67.

Эмс.
16/28 Июля/74.

Милый друг мой, Аня, вчера, в Понедельник, т. е. 15/27-го, получил твое письмо от 7-го Июля, с деньгами; выходит что письмо твое, (помеченное Воскресеньем) шло 8 дней. Согласись сама, что так как ты обещала написать во Вторник и письмо должно было придти в Субботу, а я не получил ни в Субботу, ни в Воскресенье, ни даже в Понедельник утром (8 дней), то и был как сумасшедший; я вообразил что и бог знает что с вами со всеми случилось. С Воскресенья на Понедельник (может быть отчасти и от беспокойства) у меня был припадок, т. е. каких нибудь две недели спустя после бывшего недавно, так что теперь у меня очень тяжела голова, хотя припадок, сколько судить могу, был далеко не из самых сильных [171]. —Письмо это пишу тебе наскоро, чтоб уведомить поскорее о получении твоего письма и поспеть на здешнюю почту. Удивила ты меня присылкой 50 р. Аня; но ведь я тебе кажется уже писал что у меня не хватит денег съездить в Париж, и я ехать и не располагаю уже давно. — Еслиб был в Париже, то конечно купил-бы тебе твою матерью, и мне очень странно, что ты в своем письме стараешься уверить меня что ты тоже имеешь право на эти деньги. Да разумеется имеешь; мне то уж не следовало этого писать.

Я по крайней мере весьма, часто упрекаю тебя что ты, при деньгах, не делаешь себе ничего нового (шляпки н. прим. и проч.) Но еслиб я и побывал в Париже, то признаюсь [твое поручение] ужасно боялся бы не угодить покупкой, потому что в этом деле понимаю мало. Ты пишешь: если не фай, то 2 костюма, суконных. Но я уж совсем не знаю какое тут сукно надо купить. Ты пишешь что ни в каком другом городе, в Германии, не покупать, надеясь на французскую дешевизну. А вон Штакеншнейдеры только что из Парижа, где кое-что купили, и говорят что в Париже вовсе не дешевизна; даже напротив, с тех пор как уменьшилось во Франции повсеместно производство, все даже вздорожало.—Впрочем, повторяю, мне в Париж проехать будет трудно, за недостатком денег, а потому наверно не поеду. Деньги же твои

постараюсь не истратить. В Берлине, мне кажется, товару очень много, много и чистого парижского, и не знаю слишком-ли дороже, чем в Париже.

Сегодня Вторник 16/28, а когда я отсюда отправлюсь—не имею понятия. Пробуду неделю положенную Ортом (срок выйдет на следующей неделе), а там, надо полагать, он наконец меня и отпустит. Сколько приглядываюсь, почти никого уже не остается из той публики, которая была во время моего приезда, все кончили курс и выбрались. Один я решительно всем глаза намозолил. Если уж в шесть недель не вылечился, то вряд-ли можно взять количеством. Говорят здесь что воды, не сейчас оказывают действие, а потом, зимой скажутся. Дай-то бог. Здесь мне еще в начале замечали что 3-я неделя леченья вообще всем благоприятна, а на 4-й опять начинает становиться хуже. Точь в точь так было и со мною. На 3-й неделе Кренхена я иногда чувствовал себя точно как бы совсем был здоров и возмечтал о совершенном излечении. А на 4-й неделе стало видимо хуже. Правда, портили мое лечение припадки; от припадка как то сжимает грудные мускулы и вчера, н. пример, сейчас после припадка у меня ужасно усилилась хрипота. — Погода у нас тоже не лекарственная; вот уже дней 6 тарабарщина страшная, то солнце, то ветер, то дождь (в день раза три) то туман. А сырость мне пуще всего. Еслиб Эмские воды да не в таком климате, право бы они всех излечивали. Здесь теперь особенно наехали русские. Штакеншнейдеры скучают как и я, но им конечно веселее жить, так как все таки они вдвоем. Я же один как перст. Иногда, особенно после обеда, тоска с которой ничто не может сравниться, а вечером и тошно и грустно, и в добавок ветер или дождь. Во все шесть недель ни разу барометр не стоял на хорошей погоде, так что если и были хорошие дни, то непременно завтра же надо было ждать перемены. Сама М-me Штакеншнейдер все сидит дома; она больна ногами, простудила еще в детстве и ревматизм; хоть она и недурна собой и, кажется, порядочный человек, но все таки странная охота жениться на больной женщине. — Других знакомых я почти не имею, с иными только кланяюсь. Немцы же здесь несносны, нестерпимы. Княжна Шаликова мне уже написала письмо из Рейхенгаля. — Остальные разъехались. Задача для меня, отпустит-ли меня на будущей неделе доктор, иль нет? Еслиб ты знала как мне здесь тяжело, то поняла бы что я об том только и забочусь когда отсюда выеду.

Твоему письму я пуще потому обрадовался, что узнал что вы живы и здоровы. Еслиб вчера не пришло оно, то вчера же послал бы телеграмму, с тем и шел. Напишу тебе во всяком случае, еще письмо (а может и два). Расцалуй и поздравь за меня Федичку три года—экой большой человек! А ведь я видел его когда ему было три минуты.—

Рад ужасно что и твое здоровье (по письму твоему) лучше, а то я об тебе здесь таки думал. Заботы, Аня, лежат впереди! За работу надо садиться, а я все еще над планом сижу. Стал ужасно на этот счет мнителен. Как бы только удачно начать! Думаю, что падучая оставит меня в покое хоть в 1-е месяцы работы. А что если я слабее стал для работы, т. е. слабее материально, так что и работал бы, да голова долго уж выносить не может, как прежде бывало? До свидания, ангел мой, обнимаю тебя крепко, детишек благословляю, цалую. Ведь вот опять скоро в город, и опять деткам за двойными рамами сидеть. Всем поклон, Ал. К-чу, Батюшке, няне. Карточку Гамбеты привез бы, да где достать? Еще раз обнимаю тебя, люби меня тоже, люби в самом деле. Только бог один видит как я тебя люблю.

Твой весь Ф. Достоевский.

68

Эмс.
17/29 Июля/74.

Бесценный друг мой, Аня, приписываю сегодня несколько слов ко вчера отправленному тебе письму, в ответ на твое, полученное мною вчера после обеда, уже после того как отправил тебе вчерашнее письмо. Ты верно и не воображала что твои оба последние письма придут почти в одно время. Но таков наш российский почтамт,— который делает, что хочет, что вздумается ему и на который нет закона. Задержать 4 дня лишних письмо, потому только что оно страховое! (Не в Германии же его задержали!) Ты пишешь, что рада моему оздоровлению, а в результате—я вовсе не вылечился, разве что легче немного, а каково то будет зимой. Впрочем у меня все еще продолжается припадочное состояние (третий день припадка). Эти припадки очень расстраивают грудь (сдавливают там что-то) и сверх того вчера и сегодня, здесь у нас, в проклятом Эмсе—дождь как из ведра. У нас и до того был 5 дней дождя, но вчера и сегодня это чорт знает что такое. Кренхен-ли или климат, но только здесь все почти очень потеют. Каково же при поте быть в такой сырости? По неволе простужаешься. Благодарю что незабываешь писать мне об детках, только об них и думаю, их и во сне вижу. Но прошу тебя, Аня, не давай мне больше комиссий. Вообще женщины думают, что если уж поехал куда, так у него в десятеро больше времени, чем у другого человека. Так н. прим. пишешь чтоб я зашел в Петербурге к Мих. Мих-чу спросить на счет тех 400 р. по векселю Голубевой. Но друг мой, я нахожу твое распоряжение весьма дурным. Кроме того, что я в Петербурге буду лишь мимоходом, жить в нем не могу, да и не хочу—я просто могу не застать Мишу: тогда оставаться лишний день

в Петербурге, что-ли? Это все легко говорить. К Мише я конечно зайду, хотя и не обязуюсь выжидать его, но я удивляюсь почему ты не хочешь написать Мише? 30 июля срок, и если ты даже думаешь, что и ответу от Миши не дождешься, то все же надо бы ему написать, чтоб напомнить, чтоб показать что мы не забыли, и кроме того не хорошо оставлять такую сумму в его руках, а потому напоминание может подействовать охранительно. Не то чтоб я не доверял ему, но ведь... написать же тебе надо всего 4 строки счетом. А я почему еще знаю когда буду проезжать через Петербург. На будущей неделе я пойду к Орту, и что он скажет так и будет. Если он настоятельно велит остаться еще неделю, то я останусь. Велел же Кашлаков 6 недель Кренхена; а я пью Кренхен всего еще 5-ю неделю.—Не нравятся тоже мне твои распоряжения о сю пору на счет писем в Париж и в Берлин. Но я еще может быть здесь промедлю. Если же буду проезжать через Берлин на скоро (потому—что мне там делать?) то будет хлопотливо нарочно бегать на poste restante за письмом. Что же до Парижа, то я, как ни рассчитываю, заключаю, что мне в нем не быть, — денег нет. Так наше письмо там и останется на веки веков. Ты пишешь: „это на случай того если ты уедешь 16 Июля", но если я и писал об этом когда-то, то ведь не наверно же, да и тогда прямо говорил что завишу от доктора. 16-е Июля было вчера, а я не только не уехал, но может еще 10 дней здесь пробуду.

Впрочем, не прими с моей стороны за ворчанье. Я только хочу сказать, что ты слишком скора и не принимаешь в соображение многих посторонних обстоятельств.

Не прими тоже этой писульки за письмо. Я просто приписываю ко вчерашнему. Вчера мне было очень очень скучно. Здесь время тянется как-то мертвенно. Кое что составил в плане, но и сам не знаю доволен или нет [171a]. Мне все думается Аня что с осени начнется для нас очень скучное, а может и тяжелое время. Впрочем в припадке, в дожди, и в скуке как здесь—не будут мерещиться красивые картины.

Теперь, если здесь и кончу когда нибудь лечение, то сколько останется переезду — господи создатель? До Берлина, до Петербурга, до Старой-Руссы, дни и ночи не спи! Вообще очень некрасиво время.

До свидания голубчик, цалую тебя очень и детишек. Я Любочку всю ночь во сне видел. И что это, в самом деле, у меня так загостилась падучая, Эмс что-ли способствует климатом? Это очень может быть; в этом подлейшем месте наверно заключены все гадости. Обнимаю тебя.

Твой весь

Ф. Достоевский.

Детишек цалуй и говори им обо мне.

69.

Эмс.

20 Июля/1 Август. Суббота/74.

Получил вчера, милый друг мой, Аня, письмецо твое, на которое и спешу тебе ответить, хотя все еще не имею ничего написать определенного, так как к доктору пойду лишь во Вторник. Думаю наверно что он меня, на сей раз, отпустит и я в Среду же, если не во Вторник и выеду из Эмса — вероятнее всего в Петербург, хотя еще сам не знаю, может быть и проеду куда нибудь для прогулки, поближе, потому что Эмс наскучил до смерти. Тем не менее все еще это не наверно, (хотя я и думаю наверно). Он может еще предложить мне остаться неделю, и тогда я, разумеется, останусь, в случае если он будет говорить особенно настоятельно. — А про Париж, — я как ни считаю, все до такой степени выходит в обрез, что вряд-ли с такими финансами благоразумно бы было рискнуть на поездку. — Если в Берлине остановлюсь то посмотрю тебе фаю (смотр не беда). Там товар продается с настоящей парижской пломбой, и как уверяют люди, можно купить не дороже парижского, потому что в Париже умеют слупить с путешественников, и, как рассказывают, заставят непременно купить не дороже, а больше чем нужно; Это тамошняя говорят манера. Разумеется если худой товар и дорого, то я не куплю. К тому что товару в Берлине бездна. — Хоть и получишь это письмо, и хоть очень вероятно что я выеду в половине будущей недели, но все же обращаюсь к твоему благоразумию и советую не принимать буквально. Орт все может переменить. Если переменит, то разумеется уведомлю. Но если оставит еще на неделю, то я последние излишки мои из оставшихся денег принужден буду здесь прожить. Вот уж прошла почти неделя, назначенная в последний раз Ортом, а что пользы? Скрип в груди (от припадка ли или от ненастья) не проходит. Одним словом хоть и есть облегчение от всего лечения, но болезнь остается. Вся надежда, что лечение скажется, говорят, еще в последствии, зимой. Ну там что еще будет.

Благодарю тебя, милая моя, что об детишках пишешь: Я Любочку как будто вижу перед собой. Соскучился я по них ужасно. Сегодня ночью видел тебя во сне и очень жалел, проснувшись, что тебя со мной нет. Видел тоже и Любочку: она плакала и что-то говорила мне. Очень я на их счет стал мнителен, чуть три дня и я уж задумываюсь не случилось-ли чего. Сегодня, в первый день кажется после припадка, освежилась совсем голова. Еслиб не эти припадки право мне леченье помогло бы больше. Одно что несомненно, — то что я, во всем остальном, чувствую себя несравненно здоровее прож-

него: Силы, сон, апетит — все это превосходно. Хоть этот выигрыш, приписываю Эмским водам, и тому что 6 недель акуратно вставал в 6 часов. Штакеншнейдер уверяет что он никогда не видал у меня такого свежего лица как теперь. — Во время последних дождей и туманов здесь многие простудились. Несомненно простудился и я. — С некоторой заботой помышляю о том как мне придется возвращаться и главное заботит меня дорога из Петербурга в Ст. Руссу: еще чего доброго придется ждать парохода, возиться с озером. — Как грустно что нечего и не на что привезти вам гостинцу. — Все таки я думаю к Августу или в начале нашего Августа я в Руссе буду, так как и предполагал. Боюсь как мы жить будем в Петербурге, т.-е. о средствах; все об этом думаю. Как будем нанимать квартиру? Вот тоже забота! — Приготовил я здесь 2 плана романов и не знаю на который решиться. Если в Августе вполне устроимся, то в конце Августа примусь писать, и знаешь-ли о чем думаю: хватит ли сил и здоровья для таких каторжных занятий, какие я задавал себе до сих пор? А что вышло: романы оканчивал, а здоровье все таки, в целом, расстроил. Если здоровье будет такое-же как в первую половину прошлой зимы, то будет не совсем хорошо для работы.

Хоть Эмс и начал понемногу пустеть, но русских в нем тьма сколько. И какой он скучный в дождь, все в тумане, совершенный ноябрь. (Жалею что не имею шерстяных носков для езды ночью по Новгород. дороге и по озеру в случае ненастья). Дай бог чтоб в Руссе застать хорошую погоду. Хорошо-бы приехать тоже в Петербург не к Воскресенью или в праздник, чтоб можно было застать людей. Штакеншнейдеры тоже уезжают на следующей неделе, в Гатчино, но я постараюсь поехать не с ними вместе. Кстати, выходит что во Франции самая высокая плата за дорогу из Эмса в Париж 70 франк. без поклажи, и что всего хуже — вторые [кр.] классы даже и не существуют в прямом сообщении. По крайней мере на дебаркадере здесь, продаются до Парижа особые билеты mixt, т.-е. по Германии во 2-м классе, а по Франции в 1-м. Штакеншнейдеры прокутились и экономят ужасно, а между тем по Франции ехали в 1-м классе, уверяя что французский 1-й класс, хуже немецкого 2-го, потому что как сельди в боченке напиханы, и сиденья ужасно устроены. Езда уж слишком сильная, оттого [они] антрепренеры дороги и куражатся. Кстати, Штакеншнейдеры мне положительно сказали, что фай в Париже уже не считается модной матерьей и что теперь им пренебрегают, говорят что он ломок, дает складку и в складке вытирается, а что модная матерья из черных теперь другая и называется драп, и что на нее все накинулись и все берут. Они мне показывали этот драп; очень похожий на фай, но более на прежний пудесуа-глясе.

Хоть и скоро увидимся, а все об вас думаю с заботой, как бы только не случилось чего дурного. А там, Аня, опять жить на ура, или вернее как бог пошлет. И что всего хуже — все еще есть долги, ничего и скопить нельзя. Хоть бы на три годика хватило моего здоровья, авось бы как и поправились. Но обо всем этом подробнее поговорим и повздыхаем при свиданьи. А теперь что то скажет Орт. До свиданья бесценный друг мой. Ты одна в моей душе и в моих мечтах. Расцалуй и прибереги детишек, а я весь ваш всегда и везде, обнимаю вас крепко и душевно.

Ваш Ф. Достоевский.

Все поклоны как следует.

P. S. Сегодня утром встало было яркое солнце, а теперь опять ветер и немцы и облака. Грустно здесь.

70 [172].

Старая Русса,
17 Декабря /74.

Милая Аня, у нас все благополучно. Детки пока еще очень умны, поселились в гостиной, наставили стульев и играют. Я встал в 2 часа,— никто не будил, видно слишком утомился от излишне-ревностного с тобой прощания. Детишки кушали телятину, молоко, сухари и ездили кататься; потом пошли снег отгребать, всего гуляли примерно минут 40. Я нашел что это возможно. Где то ты теперь, доехала ли до Новгорода. Буду ждать телеграмы. Главное не насилуй себя и не напрягай излишне в Петербурге: У тебя много времени, имей в виду главнейшее в делах, т. е. некоторых кредиторов (Варгуниных). Не забудь и про нас: все таки нам очень нужны деньги, а до некоторого времени я, отношения мои с Некрасовым даже и благонадежными считать не могу. На почту понесу как ты сказала незапечатанный конверт, но вряд ли будут какие спросы Мертвого Дома. Да и в Петербурге теперь развал, не до того. Предчувствую что у тебя с Пантелеевыми[173] выйдут неприятности, и если будут какие сделки с купцами, то вряд ли ты их уладишь. До свидания обнимаю тебя и цалую горячо.

Твой весь Ф. Достоевс[кий].

Не торопись излишне; лучше окончи дела если б даже что и замешкалось.

71.

Старая Русса,
18 Декабря /74.

Милая Аня, сегодня утром меня разбудили [утром] в 9 часов твоей телеграмой, чему впрочем я был рад. Благополучно ли доехала; теперь в эту минуту ты уже может быть видела и Ивана Григорьевича и Пантелеевых, (с которыми конечно побранилась). Ради бога, Аня, не тревожь себя и действуй спокойнее, не кидаясь, без отчаянья, а пуще всего береги здоровье [174] и больше спи и непременно исполни все то что я говорил тебе на счет докторов. У нас все благополучно, детки здоровы. Сегодня погода мягче и я отправил их, впрочем в 2 часа только, к батюшке и дал на извощика. Они ждут игрушек. У Феди я спросил вчера: где теперь мама. Он подумал и с глубокомысленным видом отвечал: „не знаю". Вчера во время папирос стали они танцовать и Федя выдумал новое па: Лиля становилась у зеркала, а Федя напротив у дверей, и оба в такт (при чем Лиля была очень грациозна) шли друг другу навстречу; сойдясь (все в такт) Федя целовал Лилю, и поцеловавшись они расходились Федя к зеркалу, а Лиля на его прежнее место и т. далее. Они раз 10 повторили эту фигуру и каждый раз, сходясь, целовались. Было очень грациозно.

Писем никаких, вряд ли и будет. Некрасов верно просто отдал печатать [175] но [пришлет] пришлет ли корректуры? Хорошо еслиб все наши дела уладились. До свидание Аня. Только 20-го разве получу от тебя что-нибудь с некоторым изложением обстоятельств. Но лучше расскажи приехав, больше интересу, а мне присылай разве простой перечень, да уж очень выдающиеся происшествия. До свидания, обнимаю тебя крепко.

Твой, сердечно тебя любящий и по тебе тоскующий
Ф. Достоевский.

Детки тебя целуют.
Не беспокойся об нас, у нас пока все хорошо.

72.

Старая Русса,
19 Декабря, /74.

Милая Аня, пишу тебе вот уже третье письмо. Надеюсь что сегодни хоть несколько строк получу от тебя. У нас все здоровы и все благополучно. Детки гуляют и играют. Сегодни погода довольно теплая, но несколько сырая, но гуляли много. Ведут себя прекрасно Федя немножко слишком буянит, но очень невинно, Лиля очень мила. Заспорили о лопатках и так как Федя не хотел ей дать свою поиграть,

то она объявила что он „сестру не любит“. А Федя отвечает мне: „что она говорит, я ее день и ночь люблю“. Потом из кабинета слышу ужасный плачь Лили. Вошел: она рыдая жалуется, что Федя не захотел сидеть у ней на коленях, как у няни. „Если ты только у няни сидишь, так пусть же она тебе сестра и будет“. Я примирил тем что посадил Лилю, а Федю к ней на колени и действительно просидели с минуту.

Я послал тебе вчера письмо Черепина[176]. Не важно спрашивает: 5 экземпляров! Все они боятся отдавать должные деньги, и наверно у него не 6 экземпляров „Бесов“ продано, а больше, так что он, чтоб только деньги не отдавать, и не спросит [впере] еще „Бесов“. Стало быть давать на комиссию не совсем выгодно.—Да и предчувствую очень что „Мертвого Дома“ не много разберут[177].

Теперь в эту минуту, ты должно быть, ужасно хлопочешь, ходишь и ездишь. Не торопись, не рви, а главное береги здоровье. Мне все мерещится, что ты там простудишься и что нибудь схватишь. Хороша ли погода? Непременно будь у докторов.

Вчера прислала свое письмецо Прохоровна, которое я и послал тебе. Ради Христа, отыщи ее и дай ей что нибудь к празднику, но не менее 3-х рублей. Пожалуйста Аня.

Я здоров. Дети здоровы и спят хорошо. Скучно без тебя очень; очень. Обнимаю тебя и цалую, детки тоже.

Твой тебя любящий
Федор Достоевск[ий].

Береги здоровье.

73.

Старая Русса.
20 Декабря /74.

Милая Аня, вчера получил твое сонное письмецо, строк в 10 и был очень доволен, что ты хоть доехала благополучно. Главное здоровье. Как то ты проводишь время? Жду тебя не только с нетерпением, но и с любопытством. Авось кое что порасскажешь. Деточки слава богу здоровы совершенно, только чтоб не сглазить. Мне они не мешают; я сплю по утрам по долгу. Хоть ныньче день и не особенно холодный, и не ветреный, но сыроватый, инейный. Я их однако отпустил гулять к батюшке и дал на извощика. Лиля премилая, Федя тоже, но не много отбился от рук, няню не слушается и шалит; по ночам спит очень хорошо, так же и Лиличка. Ждут тебя и вчера говорили что тебя очень любят. Вчера, в обед, зашел батюшка (Георгиевский) и просидел с часок, пока не пошли на почту. Увы, из книгопродавцев никто почти не откликается. Повидимому Мертвый Дом

сядет, разве потом, медленно и исподволь по библиотекам разберут и кое-какие любители. Не очень то нас ценят, Аня.

Вчера прочел в „Гражданине“ (может и ты уже там слышала) что Лев Толстой продал свой роман в Русский Вестник, в 40 листов, и он пойдет с Января — по пяти сот рублей с листа, т. е., за 20.000. Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью![178] Нет уж слишком меня низко ценят, оттого что работой живу. — Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что нибудь против их направления; он знает что в Р. Вестнике теперь (т. е. на будущий год) меня не возьмут, так как [журнал] Русский Вестник завален романами. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки! Не знает-ли что Поляков о нашем деле? Кабы хоть какие нибудь деньги поскорее и на всякий случай получить! А то пожалуй останемся как раки на мели.

От Некрасова все еще нет никакого уведомления[179].

До свидания Аня, обнимаю тебя; получишь это письмо не ранее 22-го и кто знает может быть уже тебя не застанет. Это письмо от меня стало быть последнее; написать завтра — значит сильно рисковать что тебя не застанет. Так и знай, и не беспокойся. За детей тоже не беспокойся, я за ними смотрю и особой тягости это мне не составляет. Пожалуста не теряй и не бросай зря мои письма в Петербурге, где ты остановилась [чтобы не попадали другим]. Кланяйся Михаилу и Николаевичу[180] от меня, и брату если застанет письмо. Что Анна Николавна? Не уехала ли с Ив. Григорьевичем? Ей тоже поклон от меня.

До свидания. Береги в Петербурге здоровье; все пишут в газетах про тиф. Берегись ради Христа.

Твои все
Я, Лиля и Федя.
Ф. Достоевский.

Сейчас на почте, от тебя письма не получил. Что такое? Всю ночь промучаюсь!

1875 г.

74.

Новгород, 4 Февраля 75.

Милая Аня, ровно в 6 часов пополудни мы приехали в Новгород. Эти клячи летели как ветер и на обеих станциях отдыхали всего по 40 минут. Дорога порядочная, но я на последней пряжке прозяб неестественно, и именно подошвы ног. В моих галошах претонкая падошва. До такой боли прозяб что хоть кричи. Впрочем и руки и спина тоже прозябли. Остановился в гостинице Соловьевой хорошенько погреться и напиться чаю. Мне дали № в 75. Сижу и читаю Голос и пью чай. Тимофей вез превосходно и старательно. Хочет обратно везти меня и поджидать. Это бы прекрасно было. Посылаю тебе одеяло и шейный платок (шарфик) который не нужен. Твердо надеюсь что ты мне завтра напишешь. Цалую тебя и всех троих детишек, Федю, Любу и Неизвестного[181]. Предстоит длиннейший и скучнейший переезд. До свиданья, голубчик обнимаю тебя.

Твой весь.

Ф. Достоевский.

Поклон Анне Николавне.

75.

Петербург, 5 февраля 75,
10 часов утра.

Милый мой голубчик Аня. Сегодня в 8 часов прибыл в Петербург благополучно. В тех и других вагонах проспал, скрючившись неестественно, почти всю дорогу, так что все таки несовсем расстроен нервами, хотя немножко устал. Тимофею я дал одеяло и шарфик для доставки тебе, он вез хорошо, но обещался за мной заехать в гостинницу Соловьевой чтоб довезти меня к вокзалу и не заехал, так что я чуть-чуть не опоздал. За то у Соловьевой два часа проспал в №. Теперь, здесь сижу в Знаменской гостиннице, в 48-м №-ре и готовлюсь одеться и пуститься по мытарствам. За № 2-р. цены против летних, сами говорят, что увеличены и гостинница, во всех отношениях, ветхо-

вата, но все таки может быть даже лучше иных других. Денег со мной 32 рубля и однако сегодня же надо купить сапоги, потому что мои до того, д о р о г о ю, разорвались, что даже не хорошо, если зайти в них к Некрасову и Мещерскому. Одним словом я совершенно здоров и только об вас и думаю. Тоскую очень. Лилю и Федю побольше поцалуй. Я видел во сне что Федя влез на стул и упал со стула и расшибся, ради Бога не давай им взлезать на стулья, а няньку заставь быть внимательнее. Jncognito также люблю. Одним словом всех Вас крепко обнимаю. Завтра напишу. Пиши пожалуйста. И так как теперь меня нет, то отдыхай ради Бога, голубчик мой. Чуть заболеешь или дети тотчас дай знать. Анне Николавне мое уважение.

Твой Ф. Достоевский.

76.

Петербург, 6-го Февраля/75.

Милая Аня, Вчера первым делом заехал к Некрасову, он ждал меня ужасно, потому что дело не ждет; не описываю всего, но он принял меня чрезвычайно дружески и радушно. Романом он ужасно доволен, хотя 2-й части еще не читал, но передает отзыв Салтыкова[182], который читал и тот очень хвалит. Сам же Некрасов читает по обыкновению, лишь последнюю корректуру. Салтыков сделался нездоров очень, Некрасов говорит что почти при смерти. У Некрасова же я прод(е)ржал часть корректуры, а другия взял с собою на дом. Мне роман в корректурах не очень понравился. Некрасов с охотой обещал вперед денег и на мой спрос пока дал мне 200 руб. Хотел бы отправить тебе хоть 75 и сделаю это завтра или после завтра, но решительно вижу что нету времени. Я был у Симонова и взял билетов на неделю, сеансы от 3 до 5 часов. Это такое почти невозможное время, самые деловые часы! И вместо того чтоб дело делать я должен сидеть под колоколом. Затем заехал в Редакцию Гражданина и узнал к чрезвычайному моему [изумлению] огорчению, что Князь накануне 4 февраля, уехал вдруг в Париж, получив телеграму, что там умер брат его флигель-адъютант. Пробудет же может быть с месяц. Таким образом у меня в Петербурге почти никого ни останется знакомых. У Пуцыковича же узнал что Sine ira в С.-Петербургских Ведомостях — вообрази кто! — Всеволод Сергеевич Соловьев[183]! Затем был у Базунова, его не застал и взял Русский Вестник. Затем после обеда в 7 часов поехал к Майкову. Анна Ивановна уехала в театр. Он же встретил меня повидимому радушно, но сейчас же увидал я что сильно со складкой. Вышел и Страхов. Об романе моем ни слова и видимо не желая меня о г о р ч а т ь. Об романе Толстого[184] тоже говорили не много, но то что сказали — выговорили до смешного восторженно. Я было

заговорил на счет того что если Толстой напечатал в Отеч. Записках, то почему же обвиняют меня, но Майков сморщился и перебил разговор но я не настаивал. Одним словом я вижу что тут что-то происходит и именно то, что мы говорили с тобой, т.-е. Майков распространял эту идею обо мне. Когда я уходил то Страхов стал говорить, что вероятно я еще зайду к Майкову и мы увидимся, но Майков бывший тут ни словом не выразил что ему бы приятно видеть меня. Когда я Страхову сказал чтобы он приходил ко мне в Знаменскую гостинницу вечером чай пить в Пятницу, то он сказал: вот мы с Аполлоном Ник. и придем, но Майков тотчас отказался, говоря что в Пятницу ему нельзя, и что в субботу можно увидеться у Корнилова[185], одним словом видно много нерасположения. Авсеенко в Русском Мире[186] обругал Подростка, но Майков выразился что это глупо. Статьи Русского Мира я не видал.

Корректур было много, лег спать я поздно, но выспался. Теперь уже два часа, надо не опоздать к Симонову, а меж тем надо и заехать в Гражданин за твоим письмом.

Сейчас принесли еще корректур — все 2 последние главы, их уже Салтыков не читал и мне надобно перечитывать со всеми подробностями, так что сегодня, кроме бани, никуда не пойду. До свидания милая, обнимаю тебя и детишек, не претендуй на деловитый слог письма времени нет и не знаю будет ли впредь.

До свидания

Твой весь Ф. Достоевский.

Вообрази Порфирий Ламанский[187] умер от того что закололся в сердце кинжалом! Его впрочем хоронили по христианскому обряду.

77.

Петербург, Февраля 7/75.

Милый друг, Аня, я все занят ужасно и времени у меня ни на что не достает. Вчера навалили корректур видимо-невидимо, и еще не продержанных начисто; меж тем во весь день нельзя было заняться ими. Написав к тебе вчерашнее письмо пошел к Пуцыковичу, где письма от тебя не застал. За тем вдруг воротясь в гостинницу получаю повестку от участкового пристава явиться 7-го (т. е. сегодня,) в 9 часов утра для объяснений по паспорту. Предвидя что в 9 часов утра мне нельзя я тотчас поехал в участок; никого не застал, сказали — вечером. Чуть было не опоздал под колокол. Симонов все просит меня дать осмотреть ему грудь, но для этого надо заехать к нему за полчаса раньше, а я и сегодня предчувствую, что опоздаю. Из под колокола приехал в Гостинницу обедать. Эта Знаменская Гостинница ужасно обветшала а цены огромные. Чуть сел

обедать пришел Пуцыкович и принес от тебя письмецо (NB. Таким образом твои письма получаются у него чуть не в вечеру). Посидел с Пуцыковичем, пока обедал; я нахожу что это чрезвычайно порядочный человек. Затем полетел в Участок. Там продержали часа два. Пришел наконец паспортист: „У вас де дан вам Билет на жительство; но он временный, а по закону вы должны были давно обменить его на п о с т о я н н ы й паспорт. — Конечно дело; но я стал спорить. Помощник пристава (с Владимиром в петлице) начал спорить тоже: не дадим вам паспорт, да и только; мы должны наблюдать законы. Да что же мне делать? — Дайте постоянный вид. — Да где же я его теперь возьму? — Это не наше дело. Ну и в этом роде. — Но дурь однакоже в этом народе. Это все только чтобы перед „писателем“ шику задать. Я и говорю наконец: В Петербурге 20000 беспаспортных а вы всем известного человека как бродягу задерживаете. — „Это мы знаем-с, слишком знаем-с что вы всей России известный человек, но нам закон. Впрочем за чем вам беспокоиться. Мы вам завтра иль послезавтра вместо вашего паспорта выдадим Свидетельство, так не все-ли вам равно“. — „Э, чорт, так зачем же вы давно не говорили а спорили“. За тем поехал в баню. Воротясь и напившись чаю сел за корректуры и просидел до 5 ½ утра. Наконец повалился спать. Вдруг слышу в соседнем № который был пустой, хохот, женский визг, мужской [бас] и так часа на три; только что приехал какой то купец с двумя [дод] дамами и остановился. И вот я лежу и не сплю, наконец заснул капельку и пробудился в 1-м часу, но спал всего часа четыре. Чувствую раздражение нервов и даже озноб. Затем пить чай, тебе писать письмо, одеваться, заехать в Редакцию за письмом и успеть попасть к Симонову к 2 ½ часа. Но где же попасть?

До свидания Аня, обнимаю и цалую детей. Сегодня опять стало быть ни одного дела не сделаю, но за то кончены корректуры и сегодня [высп] ночью, может высплюсь. — Роман Толстого читаю только под колоколом, ибо иначе нет времени. Роман довольно скучный и уж слишком не Бог знает что. Чем они восхищаются понять не могу.

До свидания Аня, милая, обнимаю тебя и всех детишек.

Твой весь

Ф. Достоевский.

[По соо] Историк Костомаров[188] лежит в тифе. Всеволод Крестовский[189] лежит в тифе. Симонов говорит что тиф теперь совершенно действует, как зараза, в роде чумы и редко когда так бывало. Но не [дальнейшее написано на поле последней страницы] беспокойся милочка Аня за меня. Нас Бог бережет твердо верую, а тебя люблю крепко. Твой...

78.

С.-Петербург, 8-го Февраля/75.

Милая Аня, вчера от тебя письма не было; если и сегодня не будет, то буду очень беспокоиться. А у меня и без того много досад и расстройств. В нынешнюю ночь лег раньше, в третьем часу, но так как не спал прошедшую ночь, то заснул только разве в четвертом часу. И вот в 7 часов соседи, купец с двумя дамами подымают опять визг, хохот, самый громкий разговор доходящий до крику. Отделяется же не стеной, а одной лишь дверью. Я вскочил, оделся и немедленно потребовал другой №. Оказался свободным только один в 3 р., в самом низу, я немедленно переехал и лег, но уже заснуть не мог. Две ночи таким образом не спал, расстроен, даже руки дрожат. Между тем переехать от сюда тоже не могу: паспорт все еще не выдают, а куда я денусь без паспорта? Предстоит ехать к Трепову.

Вчера опоздал в три часа к Симонову и не мог быть на сеансе. Эти часы, от 3-х до 5 у Симонова, совершенно парализуют всю мою деятельность. Они все время берут и я еще ни одного дела не начинал. Утром должен тебе письмо писать и кое какие делишки, потом куда я успею до 3-х? Здесь же в гостиннице все так медленно исполняют. Закажешь чай и раньше получасу не подадут. Опоздав заехал к Кашпирову, просидел у него с час. Затем поехал к Соловьеву[190]: он очень был рад и кое-что мне рассказал. Жена его больна (от беременности) и не выходит. Однакоже он мне ее вывел. Она ужасно молоденькая, имеет вид девочки, с очень большим ртом и с очень выпуклыми глазами; но недурна, пока девочка. Года через три-четыре подурнеет ужасно. И вот он на всю жизнь с женой дурной собою. Он получает жалование, хорошую плату в С.-Петербургских Ведомостях и даже в „Пчеле“ печатает свою повесть[191]. Денег получает много и в этом смысле спокоен и обеспечен. Живут они еще пока от жильцов, но у них две порядочные комнаты, и превосходная (очевидно его собственная) мебель, картины и фотографии на стенах и проч.

Затем обедал у Вольфа, воротился домой и в 9 часов пришел Страхов. Он мне искренно и положительно говорил что Майков ни в каких слухах обо мне не участвовал, да и есть ли слухи он хорошо не знает. Подросток ему несовсем нравится. Он хвалит реализм, но находит не симпатичным, а потому скучноватым. И вообще он мне сказал чрезвычайно много очень дельного и искреннего, что меня впрочем не [смущает] смущает, потому что я надеюсь в следующих частях доказать им что они слишком ошибаются. В Биржевых (или в Новом Времени — Страхов не запомнит) Он читал на днях статью о Подростке[192]. Довольно длинную. В ней не то что хвалят, но

говорят что до сих пор многие принимали типы Достоевского [за] отчасти за фантастические, но кажется пора разубедиться и признать что они глубоко реальные и проч. в этом роде. В Голосе об Отечественных записках принято никогда ничего не печатать.

Теперь час по полудни, сижу с расстроенными нервами, поеду к Симонову, потом может быть в Участок, вечером заеду на малое время к Корнилову, чтоб только деньги отдать. Деньги страшно выходят, а я еще ничего не купил. Не понимаю почему ты не пишешь? Эти предстоящие разъезды к Пантелееву, к Полякову и проч. мучат меня одною мыслию о них. А между тем когда я успею это все сделать? ужас! До свидания. Цалую тебя и детишек.

Твой весь Ф. Достоевский.

79.

Петербург, Февраля 9/75.

Голубчик мой Аня, вчера вечером получил твои два письма разом. Вероятно 1-е письмо пролежало лишний день в Старой Руссе на почте. Скажи в почтамте чтоб этого не делали, а то я напрасно буду беспокоиться. Известие о провалившемся потолке меня очень тревожит: во первых могло убить детей, а во 2-х, уверяю тебя, она не до Мая будет ждать а до Апреля, когда ей будет уже не так страшна угроза что мы съедем в виду летних жильцов. Да иначе и не может быть, потому что ихняя переделанная квартира близь самого парка, должна пойти не менее 200 руб. в лето. — Пиши мне непременно каждый день, Аня; без известий о тебе и о детишках я не могу пробыть в здешней тоске. — Вчера только что написал и запечатал к тебе письмо, отворилась дверь и вошел Некрасов. Он пришел, „чтоб выразить с в о й в о с т о р г по прочтении [вто] конца первой части“ (которого он еще не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед [последней] началом печатания книги). „Всю ночь сидел читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил-бы этого себе“. „И какая, батюшка, у вас свежесть (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой). Такой свежести в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше“ (это Некрасов говорит). Сцену самоубийства и рассказ он находит „верхом совершенства“. И вообрази: ему нравятся тоже первые две главы. „Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава“ — (это та самая где он спрятался у Татьяны Павловны) — „тут много происшествий чисто внешних“ — и что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понрави-

лась мне самому эта восьмая глава и я многое из нее выбросил. Вообще Некрасов доволен ужасно. „Я пришел с вами уговориться о дальнейшем. Ради Бога не спешите и не портите, потому что слишком уж хорошо началось". Я ему тут и представил мой план: то есть Март пропустить и потом Апрель и Май вторая часть, затем Июнь пропустить и Июль и Август третья часть и т. д. Он на все согласился с охотою „только бы не испортить!" Затем насчет денег: вам, говорит, следует всего без малого 900; 200 руб. вы получили, стало быть следует без малого 700, если к этому прибавить 500 вперед — довольно ли будет? — Я сказал: прибавьте, голубчик, тысячу. Он тотчас согласился. „Я ведь, говорит, только в виду того, что летом, перед поездкой за границу, вам опять еще пуще понадобится". Одним словом, в результате, то, что мною в Отеч. Записках дорожат чрезмерно, и что Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения. Просидел у меня часа $1^1/_2$, так что я опять чуть не опоздал к Симонову. Весь вчерашний день я был совсем как больной от расстроенных от неспанья нервов. Деньги полагаю что получу завтра или после завтра. Тогда Аня и вышлю то, что по расчету должно остаться у нас, т. е. около 1000, а до тех пор как нибудь займи хоть у батюшки. Потому что не только у меня времени нет выслать эти 75, которые я обещал, но даже и не из чего, потому что деньги идут вужасающих размерах. Вчера вечером был у Корнилова и отдал ему 45 р. по 10 взносу в Славянский[193] и в Любителей[194] и 25 р. от неизвестного[195] (пари). Корнилов принял меня удивительно ласково и внимательно, очень меня расспрашивал, ходил со мной и рассказывал, рекомендовал и знакомил. (Между прочим познакомил с своим старшим братом). [Несколько слов зачеркнуто и неразобрано]. Было человек до 20 разного народу. (Майков не пришел). Был Страхов и просил зайти к себе вечером во [вторник] понедельник. Дело в том, голубчик Аня, что за неимением достаточных денег ни у кого (по делам) и быть не могу. Но пуще всего лечебница Симонова; она пришлась в такие часы (от 3 до 5) что все мое время парализует. Конечно надо вставать раньше (часов в 9) и ложиться раньше. Но меня 2 последние ночи измучили, я спал по 4 часа в сутки и менее. Нынешнюю ночь думал наверстать и лег вчера в 2. Но нервы до того расстроены, что часа $1^1/_2$ не мог заснуть, ночью беспрерывно просыпался и хоть встал в 11-м часу, но все таки настоящих семи часов не спал. С завтрашнего с понедельника надо как нибудь приняться за дела. Совсем забыл про иные твои распоряжении, например надо-ли дать сколько-то денег Полякову или нет? Впрочем думаю все обделаю, не беспокойся. Я только об вас [беспокоюсь. Досвидания, ангел, люблю тебя, и чувствую и сверх того нужду в тебе ужасно большую. Цалую детишек и благословляю. 15-го то думаю уехать отсюда наверно, а

то так бы и раньше. Обнимаю тебя, голубчик, будь здорова и уведомляй о каждой мелочи. Всем поклон.

Твой весь тебя цалующий муж

Ф. Достоевский.

80.

Понедельник, 10 Февраля/75.

Голубчик мой Аня, вчера я от тебя письма не получил. Да ты бы писала и подавала с вечера на почту, чем по утрам-то. Пишешь что и от меня не получила. Я сам кладу в кружку каждый день и каждый день пишу, но они неровно выбирают, иногда после двух, а иногда и до двух. Вчера был в лечебнице. Лечебница парализует все мои дела, отнимает весь день, пересекает его глупейшим образом на двое. Из лечебницы после обеда поехал к Полякову и отдал ему 50 р. Он мне не сказал ничего нового. Есть в виду какие-то покупщики, да что он поедет с Коршем[196] великим постом в именье и проч. Я попросил его что знает написать тебе. Потом заезжал к Прохоровне, а потом домой чтобы раньше выспаться и поправить нервы. Не тут то было: в залах гостинницы праздновалась сватьба купцов-лавочников, сотни пьяных гостей, музыка, конфеты. Я лег в 2, до $5^1/_2$ не мог заснуть, потому что по нашему корридору бродили и кричали [сверх] забредшие сверху пьяные. Я вскакивал, отворял двери и ругался с ними. Теперь голова болит мочи нет. Еслиб только не действие сжатого воздуха, который успокаивает нервы, то думаю что у меня от бессонницы и от раздражения наверно бы был припадок. До свидания голубчик, цалую тебя, детишек и всех. Скажи детям что Прохоровна им кланяется и любит их, а об Феде над его карточкой плачет. У ней и Федя и Лиля висят на стене. Всем кланяюсь. Как только получу от Некрасова деньги сейчас поеду к Пантелееву и т. д. Как хотелось бы поскорей домой. Здесь мое здоровье хуже во многих и других отношениях. Цалую тебя и детей.

Твой весь

Ф. Достоевский.

81.

Петербург, 11 Февраля/75.

Милая Аня, вчера так от тебя и не было письма. Да уж не пропадают ли мои письма. Я однакоже каждый день пишу. Вчера ничего почти не сделал, был только у Симонова и вечером у Страхова. Страхов знает о моем неудовольствии на Майкова и кажется передал ему, потому что Майков прислал мне письмо и приглашает сегодня во Вторник к себе обедать. Но я еще вчера вечером его видел у Страхова. Бы-

ло очень дружелюбно, но не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов; они оба со складкой. Так и быть обедать у него сегодня буду, но и только. Сегодня утром зашел ко мне брат Коля и теперь сидит у меня пока я пишу.

От Некрасова все еще не получил, а самому пойти напомнить как то совестно. Но если сегодня не получу, то непременно пойду завтра. Жду с нетерпением наконец твоего письма, и п р о ш у н е п р е м е н н о писать каждый день, подавай с вечера. Очень цалую детей, хочу об них известий. Ужасно мне здесь скучно. Новостей никаких. Цалую тебя очень и благословляю детей. До свидания обнимаю всех вас.

Твой весь

Ф. Достоевский.

82.

Петербург, Среда 12/75.
[Февраль].

Милая Аня, получил от тебя письмо от 10 (Понедельник) очень напуганное. Не беспокойся обо мне ради бога: если я чем чувствую себя не хорошо, то это нервами, потому что в гостиннице и не на своем месте и со всеми этими предстоящими хлопотами не могу выспаться. Не пугайся же, все устроится, а я разумеется, ни одного лишнего дня не буду. Лечебница Симонова взяла все мое время и не дает мне кончить ни одного из дел. Спешу написать тебе и пойду сейчас к Некрасову и если можно возьму денег. Пишешь чтоб я прислал: клянусь у меня нет ни одной свободной минуты. Получу от Некрасова — все пришлю, разом; а до тех пор займи у Священника. Вчера как сидел у меня Коля — вошел Корнилов (значит отдать визит) был чрезвычайно [мил] мил и просидел больше получасу. Вот деликатнейший человек. Затем после Симонова поехал к Майкову обедать. Это дело вот в чем: Я Страхову, у Корнилова выразил часть моей мысли, что Майков встретил меня слишком холодно, так что я думаю что он сердится, ну а мне все равно. — Страхов тогда же пригласил меня к себе в Понедельник, а пригласительное письмо Майкова было вследствие того что Страхов ему передал обо мне. [Стр] Майков, Анна Ивановна и все были очень милы, но за то Страхов был почему то со мной со складкой. Да и Майков когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне Некрасова — сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет Аня, это скверный симинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением Э п о х и, и прибежал только после успеха П р е с т у п л е н и я и Н а к а з а н и я. Майков несравненно лучше, он подосадует да и опять сблизится, и все же хороший человек, а не симинарист. Сейчас от Майкова вечером, зашел к Сниткиным; Александр[а]. Николаевича не было дома, жены его тоже, но я просидел у жены Михаила

Николаевича и потом пришел он из Воспитательного, и я чрезвычайно приятно провел у них время до 11 часов, в разговорах. За тальмой схожу еще раз.—

Если в субботу не выеду, то хотелось бы ужасно в Воскресенье. До свидания милая, много не пишу, потом расскажу. Обнимаю тебя крепко и цалую, ты мне очень нужна. Детишек всех обнимаю очень цалую и благословляю. Твой тебя крепко любящий

Ф. Достоевский.

Здесь вышел один колоссальный анекдот об известных нам лицах, расскажу как приеду.—

— Паспорт до сих пор еще не получил, но не беспокойся.

83.

Петербург.
Среда 12/75.
[Февраль].

Сегодня вечером получил из редакции твое письмецо от 11-го милая Аня и сегодня же вечером пишу ответ, хотя отошлю завтра и сам поеду отдавать в большой Почтамт. Посылаю тебе голубчик мой девять сот 900 рублей. Никогда я предположить не мог чтоб ты так зануждалась и написала мне такие отчаянные просьбы о присылке денег. Но друг мой, ведь ты сама же говорила что всегда можешь занять у батюшки или у Анны Гавриловны. Я же так рассуждал, что заем на 2 на 3 дня, при таких верных деньгах, которые я получаю, не может нисколько повредить твоей чести. Это мелочность! Я же писал уже тебе давно чтоб ты заняла. Я конечно мог и из выданных мне Некрасовым 200 отослать тебе, но ей богу же! не было времени ни капли, чтоб самому ехать посылать. Мало того: нет иногда времени даже в редакцию Гражданина заехать. Ну ты представь себе, я съездил к Некрасову, взял сегодня у него деньги, заезжаю домой чтоб положить их в чемодан и вдруг входит Владимир Ламанский, сам, услыхавший от кого-то что я в Петербурге[197]. Неужто мне прогнать его? Вот я с ним и остался. И так каждый час. Притом же я все не могу выспаться и у меня расстроены нервы до муки, до ада. А главная причина все таже: что я никак не воображал что ты будешь стыдиться попросить пустяки у таких добрых знакомых,—тем более что сама мне про это говорила! Не то, конечно бы прислал, потому что на столько то у меня всегда было, и уж конечно я мог поручить Пуцыковичу.—Симонова лечебница все парализует!. У меня весь день уходит, но завтра последний [билет] сеанс. Между тем дел бесконечное множество. Сегодня был у Эмилии Федоровны. Завтра постараюсь быть у Пантелеевых или где нибудь нужнее. Обнимаю тебя крепко, не сетуй же на меня. Некрасов дал 1600, из них 1000 или без малого впе-

ред, потому что нельзя еще дать точнейшего расчета. Сосчитаемся вперед. У меня в руках 700 слишком рублей. — Деньги идут неестественно и я здесь ужасно трачусь. — Цалую детей. В Субботу думаю что никак не выеду: Ламанский звал в Субботу, а Некрасов в Субботу же хочет везти меня к Салтыкову (а я очень хочу завязать это знакомство). Кроме того не был у Кони[198], не был у Порецкого[199], и не сделал почти еще ни одного денежного дела. Одним словом в письме ничего толком не опишешь, вряд ли и в Воскресение выеду хотя ужасно бы желал, чтоб в Понедельник быть вечером у вас. Ужасно хочется поскорее к вам, изо всей силы буду стараться, после завтра в Пятницу напишу наверно, но если скажешь Тимофею чтоб ждал меня в Понедельник в Новгороде, то кажется это будет верно. Цалую тебя и детишек триста тысяч раз, твой весь

Ф. Достоевский.

Ты не поверишь как ты меня расстроила и огорчила этой просьбой денег. Да неужели это так стыдно занять, Аня! Я и не воображал ничего подобного. Ведь мы не воры и не мазурики и это доказали.

— Сегодня Некрасов встречает меня словами: „А у меня для вас давным давно готовы деньги". Между тем я деликатничал и все не шел, ожидая что он сам привезет или пришлет. Еслиб не зашел, то он и еще три дня бы не подумал прислать.

Сегодня встретил у него книгопродавца Печаткина. Боюсь что передаст другому Печаткину — [и тот] кредитору и тот меня здесь разыщет. —

На поле третьей страницы написано:

У Бунтинга не был, сапогов даже себе еще не успел купить.

Цалую тебя ужасно, и ручки и ножки и всю. Люблю тебя и желаю ужасно увидеть.

84.

Петербург, 13 Февраля/75.
Четверг.

Милая Аня, сейчас послал тебе деньги, но в Почтамте сказали что сегодня не пойдет, стало быть завтра, в Пятницу ты бы не получала от меня письмо, и потому пишу тебе, сидя у Миши, в Обществе Взаимного Кредита. И так обнимаю тебя, все благополучно, а деньги получились в Субботу.

Цалую детей.

Твой весь

Ф. Достоевский.

85.

Петербург, Февраля. 13/75
Четверг.

Милая Аня, давеча я послал тебе девять сот рублей и вероятно получишь их вместе с этим письмом, которое пишу с вечера, потому что завтра утром не будет времени писать. Кроме того, так как в Почтамте сказали что денежное письмо пойдет завтра, в Пятницу, то я в Взаимном кредите, написал тебе строк 6, сидя у Миши. После того был у Симонова и у Пантелеева. Ему я передал твое письмо, но он знать ничего не хочет и настоятельно требует другого расчета. Он хочет 2 векселя Надеина, а Кожанчикова тоже оставляет у себя. Одним словом путаница. В Субботу зайдет ко мне; я выслушав его, думаю что нечего его долго тянуть и хочу отдать ему оба векселя; про те же 54 экземпляра, которые проданы но деньги не получены, он говорит что и не может получать. Клейн ему положительно не платит. Он составит счет, я повозможности удовлетворю его в Субботу, а затем я скажу, чтоб он все тебе сам написал. В случае же если я не отдам векселей то он говорил даже что будет задерживать продажу экземпляров. Таким образом я и не знаю теперь как разделаюсь с Варгуниным, ясно что нельзя будет опять всего заплатить; денег у меня вовсе не так много чтоб всем отдать. Затем зашел к Всеволоду Соловьеву, и за тем к Сниткиным, которых никого не застал дома (один в театре, другие в гостях) и взял твою тальму у одной из дев. — Завтра и послезавтра предстоит страшно много хлопот и визитов. Каждый день у меня на извощиков до 3-х руб. Вчера вечером был у Эмилии Федоровны. Думаю выехать в Воскресенье непременно. Так и скажи ямщикам. Лучше если будет Тимофей. Сейчас же вечером получил и твое пиьсмо из редакции. Если напишешь в Пятницу, то конечно я получу еще твое письмо, но более писать нечего. Постараюсь непременно приехать в Понедельник, в Федины имянины (барабан и посуду Лили непременно купи и не дари, держи в тайне, потому что мне здесь решительно нельзя будет купить игрушек, разве какую мелочь.) Голубчик мой, у меня страшно расстроены нервы, ужасно боюсь припадка. Никак не могу выспаться, вот беда. Буквально сплю не более 5 часов; непременно будят утреннею вознею в корридоре. Ты видишь сны, а со мной еще хуже. Обнимаю тебя крепко и цалую, детишек тоже очень. Всех вас люблю и благословляю.

Твой весь.

Ф. Достоевский.

Разве какой нибудь самый непредвиденный случай, но непременно выеду в Воскресенье.

86.

Петербург.
Пятница 14 Февраля/75.

Милая Аня, сейчас получил твое письмо от четверга и решительно поставлен в самое затруднительное положение и беспокойство. Ты решила почему то наверно что я выеду в субботу и пишешь что в субботу вышлешь ямщика. Я же не могу выехать раньше Воскресенья ни за что. Теперь уж я знаю что в Воскресенье выеду наверно. Вчера же, высылая тебе письмо с деньгами, я узнал в почтамте, что ты получишь его только в Субботу. В нем я написал уже почти наверно что выезжаю в Воскресенье, В том же письме, которое я написал вчера из Общества взаимного Кредита, в 6 строк, я кажется забыл написать что выезжаю в Воскресенье и так ты получишь в Субботу мое извещение что надо выслать ямщика в Воскресение а он уже выслан тобою за день, в Воскресение подождет поезда, увидит[185] что я не приехал и поедет преспокойно назад, а я в Понедельник сиди без лошадей. То-то будет история! Одним словом я в беспокойстве ужаснейшем. Да и как можно высылать не подождавши моего извещения.

Сегодня езжу и бегаю и живу как в аду. В целые две недели ни разу в театр не сходил. Жил самым подлейшим образом, бегал по комиссиям или сидел в лечебнице. Завтра чорт знает сколько еще хлопот. Сегодня был у Трошина, у Варгунина, у Бунтинга, в Гостинном дворе, и в Заседании Славянского Комитета. Обо всех подробностях потом. Процентов у Варгунина насчиталось 156 р. — Он даст счет. Скажи детям что привезу игрушек. Денег идет бесчисленно много, не знаю даже как быть. Авось в Понедельник вечером буду у вас. Обнимаю тебя тысячу раз и цалую. Детей благословляю и цалую, скажи чтоб ждали меня в Понедельник. Нервы у меня расстроены очень. Множество еще визитов и дел не сделано. Обнимаю тебя крепко, люби меня

Твой весь

Ф. Достоевский.

Это письмо пишу в полночь и пошлю завтра в Субботу в полдень; — стало быть это письмо будет последнее. Обнимаю тебя Аня. Скоро поцалую уже взаправду. И как мне детишек увидеть хочется!

87.

Старая Русса,
6 [Марта] Апреля/75.

Милая Аня, всего только 5 часов с тех пор как ты уехала и нового у нас конечно не много. Я проспал еще часа 2 и освежился, детки

же ведут себя превосходно, играют и не плачут. К ним пришла Фиса. — Конечно ты до Шимска уже доехала, но как то далее будет? До твоей телеграмы буду в беспокойстве. Как то не верится чтоб ты скоро кончила в Петербурге. К тому же к твоему возвращению, наверно будет и распутица и Шелонь пройдет. Ну что, в самом деле, если мы и Святую встретим без тебя? Очень будет тяжело. — Думаю как нибудь присесть поскорее за работу. В Отеч. Записки не ходи: сам сегодня пошлю в Редакцию письмо.

Боюсь я и за тебя и за всех неизвестных, боюсь что заболеешь и выйдет что нибудь худое. Беспокоюсь очень. — Обнимаю тебя и цалую; детки тоже.

По крайней мере цели достигни. Подействуй на Ив. Гр. как нибудь убедительнее, з а р у ч и его чем нибудь: пусть действительно что нибудь с д е л а е т и построже, не жертвуя судьбою детей как легкомысленный человек. Каждый К у з н е ц будет бить его детей при такой матери. А аренду непременно и пусть сам едет в именье, без малодушного глупого стыда. Только нам в аренду ввязываться не знаю хорошо-ли?

До свиданья Аня, обнимаю еще раз и цалую. Об нас думай, шляпку купи.

Твой весь

Ф. Достоевский.

88.

Петербург 12 Мая/75.

Милый голубчик Аня, я только что приехал, теперь 10 часов. Остановился в Знаменской гостиннице и в том же 6-м номере. Дорога была прескверная, ни капли не заснул, в Чудове ждали часа два, а поезд был хуже, чем когда нибудь: все места до единого заняты, духота, теснота. Телеграма твоя здесь получена, но никто еще не взял ее. Впрочем в эту минуту не пришли еще почтовый и курьерский поезда (10 и 11 часов утра). Я однако в 11 часов уже отправляюсь по моим мытарствам. Завтра напишу вероятно побольше. Здесь хоть и солнце яркое, но холодно, зелени совсем почти нет. Что детишки? Цалуй их крепко, Лилю и Федю. Постараюсь поскорее приехать к Вам: как уехал от Вас, так и грустно ужасно. Вас, Милостивая Государыня, ужасно люблю и считаю великолепнейшим существом. Обнимаю и цалую тебя, милая, крепко. Детишек тоже.

Твой весь

Ф. Достоевский.

Смотри за детками, голубчик, ради Христа.

89.

Петербург 13 Мая/75. Вторник.

Милый друг Аня, запоздал и не знаю получишь ли это письмо завтра. На железной дороге в ящике вынимают лишь от 12 до 1 часу. — Вчера прибыл и остановился в Знаменской гостиннице (№ 16) Иван Григорьевич и Ольга Кириловна, но утром я их еще не видел, а увидел только вечером уже в 8-м часу, потому что в 11 часов вышел из дому. Был у Некрасова, взял корректуру на дом и взял у него 300 р., обещался притти ко мне сам в Среду (завтра) — вероятно чтоб говорить об деньгах, о которых я еще не начинал говорить. Пишу все без подробностей, потому что всего не упишешь, затем был у Мещерского, просил к себе в Среду. Очень расположен. Затем у Полякова. Этот почему-то и сам хотел-бы не закладывать именье и прежде меня это высказал, так и решили. Затем зашел в гостинницу и виделся с Ив. Григорьевичем одним без Ольги. О подробностях после. Копию письма Ольги он не получил и о письме ее едва знал, а ее сам розыскал в Москве. Затем заказал себе платье. Затем пришел домой, и так как предыдущую ночь не спал, то был в таком состоянии в каком даже никогда себя не чувствовал — так кружилась голова и были расстроены нервы. Затем сел за корректуры, но пришел Пуцыкович, сидел и говорил час. Затем пришел Иван Григорьевич и потом когда Пуцыкович ушел сходил за Ольгой и привел ее. Я должен был по уговору с ним, показать вид что мне ничего неизвестно. Они же пришли ко мне судиться, т.-е. изложили всю свою историю под видом что это случилось у них по соседству, с какими то помещиками, и изложив свою историю спросили моего мнения про разные вопросы. — Затем когда они ушли в 12 часов, я сел за корректуру буквально едва держась на ногах, отсмотрел корректуру и лег спать в 2 часа, спал часов 10 и проснулся лишь в 1-м часу сегодня.

Об Ив. Григорьевиче и Ольге Кир. ничего не могу написать теперь, потому что тут такая путаница, что еслиб и на словах рассказывать, то и тут нельзя выразиться понятно. Сейчас опять приходил Ив. Григорьевич, ничего у них не решено и, по моему, положение их всех — безвыходное. В денежном только отношении он, кажется, обеспечен, да и то только теперь, то есть сегодня утром. Я выеду в Четверг, а в Пятницу буду у вас в Старой Руссе. На мой положительный и неоднократный вопрос Ив. Григорьевичу будет ли Ольга жить в Старой Руссе, он отвечал что ничего не решено, да и она видимо не хочет. Путаница непомерная.

Обнимаю тебя крепко. Детишек цалую, Лилю и Федюрку et. c.

Очень люблю тебя.

Твой Ф. Достоевский.

Не знаю напишу ль тебе еще что нибудь отсюда до Четверга.

90.

Петербург 14 Мая/75
Среда.

Милый друг Аня, теперь первый час; сижу дома и жду Некрасова, который обещался быть ровно в полдень и вот не приходит. Между тем дел набралась куча. Прислал карточку Корш, просит назначить видеться и два раза уже был Казанский[200] и не заставал дома. Хочет прийти в 3 часа, а я даже и к Пуцыковичу не могу сходить за твоим письмецом, потому что должен сидеть и ждать всех этих господ дома. Иван Григорьевичь кажется сегодня с Ольгой уезжают. Очевидно в Старую Руссу не будет. У них ничего ровно не решено и положение их дела хуже, чем когда либо. Так что он сам не знает что будет, и кажется он очень придавился всем этим. На всякий случай пишу тебе для того лишь, чтоб в случае, если в Пятницу не не успею приехать, то чтоб ты не оставалась в неведении. Был у Майкова и был у Сниткиных. У Кони еще не успел побывать. Мочи моей нет. Не тревожься обо мне. А о вас всех я думаю и тоскую.

4 часа пополудни. Был Казанский, говорил об имении Рязанском, ничего особенного, передам при свидании. Был Некрасов с ним все устроил, но деньги получу лишь завтра. — Иван Григорьевичь с Ольгой Кириловной уезжают сегодня к себе в деревню, в Руссу не будут. До свидания дела много, а ничего еще не устроил и деньги только завтра. Обнимаю тебя и цалую и всех троих.

Твой весь

Ф. Достоевский.

91.

Петербург 25 Мая/75.
Суббота.

Милый голубчик Аня, я кое-как вчера приехал и не знаю только успею-ли уехать завтра, в Воскресение[201]. Есть поезд, который отправившись завтра утром в 11 часов будет в Берлине в Понедельник, т.е. на другой день, в полночь. Это бы всего лучше, но предчувствую, что меня завтра задержут и к тому же может быть в сегодняшнюю ночь не высплюсь. У Шармера все таки задержали платье на сутки для последних поправок, а сегодня еще не принесли его, как обещали. Кроме того они сами вызвались и взялись сшить мне жилет белый за 8 рублей к сегодня вечером или к завтраму утром. Но если завтра они принесут позже 9, то вот уж и нельзя отправиться, ибо поезд уходит в 11. Взял сапоги, был у Пуцыковича и у Мещерского.—Майков к обеду не пришел и заране отказался отговорившись что где-то обедает. Слишком ясно что не захотел со мной видеться: я к нему и не зайду. Был у Кашпиревых, они очень радостно меня приняли

и восторженно отзываются о Подростке. Был у Корша: он на даче где-то, верст за 50, и бывает лишь в Петербурге по Вторникам, Середам и Четвергам. Заходил в банк к Мише: ничего особенного, он готов не закладывать имения и ждать. Александра Михайловна [хочет] подает опять просьбу и хочет непременно тягаться по указаниям судебной палаты. Поляков, чорт знает зачем, едет в Рязанскую губ.

Я вчера очень устал. Нынешнюю ночь хоть и спал хорошо, но надо бы часом или двумя больше. Здесь ясное солнце, но холодно. Здесь, Аня все женщины почти без исключения, надели черное и ходят во всем черном, что очень недурно [зачеркнуто но не разобрано]— мода что ли такая, не знаю. Скажи Федичке что я очень, очень долго его видел с парохода а Лиличку как она мне кланялась. В самом деле я видел и разглядел ясно как вы все пошли с парохода. Аня, голубчик, ради бога смотри за ними и сбереги их. А тебя люблю бесконечно, ты мне ночью [снилось] снилась. Пиши о себе все до последней подробности, не забудь бобку и баню. До свидания голубчик, теперь уже напишу из Эмса. Очень вероятно, почти на половину шансов, что завтра не успею выехать и меня задержут, тогда завтра напишу отсюда. Квартир здесь пропасть но все дороги.— Купил Суворина (в дороге он[202] утомил меня), Русский Вестник мне пришлют в Ems. Цалую твои глазки и всех наших деток, твой вечный и неизменный муж

Ф. Достоевский.

Впрочем изменный к лучшему.

92.

Берлин. Вторник.
27 Мая/8 Июня — 75.

Милый голубчик Аня, вчера в полночь приехал в Берлин и сегодня же уеду в Эмс, где буду завтра. — Пишу для того, чтобы поскорее вызвать и тебя на ответ хоть днем раньше; а то ты пожалуй все будешь ожидать от меня из Эмса а до тех пор не напишешь, а это слишком для меня долго. Из Петербурга выезжал в Воскресенье в 9 часов утра, и совсем не выспавшись; очень измялся в дороге. хотя погода была хорошая, теплая. Денег не швыряю, а вышло уж много. Переезд сюда стоил сорок рублей за одно место. Выспался в Берлине ужасно плохо (всего 5 часов) не дали: стук, гам. Взял ванну. Цены здесь ужасные. В дороге чемодан исцарапался ужасно, я сам был свидетелем до какой степени с кладью небрежны, особенно за границей träger'ы.

Что то с Вами: Думаю о тебе, о Федечке и о милой Лилечке беспрерывно, и о многом думаю и беспокоюсь. Пиши по чаще, установи в корреспонденции правильность. Ради бога будь весела. В Пе-

тербурге был у меня Коля, Корша не застал, у Майкова не был видел Мишу. Был у Сниткиных, Михаил Николаевичь только улыбается на мои и твои сомнения, и говорит что ты, по всем признакам должна превосходно родить. Боюсь чтоб тебя что не расстроило, ты такая была нервная в последнее время. Досвидания ангел мой, завтра может еще напишу. Люблю всех вас очень-преочень. Крепко обнимаю тебя цалую детишек.

Твой весь Ф. Достоевский.

93.

Эмс. Четверг 3.
29/Мая/10 Июня/75.

Милый голубчик мой Аня, я приехал сюда вчера и сейчас пошел на почту и вовсе не нашел твоего письма, обещанного poste restante, что меня очень смутило, так что я теперь в большом беспокойстве. Утешаю себя только соображением что ты может быть послала в субботу позже 9 утра и оно пошло лишь в Воскресение, а я уж в Воскресение уехал из Петербурга и так как вплоть до Эмса ехал на курьерском поезде, то, не смотря на суточную остановку в Берлине, обогнал почту. Думаю не придет-ли что сегодня. Но если сегодня не придет, буду очень беспокоиться. Опять же если ты, чтоб писать ко мне, положила ждать прежде от меня из Эмса, и уже тогда отвечать, то не скоро же мне придется от тебя получить что нибудь. Вот почему и послал тебе несколько строк из Берлина, чтобы вызвать тебя поскорей на ответ. И надо положить в письмах правильность: не дожидаясь взаимно писем писать, например, в каждые трое суток. Теперь, например, я пишу в четверг, следующее письмо пошлю в Воскресение, не дожидаясь ответа. Это впрочем не должно нарушать возможности писем и сейчас по получении письма, если что нибудь случится, требующее немеленного ответа. Ходил вчера тоже на телеграф справиться нет-ли [ответ] телеграммы от тебя poste restante? И вообще в беспокойстве большом.

В Берлине я проскучал сутки, при гадкой ветряной и дождливой погоде. Купил зонтик и шляпу. За зонтик мне сказали в отеле, что я переплатил 2 талера. Я заплатил 10 талеров впрочем шелк очень недурной. За шляпу заплатил 5 талеров, рубашек не нашел купить и не купил. Порт-сигар забыл купить. Выехал из Берлина во Вторник в 11 часов вечера. Дорогою хоть немного да спал. Вчера день был горячий, жаркий, солнечный, а сегодня дождь как из ведра, так что не знаю как и пойду. Эмс ужасно гадок при дожде. Мне весь день вчера было страшно тоскливо и скучно, а ночью опять не успел выспаться, не дают. Первый взгляд на Эмс произвел на меня гадкое, мизерное впечатление. — Был у доктора: он нашел меня несрав-

ненно лучше чем в прошлом году. Незажившая болячка увеличилась, но за то три другие, зажившие в прошлом году не возвратились. Он меня раздел всего и тщательнейшим образом [выслушал] осмотрел и выслушал. Телом он нашел меня удивительно поправившимся за зиму (и уже разумеется от того что мы жили не в Петербурге). Он надеется на успех. Положили начать лечение с сегодня же, т. е. с четверга. 2 стакана утром с молоком и 1 вечером, потом будет постепенно увеличивать. Сегодня начну после обеда, и выпью один первый стакан, а завтра уж начну вставать в 6 часов утра. Если это лечение не поможет и я даром ездил, то я буду слишком несчастен, истратив столько времени (и в такое время) с вами в разлуке, и столько денег.

Вчера же нанял и квартиру, не в Hotel D'Alger, там занято, а 2 дома дальше, в Hotel Lucerne, но не во 2-м а в 3-м этаже, за то две недурные комнаты и с балконом. Нанял совершенно за те же цены как в Hotel d'Alger и на тех же условиях. M-me Bach (из Hotel d'Alger) предлагала мне у нее, в 3-м этаже, без балкона, и хоть и спускала капельку цены и очень желала чтоб я переехал, но эта теперешняя квартира, в Hotel Люцерн несравненно лучше, не знаю только спокойнее-ли: есть сосед, который говорит и стучит слишком громко по утрам, [когда уходит] а в верху дряннейшая ученица на фортепьяно, выдержавшая меня 1½ часа на дряннейшей школьной игре. Посмотрю впрочем и если что перееду к Бах, когда опростается у ней (скоро) моя прошлогодняя квартира. Теперешняя хозяйка моя M-me Moser высокая (на два вершка выше меня) сухая как щепка, рыжая немка, еще не старая, с официальными улыбками. — Не знаю ужившись-ли.

Здесь русских очень немного еще, настоящий сезон здесь еще едва начался. Я встретил лишь Тачалова, священника, он здесь на одну минуту. Он же и сообщил мне что никого нет. В Листе издающемся от Кургауза, есть имен 15 русских (все русские иностранцы), да несколько незнакомых имен, из аристократии и из купцов. Есть граф Комаровский, [203] славянофил, но я не знаком. Старик, Князь Вяземский, [204] поэт, из Гомбурга, но я верно не познакомлюсь, и наконец Аксаков из Москвы, но кажется не Иван Сергеевичь, а может быть другой, нигилист. [205] Аксаковых теперь очень много. Тачалов не знает. Таким образом я здесь в самом полном уединении, и скучища, предвижу, будет невероятная.

Только бы от тебя письмо получить поскорее. Мочи нет как тяжело действует неизвестность. Что-то детки? Пиши об них подробнее как можно. Вчера с мучением думал о тебе и твоем здоровьи и продумал весь вечер. — Аня, голубчик, будь бодра, бог милостив, может быть отлично все устроится к лучшему. Обнимаю тебя всей душой. Об детках думаю беспрерывно. Поцалуй Лиличку лишний раз, и ска-

жи Феде, что маленькие лошадки (ослы и мулы) стоят у моста, оседланные в красные седла, хорошенькие, и их [нанимают] нанимают кататься, девицы, и маленькие мальчики и девочки, и что уж у меня спрашивали: Зачем я не привез Федю? и я сказал что привезу непременно на следующее лето. Скажи им, что я им непременно привезу гостинец. Пиши мне Аня подробнее как ты проводишь время.

Деньги здесь таки идут. Дорога стоит не дешево, жизнь здесь тоже. Вчера купил клубники и вишен, чтоб заговеться на все время, ибо все это запрещено доктором. Желудок мой в дороге очень поправился. Странно, что у меня всегда поправляется желудок в дороге. Вчера я надел Шармеровское платье в первый раз, и мне стыдно стало: Удивительно как я вдруг стал похож на модную картинку, ей богу так. Сшито безукоризненно; шляпу я купил себе совсем другой формы и нахожу что удивительно идет ко мне. Воображаю каким фатом ты меня сочтешь за эти слова. Цалую твои глазки и обнимаю тебя всю, ангел мой милый. Ты мне дороже всего на свете и таких жен как ты нет. Я впрочем это тебе говорил, но ты не знаешь как часто я это чувствую. Главное, будь бодрее. А писать мне тоже не ленись. Всем поклон. Детишек цалую тысячу раз. — Чувствую себя ужасно изломанным с дороги; вчера засыпая страшно вздрагивал, что в последнее время случалось редко. Первую неделю Кренхена — обыкновенно дурной сон, дурные сны-кошмары, страшная раздражительность и расстройство печени, так будет неделю или больше.

Государь сегодня должен отсюда уехать, мне так и не удалось увидать его. Император Вильгельм приехал. Вчера все играла музыка под его окнами. В саду публики множество, все нахалы и франты и множество хорошеньких дам, всех национальностей.

Что если не получу и сегодня от тебя письмо. Написал бы и вчера но опоздал, ибо только до 3-х часов положенное письмо идет в тот же день. Обнимаю вас всех крепко.

Твой весь

Ф. Достоевский.

На поле 4-й страницы написано:

Вообрази, вчера, только лишь приехал в 11 часов и остановился в отеле, приказал чай и ростбив, мне принесли, а я сел на диван, капельку закрыл глаза и вдруг заснул на полтора часа. До того изломан.

94.

Эмс. 13/1 Июня/75
Воскресение.

Милый друг мой Аня, получил твое письмо еще в Четверг, и сегодня жду, по обещанию твоему, опять письма. Так хотелось-бы тебя

видеть и поцаловать. А я здесь скучаю смертельно, мучительски. Погода с самого четверга, холодная и дождливая. Были два дня такого ветра, что я даже и нигде не запомню, целая буря. Дождь льет как из ведра, больше по утрам; к вечеру же проглядывает иногда солнце. За то 13 и много что 15 градусов тепла, так что я постоянно надеваю пальто. Хотел было поберечь зонтик, но нечего делать надобно защищаться от ливня. Здоровье мое порядочно, разумеется от вод еще не ощущаю никакого действия. Да и пью я всего 3 стакана в день, в микроскопических приемах (по 4 унца воды). Хочу опять спорить с доктором; пойду к нему сегодня, по уговору с ним. Сон и апетит хорошие, но вздрагиваю по ночам и кажется, будет падучая. Мои товарищи по соседству иногда гремят и топают и боюсь, что не дадут мне спокойно работать когда начну. Теперь же сижу больше дома и кое что читаю. И рад бы ходить, да и требуется это лечением, не невозможно. Вот и в эту минуту дождь льет как из ведра. — Из русских здесь никого знакомого, да и русских еще совсем мало. Аксаков этот верно из других Аксаковых, а не мой знакомый. А то все по печатному листу прибывших, какие то Мясоедовы, Дундуковы, да Веберы из России. Вообще из России множество немцев. И так у меня ни одного знакомого, предвижу что и не будет. Повторяю, скука невыносимая. Обед мне приносят, [еда с] за 20 грошей — довольно невкусный. Хозяин и хозяйка со мной очень предупредительны, а маленькие дети их (с Лилю и Федю) принесли мне вчера в подарок цветов. Надо-бы им купить гостинцу, а здесь и гостинцу то нет. Одним словом скучно.

Что то ты Аня? Все хочется поцаловать тебя, и ночью ты мне [одет...] снилась. Думаю про вас всякую свободную минуту, а свободных минут у меня множество. Пиши подробнее о деточках. Милая Аня, как я горевал что у вас бани не было, не смотря на мои просьбы! Во первых я бы желал чтобы тебя та осмотрела, а во вторых мысль что дети по $^1/_2$ месяца без бани — ужасно. Это развитию вредит их тела, заклеивает его, не дает ему питаться воздухом; не одним только ртом питается тело. Так мне было грустно прочитать это в письме твоем, что я целый тот день думал, да и теперь думаю. — Аня, голубчик, как нибудь сладимся, сделаем так чтоб у нас это как нибудь устроилось с детьми.

Что тебе еще написать о себе? Здесь в Курзале всего из русских газет один только Голос. Пуцыковичь хотел мне высылать Гражданин, но я не получил. Уговорился тоже у Базунова, что Русский Вестник мне пришлют сюда. — Сегодня в первый раз видел императора Вильгельма. Музыка здесь очень не дурна, два больших [хора] хора, инструментальный и духовой. Но главное скука, скука и скука.

Просто с ума думаю сойти. За занятия еще и не садился. А дождю даже и конца не предвижу.

Цалую и обнимаю тебя сто раз, детишек тоже, поговори им обо мне, скажи что я об них думаю и спрашиваю. Анечка, голубчик, не кричи на них нетерпеливо. Я верю, ангел мой и понимаю, что в твоем положении тебе трудно, а они должно быть часто мучают тебя. Но ради бога смотри за нянькой. Все то я беспокоюсь и мучаюсь, и, признаюсь тебе, расположение моего духа очень мрачно. — А всего пуще боюсь за тебя; что если лечение мне не принесет особенной пользы — зачем же я тебя оставлял в таком случае! Упрекаю себя и мучаюсь. До свидания голубчик, крепко, крепко обнимаю тебя, перецалуй деточек. Поклоны всем кому надо.

Твой весь Ф. Достоевский.

Приписка на поле 3-й страницы.

Не сердись на меня за то, что я написал о бане. Люблю тебя как моего ангела, который меня хранит и дал мне счастье. Грустно мне Аня здесь без тебя.—

95.

Эмс, 4/16 Июня/75
Среда.

Голубчик мой Аня, получил твое письмецо от 28 мая третьего дня, ужас, как долго идет. Благодарю за письмецо, за то что в бане были и за известие о тебе и о детишках. Пожалуйста разнообразь время, ходи в театр и гулять почаще и всеми силами бодрись, т. е. сопротивляйся окислению. В твоем положении стоит только начать поддаваться и уступать разным давлениям, как втрое станет тяжелее. Главное, пиши почаще, срочно, непременно в три дня (по крайней мере) раз, а то я здесь бог знает что выдумаю. С детишками говори иногда обо мне. Федина песенка премиленькая, Лилю цалую особенно. Я здесь, Аня, буквально мучаюсь. Ни единого знакомого (хоть бы Кублицкий приехал). Не с кем слова молвить. Русские есть, но все совершенно мне неизвестные, и на половину все русские иностранцы и русские купцы. Неужели так все время останется, очень тяжело. Погода у нас сквернейшая. До вчерашнего дня был сплошь дождь и ветер, а вчера дождь шел всего только три раза в день. По утру, в семь часов, тринадцать и 14 градусов, затем к двум часам возвращается до 24-х и потом вдруг в какой нибудь час, вихрь и падает опять на 15 и на 14. Третьего дня я почувствовал что простудился, а вчера был весь день страшнейший насморк, чихал в час раз по 200

и по 300 (без малейшего преувеличения) и испортил в один день 5 платков и целое полотенце, в которое принужден был начать сморкаться. К вечеру жар, головная боль и большая слабость, так что я даже было и испугался; но сегодня утром встал несравненно бодрее, чем предполагал ложась. Насморк хоть и продолжается, но впятеро меньше. Жару тоже нет, только немножко болит голова. Главное же ободрило меня, что апетит все тот же (прекрасный) и язык совершенно чист (т. е. завтра буду совсем здоров). Вот почему и не пойду к доктору а пойду в свое время, чтоб не платить лишних талеров. Затем скука адская, тоска невыразимая, народу здесь очень много, по Кур-листу уже 5.000 имен. До невероятности чванные, жеманные, нахальные и грубые рожи. Развлечений никаких, гулять негде (все полно гадостью). Я был в Духов день в русской церкви, народу много, больше чем я ожидал, но все бог знает кто. Дамы жеманничают, садятся на стульях и падают в обмороки. При мне в церкви три упали в обморок, (от ладану и от духоты будто-бы), а небось на бале пропляшет всю ночь, или такой наворотит обед, что и двум мужикам было-бы в сытость. Гадко. Доктор прибавил мне три стакана утром по 6 унцев и 2 после обеда, по 4 унца. Про лечение еще нечего сказать. Сквернее всего то, что еще и не думал начинать работу: и тоска, и все эти хворости и свинства всякую охоту из меня вышибают. А другие-то думают, что я заграницу веселиться поехал, Анна Гавриловна и Александра Павловна кажется это думают. Кстати, которой из них нужна карточка Гамбеты, я забыл? Гамбету я еще не сыскал, да и не до него мне, да и не понимаю нетерпения чтоб посылать в письме. Подождут пока привезу. Если не отыщу здесь то в Берлине надобно нарочно поискать его; там-то найду.—Голубчик мой милый Аня, все ужасаюсь взятых на себя обязательств: вижу что, как ни старайся я, но почти не будет времени писать. Между тем чуть выеду отсюда, то уж и совсем нельзя будет писать с дорогой, с переездом в Петербург и потом в виду того, что последует. Просто прихожу в большую тоску. Да подумывай тоже и об том, Аня, как нам решить на счет квартиры в Петербурге: должен ли я там отыскать ее, проездом, или мы вместе приедем из Руссы, хоть в гостинницу, и потом уже найдем. Об этом нужно твердо и окончательно решить. Также и об служанках: недурно еслиб поехала с нами Лукерья.

Написать тебе еще ничего не имею. Желал бы сегодня совсем выздороветь. Воду пью акуратно. Встаю в 6 утра, а ложусь в 11-м вечера. Жить здесь не совсем дешево, но я особенно денег не бросаю.—Цалую и обнимаю тебя чрезмерно, но любишь-ли ты то меня, голубчик, вот вопрос. Я об вас думаю беспрерывно. Детей цалуй и пиши мне об них подробности. Хорошо кабы ты, всякую подробность, кото-

рую мне пишешь о детях, вписывала бы и для себя, на память, в особую тетрадку. Для этого можно бы особую книгу купить. И как бы это было хорошо, как пригодится и им и нам, чрез много лет, если удастся еще пожить. У тебя была идея в этом роде.

Милая Аня, верь моей любви бесконечной, умоляю береги себя и детей. Кстати не подумай обеспокоиться моим насморком. Все это вздор.—А может прочтя это засмеешься и назовешь меня фатом. Я потому написал: не беспокойся, что знаю доброе милое сердечко моей женки, без которой, увы, живу вот уже 2 недели. Аня милая, люби меня и думай обо мне иногда, от мысли о том мне будет веселее

Деток цалую, всем поклон. Нет ли известий от мамы, от Ивана Григорьевича? Ах Аня, как я боюсь, что у них там опять что нибудь выйдет и на тебя это подействует. Проклятая Ольга Кириловна, гадкое купецкое отродье.

Обнимаю вас всех и всех.

Твой весь

Ф. Достоевский.

96.

Эмс, 7/19 Июня [1875 г.]
Суббота.

Милый мой голубчик Аня, прошу тебя очень, еще раз, пиши мне акуратно каждые трое суток, чтоб мне приходилось получать от тебя известия непременно в три дня раз — иначе пропаду с тоски по вас и скуки здесь. Сам тоже буду писать в три дня по разу акуратно, (кроме разумеется каких нибудь самых экстренных случаев).—Все таки надеюсь получить от тебя что нибудь сегодня, но не наверно. Теперь 11 часов, а почта откроется лишь в час (т. е. после прихода почты и разбора писем). Что то с вами. Эти 4 дня что не получал письма кажутся веками. Я же по прежнему: скучно, грустно, гадко и смутно. Насморк мой прошел. В свое время был у доктора (хожу в каждые 5 дней по разу), он не нашел лихорадки. Но я однакоже сильно кашляю, по вечерам потею, в груди хрип сильнее чем зимой и отхаркивание тугое. Может быть действие вод, а может быть и просто от подлейшего здешнего климата. Это Петербург в своем роде. До третьего дня все шел дождь вчера же и сегодня хоть и солнце, но страшно холодно, по утрам 13 градусов и даже меньше, в три по полудни при солнце, 15—точь в точь как у нас в Старой Руссе в средине апреля.—Пью я по три стакана в 6 унцов утром и по 2 в 4 унца вечером. Но рана в груди все продолжает сказываться. Впрочем сегодня всего еще 8-й день лечения. Слишком горько будет если не получу совсем облегчения и ездил даром, убив и деньги и время.—

В теперешней квартире моей мне не совсем хорошо: под окном в спальне моей, в доме рядом—мастерская, слесаря и лудильщики встают раньше 5 часов и начинают стучать молотками. Два дня сряду пробуждался я в 5 часов утра. Я жаловался хозяевам; хозяин ходил просить чтоб начинали работу в 6 часов, но за то днем опять таки целый день без остановки тик-[тик] тик, одуреешь совсем и нервы расстраиваются. В Ville d'Alger рядом квартира опросталась—и вот не знаю съехать ли мне или нет? Не решаюсь и колеблюсь. Между тем работа еще не начиналась. Я даже не понимаю как я напишу что нибудь. Положим мне еще здесь пробыть недели 4, но что я сделаю один без тебя, и притом я еще не готов прямо сесть и писать, не выделал плана в частностях. Но уж после этих 4-х недель, (а может и всего только 3-х) когда выеду отсюда, предвижу писать уже нельзя будет: в Петербурге надо биться нанимать квартиру, приехав же к вам тотчас опять собираться в путь—когда же работать? Все тяжелые мысли и сомнения и вечно один сам с собой. Не поверишь до какого исступления, до какой истерики мне здесь скучно. Ни одного знакомого лица, ни одного слова не с кем сказать, все один и один—нет, это невыносимо! Никогда в жизни не было у меня времени подлее.—А вдруг ктому же пожалует припадок и нельзя будет уже совсем писать! Ох, тяжела даже мысль об этом, а это может быть наверно будет.

Жду что хоть что нибудь напишешь, над чем можно будет пожить душой хоть минутку, т. е. фактов и фактов, это главное. Вероятнее всего что почтмейстер скажет мне сейчас nichts da.

Пуцыкевичь начал мне присылать „Гражданин". С Базуновым я уговорился о Русском Вестнике чтоб прислал 5-ю книгу сюда, и вдруг здесь из объявления о выходе ее в Моск. Ведомостях читаю, что без Анны Карениной. Так что и тут скука. Однако каково же я по крайней мере прервал роман у Некрасова кончив 2-ю часть, а тут прерывают прямо на средине 3-й части. Не очень-то церемонятся с публикой.—Нам будет предстоять кажется очень тяжелая осень в Петербурге друг ты мой Аня. Во первых твое состояние, тут же моя работа, деньги и решение на будущий год,—т. е. что я стану делать, чем промышлять, издавать ли „Дневник" или неудастся? Обо всем этом думаю беспрерывно, и уже всю голову изломал на этом. Дети мне даже снятся ночью. Надобно для них работать, нельзя их без ничего оставить—а как это сделать? Задача. Жду твоего содействия во всем. Притом же бог располагает. Но это еще далеко. Только бы нам поскорее увидеться. А и увидеться спешить—хочется нравственно, а действительные обстоятельства не позволяют: не написав хоть сколько нибудь романа нельзя домой ехать.

Деньги все таки идут. Здесь не так то дешево. Так или этак а все идут. Кормить меня стали (из отеля) плохо и я там на время отказал, хочу поискать чего нибудь получше. А то стали приносить сущую гадость.—Вообще 22 или 23 непременно надо начать писать уже начисто и успеть сделать план, иначе ничего не успею привезть в От. Записки. Милый друг мой, цалую тебя как моего доброго ангела, без которого вижу, что жить не могу. Без детей тоже жить совсем не могу.

Здесь, для меня по крайней мере, никаких происшествий. Все глухо и мертво. У Кургауза и в парке теснота и толкотня невыносимые (мне уже облили пальто из стака Кренхеном).

Рожи нестерпимые. Слышится и русский говор, но все чорт знает кто. Какие то Мясоедовы, Вараксины и проч. Вчера вечером ушел бродить за город, места хорошие, но грустные. Здесь теперь очень много цветов. До свидания ангел мой, обнимаю и цалую тебя до того, что и самой тебе бы надоело. Цалую твои ручки и ножки. Смотри смотри ради Христа за детками, умоляю ангел мой. Благословляю детей и цалую. Карточку Гамбеты отыскал, но старую и нехорошую лицо ужасно глупое, но все таки в письмо не вложу: возбудит подозрение на почте, распечатают, будут читать и письмо пропадет или запоздает. Не большая беда если и подождут,—сам привезу.—Здесь должен был пожертвовать 3 талера на русскую церковь и талер на глухонемых.

Сейчас ходил на почту и получил от тебя письмо, [зачеркнуто три слова] и удивился: Письмо помечено тобою от 31 Мая (Суббота), а штемпель на конверте [из] от Старо Русского почтамта от 3-го Июня! Неужели 4 дня лежало на почте? Непременно так, потому что еслиб не так, то до 3-го Июня ты бы наверно уже успела получить мое письмо из Берлина и что нибудь мне об этом приписала; да и странно: я из Берлина написал во Вторник, 27 Мая, так что даже и в Субботу, 31 Мая, от которого ты пишешь, ты уже должна бы его получить.—И так в результате твое письмо от 31 Мая пришло ко мне 7-го Июня! прошу покорно! [если же с] прошу тебя расспроси в Старо-Русском почтамте и внуши им; что же это такое? Уж не читает-ли кто наших писем! Смешно. Я привезу конверт в Старую Руссу: ясно на нем отмечено что письмо отправлено 3 Июня. Клеймо С.-Петербургского почтамта от 4-го Июня. Но как же это Берлинское мое письмо не дошло? Если даже оно в Среду пошло из Берлина, а не во вторник (как я положил) то в Субботу уже должно было быть у тебя. И вот теперь уже я беспокоюсь: это ужас: и Эмское мое письмо должно было уже ко Вторнику дойти к тебе: я его послал к тебе 29 Мая отсюда (по нашему стилю).

Пишешь, что у тебя расстроены нервы, жалею тебя очень, ради бога развлекайся, гуляй, ходи в театр. Не подражай мне в скучании. Спасибо [зачеркнуто одно слово] за несколько строчек. Спаси бог тебя и детей.

Твой весь
Ф. Достоевский.

А в почтамте поговори. Я сохраню конверт.

97.

Эмс, 10/22 Июня/75.
Вторник.

Письмецо твое, дорогая моя Анечка, [получил] получил я в Воскресенье, т. е. то которое ты писала во Вторник от 3-го Июня, и пометила, что в 7 часов утра. И однако оно в тот же день из Старой Руссы не пошло, потому что на конверте печать Старо-Русская от 4-го Июня, и это именно потому что в почтамте у вас нарочно задержали письмо на сутки для того, чтоб от 3-го успеть отправить прежнее письмо (от 28 мая), [пролежав] провалявшееся в почтамте 5 дней. Еслиб они послали оба письма разом, то тогда явно бы изобличилась их небрежность. Пожалуста побранись с ними хорошенько, Аня чтоб они не делали глупостей. Очень меня беспокоит то, что ты пишешь о своих нервах и о своей раздражительности. К чему же это приведет? Я здесь от всего беспокоюсь потому что сам раздражаюсь ужасно. Ради бога, голубчик, не смотри мрачно, есть в тысячу нашего хуже, а нам еще и радоваться можно, хоть бы на деток. Мне так приятно было прочесть то, что ты об них пишешь. Но все забочусь, и день и ночь об них думаю и обо всех вас: все хорошо, а вдруг случай какой нибудь. Случайного я пуще всего боюсь.

Во всяком случае увидимся скоро. Не думаю, чтобы здесь я долго зажился. И хоть даже ничего не успею написать романа, все-таки приеду раньше. Не знаю принесет-ли этот раз мне какую нибудь пользу леченье. Пока никакой пользы не вижу. Правда сегодня всего еще десять дней леченью. Мокроты скопляется еще больше чем в Старой Руссе и ранка, чувствую это ясно [зачеркнуто одно слово] не заживает. Да к тому же и климат совершенно во вред лечению. С последнего письма моего, до самого сегодня дождь лил как из ведра, буквально не прерываясь: что будет хорошего лечиться в такой сырости, беспрерывно слегка простужаешься. Сырость и к тому же скука. Я думаю я с ума наконец сойду, от скуки, или сделаю какой нибудь неистовый поступок! Невозможно больше выносить чем я выношу. Это буквально пытка, это хуже заключения в тюрьме. Главное, хоть бы я работал, тогда бы я увлекся. Но и этого не могу, потому что план

не сладился и вижу чрезвычайные трудности. Не высидев мысли, нельзя приступать, да и вдохновения нет в такой тоске, а оно главное. Читаю об Илье и Энохе (это прекрасно) и «Наш век» Бессонова. Вислоухие примечания и объяснения Бессонова, который даже по русски изъясняться не умеет, приводят меня в бешенство на каждой странице!— Читаю книгу Иова и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу по комнате, чуть не плача, и еслиб только не подлейшие примечания переводчика, то может быть я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это—одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!—Кроме этого развлечений здесь никаких, ни малейших. Только и есть что два раза в день на водах музыка, но и та испортилась: редко-редко играет что-нибудь интересное, а то все какое нибудь попури, или марш немецкой славы. Какой нибудь Штраус, Оффенбах и наконец даже Ems-pastillen polka, так что уж и не слушаешь. К тому же мешает толпа густая, пятитысячная, на теснейшем сравнительно пространстве, толкаются, ходят без толку точно куры. Но в эти дни дождя еще теснее, все жмутся мокрые с мокрыми зонтиками под какую нибудь галлерею, и главное все разом, потому что пьют воду, а не являться в определенный час нельзя, и вот в это время оркестр играет Ems-pastillen polka. Газет русских всего выписывается две. Я получал Русский Вестник— весь наполнен дрянью.—Русские хоть и есть, но еще не так много, и все как и прежде незнакомые. По Кур-листу прочел что приехал Иловайский [206] (Московский Профессор) с дочерью,—тот самый Иловайский, который председательствовал в обществе Любителей Российской Словесности когда читалось как Анна Каренина ехала в вагоне, и когда при этом Иловайский громко провозгласил что нам (любителям) не надо мрачных романов, хотя бы и с талантом (т. е. моих), а надо легкого и игривого, как у графа Толстого. Я его в лицо не знаю, но не думаю, чтоб он захотел знакомиться, а я разумеется сам не начну.— Все надеюсь не приедет ли еще хоть кто нибудь, но тогда, бог даст, я буду уже сидеть за романом и мне времени не будет. Ах, что-то удастся написать и удастся-ли хоть что нибудь написать. Беспокоюсь ужасно, потому что один. Хоть я и дома, в Руссе, сидел один, но знал по крайней мере, что в другой комнате детки, мог вытти к ним иногда, поговорить с ними, даже подосадовать на то что они кричат—это придавало мне только жизни и силы. А пуще всего знал, что подле— Аня, которая действительно моя половина, и с которою разлучаться, как вижу теперь, действительно невозможно, и чем дальше, тем невозможнее.

Ну вот и все обо мне. Я раздумал съезжать и остался в Hotel Luzern. Кстати вот тебе на всякий случай мой адрес: Bab-Ems, Haus Luzern,

№ 10, а M-r Dostoewcky (т. е. ты по прежнему всегда пиши poste restante, а это я тебе на всякий случай). Все-таки хозяева эти довольно деликатные люди, как я вижу больше и больше. Под окнами стучат меньше, а дети хозяев 4-х и 3-х лет, девочка и мальчик, полюбили меня и приносят мне цветов. Эти хозяин и хозяйка (Menser) имеют дом и землю, и хозяйка сама стряпает и варит кофей, а он—учитель в школе и дает уроки. Соседи мои весь день не дома, и являются домой лишь чтоб спать, это один бравый молодой и очень красивый немец из Берлина, купец, и один 19 летний подросток, француз, M-r Galopin весьма учтивый молодой человек. Внизу в бельэтаже, прямо подо мною приезжее немецкое семейство снимает три комнаты. Барыня, мать этого семейства, довольно толстая немка до того рассеяна, что вместо 2-х лестниц, сходит иногда 4 в 3-й этаж и попадает прямо в мою дверь, отворит ее с размаха и стоит, секунды на три, не узнавая куда зашла. Потом крик: Ah mein Gott! и бежит к себе вниз, так было уже два раза, раз утром,—другой раз вечером.—Впрочем я и сам точно также рассеян: не далее как вчера, вместо своего отеля, Luzern'a вошел рядом в отель Genz, взял с доски мой ключ, т. е. 10 №, поднялся в 3-й этаж и начинаю отворять мой 10-й № (совершенно точно также расположено как и в Luzern) но хозяйка и служанка прибежали и объяснили мне что я живу не здесь а рядом в Luzerne. Хорошо еще что они уже узнали меня в лицо, т. е. что я живу в соседнем Luzern'e, а то конечно могли принять за вора.

Аня, милочка, пиши мне каждые три дня, и пр] пиши как можно больше подробностей. Писем я жду как манны небесной. Не сердись на меня, ангел мой, что я в моих письмах хандрлив. Бог даст сяду за работу и забуду хандру. А тут пожалуй и лечение пойдет успешнее.—Сегодня солнце и тепло.—От одной тоски знаю что не избавлюсь, это по вас: все боюсь что с вами случится что нибудь. Обабился я дома за эти 8 лет ужасно Аня; не могу с вами расставаться даже и на малый срок—вот до чего дошло. Аня, милочка, все думаю о будущем, и о ближайшем и об отдаленном одно: дал бы бог веку и мы с тобой что-нибудь устроили бы для детей.

Голубчик, живи веселее, ходи, гуляй, отгоняй дурные мысли. Есть-ли у тебя доктор? Надо непременно-бы пригласить, чтоб ездил.—Известия об Ив. Григорьевиче ужасно характерны. Он несчастен в полном смысле слова; одного боюсь что у него терпения не достанет. Но он, как и ты Аня, исполняя чувства долга, знает что обязан детьми, и наверно укрепится и не решится на что нибудь. А с ней надо действительно построже: ее надо совсем бы бросить.

Обнимаю тебя и благословляю детей, всех. Аня, почему не назвать если будет девочка, Анной? Пусть будет в семье вторая Нюта. Так ли. Я даже очень так хочу.

Еще раз обнимаю тебя и всех вас.

Твой весь

Ф. Достоевский.

Всем поклон.

Снишься ты мне часто. Впрочем начались сниться и кошмарные сны (действие воды). Ужасно боюсь припадка, слишком долго не было. Значит если придет, то в месяц раза три, так всегда после долгого перерыва. Что тогда делать с романом?

98.

Эмс, 13/25 Июня/75
Пятница.

Милый мой голубчик Аня, милое письмецо твое от Субботы (7-го Июня) получил вчера в Четверг и за него благодарю. Главное, за успокоительные известия и что ты призывала доктора. Это особенно меня беспокоило. Мне все тяжело было что ты из этого во что бы то ни стало, до самого последнего времени, как бы хотела сделать тайну. За детишек тоже благодарю — и за то что смотришь за ними и довольна ими и за то что их доктору показывала. Все таки я от тебя получаю лишь в 4 дня раз письмо, а сам пишу в 3 дня раз. Последнее письмо я послал тебе во Вторник. В тот же день вдруг над всем Эмсом повис туман, совершенно молочный, непрозрачный до того, что за 20 за 30 шагов различить было нельзя и так висел сутки при 30 градусах тепла и безветрия — значит духота и сырость, так что совершенно не знаешь во что одеться — в легкое, простудишься от сырости, а в тяжелое вспотеешь и опять простудишься. Так простояло сутки и вдруг пошел дождь. С тех пор вот уже третьи сутки льет как из ведра. Когда я пишу из ведра, то понимай буквально. Это ливень, который у нас, в нашем климате, в сильную грозу продолжается лишь $^1/_4$ часа. Здесь третьи сутки — буквально без перерыва с шумом льет вода — изволь жить, изволь ходить пить воду. Я все платье промочил. Здесь почва каменная и чуть солнце ужасно быстро просыхает, но в эти три дня до того размокло, что идешь как в каше, мочишь ноги и панталоны. Зонтик уже не защищает. Какая тут польза от лечения, когда у меня беспрерывная простуда, — легкая, но простуда насморк и кашель. Пророчат что сегодня к вечеру разгуляется. Впрочем насчет моего лечения я еще не знаю что сказать, потому что, не смотря на климат, мне кажется, по некоторым признакам, что некоторая польза может быть. Я теперь

уже пью maximum, по 4 стакана утром и по 2 после обеда, но сама можешь представить какая мне здесь тоска и до чего у меня расстроены нервы. Пуще всего мучает меня неуспех работы: до сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь и нет сил начать. Нет, не так надо писать художественные произведения, не на заказ из под-палки, а имея время и волю. Но кажется наконец, скоро сяду за настоящую работу, но что выйдет не знаю. В этой тоске могут испортить самую идею. Припадка жду каждый день, но не приходит. Странно и то: мне кажется что я начал телом худеть, чего не было прошлого года, хотя очевидно это действие вод. Впрочем апетит и пищеварение у меня хороши. Ну вот и все об моем здоровьи.

Мне, главное, о тебе. Жду что напишешь мне на счет найма квартиры. Полагаю что я здесь не очень долго теперь пролечусь, следственно и квартира будет нанята рано, т. е. наверно еще в I-й половине Июля. — Я бы очень желал поскорее к вам: по крайней мере хоть не так буду беспокоиться о вас, когда вы уже на глазах будете. Да и оживу я с вами. А главное ты Аня будешь у меня на глазах в эту тяжелую пору, а здесь все боюсь какой нибудь случайности. Но роман, и когда напишу сбивает меня с последнего толку. Опоздать нельзя, да и денег надо. — Как то у нас пойдет в эту зиму, Аня, что-то будет. От меня, однако, решительно все отвернулись в литературе; я за ними не пойду. Даже Journal de St Petersbourg [207] похвалил-было Подростка, но вероятно кто нибудь дал приказ ругать, и вот в последнем № прочел что в окончании 2-й части все вяло et il n'ya rien de saillent. Т. е. все что угодно можно сказать, упрекнуть даже за излишние эффекты, но нельзя сказать что нет сальянтного. Впрочем вижу что роман пропал: его погребут со всеми почестями под всеобщим презрением. — Довольно, будущее покажет, а я энергии на будущее не теряю нисколько. Только будь ты здорова, моя помощница, и мы кое-как справимся.

Я попрежнему совершенно здесь один, знакомых никого. Русских приехало довольно, но все aus Reval, aus Livland какие то Шторхи, Борхи, а из русских имен—Пашковы, Панчулидзевы и проч. Все незнакомые. Но странно: меня кажется знают. Давеча, у источника, обратился к какому то джентльмену с самым пустым вопросом по немецки, тот мне тотчас же ответил по русски, а я и не знал что он русский. Значит он [знает] знал уже обо мне, потому что тоже не мог бог знает с чего догадаться что я русский. Я впрочем от всех удаляюсь. Жить мне гадко, нестерпимо. Хозяева [ка] готовят кофей и Abendbrod ужасно скверно; но обед я беру из другого отеля (I-й уже бросил) и приносят буквально вдвое лучше обед чем из отеля Goedeke. — Гражданина мне прислали один номер и вдруг забастовали. Не стоит писать чтоб

высылали. Встречаю довольно часто императора Вильгельма на водах Он очень прост и мил, красивый старик 80 лет, а кажется не более 60. Одевается по штатски щеголем. В толпе сидела раз дама с стаканом, высокая и худая, лет 30, в черной очень измятой шали, и в черном простейшем платье. Вдруг к ней подходит император, как к знакомой, поговорил с ней почти четверть часа, и прощаясь снял ей шляпу и подал руку, которую та пожала как самому простейшему смертному, совершенно без особого этикетного реверанса. Эго была какая то герцогиня, из владетельного прежде роду, и богачка. А между тем казалась в толпе простушкой и наши русские, светские шлюхи должно быть проходя посматривали на нее с пренебрежением, а тут вдруг все разинули рты.

Я сегодня видел во сне Федю и Лилю и беспокоюсь не случилось ли с ними чего! Ах Аня, и об них думаю день и ночь. Ну умру, что я им оставлю. Только бы кончить проклятую эту теперешнюю работу, а там-бы предпринять что нибудь. — Но это все при свидании. А теперь дай бог, чтоб насущное как нибудь уладилось. Цалую и благословляю Федю и Лилю и... Впрочем что ты Анька пишешь о двойне? Ах ты! Впрочем цалую и двойню, и давай бог, а тебя цалую тридцать пять раз, как говорит Федя. Пиши об себе чаще. Я же буду уведомлять попрежнему акуратно в 3 дня раз.

Цалую тебя миллион раз с детьми.

Твой весь Ф. Достоевский.

Поклонись кому следует
Не слышно ли чего об Иване Григорьевиче?

99.

Эмс, 15/27 Июня/75.
Воскресенье.

Милый мой голубчик Аня, письмо пошлю завтра, в Понедельник, пишу же его теперь в Воскресение, свечера, для того что поутрам теперь намерен работать, а писание писем уже конечно очень бы отвлекало меня от работы, и так всегда теперь будет.—Письмо твое от Понедельника (9-го) получил вчера [в Пятницу] Субботу; каждый раз, получая твое письмо, радуюсь хоть тому что с вами ничего не случилось худого, но на другой же день, каждый раз, опять начинаю сомневаться и опасаться за вас. Скоро-ли кончится моя здешняя мука—не знаю. Но вряд-ли больше $2^1/_2$ недель здесь проживу, много трех. Лечение мне кажется идет на пользу, но бог знает, особенно при такой погоде; впрочем вчера и сегодня покрайней мере дождь нейдет, хотя баро-

метр упорно продолжает стоять на Regen und Wind. Про работу мою думаю так, что пропало дело: начал писать, но чтоб я поспел к 25 Июля доставить в Редакцию, то этого видимо быть не может. А не поспею доставить, тогда Некрасов рассердится и денег не даст в самое нужное время; да и роману плохо. Здесь-же, в таком уединении и такой тоске, чувствую что не напишется хорошо; кроме того,—каждый день жду припадка. Голубчик мой милый, Аня, мне тебя недостает, вот что. При тебе все пошло бы лучше во всех отношениях. Еслиб не было ежечастной, тяжелой думы об этой работе, может быть мне было бы легче. Особенно тоска подступает ко мне всегда к вечеру; по утрам же легче; вот почему и выбрал утреннее время для работы.

Спасибо тебе за подробности о детях, они меня здесь ужасно оживляют. Непременно заведи такую книжечку и слова их записывай. Спасибо тебе тоже за то, что отгоняешь от себя дурные мысли и мечты на счет своего положения, как ты пишешь; только правда-ли? Если ты и впрямь стала умней, и отгоняешь опасные фантазии, то за то я здесь об тебе думаю и опасаюсь за тебя день и ночь, и все потому что мы в разлуке. Кроме того м е ч т а ю о тебе, и цалую тебя день и ночь беспрерывно... Я стараюсь много ходить и утомлять себя сплю даже мало, почти менее семи часов. Да как ходить здесь, когда вот только теперь, сегодня чуть-чуть просохло. Развлечений же здесь никаких, да и не пошел бы я никуда и без того, еслиб и были. Все кажется что я время теряю, а в результате хоть и дома сижу ничего не работается: едва лишь начал первую страницу да и тем недоволен. Пуцыкович прислал мне 2 № Гражд. разом. Ну уж до чего дописался князь Мещерский в своем „Лорде-апостоле“ так это ужас. А Порецкий уже окончательно сума сошел на Толстом.—Из развлечений была у нас здесь одна „Regatta“ т. е. по просту призовая гонка на здешней речонке лодок, на пари Франкфуртцев с Кёльном. Избрали же нашу речонку, потому что здесь император, так чтоб потешить его и проехать мимо него. При этом разумеется нескладные немецкие хоры, похожие на рев, музыка, а пуще всего то, что дело происходило в проливной дождь, но буквально вся публика высыпала к перилам набережной и так простояла более $2^1/_2$ часов под сильнейшим дождем. Император же смотрел из окна вокзала. Публика здесь прескучная, всего больше немцев, наших русских довольно, мужчины еще туда сюда, но дамы русские ужасны. Пищат, визжат, смеются, наглы и трусихи вместе. По смеху уже слышно что она смеется не для себя, а для того чтоб обратили на нее внимание. Немки не таковы: та и захохочет и закричит, и кавалера по плечу ударит чуть не кулаком, но видно что она смеется для себя и не думает что на нее глядят. И как-бы наши русские, особенно grand mond'a где нибудь на Елагином острове

осмеяли ее за манеры, да жаль нельзя. Одна при мне закричала подзывая кавалера: pst, pst, а как он подошел шлепнула его по плечу. И вдруг слышу подле русские дамские голоса: „это что еще, кто такая? что за манеры", и один русский вдруг отвечает им: Это княгиня Tourn et Taxis, (т.-е. считается владетельным домом), но наплевать на наших русских холопов. Газеты тоже русские не могу читать: ни на одну минуту не свободны, все читают русские. Один русский молодой человек держит в салоне „Голос" по целым дням, не вставая с места. Ждешь, ждешь и уйдешь.

Впрочем мне нечего, решительно нечего здесь описывать. Вот не знаю только когда мне уведомить тебя, чтобы ты перестала писать, чтобы не посылать писем даром когда уже я уеду отсюда. Впрочем лучше не уведомлять; пиши до последнего раза. Уведомь меня, не забудь, на счет твоего решения о квартире; непременно ли я должен ее сыскать теперь, проездом по возвращении, или уже потом когда мы воротимся и станем хоть в гостиннице.—Но до этого еще далеко, предстоят еще недели три муки и—работа, работа, ужас! Эта поездка в Эмс была ужасна во всех отношениях и хоть бы я здоровье то отсюдова вывез. Ты пишешь о деньгах что идут, идут и у меня, голубчик, а они однако нам ух как нужны. Ну а на счет няньки и кухарки как ты думаешь? Ведь не одним же нам с детьми в Петербург возвращаться.

Все боюсь что ты получишь какие-нибудь дурные вести об Ив. Григорьевиче и затревожишься. Ну до свидания, ангел мой бесценный, будь здорова (и не снись мне по ночам сделай одолжение). Обо мне не беспокойся, как-нибудь перемелется. Детишкам обо мне напоминай. Помнят ли они меня в лицо? Спроси пожалуйста Федю какой я собою. Бедные в середине лета принуждены будут в Петербург воротиться.

Благословляю вас всех, люблю, цалую, и жду с бесконечным нетерпением когда [пр] брошу проклятый Эмс и ворочусь к вам. Люблю вас всех четверых. До свидания, обнимаю тебя. Поклон кому следует

Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. Голубчик Анечка, прошу тебя очень, пошли немедленно хоть 3 рубля (не меньше) на Моршанских погорельцев в Редакцию Московских Ведомостей. Письмо же напиши так:

В Редакцию газеты „Московские Ведомости".

Покорнейше просят принять прилагаемые три рубля на Моршанских погорельцев *от Ф. Л. и неизвестного.*

Ф. Л. и неизвестный.

т.-е. от Феди, Любы и неизвестного, но лучше написать буквами: от Ф. Л. и неизвестного, чтоб не догадались, пожалуй, что неизвестный есть будущий.

Подписка же на Моршанских погорельцев открыта по разным ведомствам и в Редакциях всех почти газет.

Твой Д.

Еще раз всех вас обнимаю.

100.

(Старая Р.).
Эмс, 18/30 Июня.
Среда [1875]

Милый друг Анечка, письмо эту пишу в Среду, а пойдет оно завтра в Четверг, как я уже и писал тебе.

Только сегодня, в Среду, получил я письмо твое, которое ты писала от 12 Июня, в Четверг, и которое по словам твоим, должно было отправиться на другой-же день, т. е. в Пятницу, стало быть 13 числа. Между тем на конверте печатью Старо-Русского почтамта помечено от 14-го числа, т. е. оно пошло лишь в Субботу, а получил я его не вчера, во Вторник, как бы должен был получить, а лишь сегодня только, в Среду. Ясное дело, что письма в Старо-Русском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский. Непременно Аня, говори, кричи в почтамте, требуй чтоб в тот же день было отправлено. Это чорт знает что такое!

Письмо твое разумеется прочел с наслаждением, и рад что все здоровы, тем более что всегда перед письмами начинаю очень беспокоиться о тебе и о детях. Жаль только Аня что ты ничего мне не пишешь об очень важном деле, не смотря на неоднократные мои запросы: именно: как мне нанять квартиру в Петербурге. 1) Непременно ли я должен нанять ее, проездом, и 2) что мне будет делать если квартира долго не наймется? Уведомляю тебя, Аня, что мне время теперь очень дорого, что в Петербурге, если я уже очень долго заживусь я не в состоянии буду и нанимать квартиру и писать в то же время роман. А главное, если я очень заживусь, более недели в Петербурге, то что мне тогда делать? И не лучше ли нам всем вместе нанять квартиру уже возвратясь? Если остановимся и в гостиннице, то столько же переплатим за № (если не гораздо меньше) сколько переплатим за квартиру за время пока еще она будет стоять пустою и пока-то мы двинемся из Старой Руссы. Я конечно готов пробыть два или три дня в Петербурге, но желал бы не больше. Во всяком случае прошу тебя, (и наконец настоятельно) обратить внимание на этот вопрос мой, который я уже неоднократно задаю тебе, и написать мне

наконец твое решение. Если на это письмо ответить тотчас-же, (с понуждением на почте отправить его тотчас-же, а не через день или через два) то очень успокоишь меня. Ко всем моим, уже и так многочисленным беспокойствам, беспокойство о найме квартиры и об житии для [нея] в Петербурге, примешивается самым мучительным образом. Покрайней мере одно из сомнений моих будет разрешено.

Я могу отсюда скоро выехать, но ты не сомневайся и продолжай мне писать. Я напишу когда тебе перестать писать. А в настоящую минуту сам не знаю когда выеду. Завтра 1/19 Июня будет ровно 3 недели моему здешнему лечению. Доктор-же говорит, что более 4-х недель здесь почти не лечатся (да и совсем не надо) 5 же недель назначается только в самых исключительных случаях, ввиду особых соображений. И так через 8 дней, в следующий Четверг т. е. по [нашему] здешнему стилю 8 Июля, а по нашему 26 Июня, я могу и кончить лечение и уехать по нашему 27 или 28 Июня. Но только к тому времени доктор посмотрит грудь мою. Теперь же когда не вышло курса лечению, (т. е. 4-х недель) решить этого нельзя, т. е. о том кончить или еще неделю остаться. Очень может быть что я останусь и еще на неделю, а в таком случае выеду отсюда уже не 27-го Июня по нашему стилю, а около 5 Июля. И так верно только то что я далее 5-го Июля по нашему стилю здесь не пробуду. (Значит мог бы, правильным путем, быть около 10-го Июля в Руссе если не останавливаться в Петербурге). Впрочем повторяю, на 3 дня я готов остановиться. Можно и в три дня что нибудь нанять; это ведь на счастье.

Что же касается до лечения моего, то я решительно не могу сказать ничего положительного об успехе. Кажется будет облегчение. Сам же я здоров. Здесь скверно то, что лечат почти одни воды, а доктор не вмешивается и даже не укажет порядком. Докторов хоть и много, но все осаждены и так что придешь и ждет буквально до 50 человек очереди. А потому они говорят с больными наскоро, почти небрежно. Пример со мной: Неделю назад я был у Орта и жаловался что все простужаюсь и кашляю. Он осмотрел горло и велел мне в тот же день взять у источника стакан Кессельбрунена (другой горячий источник) и прополоскать горло (это называется gargariser, gargarisation). Я исполнил и в тот же вечер почувствовал облегчение. 3-го дня прихожу к доктору и говорю: так как мне уже раз gargarisation Кесльсебруненом принесло пользу, то нельзя-ли мне постоянно полоскать горло, потому что у меня постоянно раздражено горло, уже несколько лет (как муха в горле) так не будет-ли, дескать, облегчения. Он удивился на это и вдруг спрашивает: „так вы один только раз и

ходили полоскать, а ведь я же вам велел постоянно. Вот вы неделю потеряли. Непременно в день по 2 раза". И так я неделю потерял, но решительно по его вине, потому что он положительно не сказал чтобы продолжать постоянно, а доказательство тому что о полоскании 2 раза в сутки, и подробности о том что наблюдать при этом, объяснил только третьего дня, а если б велел 8 дней назад, то я знал бы об этих подробностях еще тогда, потому что, при гаргаризации, они всеми здесь неуклонно наблюдаются и их непременно надо растолковать больному зараз, а он 8 дней назад ничего не растолковал о подробностях.

Таким образом к лечению моему присоединилось и полоскание горла Кессельбруненом. Если в эту 4-ю неделю увижу пользу и поздоровеет горло, то рискну сам остаться еще на неделю (т. е. до 5-го Июля), потому что раздражительность горла один из самых главных припадков моей болезни.—Я и не знал что на водах, тут же при источниках, устроено 2 кабинета, собственно для гаргаризации, мужской и дамский. В кабинете до 20 мест, в роде как писсуаров, и все 20 человек полоскают горло [разу] разом. Такая музыка. А полоскает несколько сот больных.

Ну так вот обо мне главнейшее. Что же до остального, то у меня нет совсем новостей и подробностей. Я здоров и погода у нас дня три уже не дурная (хотя не жаркая). Я по прежнему один. Знакомых никого. Сосед мой немец уехал в Берлин, а рядом со мной нанял один приехавший русский (имени его не знаю и знать не хочу). Русских множество—все незнакомые. Какой то один господин Сорокин подскочил ко мне сегодня и уведомил что видел меня у Лизаветы Атамаровны (Барановой). Я его совсем забыл. Пошел рядом и заговорил тотчас об литературе. Я очень рад был, когда он повернул в свое место. Что же касается до моей работы, то и не пишу тебе ничего о ней: все стоит и не двигается, план только составил уже окончательный, а работа еще не начиналась.—Ни страницы не написано. Что со мною будет—понять не могу. Сверх того страшно боюсь припадка.

Подробности которые сообщаешь о детках, живят меня и радуют, но что ты, Ангел мой милый, так мало пишешь о себе? Разве не знаешь как я люблю тебя и как мне весело узнать хотя бы малейшее о тебе происшествие. Цалуй детей, напоминай им обо мне чтоб не забывали. Песни Лиличкины записывай особо в книжку пожалуйста (это очень важно и нужно). То что ты пишешь об Иване Григорьевиче, просто ужасно. Нет с этой сукой надо поступать как с собакой, а не с человеком. Она еще наделает ему неприятностей, небось. Вот еслиб он решился наконец окончательно разойтись с ней (т. е. от-

речься от надежды и намерения жить опять вместе), то тогда бы он мог поступить и спокойно и строго и это бы могло ее наконец вразумить. Но увидим что далее, только бы спас бог его голову. Не столкнулись-бы как нибудь с Кукарекиным и что ему Кукарекин? [Он бр] Кукарекин и бросит Ольгу, так та сейчас другого заведет. Боюсь чтоб ты об них как нибудь не беспокоилась и не тревожилась.

А об тебе и о двух я очень тревожусь. И почему два? Уж не имеешь ли ты какого намека от бабки? Как бы я желал быть с вами. А тут еще найди здесь столько душевного спокойствия чтоб работать, роман писать—да разве это возможно!

Ну до свидания голубчик, следующее письмо напишу в Субботу, а пошлю в Воскресенье. Обнимаю тебя крепко, цалую тебя тысячу раз. Деток благословляю. Милые! Ты не поверишь в каком я здесь заточении, Аня! Главное этого вообразить нельзя постороннему.

Твой весь Ф. Достоевский.

Музыка сегодня исправилась (с погодою должно быть) играли две пьесы Бетховена—верх восхищения.

101.

Эмс. 3 Июля (21 Июня) 75.
Суббота.

Милый мой голубчик Аня. Пишу тебе это письмо сегодня после обеда в Субботу, а пойдет оно к тебе лишь завтра, в Воскресение, по примеру последних двух писем.

Ты как то писала что к тебе мои письма запаздывают. Да и ко мне твои письма непременно запаздывают лишним днем. Сейчас получил письмо твое от Воскресения, 15 Июня. Ты в нем пишешь положительно, что „завтра в Понедельник (т. е. 16 Июня) снесешь его на почту в свое время (т. е. не опоздав ни часу) и что таким образом, оно непременно должно отправиться ко мне в Понедельник, 16-го числа. И вот на конверте печатью Старо-Русского почтамта помечено что оно пошло 17 Июня [а не 15-го в Понедельн] *) (все конверты я сохраню). Ясное дело что письма задерживают и читают. Разве брать в почтамте росписку что письмо принято и будет отправлено такого-то числа? Да не дадут они такой росписки.

На это письмо мое еще отвечай мне сюда в Эмс. Но на следующее письмо мое, которое пошлю тебе в Среду, 27 Июня (6-го Июля), уже не отвечай, потому что, как полагаю, оно уже не застанет меня

*) а не 16-го в Понедельник, пошло 17 во Вторник. Примечание. Ф. М. Достоевского.

в Эмсе. А я все таки буду продолжать писать тебе в прежние сроки. Ты же мне (немедля впрочем) напиши тогда письмо уже в Петербург, до востребования, чтоб я мог найти его туда приехав. Да еще прошу тебя очень еслиб с тобой что случилось, то все таки отправь в Эмс телеграмму Hotel Luzern, a M-r Dostoewsky, № 10.

Из письма твоего, голубчик ты мой, замечаю что ты очень мучаешься разными сомнениями по случаю предстоящего события и точно собираешься умирать. Эх, Аня, как мне это тяжело! Я знаю, ты очень мужественна, но ты ужасно мнительна. Но случаи несчастных родов, не только реже случаев заболевания горячкой, или какой-бы то ни было болезни, но даже реже случаев раздавления на улице лошадьми! Это положительный факт, спроси кого хочешь. Не пугайся же, друг мой, вспомни что ты родишь в четвертый раз, а с теми, которые уже привычны рождать, еще реже несчастные случаи, чем с непривычными рождать. К тому же здоровье твое, благодаря тому, что мы долго жили вне Петербурга улучшилось сравнительно с прежним. И потому прошу тебя очень, подумай обо всем этом и постарайся ободриться. Впрочем что писать об этом! Думаю, что за всеми задержками, начиная от сего числа, через три недели я уже буду вместе с вами, а тогда будем толковать (и тосковать если надо) вдвоем. Я кладу на все три недели, но полагаю что это maximum, а что и очень может быть, что и раньше трех недель (от сего числа) свидимся. В следующий Четверг, на будущей неделе, т. е. 26 Июня/8 Июля минет ровно месяц моему здешнему лечению, а в Понедельник, после завтра, т. е. 23 Июня/5 Июля пойду к доктору и спрошу его окончательного мнения: оставаться-ли мне еще, на 5-ю неделю, или уезжать? Полагаю что он оставит меня непременно еще на одну неделю, значит я тогда 3/15 июля кончу лечение и 4-го или 5-го выеду; затем совсем, с житьем в Петербурге, еще надо положить неделю, и так значит около 12-го Июля (нашего стиля), я могу быть уже в Старой Руссе. Так я полагаю, но м о ж е т случиться что доктор и не оставит на 5-ю неделю. Здесь считают важным не перелечиться. Лишнее лечение считается даже во вред. Я здесь купил книжку об Эмсе и его видах, русскую, изданную в Петербурге прошлого года.[208] В книжке этой между прочим высоко ценятся некоторые мнения моего доктора, Орта, об Эмском лечении. Говорится тоже и о вреде слишком долгого и большого питья вод.—Но особенно упоминается о мнении врачей (по свидетельству бесчисленных примеров), что часто весьма бывает так, что больные, кончив курс не только не чувствуют большого или даже заметного облегчения, но напротив некоторые так чувствуют себя даже хуже в сравнении с тем как приехали, и только впоследствии, несколько месяцев спустя, уже зимой начинают чувство-

вать нередко огромное облегчение и благословляют судьбу что съездили в Эмс. Я могу засвидетельствовать [уже] несомненно, что тоже самое случилось со мною после поездки в Эмс прошлого года. Не будет ли также и в нынешнем году? [Не] А если такова моя природа, то не тем ли объяснять что я до сих пор, пролечившись уже $3^1/_2$ недели особенного облегчения не замечаю никакого. Так, конечно, было со мной и прошлого года, сколько помню. Теперь же правда кашель, исключая беглых простуд, гораздо уменьшился, но хриплость груди почти таже. Впрочем гаргаризация горла кажется приносит пользу. Одним словом: как решит Орт. Потребую от него после завтра чтоб он осмотрел меня как можно внимательнее.

В этой книжке я вычитал ужасную вещь: именно—что необходимо вполне изменить свой прежний образ жизни во время лечения, строго соблюдать диету и не предаваться ни-ка-ким умственным занятиям, а не то, не только не окажется пользы от лечения, но непременно происходит вред и болезнь, по многим опытам несомненно ухудшается. Умственные же занятия в диете поставлены на первом плане, в смысле вреда. Каково мне! Это же говорил мне и Орт еще в прошлом году, но я мало обратил внимания. Но в прошлом году я вовсе не так работал, или по крайней мере заботился и тосковал, как в нынешнем. Значить теперь только лишь я серьезно сел за работу—бросить ее? А Некрасов? А Отеч. записки?

Я решился и написал сегодня Некрасову [209] письмо, где все это изложил. Я очень извиняюсь и очень прошу его о следующем. 1) Чтоб позволил мне начать печатать не в августе, а с сентябрьской книжки. За это обещаю, что напишу хорошо (да и действительно кажется напишу хорошо, план вышел восхитительный и не даром я здесь над ним сидел.) 2) Если никак нельзя, ему принять это предложение, то уведомил его, что более $2^1/_2$ листов на Августовскую книжку доставить не могу, а главное—уничтожится всякий эфект. На этот вопрос мой я прошу его немедленного ответа, но не в Эмс, а в Редакцию Отеч. Записок где проездом через Петербург, получу его ответ. Письмо адресовал в Редакцию Отеч. Записок, с просьбою к Редакции переслать, прилагаемое к Некрасову письмо, туда где он теперь находится (конечно они знают его адрес). Какой-то ответ будет не знаю, но я все таки работу здесь не оставлю, а лишь уменьшу занятия на половину. Ну вот как я решил, уведомляю тебя об этом. Но заметь, что во всяком случае произойдет задержка в деньгах в самое нужное для нас время; нельзя же взять вперед, если уже и без того забрано.

Сосед мой — русский жид и к нему ходит множество здешних жидов и все гешефт и целый кагал,—такого уж послал бог соседа.

Об здешних новостях решительно ничего не имею написать: все по прежнему, все мне надоело, ни одного знакомого, все таже пестрая многоязычная толпа. Два дня было жару, а сегодня опять дождь. Впрочем я чувствую себя довольно бодрым и желудок мой хорош, а это все хорошие признаки. За известия о детях благодарю; ради бога записывай их словечки и песенки в особую книжку; слишком прошу. Почему Анечка ты не хочешь, чтоб, если дочка, назвать Аней? Тебе не мило имя так мне мило. Очень, очень прошу.

Расскажи деткам когда меня ждать. Что им привезти только, не знаю. Напиши мне в Петербург и о квартире, т.-е. сидеть ли мне нанимать, или нет? Если н. прим. нет, а между тем вдруг представится в Петербурге удобная для нас квартира, то нанять ее или нет? Не смотря на ранний срок?

Бедный Кублицкий. Это тот самый; хороший был человек. Он тогда был в заседании Любителей Словесности когда читали о том как Анна Каренина ехала в вагоне из Москвы в Петербург. Так и не дождался окончания Анны Карениной!

До свидания Аня, милочка, может быть уже и до близкого. Цалую тебя тысячи тысячь раз и все буду тосковать о тебе, потому что ты тоскуешь. Ах, мне надо быть с тобой поскорее. Цалую деток и благословляю. Говори им обо мне. До свидания милая, обожаю тебя.

Твой весь Ф. Достоевский.

Поклоны.

102.

Эмс, 5 Июля/23 Июня. [1875]
Понедельник вечером.

Письмо это пойдет завтра во Вторник, милая Аня, сегодня, в час по полудни получил от тебя телеграму. Она меня очень удивила и измучила. С чего ты взяла, что я болен? Значит ты совсем перестала получать мои письма, т.-е. пропало одно письмо. Но чего же из-за этого беспокоиться? Поверь бесценный друг мой, что со мной ровно ничего не может случиться. Последнее письмо я тебе отправил в ч е р а, в В о с к р е с е н ь е. Перед тем отправил в Четверг (т. е. предпоследнее), и за тем, перед Четвергом, отправлено было письмо в П о н е д е л ь н и к, т.е. ровно 8 дней назад. Таким образом т р и письма в 8 дней. Я пишу постоянно и акуратно в каждые три дня по письму.—Я ответил тебе сейчас же телеграмой которая и пошла во 2 часу. Теперь уже девятый час и она уже должна дойти, но я продолжаю ужасно беспокоиться. Во-первых, телеграма твоя была на немецком языке и дошла вся перевранная. Старая Русса названа Skraja Russe, имени моего и следа не осталось. Дошла единственно потому что обозначено было Haus

Luzern № 10. Таким образом переврут (в Берлине) и мою телеграму и что если не дойдет в Руссу, или пошлют ее в Рузу? И вот, если не дойдет до тебя телеграма, мне и мечтается все теперь, что в Пятницу или Субботу ты вдруг отворишь мою дверь и вбежишь сюда ко мне Hotel Luzern. Ты не поверишь Аня как это мучительно! Как можно лечиться в таком расположении духа. Давеча я помертвел получив твою телеграму и упал на стул. Написал в телеграме: Ich bin ganz gesund, и теперь кляну себя зачем написал ganz: ничего не стоит в Берлине перековеркать ganz в nicht gesund. Судя потому как переврана твоя телеграма все возможно. Теперь всю неделю буду в страшном беспокойстве.

Я сегодня в 4 часа был у доктора после целой недели отсутствия и попросил его в виду истекающих через три дня 4-х недель моего лечения, подробно и серьезно осмотреть меня. Он осматривал меня долго, подробно и серьезно, и нашел что грудь в превосходном состоянии, все зажило. Но осталась хриплость и затруднительность дыхания. Он сказал, что это может пройти само собою и что если я хочу, то в Четверг, (ровно после 4-х недель лечения) могу уехать. Полоскание же горла Кессельбруненом, хотя и произвело в эту последнюю неделю большие успехи, но горло все еще раздражено, „так что еслиб еще неделю, с сегодня начиная, полечиться, то не было бы ничего дурного". Так и решили. И так ровно неделю, начиная с сегодня буду еще лечиться. Сегодня 5 Июля/23 Июня, а в следующий понедельник будет 11 Июля/30 Июня и вот в этот следующий понедельник (т.-е. по нашему стилю 30-го Июня)—ровно через неделю я и выеду отсюда. И так ты уже более сюда ко мне не пиши, а напиши мне сейчас с получением сего письма в Петербург, poste restante. В письме этом напиши: нанимать ли мне квартиру в Петербурге, не смотря на такой ранний срок, или не нанимать и сколько времени сидеть нанимать и проч.? Об этом настоятельнейше и уже в последний раз прошу тебя.

Ты понимаешь, что со вчерашнего письма, которое ты верно уже получишь перед этим письмом, со мной нового ничего не могло произойти, кроме того разве, что роман мой совсем не двигается и не пишется. Жду покоя, когда то будет. А здесь до того тошно, до того тошно жить, что буду долго вспоминать этот адский месяц.

Не забудь черкнуть мне хоть что нибудь в письме про детей.

Если выеду 11/30 то значит в Пятницу или даже в Четверг могу быть в Петербурге. А еслиб не сидеть в Петербурге очень долго, то в Понедельник 7-го Июля, мог бы уже быть в Старой Руссе. Это значит ровно через две недели.

До свидания, ради Христа будь покойна; осталось так не много до свидания. Обнимаю и цалую тебя и буду все мечтать о тебе. Благословляю деток; поклоны. (Черкни, не надо-ли что купить в Петербурге?). Скажи деткам что скоро приеду.

Твой весь вечный и неизменный

Ф. Достоевский.

Чуть что с тобой случится (не дай бог) в известном отношении, то тотчас же телеграму ко мне сюда, до 30-го Июня нашего стиля я здесь. С твоею нервностью [все] пожалуй и случится. Ах, Аня, как тяжела разлука в такое время!

103.

Эмс 25 Июня Среда
/7 Июля. [1875]

Милый друг Аня, письмо это пойдет завтра, в [Среду] Четверг — Пишу тебе всего несколько строк, тебе же отправил письмо вчера во Вторник. Но вчера получил и твое письмо (писанное в Среду, от 18-го но которое пошло из Старой Руссы не в Четверг, 19, а в Пятницу 20, судя по штемпелю почтамта Старой-Руссы). В письме этом ты пишешь, между прочим, о найме квартиры проездом чрез Петербург и предлагаешь сама приехать, чтоб вместе со мной искать квартиру. Вот на этот-то пункт и спешу поскорее написать тебе. Приехать тебе ко мне—было-бы сущею нелепостью в твоем положении. Ради бога не приезжай и не думай; только напрасно измучаешь себя. Найду квартиру я сам, только больше 3-х или 4-х дней искать не буду. Надеюсь что найду и в этот срок. Ты видно меня не так поняла прежде: я не предлагал тебе приехать ко мне в Петербург чтобы вместе отыскивать квартиру, а я думал что уже собравшись из Руссы совсем в Петербург переехать, с детьми и со всеми вещами, стать в гостиннице, в номерах, или у родственников и тут то вместе сыскать квартиру; об этом я и написал тебе в одном из моих последних писем. — Но теперь я сыщу один. Во всяком случае увидим, но ты во всяком случае не трогайся с места. В Петербург мне напиши до востребования. Я вчера написал тебе, что выеду в Понедельник. Так и сделаю (В субботу впрочем пошлю письмо.) В Петербург приеду в Пятницу, но вернее что в Четверг. Из Петербурга сейчас напишу тебе. Прошу тебя голубчик милый, будь покойна во всех отношениях. Здоровье мое прекрасно, только бы нам поскорее свидеться. Предстоит длиннейший путь. Деток цалую, скажи им что скоро приеду. Благословляю и люблю вас всех.

Твой весь

Ф. Достоев[ский].

104.

Эмс, 9 Июля/27 Июня
Пятница [1875]

Милый друг, Анечка, пишу тебе еще несколько строк; пойдет письмо завтра, в Субботу.

Я вчера получил твое письмецо от Субботы (пошло оно из Старой Руссы, на этот раз, правильно, т. е. 22-го, в тот же день как подала в Воскресение). Письмо это доставило мне много радости, я прочел в нем как ты меня любишь, тем более что вот уже несколько дней, и день и ночь, мечтаю о том как сам тебя люблю. Бог даст скоро свидимся, и тогда наговоримся, а я в тебя влюблен б о л е е чем накануне сватьбы. — Теперь несколько нужных слов. Я писал тебе, друг мой, что выеду в понедельник, но по некоторым соображениям я это отменил: выеду я не в понедельник (30), а в Среду, 2-го Июля. Впрочем может быть во Вторник, но знай ч т о н и з а ч т о н е п о з ж е Среды. Таким образом буду в Петербурге или в Пятницу или в Субботу. Если поеду во Вторник то отсюда уже более не напишу, а прямо из Петербурга напишу тебе. Если же поеду в Среду, то напишу отсюда несколько строк во Вторник от 1-го Июля. Таким образом не получая от меня какой нибудь лишний день писем — не беспокойся: значит я в дороге. — Побудили меня отложить отъезд на целых 2 дня главное две причины: I) Что из письма твоего от Субботы вижу что все было исправно, и письма мои хоть запаздывали, но регулярно доходили, а потому и не понимаю что такое произошло что в (Понедельник) Вторник ты прислала мне телеграму? Если я выеду в Понедельник то может быть и не дождусь здесь от тебя письма в объяснение (отсюда Шнель-цуг в 6 ч а с о в 20 м. у т р а), и буду дорогой беспокоиться, и потому останусь до твоего письма, которое вероятно придет в Понедельник или во Вторник. (Есть у меня и еще мысль страшная: не переврана-ли телеграма и вместо Sind Sie wirklich krank, не было ли Ich bin wirklich krank). Что если так? Во всяком случае узнаю это здесь и наверно и дождусь письма. А вторая причина замедления та, что все таки я два дня лишних пропью воду и буду полоскать горло. Таким образом будет всего 4 недели и 5 дней лечения. Это почти столько же что и прошлого года, когда болезнь была хуже.

Ну а теперь обнимаю тебя голубчик, может быть до Петербургского письма. Но вернее что еще напишу во Вторник только ради бога ты, Анечка, не езди из Руссы в Петербург. Это безумие. Этого только и трепещу теперь.

Может увидимся 8-го или 9-го Июля.

Обнимаю тебя и цалую несчетно. Детей тоже. Наконец-то я увижу их.

Твой весь Ф. Достоевский.

Выеду ни за что не позже Среды.

NB. В Петербурге у меня денег достанет чтобы отдать за месяц вперед за квартиру.

Post Scriptum. 10/28 Июля. Суббота.

Сейчас, в половину 12-го утра, только что я запечатал письмо чтобы нести на почту, вошел почтальон и подал мне твое письмо от Вторника (23 Июня, день телеграмы). Так вот разгадка телеграмы? А я думал, что письма не доходят. Но только какая странность! И надо же было непременно подвернуться этому бегемоту, чтоб так напугать тебя. А я именно никогда не чувствовал себя лучше здоровьем как в этом скверном Эмсе: припадки бог знает сколько времени не были, груди очевидно лучше, а телом совершенно бодр и свеж. Ах, голубчик, как это они тебя так испугали и огорчили? Утешаюсь одним что ты получила во время телеграму, но когда? Очень поздно. Ты выслала ее в 10 часов, это значит по нашему в 8 (для телеграфа меридианов не существует). Стало быть тащилась твоя телеграма ко мне 5 часов (получил в час по полудни, отвечал в 2). А что если мою телеграму, как нибудь еще переврали! И кто эту глупость мог напечатать [210] (конечно серьезно, а не в насмешку, да и к чему бы такая насмешка?) Ох беда быть „великим человеком!" Голубчик милый, во всяком случае ты теперь можешь быть и спокойна, но я то неспокоен, не повлияло бы в самом деле на роды! Может быть еще дождусь здесь от тебя последующих писем? Выезжаю же я по прежнему во вторник или в Среду, но если что нибудь в письме напишешь о здоровьи своем беспокойное, то разумеется немедленно выеду.—До свидания голубчик.

Твой весь обнимаю тебя и цалую сто тысячь раз

Ф. Достоевский.

У нас стояли три жарких дня, а сегодня буря, дождь, вихрь, холод. Барометр стоит на Sturm.

NB. Впрочем очень может быть что выеду и во вторник 1-го Июля.

105.

Эмс.
Вторник 1/13 Июля/75.

Пишу тебе, голубчик Анечка, последнее письмо отсюда, а пойдет оно сегодня же. Все не соберусь выехать и отложил отъезд [по] до

после завтра, т. е. до Четверга (в 6½ часов утра). Все разные мелочи мешают, то прачка белья не несет, то бьюсь с укладкой чемодана: много вещей, трудно уложить. А между прочим захотелось хоть один лишний день еще полечиться. Завтра в Среду будет ровно 5 недель моему лечению без одного дня. Я к тому, что действие вод в последнюю неделю оказывается столь ощутительным, что еслиб была возможность, то ей богу я бы остался еще на неделю или по крайней мере до Субботы включительно (т. е. до 5-го нашего стиля). Особенно удачно полоскание горла. Мерзавец Орт! Он до того небрежен с больными благо что у него собирается по 50 больных в приемные часы! Он еще прошлого года должен бы был мне сказать о полоскании горла Кессельбруненом, а он ни слова, от грубейшей небрежности. [Полторы строки зачеркнуто.] А впрочем думаю что и 5 недель леченья довольно. К тому же здесь я беспрерывно простужаюсь. Вот уже 4-й день дождь, ветер, вихрь и холод. Сегодня утром в 7 часов [баром.] термометр показывал одиннадцать градусов Реомюра. От сырости у меня разболелись зубы и я невыносимо страдаю. Я этому не мог бы поверить: Все корни зубов, которые все у меня остались—заболели, как будто и впрямь зубов полон рот, а передний уцелевший зуб до того болит, что за ночь вспухла десна и теперь тяжело носить вставную челюсть. В Четверг постараюсь наверно выехать. Не знаю, получу ли еще от тебя здесь письмецо и не перестала ли ты уже писать в Эмс, по моей же просьбе. Последнее письмо, в котором пишешь что у тебя головная боль, меня сильно беспокоит. Бог знает может ты что и скрываешь. Ну до свидания, ангел мой, писать больше нечего, а надо стараться поскорее увидеться. Тяжелая мне дорога предстоит. Да и роман меня мучает. Денег у меня, кажется, не достанет, если придется в Петербурге заплатить за месяц вперед за квартиру; впрочем не знаю, но не беспокойся; в случае нужды прихвачу капельку у Тришиных (с тем чтоб сейчас же по приезде отдать им).—Представь Княгиня Шаликова третьего дня приехала-таки, вместе с племянницей, дочерью Каткова (16 лет), которой предписано пить воду в Эмсе. Пелагею Егоровну она оставила в Венеции, где та купается в море. Мы на лету только сказали несколько слов; но вчера и сегодня я их не встречал; вероятно так и уеду не встретив.

Милый Федя, милая Лиля! Как они меня любят! Наконец-то выберусь из этой подлейшей дыры и обниму вас всех. До свидания целую вас бессчетно, в виде предисловия, а потом

Твой тебя обожающий муж

Ф. Достоевский.

106.

Петербург.
Воскресенье 6 Июля/75.

Бесценный друг Аня, сегодня, в Воскресенье приехал я в Петербург в 7 часов по полудни, на скором поезде. Значит тащился из Эмса с 6-ти часов угра Четверга. Правда ночь Четверга и всю Пятницу промучился от скуки в Берлине, а выехал из Берлина в Пятницу в 11 часов вечера. В самую ночь отъезда из Эмса, с Середы на Четверг, произошел у меня припадок падучей, так что я спал всего в ту ночь не более 4-х с $^1/_2$ часов. В Берлине же опять не выспался. Можешь себе представить как в таком состоянии и духа и тела могла подействовать на меня дорога, особенно с Берлина до Петербурга. Я был очень расстроен нервами и думаю что не совсем в здравом рассудке; да и теперь тоже, особенно когда еще не выспался. Завтра прийдется итти нанимать квартиру, а мне так хотелось-бы к Вам и у вас отдохнуть. Ты Анечка вероятно поймешь как я устал, а потому мне не до описаний дороги; пишу же теперь потому что предчувствую сколько завтра будет хлопот, так чтоб отправить письмо пораньше. Первым делом поеду в почтамт узнать нет-ли от тебя писем? Денег у меня меньше чем я ожидал. Надо будет занять у Тришиных: это меня несколько беспокоит. Если не займу у Тришиных, то постараюсь как нибудь найти на квартирный задаток. Потому расскажу каким образом у меня так много вышло денег. В дороге я встретил Писемского и Павла Аненкова, ехали в Петербург из Баден-Бадена (где теперь Тургенев и Салтыков). Я не вытерпел и заплатил Аненкову (т.е. для передачи Тургеневу) 50 талеров.[211] Вот что и подкузмило меня. Но никак не мог сделать иначе: тут честь. И Писемский и Аненков превосходно обошлись со мной, но мне и голове и телу, было очень тяжело. Здесь в гостиннице (в Знаменской) встретили меня восклицаниями: „А мы читали в газетах что вы опасно так больны!“.

Обнимаю тебя дорогая моя, может скоро увидимся. Но на это письмо все таки ответь мне на Редакцию Гражданина. Только на это, а там не пиши. В случае же какой надобности телеграфируй в Знаменскую гостинницу мне.

Детей обнимаю крепко цалую. Скажи им что я приехал. Ах проклятая квартира, еще не видя ее проклинаю. Досвидания ангел мой.

Твой весь

Достоевский.

1876 г.

107.

Берлин.
Среда 7/19 Июля [1876].

Милый друг мой Анечка, сегодня, в половину седьмого утра я приехал в Берлин и остановился в Britisch Hotel Unter den Linden. Но где то ты теперь, вероятно еще в Новгороде. Я ужасно беспокоился о тебе Аня всю дорогу. Главное что ты все последние дни ничего не спала, а работала и металась за четверых, а теперь опять этот переезд. Пока не получу от тебя письма (а когда еще это будет) беспокоиться не перестану и все время для меня будет отравлено, я теперь это узнал по опыту, не смотря на развлечения дороги и хлопоты. Что до меня, то я доехал порядочно, без больших оказий, и в вагоне за эти двое суток, успел таки поспать. Впрочем и в русском и в немецком вагонах было непросторно, а напротив набито, но люди были сносные. Подъезжая только к Эйдкунену ко мне привязался один жид, севший в Вильно, так сказать из высших жидов, богатый, имеющий двух сыновей в Петербурге — одного доктора а другого адвоката. Он ужасно и беспрерывно плевал в вагоне и наплевал целые озера. [Он] С этими качествами он уселся напротив меня и начал излагать мне длиннейшую историю о том как он едет в Карлсбад лечиться от геморроя, и какой у него геморой, и когда закрылся, и какие шишки и проч. и проч. и я все это должен был выслушать из деликатности, но никакой возможности не было убежать, так что он промучил меня часа четыре. В Эйдкунене разменял 100 руб. и дали с первого слова 265 марок с дробью, а в Петербурге едва-едва дали 262 марки. Пожалел что остальные деньги были запрятаны и нельзя было разменять тут же. Затем вагон полетел. Товарищи—все немцы, народ превежливый и преласковый, все купцы, все об деньгах и о процентах, и не понимаю только, чем я им показался, но все просто ухаживали за мной и отно-

сились ко мне почти с почтением. Они-то и дали мне поспать выдвинув для меня подушки вагона и проч. Один был молодой немец из Петербурга и все рассказывал [те] остальным, что у него в Петербурге торгует папаша, что он бывает в Петербурге в высшем обществе, ездил в одном самом высшем обществе на охоту за медведями, представлял как медведь встает на дыбы и ревет, как он выстрелил и ранил медведя и как тот, раненый, пустился бежать, выбежал на железную дорогу и бежал рядом с поездом, летевшим по дороге в Москву, и только на 8-й версте помер. Этот немецкий Хлестаков имел чрезвычайно солидный вид и повидимому дельно толковал об гешефтах и процентах потому что остальные немцы, (и особенно один) были кажется знатоки дела и люди весьма солидные. Но и в русских и в немецких вагонах -- все только об гешефтах и процентах, да об цене на предметы, на товары, об веселой матерьальной жизни с камелиями и с офицерами и только. Ни образования, ни высших каких нибудь интересов — ничего. Я решительно не понимаю кто теперь может что нибудь читать и почему Дневник писателя еще имеет несколько тысяч покупщиков? Но все-таки эти немцы народ деликатный и ласковый, если не выведут из терпения, конечно, когда нельзя не обругать их. В Бромберге в час ночи объявил кондуктор что стоим 8 минут. Этот Шнель-цуг коли 8 минут, то значит три. Я побежал поспеть в известное место на минутку, едва отыскал и вдруг слышу два звонка, бросился бежать назад (ужасно далеко) и вдруг слышу что кондуктор уже захлопывает вагоны. Бегу сколько сил есть, прибегаю и не могу отыскать вагона, а № 163, в темноте не видно. Кондуктор уже ушел дальше, свисток хотят трогать. Вдруг в одно отворенное окошко, вагона за два от места где стою, слышу: pst, pst, hier, hier! А думаю, это наши: увидали меня и кличут подбегаю, смотрю; выставил немец голову из вагона и—не знакомый. Я ему кричу однако: Ist das hier? Он мне: Was hier? Эй чорт! хочу бежать дальше, а он мне: hören sie, hören sie, was suchen sie? A, der Teufel mein wagon! [ist das] ist das hier? O, nein, das ist nicht hier...—Ну так чего же ты зовешь олух! и вдруг начинают трогаться и вдруг я узнаю рядом мой вагон! На лету отворил, мои помогли и успел выскочить, а то бы остался. Это со мной другой раз в жизни на этой дороге случается. Помнишь как в Дрездене мы спрашивали немца где Gemälde Galerie?

Затем, с одним немцем, весьма почтенной и богатой наружности вдруг сделалась рвота и его рвало до самого Берлина, в окно разумеется. Мы все, шесть человек, приняли участие и каждый ему что нибудь советовал— один выпить пива п о б о л ь ш е и он на первой станции выскочил и выпил—не помогло. Я посоветовал коньяку.—

„Коньяку, я и сам это думал“! Выскочил на следующей станции и выпил. Советы доходили до того, что один посоветывал съесть марципанный пряник (они начали продаваться с самого Эйдкунена) и он съел пряник. Наконец немец-Хлестаков посоветывал Шампанского, но уже подъезжали к Берлину, и тот сказал что как только войдет в Берлине в отель, то немедленно спросит Шампанского. Ночью поднялся дождь и мы въехали на скучный Берлин в проливной дождь, который продолжается и теперь. Между тем надо ехать на почту, потому что не знаю как афраншировать письмо. Вечером в Эмс отправляюсь в 10 часов.

Голубчик Аня, поцалуй деток милых и Лешиньку особенно. Как то мне его особенно жалко. Как жалею что не могу походить по Берлину, а должен сидеть в отеле. Вижу что надо-бы купить плед: ночи холодны, не забудь написать адресс Прохоровны и как вы порешили с пальто? Прости, голубчик, за все беспокойства, которые я тебе наделал. Жалею эти 500 руб. на Эмс. Одним утешаюсь что из этих 500 сделаю 5000 если получу здоровья. Милая моя как мне хочется тебя поцаловать. Поцалуй Лилю и Федю, и Лилю особенно и Федю тоже. Поговори с ними обо мне, с Федей побольше. Как скучно мне будет. Дай тебе бог отдохнуть и поправиться ангел мой.

Цалую тебя всю, много раз, столько-же сколько накануне отъезда. Вспоминай меня.

Твой весь и весь Ваш Ф. Достоевский.

P. S. Пиши обо всем, поболее частностей, мелочей. Теперь напишу не раньше как после завтра когда уже буду у Орта и успею нанять квартиру. Твой

Дост[оевский].

108.

Эмс Пятница 9 Июля/ 27 [Июня] 76.

Милая моя Анечка, вчера в половину двенадцатого прибыл благополучно в Эмс. В Берлине, после того как написал тебе письмо, отправился на извощике, в проливной дождь, на почту, и отдав письмо, вместо того чтоб лечь спать (потому что все же я две ночи не спал) отправился в Музей, смотреть картины, статуи и древности, где пробыл часа три. Выйдя из него и в продолжавшийся дождь, пошел в Берлинский Aquarium, в котором платят за вход одну марку, и о котором я еще и в Петербурге слышал много, и провел там часа два, рассматривая различные чуда, огромных крокодилов, змей, черепах, морских живых диковин, рыб, птиц и наконец настоящего живого Оранг-Утана

которого видел первый раз в жизни; затем обедал, затем хотел купить плед и не купил, отложив до обратного пути, и наконец поехал на железную дорогу, от скуки и чтоб не опоздать, за два часа до срока. Дорогой тоже кое-как заснул, немцы опять были вежливы, но влезли в вагон один Русский с дочерью — все что есть казенного, пошлого, надутого из скитающихся за границею, а дочь труперда и дуботолка, они меня даже рассердили. На рассвете, не доезжая до Гиссена, [случилось] видел одну картинку Шама (Scham) в натуре. Остановились на десять минут, перед тем долго не останавливались и все естественно побежали в местечко pour Hommes, и вот, в самый разгар, в местечко pour Hommes, наполненное десятками двумя посетителей в б е г а е т — одна прекрасно одетая (*зачеркнуто одно слово*) дама, по всем признакам англичанка. Вероятно ей было очень н у ж н о, потому что она добежала почти до половины помещения прежде чем заметила свою ошибку, то есть что вошла к Männer, вместо того чтоб войти рядом в отделение für die Frauen. Она вдруг остановилась как пораженная громом с видом глубочайшего и испуганного изумления, продолжавшегося не более секунды, затем вдруг чрезвычайно громко вскрикнула, или вернее взвизгнула, вот точь в точь как ты взвизгиваешь иногда, когда вдруг испугаешься, затем всплеснула перед собой, размашисто и подняв их несколько над головой, свои руки, так что раздался звук от всплеска. Надобно заметить что она увидела все, т. е. буквально в с е и во всей откровенности, потому что никто ничего не успел припрятать, и напротив, все смотрели на нее в таком же остолбенении. Затем после [все] всплеска она вдруг закрыла обеими ладонями свое [глаза] лицо и довольно медленно повернулась (все пропало, все кончено, спешить уже нечего!) и наклоняясь всем станом вперед, не торопливо и не без величия вышла из помещения. Не знаю пошла ли она für die Frauen; если англичанка, то я думаю тут же и умерла от целомудрия. Но замечательно что хохоту не было, немцы все мрачно промолчали, тогда как у нас наверно бы захохотали и загоготали от восторга. — Остановился я здесь сперва в гостиннице, день довольно холодный, 14 Реомюра, ветер и изредка дождь, а говорят что все была хорошая погода. Сходил в ванну, затем переодевшись пошел на почту и на телеграф, разумеется ничего не нашел. Но на почте, да и везде, во всем Эмсе, (лавочники, трегеры, бабы продающие фрукты, магазинщики) все меня узнают и все мне с улыбкой кланяются. Эмс показался мне до безобразия скучным. Толпа большая. Затем пошел к Орту. Он тотчас узнал [мне] меня и осмотрел всего внимательно, раздевши до гола. Результат постукивания и осмотра тот, что в верхних частях груди, справа и слева, — у л у ч ш е н и е (от того и не ноет орган как прежде) но за то место под правым соском, под 5-м ребром, на которое я иногда зимой

жаловался что болит, и которое еще одиннадцать лет тому назад указал Боткин, предсказав что отсюда разовьется болезнь, — это место ухудшилось и может быть очень. Орт впрочем говорит, что еще не может определить, потому что я позволил себе большую надсадку, почти не выходя из вагона с понедельника до четверга, но что дня через три, когда я отдохну, он еще раз меня осмотрит. Затем, на мой усиленный вопрос сказал что смерть еще далеко, и что я еще долго проживу, но что конечно Петербургский климат, — надобно брать предосторожности и т. д. и т. д. Прописал мне Кренхен, сначала по два стакана утром и по стакану вечером, с молоком, и по стакану гаргаризации горла, утром и вечером, Кессельбруненом. Ну вот и все пока про лечение. Затем пошел искать квартиру: в Люцерне все занято, но, встретили меня чуть не с восторгом и рекомендовали мне разом две или три квартиры; но третьегодняшняя M-me Бах, владетельница отеля Ville d'Alger, в котором я жил третьего года, поймала меня — на дороге у своих ворот (она почти рядом с Люцерном) и заманила меня к себе. Я прямо ей объявил, что она очень дорога, хотя мне у ней было очень покойно, но она, поторговавшись, спустила охотно все цены, так что за комнату с спальней прекрасно меблированную, и которая третьего года ходила (я помню это) за 14 талеров в неделю, взяла теперь с меня всего десять. Равномерно спустила с завтрака, с чая и с ужина, и даже обед мне будут приносить на дом лишь за 1½ марки, вместо 2-х как третьего года. Сторговавшись я тотчас и переехал. Моя комната рядом с той комнатой (точно такой же как моя) в которой я прожил третьего года. Но переехав, я тотчас наткнулся на неприятность: эту комнату рядом (мою третьегодняшнюю) и отдельную от теперешней моей лишь запертою дверью, заняли две только что приехавшие дамы, мать и дочь, кажется из Греции, говорят по гречески и по французски, но можешь себе представить — они говорят без умолку, особенно мать, но не то что говорят, а кричат буквально, и главное без умолку, ни одной секунды перерыва. В жизнь мою я не встречал такой неутомимой болтливости, и однако мне надо будет работать, читать, писать — как это делать при такой беспрерывной болтовне? и потому очень бы желал бы перебраться в верхний этаж, который дешевле и без балкона, и хуже, но в котором тихо. Но M-me Бах говорит что ту квартиру уже обещала и что не знает как решить. Хорошо кабы решилась. Во всяком случае мой адресс: Bad - Ems Allemagne, а Mr Th. Dost-y poste restante, а в экстренных случаях (телеграмы например) Allemagne, Bad-Ems, hotel Ville d'Alger.

Я прожил вчера вечером очень тяжелые минуты. Мне ужасно всегда оставаться одному. Пока в дороге — еще не было так больно, а теперь как уже живу без вас, один, — очень тяжело. Думаю что ты

уже у детей. Как-то ты, бедная, доехала? Поскорей-бы от вас хоть что-нибудь. Вчера на ночь горячо об вас молился. Тебя видел во сне. Хотел поспать подольше, но в шесть часов раздались стуки по всему дому и затрещали за дверью чечетки. Лечение я начну завтра, ибо день надо отдохнуть, но сегодня вечером все таки схожу пополоскать горло Кессельбруненом, а может быть и выпью вечерний стакан Кренхена. Анечка, голубчик, смотри за детьми, ради бога: води их в чистоте и говори им обо мне. Что Леша? Феди скоро рождение. Обнимаю тебя крепко на крепко. Люблю душой и еще другим образом до последнего атома, пошли бог тебе здоровье. Кланяйся Маше и всем нянькам. Цалуй детей. Теперь напишу в Понедельник. Вероятно получу до того времени от тебя письмо. Цалую твои руки и глазки.

Твой весь
Ф. Достоевский.

Был вчера в Курзале. Там к удивлению моему не нашел ни одной русской газеты. [Там в курзале] Прошлого года было 5 или 6 газет. Не знаю чему приписать. Впрочем схожу еще раз.

На поле первой страницы написано:

Купил печатный лист посетителей: русских множество, но все или Strogonoff или Golitzin или Kobyline chambellan de la cour, да и то их только жены с семействами, а самих нет, — или русские жиды и немцы из банкиров и закладчиков. Ни одного знакомого.

109.

Эмс 25/13 Июля, Вторник/76.

Бесценный голубчик мой Анечка, твое (первое) письмо от Среды получил только сегодня во Вторник и теперь припоминаю, что кажется и прошлого года приходили на 5-й только день. Это задерживают в проклятом петербургском почтамте. Но только я такую муку вынес вчера, что и не знаю каких только мыслей не перебывало у меня в голове о тебе. Главное, у меня какое-то убеждение было, что с тобой что нибудь случится в дороге, болезнь или что нибудь. Вспомни, и прощаясь в Петербурге я об этом все говорил тебе. — Вчерашнюю ночь спал не более 4-х часов, все не мог заснуть и думал. Это лечению не поможет, здесь главное чтоб был покой. Но слава богу, теперь я так рад и пишу сейчас. Вчерашнее письмо мое может быть тебе очень не понравилось; что мне делать голубчик, я чуть с ума не сошел. В зачеркнутых строчках во вчерашнем письме[212] я было написал, что если и по телеграфу во Вторник не получу ответа, то в Среду уеду отсюда и так-бы непременно сделал. Но слава богу, все хорошо,

а тебя цалую и обожаю. Ужасно рад тому что ты написала о детях. Как ты удивительно хорошо умеешь писать Аня! Твое письмо я каждые три или четыре строчки цаловал читая. Рад за Федю и за Лешу особенно, но об Лиле ты мало упомянула. Вообще жду от тебя больше подробностей в следующем письме, которое получу стало быть послезавтра в Четверг. Должно быть я имел очень отчаянный вид вчера на почте, потому что, представь себе, почтмейстер прислал мне твое письмо сам, на квартиру, узнав где я живу по Курлисту адрессов, в 10 ч. утра, только что пришла почта и когда почтамт был еще заперт для всей остальной публики. Какова любезность! Главное сделал это сам, потому что уж конечно я не в праве был его просить об этом. Сделает это какой нибудь наш гав. . . . .й чиновник!

Теперь разскажу тебе о себе. Вообще приключений никаких и скука нестерпимая. Два дня стояли до того жарких, что надо было по нескольку раз менять рубашку. А между тем вчера, в жарчайший день вдруг, два раза, утром и вечером, все померкло, начинался вихрь, налетали тучи (совершенно как-бы неожиданно) и лил дождь, правда не подолгу. Здесь ужасно легко простудиться и я уже простуживался. Третьего дня со мной было некоторое действие вод (чего не было в прошлые годы): вдруг в роде обморока (eblouissement), но не более как на секунду, я тогда шел по аллее и ухватился за дерево. Затем настало сердцебиение продолжавшееся до ночи и чрезвычайный прилив крови к темени. Но я нисколько не растревожился: все это написано в книге об Эмских водах, только разница в том, что надо мной действие вод оказалось слишком поспешно, т. е. в первые трое суток. Орт сказал мне вчера, что это и прекрасно и увеличил прием Кренхена до трех стаканов поутру. Я встаю в 6 часов утра, в 7 пью воды, и это берет $1^1/_2$ часа. Тут играет музыка и снует кругом и везде шеститысячная толпа. За тем в половину девятого пью кофей с сухарями,— сквернейший кофей, но с ужасным апетитом. Впрочем такой кофей пью не я один, а вся Германия. Во всей Германии не знают лучше. За тем в час обедаю два грубые блюда супу и говядины с картофелем и компот (2 марки)— но апетит от вод усиливается и я ем как будто обед Дюссо. Вечером в 5-м часу пью опять воду и слушаю музыку, затем иду гулять, а в 8 часов, пью чай, съедаю маленький кусочек говядины и в 10 ложусь спать. Беда только в том, что все не могу выспаться, вчера например, да третьего дня, ктому же будят соседи, особенно слишком рано по утру. — Я моих греческих чечеток соседок не вынес (возможности не было) и M-me Бах пустила меня наверх и теперь я занимаю две комнаты несколько пониже и хуже меблированных, но дешевле. Не знаю только будет-ли мне в этом Ville d'Alger хорошо, хотя M-me Бах очень внимательна. Она овдовела и оказалось что она француженка, но из Алжира,

а я и не знал этого, по крайней мере теперь говорю по французски. Ей тридцать три года и к ней ходит жених — степеннейший сорокалетний Эмзец, тоже Гутбезитцер и которого она не принимает в комнатах, а сидит с ним лишь на скамейке у ворот, но зато все сутки. Когда я выхожу, то она вся краснеет как виноватая. Я ей сказал что самое лучшее ей поскорей выйти замуж, хотя у ней трое детей и на лицо она уже старенька. — Затем купил галстучки, записался на библиотеку, разложился с вещами, отдал мыть белье, пожертвовал на blödige Kinder и т. д. и т. д. Знакомых никого, русских пропасть, в Курзале есть четыре русские газеты, „Нового Времени“ нет. Двое русских попались на променаде на встречу и один сказал другому (я слышал это)—„знаешь ведь это Достоевский“. А меж тем знакомых нет.

Многие мысли меня мучат, мучат буквально и ужасно. Главное то, что надо писать Дневник, а у меня и мыслей нет и когда начну — не знаю, а Орт, когда я его спросил о литературных занятиях, положительно запретил их. Разумеется я его не послушаюсь, но вот уже 5 дней прошло, а я еще ничего не сделал. Про детей, об которых думаю с какою то болью в сердце, я не беспокоюсь, потому что ты с ними, а на тебя-ли не понадеяться. Но беда в том, чтоб не захворала ты, вот об чем мучаюсь. Ты очень надорвалась в последнее время. Тогда кто за вами всеми присмотрит? Анечка, голубчик, я только и делаю что об тебе думаю; думаю во всевозможных картинах и представлениях. Ты знаешь, что я каждый раз после длинной разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю в тебя влюбленный. Но ангел мой, этот раз несколько иначе: Вероятно ты заметила что я и уехал из Петербурга, этот раз, уже в тебя влюбленный. После нашей крупной ссоры я мог брюзжать и укладываясь в дорогу быть нетерпеливым (это уже мой характер), но в тоже время я начал в тебя влюбляться и тогда же дал себе в этом отчет, даже подивился. Во время нашего девятилетнего супружества я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по нескольку времени каждый раз. (Раз и теперь с наслаждением вспоминаю, как, года 4 назад я влюбился в тебя когда мы как-то крупно поссорились и друг с другом несколько дней не говорили; мы куда-то поехали в гости и я сел в угол и смотрел оттуда на тебя и с замиранием сердца любовался как ты весело с другими говорила). Представь себе, мне здесь пришло в голову, что я влюбился в тебя в Петербурге в последние дни отчасти и потому что мы вместе спали. Мы давно уже с тобой не спим вместе, много лет (начиная с детей) и это вдруг на меня могло подействовать. Не говори, Аня, что эта мысль слишком материальна; тут не одна материальность. Мысль что это существо м о е, всецело, не хочет от меня обособляться и даже спит со мной в одной постели, — эта мысль ужасно действует. Правда я был эгоист; ты спала на стульях

и тебе было неловко, но все таки, каждый раз как я, к утру, ложился сам, мне становилось так приятно что ты подле, что уж конечно это ощущение было для меня совсем новое, хоть прежде мы и спали но я это давно забыл. Суди же теперь, когда мы в разлуке, с какою сладостью я об тебе вспоминаю. И хоть, повторяю это, я и был в тебя влюблен раза четыре по нескольку дней, в разное время, но никогда как теперь. Думаю о тебе и представляю тебя каждую минуту, перебираю все что мы переговорили. Но ты была так занята, только один раз и было когда мы возвращались с обеда накануне отъезда, да еще безумные (*зачеркнута целая строчка*). Вспоминаю теперь, ангел мой, что я тебе позволил (*зачеркнуто одно слово*) а теперь боюсь. Ты может смеешься слову (*зачеркнуто одно слово*). Божество мое Аня, знаю что все в одной твоей власти и (*зачеркнуто несколько слов*) но я так высоко ценю и верю в твой ум и характер что знаю одно: (*зачеркнуто несколько слов*) но если моя Аня скажет сама себе в сердце своем, (*зачеркнуто пять строк*) но Аня, верю в твой огромный ум, (*зачеркнуто несколько слов*). Пиши мне, голубчик, хотелось бы тебе исписать страниц 10 на эту тему. Цалую тебя всю до последнего атома а сам здесь цалую тебя поминутно всю, всю решительно. Я до мучения тебя люблю Аня, не смейся надо мной. Мне сладостно даже признаваться тебе в любви. Цалуй детей. Благословляю их всех.

Твой Ф. Достоевский.

Всем поклоны. Дома ли мама или уехала?

110.

Эмс 15/27 Июля. Четверг/76.

Милый друг мой Аня, вчера получил 2-е крошечное письмо твое, от 9-го Июля, и спешу, не дожидаясь наших сроков, тотчас тебе ответить. Дело в том, что письмо твое произвело на меня тяжелое впечатление. Значит тебе трудно будет поправиться здоровьем; но почему же ты пишешь, что придется взять лишь 15 ванн. Но может быть регулы и не 10 дней будут, а в новом воздухе и при новых условиях жизни, пройдут, обыкновенно, и к тому же, если даже и 10 дней, то все же останется тебе слишком месяц для ванн: разве ты их берешь через день? И разве нельзя брать каждый день? Ангел мой, я только и мечтаю здесь об том, что ты, после этого года родов, кормления и трудов за Дневником, поправишь наконец в Руссе свое здоровье.— Ах, родная моя, у меня сердце болит по тебе; я здесь перебрал все, как ты мучилась, как ты работала—и для какой награды? Хоть бы мы денег получили больше, а то ведь нет, и если есть что так разве еще в надежде на будущий год, а это журавль в небе. Я, Аня, до того

влюбился в тебя, что у меня и мысли нет другой как ты. Я мечтаю о будущей зиме: поправилась бы здоровьем в Руссе и, переехав в Петербург, уже больше не будешь мне стенографировать и переписывать, я это решил, а если будет много подписчиков, то непременно возьмешь помощницу, хоть Никифорову. Но впрочем подробнее изложу все мои мысли когда свидимся. Рад за детей, если здоровы. Люби Лёшу, мне так хотелось бы видеть Федю. Не пренебрегай Лилей, а если можно, начни ее хоть по маленьку учить читать. У Лили, по моему, твой характер: будет и добрая, и умная, и честная и в тоже время широкая; а у Феди характер мой, мое простодушие. Я ведь этим только может быть и могу похвалиться, хотя знаю, что ты, про себя, может быть не раз над моим простодушием смеялась. Так ли Аня? Но впрочем тебе все позволено: ты хозяйка моя и повелительница, ты владычица, а мне счастье подчиняться тебе. То есть я свое за собой оставляю, и уж от капризов и ипохондрии моей избавиться не могу, но ты никогда не знала Аня сколько у меня, не смотря на все это, любви к тебе было, а теперь, я чувствую, точно обновился и точно вновь начал любить тебя, да и никогда не любил тебя так как теперь. Подожди, ангел мой, я еще тобой займусь, и ты может быть увидишь и во мне хорошее.—

Про себя мне почти нечего написать: умираю здесь от скуки, а главное—без тебя. Лечение мое до сих пор идет просто плохо. Нервы расстроены ужасно, бывает горловая спазма, что, в последние годы, чрезвычайно редко случалось, разве при крайнем расстройстве нервов. Вчера и третьего дня начинал чувствовать как-бы наступление припадка, т. е. захватывало душу, как бывает в последнее мгновение перед припадком, когда случался на яву. Возможность припадка пугает меня, тогда что станется с „Дневником", за который еще я не принимался? Да и напишу-ли еще что, потому что чувствую себя расстроенным и как то расслабившимся. Впрочем хожу, гуляю, апетит есть, но сплю мало, часа по три, по четыре в ночь, потому что все потею. Потею и днем ужасно и это не от того что стоят жаркие дни: это кризис вод, я знаю это, и кто знает—может быть мне и не пойдут на этот раз в прок воды, ибо они оказывают хорошее влияние под непременным условием спокойствия нервов. По ночам-же, когда в поту, является скверный сухой кашель. Здесь, несмотря на прелестные дни, не проходит дня чтоб не налетал часами, вдруг вихрь, в буквальном смысле слова, а третьего дня была страшная гроза. С этим вихрем ужасно легко, при постоянной испарине, простудиться. —

Приготовляясь писать, перечитываю мои прежние заметки в моих прежних письменных книгах и кроме того перечитал всю захваченную мною сюда переписку.—Подписался в Библиотеке для чтения—

(жалкая библиотека), взял Zolà, потому что ужасно пренебрегал за последние годы европейской литературой, и представь себе: едва могу читать, такая гадость. А у нас кричат про Zolà как про знаменитость, светило реализма. Что до житья моего, то кормят меня скверно и не скажу, чтоб мне было очень покойно: жильцы ужасно бесцеремонны, стучат по лестницам, хлопают дверями, кричат громко. Не знаю что скажет Орт; ему бы только поскорей отвязаться от больного, никогда не рассмотрит подробно, кроме 1-го разу, да и первый-то этот раз единственно смотрит из приличия, чтоб не испугать больного небрежностью с самого первого разу. Впрочем может быть и поправлюсь; только бы нервы успокоить, тогда лечение пойдет на лад. Но непременно пошло бы на лад, еслиб мы приехали сюда с тобой вместе, т. е. еслиб только это было возможно. Без тебя я не могу оставаться по долгу, это положительно. А между тем, уезжая, я хоть и знал как мне тяжело будет, но все же, в основе, радовался что отъездом— облегчу тебя, потому что слишком заморил тебя при себе и скукой и работой, так что ты отдохнула бы от меня и освежилась душой. И вот в своем post-scriptum'е ты вдруг поражаешь меня. Да и написаны то эти 4 строки таким быстрым почерком и такими разбежавшимися литерами, точно у тебя рука дрожала от волнения. Значит ты встретила его в самый последний час, в субботу утром. Да еще прибавляешь „подробности после"—это значит мне дожидаться до Воскресенья! А между тем Анька, я просто боюсь. Друг мой милый и единственный: хоть я знаю, что муж, не скрывающий в этаком случае своего страху сам ставит себя в смешной вид в глазах жены, но я имею глупость Аня не скрывать: я боюсь, действительно боюсь, и если ты, смеясь своим милым смехом (который я так люблю) приписала: „ревнуй", то достигла цели. Да, я ревную, Аня! у меня характер Федин и я не могу скрыть перед тобой моего первого ощущения. Голубчик, я тебе сказал: „веселись", (*зачеркнута целая строчка*) что люблю тебя даже до невозможности. Твой богатый, милый, роскошный характер (сердце и ум), при твоей широкости, небывалой у других женщин, завял и соскучился подле меня, в тоске и в работе и я мог (*зачеркнута целая строчка*) веря в широкость, в совесть и главное в ум Аньки. (*Зачеркнуто далее 10 строк*).

Веселая и очаровательная... (*зачеркнуто 11 строк*).

Милая, прелестная ты моя, я пишу это все и... (*зачеркнуто 16 строк*).

Анька, идол мой, милая, честная моя (*зачеркнуто слово*) не забудь меня. А что идол мой, бог мой—так это так. Обожаю каждый атом твоего тела и твоей души, и цалую всю тебя, всю, потому что это (*дальше написано на поле 4-й страницы*) мое, мое! До свиданья — а когда оно будет! Напиши все подробности (*зачеркнуто несколько*

слов). В каком платье ты была? Становлюсь перед тобой на колени и цалую каждую из твоих ножек бесконечно! Воображаю это поминутно и наслаждаюсь. Анька, бог мой, [не обидь].

На поле первой страницы приписано:

Детей благословляю, цалую, говори с ними обо мне Аня! Еще раз цалую тебя да каждую минуту тебя цалую и даже письмо твое, это самое, 2-е, цаловал, цаловал раз 50.

Твой весь Ф. Достоевский.

111.

Эмс 18/30 Июля. Воскресение/76.

Милый друг мой Аня, получил вчера твое письмецо (от Понедельн. 12 Июля). В том, что ты пишешь об няньках, вижу большие затруднения и предчувствую, что может быть и совсем не придется, коли все так, добыть хорошую няньку, а это и для тебя и для детей очень будет вредно. Как это право не сносно, вот тебе Старая-то Русса, а что всему вредят Прасковья и Аграфена, то в этом сомнения нет. И какая-же мерзкая эта нянька если била Федю. Помнишь, 4 года назад, когда мы вдруг уехали в Петербург из Руссы с Любочкой, то оставили Федю на Прохоровну; ну вдруг теперь-бы случилось уехать и пришлось бы оставить детей лишь на няньку как тогда, и она-бы принялась бить их — что бы они вынесли одни, без папы и без мамы? Как тосковали бы в грусти их маленькие обиженные души.—Кстати, ради бога береги их от коклюша, про который ты пишешь. Но все таки далбы бог тебе няньку, а то в самом деле тебе отдохнуть и успокоиться нельзя будет. Это меня очень беспокоит. Обрадовало меня однакоже то, (что ты пишешь,) что сама со Вторника начнешь (т. е. теперь в эту минуту давно начала уже) купаться. Значит регулы были не 10 дней, а всего только три-четыре дня. Это прекрасно; я верю водам и что они тебя непременно поправят, а я об этом только и мечтаю. Напиши мне и о няньках и о твоем купаньи в подробности.—То что пишешь об Леше и что он умнеет, меня очень позабавило. Поцалуй и Лилю от меня за то что хочет „потрудиться для бога“, а Федю поцалуй и скажи что здесь все большие и дети катаются на ослах и что очень много собачек возят тележки и что я непременно когда нибудь повезу (*зачеркнуто одно слово*) его с Лилей за границу посмотреть и покататься. Мне здесь по прежнему ужасно скучно, хотя нервы поправились, сплю я хорошо и вошел мало по малу в силу. Орт утверждает, что все это—самое обыкновенное действие вод, над всеми наблюдаемое и утверждает что лечение мое идет правильно и успешно и что у меня расширилась и очистилась грудь, так

что воздуху я вдыхаю за раз больше и легче. Это и действительно так. Я в третьем этаже, 4 лестницы, а я всхожу по ним без малейшей одышки. У Орта я бываю каждые 6 дней и даю ему каждый раз 10 марок, т. е. 3 талера 10 грошей (малый золотой) чтоб был внимательнее. Думаю описать Эмс в „Дневнике“, но Дневник еще только составляю, а все еще не начинал и он ужасно меня беспокоит. Когда гуляю все останавливаюсь у детей и любуюсь ими, или заговариваю. Останавливаюсь и у маленьких годовых ребят — все воображаю в каждом Лешу, который наверно меня не узнает. Какой то Мельницкий, из Москвы, еще молодой человек подошел раз ко мне и объявил что мы познакомились в Эмсе еще третьего года; [когда] я обошелся вежливо, но его не помню и он теперь не подходит. Здесь много чрезвычайно даже хорошеньких женщин и прекрасно одетых, но я на них не смотрю. Читаю газеты и изредка Zolá, табак у меня кончился и я сел на сквернейшие папиросы. Деньги так и идут, хотя я сильно экономизирую. Много думаю (с тоской и мукой) об окончании года, о Дневнике и обязательстве Некрасову. Ужасно, ужасно! А главное, я совсем один, совсем один.

Ты, „чтоб я не очень беспокоился“ (твои слова) разъясняешь мне встречу „с ним“ — встречей в Петербурге твоего прежнего жениха В. Милый друг Аня (хотя друг коварный) я думаю, что ты меня капельку обманываешь, с самым впрочем добрым намерением с твоей стороны, именно „чтоб меня успокоить“. Ты, будучи в приятном и веселом волнении, кончила запрошлое письмо известным post-scriptum'ом. Этот post-scriptum совсем не гармонирует с письмом: видно, что он вдруг приписался, от волнения, почти нечаянно, а кончая письмо ты и не знала что напишешь его еслиб в промежутке не последовало встречи с ним (*зачеркнуто несколько слов*). Да и почерк другой, литеры поставлены как попало, рука дрожала—это все видно, ну могло-ль бы это быть еслиб встреча эта относилась к В-ну еще 4 дня назад? Отчего же ты в первом своем письме не записала об этой встрече, а только во 2-м? И наконец, ты сама знаешь, я никогда, никогда не ревновал тебя к В-ну, да и знаешь что не буду ревновать, а ты пишешь: „отгадай кого и (ревну) ревнуй“. Просто за просто я объясняю так: встретила его, (*зачеркнуто одно слово*) хорошо танцующего и похожего на меня, была увлечена, сердечко вспрыгнуло и вот, чтоб подразнить папу (что впрочем очень было мило, потому что невинно и весело) — написала post-scriptum: „угадай кого и ревнуй“. Затем отослав одумалась, раскаялась, пожалела папу: „начнет дескать ревновать“, дай напишу про В-на. (*Зачеркнуто 3 строчки*). Чтоже до В-на, то конечно и того повстречала в Понедельник в Гостином Дворе и я этому совершенно верю. Вот он и пригодился теперь как отвод. Весь этот вывод, Аня,

я сделал невольно, на тебя не сержусь, ножки твои цалую, а все таки мне тяжело, что ты отнимаешь от меня доверие, потому что это дурной для меня знак.—Ты уж не вздумай рассердиться на меня; я надеюсь на твой ум, ты не рассердишься. Но, голубчик мой бесценный, очень тяжело здесь мечтать и соображать, подводить выводы, шансы и проч. Ну довольно, цалую тебя беспредельно, а любовь моя прибавляется с каждым днем. Не вздумай что это ревность прибавляет любви и что помучить человека ревностью в таком случае иногда очень полезно.

Чтоже до Г-на В., то я, ангел мой, с большим, с большим удовольствием, прочел что ты обошлась с ним ласково и приветливо и что вы „расстались друзьями". Об этом Г. В. я здесь довольно много думал и сообщу о нем тебе мои мысли при свидании. Что же до мнения Марьи Михайловны, то она хоть и премилая женщина, но и довольно ограниченная и никогда не поймет иных вещей. По моему твои слова: „А право я была тронута таким восторженным приемом"— самые естественные и благородные. Нельзя не интересоваться таким искренним и совершенно бескорыстным чувством как его чувство к тебе. Сколько, я о нем получил через тебя, понятия—это не такой человек, который бы решился загрязнить свое чистое чувство к тебе исканием интриги: тогда разрушился бы его идеал, воплощенный в тебе, и он бы разочаровался и стал несчастным. Равно и ты. Ты до того развита и великодушна, что сама понять можешь, что перейдя через меру—только горестно удивишь его и не только не станешь ему милее, но даже выйдет совсем напротив. К нему-то уж я никогда ревновать не буду, да ведь ты и сама это знала. Вот почему и слова твои в Post-Script. „Отгадай кого и ревнуй" и восклицание: „Его!" я совсем не могу отнести к нему: совсем неправдоподобно. Напротив, если я ревновал (а я тебя всего и ревновал-то однажды) то это именно, к тому, (*зачеркнуто две с половиной строчки*) не сердись, не сердись ангел мой, Анька, женка ты моя бесценная, согласись что если и есть во мне маленькая ревность, то ведь это чувство „невольное"...

Цалуй детей покрепче, меня не забывай. Дай вам всем господь покой и порядок, чтобы хоть недели-то три отдохнуть. Пиши Анька. Всякое известие о тебе и о вас всех—обновляет меня здесь и оживляет, точно лекарство. Письмо твое, каждое, по обыкновению перечитываю раз по десяти. А обо мне не беспокойся, я сам об себе беспокоюсь. Кстати, здесь ужасно легко простудиться. Например третьего дня: накануне стоял жар в 24 градуса в тени. Утром в 6 часов просыпаюсь—туман сел на все, все белое как зимой. Выхожу ровно в 7 часов на источник и вдруг чувствую такой холод, что воротился и надел пальто. Когда пришел к источнику и взглянул на термометр,—то уви-

дал верить ли 10° в тени — ведь это зима! Прошел час, взошло солнце, туман исчез, подхожу к термометру—18° в тени. В тот же день в час по полудни—24° в тени. На расстоянии шести часов—14° разницы! Ангел мой, сегодня утром слышал увертюру из Фиделио Бетховена. Выше этого ничего не создавалось! Это в легко-грациозном роде, но с страстью, у Бетховена везде страсть и любовь. Это поэт любви, счастья и тоски любовной! Ну до свидания, до свидания все! Молюсь за тебя. И так мама уехала. Дай Вам бог покоя. Боюсь за вас ужасно!

На поле первой страницы приписано:

Еслиб случилось что с тобой или с детьми,—то ничего не скрывай, пиши тотчас.

Твой весь Ф. Достоевский,
целует тебя бессчетно, день и ночь.

112.

Эмс 21 Июля/ 2 Августа/76
Среда.

Милочка Анечка, Вчера получил твое письмо от 15 Июля. Во первых и прежде всего, расцалуй Федю и поздравь с прошедшим днем рождения; если я и не написал прежде, то здесь про себя помнил о его празднике и мысленно поздравил его. Во вторых напиши маме и поблагодари ее от меня за ее приписку и поздравление. Милый друг, если мама уехала, а у тебя еще и няньки нет, то воображаю как тебе тяжело оставаться одной с детьми при нашей дрянной прислуге. Да неужели нет возможности переменить их всех,—иначе они нас просто в кабалу возьмут, а тебя измучают. Все это меня беспокоит не мало, верь мне Анька. Я очень рад что ты вздумала отслужить молебен, так и надо.—Всего больше скучаю о том, что так редко получаю твои письма: из двух дней в третий (а в сущности в 4-й) получать от тебя известия очень тяжело. Нельзя-ли, голубчик, через день; хоть ничего нового не будет в письме, а все таки я прочту твое: „мы здоровы“ и буду спокойнее. Я не требую больших писем, пиши хоть по одной страничке (да и нельзя иначе при переписке очень частой), а все таки присылай почаще. Всетаки я буду покойнее. Я, мой ангел, замечаю что становлюсь как бы больше к вам всем приклеенным и решительно не могу уже теперь, как прежде, выносить с вами разлуки. Ты можешь обратить этот факт в свою пользу и поработить меня теперь еще более чем прежде, но порабощай Анька, и чем больше поработишь, тем буду я счастливее. Je ne demande pas mieux. С 18 на 19 число я вынес ночью ужасный кошмар, то что я тебя лишился. Еслиб ты знала, Аня, как я [то] мучился. Вся твоя жизнь со мною припомнилась мне и я укорял себя как мало ты была вознаграждена, и поверишь-ли кошмар продолжался

и весь день после того как я пробудился так он был жив. За 19-е число я продумал о тебе и протосковал, и еслиб возможно было хоть на 10 минут с тобой свидеться, то кажется я был-бы безмерно осчастливлен. Напиши непременно не случилось ли с [того чего] тобой чего нибудь восемнадцатого или 19-го числа. А в следующую ночь, т. е. на утро в 5 часов когда проснулся и встал ногами с постели, то почувствовал такое сильное головокружение, что не мог держаться на ногах и падал и так было минуты три. Затем головокружение, хоть и в меньшей степени гораздо, продолжалось весь день. Я был на источнике, потом у обедни, но все не проходило. Когда стал читать, то буквы мелькали тускло, хотя и мог читать. Вечером пошел к Орту (о котором отчасти переменяю мнение: он человек довольно симпатичный и когда очень надо, то вникнет, а знание его как врача, здесь не подвержено сомнению и он пользуется даже славой). Я попросил его осмотреть меня и сказать не будет-ли со мной удара? Он осмотрел меня чрезвычайно внимательно, со всеми приемами; сжимал мне голову, прислушивался, закрывал мне глаза и внезапно открывал их,—и положительно сказал мне что нет ни малейшей опасности, [но что все] что не только удара не может быть, но что у меня даже и не к голове прилив крови, а только так кажется; но что все это происходит от моей болезни (легких), что вследствие аффекта действия вод, несколько парализован был желудок, который в моей болезни, совершенно подчинен расстроенным легким, но что все это временное и при дальнейшем питье Кренхена уничтожится; кроме того, воды действуют на меня, на этот раз, несколько сильнее чем прежде, но что все это по ходу болезни, и что все эти припадки головокружения через два три дня пройдут сами собой. Впрочем дал мне порошки [Зейдлица] от нервов и желудка и приказал, не ужинав принять на ночь, „и вы проспите прекрасно и все пройдет“. Так я и сделал, принял порошок и спал превосходно и сегодня, 21-го чувствую себя как всегда. На вопрос-же мой (положительный) — так ли развилась моя болезнь, что мне уже не долго жить?— он даже засмеялся, и сказал мне что я не только 8 лет проживу, но даже 15 — но прибавил: „разумеется если климат, если не будете, простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами, и вообще если не будете нарушать осторожную диету“. Все это, милый мой ангел, пишу тебе в такой подробности чтоб ты за меня не беспокоилась (что видно из письма твоего): все стало быть по старому; болезнь хоть не пройдет, но будет действовать очень медленно, разумеется при некоторых мерах всегдашней предосторожности; но мало по малу ведь и это можно устроить.

Здесь, вчера утром на водах я встретил Елисеева[213] (обозревателя „внутренних дел“ в Отеч. Записках); он здесь вместе с женой,

лечится и сам подошел ко мне. Впрочем не думаю, чтоб я с ними сошелся: Старый „отрицатель“ ничему не верит, на все вопросы и споры, и главное совершенно семинарское самодовольство свысока. Жена его, тоже должно быть какая нибудь поповна, но из разряду новых „передовых“ женщин, отрицательниц. Он хотел здесь, по случаю приезда священника, склонить его торжественно отслужить молебен за успех Черногорского оружия (была телеграма о большом сражении и победе Черногорцев) и склонял меня уговаривать Тачалова (священника). К обедни сам не пошел, а я Тачалову сказал, но тот благоразумно уклонился под предлогом, что известие о победе еще недостаточно подтвердилось (и правда), но я уговорил Тачалова сделать русским приглашение подписаться на славян. Это он сделал, был у меня, написал бумагу, [над] (возвание), под которой подписался и сам пожертвовал 15 марок, я подписался сейчас после него и тоже дал (*зачеркнуто одно слово*) 15 марок, за тем от меня он пошел к Елисееву: не знаю только подпишется ли Елисеев, ибо семинаристы любят лишь манифестации, а пожертвовать что нибудь очень не любят. Затем бумага пойдет, через церковного сторожа, по всем русским. Составится ли что нибудь неизвестно. Сегодня я Елисеевых на водах не встретил. Не рассердился-ль он на меня, за то что я вчера кольнул семинаристов. Жена же его на меня положительно осердилась: она заспорила со мной о существовании бога, а я ей между прочим сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. Это ее рассердило очень. — Вообрази характер и самоуверенность этих семинаристов: Приехали оба лечиться, по совету Петербургского доктора Белоголовова, [214] а здесь не взяли никакого доктора, свысока уверяют что это вовсе не нужно и принялись пить Кренхен без всякой меры: „Чем больше стаканов выпьем, тем лучше“ — и не имея даже понятия о диете.

Голубчик мой, я все еще не принимался за работу, и клянусь тебе, Аня, отчасти виною ты: все об тебе думаю, мечтаю, жду твоих писем, — и не работается. В такой тоске, в которой я пробыл 19-е можно-ли было работать? Но ради бога, пиши мне о всех своих обстоятельствах и не скрывай в письмах неприятностей: иначе я буду мучиться и преувеличивать. — Есть ли, наконец, нянька? Ах ангел мой, тяжело мне здесь без вас. Я впрочем все исполняю: пью воды, делаю моцион. С кушанием только справиться не могу: дают страшную скверность. Напрасно, милочка, не прислала мне письмо того провинциала, который ругается. Мне это очень нужно для „Дневника“. Там будет отдел: „Ответ на письма, которые я получил“. И потому, если можно, пришли его с первой почтой не жалея марок и не уменьшая письма своего. Напиши мне тоже ясно и точно и непременно о моем пальто: где я его, приехав в Петербург, найду? Ну

до свидания, ангел мой, цалую тебя до последнего атома и в особенности ножки твои. Госпожа ты моя и владычица, не стою я тебя, но обожаю, и женку мою никому не отдам, хоть и не стою. Цалуй детей, Федю, Любу, особенно Лешу. Благословляю их.

Твой весь всем сердцем Ф. Достоевский.

113.

$\frac{24 \text{ Июля}}{5 \text{ Авг.}}$ Суббота/76.

Бесценная моя женка, Анечка, цалую тебя за твое ангельское письмецо от 18 Июля в засос. Дорогая моя радость, с чего ты взяла что ты „золотая средина“? Ты редкая из женщин, кроме того что ты лучше всех их. Ты и сама не подозреваешь своих способностей. Ты ведешь не только целый дом, не только дела мои, но и нас всех, капризных и хлопотливых, с меня начиная до Леши, ведешь за собою. Но ты, в моих делах лишь разменялась на мелкую монету. Ты ночей не спишь ведя продажу книг и „контору“ Дневника, а между тем мы пока еще собираем гроши, да и будут-ли рубли-то впоследствии? Но сравнительно с тобою это все мелочь. Сделай тебя королевой и дай тебе целое королевство и клянусь тебе ты управишь им как никто — столько у тебя ума, здравого смысла, сердца и распорядительности. Ты приписываешь „как могу я любить такую старую и некрасивую женщину как ты“. Тут ты уж совершенно лжешь. Для меня ты прелесть, и подобной тебе нет. Да и всякий человек с сердцем и вкусом должен сказать это, если приглядится к тебе, — вот почему я иногда и ревную тебя. Ты сама не знаешь какая прелесть твои глаза, твоя улыбка и твое иногда одушевление в разговоре. Вся вина в том, что ты мало бываешь в людях, а то сама [подив] бы подивилась своим победам; но мне, впрочем это на руку, хотя Анька, царица моя и госпожа души моей, я пожертвовал-бы всем и даже приливами ревности, еслиб ты полюбила выезжать и развлекаться. Как бы я был счастлив мыслью что тебе весело. А еслиб и ревновал, то мстил бы тебе любовью. Я вправду тебе скажу, Анька, что когда ты чуть-чуть принарядишься для выезда и капельку оденешься, то ты не поверишь как ты вдруг делаешься безмерно моложе на вид и хороша удивительно! Я много раз даже дивился. Вся беда что ты вечно дома в работе, а потому иногда просто (*зачеркнуто одно слово*).

Нет, Анька, повторяю это, ты должна в эту зиму наделать себе костюмов и выезжать со мною или без меня все равно. Ты должна веселиться для моего наслаждения. Работы должно быть меньше и с Дневником во чтобы то нистало надо устроиться иначе, что и введем постепенно, но как можно в скором времени. И наконец

как ты можешь дивиться что я так люблю тебя, т. е. как муж и мущина? Да кто же меня так балует как ты, кто слилась со мной в одно тело и в одну душу? Да все тайны наши на этот счет общие. И я не должен после того обожать каждый твой атом и целовать тебя всю без насыщения, как и бывает? Ведь ты и сама понять не [имеешь] можешь какая ты на этот счет ангел-женочка! Но все докажу тебе возвратясь. Пусть я страстный человек, но неужели ты думаешь, что (хоть страстный человек) можно любить до такой ненасытности женщину, как я тысячу раз уже тебе доказывал. Правда все те бывшие доказательства—ничто; а теперь, возвратясь, я тебя кажется с'ем. (Ведь это письмо никто не прочтет и ты никому не покажешь).

Ну теперь о деле: Мама уехала, а ты одна, а про няньку ни слова, значит ее все еще нет, ну так какое же после того, твое спокойствие? Не успокоюсь прежде чем узнаю о няньке. Рад что берешь ванны. Милый Лешка, я ужасно буду рад когда его увижу. Пиши тоже мне и об Феде. Милая Лилька! Ах Анька, как бы нам что-нибудь заработать. Ты пишешь мне свою обыкновенную поговорку, что мы странные люди: десять лет прошли а все больше и больше любим друг друга. Но проживем и 20 лет и пророчу тебе что и тогда ты напишешь: „странные мы, 20 лет прожили, а все больше и больше любим друг друга". Я покрайней мере за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет за это не отвечаю. Впрочем здоровье мое хорошо, но не знаю успешноли будет лечение. Нервами я несравненно крепче, во время прогулок мне надобно вдвое против прежнего пройти чтоб устать. Впрочем и лечение кажется будет успешное. Здесь мне встретился некто барон Ган, Артилерийский генерал в Петербурге, с которым мы вместе сиживали у Симонова под колоколом. Он рассказал мне, что Фрёрах в Берлине сказал ему что он неизлечим, но он (прошлого года) ездил к Вундерфрау в Мюнхен (ты вероятно слышала, она лечит от всех болезней каким то своим секретным способом и всех вылечивает и к ней с'езжаются со всего света, а доктора в Германии—ни слова не смеют сказать против, потому что вылечивает совсем неизлечимых) и что она очень помогла ему, так что и теперь он себя чувствует прекрасно. Впрочем он тоже пьет здесь Кренхен. Вот бы на будущее лето мне с'ездить в Мюнхен, да и с тобой бы (от малокровия) тем более что она денег почти не берет. Все лечение у ней не более 10 дней, так что, в случае неудачи всегда можно отправиться потом на Кренхен. Это я разумеется в том случае говорю, когда твердо буду уверен что 500 руб. на поездку воротятся потом пятью тысячами. — Но во всяком случае здесь, теперь, и здоровье и кажется лечение мое как нельзя лучше идут. Но вот в чем страшная беда, Анька: Дневник, Дневник! — Я только что сел писать и вижу по всему что

запоздал до невозможности. Мне остается здесь писать дней 12, но что это за дни! Веришь-ли, совсем нет времени! Встаю в 6, одеваюсь и в 7 пью воду. Возвращаюсь в 9, завтракаю и отдыхаю до 10, (ибо все моцион делал). С 10 писать, полчаса на подготовку и пишу до 12, но с 12 до часу опять моцион, так предписано. В час обед, после обеда нельзя сейчас приниматься, а главное это время у меня на письма иногда уходит (вот почему Анька не сердись, если теперь начну писать маленькие письма). В 4 часа опять на воды, в 6-м домой; тут надо сесть за переписку, но в 7 опять вставать и делать большой моцион. В 8 чай, а за тем в 10 спать, — так что в сущности всего часа 2 на сочинение и часа $1^1/_2$ на переписку—ужас, ужас! что я написать могу? То ли дело дома ночью? Да и Дневник выходит такой дрянной, такой мизерный, а его как нарочно, надо бы издать как можно щеголеватее, иначе капут! Одним словом Анька я в тоске, в литературной тоске. Да кроме того тоска об вас: не случилось ли с вами чего? От этого я уже решил что не могу избавиться. Я думаю, Аня, что выеду отсюда 7-го Августа. Я рассчитал что могу еще дней 9 заниматься и писать в Старой Руссе, то-то бы хорошо. Ангел, я у твоих ног, цалую и обожаю тебя. Молюсь тебе и за тебя. Цалую в засос, всю, всю. Цалую деток. Скажи им что папа приедет скоро. Ах, голубчик кабы вас уберег господь! Ах Анька, кабы бог тебе послал хоть капельку поздороветь. Пишешь, что нет книг. Но друг мой, ведь есть Библиотека для Чтения на которую можно подписаться. Не жалеть же грошей.

Твой весь, обожатель твой и влюбленный в тебя муж твой

Ф. Достоевский.

P.S. Анька, радость, вспомни (*зачеркнуто* $1^1/_4$ *строчки*). Сдержи слово моя (*зачеркнуто одно слово*). Это очень важно, очень важно. Слышишь-ли, понимаешь-ли? (*зачеркнута строчка*). Цалую 5 пальчиков на твоей ножке. — Цалуй детишек.

114.

Эмс 26 Июля/7 августа/76.
Понедельник.

Бесценная Анечка, спешу тебе ответить на твое письмо от 21 (именно с п е ш у, потому что времени совсем нет из за Дневника). Напрасно, ангел мой, так встревожилась моею ревностью, я хоть и помучился но теперь я опять во все [время] хорошее верю, а в Аньку я всегда верил и буду верить. Но об этом потом, приеду наговоримся. Аня, я решил что 7-го Августа (т. е. в субботу на будущей неделе) непременно отсюда выеду, потому что в пятницу кончится ровно

4 недели моему леченью. Орт говорит, что и не надо больше. Вот только не знаю пойдет-ли в прок мне леченье. Боюсь что мало, хотя уже теперь чувствую себя сильно укрепившимся: нервы спокойны и даже физической силы больше, нужно вдвое пройти пешком против прежнего, чтоб почувствовать усталость. За то здесь с самого приезда чувствую усиление хрипоты [орган,] но вместе с тем ощущаю ясно и чрезвычайное расширение дыхания, т. е. уменьшение одышки. Что то скажет конец лечения. Гаргаризирую горло и боюсь не простужусь-ли, потому что беспрерывно осипаю. Завтра схожу к Орту. Елисеевы находят что я очень поправился и удивлялись когда я сказал что мне 54 года; они дают мне 40 лет с небольшим. (Ужасно странные люди, она же пресмешная нигиляшка, хотя и из умеренных). Но во всяком случае выеду 7-го и потому, милый ангел, на это письмо ты мне ответишь, а потом напиши 2-го Августа (непременно, т. е. напиши 1-го а чтоб непременно пошло 2-го). Я получу его 6-го, т. е. накануне от'езда. Ты же после этого письма, т. е. которое отправишь 2-го, уже не пиши больше. Я же буду продолжать писать до конца и даже напишу накануне, чтоб ты успела выслать мне Андрея туда где пристают пароходы (у Звада, что-ли?) Но вот беда: хоть и решил что выеду 7-го, но не знаю приеду-ли в Руссу 12-го, ибо пожалуй замешкаюсь день и приеду 13-го. Впрочем [если] напишу еще [или] накануне выезда, а если надо будет то и из Берлина, потому что письмо из Берлина во всяком случае прибудет в Руссу раньше моего.

Пишешь о детях и опять ничего о няньке! Стало быть все еще нет этой проклятой няньки и тебе не удастся отдохнуть! Да и не понимаю как же живут теперь дети без няньки. Не можешь ты все за ними ходить, а они не могут подле тебя сидеть.—Цалуй детей крепко. Ангел мой, за работой бьюсь и тоскую: Нет времени работать да и только; подвигаюсь ничтожно, выходит дрянно. Вообрази, сегодня мог только писать, но ни строчки не успел переписать. Давно надо сходить в ванну и [нет] не нахожу времени. Письма писать буду маленькие. Вс. Соловьев прислал мне ответ на мое письмо и статью свою в Р. Мире[215] об июльском Дневнике, наполненную самыми восторженными похвалами. Статья длинная. Пишет что отрывки из нее перепечатало „Новое Время“ и отозвалось с величайшей похвалой. Он пишет что Июньский Дневник производит сильнейшее впечатление, и что он знает это наверно, и что слышал и слышит беспрерывно множество хвалебных отзывов.—Ты, ангел мой, пишешь, чтоб я не беспокоился и как приеду, ты мне все перепишешь. Но, добрейшая ты моя, каково же мне то, только что приеду и сейчас опять тебя впрячь в работу. Это мне слишком тяжело, слишком

огорчительно. Впрочем хотя медленно, а все же подвигаюсь. Главное, я надеюсь что приехав буду иметь еще дней 9 или даже 10 работы и что нибудь все же успею сделать. Хоть бы в два то с $^1/_2$-й листа выдать, и кабы не совсем дрянь.

До свиданья моя бесценная, моя жена и [любовница] (*зачеркнуто* $1^1/_2$ *строчки*). Голубчик, обещаешься (*зачеркнуто два слова*) вот это так прелесть: и здоровья больше и всего будет больше. Ангел мой, не взыщи за слова, я тебя во сне вижу. Цалую тебя беспрерывно. Цалуй детей. Твой весь, весь до капли муж

Ф. Достоевский

а ты его госпожа.

P.S. Да любишь-ли ты меня? Правда-ли?

P.S.S. Не беспокойся за меня что я мучаю себя работой. Я не мучаю. Напротив, время от 8 до 10 вечера перед сном положил совсем не работать, чтоб свежее была голова и тем сам у себя уменьшил часы работы. Во всяком случае работа тем хороша, что ужасно сокращает время. А то скука, скука!

Цалую твою ножку и пяточку. (Цалую и не нацалуюсь, все воображаю это).

А ты меня ни разу во сне не видала?..

115.

Эмс 30 Июля/11 Августа/76
Пятница

Бесценная моя Аня, вчера получил твое письмо от 24 Июля, Суббота (а пошло из Ст. Руссы в Воскресенье 25-го, что значится по конверту) и отвечаю лишь сегодня, потому что страшно занят работой, а подвигаюсь ужасно медленно и ничтожно; что из этого выйдет — и думать боюсь. Но не беспокойся обо мне. И так няньки нет, Нет, Аня, что ты там ни пиши а без няньки худо и не верю я чтоб дети не мучили тебе нервы? Да неужели, опять таки, нельзя прогнать совсем Лукерью и Аграфену, иначе они нас в кабалу возьмут. Я из письма твоего даже замечаю, что ты недовольна Лукерьей. За известие о детях, спасибо, милый друг. И как ты умеешь хорошо это все заметить и написать. Федины слова об ослах верх совершенства. Верю, что ты возишься с детками и наблюдаешь их не хуже няньки, но это худо, худо. — Правду ли ты пишешь что леченье тебе приносит пользу? Ах [кабы] кабы так, милочка. Ты была очень расстроена и устала и трудно представить чтобы уж [на] одиннадцатью ваннами ты начала

поправляться. Обещалась потолстеть, дай тебе бог не для одного т о г о. То само собою и мы спуску не дадим. Но дай тебе бог совсем поправиться и стать к 30 годам толстой, здоровой барыней. Вот уж цаловать-то буду за это и утешаться на тебя. И совесть и дух и сердце мое будут спокойны.

Я уже тебе написал в последнем письме, что 7-го Августа, в Субботу, наверно отсюда выеду. Так и постараюсь сделать. Если правильно поеду, без особых задержек и приключений, то 12-го буду в Руссе. Во всяком случае двенадцатого вышли лошадей в то место, куда пристает пароход. Впрочем напишу об этом накануне выезда отсюдова. Леченье кажется принесет мне пользу наверно и даже приносит и теперь. Язык у меня совершенно чистый, чего никогда не бывает в Петербурге, а апетит у меня жестокий, хотя кормят меня решительно дрянью. И веришь ли я потолстел и если не похудею к 12-му, то сама заметишь, потолстел наверно б о л ь ш е т в о е г о. Вот только нервы иногда расстроены и боюсь не навернулся бы припадок: вот уже будет некстати. Ктому же здесь, наконец, скука становится до безобразия невыносимою и хоть и тяжело работать, но работа все же сокращает время. Елисеевы кажется на меня рассердились и сторонятся. Дряннейшие казенные либералишки и расстроили даже мне нервы. Сами лезут и встречаются поминутно, а третируют меня в роде как бы наблюдая осторожность: „не замараться бы об его ретроградство.“ Самолюбивейшие твари, особенно она, казенная книжка с либеральными правилами: „ах что он говорит, ах что он защищает“. Эти два [гад. г..на] думают учить такого как я. Сюда приехала Лихачева (Лихачевой и Суворинои издания), была в Белграде из либерализма, нечто засушенное в либерализме и только и говорит что о гуманном сострадании к Сербам, но кажется сплетница. Узнав что я фельетонов Суворина из Константинополя не читал с Петербурга, она предложила мне Новое Время, которое было при ней и прислала его мне с своим сыном 16-м подростком. Он тоже был в Белграде и мне понравился. Я оставил его у себя на четверть часа и начал его учить н е л и б е р а л и з м у, причем ввернул что с е м и н а р и с т ы у нас многому повредили, не намекая ничуть на Елисеева. Вечером же встретив их, увидал холодность и полагаю (по некоторым данным) что мальчик передал мой разговор матери, а та им. Очень рад буду не встречать их. Встречаясь с ними я только расстраивал мои нервы.

До свидания ангельчик мой, красавица моя, свет мой и н а д е ж д а моя. Ты лучше и выше всех женщин; ни одна то не стоит тебя. Мы сошлись по душе. Дай бог еще нам подольше прожить вместе. А что я буду чем дальше, тем больше тебя любить — это факт! Ну, до

свидания, до близкого кажется, слава богу. Но только как тяжело будет тянуться это неделя.

Твой весь Ф. Достоевский.

Деток благословляю, перецалуй их.

Цалую обе твои ножки и все, все. Часто очень тебя вижу во сне. Госпожа ты моя, а я тем счастлив.

116.

Эмс. 2/14 Августа/76.
Понедельник

Дорогая моя милочка Анечка, вчера получил твое письмецо от Вторника 27 (пошло 28). Рад, что вы все здоровы, но ты наколола палец, боюсь чтоб не разболелось как у меня 10 лет назад. Во всяком случае с нарывом должно быть страдала. С'умела-ли лечить-то? На счет няньки я все тех же мыслей как и прежде и не успокоюсь до тех пор пока не будет няньки. Пойми, голубчик, что когда я приеду, то тебе втрое тяжелее будет ходить за детьми, да и нам будет это страх не сподручно во всех отношениях. Ты говоришь что дети ведут себя хорошо, но смотреть-то ведь все таки за ними надо же. Хорошо кабы ты взяла побольше ванн еще до моего приезда.—Я все в той же уверенности что выеду в Субботу, 7-го Августа; так и готовлюсь. Надоело мне здесь как каторга, несмотря на то, что дни стоят восхитительные, за то просто замучила удушающая невозможная жара. 26 градусов в тени и это почти уже две недели. Поди работай в такое время. Ты спрашиваешь на счет гаргаризации? Но ведь я об этом писал; не знаю что будет, а полощу горло прилежно. Непременно что нибудь будет, эмские воды действуют сильно. Если хочешь всю правду, то я склоняюсь к одному заключению, к тому именно что курс мой должен быть в 6 недель, а не в 4. Здесь курс двух видов: в 4 и в 6. На одних довольно 4-х, другим мало и им 6. Это здесь по старому вековому опыту. Мне страшно помогли воды 3-го года, когда они совсем переродили меня. Тогда я лечился 5 недель и 5 дней. Прошлый же год я лечился всего 4 и 5 дней и уже действие вод было не совсем такое. Еслиб возможно было пробыть и нынешний раз 6 недель, то может быть что нибудь и вышлобы в роде 3-го года. Но ведь нет никакой возможности пробыть 6 недель в виду Дневника. К тому же утешаюсь что все это — лишь одно мое предположение. Иные лечутся всего 3 недели. Прошлая зима была очень тяжела погодой, а потому и чувствовал себя хуже, чем

3-го года. Ктому же ощущаю что питье вод сильно на меня действует, т.-е. нынешний год. В первую половину лечения обыкновенно расстраиваются нервы, снятся кошмары и проч.: это признак что воды сильно подействовали. Никогда не было этого расстройства и таких кошмаров как в этот раз. Стало быть и думаю что воды подействовали. Теперь у меня нервы здоровы, апетит хороший, силы больше и проч. и проч. Об этом я писал уже.

Письма присланные тобою (от корреспондентов) я не развертывал вовсе, некогда. Целый день занят, пишу и переписываю, а подвигаюсь так медленно как никогда. Приехав в Петербург сдам в типографию, по расчету, не более 1 листа и 4-х страниц. Значит большую половину придется кончить в Ст. Руссе. О содержании уже и не говорю, плох. На этот счет я в очень дурном расположении [ъ] духа. А впрочем увидим. В Ст. Руссе выгадаю себе minimum 10 дней работы, если только не будет припадка.—Очень сержусь на тебя зачем не ходила ни к Славянскому, ни к Вейнбергу, ни в театр. Несравненно бы сделала мне больше удовольствия еслиб пошла, да мало того: взяла бы ложу, а в ложу детишек. Им пора повидать комедию. Ну да не будет же этого. Ворочусь, и всю эту зиму ты должна не отказывать себе в удовольствиях. Я так хочу, слышишь ли, иначе я буду несчастлив.

Здесь у меня все попрежнему. За небольшие письма и наскоро — не сердись. Право слишком много дела. Ну да скоро встретимся, тогда обо всем переговорим. (Ради бога к тому времени найди няньку, и не торопись, а получше). Деток перецалуй, говори им что я скоро приеду. Полагаю что буду 12. Распорядись на счет лошадей. Жду не дождусь когда обниму тебя. Долго я пробыл без тебя (не в одном в этом отношении говорю, а душа истосковалась. Иногда нападает вдруг ужасный и внезапный страх: не случилось-ли с вами чего?) Да и говорить с тобой хочется, душой поделиться, слишком долго я пробыл один. Да и в этом отношении пора бы нам встретиться (ух пора!) Анька, Ангел ты мой, все мое, альфа и омега! А, так и ты видишь меня во сне и „просыпаясь тоскуешь что меня нет“. Это ужасно как хорошо, и люблю я это. Тоскуй ангел мой, тоскуй во всех отношениях обо мне — значит любишь. Это мне слаще меду. Приеду зацалую тебя. А ты мне снишься не только во сне, но и днем. Но обожаю и не за одно это. Ты в высшей степени мне друг — вот что хорошо. Не изменяй мне в этом, напротив умножь дружбу собственной откровенностью (которой у тебя иногда нет), тогда у нас пойдет еще в 10 раз лучше. Счастье будет, Анька, слышишь.

Не понимаю для чего я так понадобился Языкову[216]. Пустяки какие нибудь. Елисеевы опять [вчера] повернули ко мне, и любезнее чем

когда либо. Ну да все равно. Хотели уехать 5-го, но теперь как то [оттягивают] оттягивают. Боюсь чтоб не пришлось возвращаться с ними в одном поезде. Это беда. Но довольно. Еще раз напишу в Пятницу. Тогда напишу наверно когда выеду, и все таки ты письмо получишь дня за 2 до моего приезда. А теперь цалую тебя всю, жадно, с мучением и ножку твою бессчетно. Люби меня и жди меня. Деток благословляю, сохрани их бог.

Твой весь

весь Ф. Достоевский.

117.

Эмс, 6/18 Августа,
Пятница/76.

Бесценная моя Аня, получил твое письмо и сегодня в Пятницу последнее. Хорошо что пришло сегодня, а то завтра в Субботу отправляюсь отсюда в $6^1/_2$ часов утра, и еслиб пришло в Субботу, то я бы не получил. Теперь же пишу лишь несколько строк, потому что занят ужасно, а укладываться даже и не начинал, и скверная прачка не приносит белья. — Таким образом если не будет задержки в дороге прибуду 12 августа — вышли лошадей. Если будет задержка (которой не предвижу вовсе) то уведомлю из Берлина, а если не будет — не напишу уже больше ничего. Пишешь о квартире и о 50 экземплярах. То-то и беда, что если ключи у Коли, то как успею я дать ему знать и взять их у него, когда в Петербурге буду всего одни сутки? У меня с одной типографией будет сколько возни. Все написанное мною и что сдам в типографию надо будет еще раз перечитать с пером в руках, потому что здесь не успел. И потому если ты сама не напишешь Коле, то и не знаю как это сделать. (N. B. С получением же этого письма нечего уже Коле писать: будет поздно). Думаю что достану 50 эк. в Типографии. Впрочем как нибудь дело решится. Пишешь тоже что Федя ждет что я привезу; но, голубчик, если мне и удастся купить им платьице, то это не произведет никакого эффекта: он ждет диковинок, игрушек, а как я привезу игрушки? Я об этом много и сам думал, а теперь еще больше озабочен.—Медлить мне здесь лечиться совсем невозможно было, иначе ни за что бы не был кончен Дневник, а теперь еще есть надежда, что я допишу его в Ст. Руссе. Приехав расскажу мои рассчеты. Вчера простился с Ортом: он осмотрел меня подробно и положительно сказал мне: Vous aurez un bon hiver. На мое сожаление о невозможности остаться дольше, он ответил мне, что дольше 4-х недель и совсем мне не надо оставаться, потому что для приезжающих каждое лето совершенно довольно 4-х недельного срока. Но довольно, голубчик,

спешу; тысячу мелочей еще сделать надо. Обнимаю тебя и цалую крепко детишек тоже и благословляю их. Боюсь в дороге припадка. Спасибо что хочешь написать еще письмецо на имя Александры. Елисеевы едут завтра же, но—в Париж. Обнимаю тебя и цалую.

Твой

Ф. Достоевский.

Твои чрезвычайные заботы (*зачеркнуто 4 слова*). Эта забота так мила, что я размечтался. (*Зачеркнута фраза и слово*) прелесть моя (*зачеркнуто несколько слов*), а я только цалую тебя отсюда мильон раз. (*Зачеркнута фраза*). Кстати о Петербургских расходах: Ужасно будет жаль мне если не удастся сделать, по недостатку денег или почему нибудь, один тоже совершенно дозволенный расход в Петербурге. Это меня очень озабачивает, тем более что и здесь слишком много думал об этом расходе. Сокровище ты мое, ангел моя жоночка, цалую твои ножки, о которых мечтаю со страстью. Но до свидания, до свидания.

1877 г.

118.

Петербург.
Среда, 6 Июля/77.

Милый друг мой Аня, обнимаю тебя и цалую. Деток тоже всех поголовно. Как вы с'ездили? Жду с нетерпением твоего письма. Только об Вас и думаю.

Я приехал вчера весь изломанный дорогой. Подробностей не пишу, потому что спешу как угорелый, дела ужасно много и застал много хлопот. Приехал поезд в 11 часов утра. Приезжаю на квартиру, а Прохоровна только что передо мной ушла, ждала меня со вчерашнего дня. Послал за ней. (*Зачеркнуто 21 строка*).

Как приехал, сей же час, не дожидаясь Прохоровны, за которою отправил дворника, отправился в Типографию. Александров [217] сказал мне что они все набрали, но ничего не отпечатали, потому что нет цензора. Ратынский уехал в Орловскую губ. в отпуск, Александров ходил и к Пуцыковичу (чтоб тот, в Комитете, выхлопотал мне цензора) и сам ходил в Комитет. Секретарь и докладывать не захотел, а выслушав об'явил, что я из под цензуры вышел, так пусть и издаю без цензуры. Это значит, если все отпечатано будет к 9-му Июля, то выйдет (накинув еще 7 дней) 16-го числа. Затем стали считать набор. Вдруг оказывается что и с привезенным мною пакетом вчера и с об'явлениями, не будет доставать 5 стран. Стало быть предстоит сочинять. Полчаса считали строки и вдруг мне пришло в голову спросить самый пакет и я увидел что они, последней отсылки, от 1-го Июля еще не получали, т.-е. 5 дней, и я приехал раньше. Предпоследнюю же посылку от 30 Июня получили 4-го числа, т. е. накануне моего приезда.— Я по крайней мере обрадовался что сочинять не надо будет. Затем поспешил в Цензурный Комитет. И секретарь и Петров, все хоть и вежливы, но уговаривали меня изо всех сил печатать нецензурно, не то у вас будут сплошь вычеркивать. (Вероятно, у них какие нибудь

особые инструкции на счет теперешней литературы вообще, так что очевидно они мне не лично угрожали, а вообще такой ход дела что велено строже). Я этого ужасно боюсь, но я все таки стоял на том чтоб мне дали цензора, обещали вчера же, но вот уже сегодня утро, а известий никаких нет, и опять сейчас придется ехать в Комитет, а между тем можно бы первый лист уже печатать. Навалили на меня корректур. Вчера отдержал лист, но более не мог. В мое отсутствие заходила Марья Николавна,[218] написала мне записку, чтоб я ей назначил день, когда ей ко мне явиться. Ясно что я должен сам заехать. Между тем времени ни минуты. Сейчас еду в Типографию и Цензуру. За тем буду сидеть за корректурами. И проч. и проч. Вчера поздно вечером пришел в типографию пакет с текстом от 1-го Июля. Никого не видал. Николя заходил и вчера (без меня) и 3-го дня. Все думают что у меня времени куча, только к ним ездить да болтать с ними. Не с'езди я сегодня к Марье Николавне — ведь обидится.

На днях, после завтра, если не завтра, напишу подробнее. А сегодня ничего не знаю как еще меня решат. В этом и забота и обида. Цалую Вас всех: ты мне снилась в вагоне. Снилась и вчера. Цалую вас всех тысячу раз.

Твой вечный и неизменный Ф. Достоевский.

Кланяйся всем.

P. S. Сейчас заходил переплетчик. Бог знает как они все узнали что я приехал. Он хоть и хворый, но сам ведет дела. Я ему сказал что дам знать когда надо.—Потом заходил подписчик и подписался. (Сколько их должно быть перебывало, да с тем и ушли).—Давеча, когда еще спал изо всех сил звонил один мальчишка из Садовой от какого-то купца Николаева с требованием и с деньгами продать книгу, роман: Униженные и Оскорбленные (!) Разбудили меня. С тем и отправил.

Пиши подробности о детях. Будь терпелива. Цалую твои ножки и еще всю, т.-е. в каждое место и об этом много думаю.

119.

Петербург.
Четверг, 7 Июля/77.

Милый друг Аня, пишу тебе это уже в полночь, так что письмо пойдет только в Пятницу, завтра, 8-го Июля. — Сегодня, (т. е. в Четверг) утром, в 6 часов, во сне, со мной был припадок и разломал меня так как редко когда. И устал, и обессилел, и нервы расстроены и мрак в душе!—А между тем дел и хлопот бездна, дела не перестают, а еще пуще наростают. Цензора мне дали, Лебедева, но все же я не знаю когда я выйду? Цензор вряд ли завтра, т. е

в Пятницу, все отчитает, а за тем все таки третья корректура, просмотр, печатание, а вдобавок Александров сегодня заболел и в Типографию не приходил! Ну что если разболеется и не придет завтра и после-завтра. Тогда все пропало, потому что никто в Типографии кроме него не может рассчитать и определить числа строк, а я, со вставками и вымарками в корректуре до сих пор не знаю: достает ли у меня тексту или перешло за 3-й лист? Если перешло, тогда ничего нельзя будет сделать, потому что и выкинуть уж невозможно, так как по мере получения от цензора, они сейчас же уже и печатают. С другой стороны, если хоть и выздоровеет Александров, то когда я выйду?—вот вопрос. В Субботу 9-го уж конечно не выйдет, 10-го же воскресение, да и выйдет ли еще и 10-го то? Ничего не знаю! А меж тем надо нести об'явление о выпуске № газеты. (N. B. А формы-то об'явления я не имею, надо вновь сочинять).

Вчера заехал к Сниткиным и видел Марью Николавну. Все Сниткины (т. е. Мих. Ник.) дома, но уезжают в начале будущей недели в деревню. О тебе много расспрашивали. Но Марья Николавна приняла меня свысока и дерзко: Была в большой претензии как это ты написала ей когда-то чтоб она [приш] пришла ко мне 5-го, „и вдруг прихожу, вижу самовар на столе—и нет никого дома. Признаюсь я была чрезвычайно обижена!". Чем она могла быть обижена? Когда ты написала ей чтоб она зашла 5-го ты написала тоже что и я приеду к 30-му Июня; но я всего только успел приехать к 5-му. В письме ко мне которое она мне оставила она просит уведомить меня: когда она должна ко мне явиться. Мне она (хотя я и не спрашивал) об'явила что она все об'яснения посылает тебе по почте, а что ей мне нечего об'яснять. „Оставила мне Анна Григорьевна какие то там пачки, под буквами и под цифрами, будут где-то на окнах лежать, а я все это забыла теперь и ничего не помню".—Вообрази как мне приятно это теперь, слышать. И вообще, она тонирует и говорит свысока, чувствует что в ней надобность. Полагаю что она наговорит мне каких нибудь грубостей и выведет из терпения. Вообще, теперь я и без того в болезненном настроении, а все это, и ожидание дня выхода, производит на меня чрезвычайно гадкое впечатление. Впрочем постараюсь с своей стороны избегнуть этой дряни не замаравшись об нее и буду терпелив.

Вчера вечером получил письмо от Победоносцева. Пишет наугад, беспокоясь за меня и не зная где я, на прежний адрес; не выходит дескать Дневник, не сделалось ли чего с вами? Сам он в Ораниенбауме, живет во дворце. Напишу ему, но вряд-ли сам поеду—некогда.—На тараканов уже высыпал две стклянки купленного порошка — много [выбили] вымели мертвых, но остальные еще кишат, особенно в кухне, в дровах. Вот тут их главные гнезда. Завтра велю вытаскивать дрова

в сарай. Дворник не сказал мне что 13-го Июня по 13 Июля у тебя все забрал: значит я ему заплатил по 13-го Августа, да еще 4 руб. сверх того вперед. Прошу тебя очень отыщи у меня на столе (или в зале на столе, но вернее это в моей каморке) статью Сев. Вестника, фельетон, о Корниловой, против меня [219]. Так как Сев. Вестн. мы совсем не получаем, то будет легко отыскать, всего какой нибудь один номер. Отыщи и припрячь особенно, чтоб сохрани бог не пропало, для того и пишу. Иначе у меня статьи на следующий № не будет.

Одним словом, после завтра, или когда только будет свободная минута напишу и еще тебе. А теперь голова кружится, и весь изнурен и мысли не собираются! Кстати, Марья Николавна сообщила мне что Овсянников воротил ей 280 экз. за Апрель. Каково! Значит он всего 200 продал. Стало быть двойных № за Май—Июнь может-быть и совсем не возьмет, кроме тех, которые выменяет за 280 Апрельских.

Марья Николавна дала мне 74 р. Но подробного счета не дала, говорит что тебе напишет. Из этих 74 р. прислал 42 какой то купец из провинции; он пишет что ему надо вместо 60 экз. присылать всего 40. Одним словом Дневник видимо падает.

Что дети? Пиши, цалую их всех и благословляю, Аня, береги их! Напомни им об папе. Сегодня в $6^1/_2$ часов очнувшись от припадка пошел к тебе, и вдруг Прохоровна говорит мне в зале, что барыни нету.—Где же она?—Да она в деревне на даче.—Как это можно? Она должна быть здесь, когда она уехала?—И едва поверил когда Прохоровна уверила меня что я сам только 3-го дня приехал. Как мне тяжело было давеча пробуждаться!

Прощай Аня, обнимаю тебя, цалую крепко, всех вас вчетвером.

Твой Ф. Достоевский.

На поле четвертой страницы написано:

P. S. Александров заболел, а помощник его уведомляет его, что выйти раньше 12-го т.-е. Вторника невозможно. Чорт знает что делается на свете. — Погода у нас со вчерашнего дня вдруг переменилась на холодную и пасмурную.

120.

Петербург
Понедельник 11 Июля/77

Милый друг мой Аня, цалую тебя и обнимаю. Деток тоже. По них болит сердце. Скучно мне без вас здесь ужасно.

Сегодня вышел №. Он еще в Субботу ночью был готов и можно бы было выйти в Воскресение, но в Воскресение они не работали, а готово было всего только 3.000 экз. ктому же в Воскресенье. Вот я и отложил в Понедельник. Довольно все неудачно. Во 1-х публико-

вать успел только в Новом Времени. Правда, и это оказалось довольно, потому что все как будто только и ждали в Петербурге когда выдет №. По всем продавцам публика беспрерывно спрашивала и ко мне приходили все эти дни довольно, звоня и осведомляясь: когда выйдет. Переплетчикова дочь пришла еще вчера с вечера, но вчера и сегодня утром больше 500 экз. заклеить не могли, так и свезли в 3 часа только эти 500 экз. (Само собою городские были утром отправлены), тоже и 22 пакета городск. равно как сданы на почту в обертках по 5 по 4 и по 2. Большую половину посылок успели зашить, отправили раньше 3-х часов, там уже печати приложили, и что же: в конце концов чиновник отказался принять: „Поздно дескать и посылок много". Так и привезли их назад. Ездил сын переплетчика. Марья Николавна, как он рассказывает, сдала только 500 в бандеролях, а посылок не хотела дожидаться и уехала из Почтамта, думая что сын переплетчика один сдаст. Так и не знает теперь, что их не приняли. Сын переплетчика уверял однако, что еще 4-х часов тогда не было и у других принимали. Сегодня вечером дочь переплетчика заклеила все бандероли, а нянька и дочь ее зашили и приготовили посылки. Остается только завтра по утру Марье Николавне проверить бандероли, что делает она очень мешкотно например сегодня. Сегодня же например утром переписывала и адреса тех, которые переменили их, все это взяло время, а можно бы было с ее стороны раньше сделать. Наконец она долго провозилась с посылками в синей бумаге, заклеила их все, и не так, так что сама оставила до завтра переделывать. Думаю однако, что завтра 12-го, все пошлем, до капли, и гораздо раньше трех, Марья Николавна работала усердно но она большая размазня, хотя мы однако совсем не ссорились и вели себя по приятельски. Кстати, ты мне ни слова не сказала, и в инструкции ни одного слова не написала о тех бандеролях, которые лежали в дубовом шкафе (продолжение рабских цифр и проч.) Я их уже отыскал случайно, а их несколько сот. Поздно приехал Коля. Капельку и он помог с'ездив к Исакову.

№ брали в розничную продажу, но не так как в старину. Овсянников сдал 290 № Апрельского Марье Николавне, пришел ко мне сегодня и взял ровно 145 Май—Июньского, с тем и ушел ни на копейку больше: „Денег теперь нет". Я не предлагал на комиссию. Оглоблину я выдал 100 экз. Кузьмину 200, Глазунову 50, Попов взял всего только 40 экз. Магаз. Иногород. 200 экз. Невск. Кн. Торговл.—50 экз. Кехрибарджи—25 экз. Р. Книжная торговля—25 экз., (и 10 подписч.), Мамонтов 78 экз. Конопытин 30 экз. (и 6 за 12 возвратн.) Семенников 16 экз. (и 2 подп.) Кроме того доставили Черкесову 10 экз. Соловьеву в Москву через Исакова 30. Исаков взял 33 экз. (и 87 подписчик)

Егоров 10 на деньги и 10 на Комиссию, и наконец пришел некто— содержатель уличных торговцев, как и Овсянников, некто Димитриев (знаешь ли ты?) и спросил было 200 экз. на деньги, но узнав что Овсянников взял всего только 140 экз., отказался и взял всего только 150 на деньги.—Всего на все на деньги наторговал сегодня только 110 или 115 руб. (Еще не сосчитал акуратно). Может быть и еще соберу в эти дни, но разве очень не много.—Вечером заходил в пассаже к Кузьмину, он все болен и лежит дома, а торгует вместо него жена. Нарочно спросил у ней: хорошо ли продается Дневник, не боятся-ли полтинника? Она отвечала что точь в точь как прежде берут, ничего не боятся.—Заходили несколько незнакомых покупать № на дому, единственно чтоб узнать о моем здоровье.

Голубчик мой, я устал ужасно. Сегодня 5-й день припадка, а у меня все мрак в душе, усталость, рассеянность. Сегодня встал в 8 часов утра, завтра верно тоже подымут рано. Ни на кого пожаловаться не могу, все служат и помогают, а дело все таки туго идет, но авось завтра все кончу. Хочу сейчас лечь, потому что очень устал. Обедал сегодня в 8 часов. Думаю об вас и беспокоюсь ужасно: все мне кажется что с вами какое нибудь несчастье. Молюсь за вас беспрерывно богу. Напиши мне об Леше как вы его носили, а потом о впечатлениях Феди и Лили в Киеве. Постараюсь как можно скорее отсюда. О тебе думаю (и мечтаю) беспрерывно. Думаю хорошо. Цалую твои ножки стоя перед тобой на коленях. По ночам доходит до странного состояния души от припадка: „хоть бы раз только думаю, их увидать перед тем как умереть“. Прошу тебя Аня обо мне не беспокойся, отдыхай если можешь, купайся. Здесь три дня не показывалось солнце, свинцовые тучи, ветер и 8 градусов тепла в 4 часа пополудни. Тараканов сколько ни морю не могу вывести. Порошку всякого истратил уже на 4 руб., а все ползают. Куплю еще хоть до 10 руб. всего и рассыплю по комнатам, но вывести их отчаялся.

Ни у кого не был, ни к кому не хожу. Заходил Пуцыкович, я об деньгах не говорил. Был у меня вчера Мещерский, он случайно дней на 5 в Петербурге, из Москвы, едет в Ревель, а потом в Азиатскую Турцию. — Прохоровной я очень доволен она очень работает, чистит, гладит, и твои вещи проветривает и посылки зашивает. Без нее я бы пропал. Обнимаю тебя и цалую, цалую каждый пальчик на твоей ножке, мечтаю о тебе, и сверх того жму тебя прямо к сердцу, как мою добрую милую Аню, друга моего. До свидания. Деток благословляю. Господи! неужели с ними что случится.

До свидания же. Постараюсь отсюда вырваться поскорее.

Всех вас цалую бессчетно.

Ф. Достоевский.

121.

Петербург, 15 Июля/77.

Милый друг мой Аня, Завтра, 16 Июля, хочу выехать из Петербурга, вечером с курьерским поездом. С самого 8-го Июля, когда получил от тебя письмо из Киева, от 6-го Июля, не получал от тебя до сих пор ни одной строчки! Что с вами сталось, что сделалось понять не могу! Неужели письмо пропало на почте? Почему же ни одно твое письмо, ни к дворнику, ни к Коле, ни к Марье Николавне, за все лето, не пропадало? Как мне не думать и не сомневаться? Вот уже трое суток хожу как пришибленный. Ночью сплю часа по 4 не больше, и все вижу кошмары. Удивительная задалась мне поездка: приехал—хлопоты, неудача и сейчас припадок. Тут в болезненном состоянии выпуск №, и вот только чуть-чуть освежилась голова—муки об вас, об тебе и об детках! Дальше выносить не могу и завтра выезжаю. Завтра подожду до 2-х часов: Если не придет от тебя письмо, то телеграфирую с нарочным, (если только примут телеграму в Мирополье или в Суджу, с доставкою в Малый Прикол). В телеграме буду просить тебя телеграфировать мне немедленно (а для того попросить послать для этого нарочно Гордея в Суджу) к Елене Павловне в Москву, на Знаменке, дом Кузнецова, у которой нарочно для этого остановлюсь. В Воскресение 17 Июля, я буду в Москве и прожду в Москве телеграмы до Понедельника до 2-х часов. Если не получу от тебя ответной телеграмы, то уже не поеду в Даровое, взглянуть на места моего детства, а отправлюсь прямо к вам в Прикол[230]. Что делать, Аня, тяжело мне теперь в эту минуту. Сегодня с вечера началось сердцебиение и не проходит. Все думаю, думаю и бог знает что приходит в голову. Мне все представляется что дорогою из Киева, который нибудь из них, Федя или Лиля, попал под вагон и ты в отчаянии.

Таким образом это письмо придет может быть вместе со мною, а потому о подробностях по выпуску № и проч. писать здесь не буду, тем более, что во всяком случае скоро увидимся, Что-то будет, как-то свидимся!

Сегодня перед вечером ездил к Марье Николавне, отвозил ей №№.— Она мне сообщила что ты ей еще очень недавно писала что намерена с'ездить в Киев и в Харьков. Это меня заставило задуматься: очень может быть что ты поехала и в Харьков, тем более что тебе, помнится мне, этого желалось. Таким образом, и особенно с детьми, ты спешила и рвала: устала, устали и дети, письма мне из Харькова писать не хотела, домой в Прикол воротилась поздно, а тут еще пожалуй Гордей пьян напился, — и вот письмо ко мне пошло вместо обещанной Субботы — в Понедельник или во Вторник. Только и тут ведь надо было бы ему уже придти. Подожду до завтра.

В Москве буду ровно столько времени ждать твоей телеграмы пока нужнейшие дела покончу, т. е. буду в Понедельник у Салаева и куплю себе 8 бутылок Есентуки (по настоянию Михаила Николаевича Снитkина). Если же получу в Москве телеграму, то проеду на сутки в Даровое.

Если ты была в Харькове, то в этом одно только дурное: то, что ты сделала это, по обыкновению твоему, скрытно от меня! Да, Аня, ты во все 10 лет нашей жизни была ко мне недоверчива, и не знаю виноват-ли я в этом? Думаю что нет, а недоверчивость в твоем характере. На счет же поездки в Харьков ведь ты знаешь что я бы не воспротивился. Все что ты делаешь—то хорошо. Твоему уму и расчету я [во всем] давно во многом доверяюсь, но ты мне не доверяешься, а еслиб доверилась, то написала бы мне не ожидая возвращения в Прикол, из Харькова, и я не сидел бы в такой муке, как теперь. Не знаю почему, но мне очень хочется поверить толкованию Марьи Николавны что ты была в Харькове. Потому что иначе приходится думать о несчастьи, о смерти кого-нибудь из детей. (*Зачеркнуто несколько слов*).

Об делах, повторяю, при свидании. Да и мало их было, денег получил [всего ли] немного, а истратил много. NB. Рудин внес (очень недавно) 150 р. Печаткину, но хозяину не заплатил. Я не видал его.

Завтра упаковка и хлопоты, равно как и телеграма. Завтра 16-го рождение Феди: цалую его и благословляю, равно Лилю и Лешу, поздравляю их всех, а тебя особенно. Милый Ангел мой, Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе, и цалую твои ноги. Влюбленный в тебя муж твой! Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблен и все crescendo, и хоть и ссорился с тобой иногда, а все любил до смерти. Теперь все думаю как тебя увижу и обниму. А думаешь ли ты обо мне сколько-нибудь? Ну, до свидания, до близкого! В Троицкую Лавру, еслиб и получил телеграму, не поехал бы, так хочется поскорее с вами увидаться. А в Даровое, если получу телеграму, хотелось-бы съездить всего только дня на $1^1/_2$: Иначе я эти места никогда уже не увижу более!

Обнимаю вас всех еще раз.

Твой весь Ф. Достоевский.

Суббота 16 Июля. 2 часа пополудни.

Продолжал письма до 2-х часов. (Киевское письмо тогда пришло ко мне в полдень). Не получил ничего, а теперь в сомнении и решил сегодня не выезжать, а выехать завтра единственно потому, что, как

мне кажется, пускать теперь телеграму поздно. Пойдет она в 3 часа. Пока дойдет в Суджу, пока пошлют из Суджи нарочного—и приедет он в Прикол пожалуй в полночь, тебя разбудят, ты не выспишься, на меня рассердишься. Лучше пошлю завтра, в Воскресение 17-го часов в 9 утра и дойдет она к вам еще засветло. Если в Понедельник (18-го) отправите Гордея в Суджу подать ответную телеграму, то он даже в полдень поспеет подать ее, ну в 2 часа и все таки я к вечеру в понедельник могу получить ее у Елены Павловны. Я же, выехав завтра в Москву, поспею в Москву в Понедельник утром. В Понедельник будний день и я все успею сделать: и у Салаева буду и Есентуки куплю и даже пожалуй увижусь с Аксаковым. Затем, если не получу телеграмы, то выеду, если не успею в Понедельник же вечером, то во Вторник утром (все судя по поезду) и в Среду буду у вас. Если же получу телеграму и у вас благополучно, то съезжу в Даровое. Милый друг мой, сегодня ровно 8 дней как я не получал от тебя известия и ровно 10 дней как ты мне писала из Киева! Срок тяжелый, нельзя не задумываться. Не только о д н о, но и 2 письма могли бы уже притти! До свидания, Ангел мой, храни вас всех бог. Буду опять сегодня мучиться. Но авось придет еще письмо в продолжение дня, или завтра. Цалую тебя и детей, а тебя крепко-крепко.

Твой весь Ф. Достоевский.

Федю поздравляю.

На поле 4-й страницы написано:

Адресс Елены Павловны: Москва, на Знаменке, дом Кузнецова Елене Павловне Ивановой, [Г-ну Достоевскому].

122.

Воскресение 17-го Июля/77.
П е т е р б у р г
4 часа пополудни.

Бесценная, милион раз милая Анютка, цалую твои ножки, сейчас только получил твое письмо от Четверга (14-го) а телеграму уже послал в 10-м часу. Что делать дорогая моя, такова судьба. Я уже писал тебе вчера. Кроме Киевского ни одного твоего письма до сегодня я н е п о л у ч а л. От Субботы письмо пропало. Я мог рассчитывать что одно письмо могло пропасть и не тревожиться очень. Но вот уже 9-й день как я без письма, а в этот срок могло притти и другое. По уговору нашему ты хотела писать каждые три дня. Следов. если

написала в Субботу, то должна была написать во Вторник. Ну в среду так как в Среду ездят от Ив. Григорьевича в Мирополье. Рассчитывая единственно на эту Среду я не послал телеграмы вчера, считая что от Среды придет в Субботу, ну в Воскресение утром. Но вчера в Субботу не пришло ничего, и ту ночь которую я провел вчера буду помнить всю мою жизнь. Мучило, главное, соображение что 2 письма не могли оба пропасть. Следовательно что нибудь случилось или с тобой или с детьми. Аня, последние три дня я провел здесь ужасно. Особенно ночи. Не спится. Думаю, перебираю шансы, хожу по комнате, мерещутся дети, думаю о тебе, сердце бьется (у меня в эти три дня началось сердцебиение, чего никогда не было). Наконец начинает рассветать, а я рыдаю, хожу по комнате и плачу, с каким то сотрясением (сам не понимаю, никогда этого не бывало) и только стараюсь чтоб старуха не услыхала. А старуха поминутно по ночам кричит, что довершает картину. Наконец солнце, жара (здесь нестерпимо жарко) бросаюсь на постель часов в 5 утра, и сплю всего часа четыре и все страшные кошмары. Ну да довольно описывать. Я только для того чтоб ты не сердилась очень за телеграму. Не мог выдержать. Стоила телеграма 6 руб. Вся причина что посылала письма на имя дворника Василия Ивановича. Не говоря уже о том, что мне стыдно получать письма через Василия Ивановича, заходить к нему 15 раз справляться, молить и просить его чтоб не потерял как нибудь — я не понимаю почему нельзя было прислать прямо на мое имя, на которое пришло в последний год 400 писем? Не понимаю: а про письмо я уверен что оно на дворе затерялось.

Но довольно. Спешу, боюсь опоздать. Сегодня выезжаю. Ответной телеграмы от тебя может быть и не дождусь в Москве. Проеду сейчас же почти в Даровое и поскорей к Вам, ибо смертельно хочется обнять детей, а главное тебя, жестокая и холодная Анька, холодная женка! Еслиб горячо любила — не дотянула бы до Четверга с письмом. Еслиб горячо тоже любила, написала-бы (по прежнему) что видишь меня во сне. Значит или не видишь меня во сне, или видишь кого другого. Анька, жестокая, зацалую тебя всю, всю до последнего местечка и выцаловав все твое тело, буду молиться на тебя как на божество. — Проклятая поездка в Даровую! Как бы я желал не ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чем писать писателю! Но довольно обо всем переговорим. А все таки знай, в ту минутку, когда это читаешь, что я покрываю все тельцо твое тысячами самых страстных поцелуев, а на тебя молюсь как на образ. Цалуй детей бессчетно. Вчера Федино рождение, какой грустный день я вынес. Господи, да [и] выносил-ли когда что мучительнее.

Про какие тетрадки розовую и зеленую ты пишешь? Ничего подобного не нашел нигде. Из столов же взял все по твоему приказанию и везу к тебе.

Твой вечный и весь и нераздельный муж

Ф. Достоевский.

Люби меня Анька!
Детей цалую без счету.

На поле 1-й страницы:

Пришел Коля и подал совет опустить письмо в кружку в Москве. Действительно по рассчету скорее дойдет, так и сделаю.

На поле 3-й страницы написано:

Если будет окладной дождь, или просто худая погода, то не поеду в Даровое.

1878 г.

123.

Москва.
Вторник, 20 Июня, вечером 1878 г.

Здраствуй милая Аня. Как твое здоровье — это главное. Здоровы-ли Федя и Лиля? Смотри за ними ради Христа. А теперь опишу тебе лишь самое главное, без больших подробностей, которые доскажутся при свидании. Дорогой я устал ужасно, так что и теперь еще не в мочь, да сверх того схватил такой кашель в вагоне (все сквозной ветер), какого почти и не запомню. Приехали в Москву в 12-м часу вечера. Нанял в Victorію на Страстном бульваре.—Везет меня извозчик, я и спрашиваю его: хорошая это гостинница?—Нет, сударь нехорошая.—Резкий и твердый ответ удивил меня.—Чем же нехорошая?—Да там ни один порядочный гость не остановится никогда.—Как так?—А так что только для виду. Там никто никогда не остановится, разве самый незнающий. Эти номера, как в банях. Как ночь, так с Страстного бульвара кавалеры девок водят, на час времени и занимают. Все знают, и скандалы бывают. Я спросил какая же гостинница лучше. Он мне очень расхвалил Европу, против Малого театра (тоже очень недалеко от Страстного бульвара). Я и велел ехать в Европу. Действительно, стоят все семействами и видимо почтенные люди. Мне дали номер в 2 р. 50 к. дорогонько и в третьем этаже, но лезть в 4-й этаж показалось мне тяжело и я занял. Всю ночь на пролет не спал мучаясь удушливым, разрывным кашлем. Встал в 10 часов утра, кашель кончился (теперь вечером опять подымается). В 1-м часу поехал к Каткову и застал его в Редакции. (Он живет на даче и только наезжает). Катков принял меня задушевно, хотя и довольно о с т о р о ж н о. Стали говорить об общих делах и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю: заговорить о моем деле, он откажет, а гроза не пройдет, придется сидеть отказанному и оплеванному пока пройдет ливень. Однако принужден был заговорить. Выразил все п р я м о и п р о с т о. При первых словах о желании участвовать лицо его прояснилось, но только что я сказал о 300 рублях за лист и о сумме вперед, то его как будто

что передернуло.—Видимо-ли что, сказал он мне, мы всего только на прошлой неделе совещались общим советом, продолжать ли вести Русский Вестник или закрыть его на будущий год, потому что я сам по нездоровью, не в силах наблюдать за обоими изданиями (Моск. Вед. и Р. В—к) а потому позвольте мне подумать что вам ответить, так как придется решиться опять продолжать журнал и значительно на него затратить. Узнав же что я всего в Москве на 3 на 4 дня, обещал мне дать ответ завтра в Среду, 21 числа, для чего и просил меня заехать к нему в Редакцию в 2 часа пополудни.

Я теперь, в 10 часов вечера, во Вторник, 20-го сижу и думаю, что завтра он мне несомненно откажет. Если же не откажет, то будет хлопотать на сильной сбавке с 300 р. Письмо это пошлю тебе завтра, 23, после того, как увижусь с Катковым, и потому оставляю на завтра Post Scriptum, из которого разом все и узнаешь.

Ливень прошел на минутку и между 1-м и 2-м ливнем я успел проехать к сестре Варе, у которой и выждал перемены погоды почти до 5 часов. Возвратясь в гостинницу пообедал и в 7-м часу отправился в Нескучный Сад к Соловьеву [221]. (Извощик туда и назад 2 руб.). Соловьева застал, очень странный, угрюмый и поношенный. Я ему рассказал тоже откровенно. Он очень удивился что Лавров (и еще другой кто-то) у меня не были. Теперь он не знает где Лавров [222] (но не в Москве). А Юрьев в другой губернии в деревне. Тем не менее, желание их приобресть мой роман — верное, и люди состоятельные. И так с ними теперь ни видеться, ни списаться нельзя, а разве только состоится их предложение мне в Сентябре. Но думаю что тогда и еще кое-кто предложит. Во всяком случае возвратясь в Старую Руссу примусь работать. Но если откажет Катков, то придется жить, примерно до Октября, бог знает чем.

С Соловьевым решили ехать в Оптину Пустынь в Пятницу (Калужской губер. на границе Тульской, Козельского уезда). Завтра Соловьев ко мне приедет в гостинницу в 5 часов пополудни.

У книгопродавцев не был, буду завтра. У Елены Павл. еще не был, тоже завтра. До свидания Аня, обнимаю тебя. Завтра Post Scriptum, решающий в нашей участи многое. Устал ужасно. Поцалуй детей, скажи что папа цалует, поцалуй и Ваню. Поклон Анне Николавне. Очень жутко за детей. Цалую тебя очень. Итак до P. Scrip.

(Москва. Гостинница Европа, против Малого театра, занимаю № 21-й).

Post Scriptum. Среда 11 часов утра (21 Июня).

Новости: Сейчас ко мне Катков прислал из Редакции рассыльного с извинением, что сегодня он дать мне ответа не

может потому что, по встретившимся внезапно обстоятельствам, должен немедленно съездить в деревню (Рассыльный выразился: в именье), а потому и просил меня побывать у себя завтра, в Четверг, 22, т. е. прийти в Редакцию, где и получу от него ответ. Он, стало быть, завтра воротится.

Не вижу изо всего этого ничего для себя доброго, ничего.— До свидания, голубчик. Завтра напишу о результате и отправлю к тебе вечером. А теперь отправляю это письмо. Сегодня обойду книгопродавцев. (*Зачеркнуто две строки.*)

NB. Ночью спал опять всего 4 часа. Нервы расстроены ужасно. Желудок тоже.

Детей цалую. Твой Ф. Достоевский.

124.

Москва.
Четверг. 22 Июня 1878 г.

Милая Аня, пишу тебе совсем наскоро, столько дела, беготни и проч. что совсем спутался и времени ни минуты. Получил сейчас от тебя письмо: позволь попенять на краткость, могла бы хоть капельку распространиться. Любочку расцалуй, да уж и Федю тоже. Сегодня был у Каткова и не знаю как тебе и написать. Надо пересказать, потому что очень длинно, а на письме не упишешь. Короче, он рад, деньги вперед, 300 р. и проч.— за это ничуть не стоят, а меж тем все еще не решено будет ли мой роман в Р. В—ке, и даже будет ли еще и сам Р. В —к. В Октябре решится и я обещал приехать в Москву. Деньги же Катков не только даст, но и особенно просил меня взять вперед; то есть 2.000 теперь, 2.000 в Октябре (или в конце Сентября и проч.). Одним словом все расскажу на словах при свидании. От денег же я не отказался и тебе в Петербург незачем будет ехать.

У книгопродавцев был у всех, все расскажу при свидании но получил лишь от Преснова (7 руб.). Да от Васильева пока 50 руб. а перед отъездом моим доставит полный счет. И про это все расскажу при свидании.

Был у Аксакова, встретил Пуцыковича. Очень все интересно, но все при свидании. Завтра утром поеду с Соловьевым в Оптину Пустынь. Во Вторник буду в Москве (вероятно). Был у меня Прохоровщиков (почитатель) вот тот, который третьего года был у Государя в Ливадии, московский миллионер [223]. Очень хочет и зовет меня Новикова (Киреева) [224]. Не знаю когда к ней. Много рассказывать придется когда приеду. Тороплюсь.

Итог: с Катковым я в наилучших отношениях, в каких когда либо находился. Он особенно велел кланяться тебе. Сегодня мы просидели и проговорили более 2-х часов. У него отчасти до тебя, просьба. При Лицее есть Ломоносовские степендиаты. Это Лицей содержит даром из сирот беднейшего класса, но дает им высшее образование. Один ученик, Александров, страдает золотухой, болью в ноге и проч. Ему 15 лет. Доктора решили выключить из Лицея. Катков по доброте сердца и на свой счет, не выключая, посылает его в Старую Руссу (завтра). Но не знает совсем куда и как послать. А потому посылается формальная (не от Каткова) казенная бумага от Лицея к Рохелю в том смысле: что вот дескать, воспитанник Александров, под ваше покровительство, и т. д. поместите удобнее, лечите и пришлите счет содержания. Так они ни сделают. Но Катков особенно просит меня и тебя принять в этом деле участие, т.е. (это я говорю) или позвать к себе или отправиться тебе самой к Рохелю и предупредить об воспитаннике Александрове; и чтоб он особенно взял бумагу Лицея во внимание (не с Катковым же ему ссориться). Но так как в бумаге просят Александрова и поместить и кормить, а не только что лечить, то допытайся у Рохеля какие он может сделать распоряжения чтобы приютить мальчика. Если же возможно, прибавил Катков, то нельзя ли нанять ему квартиру, где нибудь у какого нибудь священника, который бы надзирал над ним и проч., а он бы лечился тем временем.—Главное в том, что воспитанник вовсе не аристократ, а из беднейшего народного сословия. Катков прибавляет, что очень не худо если б Рохель представил счет поскромнее, потому что за этого мальчика некому платить, сказал Катков, у него ничего нет и плачу за него лишь я. Приехав примусь за М-м Рохель в этом смысле.

Ну вот пока все Аня. Во Вторник в Среду я буду обратно в Москве, тут будут всякие дела. Нервы расстроены. Рвусь возвратиться в Старую Руссу где все расскажу тебе. А теперь прощай. Цалую тебя. Вижу тебя во сне. Цалуй детишек, будь весела. Молился у Иверской.

Твой Ф. Достоевский.

Детишек цалуй, Елену Павловну видел 10 минут, она живет на даче в Сокольниках и наезжает в №№ раз в неделю. Дала мне золотые часы Ольги Кириловны, которые и привезу.

Деток обнимаю. Цалую Ваши ручки и ножки, хотя и не стоите вы того по краткости ваших писем.

Твой Ф. Достоевский.

125.

Москва.
Четверг, 29 Июня/78 г., вечером.

Милый голубчик Аня, только что сейчас воротился из Оптиной Пустыни [224a]. Дело было так: Мы выехали с В. Соловьевым в Пятницу, 23 Июня. Знали только, что надо ехать по Москов.-Курской жел. дороге до станции Сергиево, т. е. станций пять за Тулой, верст 300 от Москвы. А там, сказали нам, надо ехать 35 верст до Опт. Пустыни. Пока ехали до Сергиева узнали, что ехать не 35, а 60 верст. (Главное в том, что никто не знает, так что никак нельзя было узнать заране). Наконец, приехав в Сергиево узнали что не 60 верст, а 120 надо ехать и не по почтовой дороге, а на половину проселком, стало быть на д о л г и х, т. е. одна тройка и ту останавливаться кормить. Мы решили ехать и ехали до Козельска, т. е. до Оптин. Пустыни ровно два дня, ночевали в деревнях, тряслись в ужасном экипаже. В Опт. Пустыни были двое суток. Затем поехали обратно на тех же лошадях и ехали опять два дня, и того, считая со днем выезда, ровно с е м ь д н е й. Вот почему и не писал тебе долго, а из Оптиной Пустыни писать было слишком неудобно, потому что надо было посылать нарочного в Козельск и т. д. Обо всем расскажу когда приеду. Приехав в Москву, остановился опять в Европе, и тотчас поехал к Елене Павловне за письмами. Ее разумеется не застал, она в Сокольниках, но уговорено было еще прежде что письма будет получать и сохранять швейцар. И так получил все твои три письма, за которые очень благодарю и тебя цалую.— Но пока деньги не в кармане — радоваться нечему. Там (у Каткова) не разберешь, за неделю могли передумать. Завтра отправлюсь к Каткову. Если получу, то одну часть возьму на себя (т. е. на груди, попрошу зашить Варю) а другую в ы ш л ю по почте. Но все дела, по расчету моему, не могу окончить скоро, а потому вероятно выеду в Старую Руссу в Воскресенье в 8 ч. 30 м. утра и приеду в Вам в Понедельник 3-го Июля, в 1-м часу по полудни.—Если же н е п о л у ч у денег, то приеду раньше. Вообще, милый друг, тут много может быть для тебя непонятного, т. е. неизвестного. Но все подробности оставляю до приезда, расскажу при свидании.

Цалую тебя очень, цалую деточек. Вероятно получишь это письмо в Воскресенье, хотя я сейчас же, т. е. в Четверг, не смотря на ночь, иду опустить его в ящик. Цалую еще раз Вас всех очень, цалую Ваню, поклон Анне Николавне. А тебе еще раз особенно ручку и все остальное.

Твой весь Ф. Достоевский.

Может быть и то, что в Редакции Каткова не застану, а распоряжение сделать забыто, и потому придется получить (если получить)

не завтра, а после завтра и т. д. А потому и не дивись, если запоздаю против обещанного.

Весь ужасно изломан, припадков не было, но боюсь что будут, пора.

126.

Москва.
7 Ноября/78.

Сегодня, милый друг мой Аня, после самого мучительного путешествия, прибыл в Москву. В вагонах, закупоренных, с гадчайшей вентиляцией была такая духота, что думал умереть. Кроме того закурили воздух так, что я кашлял всю ночь до надрыва. Ни на минуту не заснул. Обессилел ужасно. Ночью холод и дождь повсеместный всю дорогу, а в Тверской губернии мокрый снег. Здесь в Москве дождь и туман. Мрак ужасный. У нас в Петербурге только один день был такой скверный во весь Октябрь, как сегодня здесь.

Остановился в Европе, № комнаты 25. Оделся, умылся (в неотопленном нумере) и поехал к Каткову. Не застал и не застал действительно, а не нарочно. Сказал что буду сегодня вечером у него в 8 часов. Так как я сам назначил что приеду, а не он звал, то боюсь что пожалуй откажет и не примет. Бог их знает, какие у них в Москве порядки. Это было бы для меня унизительно и я в настоящую минуту (6 часов по полудни) в самом скверном расположении духа. Не застав Каткова поехал к Соловьеву книгопродавцу. Не застал дома. Буду у него завтра.—Затем поехал к Любимову: не застал дома. Затем поехал к Рассохину *). Сказал мне, что всей суммы отдать мне не может, а отдаст лишь 20 р. А что еслиб я подождал денька два, то отдаст больше. Я сказал, что зайду 9-го Ноября.

Затем был у Кашкина [225]. Этот был готов и выдал мне сейчас 65 р. 35 к. и объявил мне что мы в расчете. Номеров же оставленных у него большая пачка. Обещался сам обшить в рогожу и прислать мне в №. Я попросил его сосчитать цену №. Он обещался приготовить все через 2 дня. Таким образом твой счет: 213 р. А он отдал в разные сроки с теперешним 130 р. и говорит, что в расчете. Он твердо уверен, что по оценке оставшихся №№, они наверно окажутся не менее 83 р., таким образом и выйдет твой счет т. е. 213 р.

Все это, как кажется, люди хорошие, прекрасные и плательщики, только в деньгах нуждающиеся. Деликатность их побеждает, а неделикатность отвращает. Соловьев конечно особая статья потому что он богат.

*) Книгопродавец.

Затем был у Вари: поговорили, ничего особенно любопытного.

Что ты, что детки? Спать хочу ужасно, до невероятности. Нервы расстроены. Еще больше расстроил, прочитав давеча в вагоне брошюру Цитовича [226]. Дело его правое, но такого дурака я еще и не видывал. Вот не посылай дурака защищать правое дело. Измарал! Теперь на эту тему и писать более нельзя.

Обнимаю тебя, Ангел мой целую, ангельчиков тоже целую.

Надеюсь приехать как можно скорее. Скучно мне ужасно. Спать хочу ужасно.

Целую тебя 50 тысяч, 335 раз. Столько же раз поцелуй за меня детей.

Само собой, разумеется, завтра опять напишу.

Твой весь Ф. Достоевский.

127.

Москва, 8 Ноября/78.

Милая и дорогая моя Аня, вчера ровно в 8 часов, был у Каткова. Он меня уже ждал и принял превосходно и любезно, но видимо был занят. Я впрочем просидел с час. Говорил об романе. Он оставил рукопись и на мое сожаление что многое (поправки) неразборчиво отвечал что он твой почерк умеет превосходно разбирать и что это самый лучший почерк. Затем сказал что он все это прочтет. „Ведь вы наверно у нас дней пяток, али недельку пробудете“. Таким образом я вывожу что мне надо будет, до того времени как он прочтет и не беспокоить его, т. е. не то чтоб он сам об этом намекнул, а мне-то самому кажется, что мне это будет приличнее, ибо посещая его и на другой день и на третий как будто буду торопить его, сгорая нетерпением: что скажет он о моем произведении. Я оставил в Редакции мой адрес, так что если в эти два—три дня, пока я не буду ходить, ему понадобится мне сказать что-нибудь то всегда можно будет [ко] мне [прислать] дать знать об этом. Во время моего посещения к нему входили все его дочери, сын его, и кн. Шаховской муж его старшей дочери. Они приходили прощаться на ночь, но видимо желали меня видеть, а потому и просидели с полчаса. Все были очень милы, любезны и внимательны — особенно кн. Шаховской и моя знакомая (Эмская) дочка его, которая чрезвычайно похорошела. Прощаясь я упомянул о деньгах. Он сказал что конечно так, и очень можно, но, что всех 2.000 руб. ему будет зараз выдать затруднительно, так как подписка еще не началась, а что не соглашусь-ли

я частями получить. Впрочем, прибавил он, если вам очень нужно, то я и разом выдам, но мне будет трудно. Я разумеется согласился частями, примерно 1.000 р. теперь, а остальные (как он сам сказал) недельки через три. Теперь не знаю как все решится на деле. Мне грустно то, что я было хотел попросить на этот раз не две, а три тысячи, но так как он и на двух замялся, то я и спросил две. Ну вот ход дела: не знаю хорошо ли это все или нет. Во всяком случае надо подождать здесь в Москве дня три бесплодно, потом еще дня два получения денег, а мне ужасно скучно, Аня, так скучно, что я уж тоскую по вас.

Теперь вот что: так как он сам, несмотря на всю искреннюю любезность, меня на сегодня (8-ое число) не пригласил обедать, и так как не только не пригласил, а сам сказал об этих двух или трех днях жданья, не заботясь о том что я в антракте буду делать, то я и решил окончательно, не ездить сегодня поздравлять. Это значило бы просто заискивать у него. Не знаю правильно-ли я рассуждаю, но однако мне так окончательно показалось и я не поеду.

Выспался я хорошо. Сегодня в 12 часов приходил Кашкин с визитом принес экземпляры Дневника (обшиты рогожей) и письмо к тебе со счетом и просьбою о высылке экз. всех моих сочинений. Письмо тебе привезу. По его проверке своего счета с твоим выходит всей разницы всего на три рубля, причем он представил и причину этой разницы, все увидишь из его письма к тебе, которое привезу.

Сегодня заеду к Соловьеву и может быть опять к Любимову.

Ну вот и все. Жду твоего письма. Скучно мне очень. Погода скверная, сегодня впрочем дождя нет. Обнимаю тебя и детишек крепко. Как то вы живете. Были-бы здоровы. Читаю процессы по вечерам. Очень все скучно. До свидания. Очень тебя люблю, ты мне снилась ночью. Перецалуй наших ангелов. Пусть не ссорятся. До свидания еще раз цалую тебя бесконечно.

Твой весь Ф. Достоевский.

Завтра вероятно еще напишу.

P. S. Кстати: вчера в 8-ом часу, отправляясь к Каткову, понес и вчерашнее письмо к тебе, чтоб бросить по дороге в ящик. Шел дождик и было очень грязно. На углу улицы, не найдя ящика, спросил у Городового: где же ящик? Он ответил что перенесен на ту сторону улицы (шагах в 40 от прежнего места) „да пожалуйте письмецо, вызвался он, я его сейчас снесу и опущу". Я ему отдал письмо и он дошел до ящика на моих глазах, а все таки меня берет сомнение: ну как он не опустил и ты не получила вчерашнего письма?

128.

Москва 9 Ноября/78

Милый мой голубчик Аня. Вчера, отправив тебе письмо, уже в четвертом часу пополудни, пошел к книгопродавцу Соловьеву. Застал его дома. Он приготовил счет и деньги. Что то говорил мне весьма неясно о счете и я его попросил лучше написать о всем тебе самой; выдал он мне 109 руб. 90 к. При этом на одно Преступ. и Наказание пришлось 87 р. Что же до Бесов, то у него еще прежних своих есть, говорит он, экземпляров двести, так что он „сотенку бы и возвратил с удовольствием". Мертвого же Дома есть еще Базуновского (доставшегося ему от Базунова) 300 экз. Был очень любезен и по обыкновению своему хитрил и путался. — Между прочим сказал мне: а у Михаила Никифоровича были с поздравлением? И когда я сказал, что нет, прибавил: как же это не сходить, там такой был съезд, молебен и проч. Как же это вам не сходить? Я подумал: в самом деле зайти поздравить можно и пошел. Действительно съезд был и продолжался. На этот раз меня прямо пригласили к хозяйке Софье Петровне. Она встретила меня необыкновенно любезно и даже не пустила в кабинет Каткова, а просила посидеть сначала у ней. Было в ее гостиной много гостей, ее дочери и проч. Дам впрочем одна или две, и то родственницы, а остальное все мужчины и все какие то старички родственники (князь Шаховской отец например и другие). Я посидел с ¼ часа и она все время со мной проговорила; сидела же нездоровая в мигрени. Затем прошел в кабинет к Каткову. У него сидели только два каких то светских московских старичка. И вдруг вошел сам Генерал-Губернатор кн. Долгорукий, в четырех звездах, и с Алмазным Андреем первозванным.—Раскланявшись сановито и с соблюдением всего своего сана (немного комическим) с Катковым, начал подавать руки гостям и первому мне. Тут Катков поспешил сейчас же сказать ему мое имя, и Долгорукий изволил вымолвить: „Как же, та-ка-я Зна-ме-ни-тость, гм. гм. гм."—решительно точно 40 лет назад, в доброе старое время. Затем происходил общий разговор, в котором Катков показал себя в высшей степени порядочным человеком, ибо начав рассказ о приобретении им подмосковного имения поминутно обращался от Долгорукова ко мне, не смотря на то что я сидел несколько сзади Каткова, у окна. Посидев не много, я встал и простился. Катков проводил меня до дверей. К Софье Петровне я уже не заходил, а прошел другим ходом, между прочим через столовую, и заметил что стол накрыт не более как на 20 или даже на 18 кувертов. А так как только Каткова семейства садится за стол не менее 12 человек, то я и заключил, что

званого обеда никакого нет, а обедают лишь ближайшие родственники. — Затем отправился (уже в 5-м часу) к Любимову. Того не застал, но встретила жена его, почти совсем еще моложавая дама (хотя есть взрослая уже дочь). Она меня удержала с попреками зачем я еще вчера второй раз не зашел (как обещался было) и что она меня целый вечер ждала. Пришел затем Любимов, удивительно любезный. Говорили о романе. Катков непременно хотел сам читать, и как Любимов (еще 7-го числа вечером) ни упрашивал его дать ему прочесть, но Катков не согласился и оставил у себя, ему же сообщил и план романа и все, что я слегка во время свидания передал ему о романе. (Значит интересуется очень). Любимов обещал мне, по просьбе моей, ускорить чтение. „Я буду приставать к нему, сказал он. — После того, пристал ко мне, чтоб я остался обедать „чем бог послал". Я согласился. И вот не знаю так ли они всегда обедают, или был у них праздничный день: (Обедали кроме меня еще две дамы гостьи и один профессор Архипов: [227]) Закуски, вина, 5 блюд, из которых живая разварная стерлядь по Московски. Если это каждый день у них, то должно быть хорошо им жить. Обед был очень оживленный. Любимов подтвердил, что у Катковых никакого званого обеда нет. Обед и разговор был очень оживлен, затем уже в 7 часов поехал к Елене Павловне, и не застал ее дома. Узнал от детей Елены Павловны, что Машенька (Иванова) в Москве, и хочу непременно к ней сегодня съездить. Адресс же узнал уже сегодня от Вари, которая зашла ко мне в гостинницу. Вот и все, до сей минуты, мои здесь похождения. Завтра, может быть еще напишу тебе. Но вот уже теперь 2 часа, а письма от тебя нету. Заеду может быть сегодня к Рассохину а может и завтра. По вечерам сижу в № и читаю процессы [228]. Завтра собираюсь пойти в Малый театр.

Беспокоюсь об Вас. Что-то ты мой голубчик, и что-то детки? Хочется поскорей получить от вас письмецо. Не знаю придется ли отправиться отсюда к вам в Субботу (вероятно нет), но не думаю чтоб задержали дальше воскресения. Обнимаю вас всех и целую. Тебя особенно и деток особенно. Опять ты мне снилась во сне. До свидания ангел мой.

Твой весь Ф. Достоевский.

Корректуры Любимов сам вызвался присылать ко мне в Петербург. Маркевичу [229] они посылают.

Очень целую тебя.

P. S. Книгопродавцы все в восторге от нового журнала „Лилины выдумки“ просят на комиссию, обещают большой успех [230]. Передай обоим авторам и издателям и крепко их поцалуй.

На конверте адрес:

„В С-Петербург. На углу Кузнечного переулка и Ямской ул. близь Владимирской церкви, дом № 2 и 5, кварт. № 10. Ее Высокоблагородию Анне Григорьевне Достоевской“.

129.

Москва.
10 Ноября/1878 г.

Дорогой мой голубчик Аня, вчера в 6 часов вечера получил твое милое письмецо, которое очень меня обрадовало и успокоило. Слава богу что вы здоровы, деток поцалуй и поблагодари Лиличку за письмецо, а Федю за старание. Известие о Навроцком показывает разве, то только, что они все таки в своей Русской Речи не будут моими явными ругателями. Что же до посещения Шера, то я к нему вероятно не поеду, потому что он все же не был у меня сам в Петербурге. Не знаю впрочем. Времени то у меня совсем мало, а то может быть заехал бы к Ольге Федор-не Шер, что совсем уже другое дело. Но времени мало. Вчера заходил ко мне в 6 часов Любимов— отдать визит и кой о чем поговорить. Он сказал, что на счет денег все решено, Катков передал ему рукопись, не успев прочесть всю, но перелистовав всю, он же [прочел] (Любимов т.-е.) прочел 1-ю треть и нашел все очень оригинальным. Но скверно то, что выдача денег зависит главное от кассира ихнего Шульмана, который всем командует, до такой степени что и Катков у него на счет выдачей вообще в полной зависимости. Скажет „нет денег в кассе“ и ничего не поделаешь. Тысяча впрочем будет, но хотелось бы мне чтоб не задержали меня и чтоб выехать если не завтра, в Субботу, то уж непременно бы в Воскресенье. А тут еще говорил Любимов, Катков захворал. Теперь час пополудни и пойду сейчас к нему для окончательного решения. Затем схожу к Рассохину, у которого вчера быть не успел. Затем к Варе которая звала к себе. Вчера же, узнав от Вари адресс Машеньки Ивановой, поехал к ней, не застал дома, и узнал от детей, Оли и Наташи, что и Верочка только что приехала, с Юлей, из деревни на три дня в Москву и остановилась у Машеньки. Ее тоже не было дома. Сказав что приеду вечером, поехал домой и после обеда отправился сперва к Елене Павловне, которую еще не видал, и пробыв у ней с полчаса, поехал к Верочке. Там всех нашел в сборе и просидел у них до полночи. Верочка предобрая и премилая,

она не знала о смерти Алеши. И так вот все мои дела. Вчера имел глупость взять билет в Театр, на Бенефис идет комедия Островского в первый раз. — И так, милый мой ангел, вероятно выеду отсюда в Воскресение, хотя и желал бы завтра, в субботу. Цалую тебя крепко. Больше не пиши писем. Лилю и Федю цалую. Обнимаю всех, а с тобой хочется увидеться особенно поскорее сверх всех других причин. Во всяком случае здесь мне очень скучно. Еще раз цалую. Как вы живете? Здорова ли ты ангел мой.

Твой вечный

Ф. Достоевский.

130.

Москва, 11 ноября/78. Суббота.

Милый друг Аня, дела кажется совсем застряли и решительно не удаются. Дело в том, что Катков кажется серьезно расхворался. Вчера не мог принять меня и выслал сказать чтоб я пожаловал денька через два. Если через два, то значит завтра в Воскресение. (Конечно он не отговаривается, а в самом деле болен). Но в Воскресение у них все в Редакции заперто и денежных выдачь быть не может. Один из редакционных чиновников вышел ко мне и сказал, что Шульман (кассир) сам ко мне придет завтра (т.-е. сегодня) в гостинницу и принесет деньги. Я назначил час, — но вот назначенный час прошел и никого не было. Результат: Если сегодня не получил денег, то завтра, по поводу Воскресения, наверно не получу. — Теперь недоумеваю, что делать: ехать ли опять в Редакцию? Но мне как то стыдно приставать. Мелькает у меня мысль уехать без денег, написав Каткову письмо (если только нельзя увидеть его завтра лично) чтоб прислали деньги в Петербург, но и это хорошо ли? Потому что например, если я завтра в Воскресение выеду (сегодня то уж никак нельзя) без денег, а они между тем могли бы выдать в Понедельник,—то значит всего только дня не мог выждать. Совсем не знаю как быть и нахожусь в прескверном расположении духа.

Вчера получил от Рассохина 25 р., а „всей суммы отдать не могу". Заметил я некоторую даже грубость и фамильярность в его ответе. Я ему ничего не сказал.

Вчера был у Вари, а вечером в театре. Все гадко. Скучно мне здесь, наконец до нестерпимости. В добавок мокрый снег и сквернейшая погода. К тому же опять затянуло желудок, надо бы опять принять капсюлей, но и это неудобно.

Пишу на скоро. В Редакцию все таки загляну. До свидания милая моя. Только и думаю что о тебе и о детках. Люблю вас очень.

Поцалуй милых ангелов. Думаешь ли ты обо мне? Каждую ночь ты мне снишься.

Обнимаю крепко.

Твой весь
Ф. Достоевский.

Все чиновники в Редакции Каткова ужасно обращаются свысока и небрежно со всеми. Я полагаю что и Шульман даже важничает, хочет показать свою силу. Начинает мне это надоедать. А что если Катков в самом деле очень расхворается? Может повлиять и на все дальнейшее.

Д.

Сохранился конверт этого письма:

„В С.-Петербург. На углу Ямской ул. и Кузнечного переулка, дом № 2 и 5-й, № квартиры 10 (Близь Владимирской церкви). Ее высокоблагородию Анне Григорьевне Достоевской".

1879 г.

131.

Старая Русса.
19 июня/79 8 часов вечера.

Здраствуй Аня, как ты доехала, напиши. Очень беспокоюсь за тебя, что в Новгороде тебя измочило и измучило. Я, как ты уехала, почувствовал себя не совсем здоровым, насморк сильнейший и неимоверный, туманность и боль головы. Лег спать и спал часа три. День был хороший, но как я встал тотчас пошел дождь-ливень, и так продолжалось с перерывами до 6 часов. Еще до дождя дети, как я встал, выпросились в парк, оделись и пошли, а тут вдруг и ливень. Я сидел в беспокойстве, но прибежала нянька и сказала что они не в саду, а у батюшки, зашли за Анфисой, но пошел дождь и остались, так что ни одной капли на них не капнуло. Сама матушка прислала няньку ко мне, чтоб меня успокоить. Затем пришли дети, переоделись и явились поповские дети, сидели чуть не до ночи, мне надоели, но я рад был за детей что им не скучно. Скверно то, что оба порядочно кашляют, но хуже Лиля, очень худо кашляла, часто и с заливчатым кашлем. Даю лекарство и по возможности не даю выходить на двор, Лиля слушается, а Федя мало, теперь впрочем дождя нет, ясно, но сыро и даже не очень тепло. Я их пустил посидеть за воротами.

Пришли газеты и одно письмо от Сазоновичь из Москвы. Ничего особенного, но присылает несколько автографов [231]. Пишет тебе конечно. Ну до свидания, жду с нетерпением и беспокойством от тебя письма. Боюсь что ты промокнешь и простудишься. Твоя поездка сильно парализовала мою работу. Приезжай поскорее. Дай бог тебе всякого успеху. Обнимаю тебя и цалую, дети тоже. Привези капсюлей Dugot, (дегтярных) у меня ничего нет.

Твой
Ф. Достоевский.

P. S. Боюсь соболезнований, боюсь визитов — Жакеляр, батюшки. Пожалуй Анна Ивановна придет.

Д.

Дети говорят о тебе и Федя спрашивает где ты теперь на Любани или нет; и почему так медленно.

На второй странице двумя детскими почерками написано:

Милая моя мамочка как ты здарова цалую тебя Люба.
Мамаа прежяй скорее Федя.

132.

Петербург 19 Июля/79
Четверг

Милый друг Аня, пишу тебе в 8 часов вечера, а сам падаю от усталости. Никогда я больше не страдал усталостью и бессилием как в эту минуту. Голова кружится, в глазах рябит. Пишу и не вижу что пишу.—Дорогой хотя и все почти спал, но ослабел как 5-ти летний ребенок, и что со мною будет до Берлина — не понимаю. Остановился в Знаменской Гостиннице. Сначала дали № отвратительный в котором я в первый же час простудился — окнами на север, тесно, мрачно. Перешел в другой № (250 к.) и теперь хорошо. Ахенбах и Колли деньги дали, но очень долго качали головами и ахали не знаю почему. Затем визировал паспорт в Больонском посольстве, затем был у Победоносцева, не застал дома, каждый день бывает, вчера был, а сегодня нет. Оставил карточку. Затем купил сак — несколько больше моего, 8 р. и я уверен, что содрали лишнее. В Гостинном же купил и носки 3 пары по рублю и 3 пары по 65 коп. (насилу нашел и не знаю еще хорошо-ли). Купил гребенку 80 коп. (мою оставил дома). Был на квартире. Квартиру напротив нашей наняли только сегодня и переехали жильцы. Сак старый отвез к Кранихфельдам, они были дома, у них все чисто, но жалуются на тараканов-пруссаков. Ужасно много. Чорных же в моем кабинете ни одного. Действительно может быть чорные к деньгам (прослышали Карамазовых), а перебрался Кранихфельд мигом и исчезли. К ним нанялась в кухарки Пелагея (Поля) — можешь представить. Я ее видел, стряпает, жалко смотреть.— Финикова, прикащик у Кузьмина, Филипп парикмахер, только что взглянув на меня все восклицали: „О боже как вы изменились, как вы похудели, что, вы были больны? И это конечно не потому что я измучился ночью. Нет Аня, плохо мне, и если Ems не поможет то уж и не знаю что будет. В Старой Руссе я себя хуже почувствовал. Но в Петербурге, все здесь говорят, было еще сырее, еще дождливее.

Что вы все? Все об вас думал. Что мои ангельчики, Лилюк, да Федул? Голубчики, еслиб только знали как я их люблю. До свидания Аня, обнимаю тебя. Кладу перо, если буду еще писать упаду в обморок. Цалую тебя и всех вас, Федю и Лилю. Скажи чтоб были тебе послушны и меня любили.

Твой весь
Ф. Достоевский.

133.

Hôtel St. Petersbourg
Unter den Linden, комната № 15.

Berlin 22 Июля/3 Августа/79

Милый друг мой, дорогая моя женочка Аня, сейчас приехал в Берлин, утром в 7 часов (Воскресение), и во 1-х об себе: Приехал совершенным молодцом, хоть еще столько же проехать. Даже спать совсем отучился. Правда, в вагоне случалось дремать и даже спать скрючившись, но что это за спанье! А потому подивись какой богатырь твой муженек, я и не надеялся тем более что в Петербурге, в Знаменской гостиннице, до того были расстроены нервы что совсем не выспался, много что проспал ночью часов 5. Может быть и теперь мое молодечество есть только напряжение нервов. Ну вот об моем здоровьи. Историческая часть дороги не богата: одно хорошо что погода была прекрасная. Да и в Петербурге оба дня как я пробыл были восхитительные. Значит я увез от вас хорошую погоду, потому что до меня в Петербурге был ливень и куда ни являюсь везде хорошая погода. Что же до Старой Руссы, то там мое благодетельное влияние было пересилено злым влиянием Анны Ивановны, а потому погода была постоянно дурная. Но о сем довольно. Еще по дороге в Петербург встретился мне в вагоне доктор Тицнер и был очень и с к а т е л е н, да подходил рекомендоваться и знакомиться Львов, которого ты видела на станции, был чрезвычайно любезен и дал мне знать, что имеет придворное звание (камер-юнкер вероятно) и командовал санитарным отрядом в войну по поручению Александры Петровны. Великолепный букет Кат. Прокофьевны до того пустился пахнуть ночью, что у меня голова даже разболелась: подъезжая к Чудовой я его бросил из вагона в лес (не везти же было далее) и тем кончилось его существование. Она только не дала мне с вами проститься. Ты не поверишь как мне грустно было, особенно по вечерам, вспоминать всю дорогу об детках и о тебе! И чем дальше тем больше будет это. Надо

копить Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее когда я приближусь лично к коловращению людей и вижу их в их эгоизме, например в дороге. — Выехал из Петербурга удобно, в вагоне было просторно и кое как даже спал, но со 2-ой половины дороги поминутно подсаживались поляки и немцы и было не до спанья.—Когда пересели на немецкую дорогу рекомендовался мне один жидок доктор, из Петербурга, лет 50 (друг Тицнера, служит в Максимил. лечебнице едет в Висбаден от ревматизма)—очень меня развлекал дорогою и служил мне переводчиком с немцами. Но особенно заботился об нас один коллоссального росту пожилой немец, укладывал меня спать и оберегал от мошенничества кельнеров на станциях. А мошенники невообразимые и на станциях и в Берлине: стоит 15 пфенигов, а он запросит 40, дашь полмарки за кофей (25 пфенигов) а он сдачи 25 пфенигов не принесет вовсе и это случилось 3 раза. Кормили в Германии на станциях нестерпимо гадко, цены же возрасли против нашего времени, 8 лет назад, втрое. В Берлине привезли меня сначала в Кайзергоф отель, 4-й этаж, тускло, лестницы темные как ночью и за каморку в которой повернуться нельзя спросили 7 марок. Я поехал (заплатив лишнее извощику) в Hôtel Petersbourg и здесь за 7 марок (ведь это 3 рубля по нашему!) имею чуть-чуть сносную комнатку, в которой можно повернуться (NB, Денег разменял в Эйдкунене 200 руб. дали мне за них 425 марок, это еще хорошо, а в Петербурге меняла давал лишь 200 марок за 100 руб., да я не взял). На немецкой дороге все время была такая пыль, что мы все были как в саже и я перепортил (буквально) платье. Здесь, в отеле, едва отмылся и сел писать тебе. Ну вот и вся моя дорога. Теперь не знаю еще когда поеду в Эмс; сегодня вечером — значит не выспаться. Кроме того хотелось бы заказать пальто портному, но сегодня Воскресение, и все портные заперты. Придется остаться до завтрашнего вечера до 10 часов, а послезавтра в 9 часов утра я в Эмсе. Пуцыковича еще не видал, боюсь его ужасно: во 1-х прилипнет и не отстанет, будет сидеть передо мной с своим длинным (благородным) носом и смотреть вкось, а во 2-х займет денег, а я ожидовел: страшно не хотелось бы давать. Однако пойду к нему. Скука в Берлине, а с Пуцыковичем и еще пуще. Теперь напишу из Эмса как приеду. Но ты то когда мне напишешь. Уезжая и не условились! Неужто не догадаешься написать раньше получения моего письма? Ради Христа описывай о себе всякую мелочь (и о здоровьи твоем главное) и об детках — об них все. Ну как они спят без меня по ночам? Вспоминают ли обо мне? А ты-то? Ты мне снилась дорогою, только в грустном виде, за что-то на меня сердилась, меня упрекала: ты не поверишь как мне тяжело было это увидеть. Обнимаю и цалую тебя бессчетно, всю. — Деток цалую особенно, скажи

им что я их люблю, молю о них бога, и прошу их тебя слушаться и тебя беречь. В дороге я видел под ручку мальчика и девочку (из пассажиров), точно Лиля с Федей, сзади особенно, даже одеты были похоже! Ради бога пиши. Обнимаю тебя и цалую еще раз, (да и всегда, уж ты теперь пошла у меня из мыслей не выходить). Как приеду в Эмс сейчас начну писать Карамазовых, боюсь опоздаю выслать. До свидания же пиши, ради бога пиши, а я твой вечно— твой муж.

Ф. Достоевский.

Поклон всем. Анне Васильевне и мужу ее особенно. Рохельше про букет не говори.

На поле приписано:

Ради бога береги свое здоровье, но если чуть чуть заболеешь трудно — мигом телеграму в Эмс (я дам адресс). Бог с тебя спросит, если так не сделаешь. Но лучше всего будь здорова, а потому береги здоровье изо всех сил. Еще раз цалую тебя.

134.

Эмс.
24 Июля (5 Августа)/79.

Милый дружочек Анечка, сегодня утром в 11 часов, после совершенного неспанья во всю ночь, прибыл в Эмс и чувствую себя хорошо. Остановился пока: Hôtel de France, № квартиры 21, у железной дороги. Сейчас пошел в ванну, затем вымывшись пришел на почту и прочел твое милое п е р в о е письмецо, за которое тебя горячо цалую и Лилю, да и Федичку, — всех трех ангелов. — Теперь голубчик о делах. Пошел в Stadt Alger — хозяйка очень обрадовалась, показала мне комнату и страшно жалела что уже ее отдала по почте. Но если сегодня в 7 часов, наемщик не явится в Эмс, то я после 7 часов занимаю сегодня же квартиру. Но так как все еще это неверно, то зашел в Luzern (рядом). Там очень, очень меня помнит хозяин (жена его умерла, оставив ему милых малолетних деток с Лилю и Федю возрастом). В Luzern'е квартира есть, та самая которую я занимал, но занята теперь, хотя будет свободна через день, через два или через 3. А пока есть у него небольшая комната, где я бы мог эти 3 дня переждать. И так квартира мне ассюрирована или в Luzern'е или в Alger'е сегодня же, [главн] (ибо сегодня же перееду). Теперь главное в том что скажет Орт; принимает он от 4-х до 6-ти и я в ожидании четырех сел писать тебе это письмо, которое сейчас же и опущу в ящик, идя к Орту, с тем что завтра же напишу тебе еще письмо, в котором объявлю решение Орта и в какой именно дом я переехал.

Теперь нечто важное: Милый друг Аня, рассчитали мы плохонько, со страхом предчувствую что 600 р. будет мало и понадобится мне не менее как еще сто руб.—Главное и в Alger'е и в Luzern'е огорошили и показали мне книги моего содержания здесь за 4 и за три года назад. В неделю 12 талеров одни стены, теперь, так как сезон почти прошел, спускают два талера, и выходит 30 марок в неделю, за 5 недель 150 марок; кофе и завтрак утрешний стоил 5 талеров в неделю, обед не менее того никак и того 100 талеров в 5 недель. Затем табак лечение Орт—на все кладу 150 марок да 300 марок (100 талеров—300 марок), и того вот уже 450 марок. Проезд от Эмса до Берлина с багажем и содержанием в дороге ровно 50 марок, и того 500 марок. Затем портному в Берлине 80 марок (NB Заказал в Берлине пальто лучшему портному, содрал 160 марок, 80 я заплатил, а 80 проездом через Берлин) и того 580 марок. Да от Берлина до Петербурга с багажем 55 [талеров] руб. да содержание 5 [талеров] руб. и того 60 р.—125 марок и того 705 марок, да из Петербурга до Старой Руссы, да Знаменская Гостинница где надо спать, да хоть каплю на непредвиденные расходы — итого 800 марок надо.—Я же имею теперь на руках всего по курсу 680 или 690 марок (еще не менял 200 р.). И так уже наверно недостает. Истратил же я до сих пор как оказывается до 500 марок, со Старой Руссы начиная: проезд, Петербург, покупки в Петербурге кой-какие, дорога до Берлина, багаж, дорога сюда, Hôtel de France, в Берлине пальто и тебе бинокль (не сердись не знаю угожу ли биноклем, купил на свой вкус, а цены не скажу), да Пуцыкович мне стоил до 60 марок. (Обещает 40 марок воротить под клятвою, еще сюда в Эмс, с тем ему и дал).—Одним словом не знаю, не наврал ли я по счетам но у меня всего только до 700 марок в руках, а надо больше и потому может быть придется тебе еще прислать мне 100 р. сюда, до выезда моего. Буду экономить изо всех сил, но на всякий случай будь предуведомлена.

Теперь об Ахенбахе и Колли. Письмо мое Любимов должен был получить ибо послал его недели за две до выезда. Прошу тебя убедительнейше непременно отправь перевод на имя Любимова назад, я же отсюдова напишу чрезвычайно вежливо, но твердо, о том, что уже на этот раз не сомневаюсь ни одной минуты, что он исполнит [требова] просьбу и немедленно вышлет тебе 500 р. деньгами. Будет прекрасно написано, но твердо. Так должно и я не сомневаюсь что ты отошлешь назад перевод, ибо письмо мое будет тогда глупостью. Любимову напишу завтра. В Берлине тосковал с Пуцыковичем. О нем после. Он меня однакоже развлекал, возил в Aquarium, в Музеум, в Тиргартен, пили пиво, ходили по Берлину и проч. Вообще он живет недурно, гораздо лучше чем мы полагали.

Говорит что прежде было худо. Живет он уже не там, платит дешево имеет хорошенькую комнату, обед и кредит. (Как эти люди делают) Кроме Аксакова ему прислал сто р. и Голицын, что он нам (в письмах) скрыл. Затем и до сих пор продаются его вещи в Петербурге и присылаются ему деньги, да брат сверх того присылает. Почем я знаю может быть есть и еще присылающие. Даже есть подписка на Гражданин. (У меня просит на 1-ый № не статью, а лишь письмо к нему что я не прочь участвовать когда нибудь, хотя и занят, дескать Карамазовыми. Ну это еще не много. 45 марок он взял у меня на бумагу и на марки (почтовые) для 1-го № который выйдет через неделю. В комнате у него есть даже галантерейные вещицы (преспанье и проч., до которых он охотник) им здесь в Берлине купленные. Я с него 45 марок сдеру, а остальные 15 марок платил я за него за пиво, в ресторане, за извощика и проч. Но о нем еще напишу. Немного рассердило меня твое известие об Любимове. Ах милые, дорогие мои существа в вагоне молился за вас всех богу. Противный Эмс скучен как никогда. Жарко и солнце, но до сих пор все были дожди. 5 недель муки да неделю дороги — и того 6 недель не увижу вас мои Ангельчики. Аня цалую тебя всю, ручки ножки обнимаю. Никогда ты не понимала вполне как я тебя люблю — вот что скверно. Лилю и Федю благословляю. Всех обнимаю. Пишите чаще чаще, иначе я здесь умру с тоски.

Твой весь
Ф. Достоевский.

На полях приписано:

Не думай Аня что я такой эгоист что не могу здесь сократить расходы по содержанию. Но квартир дешевле нет вовсе. А диэта, т.-е. утренний кофе и легкий завтрак с говядиной и проч. — все это до последнего куска предписано доктором.

Завтра еще письмо. Д.

135.

Эмс
25 Июля/6 Августа/79. Среда

Милый ангел и дружочек мой Аня, вчера ходил к Орту; сейчас меня вспомнил и принял чрезвычайно радушно. Осмотрел очень старательно и все расспросил (три года промежутка!). Сказал что есть анфизема, но еще только вначале и хоть искоренить ее уже невозможно, но побороться с нею можно с большим и вероятным успехом. „То что вы не приезжали три года усилит действие Крен-

хена и Кренхен вас воскресит. Но сначала Кренхен, а потом попробуем Кессельбрунена". Нашел что у меня какая-то часть легкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом— все вследствие анфиземы, хотя, прибавил в утешение, сердце совершенно здорово, а все эти перемены мест тоже не много значат и не грозят особенно. Конечно он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи, но если анфизема еще только вначале уже произвела такие эфекты, то что же будет потом? Впрочем я сильно надеюсь на воды и уже сегодня начал пить; начинаю с гаргаризации Кессельбруненом и потом 2 стакана Кренхена. Вечером тоже гаргаризация а потом 1 стакан Кренхена. Всего важнее погода: Будет хорошая погода будет и хорошее действие. Это здешний всеобщий приговор. Вчера в день приезда сияло солнце и было страшно горячо. Ночью же была гроза с громом и проч. а сегодня так даже и прохладно и сумрачно и нет-нет, а перепадет дождь. — Теперь 12 часов дня и я сейчас только переехал в Ville d'Alger, а не в Люцерн. Во 1-х невысоко, бельэтаж, во вторых комнаты изящнее, больше и светлее а цена таже 30 марок в неделю. Уговорился с обедом будут приносить как и в прежние разы из соседнего отеля полный обед за 3 марки в день; из этого обеда я намерен откладывать кусочек, на ужин. Кофей утром с хлебом 80 пфенигов, чай же вечером мой, но за горячую воду, прибор и проч. хозяйка ничего не берет, а в Люцерне бы взяли, это я знаю. Орт сейчас же спросил меня: не ощущаю-ли я ослабления сил и только что я сказал ему что даже по временам — сонливость, то я видел по лицу он принял это в большой серьез, и прописал мне, во время вод, обильную и питательную мясную пищу и непременно вино, но только красное. В Люцерне за вино спросят много а эта хозяйка достает от кого-то вино предешево, это я помню. Поэтому и переехал в Alger надеясь съэкономить. Главное же потому что хозяин Люцерна Menser теперь без жены и ведет дело сам, а потому думаю что будет уже не так акуратно как прежде. — И так вот мои обстоятельства милый мой ангел. Чтоб кончить об этих делах на этот раз, прибавлю что денег кажется наверно не достанет и что впоследствии надо будет мне выслать еще рублей сотню (100 р.). Весьма вероятно что я половину этой сотни привезу домой, но на всякий случай выслать необходимо. Три года назад это было 70 марок лишних на каждую сотню т.-е. 350 марок лишних на 500 р. против теперешнего. Ну да и пальто возьмет деньги. К тому же Пуцыковичь весьма может быть не отдаст [мне 45 марок, хотя и клялся всем миром. Но довольно пока.

Вчера получил твое милое письмецо и уж как был рад. Мне было ужасно грустно вчера. Тут много детей и я не могу без боли сердечной проходить мимо них. Все мерещатся Лиля и Федя. Пиши, Аня, ради бога, хоть вначале-то почаще. Завтра я думаю сяду за работу. Письма Любимову еще не написал, но пошлю непременно. Напишу очень вежливо, но настоятельно. Вчера этот Любимов меня очень расстроил, и это сейчас после моего письма (которое он не мог, по времени, не получить) и в котором я так обстоятельно изложил ему всю невозможность получить деньги через Ахенбах и Колли в Старой Руссе. Мне все кажется что они делают так умышленно ч т о б я н е з а б ы в а л с я. Пиши мне больше, о своем здоровьи и о детках и об вашей погоде. Дай бог и вам хорошей погоды. Тебе-бы покупаться хоть не много, не откладывай. Очень об тебе думаю. Крепко обнимаю и цалую тебя. Цалуй деток. Люблю их. Скажи Феде что здесь и ослики, и мулы и собачки. Кстати в Эмсе много новых построек, выстроили новых 2 моста через Лан. Много фруктов—удивительные вишни, сливы и абрикосы, но все запрещено мне, публики в приезде 11 с ½ тысяч человек, давка, но скоро многие разъедутся. Ожидаю холодных дней, особенно в конце лечения, а в летнем пальто моем шолковая подкладка висит лохмотьями.—До свидания ангел мой, напишу тебе дня через 2. Цалую тебя бессчетно, деток благословляю и цалую, молюсь за них. До свидания, друзья мои милые.

Твой весь
Ф. Достоевский

На поле первой страницы приписано:

Ну как и сегодня получу, от тебя письмецо — как хорошо будет.

Я совершенно выспался с дороги и чувствую себя бодро.

На поле второй страницы приписано:

Поклон от меня батюшке, матушке, Анне Васильевне и мужу, Рохельше и Анне Ивановне (даже ей).

Пиши обо всем, что услышишь нового.—Посещение Грушеньки Меньшовой считаю предисловием к Ниловой пустыни.

136.

Эмс,
28 Июля/9 Августа/79. Суббота
Hôtel d'Alger, комната № 5.

Милый дорогой друг мой Аня, третьего дня получил твое письмецо от 21-го Июля и очень благодарен тебе. А так как я уже послал тебе много писем, то и отвечал не вчера, а пишу сегодня, а то и надоем тебе пожалуй письмами. Но однако ты пиши почаще, хоть коротенькие письма но только почаще, чтоб я всегда знал что с вами. Но лучше еслиб ты писала и подлиннее. Как хочешь, впрочем, не стесняю никого. Мне же здесь до последней крайности скучно и противно. Огромная толпа, пасмурная погода, а сегодня так всю ночь и весь день дождь. Сижу в глубоком уединении. Выхожу гулять, все также как и три года назад, в те же места, и скука до смерти. Вечером в ½ 8-го уже ночь (горы), чуть закат — сырость. Здоровье мое несовсем хорошо: страшно раскашлялся, по ночам особенно, грудь разорваться хочет. Общее ослабление, тоска, давление в груди, а ночью мучительнейшие кошмары. Сплю ночь прескверно, по пяти раз просыпаюсь и каждый раз от кошмаров (все разных), каждый раз в поту, так что ночью ровно пять раз переодеваю рубашку. Был сегодня в 8 часов утра у Орта (это уже 2-й раз). Он нашел, что если хорош желудок, то все хорошо (а желудок хорош); раздражительность же происходит всегда у всех от Кренхена вначале лечения. Усилил прием, теперь уже по 4 стакана в день. Он что-то гонит вперед. Пожалуй придется и раньше 5 недель окончить лечение, потому что все тут говорят что в Сентябре лечение плохое. Но уж если приехал сюда, то решаюсь взять все что можно и пробыть здесь до nec plus ultra. А то столько жертв, а лечение скомкано. Вещи здесь страшно дороги, ничего нельзя купить все жиды. Купил бумаги (писчей) и перьев гадчайших, заплатил чортову кучу, точно мы где нибудь на необитаемом острове. Здесь все жиды. Даже в наехавшей публике чуть не одна треть разбогатевших жидов со всех концов мира. Из русских хоть есть имен тридцать (по Кур-листу), но все имена неизвестные, какой-то Семенов из Петербурга, какой-то князь Мещерский (но не наш). Кажется здесь Чичерин. Есть несколько княгинь и графинь с семействами (Долгорукая, Оболенская, Радзивил) — но все это незнакомые. Затем все остальные русские имена, в большинстве, из богатых русских жидов. Рядом с моим № в d'Alger, дверь об дверь, живут два богатых жида, мать и ее сын, 25 летний жиденок — и отравляют

мне жизнь: с утра до ночи говорят друг с другом, громко, долго, беспрерывно, ни читать ни писать не дают. Ведь уж кажется она его 25 лет как родила, могла бы с ним наговориться в этот срок, так вот нет-же говорят день и ночь, и не как люди, а по целым страницам (по немецки или по жидовски) точно книгу читают: и все это с сквернейшей жидовской интонацией, так что при моем раздражительном состоянии это меня всего измучило. Главное, не церемонятся, говорят почти кричат, точно они одни в отеле. Принялся вчера за работу, а вот сегодня опять за письма: тебе и Пуцыковичу. Прислал вчера письмо и умоляет чтоб я поскорей прислал ему условленное письмо для напечатания. Письмо это надо сочинить осмотрительно, чтоб не компрометировать себя очень участием в эфемерном Гражданине. Но помочь ему в этом смысле конечно надо. Пишет что началась подписка. Может и в самом деле что нибудь будет. Тогда я сдеру с него хоть что нибудь. Любимову отослал письмо 3-го дня, до невероятности мягкое, но однакоже с твердым требованием чтоб присылали деньги тебе и Кредитными билетами. Если получишь то вышли мне немедленно сюда (poste restante) 100 р. И вообще чем раньше вышлешь тем лучше. Это хоть и на всякий случай, т. е. может быть и не истрачу, но положительно необходимо.

Милый друг мой, думаю о всех вас беспрерывно, а как вечер— так до тоски и до мнительности. Я знаю что ты хорошая мать деткам и благодарю тебя. Не давай им простужаться. Если износят сапожки или башмачки — купи новые. Думаю что вы скоро поедете к Нилу [232]. Помолитесь и за меня, но пишите с дороги. Деток цалую и благословляю. Скажи Лилечке что жду от нее цвета лица. Пусть Федя не простужается. Береги свое здоровье. Что если ты заболеешь— кто за ними посмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре. Обнимаю тебя и цалую, люби меня, а я тебя люблю. В отеле мне хорошо, обед мне приносят сытный, так что я оставляю одно блюдо на ужин. Пью один стакан пива и одну рюмку вина (здешнего, очень дешевого), маленькая бутылка на несколько дней. Из газет здесь Московские Ведом. и Голос да Journal de S. Petersbourg.

На поле приписано:

Пиши чаще, а то я неспокоен. Еще раз цалую вас всех, тебя и деток. Ты тоже мое дитя, да еще иногда блажное, а я твое и тоже блажное.

Всем поклон.

137.

Эмс
30 Июля /11 Августа/ 79.
Hôtel d'Alger.

Милый друг мой и несравненная моя женочка, Аня; вчера получил твое письмецо от 24-го, отвечаю сегодня, 30-го, пойдет завтра. Теперь уж конечно ты получила все мои письма из Эмса и знаешь всю суть. Но ужасно то что нам надо столько дней промежутка чтоб получить ответ на письмо, преневыносимая мысль. Цалую тебя и обнимаю, благодарю Лилечку за письмецо, а Федю поздравляю с рыбкой. Пусть поймает три налима к моему приезду, сварим уху. Как я их люблю, моих ангелов, про вашу милость и говорить нечего. Только бы поскорей нам свидеться. Здесь мне тоскливо и скучно более чем до мученья. Ни души знакомых, все чужие иностранные рожи. По утрам туманы и холода. Кренхен действует раздражительно и мучит кошмарами, почти не сплю. Спазмодический мой кашель продолжается по прежнему, но может быть и будет какая нибудь помощь, начинаю надеяться. Дышать как будто легче, движений могу делать больше, отхаркивание хорошо хотя кашель и не останавливает. Мучит меня ужасно и мысль о работе. Думал жить в уединении и все работать, а выходит что всего могу работать лишь 2 часа в сутки, да и то днем а не ночью. Встаю в 6, в 7 на водах и в 9 возвращаюсь пить кофей. Час на кофей и на отдых и вот уже 10 часов. От 10 до 12 работаю. В двенадцать перед обедом иду на почту и гулять. В 1 час обедаю. От 2-х до 4-х после обеда или пишу письма (Пуцыковичь тоже не дает покою, бомбардирует письмами, да еще хочет прислать мне свои корректуры для поправки — точно есть мне время!) или иду читать газеты. От 4-х до ½ 6-го опять воды. Затем в седьмом часу прогулка, — это обязательно. В 8 часов уже ночь, свечи и я пью чай, в 10 ложусь, — вот и весь день. А ктому же всю ночь кошмары, расстроенные нервы и беспокойство за работу. Вот будет праздник если отошлю наконец в Р. Вестник!

Само собою приключений здесь со мною никаких, кроме разве пустяков. Так наприм. потерял дневную рубашку (кажется не из лучших) хватился только вчера. Между тем ее украли наверно еще в Hôtel de France, но туда теперь идти поздно. На другой день как я переехал в d'Alger из Hôtel de France вдруг вспомнил что в de France остались мои штаны. Прихожу, лакей сконфузился. Оказывается что он уже их прибрал куда то далеко в сундук себе. Я взял штаны и унес с собою, но уж конечно вместе с штанами осталась и рубашка. Здесь же в Hôtel d'Alger некому было украсть. 2-е приключение в том, что я купил зонтик. Стал третьего дня, в субботу пополудни гарга-

ризировать горло. Это комната, в которой устроено 50 мест для гаргоризующих, поставил в уголок зонтик и вышел забыв его. Через 1/4 часа спохватился иду и не нахожу: унесли. В этот день шел дождь ночью и все утро, завтра думаю Воскресение, завтра заперты лавки, если и завтра дождь то что со мной будет. Пошел и купил, и кажется подлейший, конечно шолковый, за 14 марок (по нашему до 6 руб.). Продав купец (подлец жид) говорит мне: а вы спрашивали про ваш зонтик в полиции?—Да где же в Курзале полиция?—А там есть отделение. А я и не знал. Пошел, спросил и мне тотчас же возвращают потерянный зонтик, давно уже прибрали. Какова досада! Я предлагал 2 марки мерзавцу купцу, чтоб взял назад зонтик и возвратил назад 12 марок, не согласился. Решительно несчастье, только деньги выходят. 3-е приключение с жидами моими соседями в Hôtel d'Alger. Четверо суток как я сидел и терпел их разговоры за дверью (мать и сын), разговаривают страницами, целые томы разговора, беспрерывно, без малейшего промежутка, а главное — не то что кричат, а визжат, как в кагале, как в молельной, не обращая ни малейшего внимания что они не одни в доме. Хоть они и русские (богатые) жиды, но откуда то из Зап. края, из Ковно. Так как уже было 10 часов и пора была спать, я и крикнул, ложась в постель: „Ах эти проклятые жиды, когда же дадут спать!“ На другой день входит ко мне хозяйка, M-me Bach и говорит что ее жиды призывали и объявили ей что мною обижены, что я назвал их жидами и что съедут с квартиры. Я ответил хозяйке, что и сам хотел съехать, потому что замучили меня ее жиды: ни прочесть, ни написать, ни размыслить ни о чем нельзя. Хозяйка испугалась моей угрозы ужасно и сказала что лучше она жидов выгонит, но предложила мне переехать на верх, там через неделю очистится у ней прекрасная квартира. Я знаю эту квартиру, действительно хорошая и к тому же двумя талерами в неделю дешевле. Я согласился, жиды же хоть и не перестали говорить и продолжают говорить громко, но за то перестали кричать и мне пока сносно. Ну вот мои приключения. — Ночью начались у меня вздрагивания, боюсь очень припадка.

Теперь о вас. Значит едете к Нилу 6-го числа. Голубчик мой милый, не хочу тебя мучить и стеснять тебя. Но на дорогу возьми 2 надписанные (адрессами) конверта и очиненный карандаш, и где встретишь почту — кинь мне письмецо всего хоть по 3 строчки карандашом. Да береги деток. Себя же как зеницу ока береги, для меня береги, слышишь Анька, для меня и для одного меня. Так вы кутите и ходите на балы сударыня? С какою же целью? (*Зачеркнуто* 2 1/2 *строки.*) Анька, голубчик, здоровей милая, не простудись, сохрани себя — ты нужна и мне и деткам.

Молюсь об вас. А рядом с молитвою и всякие странные думы. Не могу удержать а нервы расстраиваются. Уже и теперь накопилось кое что секретное, что обыкновенно мы рассказываем друг другу, в первый же день по возвращении моем из долгого отсутствия, сейчас после обеда, в роде того как бывало запираемся деньги считать. Анька как хочется мне поскорее обнять тебя, не в одном этом смысле, но и в этом смысле, до пожару. (*Зачеркнуто полторы строчки и читаются они так:* „А Б—в чтобы не было, забудь и думать, по крайней мере даже не мечтай о них, хотя в мечте" моей женочки я не властен). (*Зачеркнуто несколько слов*) пусть она останется моей женкой. (*Зачеркнуто три строчки.*) Цалую тебя в губки, потом ручки, потом ножки, потом всю. Цалуй деток. Скажи им что прошу их быть тебе послушными, особенно в дороге к Нилу. Сохрани их голубчик, я беспокоюсь ужасно. Мне здесь еще чуть не месяц, ужас, ужас!

Ф. Достоевский.

На поле четвертой страницы приписано:

На балы сударыня, вам ходить позволяется, но помня меня. Поклон всем, батюшке и Анне Васильевне особенно. А 100 руб. пришли. Что не истрачу, то назад привезу. Курс то опять падает.

На поле второй страницы приписано:

Завтра жду твоего обещанного письмеца.

На поле первой страницы приписано:

Аня, милая отнюдь не смей похудеть, а потолстей. А главное здоровья и здоровья. Еще раз целую детишек.

138.

Эмс.
1/Авг. 13 Авг./79.

Милый ангел мой Аня, сейчас получил от тебя письмо от 27 Июля. Думал было получить вчера, так мне показалось, но ошибся в расчете. Милый голубчик мой, пишешь что 25-го были твои именины и до крайности меня тем удивила: никогда бы и не подумал я что ты именинница летом, да еще в Июле! Я знаю что рождение твое 30 Авг. но именины твои в Феврале, это всегда так было. И никогда, никогда не запомню я чтоб мы праздновали твои именины в Июле. Или ты

ошиблась, или у меня никакой нет памяти. В самом деле, хоть и люблю бесконечно мою Аньку, но кажется никогда не достигну того, чтоб раз навсегда запомнить ее рождение и именины. Да еще попрекнула: „А ты то меня и не поздравил". Да еще бы если я наверно предполагал что ты именинница в Феврале. Цалую твои ручки и ножки и кроме того в с ю и прошу прощения. А за тем поздравляю Вас милая и дражайшая моя супруга с прошедшим днем вашего Ангела. От всего сердца поздравляю тебя Анька, и дай бог тебе в жизни праздновать свои именины еще раз 75, не менее.

Вы все пишете об Ниле, а потому и отвечаю тебе на письмо твое сейчас же, рассчитывая что может быть [оно] письмо мое еще и застанет тебя в Старой Руссе. Но надобно сознаться тебе что я пишу по крайней мере вдвое чаще письма чем ты ко мне. А еще пишешь что я наверно не так часто вспоминаю о вас чем вы обо мне. Но я не ропщу на тебя, не хочу тебя мучить, потому что письмо во всяком случае работа, хотя даже во сне вижу что получаю от тебя письма, до того жажду от вас хоть какого нибудь известия. Поблагодарите Любочку за ее прелестное письмецо, а Федулку за доброе намерение. Смерть люблю их. Тоскую также об вас чрезвычайно, т. е. об вашей участи: что с вами и как вы? Кстати есть ли у вас Фома и ночует ли у вас? Пишешь что не спишь по ночам: ради бога спи Анька и высыпайся, и к чему такая регулярность. Если проснулась в 12, то в 12 и сажай их, если в 3, то не дожидайся до 4-х, сажай в 3. Иначе расстроишь нервы, да еще сохрани боже похудеешь, ты мне обещала что постараешься потолстеть хоть от части, но об этом ниже.

Я очень рад что Любимов поспешил да еще прислал телеграму, и рад тому что я написал ему письмо чрезвычайно вежливое, так что уж не может обидеться. Значит если 500 и 800 то стало быть рассчитываются до последней строки. Это не дурно. — А у меня здесь все непредвиденные расходы: Сегодня утром уронил на водах свой хрустальный бесподобный стакан на каменный пол и разбил его в дребезги, стоил 5 марок. Тотчас же купил себе другой в 4 марки, но вот уже девять марок убытку. Да и предзнаменование не хорошо. Я все в раздражении от вод, сплю гадко, вздрагиваю, пью четыре стакана в день. Что будет дальше не знаю. Но судорожный кашель не унимается, особенно ночью и вставая. Здесь по утрам туманы, днем же жарко. Никого знакомых, русских мало. Скучно, грустно. Сел писать, пишется пока хорошо.

Лиле и Феде я как нибудь напишу отдельное письмецо.

Всем нашим поклон. Анне Васильевне особенно. Ну стоила ли Анна Ивановна, чтоб ей отдавать букет Рохельши. Здесь цветов ужасно много и продают их кучами. Но я не покупаю, некому пода-

рить, Царица моя не здесь. А кто моя царица—вы моя царица. Я так здесь решил ибо сидя здесь влюбился в вас так что и не предполагаете. Теперь об интимном очень: Пишите царица моя и умница что видите [самые соблазнительные сны] (*зачеркнуто две строки*). Это привело меня в восторг и в восхищение, потому что я сам здесь не только по ночам, но и днем думаю здесь о моей царице и владычице непомерно до безумия. Не думай что только с одной этой стороны, о нет, нет, но за то искренно признаюсь что с этой стороны думаю до воспаления. Ты пишешь мне письма довольно сухие и вдруг выскочила эта фраза (*зачеркнуто десять с половиною строк*) которой бы она не схватывала мигом оставаясь вполне умницей и ангелом, а стало быть все происходило лишь на радость и на восхищение ее муженька, ибо муженек особенно любит когда она [вполне откровенна]. Это-то и ценит, этим то и пленился. И вот вдруг фраза: [самые соблазнительные сны] (*зачеркнуто шесть строк*). Позвольте сударыня: (*зачеркнуто шесть строк*), ужасно цалую тебя в эту минуту. Но чтоб решить о сне, (*зачеркнуто две строки*) то что сердечно моей обожаемой жонки (*зачеркнуто полторы строки*). Анька, уже по этой странице можешь видеть что со мной происходит. Я как в бреду, боюсь припадка. Цалую твои ручки и прямо и в ладошки и ножки и всю.

Тв. весь

Ф. Достоевский.

На поле первой страницы написано:

Буду писать теперь сообразно с приходом твоих писем и с известиями о твоей поездке к Нилу. А помолитесь-ка кстати и за меня. Слишком ведь уж я грешен. Батюшке особенный поклон.

На поле второй страницы написано:

Философова [233] прислала мне сюда письмо. С Кавказа она едет в Псковскую губернию.

На поле четвертой страницы написано:

Пиши по возможности с дороги тоже. Ангелов моих Аню и Федю цалую и умоляю быть послушными. В дороге не позволяй Феде около колес и лошадей бегать. Да и не потеряй их как нибудь в толпе. Аня, молю тебя!

139.

Эмс.

4/16 Августа. Суббота. [1879 г.]

Милый друг мой Аня, сейчас получил твое милое письмецо от 30 Июля и сегодня же отвечаю. И так выходит что путешествие к Нилу откладывается: этому я даже рад, потому что я беспокоился бы, да и известия от вас приходили бы не столь регулярно. Известие о Феде меня обеспокоило, именно прав Рохель, именно нужны ванны, хоть несколько ванн. Надеюсь, что ты уже начала. Вот я уже 11-й день здесь лечусь, а ты отвечаешь мне лишь на мое первое письмо из Эмса! Как это далеко и как тяжело. Об вас беспрерывно думаю и хоть надеюсь на тебя во всем, но все беспокоюсь. Особенно мне тяжело и уныло здесь когда начинается вечер. Мне, Аня, здесь невыносимо тяжело и гадко, почти не легче и не гаже каторги, которую я испытал. Без преувеличения говорю. Один, ни лица знакомого, напротив все такие гадкие жидовские рожи. Хоть и редко, но слышен иногда русский говор, но кто эти русские—никто не знает, все из окраин России. Лечусь однако усердно, и хоть бы и предугадывал заранее, что пользу не получу, а все таки доведу лечение до срока чтоб уж потом ни на кого не пенять. Пью я по четыре стакана утром и по одному после обеда и гаргаризуюсь Кессельбруненом утром и вечером. Здесь тепло, но сегодня целый день дождь, теперь только проглянуло солнце. Апетит у меня есть, но нервы расстроены ужасно. Орт уверяет, что это действие Кренхена. По ночам сплю ужасно дурно, долго не засыпаю и в ночь раза три вспотею. Спазмодический кашель ужасный, по получасу и более сряду и пред засыпанием и пробуждаясь, сильнее чем бывал зимой. Сходил к Орту, он говорит, что этот кашель даже хороший признак, что это действие вод (у него все действие вод), что кашель оттого что Кренхен, не смотря на анфизему очищает легкие, которые вновь становятся способными вбирать в себя гораздо более воздуху чем прежде и что этот воздух-то, в таком количестве, и раздражает легкие, уже отвыкшие от такого количества, Кто его знает, может тут есть капля и правды и какой бы он ни был тупой доктор но бесчисленно долгая практика здесь на месте дала же ему какую-нибудь опытность. Я же в самом деле как будто вдыхаю глубже и даже замечаю это сам. Но что будет то будет. О своем здоровьи, Ангел мой, ничего не пишешь, а ты у меня зеница ока, ты мне дорога во 1-х как мать детей, а во 2-х как жена моя, а в третьих как бесценное сокровище другого которого нет, хотя в тебе ужасно много недостатков; недоверчивость ко мне, неумение оценить меня [и не] в любви моей к тебе и нервы—нервы и нервы, не хуже

моих. А все таки я влюблен в вас (вовсе не шучу) и вы моя госпожа и повелительница навеки, ведь сознаю [сь] же я это изо всех сил.

Происшествий здесь никаких, ни малейших. Пишу и переписываю чтоб поскорее отослать Pater Seraphicus, кажется отошло 7-го, господи еслибы удалось отослать! По вечерам гуляю — самая грустная прогулка. Читаю в вокзале „Голос“ и Моск. Вед. все скука. Вечером в 8 час. пью чай (уже при свечах) в 9 начинаю ложиться, а в 10 уже в постели, но засыпаю только лишь к 12, все кашляю.—Спасибо тебе, голубчик, за готовность прислать мне 100 руб. ни копейки не трачу лишней, но представь себе даже и здесь, как я стал припоминать, за последние три года все вздорожало.—Не много у меня разыгрывается здесь геморой, который в Петербурге и в Руссе совсем почти в последние годы прекратился, а сверх того туг желудок, все от одной только мясной пищи, ни зелени ни приправы ничего нельзя, все запрещено.

Федя говорит что без меня все дурно, этому я верю, одна только Анечка хороша, но ведь за кухней она смотреть не охотница. Меня очень поразил твой сон, это значит у тебя кошмары. Но дай бог чтоб сон к лучшему.—Наконец Анна Ив. уезжает, скатертью дорога. Но и Жаклары тоже, останешься ты одна. Все развлечение ходить на ванны. Не найди чего нибудь на ваннах голубчик. Найди здоровье и только и утешишь меня ужасно. Ты как будто хотела что-то заметить о Жакларе: Да неужели он приударил за Рохельшей? А тож, французский вкус, но чего же смотрит Анна Васильевна?

Хотел деточкам написать особое письмецо, да некогда. Отошлю работу тогда напишу. Лиличка пишет премило, все письма ее берегу и всегда поцалую.

Жиды меньше меня беспокоят, но кажется я наверно переселюсь наверх в другую квартиру. Все боюсь припадка. Ангел мой, пишешь мне милую приписочку что часто снюсь тебе во сне и т. д. А я об тебе мечтаю больше на яву. Сижу пью кофей или чай и только о тебе и думаю, но не в одном этом, а и во всех смыслах. И вот я убедился Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя и что ты единая моя госпожа, и это после 12-ти лет! Да и в самом земном смысле говоря это тоже так, не смотря на то, что ведь уж конечно ты изменилась и постарела с тех пор когда я тебя узнал еще девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе еще только 32 года и это самый цвет женщины, (*зачеркнуто пять строк*) — это уже непобедимо привлекает такого как я. Была бы вполне откровенна — было бы совершенство. Цалую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно в засос. Особенно люблю то про что сказано:

И предметом сим прелестным, восхищен и упоен он.—Этот предмет цалую поминутно во всех видах и намерен цаловать всю жизнь. Анечка голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах, в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, а и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности с которою это баловство от тебя получаю. До свидания, договорился до чортиков, обнимаю и цалую тебя в засос.

Достоевский.

На поле первой страницы приписано:

Деток цалую и благословляю. Ах Аня скучно мне скучно. Всем поклон. Пиши непрерывно, как теперь, из двух дней в третий. Еще раз цалую вас всех троих.

140.

Эмс 7/19 Августа/79.
Вторник.

Сегодня, ангел мой, получил от тебя письмо (от 2-го Авг.) за которое очень тебя благодарю. Ждать теперь следующего письма значит до Пятницы. Кстати, ты обижаешься что я написал что „никого не стесняю", но я ни малейшей обидной мысли не имел, клянусь тебе дружочек мой Анечка, милая хорошенькая жонка моя (не хорошенькая, а красавица, вот как!) Все известия о тебе и о детках читаю всегда с наслаждением, по крайней мере в тот день как приходит от тебя письмо я всегда за вас спокойнее. И так вы начали купаться, непременно хоть 20 ванн возьми. А Нил стало быть не отложен. Пусть так, но если поедете после 20-го, то пожалуй нарветесь на холода и уже на осенние дожди, вот что беспокоит меня. А к тому же если вдруг я ворочусь в Старую Руссу к 1-му или 2-му Сентября и вас дома не застану, то-то будет прелестно! А ведь я именно к этим числам располагаю воротиться, ибо 28 Августа (нашего стиля) будет ровно 5 недель лечения, т.-е. ровно сколько надо, а больше пяти недель я не останусь. — Ты пишешь, что раз у вас была буря и ты спала одетая, даже в башмаках, но зачем же так трусить. Вот этим, да слишком усердным вставанием по ночам к детям отвыкнешь много спать и расстроишь здоровье. (А пуще всего похудеешь). Спасибо что обещаешь скоро выслать деньги, веришь-ли, сижу и все рассчитываю и можешь себе представить что, по рассчету, моему, из всех 700 руб. не только ничего не привезу домой, но даже деткам

ничего не останется чтоб привезть гостинцу как в прежние годы. Завтра в среду у меня здесь недельный расчет за квартиру и стол. Рассчитавшись останусь ровно с 200 р. (еще не менял). Затем ты пришлешь 100 р. и того 300 р. Слушай же: Останется 3 недели здесь. Каждую неделю за квартиру, стол, чай, сигары, прачка, непредвиденные мелочи, minimum по 80 марок, выйдет 240, положим 250 марок, за тем Орту не менее 50 марок. До Берлина дорога с кладью в 2-м классе 55 м. (здесь всюду надбавлено на первые класса). Затем рглому в Берлине 80 марок, Отель в Берлине 20 марок, да дорога из Берлина в Петербург 120 марок, да в Петербурге гостинница, да из Петербурга в Руссу—многоль останется из 636 марок, на которые разменял 300 р. (Здешние жиды дают только 212 марок за 100 р., а курс опять начал колебаться ужасно)? Да и вздорожало здесь все безумно против прежнего, кроме разве почты: Сегодня, 7-го Августа, отправил наконец толстейший пакет Любимову, т.-е. роман на Август месяц 53 полулистка, и всего-то взяли 2 марки 25 пфенигов recommandirt, а я думал возьмут наверно 5 марок. Что отправил, тем кажется, доволен (т.-е. работой) выйдет очень хорошая вещь. Ктому же не только 3 листа, но даже чуть-ли не больше, рублей этак на 1000. Но более всего доволен тем, что наконец отправил! Долго сидел у меня на шее этот старец, с самого начала лета мучился им. Сегодня как уже отправил, получил, вместе с твоим письмом и от Любимова, извинительное, почтительное и очень ласковое. Говорит что был в Петербурге, а потому и не мог своевременно обратить внимание и т. д. Я опять таки порадовался тому что тогда написал ему, хоть и твердо, но чрезвычайно вежливо. Подтверждает что вышлет тебе на днях 800 руб. Ты недоумеваешь: почему 800, а не 500, чтоб восполнить обещанные 2000? Но ведь они рассчитываются за все напечатанное доселе и вышло 300 руб. лишних против 2000. Кстати, ты боишься пожаров, а вот теперь могут узнать (по слухам из почты) что прибыло к тебе много денег, смотри Аня, ночует-ли у вас Фома, или кто нибудь? Это серьезнее пожару. В газетах только и читаешь что по всей России убийства и грабежи. Я такой стал мнительный что мучусь иногда здесь по вас, т.е. чтобы не случилось чего нибудь.

Анекдот с Лиличкой и ее сумасшествие прочел с неприятнейшим чувством. Без сомнения Анфиса, но беда в том что Анфиса будет еще и в будущем, года через 2, через 3, и пожалуй преподаст ей наконец прескверней шую какую-нибудь науку. Это надо крепко, крепко в виду иметь. Лиля умна и развита не по летам даже и теперь, а тогда будет очень худо.—Ангел мой, продолжай детям уроки, хоть бы Федя поскорей выучился читать. Да пусть к моему приезду выучат какую нибудь молитву, „Верую“ например, Лиличка по крайней мере.

И так Жаклар приударил за Рохельшей,—ну-ну! Пишешь что пьешь водку, а я именно хотел написать чтоб пила больше. Я водку не пью, и мышьяк, который пил месяцев 6 сряду перестал принимать, а между тем чувствую что здесь как бы стал сильнее физически, от лечения конечно. Хожу по 8 верст в день (никак не меньше) и не чувствую усталости, апетит тоже есть. Но кашель прежний а особенно в последние три дня. Все три дня был дождь и страшная сырость в нашем скверном ущельи, сегодня только проглянуло солнце. Ах голубчик мой, ландшафт здесь восхитительный, но еслиб ты знала до какой степени он прискучил мне и как я его ненавижу! Кажется здесь уже начинают разъезжаться. Жиды мои соседи выезжают на будущей неделе и я квартиру не переменяю. Музыка здесь хоть и хороша, но редко Бетховен, Моцарт, а все Вагнер (прескучнейшая немецкая каналья не смотря на славу свою), и всякая дрянь. Ты пишешь что у тебя от моего щипка синяк был, но ущипнул от любви, а так как любовь моя здесь усилилась то обещаю и впредь щипаться до тех пор пока разлюблю. Ангел ты мой: пишешь что представляешь себе: что я теперь делаю и об чем думаю. Голубчик мой на $^{9}/_{10}$ о тебе и все представляю тебя. В мыслях цалую тебя поминутно, целую и то, чем „восхищен и упоен я“. Ах как целую, как целую. Анька, не говори что это грубо, да ведь что ж мне делать, таков я, меня уже нельзя судить. Ты сама (*одно слово зачеркнуто*) свет ты мой, и вся надежда моя что ты поймешь это все до последней утонченности. До свидания, ангел мой, (ах кабы поскорей свидание). Цалую пальчики ног твоих, потом твои губки, потом опять [*одно слово зачеркнуто*].

Твой весь Достоевский.

На поле четвертой страницы сверху приписано:

Ты для меня красавица, красавица, да и ты и в самом деле красавица, для всех красавица.

На поле первой страницы приписано:

Деток благословляю и цалую.—Всем поклон.

141.

Эмс
10/22 Август/79 Пятница.

Получил твое письмо от 5 августа. Благодарю за него чрезвычайно, но мне до того здесь скучно, что и письма уже не веселят. Ктому же мысль: что это писано 5 дней назад, а теперь, сейчас, могло

бог знает что с вами произойти, а потому хоть и рад письму, но все таки остаюсь с беспокойными подозрениями. Ты, голубчик, пишешь что скука ничего: ах как ты ошибаешься. Эту каторгу почти уже нельзя выносить больше, каждый раз как я прежде бывал в Эмсе, всегда находились какие нибудь знакомые русские — ныньче никого и все подлейшие жидовские и английские рожи и все молчание и уединение. Даже музыка подлейшая: капельмейстер играет только свои вальсы да какую нибудь самую безвкуснейшую шушеру. Даже в читальной журналов русских всего только Москов. Ведомости, страшно опаздывающие и мерзкий Голос, который меня только бесит. Все развлечение смотреть на детей, которых здесь много и заговаривать с ними. Да и тут [толь] пакости: Сегодня встречаю ребенка идущего в школу, в толпе других, 5 лет, идет, закрывает ладонями глаза и плачет. Спрашиваю что с ним и узнаю от прохожих немцев что у него уже целый месяц воспаление в глазах (сильное мучение), а отец сапожник не хочет свести его к доктору, чтоб не истратить несколько пфенигов на лекарство. Это меня ужас как расстроило, и вообще нервы у меня ходят, и я очень угрюм. Нет, Аня, скука не ничего. При скуке и работа мучение. Да и лучше каторга, нет каторга лучше была! Ты смеешься, хорошо тебе.

Орт пересадил меня совсем на Кессельбрунен. Что до Орта, то каждый раз как придешь к нему он имеет такой вид как будто забыл о тебе совсем и обо всем что предписал тебе. Про Кессельбрунен он, на мои расспросы, [отв] разъяснил мне что химически состав его почти тот же что у Кренхена и эфект на болезнь тот-же, но сильнее действует, потому что 10-ю градусами горячее и содержит в себе больше железа чем Кренхен. Кессельбрунен-де укрепит организм железом и сильнее подействует. Таким образом я по утрам, выпиваю 4 стакана Кессельбрунена, а после обеда 2 стакана Кренхена, но думаю что и после обеда Орт [пер] предпишет Кессельбрунен. К возбуждающему действию Кренхена я под конец привык-было, и кошмары прекратились, а пуще всего вздрагивание и пот по ночам (до 3-х раз переменял рубашку). И вот, вчера, только что успел пересесть на Кессельбрунен — опять ночью кошмары и опять потение, так что уж тут решительно действие воды. Но какова же моя восприимчивость к действию воды. Серьезно думаю что и мрачное расположение духа в последние два дня у меня от Кессельбрунена. Но скука, скука невыносимая. С кашлем как будто полегче по ночам, но вообще много кашляю. Отхаркивание легкое, но мало помогает при кашле. От этих кошмаров и вставаний ночью сплю я мало, часов 6 или даже 5 всего в ночь, а потому еще пуще расстраиваются нервы. К ночи, вечером такая тоска что хоть бы и не смотреть ни на что. Ты пишешь что

скоро кончится, а меж тем завтра только наступает половина срока моего лечения и остается вторая такая же половина. А рожи и морды на ваннах, особенно женские, а жиды и жидовки, а толпа, а давка— чорт знает что такое! И на это было тратить 700 р.! Одно только утешение в надежде что подействуют воды, так как видимо я к ним ужасно восприимчив. Силами я кажется поправляюсь, есть и апетит большой, но желудок варит жестко. Всюду стоят лотки с фруктами; превосходные персики, виноград, груши и все довольно дешево и все мне запрещено, ешь одну говядину. Обед мне приносят сытный, но грубый. Рыба всего раз в неделю. Грубейшие пудинги каждый раз и 3 мясных блюда, из которых хоть на одном да сплутуют. Например присылали мне одно немецкое блюдо: свиную кожу, содранную с мясом и так зажаренную. Здесь кормят этим слуг и служанка сказала мне что ее каждый раз тошнит. Сказала она по поводу того что меня при ней вырвало. Присылали же ее часто, каждый раз тошнило и наконец вырвало. Я запретил приносить. А то вчера прислали курицу жареную. Стал я ее есть и можешь себе представить какой фокус: Взята курица и с нее сняли все мясо, все до атома, так что голые кости как бы отполированы, а затем все прикрыто превосходно зажаренной куриной [кожицей], кожицей, так что сверху кажется как бы и целая курица, но чуть тронешь вилкой и под кожей 1 скелет. Я запретил приносить такое немецкое блюдо впредь, равно как и мороженое: 24 град. в тени, девушка выходит из отеля Гедека, откуда я беру обед, и несет его 200 шагов до нашего Hôtel d'Alger. Мороженое на половину растает. Затем я сажусь за суп, за жаркое, за соус и все время смотрю как дотаивает последнее мороженое. В результате кислая красная вода.

Но довольно, все письмо только о себе. Наверно назовешь меня эгоистом.—Главное в твоем письме это Нил. Писать буду непрерывно, но боюсь чтоб не простудились дети дорогою, у вас все дожди и холода, да чтоб не случилось чего боже сохрани. Деток поцалуй. В Москву хоть и съедутся за чем-то, но раздел наверно не состоится. Не написать-ли Андрею Михайловичу чтоб он нам сам, по совести (я ему верю) выбрал участок. А впрочем не знаю. Начал писать далее роман. Так как ты присылаешь письма довольно постные то и я на сей раз не выказываю чувств моих как прежде, хотя и подтверждаю все что писал прежде. Люблю то тебя побольше чем ты меня, это уж конечно. До свидания, крепко и горячо тебя обнимаю, так как обнимаю каждую ночь во сне. Твой Достоевский.

Скажи: неужели маляр выкрасит и рамы и прекрасный дубовый натуральный цвет обратится в серовато-белую краску, как жаль.

На поле первой страницы написано:

Деток цалую и благословляю, каждый день благословляю их и молюсь за них.—Береги свое здоровье, здоровье, здоровье. А то расстроишь и свои нервы и тогда на что мы оба будем похожи? Всем поклон.

Опять и еще 1.000 раз целую тебя.

1.000 раз поцаловать можно. Но написать что целуешь 10.000.000.000 как ты написала—это уж явная ложь. Ноли то легко ставить, а на деле?

На поле второй страницы написано:

Не в 100.000.000.000-х дело, (*одно слово зачеркнуто*). Дорогая ты моя Анька.

Пиши, непременно пиши. А то если и от вас не будет писем—что будет со мною? Вот написал тебе письмо и как будто душу отвел, развеселился. Накануне поездки к Нилу мне наверно напишешь и я конечно пойму что в дороге писать не так удобно.

На поле третьей страницы написано:

Скажи деткам что нибудь от меня милое. Я все об Алеше думаю, здесь очень много таких как он с виду.

Присылай же 100 руб. не откладывай.—Бестья Пуцыкович не отдаст мне 45 марок! Чувствую это.

142.

Эмс 13/25 Августа/79

Сейчас получил твое милое письмо от 8-го Августа, друг мой Аня, и буду отвечать по порядку. Пишешь что беспокоишься обо мне, т.-е. о моем лечении. Не знаю что сказать тебе об успехах. Завтра ровно 3 недели как я лечусь. Остается ровно еще 2 недели, так порешил сегодня Орт. 28 Августа (нашего стиля) я стало быть кончу лечение и 29-же выеду отсюда. В дороге пробуду 5 дней, приеду в Старую Руссу, вероятно 3-го даже может быть и 2-го, но вероятнее что 3-го. Так что последнее письмо от тебя может быть послано ко мне 23 или 24, а то не застанет. Впрочем еще впереди 2 недели и могут выйти изменения. Чувствую я себя теперь, на [этой] теперешней точке лечения бодрее и сильнее, больше энергии, сонливость, например, исчезла вовсе— и это решительно надо приписать водам. Впрочем нисколько кажется не прибавляюсь в теле и не полнею. Разрывной кашель мой сильно утишился, почти исчез, но все же я кашляю и перхотливость сильная, хотя отхаркивание и очень легкое

и кроме того начинает утолять кашель. Сплю же по ночам все таки не хорошо, просыпаюсь часто и даже все еще потею, хоть и не столь как прежде. Апетит есть, но желудок не совсем в порядке. Ну вот и все что могу сообщить теперь о себе, кроме разве того что кажется лечение удастся. Но все это пальятивно, на малое время, болезнь останется при мне, а истрачено 700 руб.—Здешняя погода тоже мешает лечению; хоть и тепло здесь, даже очень, но сыро, и хоть и сияет солнце, но раза по три в день дождь и особенно по ночам. Бывает что всю ночь на пролет идет, а мне сырость — первый враг. Была бы лучше погода было-бы успешнее и лечение.

Известие о бедной Эмилии Федоровне очень меня опечалило. Правда, оно шло к тому, с ее болезнью нельзя было долго жить. Но у меня с ее смертию, кончилось как бы все, что еще оставалось на земле, для меня, от памяти брата. Остался один Федя, Федор Михайлович, которого я няньчил на руках. Остальные дети брата выросли как-то не при мне. Напиши Феде о моем глубоком сожалении, я же не знаю куда писать ему, а ты не приложила адресс. (Не забудь, сообщить адресс мне в следующем письме). Представь какой я видел сон 5-го числа (я записал число): вижу брата, он лежит на постели а на шее у него [перерезана] перерезана артерия и он истекает кровью, я же в ужасе думаю бежать к доктору и между тем останавливает мысль что [он] ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный сон, и главное 5-го Августа, накануне ее смерти.

Я не думаю чтоб я был очень перед ней виноват. Когда можно было я помогал и перестал помогать постоянно когда уже были ей ближайшие ей помощники, сын и зять. В год же смерти брата я убил на их дело, не рассуждая и не сожалея, не только все мои 10000, но и пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое отдал на позор с провалившимся изданием, работал как вол, даже брат покойный не мог-бы упрекнуть меня с того света. Но довольно об этом. Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти сам, (серьезно здесь думаю) и о том с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее Карамазовы, надо кончить хорошо, ювелирски отделать а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. Но вещь также и роковая: она должна установить имя мое, иначе не будет никаких надежд. Кончу роман и в конце будущего года объявлю подписку на Дневник и на подписные деньги куплю имение, а жить и издавать Дневник до следующей подписки протяну как нибудь продажей книжонок. Нужна энергическая мера, иначе никогда ничего не будет. Но довольно, еще успеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь деревни, а у меня все убеждения что 1) деревня есть капитал,

который к возрасту детей утроится и 2) что тот кто владеет землею участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того чем они будут: твердыми-ли и самостоятельными гражданами (никого не хуже), или стрюцкими. Но довольно. Ты пишешь о Феде, что он все уходит к мальчикам. Он в таких именно летах, когда происходит кризис из 1-го детства к сознательному осмыслию. Я замечаю в его характере очень много глубоких черт и уже одно то, что он скучает там где другой (ординарный) ребенок и не подумал бы скучать. Но вот беда: Это возраст в котором переменяются прежние занятия, игры и симпатии на другие. Ему уже давно нужна бы была книга, чтоб он помаленьку полюбил читать осмысленно. Я в его лета уже кое-что читал. Теперь же, не имея занятий, он мигом засыпает. Но скоро начнет искать других и уже скверных утешений если не будет книги. А он до сих пор еще не умеет читать. Еслиб ты знала как я об этом здесь думаю и как это меня беспокоит. Да и когда же это он выучится? Все учится, а не выучится!

Про Нила опять у вас не решено по поводу приезда Бергеманши. Но помилуй Аня, что это такое? Ну зачем она приедет, для чего? Чтоб мешать? Ну зачем ты ее звала? Сделай ты мне такое одолжение, Аня, напиши ты ей (ты письмо это получишь 17-го будет стало быть, время) — напиши что не можешь принять ее, что обстоятельства изменились и проч. Ну сделай же мне это одолжение, [спрячь] спрячь в карман хвастливый пустой, ложный стыд перед нею! Если поедешь до нее, то она приедет без тебя и тебя не застанет, а ты всю поездку к Нилу сорвешь и скомкаешь торопясь, без удовольствия а может быть и с опасностью. Если же она приедет позже (да еще на неделю, каково!) то пожалуй доживет до того когда я приеду нарочно останется чтоб меня встретить, то-то мне приятно будет [это]. Право не знаю как ты это все устроишь. Лучше уж бы вы к Нилу ехали и совершили бы путешествие не торопясь, а в свое удовольствие, на память деткам.

До свидания голубчик, не сердись на мои наставления. Цалую тебя крепко, тебя и все „прелестные предметы“. Цалую тебя 1000 раз но не более. Завтра останется ровно 2 недели моему здешнему молчанию, ибо это не уединение только, а молчание. Я совсем разучился говорить, говорю даже сам с собой, как сумасшедший. Грустно мне здесь. Начал кое как писать, но скука все убивает.

До свидания. Твой вечно

Ф. Достоевский.

На поле третьей страницы написано:

Аня, ты говоришь что много выходит денег. Напиши сколько у тебя теперь в руках денег. Не отчет о расходах я прошу, а только сумму. Переписку не прерву. Буду посылать по письму в каждые три дня.

На поле второй страницы приписано:

Всем поклон. Пуцыкович выдал наконец № Гражданина. Прислал мне. Ждет подписки и обещается отдать 40 марок. № выданный обратится конечно в Библиограф. редкость и надобно сохранить его. Написал так, что кажется не пропустят в Россию. 40 же марок не отдаст.

На поле первой страницы приписано:

Деток целую и благословляю. Лилю очень благодарю за ее миленькую приписочку, а Федю очень прошу утешить меня и выучиться читать. Затем, детки голубчики слушайте маму. Цалую вас крепко.

143.

Эмс 14/26 Август/79.

Милый друг мой Аня, вчера отправил тебе письмо, а о главном-то написать и забыл. А между тем я в беспокойстве, которое постепенно возрастает с каждым днем, чем дальше тем больше. Что же деньги, что же ты не высылаешь денег (100 р.)? Давно еще ты мне написала что вышлешь к 15-му Августа, и вот 15-е Августа завтра, а завтра не только денег, но и письма простого от тебя не придет. Во вчера полученном от тебя письме ты уведомляешь, что напишешь 11-го а пойдет 12-го (придет стало быть ко мне 16-го), а между тем вовсе умалчиваешь какое это будет письмо, с деньгами или без денег. Вероятнее выходит что без денег, если не предупредила. И однако ты сама обещала прислать к 15-му. Я в страшном беспокойстве: мне думается что ты забыла и вспомнишь когда уже поздно будет. Вот почему экстренно пишу чтоб напомнить. И до присылки денег все буду в беспокойстве. Мне и так здесь не весело, а тут и это прибавилось. И почему ты откладываешь, когда я несколько раз, чуть не в каждом письме просил тебя выслать не откладывая, не медлить. (*Зачеркнуто полторы строки*) я больше писал в приписках. Главное беспокоит меня что ты забудешь и поздно вспомнишь. Отправив вчера письмо и вспомнив что забыл это приписать, я почти всю ночь не спал в беспокойстве. Повторяю тебе: Я непременно хочу

выехать 29-го Августа, я ни дня не хочу остаться больше в этой яме и скорей заложу часы и отправлюсь в 3-м классе, а в Берлине не возьму пальто, чем останусь здесь. Письмо это придет к тебе 18-го. Умоляю тебя, тотчас же по получении его, не откладывая даже до завтра выслать мне 100 р. Если пойдет [от] письмо из Старой Руссы даже 20-го то придет ко мне 24-го. Если же и 24-го не получу денег, то телеграфирую в Москву Любимову, авось пришлет 100 р., а если по медленности своей даже и замедлят, то все же 2—три дня каких нибудь, а пришлют же. Голубчик Аня, исполни просьбу мою, а то я как буду мучиться. А что если вы уедете к Нилу, да за хлопотами сборов забудешь выслать, а письмо это пролежит до твоего возвращения?

Не сердись голубчик, я просто даже в тревоге. Я ни одного дня не хочу здесь сидеть долее. В 3-х последних письмах своих ты о высылке даже и не упоминаешь.

Цалую тебя и детей.

Не сердись, Анечка.

Ваш Ф. Достоевский.

144.

Эмс 16/28 Август/79.

Сейчас только получил твое дорогое письмецо (от 11-го) дорогая моя Анечка. Очень жалею что послал тебе мое последнее нетерпеливое письмо о деньгах. Клянусь я ужасно беспокоился: откладывая со дня на день можно было действительно спохватиться когда уже будет поздно. Мне же притом казалось что ты ожидаешь моего возвращения гораздо позже чем это должно быть. Выеду я отсюда (постараюсь из всех сил) непременно 29 (нашего стиля). Не сердись на меня. Я от уединения стал мнителен и мне все мерещится что ни есть худого и безотрадного. Тоска моя такая что и не опишешь: забыл говорить даже, удивляюсь на себя даже если случайно произнесу громкое слово. Голосу своего вот уже четвертую неделю не слышу. Пишешь что уже выслала мне 100 руб. „вчера“, это значит 10-го, а я однако сегодня, получив на почте твое письмо уже от 11-го, еще не получил никакой посылки. Странно что так запоздало. Но конечно получу и может быть завтра. Пишешь чтоб я берег деньги и о бинокле. Но деньги у меня идут регулярно и всякая трата моя здесь обрегулирована, разве вот на табак трачу лишнее, за неимением [обыч.] обычного моего табаку. Трата же на все чертовская, хоть и регулярная. Повторяю тебе, вряд ли и рубль оставшийся с собой привезу. Начнешь рассчитывать и только руками разводишь—почти не хватает. Что же до бинокля, то он стоил мне большой досады, потому что,

очевидно меня надули и я переплатил лишнее, больше чем он стоит. Но ужасно хотелось купить. Но только никогда в России не было таких мошенников-купцов какие теперь в Германии. Все жиды, всем завладели жиды и мошенничают без предела, буквально мошенничают. Пишешь, что очень думаешь о моем здоровье. Повторяю: я сам не знаю что выйдет из моего питья вод, хотя про себя и начинаю надеяться, что выйдет что нибудь путное. Я положительно укрепляюсь в силах, и это чувствую. Кашель мой очень уменьшился и ослабел, но все еще есть и уж конечно, излечить его невозможно. Ктому же здесь так сыро, что я беспрерывно простужаю горло и у меня вдруг на целые сутки, начинается страшная перхотливость. Но дыхание чище и глубже, задышки гораздо меньше. С завтрашнего дня останется ровно 12 дней лечения, т. е. одна последняя треть.—Впрочем дело моего здоровья обозначится осенью и зимою. Но ты-то о своем здоровьи мало пишешь, вот что Аня, а я очень боюсь за тебя. Я хочу чтоб ты возвратилась в Петербург за лето серьезно поправившись. Теперь твое здоровье для детей становится дороже чем мое. Я очень о тебе беспокоюсь и много думаю. Твои милые слова о том что ты меня любишь прочел с упоением. Ты пишешь: „люби меня", да я-ль тебя не люблю? Мне только высказываться словами претит, а многое ты и сама могла бы видеть, да жаль что не умеешь видеть. Уж один мой постоянный (мало того: все более, с каждым годом, возрастающий) супружеский мой восторг к тебе, мог тебе на многое указать, но ты или не хочешь понять этого, или по неопытности своей этого и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой какой хочешь брак, где бы это явление было в такой же силе, как и в нашем 12 летнем уже браке. А восторг и восхищение мое неиссякаемы. Ты скажешь что это только одна сторона и самая грубая. Нет, не грубая, да от нее, в сущности, и все остальное зависит. Но вот этого-то ты и не хочешь понять. Чтоб окончить эту тираду свидетельствую что жажду расцаловать каждый пальчик на ножке вашей, и достигну цели, увидишь. Пишешь: А ну если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют.

Извещаешь о страданиях своих на счет ремонту дома [234]. Что делать, сама затеяла. Но вот проходит время — и что же ваше путешествие к Нилу? Ктому же трепещу за посещение Бергеманши: Будет стоить это тебе и хлопот и расстройства нервов необъятного. Дай бог чтоб все у вас уладилось к лучшему и веселому. Я здесь все мечтаю об устройстве будущего, и о том как бы купить имение. Поверишь-ли, чуть не помешался на этом. За деток и за судьбу их трепещу. Сел писать роман и пишу, но пишу мало, буквально некогда, можешь ты этому верить. К приезду моему (3-го или 4-го Сентября) дай бог

чтоб привезть половину на Сентябрский-то номер, а остальную половину сяду дописывать на другой же день по приезде, ничего не отдыхая. А между тем работа должна быть чистая, щегольская, ювелирская. Это самые важные главы и должны установить в публике мнение о романе. Тем что послал на Август я доволен, но предчувствую (знаю их) что они наделают самых роковых опечаток.—Но это все потом, а здесь мне покамест скука, не простая, а болезненная, сума сойти можно. Кажется начинают сильно разъезжаться отсюда, но все же толпа огромная. Русских ужасно мало, все незнакомые. Последние три дня все дождь.

Каков Жаклар, ай, ай! Молодец впрочем. Вот это человек как следует, рвет цветы удовольствия, не то что мы—народ забитый и запуганный. Мне очень интересно было что ты писала о представлении басен Крылова. Это очень мило и хорошо.—Сознаюсь тоже что путешествие к Нилу было бы для деток чрезвычайно назидательно и оставило бы воспоминание на всю жизнь их. И уж конечно Нил лучше чем Бергеманша. Поблагодари голубчика Лилю за ее милейшее письмецо; Феде же скажи что его письмо прелесть как удалось, мне очень понравилось, и что сохраню его на всю жизнь. До свидания, мой ангел, золотое ты мое сокровище, умненькая моя красавица. Красавица ты моя вот что. И еслиб не смущало то что ты говоришь про почтовую цензуру бог знает бы что написал тебе. Цалую однакож опять твои ножки. (*Вычищено резинкой две строки.*) Цалую его мысленно беспрерывно. Сердечко твое золотое тоже люблю ужасно, чту его и поклоняюсь ему. Нервы же вещь излечимая, неправда-ли? Цалую и благословляю деток. Все мечтаю о них. Но довольно.

Твой вечный Ф. Достоевский.

На полях:

Ждут-ли меня детки, говорят ли обо мне иногда? Учи Федю читать. Неужто у Лилички нет цвета лица. Смотрю часто на их фотографические карточки.

Сплю по прежнему мало, и все кошмары. Аня, ходи за своим здоровьем.

Идея: Застанет-ли это письмо тебя в Старой Руссе? А ну вы пуститесь к Нилу? А впрочем не препятствую, только бы обошлось без трудов и без хлопот особенных.

Боюсь в длинное и спешное путешествие мое простудиться и таким образом повредить лечению. Еще раз (1000 раз) цалую тебя. Всем поклон.

145.

Эмс 19 Августа/1 Сентября/79.

Милая Аня, так как все таки ты к 23-му или к 24-му намерена воротиться (пишешь что едешь на 3 дня, а до 24-го выйдет 9 дней), то и пишу тебе сейчас не откладывая до завтра. Разумеется весь этот план [235] мне не очень по нутру, но еще в прежнем одном письме твоем, недели две тому назад или три, когда ты в первый раз уведомляла о Шере, я разглядел нечто подозрительное (очень помню это) и подумал, что ты что нибудь предпримешь. Но если я и сержусь (очень), то за легкомысленное письмо твое, написанное так бегло и так на-скоро что ничего нельзя понять и все остается предугадывать с большим беспокойством. Например пишешь что едешь с детьми и не извещаешь берешь няню иль нет. В Москве где остановишься? Поедешь на общее соборище — где детей оставишь? Или их вместе с собой потащишь? У Вареньки остановишься что-ли? Если же оставишь детей где нибудь у Ивановых, то хорошо ли с ними обойдутся и добродушно ли их примут? Затем деревня: Конечно ты не поехала авось и условилась письмами с Андреем Михайловичем или с кем нибудь: где и как вы там остановитесь, и надолго ли? Где же остановитесь? В избе, где пожалуй тебя обворуют и ограбят? А дети где будут оставаться когда ты будешь, вместе с прочими, леса осматривать. Пишешь что будет Андрей Михайлович, а я полагаю что ровно никому нет дела до наших детей, и что вообще дети от этой поездки что-нибудь да потерпят. Распоряжение же о том чтобы почтамт Старо-Русский пересылал тебе мои письма в Рязань, считаю почти безумным. Это верное средство сделать чтоб они расстрелись с тобой и пропали. И это с акуратностью-то нашей почты! А впрочем, полагаю что ты уж вернулась; не на месяц же поехала.

Благодарю за извещение о детском спектакле, хотя и тут слишком краткое: видно что ты занята. Писем твоих буду ждать с ужасным нетерпением, и если напишешь 17-го то пожалуй дня три еще придется ждать. О себе не знаю что написать. У нас все эти дни валил дождь как из ведра и прилив мокрот у меня в груди был ужасный, а потому по утрам усилился и кашель. Да пришлось еще не доспать сряду несколько ночей, а потому нервы расстроились ужасно. В пустую надо мной квартиру въехали два немца и подымают страшный стук ночью. Только что я к одиннадцати часам засну, как вдруг, в половину 12-го возвращаются они оба, и подымают шум по лестнице и наверху прямо над моей головой такой, что будто целый табун лошадей пришел. Я просыпаюсь, вздрагиваю и уже не могу потом заснуть часа два, и так три ночи сряду, да и теперь почти также.

Я жаловался хозяйке, те обещали не топать ногами. Но при этом лечении нужен покой, спокойные нервы и хороший сон. Иначе лечение не принесет пользы. Я очень раздражен и в уединении моем весь даже озлобился. Пусть уж бы скорей из этой мокрой ямы. Хоть бы быть уверенным что вас-то застану целыми и невредимыми. Поцелуй детей. Скажи им спасибо что были умники на спектакле. В эту минуту ты может быть где нибудь уже в Рязани, или дальше. Не успокоюсь до тех пор пока не получу от тебя письма из Старой Руссы, уже по возвращении твоем. А что если настолько замедлишь что оно уже меня не застанет? Я выезжаю 29, и надеюсь что не задержит что нибудь. Стало быть надо чтобы последнее письмо твое ко мне было написано 23-го и пошло не позже 24-го, тогда еще получу его здесь, 28-го, если же напишешь позднее этих чисел, то уже не получу, 29-го поезд отходит рано утром.

К Нилу-то, я думаю, теперь не поедете. Или поедете? Деньги 100 р. я получил здесь 17-го, третьего дня, шло стало быть 8 дней. Курс наш упал ужасно, может быть и еще упадет. Сижу и работаю, да вот теперь, за беспокойством, не знаю много-ли наработаю. Ух сколько дела останется сделать по возвращении в Руссу. И еще в какой короткий срок. Не знаю как то тебя примут в Москве. Во всяком случае цалую тебя крепко. Дай бог чтоб ты получила это письмо в Старой Руссе без пересылки в Рязань. Я вот теперь пишу, а сам думаю что не дойдет оно до тебя ни зачто, расстренетесь. Так что даже писать не хочется. Однако тороплюсь. Обнимаю тебя еще раз, а об детках все будет теперь ныть душа. Благословляю их и молюсь за них. Над Федей непременно в Москве будут смеяться что не умеет читать. Смеялись и надо мной в детстве что отстал от брата.

До свидания голубчик, твой нежный очень хотя и сердитый муж.

Ф. Достоевский.

На поле первой страницы написано:

Всем поклон. И как же можно было написать такое беглое и не обстоятельное письмо. Лучше бы совсем не уведомляла до возвращения в Руссу.

На поле четвертой страницы написано:

Главное в Москве не загостилась бы! Еще целую и деток благословляю.

146.

Эмс. 24 Августа. / 13 Сентября/79.

Милая Аня, сейчас получил твое письмо, писанное карандашом, из Рязани от 18-го Августа, и опять повержен в беспокойство и сомнения. Опять тайны, опять вечные секреты. Не можешь ты никак удостоить меня полной откровенности. Списываешься и соглашаешься с червонными валетами, а от мужа все еще тайны и секреты. И к чему эта таинственность если уж решилась исполнить задуманное? Неужели ты рассудить не можешь что, видя тайну, не могу же я не быть расстроен, вечно предугадывая, сомневаясь и разгадывая здесь, за 2500 верст: что бы это было такое? Слушай: первоначально ты извещаешь меня что едешь в имение (для чего? никто не может понять, а ты может быть менее всех) на три дня, и вот теперь извещаешь наскоро карандашом, уже от 18-го числа, что „теперь я тебе долго не напишу дней шесть", (уезжая т.-е. в деревню из Рязани) и тут же прибавляешь что напишешь мне из Рязани. Ясно, стало быть, что все эти 6 дней (а может и больше, ибо число 6, как первоначальное три дня, очевидно выставлено для моего успокоения, так что 6 значит minimum, а может и 10 и 12 и две недели)— что все эти 6 дней ты намерена жить в деревне. Но для чего же 6 дней жить в деревне, где есть нечего, в курной избе с детьми и с червонными валетами, к чему понадобилось столько дней — все это загадка, которую я очевидно не в состоянии разрешить и которую ты очевидно все еще не хочешь мне открыть, не считаешь благонадежным и благоразумным открыть такому неблагонадежному человеку как я, и лучше решаешься меня повергнуть в смертельное беспокойство (не могу же я в самом деле не беспокоиться) чем удостоить меня полною откровенностью. Я здесь теперь ломаю голову и придумать не могу: для чего понадобилась целая неделя сроку житья в деревне? Межеваться вы что-ли собираетесь, но ведь этого нельзя без полного всеобщего согласия, а остальные Достоевские могут не согласиться. Что же вы там будете делать? На простой осмотр достаточно бы и двух дней. Значит что-то твердо положено сделать и условленно заранее с червонными валетами, но я только этого не могу и не должен знать. 6 дней, но тут непременно твердая и определенная цель, когда такой срок ясно предназначен вперед. Ну, а по прошествии этих 6 дней—что тогда будет? Что нибудь в Рязани, какие нибудь акты, купчие совершатся, или чорт знает что еще — так от чего бы от меня-то так таить? Пустое, дескать: побеспокоится и перестанет. Из Рязани хочешь писать мне после 6 дней в деревне, но это

уже будет 24-го числа minimum, а ведь я писал тебе сколько раз, что выезжаю 29-го стало быть последнее письмо твое ко мне должно быть написано 23-го чтоб дошло. Стало быть ты читаешь мои письма наскоро и не дочитываешь даже может быть.—Ездишь в третьем классе с малыми детьми. У червонных валетов такие души и такие понятия, что твой вид приниженности и бедности (в 3-ем классе) должен в них возбудить презрение к тебе. Останавливаешься с этими забубенными в одних и тех же трактирах, а в деревне пожалуй в тех же избах; тут тысячи непочтительных фамильярностей можешь увидеть от них. Шеры, Ставровские—все это одного корня народ, мошенники, надувалы и валеты. И уж ежели ты сама написала что там нечего есть — (это на 6-то дней) то воображаю какой комфорт и чему могут подвергнуться дети. Не сердись ради бога, но ведь я же не дерево в самом деле, не могу же я не беспокоиться. Охота даже пропадает писать, ибо очевидно и это письмо пойдет в Рязань из Руссы (если на такой долгий срок, то конечно мои письма надо было [пересл] пересылать тебе из Руссы), но ведь всякому сроку конец и очевидно одно или два письма должны расстреться, так что не знаю дойдет ли это и в чьи попадет еще руки? К моему то приезду будешь или нет в Руссе? До отъезда моего отсюда я уж и не рассчитываю теперь что нибудь от тебя получить.—На всякий случай поздравляю тебя с днем твоего рождения, 30 августа. Напишу еще несколько строк в Понедельник и это уже будет последнее мое письмо отсюда. О себе писать нечего. Поблагодари Лиличку, за ее милую приписку. Деток цалую и благословляю и очень за них беспокоюсь, душа не на месте. Цалую тебя тоже. Не сердись, повторяю: не деревянный же я.

Твой весь Ф. Достоевский.

Еще раз цалую тебя.

147.

Эмс. 27 Август./9 Сентябр./79.

Милый голубчик мой Аня, получил от тебя вчера вечером (по поводу Воскресения у нас раздают переписку вечером) твой клочечек бумажки карандашом из каких-то Клепиков и чрезвычайно как благодарен тебе за него. Но однакоже из Рязани до имения значит 80 верст слишком и езды $1^1/_2$ дня; я думал что гораздо ближе. Стало быть из 6 дней три уходят на дорогу. Оно теперь мне понятнее и 3 дня в деревне не возбуждают теперь во мне такого удивления. Но следовало с твоей стороны писать обстоятельнее, а то я совсем

потерялся в моих расчетах: „Что дескать будешь ты делать в деревне 6 дней?“ Да и теперь впрочем не знаю, но думаю по крайней мере что к 28-му или 29-му вы возвратитесь же наконец в Руссу. Ох только бы бог дал благополучно). То что ты пишешь о детях меня несколько ободрило. Но опять таки в твоем письме как будто недомыслие. Рассуди сама: пишешь ты от 19-го, и приписываешь что теперь уже 4 дня не будешь мне писать более. А я здесь ясно вижу что ни в каком уж случае не получу здесь от тебя ничего более, ни одного то есть письма, ибо сам выезжаю после завтра, 29-го. Дело в том, что это твое письмецо из Клепиков, от 19-го, помечено на конверте в Московском почтамте 22 Августом, ко мне же в Эмс пришло 26-го, шло значит неделю. Положим ты мне напишешь (через 4 дня как ты говоришь) из Рязани, значит 23-го числа Августа, придай 6 дней ходу до Эмса и будет 29-го, а 29-го утром мне уже нельзя будет идти в почтамт, ибо поезд идет в $6^1/_2$ часов утра, т. е. когда еще и почта не приходит. (Приходит в $^1/_2$ 8-го). Из этого заключаю что уже более от тебя известий никаких не получу. Это значит с 19-го до 3-го Сентября, т. е. ровно 2 недели! Это жутко. Я, голубчик мой, помнится тебе уже много раз писал что последнее твое письмо должно пойти непременно не позже 24-го (из Руссы) чтоб я мог еще получить его, а теперь из Рязани. Полагаю что ты мало обратила внимания на то что я писал об этих сроках и забыла. — Но уж теперь нечего делать. Покрайней мере сам то отсюда выезжаю и в дороге тоска по вас будет конечно сдерживаться чувством что все же я приближаюсь к вам, к вам же еду и наконец приеду. Так как сегодня 27-е, то полагаю уже наверно что письмо это застанет тебя уже в Руссе, так что тебе не будут уже никуда пересылать его из Руссы и оно не пропадет. Не знаю только много-ли ты опять останешься в Москве? Хороша-ли погода, не простудились бы дети? Поедешь-ли ты во 2-м классе? и проч. и проч. вопросы так и кишат у меня в голове. На бога однакоже надеюсь и на тебя тоже, хотя и взбалмошная но деловая женочка. Жаль только что невсегда откровенна с мужем, который так ее любит и ценит. Об себе скажу, что кажется лечение мое здесь не принесло мне особенной пользы. Говорить заране конечно нельзя, может быть потом, к зиме, объявится польза, но теперь я точно также кашляю как и приехал сюда, а всю последнюю неделю чувствовал даже особенную тесноту в груди как в худшие времена. Полагаю, что всему виноват Орт, чорт знает с чего пересадивший меня, 3 недели тому назад с Кренхена на Кессельбрунен. А я именно после 2-х недель Кренхена почувствовал было себя несравненно лучше. А он пересадил,—Кессельбрунен, как мне кажется теперь, после 3-х недельного испытания—вода для меня сильная, больше той меры, кото-

рой требовал организм мой, а потому только раздражал мне нервы и может быть уничтожил доброе действие Кренхена. Впрочем не знаю, может быть я ошибаюсь.—Что до денег, то кажется приеду в Руссу лишь с последними копейками, едва хватит. 100-вую бумажку меняют здесь за 208 марок. Как нибудь ухитрюсь. В дороге должно быть очень устану и расстроюсь. Роман же (на Сентябрь) не довел и до половины. Как приеду сейчас надо будет садиться и писать.—Проклятой здешней диэтой (одна говядина и пудинги) расстроил только желудок, точно деревянный стал.—Кончается наконец скука моя безысходная, наконец-то начну громко говорить, а то 35 дней молчания.—Чорт знает что такое. Погода здесь хоть и очень не постоянная, но теплая: какую-то у вас застану? И не простудиться бы дорогою. Поцалуй милых ангелов деток. От Победоносцева еще получил письмо и отвечал ему[236]. Если в Петербурге будет время, то схожу к нему. В Петербурге я буду кажется в Воскресение — это скверно, все заперто. Пуцыкович уже уведомил меня, что денег мне не отдаст. До свидания мой Ангел. Ну что если ты как нибудь в дороге простудишься, расхвораешься? Мне жизнь Ваша в деревнюшке и в лесу, хоть и 3-х дневная только, очень не нравится. И разве не случалось тебе простужаться, простужать горло, например, что простужала уже и прежде,—твое больное место. Слишком ты рискуешь Аня. А тут 2 недели без известий. Но надеюсь на бога. Ворчать нечего убереги вас только бог. Еду наконец. Ну до свидания и все таки не до близкого: неделя целая еще пройдет. Деток цалую и благословляю, а тебя цалую 1000 раз, и намерен скоро всласть целовать, голубчик ты мой.

Твой весь Ф. Достоевский.

На поле первой страницы приписано:

Всем поклон. Еще раз всех вас цалую.—Теперь у меня хлопоты, укладывать чемодан, покончивать все дела, а погода кажется переходит к дождю.

1880 г.

148.

Москва. 23/24 мая 80.

Милый друг мой Аня, ты представить не можешь, как меня расстроило дорогой известие о кончине императрицы [237]. (Мир ее душе, помолись за нее). Услышал я про это в вагоне, только что выехали из Новгорода, от пассажиров. Сейчас у меня явилась мысль что празднества Пушкину [238] состояться не могут. Думал даже вернуться из Чудова, но удержался от неведения: „Если празднеств, дескать — не будет, то могут открыть памятник без празднеств, с одними литературными заседаниями и речами". И вот только 23, уже выехав из Твери, купил Москов. Ведомости, и в них прочел извещение от генерал-губернатора Долгорукого, что государь повелел отложить открытие памятника „до другого времени". Таким образом приехал в Москву уже совсем без цели. Думаю выехать во Вторник, 28, утром в 9 часов. До тех пор по крайней мере воспользуюсь случаем что попал в Москву и кое-что узнаю, повидаю Любимова и переговорю о капитальном, тоже Каткова, обойду книгопродавцев и проч. только бы успеть. Узнаю, наконец, и об литературных интригах подноготную. С Анной Николаевной расстались в Чудове задушевно облобызавшись. Обещала воротиться, если только будет какая возможность. День был жаркий. Я буквально ничего не спал и, усталый и совершенно изломанный, добрался в Москву к 10 часам по Московскому. В вокзале ждали меня с торжеством Юрьев [239], Лавров [240], вся редакция и сотрудники Русской Мысли (Николай Аксаков [241], Барсов [242], человек 10 других). Перезнакомился. Тотчас же стали звать к Лаврову на нарочно приготовленный ужин. Но я так был измучен дорогой, до того не мыт, в грязном белье и проч., что отказался. Завтра 24-го поеду к Юрьеву во 2-м часу. Лавров сказал что самая лучшая и комфортная гостинница в Москве Лоскутная (на Тверской, сейчас близь площади где Иверская божия матерь), и тотчас же побежал и привел кучера, сказав что это извозчик, но он кажется был не извозчик, а лихач, или его кучер. Привезя в гостинницу

денег не хотел брать, но я ему дал насильно 70 коп. В Лоскутной все занято, но мне отыскали № в 3 р., очень порядочно меблированный, но окнами выходящий во двор и в стену, так что думаю что завтра будет темно.— Предвижу что статья моя до времени напечатана не будет, ибо странно ее печатать теперь. Таким образом поездка до времени не окупится. Теперь уже час ночи. Очень тяжело без вас троих, без тебя и без милых деток.

Цалую всех вас крепко, тебя первую, а затем Лилю и Федю. Поцалуй их за меня покрепче и скажи что я их ужасно люблю. С книгопродавцев вероятно не успею ничего получить, ибо в 2 дня они не справятся. Ну до свидания. Не знаю, получу ли от тебя письмецо. Пиши на имя Елены Павловны. Полагаю однако что тебе отвечать на это письмо мне нельзя, ибо получу не раньше 29 а 29 я хочу быть уже в Руссе. Вот если ты бы сама догадалась написать Елене Павловне было бы прекрасно. Если случится (боже сохрани) какое несчастье, то телеграфируй мне в Гостинницу Лоскутное, на Тверской, Ф. М. Достоевскому, занимаю № 32.

Еще раз обнимаю всех трех и крепко цалую.

Твой Ф. Достоевский.

149.

Лоскутная Гостинница на Тверской.
Москва. Воскресение, 25 мая/80.

Милый друг мой Аня, вчера утром посетили меня в торжественном визите Лавров, Ник. Аксаков и один доцент университета Зверев, пришли заявить почтение. Должен был в то же утро отдавать всем троим визиты. Взяло много времени и разъездов. Затем отправился к Юрьеву. Встреча восторженная с лобызаниями. Узнал что они хотят просить чтоб дозволили открыть памятник осенью, в октябре, а не в Июне и в Июле, как, кажется, наклонно сделать начальство; но тогда открытие будет эскамотировано, ибо никто не приедет. О ходе дел от Юрьева не мог добиться толку, человек беспорядочный, в новом виде Репетилов. Однако же с хитростью. (Интриги однако были несомненные). Между прочим я заговорил о статье моей и вдруг Юрьев мне говорит: я у вас статью не просил (т.-е. для журнала)! Тогда как я помню в письмах его именно просил. Штука в том что Репетилов хитер: ему не хочется брать теперь статью и платить за нее. „Но на осень, на осень Вы нам дайте; никому как нам, мы просим первые, слышите, а к тому времени вы ее тщательнее отделаете“ (т.-е. точно уж ему известно, что она теперь нетщательно отделана). Я разумеется тотчас же прекратил о статье и обещание на осень дал

лишь вообще. Не понравилось мне это ужасно.—Затем поехал к Новиковой, был встречен очень любезно. Затем визиты, затем к Каткову: не застал дома ни Каткова, ни Любимова. Отправился по книгопродавцам. Двое (Кашкин) переменили квартиры. Все обещали что-нибудь дать в понедельник. Не знаю дадут ли. Поеду однако в Понедельник и постараюсь записать новые квартиры. Затем заехал к Ив. С. Аксакову. Он еще в городе, но дома не застал, в банке. Затем, воротясь домой обедал. Затем в 7 часов поехал к Каткову: застал и Каткова и Любимова, был встречен очень, очень радушно и переговорил с Любимовым на счет доставки Карамазовых. Очень настаивают, чтоб на Июнь. (Воротясь придется чертовски работать). Затем упомянул о статье и Катков настоятельно стал просить ее себе, т. е. все таки на осень. Взбешенный на Юрьева я почти обещал. Так что теперь если Русская Мысль захочет статью, то сдеру непомерно, иначе Каткову. (Статью к тому же времени можно еще распространить).

У Каткова (у которого опрокинул чашку с чаем и весь замочился)— отправился к Варе. Застал, и хоть было уже около 10 часов, но мы поехали с ней к Елене Павловне. Варя только что получила письмо от брата Андрея [244] (на счет дворянских документов) для передачи мне. Письмо взял себе Елена Павловна оказалось переехала на другую квартиру и содержать номера бросила. Отправились на другую квартиру и застали у ней в гостях Машу и Нину Ивановых [245] (с которыми Елена Павловна помирилась) и Хмырова. Ивановы отправляются дня через три в Доровое, тоже и Хмыров, ибо там тоже гостит его жена у Веры Михайловны. Посидели с час. Воротясь домой нашел письмо, занесенное лично Ник. Аксаковым и Лавровым: зовут 25-го (т.-е. сегодня) на обед и явятся за мной в 5 часов. Устраивают сотрудники Русской Мысли, но будут и другие. Я думаю будет человек от 15 до 30 по намекам Юрьева (еще когда был у него). Кажется обед делается по поводу моего приезда, т.-е. в честь меня, будет же где нибудь верно в ресторане. (Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться). Теперь третий час. Через 2 часа они приедут. Не знаю только, в сюртуке ли быть или во фраке. Но вот и весь мой бюллетень. Денег у Каткова не спрашивал, но сказал Любимову, что может быть летом понадобится. Тогда Любимов ответил что по первому востребованию вышлет куда я прикажу. Завтра надо объехать книгопродавцев. Заехать к Елене Павловне: нет ли от тебя письма, быть у Машеньки, которая ужасно просила меня и проч. После завтра во Вторник, 27-го выеду в Руссу, но не знаю еще с утренним или с полуденным поездом. Боюсь что завтра мне не дадут дела делать: Юрьев все кричал, что ему „надо со мной беседовать, беседовать“ и проч.

Очень мне вообще скучно, и нервы расстроены. Более я думаю тебе не напишу, разве в случае чего нибудь очень характерного. До свидания, голубчик. Цалую тебя крепко и деток. Очень поцалуй Лилю и Федю. Очень Вас люблю.

Твой Ф. Достоевский.

Post-Scriptum.

25 мая, 2 часа пополудни.

Милая Аня, распечатал вчера еще запечатанный к тебе конверт, чтоб сделать приписку. Сегодня утром, пришел ко мне Иван Серг. Аксаков с тем, чтоб настоятельнейшим образом просить меня остаться на открытие, так как оно произойдет, как все ожидают, до 5-го. Он говорит что мне нельзя уехать, что я не имею права на то, что я имею влияние на Москву, и главное на студентов и молодежь вообще, что это повредит торжеству наших [коренных] убеждений, что слышал вчера за обедом конспект моей речи, он проникся убеждением что я должен говорить и проч. и проч. С другой стороны объявил мне что я как депутат от Слав. Благотв. Общества и не могу уехать, ибо все депутаты, в виду слуха о близком открытии остались ждать. Он ушел и тотчас пришел Юрьев (у которого я сегодня обедаю), говорил то же самое. Долгорукий*) сегодня (25-го) уехал в Петербург и дал слово прислать телеграму из Петербурга о точном дне открытия памятника. Телеграму ждут не позже среды, 28, а может быть и завтра. Я решил так: остаться ждать телеграмы о дне открытия и если действительно открытие назначено между 1-м и 5-м Июня, то остаться. Если же позже, то уехать в Руссу 28-го или 29-го, об этом и сообщил Юрьеву. Главное, я все не могу узнать, где Золотарев[246]. Юрьев дал слово, что сегодня узнает и приедет мне скажет. Тогда я могу уехать даже и как депутат Слав. Благот. Общества, возложив присутствовать на торжестве на одного Золотарева. (Кстати: венки на памятник заготовляются на свой счет, а венок стоит 50 руб. (!). (*Далее зачеркнуто четыре строки*). Затем Юрьев начал приставать, чтоб статья была напечатана в Русской Мысли. Тут я высказал ему все, т.-е. что почти обещал Каткову. Он страшно взволновался и огорчился, извинялся, утверждал, что я его не так понял, что вышло qui pro quo, и когда я намекнул, что беру за мою работу деньги, то закричал, что Лавров определил мне заплатить за работу мою все, что я спрошу, т.-е. даже 400 или 500 руб.,— я и сказал Юрьеву, что я почти обещал статью Каткову именно имея в виду просить отсрочку

*) Вм. Долгоруков—ген.-губернатор Москвы.

Карамазовых именно по поводу того (перед публикой) что вместо Карамазовых явится статья о Пушкине. Теперь же, если я отдам в Р. Мысль, то выходит что я выпрошу у Каткова отсрочку именно с целью воспользоваться этой отсрочкой, чтоб работать на врага его Юрьева. (Представь таким образом в каком я положении! Но Юрьев сам виноват). Катков обидится. Правда Катков 400 руб. например не даст (да и 300 руб. дает лишь за Карамазовых, а за статью, пожалуй, и не дадут 300 р.), так что лишние сотни полторы от Юрьева окупили бы мое здесь промедление до открытия памятника. Одним словом хлопот и затруднений бездна. Как и что будет не знаю, но решил пока остаться до 28. Таким образом если не назначат открытия памятника до 5-го то 29-го или 30-го ворочусь в Руссу (постаравшись где нибудь поместить статью).—Ты же мне хоть что нибудь напиши немедленно (опять повторяю просьбу). Неужели же я так ни строчки от тебя не получу? Пиши непременно по тем адрессам, которые я вчера в письме (которые вместе с P. Scriptum этим получишь) назначил. Если хочешь телеграфируй. Юрьев рассказал, что сегодня множество лиц приходили к нему ругаться: зачем он скрыл от них вчерашний обед? Приходили даже 4 студента просить места на обед. Между прочим приходили Сухомлинов[247], который здесь, Гатцук[248], Висковатов[249] и другие. — Сейчас поеду по книгопродавцам. До свидания. Еще раз целую вас всех.

Твой Ф. Достоевский.

Юрьев имел уже статью Ив. Аксакова о Пушкине. Вот почему, вероятно, 3-го дня и отвиливал. Услышав же то что я вчера на обеде говорил о Пушкине вероятно решил что и моя статья необходима. Тургенев тоже написал статью о Пушкине[250].

150.

Гостинница Лоскутная на Тверской.
(№ занимаю 33-й).
Москва, 25/26 мая/80.

Милый друг мой Аня, вот и еще тебе письмо (пишу во 2-м часу ночи). Может-быть придет к тебе после моего приезда, (ибо все таки намерен выехать во вторник 27-го), но пишу тебе на всякий случай ибо обстоятельства так складываются что может быть я и еще на некоторое время останусь. Но по порядку. Сегодня 25-го в 5 часов приехали за мной Лавров и Ник. Аксаков и повезли меня в собственной коляске в Эрмитаж. Они были в сюртуках и я поехал в сюртуке, хотя обед, как оказалось, был именно устроен в честь меня. В Эрмитаже уже ждали нас литераторы, профессора и ученые, всего

22 человека. Юрьев с 1-го слова заявил мне в торжественной встрече что на обед рвались многие и что если-б только был дан сроку еще всего один день, то собрались бы сотни гостей, но устроили они слишком поспешно, а потому и боятся что когда узнают многие другие, то станут их упрекать что их не позвали. Было 4 профессора университета, один директор гимназии Поливанов [251] (друг фамилии Пушкиных), Иван Сергеевич Аксаков, Николай Аксаков, Николай Рубинштейн [252] (московский) и проч. и проч. Обед был устроен чрезвычайно роскошно. Занята целая зала (что стоило не мало денег). Утонченность обеда до того дошла, что после обеда за кофеем и ликером явились две сотни великолепных и дорогих сигар. Не по петербургски устраивают! Балыки осетровые в 1½ аршина, полтораршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой. Сказано было мне (с вставанием с мест) 6 речей, иные очень длинные. Говорили Юрьев, оба Аксаковы, 3 профессора, Николай Рубинштейн. За обедом получены были две приветственные телеграмы, одна от одного самого уважаемого профессора, выехавшего внезапно из Москвы. Говорилось о моем „великом“ значении как художника „всемирно-отзывчивого“ как публициста и русского человека. Затем бесконечное число тостов, причем все вставали и подходили со мной чокаться. Дальнейшие подробности при свидании. Все были в восторженном состоянии. Я отвечал всем весьма удавшеюся речью, произведшею большой эфект, причем свел речь на Пушкина. Произвело сильное впечатление.

Теперь одно пренесносное и затруднительнейшее дело: депутация от Любителей Р. Словесности была сегодня у кн. Долгорукого и он объявил, что открытие памятника последует между 1-м и 5-м числом Июня. Точного однако числа не обозначил. И вот все они в восторге, Литераторы дескать и некоторые депутации не разъедутся и хоть не будет музыки и театральных представлений, то все же будут заседания Словесности, речи и обеды. Когда же я объявил, что уезжаю 27-го, то поднялся решительный гам: „не пустим“! Поливанов (состоящий в Комиссии по открытию памятника), Юрьев и Аксаков объявили вслух, что вся Москва берет билеты на заседания и все берущие билеты (на заседания Люб. Р. Словесности) берут спрашивая (и посылая по нескольку раз справляться): будет ли читать Достоевский? И так как они не могли всем ответить в каком именно заседании буду я говорить, в первом или во 2-м,— то все стали брать на оба заседания. „Вся Москва будет в огорчении и негодовании на нас, если вы уедете“, говорили они мне все. Я отговаривался, что мне надо писать Карамазовых; они серьезно стали кричать о депутации

к Каткову просить отложить мне срок. Я стал говорить, что ты и дети будут беспокоиться, если я так надолго останусь, и вот (совсем не в шутку) не только предложили послать к тебе телеграму, но даже депутацию в Старую Руссу к тебе, просить тебя, чтоб я остался. Я отвечал что завтра т.-е. в понедельник 26-го решу.

Сижу теперь в страшном затруднении и беспокойстве: с одной стороны упрочение влияния моего не в одном Петербурге, а и в Москве, что много значит с другой — разлука с вами, затруднения по Карамазовым, расходы и проч. Наконец хоть „Слово" мое о Пушкине теперь уже непременно будет напечатано, но где,—ведь я почти что в субботу обещал ее Каткову. А стало-быть Любители и Юрьев будут в горе. А отдать им рассердится Катков. Думаю, пока непременно уехать, если не 27-го то 28-го или 29-го, когда от Долгорукого получен уже будет точный срок открытия. Может-быть до этого получения ответа придется выждать. С другой же стороны, опять таки Долгорукий говорит еще сам от себя, из Петербурга же точного срока пока не получил (да и сам кажется на несколько дней едет в Петербург), так что я, положим что остался бы до 5-го Июня, а вдруг получится повеление отложить еще до 10-го, или до 15-го, тогда все мне ждать? Завтра скажу Юрьеву, что уеду 27-го, но если останусь, то в случае каких-нибудь точных и серьезных обстоятельств. Во всяком случае теперь в ужасном беспокойстве. После обеда заезжал к Елене Павловне, но от тебя не нашел. Конечно еще рано из Руссы, но неужели и завтра не получу? С Еленой Павловной доехал к Машеньке Ивановой и рассказал ей, что обедал с Рубинштейном, была восхищена. Во всяком случае как получишь это письмо мое, непременно мне ответь: все равно если я выеду, то Елена Павловна перешлет письмо нераспечатывая, в Руссу. И потому непременно и сейчас же ответь. Адресс самый точный Елены Павловны: На Остоженке, в приходе Воскресенья, что на Остоженке, дом Дмитревской, с передачею Ф. М. Дос[тоевско]му. Если же захочешь телеграфировать, то телеграфируй или к Елене Павловне, или прямо ко мне, в гостинницу Лоскутную, на Тверской, также верно получу. (Письма же лучше адресуй на Елену Павловну).

NB. Я выбран в члены Общества Люб. Российской Словесности еще год назад, но прежний секретарь Бессонов [253], по небрежности, не уведомил меня о выборе, в чем мне и принесли извинение. Обнимаю тебя, дорогая моя, крепко, деток цалую, вижу странные и знаменательные сны по ночам.

Твой весь Ф. Достоевский.

На поле приписка:

А речь я сказал хорошо. Еще раз обнимаю тебя. Деток расцалуй, расскажи им о папе.

Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. Думаю все-таки настоять и выехать 27-го, правда тогда пожалуй речь не придется напечатать, ибо будет иметь значение не как речь, а как статья. Это надо обделать.

151.

Москва.
Гостинница Лоскутная, в № 33.
27 мая/80. 3 часа пополудни.

Милый друг мой Аня, опять новости. Когда я приехал меня тогда Юрьев и Лавров препроводили в гостинницу Лоскутную, и я тогда занял 32-й № за 3 руб. На другое утро явился ко мне управляющий гостинницей (еще молодой человек, имеющий вид образованного господина) и нежным голосом предложил мне перебраться в другой № напротив, 33-й. Так как № 33-й был несравненно лучше моего 32-го, то я тотчас же согласился и перебрался. Подивился только про себя как такой хороший № ходит по той же цене, т. е. по три рубля; но так как управляющий ничего не говорил о цене №, а просто просил перебраться, то я и заключил, что тоже в три рубля. Вчера, 26-го, я обедал у Юрьева и вот Юрьев вдруг говорит, что в Думе я записан в Лоскутной гостиннице № 33-й. Я удивился и спросил: почему знает Дума? — Да ведь вы же стоите на счет Думы, ответил Юрьев. Я закричал, Юрьев начал твердо возражать что я не могу иначе поступить как приняв от Думы помещение, что все гости стоят на счет Думы, что дети даже Пушкина [254], племянник Пушкина Павлищев [255], стоит в нашей гостиннице все на счет Думы, что отказавшись принять гостеприимство Думы я оскорблю ее, что это наделает скандалу, что Дума гордится, считая в числе гостей своих людей, как и я и проч. и проч. Я решил наконец что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания. Когда я воротился домой, то управляющий опять ко мне зашел спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне чего нибудь, покойно ли мне — все это с самой подобострастною вежливостью. Я тотчас же спросил его: правда ли, что я стою на счет Думы?—Точно так-с.—А содержание?—И все содержание ваше тоже-с от Думы.—Да я этого не хочу!—В таком случае вы оскорбите не только Думу, но весь город Москву. Дума гордится, имея таких гостей и проч. — Что мне

теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесется, войдет в анекдот, в скандал, что не захотел дескать принять гостеприимство всего города Москвы и проч. Потом вечером я спрашивал Лаврова и Юрьева, — и все удивляются моей щепетильности и прямо говорят, что я оскорблю всю Москву, что это запомнится, что об этом толки будут. Таким образом решительно вижу, что надо принять полное гостеприимство. Но за то как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в рестораны чтоб, по возможности, убавить счет, который будет представлен гостинницей Думе. А я то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает. Два раза спросил в конторе почтовые марки: когда представят потом счет Думе скажут: ишь обрадовался, даже марки на казенный счет брал! Так что я стеснен и иные расходы непременно возьму на себя, что, кажется, можно устроить. В результате: сколько бы я ни прожил в Москве, непременно не очень проживусь.

(NB. Получил вчера с Соловьева, с Кашкина и с Преснова [256] всего в сложности до 170 руб., счета увидишь сама, как приеду. Из Центрального Маг[азина] и от Морозовых еще не получил).

Вчера в четыре часа пополудни всем стало известно со слов Долгорукого (твердых слов), что открытие памятника последует 4-го Июня и что так настоятельно хотят в Петербурге. Окончательная телеграма от Долгорукого о точном дне открытия придет лишь завтра, но все здесь твердо уверены, что открытие будет 4-го. Получены, кроме того, об этом же письма из Петербурга. Депутации (множество) от разных городов и учреждений ждут и не разъезжаются. Господствует сильнейшее оживление. Меня решительно не пускают. Решил теперь что кажется непременно останусь и если открытие произойдет 4-го, то выеду отсюда в Руссу, стало-быть, 8-го и 9-го буду у Вас. Сейчас утром приходил Григорович [257] и приходил Юрьев, кричат: что отсутствие мое почтется всей Москвой за странность, что все удивятся, что вся Москва только и спрашивает: буду ли я, что о моем отъезде пойдут анекдоты, скажут, что у меня не хватило настолько гражданского чувства чтоб пренебречь своими делами для такой высшей цели, ибо в восстановлении значения Пушкина по всей России все видят средство к новому повороту убеждений, умов, направлений. 2 причины стоят у меня препятствием и мучают мою душу: 1-я Русский Вестник и принятая еще месяц назад обязанность доставить Карамазовых на Июньский №. Воротясь 10 Июня что я напишу в какие нибудь 10 дней? Любимов же 4-го дня ответил, что отсрочка дальнейшая, на Июль, зависит от Маркевича [258], если он что-нибудь доставит из своего романа, то можно отсрочить, а то так нет.

Ответ же от Маркевича получится не ранее 10 Июня. Таким образом я в неизвестности и в беспокойстве. Думал бы начать здесь Карамазовых, но в виду беспрерывной суетни, посещений и приглашений почти невозможно. 2-я причина меня мучащая это тоска по вас: ни одной-то строчки до сих пор не получил от тебя, а ведь уговорились, что ты будешь писать на адрес Елены Павловны! Что с тобой делается, скажи ради бога, почему не пишешь, здорова ли ты, целы ли здоровы ли дети? Если б ты что написала мне по поводу того: ждать или не ждать мне здесь открытия, я бы был спокоен. Ведь по газетам узнала же ты что скончалась императрица, как бы тут-то не написать, предвидя, что я непременно должен находиться в затруднении. Каждый день, вчера в дождь, езжу в ужасную даль к Елене Павловне справляться: нет ли письма? Туда и назад рубль извозчику.—Напиши, напиши непременно.

Но кажется решусь остаться наверно.

Воть хоть бы узнать наверно число, а то что если опять отложат! Вчера по настоятельному приглашению был на вечере у Лаврова. Лавров — это мой страстный исступленный почитатель, питающийся моими сочинениями уже многие годы. Он издатель и капиталист Русской Мысли. Сам он очень богатый неторгующий купец. Два брата его купцы, торгуют хлебом, он же выделился и живет своим капиталом. 33 года, симпатичнейшая и задушевная фигура, предан искусству и поэзии. На вечере у не[го] было человек 15 здешних ученых и литераторов, тоже некоторые из Петербурга. Появление мое вчера у него произвело восторг. Не хотел было оставаться на ужин, но видя что огорчу смертельно всех, остался. Ужин был как большой обед, утонченно приготовленный с шампанским. После ужина шампанское и сигары в 75 руб. сотня. (Обед 3-го дня был по общей подписке, весьма скромный, не свыше 3-х руб. с персоны, но всю роскошь, цветы, черепаший суп, сигары, залу — все это Лавров прибавил уже от себя). Воротился домой в 4-м часу. Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел, и даже может быть совсем сошел [259]. Приехал и Анненков [260], то-то будет наша встреча. — Надо мне опять повидать Каткова и Любимова чтоб еще уговориться, Юрьев же приезжал сейчас за статьей, умоляя непременно ее в Русскую Мысль. Золотарев приедет (получено известие). От вас только одних не получаю известия. Аня, ради Христа напиши по адрессам, какие я дал. Все ли письма от меня получила? До сих пор писал каждый день. Ты, Аня, любишь говорить люблю ли я тебя? А у самой обо мне тоски никакой а я об тебе тоскую. Что детки? Хоть бы капельку об них услышать. Шутка ли, почти еще две недели разлуки. До свиданья,

голубчик мой, цалую тебя крепко, детишек цалую и благословляю. Если будет что особенное напишу и завтра.

Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. В нашей гостиннице кроме меня стоят от Думы еще трое: Два профессора из Казани и из Варшавы и Павлищев, родной племянник Пушкина. Кланяйся батюшке.

152.

Москва.
Гостинница Лоскутная в № 33-м.
27—28. 2 часа пополуночи.

Милый друг мой Аня, наконец-то получил от тебя, сегодня вечером 5 строк карандашом от 24 числа. И вот я получаю только 27-го вечером! Долго же идет письмо. Ужасно обрадовался да и огорчился, ибо всего только 5 строк, да и то с „милым Федором Михайловичем". Ну да бог с тобой! Надеюсь получить впредь получше. Ты теперь уже все знаешь по моим письмам: кажется придется непременно остаться на открытие памятника. Вечером был у Каткова. Выслушав все (он уже и от других слышал как меня ждет „Москва")—он твердо сказал, что мне нельзя уезжать. Завтра будет телеграма от Долгорукого и будет назначен точный день открытия. Но все говорят про 4-е число. Если 4-го будет открытие, то выеду вероятно 8-го (если даже не 7-го) и 9-го буду в Руссе. К Каткову я заехал с целью получить отсрочку на Карамазовых до Июльской книжки. Он выслушал все очень дружественно (и вообще был до нельзя ласков и предупредителен как никогда со мной прежде), но об отсрочке не сказал ничего точного. Все зависит от Маркевича, т.-е. пришлет ли он продолжение своего романа. Я рассказал Каткову о знакомстве моем с высокой особой у графини Менгден [261] и потом у К. К. [262]. Был приятно поражен, совсем лицо изменилось. В этот раз я у него чаю не пролил, зато подчивал дорогими сигарами. Провожать меня вышел в переднюю и тем изумил всю редакцию, которая из другой комнаты все видела, ибо Катков никогда не выходит никого провожать. Вообще думаю, что с Р. Вестником дело как нибудь уладится. О статье же о Пушкине я не упомянул ни слова. Авось забудут, так что можно будет передать Юрьеву, с которого наверно получу денег больше. Мечтаю даже найти до 8-го числа капельку времени и приняться здесь за Карамазовых на всякий случай, только вряд ли это возможно.— Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало-быть и в России) буду впредь более известен как

писатель (т.-е. в смысле уже завоеванного Тургеневым и Толстым величия; Гончарова, например, который не выезжает из Петербурга, здесь хоть и знают, но отдаленно и холодно).—Но как я проживу без тебя и без деток это время? Шутка ли целых 12 дней, о детках сижу и мечтаю и все мне грустно. Воротилась ли бабушка? Как ты одна сидишь, не боишься ли чего, не тревожишься ли? Ради бога, пиши почаще и, если боже сохрани что случится, тотчас же телеграфируй. Кстати (и обрати внимание): впредь адрессуй мне все письма прямо ко мне в Гостинницу Лоскутную, на Тверской, Москва, Ф. М. Достоевскому, в № 33-м. А то что мне каждый-то день по вечерам ездить к Елене Павловне за твоими письмами? Во-первых, очень от меня далеко, а во-вторых — теряю время, так что если б случилось чем заняться (Карамазовыми) то совсем некогда. Да и надоем там. Сегодня ездил к ней от Каткова, получил твое письмо и застал у ней Ивановых, Машенька играла Бетховена очень хорошо. У нас дождички пополам с солнцем, и довольно ветрено и свежо. Машенька едет с Наташей [263] послезавтра в Дорово, а Ниночка остается. Ниночка дика и неразговорчива, ничего из нее не вытащишь, точно конфузится. Все живут подле Елены Павловны. Ну до свидания. Кажется все написал, что надо. Если завтра будет что нового, напишу и завтра, а если нет, то после завтра. О Льве Толстом и Катков подтвердил, что слышно он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было. Сегодня обедал в Московском трактире нарочно чтоб уменьшить счет в Лоскутной. Но рассудил, что Лоскутная, пожалуй, все-таки проставит в счете Думе что я каждодневно обедал. В Лоскутной утонченно вежливы, ни одно письмо твое не пропадет, и так как я ни в каком случае теперь уже не переменю гостинницу, то ты смело можешь посылать письма, адрессуя прямо в Лоскутную. До свидания, цалую вас „милая Анна Григорьевна“. Обними покрепче и погорячее деток, скажи что так папа велел.

Твой весь Ф. Достоевский.

Дети Елены Павловны при ней и очень милые.

153.

Москва.
Гостинница Лоскутная в № 33.
28—29 мая. 2 часа пополуночи.

Милая моя Аня, нового только то что пришла от Долгорукова сегодня телеграма об открытии памятника 4-го числа. Это уже твер-

до. Таким образом я могу выехать 8-го или даже 7-го из Москвы и уж разумеется, поспешу. Но остаться здесь я должен и решил что остаюсь. Дело главное в том что во мне нуждаются не одни любители Р. Словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский [264] и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Опонентами же им с нашей стороны лишь Иван Серг. Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуются. Мой голос будет иметь вес, а стало быть и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Уж когда Катков сказал: „Вам нельзя уезжать, вы не можете уехать"—человек вовсе не славянофил — то уж конечно мне нельзя ехать.

Сегодня утром в 12 часов, когда я еще спал, приехал ко мне с этой телеграмой Юрьев. Я при нем стал одеваться. В это время вдруг докладывают, что приехали две дамы. Я был не одет и послал спросить: кто такие? Человек воротился с запиской, что какая-то г-жа Илина хочет просить у меня позволения выбрать из всех моих сочинений места, подходящие к детскому возрасту и издать книжку для детского чтения. Каково! Да ведь эту мысль мы давно бы должны были с тобой сами исполнить и издать такую книжку для детей, которая непременно пойдет и даст может быть 2000 р. выгоды. Подари ей 2000 рублей — вот дерзость! Юрьев тотчас же пошел (так как он же по ветренности своей и направил ее ко мне) объяснить ей, что я отнюдь не согласен, принять же ее не могу. Он ушел и вдруг приехала Варвара Михайловна и не успела войти, как вошел Висковатов, узнав что у меня гости Варя тотчас убежала. Воротился Юрьев и объявил, что другая посетившая дама была сама по себе, фамилью не сказала, а объявила только, что пришла заявить свое беспредельное уважение, удивление, благодарность за все что я ей доставил моими сочинениями и проч. С тем однако и ушла, я ее не видал. Я посадил гостей за чай и вдруг вошел Григорович. Все они просидели часа два, и когда Юрьев и Висковатов ушли, Григорович остался не намереваясь уходить. Начал мне рассказывать разные разности за все тридцать лет, вспоминать старое и проч. На половину конечно врал, но было и любопытное. Затем в пятом часу объявил что разлучаться со мною не хочет и стал упрашивать меня вместе итти обедать. Мы пошли опять в Московский трактир где обедали долго, а он все говорил. Вдруг пришли Аверкиев и его супруга. Аверкиев подсел к нам, а Донна Анна объявила, что зайдет ко мне

(очень мне ее надо!). Оказалось, что подле нас обедают родственники Пушкина, два племянника его, Павлищев и Пушкин [265], и еще один какой-то. Павлищев тоже подошел и объявил что тоже ко мне придет. Одним словом мне как и в Петербурге не дают покоя. После обеда Григорович стал упрашивать меня ехать с ним в парк „подышать чистым воздухом", но я отказался, расстался с ним, воротился домой пешком и через 10 минут отправился к Елене Павловне за письмом. Но письма у ней не оказалось, а встретил только Ивановых. Машенька завтра уезжает. Просидел до 11 часов и воротился домой пить чай и писать тебе письмо. Вот весь мой бюлетень.

Главное скверно что письма наши ходят по три и по четыре дня. Уведомленная мною, что я возвращусь, ты конечно перестанешь писать ко мне ожидая меня 28-го, и когда-то еще дойдут до тебя вчерашнее и сегодняшнее письмо мое о новом решении! Боюсь что ты будешь в недоумении и беспокоиться. Но нечего делать. Худо только то что от тебя может быть не получу 2 дня писем, а я по вас изныл. Грустно мне здесь, несмотря на гостей и обеды. Ах Аня, как жаль, что не могло так устроиться (конечно, никак), чтоб и ты со мной приехала. Даже Майков говорят изменил решение и приедет. Будет много хлопот, надо являться в Думу в качестве депутата (еще не знаю когда) для получения билета на церемонию. Окна домов окружающих площадь отдаются в наем по 50 рублей за окно. Кругом устраиваются деревянные эстрады для публики тоже за непомерную цену. Боюсь тоже дождливого дня, чтоб не простудиться. На обеде в день открытия говорить не буду. В заседании же „Любителей" кажется буду говорить на 2-й день. Кроме того взамен театрального представления думают устроить чтение известными литераторами (Тургенев, я, Юрьев) произведений Пушкина по выбору (меня просят прочесть сцену инока-летописца и из Скупого рыцаря, монолог скупого). Кроме того, Юрьев, я и Висковатов прочтем по стихотворению на смерть Пушкина, Юрьев — Губера, Висковатов — Лермонтова, а я — Тютчева.

Время идет, а мне мешают. До сих пор не заехал за деньгами в Центр. Магазин и к Морозовым. Не был у Чаева [266], надо заехать к Варе, хотел бы тоже познакомиться с архиереями, Николаем Японским [267], и здешним викарием Алексеем [268] — очень любопытными людьми. Сплю не хорошо, во сне вижу только кошмары. Боюсь в день открытия простудиться и кашлять на чтении.

Со страшным нетерпением буду ждать от тебя письмеца. Что-то детки, господи. Как мне хочется их увидеть. Здорова ли ты, весела ли иль сердишься? Тяжело мне без вас. Ну до свидания. Завтра

к Ел. Павловне не поеду, обещалась сама прислать письмо, если будет. Обнимаю вас всех крепко, деток благословляю.

Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. Если что случится, телеграфируй в Лоскутную. Письма пиши в Лоскутную. Верно ли доходят мои письма? Вот беда если какое-нибудь пропадет!

154.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
Москва. 30 Мая/80.

Пишу тебе хоть письмо пойдет лишь завтра, милая Аня. Нового почти ничего. Предстоит только очень много хлопот и разных чиновничьих церемоний: являться в Думу, выхлопатывать билеты, где стоять и сидеть в празднестве и проч. А главное венки: их надо два, говорят их Дума же и выдает — за 30 р. оба. Глупо. А Золотарев не едет, но приедет, и я всю церемонию у памятника взвалю на него: В одном фраке и без шляпы можно простудиться.—Вчера утром были Аверкиевы, и приходили племянники Пушкина Павлищев и Пушкин, познакомиться. Затем ездил к Юрьеву (на счет всех этих билетов и церемоний), не застал дома. Обедал дома, а после обеда пришел Висковатов, изъяснялся в любви, спрашивал отчего я его не люблю? и проч. Все-таки был лучше, чем всегда. Кстати: передал мне, что Сабуров [269] (министр Просвещения) его родственник читал некоторые места Карамазовых буквально плача от восторга. В девять часов мы отправились к Юрьеву, опять не застали. Висковатов вдруг припомнил, что здесь Анна Николаевна Энгельгардт [270], и предложил к ней заехать. Мы поехали и прибыли в 10 часов, в гостинницу Дюссо. Она уже спала, но была очень рада и мы просидели час, говорили о прекрасном и высоком. Она приехала не на памятник, а для свидания с какими-то родственницами, а теперь больна: у ней распухла нога. Сегодня утром когда я спал был у меня Ив. Сергеевич Аксаков и не приказал будить. Затем ездил к Поливанову (секретарю общества, Директору Гимназии). Поливанов об'яснил мне все шаги в Думе и билеты, и откомандировал молодого человека мне помогать. Познакомил меня с семейством, сошлась целая ватага учителей и гимназистов, и мы пошли (в том же здании) рассматривать вещи и портреты Пушкина, которые пока хранятся в этой гимназии. Затем прийдя домой застал записку Григоровича, приглашающего к 6-ти часам обедать у Тестова. Не знаю пойду ли? Покаместь сел написать тебе мой бюлетень. В 8-м часу потянусь к Елене Павловне

за твоим письмом. (Вчера 29-го получил). Затем домой, и сяду за мою статью, которую надо подделать. Вообще житье гадкое, погода здесь прекрасная. Все-то здешние у себя дома, а я один в гостях. Вечером еще припишу.

30—31 Мая час ночи.

В трактире у Тестова Григоровича не нашел, воротился домой и обедал дома. Потом поехал к Елене Павловне; ее дома не застал, а дети ее сказали мне что письма от тебя не было.—Рассчитываю, что может-быть завтра будет от тебя письмо наверно. Сообразив теперь, понимаю, что по всем прежним письмам моим ты все заключала что я приеду 28-го. Но теперь уж верно ты получила и те письма где я колебался: остаться или нет, стало-быть уж теперь ответишь. Дурно то, что уезжая мы как-то не договорились, ибо ты могла бы мне все-таки, хотя и рассчитывая, что я ворочусь, писать на имя Елены Павловны, на всякий случай, чтоб не оставить меня в неведении о тебе и о детях. Рассчитываю тоже, что ко 2-му числу получу от тебя письмо уже прямо в Лоскутную. (Письма же на имя Елены Павловны, т.-е. прежние, ты конечно и прежде могла бы писать безбоязненно, ибо хоть я бы и уехал, все же бы их никто не распечатал и она переслала бы их обратно в Руссу). В Лоскутную же адрессовать ко мне для меня будет гораздо выгоднее, чтоб не ездить к Елене Павловне, потому что теперь скоро (со 2-го числа) наступит большая возня, надо будет рано вставать и весь день маяться, так что ездить к Елене Павловне даже и не нашел бы вовсе времени. Да и к тебе перестану писать подробные бюлетени, как теперь: не будет совсем времени. 3-го числа будет Дума принимать гостей, речи, фраки, клаки и белые галстухи. А там открытие, думский обед, затем 5-го и 6-го по утрам заседания, а вечером литературные чтения. Да 2-го вечернее заседание „Любителей“, где решат кому в какое время читать. Я кажется буду читать уже во 2-й день, т.-е. 6-го. Ездил к Морозову и в Центральный магазин. От Морозова получил всего 14 рубл., а в Центральном, хоть и сказали мне что ты писала к ним, чтоб мне выдали 50 руб., но просят отсрочки до 6-го или 7-го числа. Так как 7-го надо сверх того сделать прощальные визиты, а их много, то выеду разве только 8-го, с каким поездом уведомлю потом. Но 8-го постараюсь выехать наверно. Заезжал к Варе. Много мне рассказывала про своих внуков и спрашивала совета. Умная она и хорошая женщина.—Вечером кой-что успел просмотреть в рукописи. Что детки? Очень тоскливо по них, не слышно их голосочков. И все думаю не случилось ли у вас чего? Если что, боже сохрани, случится, непременно телеграфируй. До свидания, голубчик, Ах, кабы получить от тебя

хоть что-нибудь завтра! Обнимаю тебя и деток и крепко вас всех цалую. А Карамазовы-то, Карамазовы! Эх в какую суетню въехал! Но теперь все-таки озабочен открытием: партия у них сильная. Обнимаю тебя опять и опять.

Твой Ф. Достоевский.

Вчера сломалась днем моя золотая рукавная запонка, которую чинили, одна половинка осталась в рукаве рубашки, а другая должно-быть где-нибудь вылетела на улице.

155.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
Москва. 31 Мая/80. 1 час по полуночи.

Милая Аня, хотел было сегодня тебе не писать, потому что почти не об чем, но так как получил наконец твое письмецо (от 29-го) и так как действительно предстоят скоро дни, что за суетой ничего тебе писать не буду, или много что по две строчки, то и решился написать теперь. Очень рад что вы все здоровы, рад за деток и за тебя, и как будто тоска свалилась с сердца, хотя все-таки скучно. Неприятно мне что бабушка не подождет до моего приезда. Автограф Гоголя Аксаков мне обещал, хотя не знаю, успею ли теперь взять у него [271]. К тому же я перезабыл и смешал в голове все адрессы, так что надо опять справиться у Юрьева где кто живет. Сегодня заходил ко мне какой-то (забыл фамилью) математик и долго сидел в ресторане в читальной, ожидая когда я проснусь. Когда я проснулся он вошел и пробыл ровно 3 минуты, и даже не сел: зашел объявить о своем глубоком уважении, удивлении к таланту, преданности, благодарности, высказал горячо и ушел. Седоватый человек, пресимпатическое лицо. Затем посетил меня Лопатин [272], тот молодой человек, на которого возложил Поливанов хлопотать о моих билетах в Думе, о доставлении мне всех нужных сведений и проч. Я с ним разговорился и к приятному удивлению моему нашел в нем человека чрезвычайно умного, весьма мыслящего, чрезвычайно порядочного и в высшей степени моих убеждений. Одним словом весьма приятная встреча. Затем был Григорович, много врал и злословил. Там кажется действительно приготовляются что-то сказать нам в пику в заседаниях и на обедах. Григорович тоже депутатом от Литер. Фонда, в числе четырех: Тургенева, Гаевского [273], Краевского [274]. Всем выдал фонд по 150 р. на расходы. Наше только Славянское Общество не выдало ничего, да и не могло. Григорович жалуется что 150 р. мало. Действительно так, здесь деньги идут и хоть я и

мало здесь заплачу в гостиннице, но проживусь все-таки крепко: извощики, табак, особые расходы, покупка венков и проч. Кстати 2 обязательные венка приготовляет Дума за 30 р. с депутата за оба. Если Золотарев не приедет, то уж конечно я заплачу. Надо тоже купить запонки. Обедал в Московском трактире. Затем был у Елены Павловны и получил твое письмецо. Маня ее премилая девушка 20 лет и в гостях у них я заметил одного молодого доктора, интересовавшегося очень Маней. Затем с Висковатовым отправились к Ан. Ник. Энгельгардт, которая все сидит дома с больной ногой и застали у ней доктора, который говорит что болезнь довольно серьезна если чуть-чуть пренебречь. Затем воротились с Висковатовым домой пешком. Утром были две грозы и ливень, а теперь ночь прелестная. Ну вот и все пока мои похождения. Как-то я прочту мою речь? Аксаков объявил, что у него то же самое что у меня. Это дурно если мы так уже буквально сойдемся в мыслях. Как-то прочту потом на вечерних литературных чтениях сцену Пимена и Скупого Рыцаря и тоже (главное) на смерть Пушкина Тютчева? Любопытно как встречусь с Анненковым? Неужели протянет руку? Не хотел бы столкновений. Ну до свидания голубчик Аня. Расцалуй деток крепко, напомни им обо мне. Кланяйся Анне Николаевне, что она, хорошо ли съездила. Я-то неудачно. Надо бы зайти к Каткову. Прощай, обнимаю тебя крепко.

Твой весь Ф. Достоевский.

Деток благословляю.

P. S. [Оринька] [275] подле тетеньки играет с ней в карточки, где ему сюда.

156.

Гостинница Лоскутная в № 33.
Москва. 2—3 Июня/80 г. 2 часа ночи.

Милый дружочек мой Анечка, вчера вечером ездил к Елене Павловне за твоим письмом и ничего не получил, а сегодня пришло от тебя в Лоскутную 2 письма, одно в 4 часа пополудни, а другое вечером. Одним словом в Лоскутную повидимому скорее доходит чем к Елене Павловне. Как я рад, что Вы все здоровы и меня помните. Детишек крепко поцалуй за их славные приписки и непременно купи им гостинцев, слышишь Аня. Детям и медицина предписывает сладкое.—Про замечание твое что я тебя мало люблю, скажу что оно глуписсимо: Я только о тебе и думаю, да еще о детках. И во сне тебя вижу.—Здесь у нас опять была кутерьма. Вчера вдруг отложили опять празднество, но теперь уже твердо известно что открытие бу-

дет 6-го. Венки изготовляет Дума по 8 р. за венок, надо 2, закажу завтра. Золотарева нет. Поезд из Петербурга с разными депутатами на празднества прийдет только после завтра.—Теперь дальше: 3-го дня вечером было совещание [276] у Тургенева почти всех участвующих (я исключен) что именно читать, как будет устроен праздник и проч. Мне говорят что у Тургенева будто бы сошлись нечаянно. Это мне Григорович говорил как бы в утешение. Конечно я бы и сам не пошел к Тургеневу без официального от него приглашения; но простофиля Юрьев, которого я вот уже 4 суток не вижу, еще 4 дня назад проговорился мне что соберутся у Тургенева. Висковатов же прямо сказал что уже три дня тому получил приглашение. Стало быть меня прямо обошли. (Конечно не Юрьев, это дело Тургенева и Ковалевского, тот только спрятался и вот почему должно-быть и не кажет глаз). И вот вчера утром, только что я проснулся, приходят Григорович и Висковатов и *извещают* меня что у Тургенева составилась полная программа праздников и чтений вечерних. И так как-де позволена музыка и представление „Скупого рыцаря“ (актер Самарин [277]), то чтение Скупого рыцаря у меня взято, взято тоже и чтение стихов на смерть Пушкина (а я именно эти-то стихи и желал прочесть). Взамен того мне определено прочесть стихотворение Пушкина „Пророк“. От „Пророка“ я пожалуй не откажусь, но как же не уведомить меня официально? Затем Григорович объявил мне что меня просят прибыть завтра в Залу Благородного Собрания (подле меня) где будет окончательно все регламентировано. Они ушли и приходит Лопатин, молодой человек, прикомандированный от Поливанова (председателя Комиссии) руководить меня. Тот объявляет, напротив, что уже все регламентировано (значит моего мнения не спрашивали) меня же просят прибыть в Благородное Собрание уже на генеральную репетицию, с публикой, и главное с воспитанниками гимназий, (бесплатными) и репетиция главное устраивается для них, чтоб и они могли слышать. Таким образом я поставлен в прещекотливое положение: решено без меня, моего согласия на чтение *назначенных* мне сочинений не спрашивали, а между тем нельзя не быть на репетиции и не прочесть для молодежи; скажут Достоевский не хотел читать для молодежи. Наконец совсем неизвестно, в чем *прибыть* завтра: во фраке ли, так как публика, или в сертуке. Я был очень вчера недоволен. Обедал один, вечером заехал к Анне Николаевне, у ней сидел доктор (ее знакомый и даже родственник), я посидел полчаса и они оба меня проводили до Гостинницы. Сегодня утром опять зашли Григорович и Висковатов и Григорович стал приставать обедать всем троим вместе в Эрмитаже, а потом идти в сад Эрмитажа провести вечер. Они ушли и я поехал к Каткову, у которого дня три не был.

У него как раз застал Любимова, только что получившего письмо от Маркевича, который и обещает доставить роман на Июнь! Так что я с этой стороны могу быть спокоен. Это очень хорошо. У Каткова застал новости: он только что получил официальное письмо от Юрьева, как председателя Общ. Люб. Рос. Словесности (и которого Катков с незапамятных годов членом). Юрьев уведомляет что билет пригласительный на празднества был послан в Московские ведомости ошибочно и что совет „Любителей“ по устройству празднеств отменил это приглашение как несогласное с решением совета, так что приглашение надо считать не бывшим. Форма письма самая сухая и грубая. Меня уверял Григорович что Юрьева заставили это подписать, главное, Ковалевский, но, конечно и Тургенев. Катков был, видимо, раздражен. „Я бы и без них не поехал“, сказал он мне, показав письмо. Хочет все напечатать в Ведомостях. Это уж разумеется просто свинство, да и главное, что и права они не имели так поступать. Мерзость, и еслиб только я не ввязался так в эти празднества, то может-быть прервал бы с ними сношения. Резко выскажу все это Юрьеву.—Затем спросил у Каткова: кто здесь лучший зубной врач и он мне назвал Адельгейма на Кузнецком Мосту, сказав, чтоб я объявил Адельгейму, что прислал меня он, Катков. Пружинка моя совсем уже сломалась и держалась на ниточке. Съездил к Адельгейму и тот вставил мне новую за 5 руб. От него приехал домой и с Григоровичем и Висковатовым поехали в Эрмитаж, обедали по рублю. Между тем начался дождь. Чуть утихло мы вышли и уселись на одного извощика втроем до саду Эрмитажа. Дорогой поднялся дождик. Приехали в сад мокрые и спросили в ресторане чаю. Билеты же взяли рублевые с правом входа в театр Эрмитажа. Дождь не унимался. Григорович врал разные рассказы, затем пошли в театр уже на 2-й акт: шла опера Paul и Virginia, театр, оркестр, певцы — все недурно, только музыка плоха (в Париже выдержала несколько сот представлений). Прелестная декорация третьего акта. Не дослушав, вышли и отправились по домам. Я у себя в Лоскутной застал твое 2-е письмо. Чрезвычайно волнует меня завтрашняя репетиция. Григорович обещал за мной зайти чтоб ехать вместе. Немного промок. Я еще прежде с дороги простудил немного левую руку и она мозжит. Вчера утром заезжал к Архиерею викарию Алексею и к Николаю (Японскому). Очень приятно было с ними познакомиться. Сидел около часу, приехала какая-то графиня и я ушел. Оба по душе со мной говорили. Изъяснились, что я посещением сделал им большую честь и счастье. Сочинения мои читали. Ценят стало-быть кто стоит за бога. Алексей глубоко благословил меня. Дал вынутую просвирку. До свидания, голубчик, если можно будет, то напишу и завтра. Очень люблю тебя.

Деток крепко цалуй. Анне Николавне глубокий мой поклон, и сверх того поцалуй у ней за меня ручку. Твой весь без раздела.

Ф. Достоевский.

На первой странице приписка:

Но ты ошибаешься. Сны прескверные. Слушай: ты все пишешь о записке в дворянство. Во 1-х, еслиб и можно было, то мне некогда, а главное это дело надо делать из Петербурга, через людей. Лично все объясню тебе. Непременно сделаю в Петербурге. Здесь же все хлопоты ни к чему не послужат: я знаю твердо, убежден [278].

На второй странице приписка:

Был у Ивана Аксакова—на даче.—Чаев тоже на даче. К Муравьеву с'езжу, если найду время. Еще раз весь твой тебя любящий.

157.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
Москва. 3—4 Июня, Вторник, 2 часа по полуночи.

Милый мой голубчик Анечка, Сегодня опять получил дорогое твое письмецо и очень тебе благодарен, что не забываешь своего Федичку. Со времени частых твоих писем я решительно стал за вас спокойнее и благополучнее. Рад и за детишек. Сегодня утром пришел ко мне Лопатин и принес росписание дней и церемоний. Выдал ему 17 руб. заказать венки в Думе (2 венка). Золотарева нет. Затем приходил один присяжный поверенный Соловьев [279] отрекомендоваться, человек ученый, и явился лишь говорить о мистически религиозных вопросах. (Новое поветрие). Затем пришли Григорович и Висковатов, а затем и Юрьев. Мы страшно все напали на Юрьева за письмо его к Каткову и распекли его ужасно. Затем обедал в Московском трактире с Григоровичем и Висковатовым и там познакомился с актером Самариным, старикашка 64 лет, все говорил мне речи. Он будет играть на празднестве в честь Пушкина Скупого рыцаря в костюме (отбил у меня). В Московском трактире всегда очень полно и редко кто не оглядывается и не смотрит на меня: все знают что это я. Самарин рассказывал много анекдотов о Московской артистической жизни. Затем, прямо с обеда, поехали в общее заседание Комиссии „Любителей" для устройства окончательной программы утренних заседаний и вечерних празднеств. Были Тургенев, Ковалевский, Чаев, Грот [280], Бартенев [281], Юрьев, Поливанов, Калачев [282] и проч. Все устроили к общему согласию. Тургенев со мною был довольно мил, а Ковалевский (большая толстая туша и враг нашему направлению) все пристально смотрел на меня. Я читаю на второй день утренних заседаний

8-го Июня, а 6-го Июня вечером читаю на празднестве (разрешена музыка) сцену Пимена из Б. Годунова. Многие читают, почти все, Тургенев, Григорович, Писемский [283] и проч. На 2-й же вечер 8-го прочту 3 стихотв. Пушкина (2 из Западн. Славян и Медведицу) и в финале для заключения празднества — „Пророк" Пушкина,—маленькое, страшно трудное для чтения стихотворение, меня назначили нарочно в финале чтоб произвести эфект — не знаю произведу-ли? Ровно в 10 часов воротился домой и застал у себя 2 карточки Суворина [284], с надписанными строчками что придет в 10 часов. 2 карточки были ошибкой (склеились) и я подумав что он был уже и во второй раз но меня не застал, поехал в Славянский Базар (очень недалеко от меня) где он стоит и застал его с женою за чаем. Ужасно был рад. Он у Любителей за статьи свои на фербалте, как и Катков. Ему даже не дали билета на утренние заседания. У меня же был один билет (Варин), от которого она отказалась, и я предложил ему. Очень был рад. Уж даст он им знать потом. Сказал что здесь и Буренин [285]. Завтра условились быть у Чаева в Оружейной Палате где он нам все покажет в 1 час пополудни. Хотели прийти Григорович и Висковатов. Не знаю придут ли в Оружейную. С заседания же они в 10-м часу укатили в Эрмитаж и ужасно просили, чтоб и я приехал, но я пошел к Суворину. Суворин узнав что мы завтра в Оружейную упросил, чтоб и его с женой взяли, а затем стал просить, чтоб обедать вместе в Московском Трактире, он с женой, я, Григорович и Висковатов, а затем чтоб поехать в Эрмитаж. Он кажется бедный с женою скучает. На вечерних чтениях где билеты за деньги, он конечно будет. Репетиция чтений для воспитанников заведений отменена. После завтра, 5-го начинаются мытарства; надо всем депутатам во фраках являться в Думу и боюсь времени не будет тебе писать. Завтра же в нашу Лоскутную прибудет поезд Петербургских депутатов. 8-го все кончится, 9-го стало-быть сделаю визиты, а 10-го выеду—в котором часу напишу потом. Майков телеграфировал, что приедет. Полонский тоже. Ну вот и все моя радость. Таким образом жди меня 11-го числа и это кажется уж наверно. Суворин просит мою статью. Решительно не знаю кому дать и как это устроить. А вот пусть послушает меня на чтении.

Крепко обнимаю тебя моя Анька. Крепко цалую тебя за очень-очень и очень. Детишек цалую и благословляю. Ты пишешь, что видишь сны, а что я тебя не люблю. А я все вижу прескверные сны, кошмары каждую ночь, о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей богу. Страшно мучаюсь. Цалую тебя тысячу раз.

Твой весь Ф. Достоевский.

Поцалуй деток.

158.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
5 Июня/80 год. Москва. 8 часов по полудни.

Милая моя Анютка, милое письмецо твое от 3-го Июня получил сейчас и спешу написать тебе поскорее сколько успею. Нет, голубчик, не требуй теперь длинных писем, потому что и просто-то письма теперь будет вряд ли можно будет писать. Буквально, все время, все минуты теперь будут заняты, да и не достанет их, это наверно, на здешнее даже, не то что на письма. По порядку: Вчера утром я, Суворин, его жена, Буренин и Григорович были в Кремле, в Оружейной Палате, осматривали все древности, показывал смотритель (Оружейной) Палаты Чаев. Затем ходили в Патриаршую ризницу. Все осмотрев зашли в трактир Тестова закусить и остались обедать. Затем был на минутку у Анны Ник. Энгельгардт и разъезжал по мелким покупкам. Затем по условию отправились в сад Эрмитажа. Там уже были Суворины, Григорович и проч. В саду же встретил почти всех прибывших в эти дни из Петербурга депутатов. Множество всяких лиц подходили ко мне и не запомню кто: Гаевский, Лентовский [286], певец Мельников [287] и проч. Сидел и все время пил чай с Суворинами и с Бурениным и изредка с Григоровичем, который то подходил, то уходил. И вдруг разнеслась весть что праздник отложен. Распустил слух Мельников. Было 11 часов и я поехал к Юрьеву. Его не застал но застал его сына, и тот меня разуверил, что вздор. (Так и оказалось). Приехав домой принялся готовиться к чтению 6-го числа вечером. Это, Аня, дело бедовое. Представь себе, что открытие памятника будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится церемония и начнется акт в Университете (но ей богу не буду). Затем обед в Думе и в тот же день, вечером в 9 часов, я, усталый, измученный, наевшийся, напившийся, должен читать монолог Летописца— самый трудный к чтению, требующий спокойствия и обладания сюжетом. Чувствую что я еще не готов. Сверх того я почти начинаю вечер — самое неудобнейшее положение. Досидел до 4-х часов утра, и вдруг, сегодня в 10-м часу разбудил меня Золотарев, наконец, прибывший. Спал я всего $5^1/_2$ часов. За ним Федор Петрович Корнилов [288], за ними Лопатин с венками (венки стоят 14, а не 17 рублей но без лент). Ленты я навязал Золотареву, равно и завтрашние хлопоты. Таким образом за венки 14 рублей, выходит, заплачу один я. Правда Золотареву будут не меньше стоить дальнейшие аксессуары. В 2 часа поехали в Думу, все депутации (депутаций до 100 [289]) являлись к Ольденбургскому [290], и проч. Церемониал, суетня, беспорядок — не описываю слишком невозможно описать. Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина [291] (Нассаусской). Подходил ко мне Островский [292], здешний

Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев [293] и даже хромой Языков относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы. И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся. История исключения Каткова из празднеств возмущает ужасно многих. Пришел домой и обедал дома в надежде получить от тебя письмецо, ответить тебе, затем просмотреть Пимена и мою статью, затем приготовить рубашку фрак к завтрому, а затем пораньше лечь спать. Но пришел Гайдебуров [294] и вдруг затем Майков, а затем Висковатов. Майков приехал читать свои стихи. Ничего, мил, и обнюхивает воздух. Я с ними поговорил, но однако их выпроводил. Дописываю тебе эти строки. Золотарев не приходит, а эти венки у меня еще не прибранные. Утром давеча был у Вари. Завтра весь день до ночи занят. После завтра заседание Любителей, но в этом заседании я не читаю, и потому обед человек в 500 с речами, а может-быть и с дракой. Затем 8-го утром моя речь в Заседании Любителей, а вечером на 2-м празднике Любителей, между другими я читаю несколько стихотворений Пушкина а заканчиваю „Пророком". Ты пишешь чтоб я выезжал 8-го, а я только 9-го примусь делать визиты. Выеду 10-го и прибуду 11-го, да и то, если не задержат на лишний день, а это очень возможно. Но я тогда уведомлю. Выезжать же мне гораздо выгоднее с поездом в 1 час пополудни, чем с утрешним, ибо тут только одна ночь не спать, а с утрешним две, потому что ночь накануне я не буду спать или просыпаться в 6 часов. Письма же собственно о моих торжествах и писать нечего, ибо мой день 8-го числа, а 6-го я только Пимена прочту. Подумай, надо будет статью поместить. Хоть три претендента, но Юрьев что-то опять отлынивает, Катков после своей истории, станет пожалуй совсем равнодушным ко всему делу открытия, а Суворин пожалуй что и не повторит желания. Тогда плохо. А потому очень могу опоздать день. Давеча от Александрова получил 18-75 к. Заезжал к Варе и кажется совсем простился. Она уезжает к дочери на дачу.—До свидания голубчик, разумеется, 1000 вещей не успел написать, что упишешь в письме? Но теперь писем совсем, совсем писать некогда! Да и в эту минуту истощен и обессилен весь. А еще долго надо сидеть. А когда выспаться? Обнимаю тебя крепко на крепко, детишек цалую ужасно и благословляю.

Ваш весь Ф. Достоевский.

О любви писать не хочу, ибо любовь не на словах, а на деле. Когда то доберусь до дела? Давно пора.

Но хоть по нескольку строк все таки буду писать.

159.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
Москва, Июня 7-го/80 г. Полночь.

Милый мой дорогой голубчик Аня, пишу тебе наскоро. Открытие монумента произошло вчера, где же описывать? Тут и 20 листков не опишешь, да и времени ни минуты. Вот уже 3-ю ночь сплю только по пяти часов, да и эту ночь тоже. — Затем был обед с речами [295]. Затем чтение на вечернем литературном празднестве в благородном собрании с музыкою. Я читал сцену Пимена. Несмотря на невозможность этого выбора (ибо Пимен не может же кричать на всю залу) и чтение в самой глухой из зал, я, говорят прочел превосходно, но мне говорят что мало было слышно. Приняли меня прекрасно, долго не давали читать, все вызывали, после чтения же вызывали 3 раза. Но Тургенева, который прескверно прочел, вызывали больше меня. За кулисами (огромное место в темноте) я заметил до сотни молодых людей оравших в исступлении когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры claque, посаженные Ковалевским. Так и вышло: сегодня в виду этой клаки, на утреннем чтении речей Иван Аксаков отказался читать свою речь после Тургенева (в которой тот унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта), объяснив мне, что клакеры заготовлены уже давно и посажены нарочно Ковалевским (все его студенты и все западники) чтобы выставить Тургенева, как шефа их направления, а нас унизить если мы против них пойдем. Тем не менее прием мне оказанный вчера был из удивительных, хотя хлопала одна лишь публика, сидевшая в креслах. Кроме того: толпами мужчины и дамы приходили ко мне за кулисы жать мне руку. В антракте прошел по зале и бездна людей, молодежи и седых и дам бросались ко мне говоря: вы наш пророк, вы нас сделали лучшими когда мы прочли Карамазовых. (Одним словом я убедился, что Карамазовы имеют колоссальное значение). Сегодня выходя из утреннего заседания в котором я не говорил, случилось тоже. На лестнице и при разборе платьев меня останавливали мужчины, дамы и прочие. За вчерашним обедом две дамы принесли мне цветов. Некоторых из них я узнал по фамилии: Третьякова [296], Голохвастова [297], Мошнина и другие. К Третьяковой поеду после завтра с визитом (жена имеющего картинную галлерею). Сегодня был второй обед, литературный, сотни две народу. Молодежь встретила меня по приезде, подчивала, ухаживала за мной, говорили мне исступленные речи — и это еще до обеда. За обедом многие говорили и провозглашали тосты. Я не хотел говорить, но под конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я сказал лишь несколько слов,—

рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в другой зале обсели меня густой толпой — много и горячо говорили (за кофеем и сигарами). Когда же в $^1/_2$ 10-го я поднялся домой (еще 2 трети гостей оставалось), то прокричали мне ура, в котором должны были участвовать по-неволе и несочувствующие. Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извощика. И вдруг бросились целовать мне руки — и не один а десятки людей, и не молодежь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм. Майков здесь и был всему свидетелем, должно-быть удивился. Несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что завтра, на утреннем чтении, на меня и на Аксакова целая кабала. Завтра 8-го мой самый роковой день: утром читаю статью, а вечером читаю 2 раза, Медведицу и Пророка. Пророка намерен прочесть хорошо. Пожелай мне. Здесь сильное движение и возбуждение. Вчера на Думском обеде Катков рискнул сказать длинную речь и произвел-таки эфект, по крайней мере, в части публики. Ковалевский наружно очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других провозгласил мое имя, Тургенев тоже. Анненков льнул было ко мне, но я отворотился. Видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. 9-го визиты, и надо окончательно решиться кому отдать речь. Все зависит от произведенного эфекта. Долго жил, денег вышло довольно, но зато заложен фундамент будущего. Надо еще речь исправить, белье к завтраму приготовить. — Завтра мой главный дебют. Боюсь что не высплюсь. Боюсь припадка [298]. — Центральный магазин не платит, хоть ты что. До свидания голубчик обнимаю тебя, цалуй деток. 10-го вероятно выеду, и приеду 11-го к ночи. Готовься. Крепко вас всех обнимаю и благословляю.

Твой вечный и неизменный Ф. Достоевский.

NB. Письмо это должно быть будет последним.

160.

Гостинница Лоскутная в № 33-м.
Москва, 8-го Июня/80. 8 часов по полудни.

Дорогая моя Аня, я сегодня послал тебе вчерашнее письмо, от 7-го, но теперь не могу не послать тебе и этих немногих строк, хоть ужасно измучен, нравственно и физически, так что это письмо ты получишь может быть вместе с первым. Утром сегодня было чтение моей речи в Любителях, Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того

эфекта, [котор] какой произвела она! Что петербургские успехи мои!: ничто, нуль, сравнительно с этим! Когда я вышел зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты прося дать мне читать — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все от Карамазовых!) Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Все что я написал о Татьяне было принято с энтузиазмом, (Это великая победа нашей идеи над 25 летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: Гранд-дамы, Студенты, Государственные Секретари, Студенты — все это обнимало целовало меня. Все члены нашего общества бывшие на эстраде обнимали меня, и цаловали, все буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились, Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“ „Пророк, пророк!“, кричали в толпе [299]. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово [300] в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал, жать мою руку и цаловать меня в плечо. „Вы гений, вы более чем гений!“ говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт и вот, слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. Да, да! закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины Цаловали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил что Общество Люб. Рос. Словесности единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил что своей речи читать не будет, потому что все сказало и все разрешило великое слово нашего гения — Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили

Гостинница Лоскутная
в № 33мъ

Москва
8 Іюня/80
8 часов по полудни.

Дорогая моя Аня, я сегодня послалъ тебѣ вчерашнее письмо отъ 7го, но теперь не могу не послать тебѣ и этихъ немногихъ строкъ, хоть угадываю приблизительно, что это письмо ты получишь вмѣстѣ съ первымъ. Утромъ сегодня было чтеніе моей рѣчи въ Любителяхъ. Зала была набита биткомъ. Нѣтъ, Аня, нѣтъ, никогда ты не можешь представить себѣ и вообразить того эффекта, ~~какой~~ какой произвела она! Что петербургскіе успѣхи мои! Ничто, нуль, сравнительно съ этимъ! Когда я вышелъ, зала загремѣла рукоплесканіями и мнѣ долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, дѣлалъ жесты, прося дать мнѣ читать — ничто не помогало: восторгъ, энтузіазмъ (все отъ Карамазовыхъ!) Наконецъ я началъ читать: прерывали рѣшительно на каждой страницѣ, а иногда и на каждой фразѣ громомъ рукоплесканій. Я читалъ громко, съ огнемъ. Все что я написалъ о Татьянѣ было принято съ энтузіазмомъ. (Это великая побѣда нашей идеи надъ 25 лѣтіемъ заблужденій!) Когда же я провозгласилъ въ концѣ о всемірномъ единеніи людей, то зала была какъ въ истерикѣ, когда я закончилъ — я не скажу тебѣ про ревъ, про вопль восторга: люди незнакомые

между публикой толкотня, незнакомые обнимали другъ друга и клялись другъ другу быть лучшими, не ненавидѣть впредь другъ друга, а любить. Порядокъ засѣданія нарушился; все ринулось ко мнѣ на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — все это обнимало, цѣловало меня. Всѣ члены нашего общества, бывшіе на эстрадѣ, обнимали меня и цѣловали, всѣ, буквально всѣ плакали отъ восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдругъ, напримѣръ, останавливаютъ меня два незнакомые старика: „Мы были врагами другъ друга 20 лѣтъ, не говорили другъ съ другомъ, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы насъ помирили. Вы нашъ святой, вы нашъ пророкъ!"

„Пророкъ, пророкъ!" кричали въ толпѣ. Тургеневъ, про котораго я ввернулъ доброе слово въ моей рѣчи, бросился меня обнимать со слезами. Анненковъ подбѣжалъ жать мою руку и цѣловать меня въ плечо.
1) „Вы геній, вы болѣе чѣмъ геній!" говорили они мнѣ оба. Аксаковъ (Иванъ) вбѣжалъ на эстраду и объявилъ публикѣ, что рѣчь моя — есть не просто рѣчь, а историческое событіе! Туча облегала горизонтъ, и вотъ слово Достоевскаго, какъ появившееся солнце, все разсѣяло, все освѣтило. Съ этой поры наступаетъ братство

и не будемъ недоумѣвать? Да, да! кричали
всѣ и вновь обнимались, въ слезахъ. Зала въ
истерикѣ. Я бросился спасаться за кулисы,
но туда вломились изъ залы всѣ, а главное
женщины. Цѣловали мнѣ руки, мучили
меня. Прибѣжали студенты. Одинъ
изъ нихъ, въ слезахъ, упалъ передо мною въ
истерикѣ на полъ и лишился чувствъ. Полная,
полнѣйшая побѣда! Юрьевъ (предсѣдатель) —
зазвонилъ въ колокольчикъ и объявилъ, что Общество
Люб. Рос. Словесности единогласно избираетъ
меня своимъ почетнымъ членомъ. Опять
вопли и крики. Послѣ часу почти перерыва
стали продолжать засѣданіе. Всѣ было не
хотѣли читать. Аксаковъ вошелъ и объявилъ,
что свой рѣчи читать не будетъ, потому
что все сказано и все разрѣшило великое слово
нашего генія — Достоевскаго. Однако мы
всѣ его заставили читать. Чтеніе стало
продолжаться, а между тѣмъ составили
заговоръ. Я ослабѣлъ и хотѣлъ было уѣхать,
но меня удержали силой. Въ этотъ часъ
времени успѣли купить богатѣйшій, въ
2 аршина въ діаметрѣ лавровый вѣнокъ,
и въ концѣ засѣданія множество дамъ
(больше ста) ворвались на эстраду и
увѣнчали меня при всей залѣ вѣнкомъ: За
русскую женщину, о которой вы столько сказали
хорошаго! Всѣ плакали, опять энтузіазмъ.
Городской голова Третьяковъ благодарилъ меня
отъ имени города Москвы. — Согласись,
Аня, что для этого можно было остаться:
Это залоги будущаго, залоги всего, если я

далее к чему. — Кроме досадной [illegible]
твое письмо с [illegible], но оно [illegible]
так [illegible] о [illegible].
Через час поезд [illegible] на 2-й
[illegible]. [illegible]. [illegible]
[illegible]. Завтра вторник. Послезавтра
10-го поеду, 11-го приеду — если это очень
важное недоразумение. [illegible]
[illegible], не [illegible]! [illegible].
До свиданія, моя дорогая, милая
и безценная. Целую твои ножки [illegible]
[illegible] обнимаю детей,
целую, благословляю. Целую бесконечно.
[illegible] всех благословляю. Готовь всё в
порядке, [illegible]. До свиданія,
до близкого. Твой весь навсегда Д.

заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: „За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!“ Все плакали, опять энтузиазм. Городской голова Третьяков [301] благодарил меня от имени города Москвы.—Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги в с е г о, если я даже умру.— Прийдя домой получил твое письмо о жеребенке, но ты пишешь так неласково о том что я засиделся. Через час пойду читать на 2-м литературном празднестве. Прочту Пророка. Завтра визиты. Послезавтра, 10-го поеду. 11-го приеду—если, что о ч е н ь в а ж н о е не задержит. Надо поместить статью [302], но кому все рвут! Ужас. До свидания моя дорогая, желанная и бесценная, цалую твои ножки.— Обнимаю детей, цалую, благословляю. Цалую жеребеночка. Всех вас благословляю. Голова не в порядке, руки, ноги дрожат. До свидания, до близкого.

Твой весь наивесь Достоевский.

161.

С т а р а я Р у с с а 11 Августа/80 полночь.

Милый друг Аня, как то ты доехала? Хотелось бы получить от тебя поскорее хоть строчку. Как живешь? Где спишь? Где ешь? Что Дневник?— Проводив тебя мы с Федей оставили Любу с Соней, Анфисой и Марьей, все они пошли к батюшке, а мы с Федей на извощике (узнав от него про гулянье) отправились в Городской Сад, что на Красном берегу, рядом с Дворцовым Садом. Там было много народу, спускали шар и пели военные песельники. Федя очень слушал. Но так как было сыро, то мы рано воротились, зашли за Любой и затем дети полегли спать. Я ночь всю просидел. Встал в 12 часов. Детки уже ходили отправлять тебе письмо, ведут они себя очень хорошо. Федя пошел было ловить на берег рыбу, но я застав его над обрывом велел ему воротиться и он тотчас-же беспрекословно исполнил. У Лили все утро сидела Анфиса, потом все пошли к батюшке, а я гулять. Батюшка видимо принимает участие и беспрерывно зовет детей к себе, конечно чтоб меня облегчить. Федя теперь не отстает от Сергуши, у которого объявилось как-то ружье из которого можно стрелять горохом. С прогулки зашел за детьми, пообедали вместе, говорили о тебе и, „что то ты там“?— а после обеда дети опять отправились к батюшке. Я опять с прогулки за ними зашел. Дорогою Федя спрашивал

о тебе: „Папа, когда уехала мама, ведь вчера? Ну, так приедет она завтра? Или послезавтра?“ Воротясь домой, напились чаю и полегли, а я сел тебя писать. Вот и все наши происшествия. Одним словом все ладно и спокойно, дети ведут себя хорошо и хотят вести себя хорошо. Исполняют данное тебе слово. Погода восхитительная. У Феди совсем нет шляпы. Летняя вся разорвалась (Лиля зашивала ее) да и не по сезону, а от фуражки (очень засаленной) оторвался козырек. Хорошо еслиб ты привезла ему. В Гостинном Дворе, близь часовни в угловом игрушечном магазине были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю. Хорошо кабы ты поскорее воротилась. Должно быть устанешь. Боюсь что заболеешь. Выйдет-ли Дневник завтра? Сегодня в Нов. Времени второе объявление о Дневнике и ни слова в газете, хотя бы в хронике. Икни Гончаров, и тотчас закричали бы во всех газетах: Наш маститый Беллетрист икнул,—а меня, как будто слово дано, игнорируют. Я убежден что у Пантелеева какая нибудь задержка. Хоть бы поскорее. А за тем воротись и ты не мешкая долее. Поклонись Марье Николаевне и попроси ее по крайней мере до 25 Августа уведомлять почаще о ходе Дневника. Не надеюсь на хороший ход. Но впоследствии наверно разойдется. Ну до свиданья, до скорого. Напишу может быть еще раз завтра, на всякий случай. Только бы ничего не случилось с тобой! Много уж ты набрала себе комиссий. К этому письму завтра Лиля приложит и от себя, да и Федя что-то хочет нацарапать. Они же и снесут на почту. Теперь спят. Марья спит в комнате где рукомойник. Гарсон ночует на дворе. До свиданья, обнимаю тебя.

Твой весь Ф. Достоевский.

162.

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
Ф. М. Достоевского
(исключительно для иногородних)
С. П. Б. Кузнечный переулок, д. 5, кв. 10.

Старая Русса
12 Августа [1880 г.] Вторник.

Милый друг мой Аня, пишу тебя только несколько строк на всякий случай, хотя твердо надеюсь что это письмо тебя не застанет в Петербурге и что ты выедешь завтра т. е. 13-го. У нас все хорошо, и ровно ничего особенного не произошло. Дети здоровы и ведут себя хорошо. Получил сегодня твое письмо. Поместила ты много экземпляров, но как-то продадутся? А дай бог чтоб удалось хотя я все более и более теряю надежду [303]. Отчасти запоздали, надо бы месяц назад.—

Сегодня в Нов. Времени прочел телеграму из Нижнегор. Ярмарки что там удавился купец Зизерин, в своей пушной лавке, он Петербургский, Григорий Павлович, приехал на ярмарку. Наши шубы кажется хранятся летом у Зизерина (я впрочем не знаю). Если у Зизерина, то не у того-ли? Конечно он повесился от плохих дел. В таком случае не лишиться бы нам шуб. Если письмо тебя застанет в Петербурге, то не наведалась ли бы ты к Зизерину? До свиданья, голубчик, не знаю получу-ли от тебя что нибудь завтра, а очень бы хотелось. У нас здесь очень скучно. Погода прекрасная но холодноватая, а по ночам очень холодно. Ты поехала очень на легке. Не простудись.

До свиданья, дети тебя цалуют, и я тоже.

Твой Ф. Достоевский.

ПРИМЕЧАНИЯ

Письма Федора Михайловича к Анне Григорьевне печатаются с подлинников (автографов Ф. М.), находящихся среди других материалов личного архива Достоевского, полученного Центрархивом из Гохрана вместе с материалами о творчестве Ф. М. в ноябре 1921 г. Описание этих материалов дано в книге „Ф. М. Достоевский", вып. 1-й „Документы по истории литературы и общественности", М. 1923 г., см. предисловие: „Новые записные тетради Достоевского", стр. I — VIII, а также в ж. Центрархива „Архивное Дело", вып. 2-й, 1925 г., стр. 147—160.

Письма сохранялись Анной Григорьевной в особой клеенчатой сумке в одиннадцати бумажных пакетах размером в лист средней величины почтовой бумаги; на почтовой бумаге среднего качества написаны Ф. М. письма. На лицевых сторонах всех пакетов даны рукой Анны Григорьевны перечни помещенных в том пакете писем с указанием дат и общего количества писем в пакете. По пакетам письма распадаются так: в первом пакете сосредоточены автографы писем за 1866—1867 г.г.; во втором—автографы 1868, 1870 и 1871 г.г.; в третьем—1872 г.; в четвертом—письма 1873 г.; в пятом—письма 1874 г.; в шестом—письма 1875 г.; в седьмом—1876 г.; в восьмом—1877 г.; в девятом—1878 г.; в десятом—1879 г.; в одиннадцатом—1880 г.

Три письма (29 апреля 1867 г., 6 июля 1877 г., 16 августа 1879 г.) воспроизводятся по копии, сделанной Анной Григорьевной. Автографы писем отсутствуют, и даже на конвертах самой Анной Григорьевной сделаны пометы об их отсутствии („не нашлось"—и „нет"), но точность копии для нас вне сомнений, так как другие работы Анны Григорьевны убеждают в необычайной внимательности и пунктуальности ее, как переписчика.

Сняв с автографов этих писем копии, Анна Григорьевна или подарила кому-либо, или затеряла автографы, или предала уничтожению: пометы ее очень общи и определенного намека на судьбу автографов не содержат.

Печатаемые письма писались Ф. М. большею частию наспех, в нервном возбуждении, потому-то местами речь его отступает от обычных приемов расстановки слов. Знаки препинания часто опущены; иногда после запятой или двоеточия ставится заглавная буква; твердые знаки и окончания слов также нередко отсутствуют. При печатании все эти особенности Ф. М. по возможности соблюдены. Помимо небольших изменений и пропусков, зачеркнутых самим Ф. М. в момент писания, многое в тексте писем было вычеркнуто (заштриховано) самой Анной Григорьевной. Не только несколько слов или строк, а чаще целые тирады, по соображениям личного и семейного свойства, вымараны ей. Где удалось прочесть, текст зачеркнутых мест восстановлен и дан в первоначальном виде. Фамилию „Каткова" Ф. М. часто пишет, как „Котков"; мы решили сохранить всюду принятое позднее произношение и написание „Катков", хотя во время Достоевского равноправным было и „Котков".

Примечания к письмам представляют два пласта. Во-первых, имеются примечания, составленные Анной Григорьевной к письмам 1866—1872 г.г. (кончая письмом 9 окт. 1872 г.) в количестве 75 №№, и, во-вторых, примечания редактировавшего.

В основу первых 98 №№ примечаний положены примечания Анны Григорьевны. Примечания ее написаны чернилами в тетрадочке в восьмушку хорошего качества бумаги и имеют особое заглавие, которое нами сохранено.—Анна Григорьевна успела придать своей работе законченный вид, хотя местами есть недоделки. Так, в нескольких случаях внесены фамилии и имена, к которым намечено дать примечания, но самых сведений не дано. Или знаки сносок в тексте писем для предполагаемых примечаний поставлены, но примечания отсутствуют. Так, к словам о переговорах Ф. М. с Аксаковым в письме 2 янв. 1867 г. Анна Григорьевна поставила цифру примечания (№ 21), но самого примечания не написала. В примечаниях же под цифрой 21 введен неожиданный комментарий: „Милюков, Александр Петрович, писатель, друг Ф. М.". Потом, перечитав, Анна Григорьевна, очевидно, заметила несоответствие примечания с текстом, вычеркнула его черным

карандашом и надписала только одну фамилию „Аксаков“ и в таком виде оставила это место. Не в последовательном порядке расположены в рукописи примечания 40—44 №№.

Надо отметить уменье в составлении комментариев Анны Григорьевны. Возьмем для примера ее пояснения к имени Елены Павловны Ивановой. Краткое упоминание Ф. М. имени Елены Павловны Анна Григорьевна пояснила указанием на родственные отношения ее с родной Ф. М. семьей Ивановых; а сообщение Ф. М., намекающее на интимные отношения Елены Павловны к нему: „Елена Павловна в мое отсутствие вспомнила обо мне“, сопровождено обстоятельным пояснением, разъясняющим смысл этих слов (см. примеч. 5 и 9).

Некоторые факты, лица и события Анна Григорьевна—как лицо, близкое к ним—оставила без комментариев.

Мы даем к ним пояснения. Такие комментарии имеют одну цифру. Примечания же Анны Григорьевны имеют две цифры: первая из них обозначает порядковый номер в новом тексте, а вторая, помещаемая в скобках,—первоначальная цифра примечания в редакции Анны Григорьевны. Местами комментарии Анны Григорьевны пришлось дополнить. Примечания, составленные нами, мы поставили после текста примечаний А. Г. Достоевской.

Среди доставленных из Грузии материалов оказались в черновых, незаконченных редакциях воспоминания Анны Григорьевны и комментарии к письмам 1872 и 1874 г.г. в виде целых отрывков. Отрывки эти, озаглавленные самим автором как специальные примечания к письмам за эти годы, местами также недописаны, местами работа остановлена на полслове.— Мы их печатаем здесь, сохраняя заглавия и текст подлинника. В некоторых случаях мы внесли даты там, где автор забыл сделать справки. В тексте примечаний, как черновом, имеются варианты; из них мы удержали лишь наиболее значительные.

Примечания, сделанные А. Г. Достоевскою к письмам к ней Ф. М. Достоевского *)

К ПИСЬМУ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1866 г.

1. Базунов, Ал. Фед., книгопродавец, с которым Ф. М. имел денежные дела.

2. 5-ая глава — в последней части ром. „Преступление и Наказание“, которую я стенографировала [для чего приезжала к Ф. М. три—четыре раза в неделю].

2а. По поводу этого письма скажу следующее: На 9-е декабря приходились мои имянины, а также имянины моей матери, Анны Николаевны Сниткиной. По обычаю, у нас собирались в этот день родные и знакомые. Я очень приглашала Ф. М. приехать в этот день к обеду **). Кроме слабости после от недавнего припадка, следы которого не исчезли, Федора Михайловича стесняли незнакомые ему лица, которых он мог у меня встретить, а подобные встречи в его болезненном настроении были для него тягостны. Поэтому Ф. М. предпочел не приехать, а прислал поздравить имянинниц своего пасынка, Павла Александровича Исаева, который доставил мне это письмо и золотой браслет.

К ПИСЬМУ 29 ДЕКАБРЯ 1866 г.

3. В первый раз я увидела Ф. М. 4 октября 1866 года. 8 ноября того же года стала его невестою. Первая наша встреча произошла 4 октября 1866 г.

4. У Ивановых, т.-е. в семье Веры Михайловны Ивановой, своей любимой сестры.

5. Елена Павловна Иванова, belle-soeur Веры Михайловны.

6. С о н я—София Александровна И в а н о в а, в замужестве Хмырова, старшая дочь Ивановых; с нею Ф. М. был очень дружен и высоко ценил ее ум и литературность.

7. Ю н г е, Э. Ф., известный окулист, с которым Ф. М. был дружен. Когда Ф. М. рассказал ему о предстоящей женитьбе, то Юнге, узнав, что между Ф. М. и его будущею женою 25 лет разницы (мне только что минуло 20 лет, Ф. М. было 45) начал ему отсоветовать жениться, уверяя, что при такой разнице лет счастья в супружестве быть не может.

---

*) Заглавие принадлежит А. Г. Достоевской.

**) Первоначально было: „Звала я приехать Ф. М.“. Затем А. Г. переделала, вставив над строкой: „Я очень приглашала Ф. М. в этот день к обеду“.

9 (8). Елена Павловна Иванова была belle-soeur Веры Михайловны, т.-е. жена брата ее мужа. Вера Михайловна, желая счастия Федору Михайловичу, мечтала о том, чтобы он женился на Елене Павловне, когда скончается ее муж, многие годы больной и смерти которого ждали со дня на день. Ф. М., мечтавший о семейном счастии, склонялся на уговоры сестры, признавая многие достоинства Елены Павловны. Живя летом 1866 г. в Люблине в близи Москвы, в близи дачи Ивановых и встречаясь иногда с Еленой Павловной, Ф. М. спросил ее однажды, „пошла ли бы она за него замуж, еслиб была свободна?". Она не ответила ничего определенного и Ф. М. не считал себя с нею связанным никаким обещанием. Тем не менее Ф. М. очень тяготила мысль, что он, может быть, внушил ей надежды, которым не суждено осуществиться. Муж Елены Павловны умер в 1869 г. Сама она до конца своей жизни сохраняла как с Ф М., так и со мною и моими детьми, самые дружественные отношения.

10 (9). Любимов, Н. А., профессор, имевший большое значение в редакции „Русского Вестника".

11 (10). Масенька—Мария Александровна Иванова, вторая дочь Веры Михайловны, отличная музыкантша, ученица Николая Рубинштейна. Приезжая в Москву, Ф. М. останавливался у Ивановых и просил М. А. играть его любимые пьесы, особенно Hochzeitmarsch Mendelsohn Bartholdi, который она художественно исполняла.

12 (11). Федя—Федор Михайлович Достоевский, племянник Ф. М., сын Михаила Михайловича Достоевского.

13 (12). Юля—Юлия Александровна Иванова, третья дочь Веры Михайловны.

14 (13). Паша—Павел Александрович Исаев, пасынок Ф. М.

15 (14). Сашенька—Александр Александрович Иванов, старший сын Веры Михайловны.

16 (15). Хмыров—впоследствии зять Веры Михайловны Ивановой.

К ПИСЬМУ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1867 г.

19 (16). Леонтьев, П. М.—соредактор „Русского Вестника" (sic?).

20 (17). Александр Павлович Иванов—муж Веры Михайловны.

21 (18). Марья Сергеевна Иванчина-Писарева—подруга девиц Ивановых, очень остроумная девушка.

22 (19). Яновский, Степан Дмитриевич, доктор, старинный друг Ф. М.

24 (20). Майков, Аполлон Николаевич—знаменитый поэт. Он часто заходил к Ф. М. и заставал его диктующим мне роман „Игрок". Мне случалось беседовать с ним, и он произвел на меня чудесное впечатление своим умом и добротою.

27 (21). Над строкой: Аксаков... *Зачеркнуто:* Милюков, Александр Петрович, писатель, друг Ф. М.

К ПИСЬМУ ОТ 17 МАЯ 1867 г.

29 (22). Через два месяца после свадьбы, 14 апреля 1867 года, мы выехали за границу и на месяц поселились в Дрездене. Отсюда Ф. М. поехал в Гомбург, где в то время была рулетка. Я же осталась в Дрездене на попечении квартирной хозяйки.

30 (23). В. Латкин, Рейслер — это кредиторы, расплата с которыми очень тяготила Ф. М.

К ПИСЬМУ ОТ 18 МАЯ 1867 г.

31 (23). Маша—Мария Михайловна Достоевская—в замужестве Владиславлева. Ф. М. очень любил ее в детстве и тяготился происшедшею между ними ссорою, не имевшею никаких серьезных причин.

К ПИСЬМУ ОТ 21 МАЯ 1867 г.

32 (24). Ф. М. упоминает о статье „О Белинском". Писатель Бабиков, предпринимая издание какого-то сборника, просил Ф. М. написать статью и уплатил вперед 150—200 р. Ф. М. решил написать о Белинском. Закончил он ее в Дрездене и был ею доволен. Статья

эта была отослана А. Н. Майкову, который читал ее и очень хвалил в одном из своих писем к Ф. М. По словам А. Н. Майкова, статья была передана книгопродавцу Базунову, как этого желал Бабиков. Но куда она исчезла—неизвестно: Бабиков умер, а Базунов, за множеством дел, не помнил, кому ее передал. Очень жаль, что эта талантливая статья потеряна для публики, т. к. в ней Ф. М. высказал свой взгляд на литературную деятельность Белинского.

К ПИСЬМУ 5 ОКТЯБРЯ 1867 г.

33 (25). Сонечка. Ф. М. говорит о будущем нашем ребенке, который появился на свет в Женеве 22 февраля (5 марта) 1868 г. Но еще далеко (вар. задолго) до рождения дитяти мы решили назвать его, если родится сын—Мишей, в честь любимого брата, а если дочь—то Соней, в честь любимой племянницы, Софии Александровны Ивановой. Но Ф. М. почему-то думалось и желалось, чтобы была девочка. И в дальнейших письмах Ф. М. упоминает о своих еще не родившихся детях, как бы о существующих. Этим он как бы выражал свою нежную заботу и любовь к детям, которых всегда так желал иметь и появление на свет которых доставляло ему громадную радость и бесконечное счастье.

34 (26[1]). Считаю нужным, в объяснение письма от 5 октября 1867 г., сообщить, что в сентябре этого года мы приехали в Женеву, где и прожили до июня 1868 г. Из Женевы Ф. М. три раза (в октябре и ноябре 1867 г. и в апреле 1868 г.) ездил в Saxon les Bains, где в то время существовала рулетка. Я с ним не могла ездить, т. к. была „в интересном положении", а затем после рождения дочери Сони (*зачеркнуто*: ребенка) (2 февр. 1868 г.*) не могла оставить ребенка.

К ПИСЬМУ ОТ 17 НОЯБРЯ 1867 г.

35 (26[2]). Сонечка и Мишка. Ф. М. упоминает о будущем ребенке, не зная что будет (над строкой: появится на свет) мальчик или девочка, но ради шутки представляя будто у нас их зараз будет двое.

Далее говорит, что молится обо мне и об них, т.-е. опять о будущих детях.

К ПИСЬМУ ОТ 18 НОЯБРЯ 1867 г.

37 (27). Огарев, Н. А. **) поэт, друг Герцена. Огарев был очень дружен с нами и часто заходил к нам. Ко мне он относился с какою-то нежностью, именно как к девочке, какою я тогда и была. Это очень трогало Ф. М. Заем 300 франков у Огарева не состоялся, так как были получены небольшие деньги из Пет. от моей матери.

39 (28). Ф. М. говорит о заложенных моих платьях и бриллиантах. Эти вещи то закладывались, то выкупались и таким образом служили подспорьем в нашей полной денежных тревог жизни.

К ПИСЬМУ 4 АПРЕЛЯ 1868 г.

41 (29). Ф. М. говорит о двухстах рублях, которые А. Н. Майков обещал прислать в Женеву.

К ПИСЬМУ 4 АПРЕЛЯ 1868 г. ВЕЧЕРОМ.

42 (30). Ф. М. говорит о ром. „Идиот", который печатался в „Русском Вестнике" с января 1868 г.

43 (31). Ф. М. упоминает, что получил от Каткова авансом за ром. „Идиот" в течение года и 3-х месяцев (январь 1867 — апрель 1868 г.) 5060 руб. Деньги... (*фраза недописана*). В начале было получено от Каткова в январе и феврале 1867 г. две тысячи и они ушли на свадьбу и приготовления к ней (200 р.), на жизнь в течение 2-х мес. (400 р.) и уплату неотложных долгов. Затем мы поехали на пятой неделе поста в Москву и здесь Ф. М. просил Каткова дать еще 1000 р. для того, чтоб мы могли уехать за границу. Но

*) Ошибка в дате; должно быть 22 февраля. *Прим. ред.*
**) Ошибка в отчестве; Огарева звали Николаем Платоновичем. *Прим. ред.*

когда пришлось уехать, то оказалось, что без уплаты самых тяжелых долгов не обойтись, иначе опишут имущество и возьмут подписку о невыезде из города. Но уезжая, как мы предполагали, на 4—5 месяцев, нам следовало обеспечить на этот срок житье пасынка, брата Ф. М.— Николая Михайловича и семью брата Мих. Мих., а также незаконного сына М. М. — Ваню и его мать, Прасковью Петровну.

Когда мы с Ф. М. сосчитали предстоявшие нам расходы — мы ужаснулись: денег не хватало, а уехать хоть на время за границу было необходимо по многим и важным причинам, главным образом, ради здоровья и возможности поработать над романом, чего при нашей суетливой и шумной жизни было немыслимо. Ф. М. предстояла самая важная часть работы, особенно для него трудная, именно обдумывание, творение (создание) плана романа. Самое писание романа давалось ему сравнительно легко, но создание плана представляло для него большие трудности. Вся беда была в богатстве фантазии и в недовольстве автора тою формою, в которой он хотел выразить идею, положенную в основу романа. Планы романа появлялись (создавались) десятками, с очерками героев, с фабулой, а иногда с небольшими сценами. (По оставшимся записным книжкам Ф. М. видно, как зародилась в его уме известная идея, в каких формах она выражалась (развивалась) и что именно хотел выразить Ф. М. в каждом из своих героев своего романа. Словом, в записках виден весь ход творчества Достоевского.) Вот для этой-то работы Ф. М. и необходимо было полное уединение, которого достичь в Пет. было невозможно. Кроме того, у обоих нас было горячее желание остаться вдвоем, без той шумливой толпы родных и друзей, которая нас окружала и которая мешала нам наслаждаться нашим лучезарным счастьем, тем счастьем, которое мы испытали отчасти в незабвенные для нас три месяца, когда мы были с ним жених и невеста.

Предполагая, по словам Ф. М., что мы вернемся в Пет. в сентябре 1867 г. (а мы вернулись в июле 1871 г.) и желая во что бы ни стало уехать, я предложила, чтобы мы не оставляли за собой нанятой квартиры, а всю обстановку как его, так и мою заложили, а то, что нельзя было заложить — оставили у наших родных и знакомых на сбережение. Ф. М. было до нельзя тяжело решиться заложить данные мне в приданое вещи, но я упросила его и он после долгих колебаний согласился. [Вся мебель], вся библиотека Ф. М. (довольно обширная) была свезена к Емилии Федоровне Достоевской, у которой поселился пасынок, и также к ней же комод с иконами и другими портретами, альбомами и прочими мелкими вещами, служившими для украшения комнат. Дорогая посуда, привезенная мною из родительского дома, и состоявшая из чашек саксонского (*недописано*).

Всех вещей, моих и Ф. М. было заложено на сумму около 1000 р. Таким образом за год и 3 месяца мы имели в своем распоряжении около 6000 руб., считая с Катковскими. Из них на свадьбу пошло 200 р., на житье в Петербурге (3 месяца) — 600 р., поездка в Москву — 100 р. Наше житье за границей по 120—150 р. в месяц, считая с переездами, около 1600 р. Оставлено родным и выдавалось из высылаемых Катковым — 1200 р., % за вещи и уплата неотложных долгов—около 2000 р. Таким образом, по моему мнению, Ф. М., за все эти 15 месяцев и всю свою игру на рулетке, мог проиграть не более 500—600 р.

В другом месте своих воспоминаний, имеющихся в черновых редакциях в Центрархиве, А. Г. Достоевская говорит подробно в дополнение к этому именно примечанию об утрате ею всего почти имущества за время пребывания за границей. Она пишет: „В примечании № 31 к письму от 4 апреля 1868 г. вечер“ я говорила“... и продолжает: „Но всего обиднее была потеря библиотеки Ф. М., которую он собирал с такою любовью и уменьем и о которой постоянно вспоминал за границей. Некоторые книги были с автографами и посвящениями Ф. М. К нашему приезду ее не существовало. Пасынок объяснил, что, переселившись от Эмилии Федоровны, он странствовал по квартирам и что у него многое поворовали. Некоторые же книги ему самому пришлось продать, т. к. он нуждался в деньгах, несвоевременно получая их от Ф. М.“ (*Цитируем по рукописи*).

---

44 (32). Несмотря на то, что ром. „Преступление и Наказание“ имел чрезвычайный успех и Достоевский стоял на ряду с лучшими нашими писателями, Ф. М. продолжал получать по 150 руб. за лист. В 1874 г. Некрасов предложил Ф. М. написать в „Отечественные записки“ роман по цене 250 р. за печатный лист. Ф. М. решил узнать, не даст ли Катков ту же самую цену, т. к. он всегда был благодарен Каткову за помощь, им оказанную ко времени нашей свадьбы. К тому времени семья увеличилась, жизнь вздорожала и брать прежнюю цену стало немыслимо. Но Катков долго обдумывал, и Ф. М.

решил напечатать свой роман в „Отечеств. Записках". Только при напечатании ром. „Братья Карамазовы" Ф. М. стал получать из „Русского Вестника" по 300 р. за лист.

46 (33). Ролан... (*Анна Григ. отделила и место для примечаний к этому имени, как и к следующему, но пояснений не оставила.*)

47 (34). Жосселен...

48 (35). Ф. М. всегда горевал о том, что средства наши не позволяют мне одеваться хорошо, а имеющиеся вещи всегда находятся в закладе, а потому одной (?) из мечтаний его при получке денег—было заказать мне что либо новое, но, увы, к его искреннему сожалению (я принимала довольно равнодушно, т. к. и впоследствии, при увеличившихся средствах, мало думала о нарядах)—эти мечтания редко осуществлялись.

49 (36). Жозефина — нянька нашей Сони, очень ее любившая.

50 (37). Мамаша—моя мать, Анна Николаевна Сниткина. Она приехала в Женеву к крестинам нашей Сони в мае 1868 г. и пробыла с нами (с некоторыми перерывами) по июль 1871 г., то-есть до возвращения нашего в Россию.

К ПИСЬМУ 29 АПРЕЛЯ 1870 г.

51 (38). Иван Григорьевич Сниткин — мой родной брат. Он был студентом Сельско-Хозяйств. Академии в Петровско-Разумовском и жил вместе с студентом Ивановым, тем самым, который был убит Нечаевым. Ему было лет 19 и он, как и я в его годы, был совершенный ребенок. Зная из его писем ко мне в какой среде он вращается, Ф. М. посоветовал моей матери вызвать его к себе в Дрезден погостить. Сделано это было также и ради меня, так как я была очень дружна с братом и, пробыв около трех лет за границей, очень тосковала по родине и по брате. Да и маме моей Ф. М. хотел доставить удовольствие. Брат мой приехал в начале 1870 г. и хотел скоро вернуться, но случилась Нечаевская история, Академию закрыли, а потому мой брат остался в Дрездене года полтора или более. Жил он отдельно от нас, но каждый день нас навещал. Несмотря на разницу лет, Ф. М. очень сошелся с ним, любил и уважал его и очень жалел о его несчастно-сложившейся жизни.

К ПИСЬМУ 1-го ФЕВРАЛЯ 1871 г.

53 (39). Господин NN — это будущий наш ребенок, родившийся 16 июля 1871, первый наш сын — Феодор.

К ПИСЬМУ 28 АПРЕЛЯ 1871 г.

54 (41). „Schreiben Sie mir" — в телеграмме были условные слова между мною и Ф. М., которые обозначали, что Ф. М. проиграл и что я должна перевести ему деньги. Сумма была заранее обусловлена. Ф. М. чрезвычайно уважал и любил мою мать. Предвидя ее неодобрение по поводу игры на рулетке при тех обстоятельствах, в которых мы находились, Ф. М. сказал ей, что поедет во Франкфурт по одному литературному делу. Возможно, что моя мать догадалась о цели его поездки, но сделала вид, что верит его словам.

55 (44). Ф. М. придавал значение снам. Очень тревожился он, когда видел во сне брата Мишу и в особенности своего отца. Сновидение предвещало горе или беду и я была несколько раз свидетельницею тому, что вскоре (дня 2—3 спустя) после подобного сновидения наступала чья-либо болезнь или смерть в нашей семье, доселе здоровой, тяжелый припадок с Ф. М. или какая-нибудь материальная беда. К счастью, на этот раз ничего с нами не случилось.

56 (42). Не могу сказать, кто был тогда священником в Висбадене (*зачеркнуто*: Гомбурге) (да и была ли там в те времена церковь), но мне почему-то не хотелось, чтобы Ф. М. посетил его а, главное, просил взаймы на отъезд, а потому я просила Ф. М. к нему не ходить, что он и исполнил.

57 (40). Слова Ф. М.: „исчезла гнусная фантазия мучившая меня почти 10 лет" и что „проигрыш" был „в полне последний раз" на самом деле оправдались. Хоть Ф. М. впоследствии и ездил за границу, в Эмс, несколько раз, но уже никогда более не играл на рулетке.

58 (43). Стелловский издал в наше отсутствие 4-й том П. С. Сочинений (ром. „Преступление и Наказание“) и обязан был уплатить нам около 1000 руб. Но т. к. он был отъявленный плут, то деньги эти пришлось с него получить судом несколько лет спустя, кажется в 1875 или 1876 г.г.

К ПИСЬМУ 29 АПРЕЛЯ 1871 г.

61 (45). Иван Григорьевич — мой брат, у которого Ф. М. предполагал взять взаймы 4000 руб. Эти деньги достались Ив. Гр. после отца и он давно предлагал их Ф. М., но до совершеннолетия сам не мог их получать. Но в этом же году осенью Иван Григорьевич увез из Дрездена свою будущую жену, Ольгу Кирилловну, в Вену и тайком обвенчался с нею у Греческого Митрополита. Увоз и тайное венчание стоили громадных денег, так что он мог ссудить нас лишь небольшою суммою. Чтобы рассеять опасенья матери своей будущей жены И. Гр. решился уехать на 2—3 мес. в Россию и хотел поселиться в Царск. Селе у товарища.

62 (46). Роман, о втором издании которого говорит Ф. М., был ром. „Бесы“, печатавшийся в „Русском Вестнике“ в 1871.

К ПИСЬМУ ОТ 2-го ЯНВАРЯ 1872 г.

64 (47). Аверкиев, Д. В.—писатель.

65 (48). Верочка — Вера Михайловна Иванова, сестра Ф. М.

66 (49). Поляков, Б. Б.—один из кредиторов.

67 (50). Г-жа Гинтерлях — тоже кредиторша.

68 (51). Саша Карепин — Александр Петрович Карепин, доктор, племянник Ф. М., сын его сестры, Варвары Михайловны.

69 (52). Плещеев, А. Н.— поэт.

70 (53). Чаев — писатель.

71 (54). Редакция журнала „Беседа“, куда Ф. М. просили поместить роман.

К ПИСЬМУ ОТ 4-го ЯНВАРЯ 1872 г.

72 (55). Отрывок из ром. „Бесы“ (исповедь Ставрогина), доселе нигде ненапечатанный *).

74 (56). Ольга Кирилловна—жена моего брата, Ивана Григорьевича.

К ПИСЬМУ 27 МАЯ 1872 г.

75 (57). Рохель, А. А. Доктор, Директор Старорусских Минеральных вод.

76 (58). Шенк — Старший Военный врач, приезжавший с солдатами.

77 (59). Как оказалось, Ф. М. искал белья не в том сундуке (их было несколько).

К ПИСЬМУ ОТ 28 МАЯ 1872 г.

78 (60). Румянцев, отец Иоанн, священник, хозяин нашей дачи.

79 (61). Иван Смелков, протопоп, родственник М. И. Владиславлева, чрез которого мы наняли дачу в Руссе.

81 (62). Деньги. Уезжая в Петербург, мы оставили о. Румянцеву 25 руб. на всякие расходы. 21 р. он возвратил.

К ПИСЬМУ ОТ 30 МАЯ 1872 г.

82 (63). Марья Григорьевна Сватковская, моя родная сестра, умершая 1-го мая в Риме от возвратного тифа.

*) См. далее примеч. 72 на стр. 331. *Прим. ред.*

К ПИСЬМУ ОТ 3 ИЮНЯ 1872 г.

84 (64). Александра Михайловна Голеновская, по второму мужу Шевякова—сестра Ф. М.

К ПИСЬМУ ОТ 5 ИЮНЯ 1872 г.

85 (65). Барч, Иван Мартынович, хирург, делавший операцию над ручкой нашей дочери.

86 (66). Глама, доктор, помощник И. М. Барча.

К ПИСЬМУ ОТ 8 ИЮНЯ 1872 г.

87 (67). Сниткин, М. Н., доктор, мой двоюродный брат.

К ПИСЬМУ ОТ 9 ИЮНЯ 1872 г.

88 (68). Михаил Николаевич Сниткин, доктор.
(Владиславлевская люлька, принадлежавшая М. М. Владиславлевой, племяннице Ф. М.)

К ПИСЬМУ ОТ 12 ИЮНЯ 1872 г.

89 (69). В Фонарном переулке находилась квартира М. Н. Сниткина, у которого я поселилась.

К ПИСЬМУ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1872 г.

92 (70). Елена Павловна Иванова, родственница В. М. Ивановой. По смерти мужа она в течение нескольких лет имела меблированные комнаты, которые ей мало приносили, благодаря ее деликатности. Ф. М., желая поддержать ее предприятие, почти всегда останавливался в ее меблированных комнатах.

94 (71). Веселовский—московский адвокат.

95 (72). Перов, В. М.—знаменитый художник.

96 (73). Третьяков—владелец картинной галлереи.

97 (74). Сонечка—Софья Александровна Иванова, племянница Ф. М.

98 (75). Машенька—М. А. Иванова, племянница Ф. М.

Примечания редактора

К ПИСЬМУ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1866 г.

1. До 1870 г. Базунов имел в Петербурге книжную лавку, которую по расстройству дел закрыл. В это время Базунов издавал вместе с Э. Працем и Я. Вейденштраухом роман Ф. М. „Преступление и Наказание“ (1867 г., в шести частях, с эпилогом, 2 тома, изд. исправленное). В 1871 г. Базунов издает „Вечного мужа“ в серии „Библиотека современных писателей“, а раньше, в 1862 году—„Записки из Мертвого дома“.

2а. Федор Мих. запоздал с романом и должен был спешить с окончанием к сроку, ввиду настойчивого требования издателя Стелловского. Вот почему Ф. М. и обратился к Ольхину за услугами стенографа, каким явилась Анна Григорьевна. „Игрок“ вошел в III том собр. соч., изд. Ф. Стелловским в 4 т. т. СПБ. 1865—1867 г. г.

К ПИСЬМУ 29 ДЕКАБРЯ 1866 г.

4. Семья Веры Михайловны (р. 1829 г.), бывшей замужем за врачом Константиновского Межевого Института Александром Павловичем Ивановым (1813—1868), была родной семьей для Ф. М. Эту семью Ф. М. изобразил в „Вечном муже“ под фамилией Захлебининых (ср.

воспоминания Н. фон-Фохта. „Истор. Вестн.“, 1901, XII). Здесь он проводил не раз и очень приятно для себя время. Среди молодых членов семьи у него были близкие друзья, напр., старшая дочь Соня (см. о ней ниже, прим. 6).

6. Письма Ф. М. к Софье Александровне опубликованы ею в „Русск. Старине“ за 1885 г., июль, стр. 137—166.—В письмах своих, очень дружественных по тону, Ф. М. высказывался о ходе своих работ над романом „Идиот“, о замысле „Атеист“, о „Вечном муже“, писанном для „Зари“, и о „Бесах“. Много в письмах личных и семейных подробностей, ценных для биографа. Софья А. была в замужестве за Дм. Ник. Хмыровым.

8. Катков, Михаил Никифорович (1818—1887)—сначала профессор философии в Московск. Университете, затем публицист-консерватор, редактор и издатель газеты „Московские Ведомости“ и реакционного, но очень авторитетного в свое время журнала „Русский Вестник“. Катков в 70—80-е годы имел значительное влияние на внутреннюю политику. В журнале Каткова Ф. М. Достоевский печатал романы „Преступление и Наказание“, „Идиот“, „Бесы“, „Братья Карамазовы“. Катков поддерживал Ф. М. материально, выдавая авансом крупные суммы, когда Ф. М. был в ссылке после каторги, и в последующие годы. Сущность дела, из-за которого так волновался Ф. М., изложена им самим в следующем письме 2 янв. 1867 г.—Ф. М. намерен был вступить в брак с Анной Григорьевной и на расходы для этой цели решил просить у Каткова аванс в 3000 рублей. Письма Ф. М. к нему немногочисленны, опубликованы в 14 книге „Былое“, 1919 г., и недавно очень ценные для изучения творчества Д. над романом „Преступление и Наказание“ опубликованы И. И. Гливенко в ж. „Красный Архив“, т. IV, 1923, 365—375.

10. Любимов, Николай Алексеевич, умер в 1897 году. Письма Федора Мих. к нему за ряд лет, преимущественно делового характера, опубликованы Б. М. Модзалевским в „Былом“, 1919, кн. 14 и 1920, кн. 15.

14. Паша — сын первой его жены, Марьи Дм. Исаевой, урожд. Констан, от ее первого брака. Павел Александрович Исаев (р. 1847—жив. в 1881 г.), любимый Ф. М., доставлял много огорчений, беспокойства и денежных затрат своему вотчиму,—особенно тяжелым испытанием был для Анны Григорьевны. В своих воспоминаниях она неоднократно говорит о той тяжелой для нее моральной борьбе, какую она должна была вести с ним из-за его расточительности и эксплоатирования им доброты Ф. М. По словам Анны Григорьевны, Ф. М. представил его в образе молодого человека, одного из героев „Вечного мужа“ (см. примеч. А. Г. к соч. Д. в сб. „Творчество Достоевского“ под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса 1921 г.). Письма к нему Ф. М. см. в „Сев. Вестнике“ 1891, №№ 10 и 11 и сб. „Ф. М. Достоевский“, статьи и материалы под ред. А. С. Долинина, Петерб. 1922, стр. 449—450.

16. Хмыров, Дмитрий Николаевич (род. в 1847 г.), муж Сонечки — Софьи Александровны, по профессии—учитель математики.

17. Мамаша—мать Анны Григорьевны, Анна Николаевна Сниткина, урожденная Мильтопеус, сконч. 15 июля 1893 года, жена Григория Ивановича Сниткина (1799—1866). Любовь Федоровна в своих воспоминаниях пишет: „Моя бабушка с материнской стороны Мария-Анна Мильтопеус была шведкой из Финляндии. Она утверждала, что ее предки были англичанами, но должны были покинуть свою родину в XVII веке вследствие религиозных преследований. Они поселились в Швеции, женились на шведках и переехали позже в Финляндию, где приобрели поместье. По-английски их звали, вероятно, Мильтон или Мильтоп, ибо окончание „ус“ является шведским прибавлением. В Швеции существовал обычай, согласно которому ученые люди — пасторы, писатели, ученые, врачи, профессора—прибавляли это окончание к своей фамилии“ (стр. 48).

18. Братцем Ф. М. назвал, очевидно, брата Анны Григорьевны—Ивана Григорьевича Сниткина (1849—1887).

К ПИСЬМУ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1867 г.

19. Леонтьев, Павел Михайлович, известен как ученый филолог и педагог (1822—1874), поклонник Шеллинга, лекции которого он слушал за границей, уехав туда по окончании курса на словесном отделении М. Университета. Сторонником Шеллинговой „философии мифологии“ он заявил себя в своих ученых трудах. Ценным вкладом в науку были в свое время изданные Леонтьевым „Пропилеи. Сборник статей по классической древности“ (М. 1855 — 1857; 2 изд., М. 1869 г.). С 1856 г. он тесно примыкает к Каткову, принимая деятельное участие в журнале „Русский Вестник“. На Каткова, с которым у него была идейная близость, Леонтьев всегда оказывал

очень сильное влияние. Влиянию Леонтьева Д. приписывал отказ журнала Каткова напечатать в 1859 г. его повесть „Село Степанчиково"; в письме брату 9/X/59 г. Ф. М. говорит прямо, что Леонтьев всем журналом управляет и держит Каткова в руках. Позднее Леонтьев увлекается педагогической деятельностью, работая в Лицее. Письма Д. к Леонтьеву за 1866—1881 г.г. опубликованы Б. Л. Модзалевским в ж. „Былое", 1919, кн. 14 и 1920, кн. 15.

21. Марью Сергеевну Иванчину-Писареву Ф. М. изобразил в лице Марьи Никитичны в „Вечном муже", как указала Анна Григорьевна в своих примечаниях к соч. Д.—см. сб. „Творчество Достоевского", ред. Л. П. Гроссмана, стр. 31.

22. Яновский, Степан Дмитриевич — военно-медицинский инспектор Моск. военн. округа, автор воспоминаний о Ф. М. Достоевском (напеч. в „Русск. Вестнике", 1885, 4). Знакомство Яновского с Достоевским произошло в 1846 году при участии Вал. Ник. Майкова и перешло во взаимную дружбу. Из писем Достоевского к нему опубликовано пока единственное письмо 4 февр. 1872 г. В этом письме Достоевский обращается к нему, как к одному из „незабвенных", к одному „из тех, которые резко отозвались в моей душе и с именем вашим связаны мои воспоминания" (Биография, Письма, т. I, стр. 315). В своих воспоминаниях С. Д. Яновский не совсем точен. Он, напр., решительно заявил, что Ф. М. „в карты не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре и ненавидел игру". Публикуемые письма вносят существенную поправку, свидетельствуя об увлечении Д. в известный период „азартной игрой".—Яновский был женат на артистке Моск. Малого театра, Александре Ивановне Шуберт, оставившей свои „записки" о пережитом и виденном.

23. Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886), известный публицист-славянофил; в 1867—1868 годы издавал газету политическую, экономическую и литературную под названием „Москва". Достоевский участия в газете Аксакова не принимал.

24. Дружеские отношения Д. с Аполлоном Майковым начались, когда Д. было 22 года, т.-е. с 1843 года. Продолжались эти отношения и позднее, когда братья Майковы участвовали в „пятницах" Петрашевского и когда с 1847 года они перестали бывать на „пятницах", не порывая близких отношений, установившихся с некоторыми членами кружка петрашевцев, в том числе и с Ф. М. Достоевским. В ответе на вопрос Следственной Комиссии о наиболее близких людях Д. прежде всего назвал семью Майковых. Во время пребывания Д. за границей в 1867—1871 г.г. Ап. Н. Майков был лицом, связующим с родиной: ему Д. писал подробности о своей жизни и работе; ему поручал свои денежные дела и хлопоты о пасынке. Письма Д. к Майкову являются ценными по богатству сведений (ср. письма Д. к нему в сб. „Ф. М. Достоевский". Под ред. А. С. Долинина. П. 1922, стр. 391—452). — Его жену звали Анной Ивановной.

25. Очевидно, не просмотрел две последние главы романа „Преступление и Наказание", которые писал в это время.

26. Речь идет о ноябрьской книжке журнала „Русский Вестник", в которой была напечатана одна из последних глав романа „Преступление и Наказание".

27. Милюков, Александр Петрович (1817—1897), педагог и писатель, автор известного в свое время „Очерка истории русской поэзии" (1847 г.). За выраженное в „Очерке" единомыслие с Белинским А. П. пострадал по службе. Знакомство его с Достоевским относится к 1848 г., когда Достоевский только что начинал свою литературную деятельность. Они встречались в кружке Петрашевского, по делу которого Достоевский в 1849 г. был сослан на каторгу, а Милюков только арестован и три дня пробыл в Петропавловской крепости. Милюков сохранил рассказ Достоевского об аресте и описал сцену прощанья Достоевского с братом Мих. Мих. и с ним перед отъездом на каторгу. По возвращении из ссылки Достоевский возобновил знакомство и сблизился с семьей Милюкова, дочерей которого он приглашал к себе на венчание с А. Г. Достоевской. Сохранились, преимущественно из эпохи 60-х годов, письма Достоевского к Милюкову, опубликованные недавно Б. Л. Модзалевским в сб. „Ф. М. Достоевский.—Статьи и материалы". Под редакцией А. С. Долинина. П. 1922. После смерти Достоевского Милюков составил свои воспоминания о некоторых моментах знакомства и встречах с Достоевским. Воспоминания напеч. в „Русск. Стар." 1881, 111, и перепечат. в сборнике портретов и характеристик „Литературные встречи и знакомства" (СПБ. 1890 г.).

К ПИСЬМУ ОТ 17 МАЯ 1867 г.

28. Письмо имеет число и месяц, но года Федор Михайлович не выставил. Анна Григорьевна включила это письмо в пакет писем 1867 г. и на оригинале письма вставила карандашом год (1867). Оснований не согласиться с ней нет. Так же датированы, по ука-

занию Анны Григорьевны, и др. письма за этот и следующие годы, при чем дата ставится в таких случаях в квадратные скобки.

30. Долги, за которые Д. грозило заключение, и кредиторы выросли, как известно, для Ф. М. неожиданно после смерти брата Мих. Мих. Достоевского и за прекращением журнала „Эпоха". Спасаясь от жестоких требований этих кредиторов, Федор Мих. спешно выехал за границу за месяц до этого письма, 14 апр. 1867 г.—В числе неприятных кредиторов Ф. М. первым называет Врангеля, друга своего по Семипалатинску, с которым добрые отношения не порывались во всю жизнь. Конечно, Врангель не был „грубым заимодавцем", как другие, но Ф. М., давно задолжавшему ему, было тяжело это обязательство. В письме 8 (20) марта 1869 г. к С. А. Хмыровой, урожденной Ивановой, Ф. М. еще прямо высказал в словах, что этот долг есть „один несноснейший и мучительный для меня долг в Петербурге, долг чести, без векселя".

К ПИСЬМУ ОТ 18 МАЯ 1867 г.

31. Маша—Мария Михайловна Достоевская. До рождения ее Ф. М. писал брату 3 дек. 1843 г.: „Ежели будет у тебя дочка, то назови ее Марией". Владиславлев, Михаил Иванович (1840—1890)—философ, профессор Петербургского Университета и историко-филологического Института. Как философ Владиславлев резко расходился с представителями материалистических учений. Ему принадлежит перевод „Критики чистого разума" Канта (СПБ. 1867) и лучшего в свое время (до сих пор не устаревшего в исторической части) учебника „Логики". Л. Ф. Достоевская указывает умалчиваемую А. Г. Достоевской причину охлаждения Ф. М. к племяннице Марии Михайловне. „Одну из его племянниц (именно Марию Михайловну),—пишет она,—его любимицу, полюбил студент, довольно бесцветный молодой человек, ненавидевший Достоевского „за то, что он в лице Раскольникова оскорбил русское студенчество". Однажды во время спора с моим отцом по политическим вопросам он выразился непочтительно. Д. рассердился и велел своей невестке не принимать больше этого дерзкого человека. Они сделали вид, что послушались, но влюбленный студент тайно бывал у них в доме попрежнему. Окончив курс университета и получив место в министерстве, он спешил жениться на моей двоюродной сестре. Неблагодарная с особым удовольствием отпраздновала свадьбу тайно, не пригласив своего дядю, между тем как он работал, как негр, для того, чтоб поддержать их семью. Когда новобрачная позже встретила у своей матери моего отца, она смеялась ему в лицо и обращалась с ним, как со старым дураком. Мой отец был глубоко огорчен этой неблагодарностью. Он любил свою племянницу Марию, как собственную дочь, ласкал и занимал ее, когда она еще была ребенком, а позже гордился ее музыкальным талантом и ее девичьими успехами. Она была одной из лучших учениц Антона Рубинштейна". („Достоевский в изображении его дочери". Русский перевод, стр. 42.)

К ПИСЬМУ 21 МАЯ 1867 г.

32. Статью о Белинском заказал Д. Бабиков, Константин Иванович (1841—1873); печатался в журналах Достоевских; в „Эпохе" (1864, № 10—12) напечатал лучшее свое произведение „Глухая улица". Умер рано, страдал туберкулезом.

К ПИСЬМУ ОТ 18 НОЯБРЯ 1867 г.

36. В 1865 году, после прекращения журнала „Эпоха", Ф. М., живший на литературный заработок, вышел из создавшегося материального затруднения усиленным трудом над романом „Преступление и Наказание", начатым за границей в июле 1865 г. и оконченным летом 1866 г. в Люблине на даче под Москвой и печатавшимся в журнале Каткова „Русский Вестник".

38. Личные и идейные отношения Достоевского с Герценом представляют сложный вопрос и в разные моменты их жизни были неодинаковы. К 1867 году Достоевский уже разошелся с Герценом как лично, так и в идейном споре,—намек на это явно звучит в предпочтении ему Огарева. Иными были эти отношения пятью годами раньше. В 1862 г. Достоевский видится с Герценом в Лондоне, о чем он вспоминает в „Дневнике". К Герцену Д. тогда относился, по словам Н. Н. Страхова, „очень мягко", и „Зимние заметки о летних впечатлениях" „отзываются несколько влиянием этого писателя"

(Биография, Письма, стр. 240). А. С. Долинин в статье „Достоевский и Герцен“ (К изучению общественно-политических воззрений Достоевского) определенно и в деталях устанавливает идейную зависимость и совпадение „Зимних заметок“ Достоевского с „Письмами из Франции и Италии“ Герцена (см. „Достоевский. Статьи и материалы“. Петербург 1922 г., стр. 275—324). „Когда мы сравниваем,—говорит Долинин,—взгляды Герцена... со взглядами Достоевского той поры, которую разумеют под „почвенничеством“ (годы 60—63), еще раз полностью отразившимся в его Пушкинской речи, то сходство получается поразительное“ (стр. 303). „Перед нами совпадение с Герценом в основных положениях, в обосновании этих положений — в самой сущности интимной их веры, одинаково гармонизирующей факты из прошлого и настоящего России и Европы, чтобы приобрести видимость убедительности и для других“ (стр. 306). Позднее Достоевский расходится с Герценом; у него начинаются свои счеты с Герценом по целому ряду вопросов. Склонность Герцена „к каламбуру в высочайших вопросах нравственности и философских“ для Достоевского, по мнению Долинина, должна быть невыносима. „Герцен шутит там, где раскрывается величайшая трагедия немощности человеческого духа“; „для Герцена все — поэзия,—предмет любования спорта (310 стр.) там, где душа Достоевского, в величайшем своем напряжении, слишком печальна и серьезна“ (320 стр.). И хотя в последующее время Достоевский и тут от Герцена не мог отрекаться, не мог от него отойти, даже и в... период „Бесов“, однако все его художественные произведения последующих годов: от „Записок из подполья“ до „Братьев Карамазовых“—неустанная борьба с герценовской „веселой философией“... (А. С. Долинин, стр. 322).

Н. Н. Страхов—хорошо осведомленный в настроениях Д., также отмечает, что в последующие годы он (Достоевский) часто выражал на него (Герцена) негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта. Гордость просвещением, брезгливое пренебрежение к простым и добродушным нравам — эти черты Герцена возмущали, по словам Страхова, Федора Михайловича, осуждавшего их даже и в самом Грибоедове, а не только в наших революционерах и мелких обличителях. Вопросу о взаимоотношениях Герцена с Достоевским посвящена еще книжечка Ганжулевича: „Герцен и Достоевский в истории русского самосознания“. СПБ. 1907 г.

40. Родины произошли 22 февраля 1868 года. Это была дочь Софья, скончавшаяся в Женеве же 12 мая того же года.

К ПИСЬМУ 4 АПРЕЛЯ 1868 г.

44. Л. К. Ильинский взял на себя труд в заметке, помещенной им в журнале „Библиографические Листы“ Русск. Библиологич. О-ва, 1922 г., март, № 3, стр. 4 — 9, выяснить вопрос о гонораре Достоевского, начиная с ранних его произведений. И с цифрами в руках Л. К. Ильинский устанавливает уже известный печальный факт, что всегда, от „Бедных людей“ и кончая „Преступлением и Наказанием“, Достоевский отставал от других в своем гонораре. „И как до своей жизненной катастрофы (1849) Достоевский не мог устроить свою жизнь так, чтобы писать для святого искусства, не мог добиться работы святой, чистой“ (Л. К. Ильинский, там же, стр. 6),—так же и после каторги „всех невзгод Достоевского рассказать нет возможности“ (там же, стр. 7). И невольно вспоминаются слова Ап. Григорьева: „Следовало бы не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его“. Недаром сказаны эти слова. И только „со времени возвращения из-за границы, когда Достоевский принимает сначала редактирование „Гражданина“ (1873) и с 1876 г. издает „Дневник Писателя“... гонорар его стал повышаться. За „Подростка“ „Отеч. Записки“ платят ему 250 р... Катков 300 р. Но сказать, что „Достоевский и в это время не нуждался, нельзя“ (стр. 9)—таков конечный вывод Л. К. Ильинского.

45. Письмо это Федора Михайловича к Каткову нам неизвестно; среди напечатанных уже Б. Л. Модзалевским („Былое“, кн. 14) писем и в новых материалах, находящихся в Центрархиве, его также не нашлось.

К ПИСЬМУ 17/29 АПРЕЛЯ 1870 г.

51. Подробнее рассказывает о дружбе Ивана Григорьевича Сниткина с Ивановым и о том, что нечаевский процесс произвел сильное впечатление на воображение Достоевского и послужил материалом для его знаменитого романа „Бесы“,—его дочь Любовь Федоровна, в своих воспоминаниях (русск. изд. стр. 68—70).

52. Люба — второй ребенок и вторая дочь Достоевского. Любовь Федоровна родилась в Дрездене 14 сентября 1869 года. Здравствует еще до сих пор и живет за

границей; писательница—автор психологических рассказов, несколько в стиле Ф. М. Достоевского — „Больные девушки. Современные типы“ (СПБ. 1911 г.). — В 1921 г. Любовь Федоровна выступила с воспоминаниями о Ф. М. и издала под заглавием:. „Dostojewsky, geschildert von seiner Tochter“ (Мюнхен 1921). Теперь они переведены на русский язык с немецкого Л. Я. Круковской и изданы под редакцией и с предисловием А. Г. Горнфельда под названием: „Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской“ (Госиздат, Москва—Петроград. 1922 г., 105 стр.). По мнению редактора, „среди документов, опубликованных по случаю сорокалетия смерти и столетия рождения Достоевского, одно из первых мест занимает его биография, написанная его дочерью“. Между прочим, о себе Любовь Федоровна заметила: „Отец звал меня „Любой“ — русским уменьшительным именем от „Любовь“, под которой я фигурирую в его дрезденских письмах. Когда я выросла, то предпочитала имя „Лиля“, которое мне дала бабушка и которое мне, как ребенку, легче было выговаривать. Чтобы доставить мне удовольствие, родители также звали меня „Лилей“, и Достоевский называет меня так во всех письмах последнего периода своей жизни“ (67 стр.), т.-е. письмах, публикуемых в этом томе.

К ПИСЬМУ 28 АПРЕЛЯ 1871 г.

59. На родину, в Петербург, Достоевские, после столь долгих колебаний из-за кредиторов и материальных соображений, вернулись 8 июля 1871 года. Анна Григорьевна описала свое настроение при въезде в Петербург в своих воспоминаниях, опубликованных М. Л. Гофманом в сб. „Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы“—под ред. А. С. Долинина. 1922 г., стр. 477 и сл.

60. О судьбе письма Каткову этого времени ничего нам неизвестно; до сих пор в печати оно не появлялось и среди новых материалов не обнаружено.

Примечания к письмам 1872 г., составленные А. Г. Достоевской.

Для того, чтобы были понятны письма Ф. М. от мая — июня 1872 года, мне придется описать те обстоятельства, которые произошли в течение лета.

Пословица говорит: „Беда не ходит одна“, и в жизни почти каждого человека было время, когда его постигала целая полоса, серия разнообразных и неожиданных несчастий и неудач. То же самое случилось и с нами. Несчастия наши начались в конце апреля 1872 года, когда наша дочка Люба (ей было тогда $2^1/_2$ года), бегая на наших глазах по комнате, споткнулась и упала. Т. к. она сильно закричала, то мы бросились к ней, подняли и принялись утешать, но она продолжала плакать и не давала дотронуться до своей правой руки; это заставило нас подумать, что случилось что-нибудь серьезное. Ф. М., няня и кухарка бросились искать доктора. Ф. М., узнав в аптеке на Загородном проспекте (сами мы жили на Серпуховской улице) адрес ближайшего хирурга, привез его к нам через полчаса. Почти одновременно привела и няня другого доктора из Обуховской больницы. Осмотрев ушибленную ручку, хирург высказал, что произошел вывих, тотчас вправил кость и забинтовал ручку в толстую папку. Второй доктор подтвердил мнение хирурга о вывихе и уверил, что раз кость впрямлена—она скоро срастется. Мнение двух компетентных лиц нас успокоило. Мы пригласили хирурга посещать больную и тот, однако, в течение двух недель каждое утро приходил к нам, разбинтовывал ручку и говорил, что все идет, как должно. Оба мы с Ф. М. указывали хирургу на то, что на три вершка выше ладони мы заметили некоторое возвышение темнобагрового цвета. Хирург уверял нас, что и вся рука Любы распухла, а что это обычное кровоизлияние при вывихе, которое должно разойтись. В виду нашего отъезда он предложил нам, для безопасности в дороге, не разбинтовывать ручку до того времени, пока мы не приедем на место. Вполне успокоенные на счет происшедшего случая, мы выехали 15 мая 1872 года в Старую Руссу.

Выбор Старой Руссы, как нашего летнего местопребывания, был сделан по совету М. И. Владиславлева, мужа племянницы Ф. М., Марии Михайловны. Оба они уверяли, что в Руссе жизнь тихая и дешевая и что их дети за прошлое лето, благодаря соленым ваннам, сильно поправились. Ф. М., чрезвычайно нежный отец, и захотел пожить в Руссе, чтоб дать возможность детям воспользоваться купаньями.

Первая поездка наша в Старую Руссу *) (в 1872) ярко запечатлелась в моей памяти, как одно из отрадных воспоминаний нашей семейной жизни. Прожитая зима (1871—1872 г.г.) была для нас очень тяжела: дети хворали, Ф. М. не давалась работа и было много неприятных хлопот и денежных затруднений. А потому мы с Ф. М., начиная с великого поста, стали подумывать, как бы нам уехать раннею весною и именно куда-нибудь подальше, в глушь, где можно было бы работать, да и пожить вместе, не на народе, как в Пет., а как мы привыкли с ним жить за границею, довольствуясь обществом друг друга. И вот наша мечта осуществилась.

Выехали мы 15 мая в ясное, теплое утро и часа через четыре были в Чудове (Соснинке). Здесь мы узнали, что ошиблись поездом, так как пароход в Новгород отходит только в час ночи, и что нам придется прождать целый день. Нечего делать, остановились на постоялом дворе и заказали себе обед, какой умела сделать хозяйка. В комнате было душно и мы с детьми и их старухою-няней пошли погулять по деревне. Но тут с нами произошел комический случай. Не успели мы пройти пол-улицы, как встретили бабу с ребенком, лицо которого было покрыто красными пятнами и волдырями, прошли дальше и встретили трех-четырех ребятишек, у которых тоже были красные пятна на лицах. Это нас очень смутило, и нам пришло на мысль, не ходила ли в Чудове оспа, а потому не заразились бы ею и наши дети. Ф. М. скомандовал живо домой и обратился к хозяйке с вопросом не было ли в деревне болезней, и почему у детей лица в прыщах. Баба даже обиделась и объявила, что никаких „болестей“ у них нет, „а что это все комарики“. На счет оспы мы скоро успокоились, т. к. не прошло и часу как мы убедились, что и в самом деле это „комарики“, т. к. лица и ручки наших детей были сильно обезображены укусами.

В полночь мы перешли на пароход, уложили деток спать, а сами часов до трех ночи просидели на палубе, любуясь на реку и на только что распустившуюся зелень по берегам Волхова. Стало холодно, я ушла в каюту, а Ф. М. остался сидеть на воздухе. Он любил белые ночи. Часов в шесть утра я услышала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я поднялась и слышу — говорит Ф. М.: „Аня, выйди на палубу, посмотри, какая удивительная картина“. И вправду картина была удивительная, ради которой можно было разбудить. Когда я вспоминаю Новгород, эта картина всегда представляется моим глазам. Было чудное, весеннее утро, солнце ярко освещало противоположный берег, на котором высились зубчатые стены Кремля и виднелись золотые главы Софийского собора, а в холодном воздухе гулко раздавался благовест к заутрене. Ф. М., так любивший природу, был в умиленном настроении, и оно невольно передавалось мне. Мы долго сидели рядом, молча, точно боясь нарушить очарование. Впрочем радостное настроение продолжалось и весь остальной день — давно уже нам не было так покойно и хорошо.

Когда дети проснулись, мы переехали на другой пароход; пассажиров было мало и мы хорошо устроились. Да и ехать было чудесно: озеро Ильмень было спокойно, как

---

*) В настоящее время в Старую Руссу можно попасть через 8 часов. В тогдашние же времена на эту поездку приходилось затрачивать не менее полутора суток. Обыкновенно отправлялись по Николаевской железной дороге до станции Чудово (Соснинка), ждали там несколько часов и затем по Волхову на пароходе доезжали до Новгорода. Здесь приходилось через город переезжать на другой пароход, который по озеру Ильменю и реке Полисти доставлял путешественников в Руссу. Но это было только в первой половине лета. Когда река Полисть мелела, пароходу приходилось доезжать до Кривого Колена (верст— *цифра не обозначена А. Г. Достоевской*—до города), а оттуда ехали уже на извозчике. Затем, по мере понижения воды, пароход доходил только до Звада, деревни на озере (верст 30 от Руссы), оттуда путешественники ехали уже на трешкоте, то-есть большой барке, по-черепашьи двигавшейся по реке. Езда на трешкоте, в жаркий день, в низкой и душной набитой пассажирской каюте, представляла истинное мучение.

Обратное путешествие из Старой Руссы в конце августа или в сентябре (а мы старались подольше здесь остаться) представляло большие трудности. Пароход уже не доходил до Руссы, а останавливался на озере, в виду рыбачьей деревни „Устрики“. Они отстоят верстах в 18 от города и приходилось туда ехать в тарантасе. В деревне не было пристани, а нужно было подъезжать к пароходу на лодках; но и лодки, по мелководью, не подходили к самому берегу, а потому храбрые шли к лодке, шагов 15—20, прямо по воде, а осторожных, особенно дам, до лодки переносили на своих спинах рыбачки-бабы. Осенью пароход очень качало, и, приставая к пароходу, мы рисковали уронить в воду детей, которые, разумеется, боялись, плакали и бились в наших руках. В Новгороде приходилось ждать парохода, а затем в Чудове позднею ночью переходить через железнодорожный путь и на другой стороне станции ожидать прихода Московского поезда. Не могу забыть случая, бывшего в одно из наших возвращений из Руссы. Моя Люба (которой было года 4), увидев в темную ночь в Чудове приблизившийся поезд с двумя ярко сияющими фонарями впереди, страшно испугалась, прижалась к нам и вскрикнула: „Папочка, мамочка, что с нами теперь будет“. Ф. М. тотчас взял ее на руки и стал утешать. Бедненькой представилось, что на нас идет страшное чудовище с двумя горящими глазами и с пылающим пламенем ртом, которое, наверно, нас всех поглотит. Ф. М., видя ее испуг продержал ее у себя на коленях в вагоне, пока совсем не рассвело и она не успокоилась.

Вообще надо сказать, что в те времена поездка в Старую Руссу и обратно представляла собой целое путешествие, полное всевозможных приключений и неожиданностей. Я так подробно описываю поездки в Руссу потому, что во многих своих письмах Ф. М. упоминает о своих приездах туда. Кроме того, озеро Ильмень, сама деревня „Устрики“ и нравы ее обитателей живо изображены в ром. „Бесы“ Смерть Степана Трофимовича Верховенского).

зеркало, благодаря безоблачному небу оно казалось нежно голубым и можно было подумать, что мы находимся на одном из Швейцарских озер. Последние два часа переезда пароход шел по р. Полисти; она очень извилиста, и Старая Русса, с своими церквами, казалось, то приближалась, то отдалялась от нас.

Наконец, в три часа дня пароход подошел к пристани. Мы забрали свои вещи, сели на извозчика и отправились разыскивать нанятую для нас дачу священника Румянцева. Впрочем разыскивать долго не пришлось. Только что мы завернули с набережной р. Перерытицы в Пятницкую улицу, как извозчик нам сказал: „А вот и батюшка стоит у ворот, видно вас дожидаются". Действительно, зная, что мы приедем около 15 мая, священник и его семья поджидали нас и теперь сидели и стояли у ворот. Все они нас приветствовали, и мы сразу почувствовали, что попали к хорошим людям. Батюшка подошел к тому извозчику, на котором я сидела с Федей на руках, и вот Федя, довольно дикий и ни к кому не шедший на руки, очень весело потянулся к нему и сорвал с него широкополую шляпу, которую и бросил на землю. Все мы рассмеялись, и с этого момента началась моя и Ф. М. дружба с отцом Иоанном Румянцевым и его женою, продолжавшаяся до смерти всеми уважаемых этих людей.

Все мы устали с дороги и в добром и веселом настроении кончился этот первый день нашей старорусской жизни. Но, боже мой, как мало дано человеку знать, что будет с ним завтра. А завтра произошло вот что.— Часов в одиннадцать, после завтрака, желая отпустить детей в сад и стесняясь тем, что повязка на руке у моей девочки загрязнилась, я решила распороть эту папку, в которой зашита была ее больная ручка и разбинтовать ее, как позволил мне это хирург. И что же я увидела: за несколько дней опухоль руки сильно опала, но зато ясно выказалось то возвышение ниже ладони, на которое мы с Ф. М. указывали в Петербурге хирургу. Возвышение казалось уже не мягким, а твердым. С верхней же части руки было заметно углубление в палец глубиною, так что кривизна руки была несомненно. Меня это страшно поразило и я тотчас позвала Ф. М. И он ужасно встревожился, полагая, что не произошло ли что дурное с ручкою во время пути. Позвали о. Иоанна и просили его указать нам доктора. Тот жил близко и скоро пришел; осторожно осмотрев руку, он, к нашему ужасу, объявил, что у девочки была не вывихнута, а надломлена кость, а так как ее неудачно скрепили и не сделали гипсовой повязки, то она и срослась неправильно. На наш вопрос, что же будет с рукою впоследствии, доктор сказал, что кривизна увеличится и рука будет изуродована; возможно и то, что левая рука будет расти нормально, а правая отставать в росте,—словом, что девочка будет сухорукая. Каково было нам услышать, что наша милая девочка, которую мы так нежили и любили, будет калекой. Сначала мы не поверили и спросили, нет ли в городе хирурга. Доктор ответил, что с солдатами, посылаемыми в Руссу на ванны, приехал военный врач, но что он его не знает и не может поручиться за его уменье. Решили пригласить хирурга, а доктора просили у нас подождать. Добрый батюшка отправился за хирургом, и через полчаса привел к нам военного доктора, сильно навеселе, которого он розыскал где-то в гостинице, за бильярдом. Привыкший обращаться с солдатами, врач не подумал быть осторожнее с маленькой пациенткой и, осматривая руку, так нажал едва сросшуюся кость, что она страшно закричала и заплакала. К нашему сильному горю военный врач подтвердил мнение своего коллеги, то-есть что произошел не вывих, а надлом кости, а так как с того времени прошло более 3-х недель, то косточка успела срастись и срослась неправильно. Когда мы спросили докторов — что ж теперь делать, оба ответили, что надо сросшуюся кость вновь сломать и соединить осколки под гипсовой повязкой, и что тогда она срастется правильно. Предупредили, что операцию надо сделать теперь же, как можно скорее, пока косточка не вполне срослась. На вопрос, будет ли операция болезненной,— доктора ответили, что очень болезненна, и хирург даже прибавил, что он не может взять на себя ответственность за то, выдержит ли наша девочка, на вид столь бледная и хрупкая, такую болезненную операцию. „Нельзя ли сделать операцию под хлороформом",— спросили мы, но получили в ответ, что маленьких детей не хлороформируют, так как они могут уснуть навсегда. С сердечной болью вспоминаю о том, как мы с Ф. М. были поражены и расстроены. Но, не зная на что решиться, мы попросили докторов дать нам день срока, чтобы обдумать. Положение наше было по истине трагическое. С одной стороны немыслимо было оставить девочку калекой и не сделать попытки выпрямить ей руку. С другой,—как доверить эту операцию хирургу, может даже неопытному (мы так недавно жестоко поплатились за наше доверие), да к тому же любящему выпить, которого, как сказали батюшке извозчики, после полудня можно было застать только в трактире. К тому же неуверенность его в успехе операции, („ведь я не могу поручиться за то, что рука правильно сростется, может придется и повторить операцию",—его слова); неуверенность доктора даже в том, вынесет ли хрупкое, слабое существо эту болезненную операцию,—все это повергло нас в страшное отчаяние.

Боже, что мы с Ф. М. пережили за этот день, обдумывая наше решение. Я плакала, Ф. М. был вне себя от горя и беспокойства, и я с минуты на минуту ожидала, что разразится припадок. Наша бедная девочка, видя наши слезы, тоже плакала. Словом, был один ужас.

Выручил нас ставший с тех пор нашим другом, отец Румянцев. Видя наше отчаяние, он сказал нам: „Бросьте вы наших докторов; ничего они не понимают и ничего не умеют. Они только замучают вашу девочку. Лучше поезжайте с нею в Петербург, и если нужна операция, то сделайте ее там". Он говорил так убедительно, представил столько доводов, что помог нам решиться на поездку в Петербург. Но имелись основательные причины и против этого решения. Подумать только: рассчитывали провести лето в уединении и запастись здоровьем на зиму; нашли хорошую дачу, совершили такой утомительный путь и вдруг приходится возвращаться назад всей семьей в душный Петербург, где у нас и квартиры-то нет; заплатив за дачу полтораста рублей, надо было искать новую где-либо под Петербургом, и это при наших столь скудных средствах, когда приходилось считать каждый рубль. Было над чем задуматься.

Надо отдать справедливость отцу Иоанну Румянцеву. Зная, что мы имеем небольшие средства и, может быть, в эту минуту в виду отъезда, нуждаемся в деньгах, он предложил вернуть наш задаток (50 р. обратно). Это была крупная жертва. Ведь могло случиться, что он и не нашел бы новых жильцов на свою дачу и, таким образом, возвратив нам задаток, потерял бы полтораста рублей, что для не богатого священника было бы тяжело. Такую жертву для незнакомых ему людей мог принести только человек с сердцем, отзывчивым на людское горе. Таким всегда и был о. Иоанн.

На возвращение задатка мы, конечно, не могли согласиться. Но нам и вообще жалко было покидать дачу, так нам понравившуюся, а также покидать людей, которые отнеслись к нам с такою добротою.

Тогда батюшка предложил другой исход, именно: уехать мне с Ф. М. и с Любой, а Федю с его няней, старухой Прохоровной и с привезенной кухаркой оставить в Руссе. Батюшка же и матушка, Екатерина Петровна, тоже впоследствии сделавшаяся нашим дорогим другом, обещали смотреть за Федей и за няньками, все то время пока мы будем в отсутствии. Оба они, и батюшка и матушка, так искренно сочувствовали нашему горю и с такою сердечною готовностью обещали присматривать за Федей, что мы могли быть спокойны, что они уберегут нашего мальчика.

Но тут было одно обстоятельство, сильно нас тревожившее, именно: Феде было всего 10 месяцев и я продолжала кормить его грудью. И он и я были вполне здоровы, а потому я предполагала его кормить, пока выйдут глазные зубы и отлучить его только летом в Руссе. И вот приходилось внезапно бросить мальчика, не знавшего никакой другой пищи. Нам представлялось, что перемена сразу всего режима дурно на него подействует; да и на мое здоровье мог неблагоприятно повлиять внезапный отказ от кормления. Все это страшно смущало нас обоих, но боязь и жалость к девочке все превозмогли и мы решились на завтра выехать в Петербург. Как грустен был наш отъезд. Я все утро не расставалась с мальчиком; Ф. М. часто приходил к нам и точно не мог наглядеться на Федю. Наконец, когда пришел час отъезда, я покормила мальчика в последний раз и крепко прижала к своему сердцу, мне казалось, что я больше его никогда не увижу. Затем все присели, помолились, благословили бедного нашего мальчика Федю и, с смертью в душе, уехали на пароход. Я должна с сердечною благодарностью вспомнить семью Румянцевых. Благодаря их заботам все обошлось благополучно. Рассказывали потом, что мой мальчик, проголодавшись, все искал меня, указывал няне пальчиком на другую комнату и говорил „туда"; она его носила из комнаты в комнату; не найдя же меня нигде, — заливался слезами и всю ночь напролет не спал. Затем привык пить молоко и был совершенно здоров. Но всего мне обиднее потом было для меня то, когда я, столько Феде горевавшая, приехала в Руссу через 3 недели, то он свою маму не узнал и не пошел ко мне на руки; значит, успел меня совершенно забыть.

Грустно было наше путешествие в Петербург и представлявшиеся нам картины Ильменя и Волхова не останавливали на себе нашего внимания. Все оно было направлено на то, как бы сберечь нашу девочку. Чтоб она ночью не легла на свою ручку и не потревожила ее, мы с Ф. М. устроили дежурство и ночью каждые два часа сменяли друг друга. Как я испугалась, когда часа в три ночи у меня, от прилива молока, сделалась лихорадка и страшная головная боль. Но я боялась сказать об этом Ф. М., чтобы его не встревожить и с нетерпеньем ждала, когда кончится наш путь.

Как я уже сказала, квартиры своей в Пет. у нас не было, поэтому мы решили остановиться в городской пустой теперь квартире моего брата, Ивана Григорьевича Снитkина, который с женою и моей матерью на лето переселился на дачу Сабурова, верст 85 за Большой Охтой. На квартире же оставалась прислуга. Был жаркий душный день. Отворившая дверь прислуга первым словом сказала нам: „А у нас старая барыня (т.-е.

моя мать) больна".—Боже мой, что с ней? Где она? На даче?—„Нет, здесь на квартире". Бегу в ее комнату и вижу, что мама, очень бледная и осунувшаяся, сидит на диване с высоко-поднятою и протянутою ногой. Начинаю расспрашивать и узнаю, что беда случилась с нею в день перевозки нашей мебели в Кокоревские склады. Она не посторонилась и мужик, должно быть, выпивший, уронил сундук с вещами ей на ногу. Большой палец левой ноги был раздроблен, позванный доктор объявил, что началось воспаление и запретил двигаться, обещая, что недели через две она будет ходить. Случившаяся беда очень волновала мою мать, главное, потому, что в самом скором времени ожидалось разрешение от бремени ее невестки Ольги Кирилловны, жены моего брата. Мысль о том, что она не может быть полезной ни невестке, ни сыну в такое хлопотливое время, чрезвычайно беспокоила маму. А тут еще наше внезапное возвращение по такому печальному поводу. Моя мать очень любила Любочку и ее страшно огорчило случившееся с нею несчастье. Все эти тревоги так подействовали на мою мать, что к вечеру ей стало хуже и посетивший ее доктор сказал мне, что воспаление настолько усилилось, что, пожалуй, придется ампутировать палец. Каково мне было услышать это известие. Приехав в Петербург, Ф. М. первым делом отправился к Ивану Мартыновичу Барчу, главному врачу Максимилиановской лечебницы. Это был в то время один из лучших хирургов в Петербурге. Он был старинный знакомый Ф. М., но по возвращении из-за границы Ф. М. у него не был. Когда случилось несчастие с ручкой, мы хотели обратиться к Барчу, но Ф. М. знал, что Барч за визит с нас не возьмет и это его очень стесняло. Отплатить же Барчу какою-нибудь любезностью у нас не было средств. К тому же лечивший ручку хирург показался нам знающим, да и представил нам происшедший случай таким незначительным вывихом, что обращаться к знаменитости, какою был тогда Барч, как-то было неловко. Ф. М. горячо упрекал себя и никогда не мог простить себе и мне этой, как он писал, „небрежности".

И. М. Барч принял Ф. М. чрезвычайно дружелюбно, попенял ему, зачем не обратились к нему с самого начала и обещал приехать к нам к 6 часам. В назначенный час он приехал, сумел заинтересовать Любочку своими часами и брелочками, потихоньку развязал ей ручку, даже не ощупал, чтоб напрасно не делать ей больно, а прямо объявил, что старорусские врачи верно определили и что кость срослась неправильно. Он высказал, что девочка вряд ли будет иметь правую руку короче левой, но предупредил, что все-таки углубление с одной стороны и небольшое возвышение со стороны ладони будет заметно. Чтоб исправить беду, надо вновь сломать косточку и дать ей срастись под гипсовой повязкой. Ф. М. сказал, что он знает про чрезвычайную болезненность операции и боится, что девочка ее не перенесет.—„Да она и не почувствует ничего, операция будет под хлороформом".—Старорусские врачи сказали, что маленьких детей не хлороформируют, т. к. это опасно.—„Ну, там старорусские врачи как хотят, а мы хлороформируем даже грудных детей".

Расспрашивая подробности, И. М. Барч все время всматривался в меня. От его опытного взгляда не ускользнул мой лихорадочный вид.—„А вы сами здоровы ли,—обратился он ко мне,—отчего у вас лицо багровое, не простудились ли дорогой". Тут мне пришлось признаться, что меня всю ночь била лихорадка, и что голова страшно болит и кружится, и объяснить причину. Ф. М. страшно встревожился и стал меня упрекать, зачем я от него скрыла.—Ну, вот что, барыня, сказал Барч, дочку мы вылечим, но я и к операции не приступлю, прежде чем вы сами не поправитесь. Молоко в голову может броситься, а это опасная вещь. Вот пошлите-ка в аптеку за лекарством, что я вам пропишу, а сами постарайтесь хорошенько выспаться ночью. (Но и эту ночь мы с Ф. М. заменяли друг друга у постели нашей девочки.)

Узнав, что мы находимся в чужой квартире, да к тому же у нас есть больная, Барч предложил переехать на три недели в Максимилиановскую лечебницу, где и взять отдельную комнату. Ранее 3 недель он не ожидал срастания кости и не брался делать операции, если мы не можем остаться в Петербурге это необходимое для лечения время. Понятно, что ему, как отличному хирургу, не хотелось брать на себя ответственности за неудавшуюся, может быть, операцию, происшедшую по вине того врача, который в Старой Руссе будет следить за лечением и снимет повязку. Мы с Ф. М. сейчас и порешили на другой же день переехать в лечебницу, а Барч обещал, если возможно, завтра же произвести операцию.

Настал для нас тяжелый, полный сомнений день. Мы приехали в лечебницу к 12 часам и к нам присоединился Аполлон Николаевич Майков, крестный отец нашей девочки. Барч еще вчера просил, чтоб кто-либо из наших родных или знакомых присутствовал при операции и Ф. М. попросил об этом Аполлона Николаевича.

Было решено, что Любочку станут хлороформировать, когда она, по обыкновению, заснет после завтрака. Но она была возбуждена переездами и незнакомой обстановкой и

не могла заснуть. Тогда решили дать ей понюхать хлороформу на яву. В комнату явились Барч и его ассистент доктор Глама. Когда Барч узнал, что мы с Ф. М. оба рассчитываем присутствовать при операции, то этому воспротивился.—„Помилуйте, да с одной сделается дурно, а с другим припадок, вот и приводи вас в чувство, а операцию бросай. Нет, вы оба должны уйти, а если надо будет, я за вами пошлю".

Мы перекрестили несколько раз нашу девочку, поцеловали ее и так как, под влиянием хлороформа, она начала засыпать, то Барч взял ее из моих рук и бережно положил на постель. Мы вышли из комнаты, с отчаянием и смертью в душе, не предполагая больше увидеть Лилю в живых. Какой-то слуга повел нас в отдельную комнату и оставил одних. Ф. М. был бледен как платок, руки его тряслись, я тоже была очень взволнована. „Аня, будем просить помощи божией, молиться, господь нам поможет", сказал Ф. М., и мы опустились на колени и, никогда, может быть, не молились так горячо, как в эти минуты. Но вот послышались чьи-то поспешные шаги и в комнату вошел Майков.—„Идите туда, Барч зовет вас", сказал он. И Ф. М. и мне пришла одна и та же мысль—это, что Лиля не выдержала хлороформирования и что Барч зовет нас присутствовать при ее последних минутах. Никогда доселе я не испытывала подобного ужаса: мне так и представилась картина смерти моей первой дочери. Ф. М. схватил меня за руку и мы быстрыми шагами пошли по коридору. Войдя в комнату, мы увидели Барча без сюртука, видимо взволнованного, он позвал нас к кровати, на которой спокойно спала наша девочка. Ее сломанная ручка, теперь совершенно прямая, без прежнего тревожившего нас возвышения, лежала на отдельной подушке.—„Ну вот, смотрите, видите ручка вполне прямая, а вы, мне кажется, не верили. Ну, а теперь отойдите, дайте мне докончить". И вот при нас обоих он забинтовал ручку, обложил повязку гипсом и сделал все с такою быстротою, что мы не успели опомниться, как операция была кончена. Доктор Глама все время следил за пульсом девочки. Затем доктора нашли своевременным разбудить девочку и заставили меня громко звать ее по имени. Она долго не могла проснуться, но когда пришла в себя, то очень удивилась на свою подвязанную ручку и объявила, что у ней „сахарная (по цвету гипса) лучта".

Как мы были счастливы с Ф. М., когда все кончилось, доктора ушли и мы остались одни с нашей милою девочкой. Трудно описать то чувство радости и успокоения, которое овладело нами. Казалось, что все наши горести и заботы исчезли, но, к сожалению, не так случилось на самом деле.

Ф. М. пробыл в Петербурге еще один день; так как результаты операции могли выясниться только через 3 недели (то-есть правильно ли на этот раз срослась косточка), то Ф. М. решил не ждать, а тотчас ехать в Руссу к своему Феде, о котором он все время тосковал. Про меня и говорить нечего: я подумать не могла без боли сердечной о том, что так безжалостно бросила моего дорогого сынишку и мучилась мыслью, не случилось бы с ним чего дурного. Поэтому я была рада, что Ф. М. поехал домой. Я знала, какой Ф. М. нежный отец, а потому была уверена, что он сбережет моего дорогого мальчика.

Но, оставшись в Петербурге с Лилей, я не представляла себе, какие мученья мне придется перенести. Во-первых, мною овладело страшное беспокойство о том, как бы она, бегая по комнате, не упала на свою ручку, не ударилась бы ею обо что-нибудь. От всякого неловкого движения гипс мог лопнуть, могла сдвинуться повязка, а тогда кость срослась бы опять неправильно. Я следила за нею каждое мгновение, но так как она была очень живая девочка, то от вечной боязни и напряженного внимания у меня страшно расстроились нервы, тем более, что я и ночи спала плохо, каждую минуту просыпаясь, чтобы поглядеть, не легла ли во сне Лиля на свою больную ручку. Да и девочка привыкла жить в семье, видеть вокруг себя народ, т.-е. брата, отца, няню и пр., а тут она была обречена на полное уединение, а потому, понятно, скучала, капризничала и плакала. К тому же было душно, жарко, в комнатах пахло лекарствами. Не выходить на улицу было невозможно, да и мне хотелось навещать мою маму, которая все еще не поправилась. А выходя—сколько возможности упасть, ушибить ребенка. Носить ее на руках мне было тяжело, ходить много она не могла, а ездить на извозчиках была чистая мука: садясь на извозчика и сходя, так легко можно повредить ручку.

Кроме боязни за Любу, у меня не выходила из головы мысль о том, что-то теперь с Ф. М., не случился ли без меня припадок; из писем я видела, что он тоскует по нас и беспокоится, а я не могла ничем ему помочь. Мучилась я тоскою по Федичке, дорогом моем мальчике, тревожилась и о том, что рана на ноге моей матери не только не заживает, но все более и более разбаливается. Словом, нервы были натянуты до невозможности, и я несколько раз в день принималась плакать и рыдать—до того мне было тяжело.

Но несчастия продолжали нас преследовать. Несколько дней спустя по отъезде Ф. М. мой брат (он ожидал в ближайших днях родин своей жены, а потому имел возможность отлучаться ежедневно с дачи на самое короткое время, чтобы навестить маму и меня)

пришел ко мне до того опечаленный и убитый, что это бросилось мне в глаза. Я стала допрашивать, не случилось ли чего, он отвечал, что ничего не случилось. Жена его была еще здорова, маме было даже капельку лучше; так почему же у него такой подавленный вид, а иногда как будто слезы на глазах. Он ушел и мне пришло в голову, не случилось ли несчастья с Ф. М. или с Федей и что брат от меня скрывает. Беспокойство мое дошло до последних пределов, я всю ночь не спала, воображая всякие ужасы. Рано утром я послала к нему сказать, чтоб он непременно ко мне зашел, если будет в городе. И вот он пришел и все такой же печальный и подавленный, как и накануне. Я высказала ему мои вчерашние подозрения на счет какого-либо несчастия с моими в Руссе и прибавила, что я не могу долее выносить этого беспокойства о них, а поэтому сегодня же выезжаю с Любой домой, рискуя испортить все ее лечение. Он стал меня уверять, что не имеет никаких дурных известий из Руссы, и что причина его грусти другая. Видя мои настоя-[ния], брат, боявшийся огорчить меня, уже и без того измученную всеми нашими горестями, решился мне сообщить о новом постигшем нас несчастии—о смерти единственной нашей сестры Марии Григорьевны Сватковской *). Сестру Машу я и брат мой очень любили и весть о ее безвременной кончине страшно нас поразила. Она была очень красивая, здоровая женщина и ей только что минуло 30 лет. Кроме сожаления о ней нас обоих беспокоила мысль о том, что будет с ее четырмя детьми, для которых она была очень нежная мать. Нашему отчаянию не было пределов и бедная моя девочка, видя нас рыдающими, тоже страшно плакала. Никогда не забуду я этого печального дня. Когда первые минуты отчаяния прошли, я стала расспрашивать брата, как он узнал о нашей потере. Оказалось, что вчера, по просьбе моей мамы, он заехал навестить Машиных детей и здесь застал только что утром вернувшегося из-за границы Павла Григорьевича. Зная, что известие о смерти Маши будет для меня страшным ударом, он боялся, что я с горя заболею и тогда кто же будет смотреть за Любой, а потому не решался мне говорить; уверял, что ему стало легче, когда он поделился со мною горем и может со мною посоветоваться. А нам обоим предстояла тяжелая задача—это сообщить о смерти Маши моей матери. Это была ее старшая дочь, любимица, и мы с братом опасались, что она не вынесет несчастия, что с нею будет удар или она сойдет с ума. Мы с братом на первых порах решили до времени скрывать смерть Маши. Я предполагала уговорить маму поехать со мною в Руссу и хотела только там сказать ей о случившемся несчастии, постепенно подготовив ее к печальной мысли. Рассчитывала я в этом случае и на помощь Ф. М., очень дружного с моей матерью. Но Ф. М. из всех сил (в письме от 30 мая 1872 г., см. № 29 на стр. 56—57) восстал против нашего плана, считая, что исполнение его только усугубит горе моей матери, он убедил нас в необходимости сказать ей теперь же, когда она может разделить свое горе с осиротевшими внуками. Но наша задача осложнялась еще тем обстоятельством, что доктор, лечивший мою маму, узнав о новом постигшем нас несчастии, просил скрывать от нее до того времени, пока поправится нога; иначе он уверял, что воспаление (вследствие волнений и слез) несомненно увеличится и тогда придется ампутировать палец. На что решиться?—Вот был ужасный для нас с братом вопрос. К тому же у брата были свои тяжелые заботы: жене его предстояло на днях произвести на свет и так как это были первые роды, то и она и мой брат страшно тревожились, благополучно ли все окончится. У меня были свои сердечные муки: о Ф. М., о милом моем мальчике, об удаче или неудаче операции с ручкой моей дочери, о болезни моей дорогой матери и вот теперь нас поражает новое, тяжкое горе. Вот когда видишь вьявь, что милосердный бог, посылая нам испытания, дает и силы, чтобы перенести их.

Итак, мы решили до времени скрывать от моей дорогой матери смерть нашей бедной Маши. Но как тяжело нам было это. Ведь мама говорила о ней как о живой, писала ей письма, готовила к ее приезду какие-то подарки. Каково нам было слышать ее разговоры о Маше и сторожить каждое слово, чтобы не проговориться, тогда как у самих нас всякое напоминание о ней вызывало слезы и грусть. Мама часто замечала, что я вдруг заплачу, но я уверяла, что беспокоюсь об успехе операции, беспокоюсь и о своих в Старой Руссе.

Время шло, а мы решиться открыть нашу тайну не могли. Но вдруг моя милая мать, так грустившая о том, что не имеет никаких известий о больной дочери, решила навестить младших Машиных детей, рассчитывая на то, не знают ли о ней домашние. Сколько мы с братом ее ни отговаривали, ни представляли, что она поездкою разбередит себе ногу, она настояла на своем. К тому времени пришли письма Ф. М.,

*) М. Г. Сватковская вместе с своим мужем, Павлом Григорьевичем и двумя детьми в ноябре 1871 г. уехала за границу, оставив двоих младших детей в Пет. В феврале 1872 г. она поселилась в Риме; здесь она заразилась возвратным тифом, прохворала около двух месяцев и умерла 1 мая 1872 г. Ее муж по каким-то причинам не нашел нужным написать кому-либо об ее кончине, а сообщил телеграммами своей сестре, жившей с детьми, о своем скором возвращении домой.

поколебавшие принятое нами решение. Наконец, назначили день посещения. Я условилась с сестрой милосердия, что она посидит часа два—три с Любой и займет ее игрушками, но сама трепетала, что та оставит ее на минуту и с девочкой что-либо случится. Брат тоже с чрезвычайной боязнью оставил свою больную жену и вот мы повезли мою дорогую маму к детям сестры. Что мы с братом выстрадали в этот день! Ехали мы тихо, чтобы не растревожить больную ногу моей матери и мне представлялось будто меня везут на смертную казнь. Каждая минута, каждый поворот колес приближал нас, может быть, к новому несчастию, может быть, даже к смерти мамы. Какой это был ужас. Я и теперь, по прошествии многих лет, не могу вспомнить этот день без грусти на сердце.

Подъехали мы к дому сестры и швейцар и дворник на руках понесли мою матушку на второй этаж. Навстречу ей выбежали на лестницу старшие дети, Лиля и Оля. Но то, что вместе с ними не вышла встречать Маша—поразило бедную мою маму; у ней внезапно (как она говорила потом) явилось глубокое убеждение, что Маши уже нет на свете.— Маша умерла, моя милая Маша умерла, закричала она истерически и залилась слезами. Стали рыдать дети, плакали мы с братом, вышел и Павел Григорьевич (муж Маши) со слезами на глазах. Тут произошла раздирающая душу сцена горести и отчаяния, которую нет слов описать. Прошел, может быть, час, прежде чем мы хоть немного успокоились. Надо было думать о том, чтобы отвезти маму домой, т. к. оставить ее у Сватковских было немыслимо: кто бы за ней больною присмотрел в семье, которая сама еще не успела отдохнуть с дороги и устроиться. Да и мама желала домой, чтоб остаться наедине с своим горем. Брату нужно было ехать на дачу к больной жене, мне нужно было вернуться к Любе в лечебницу, а между тем слезы и отчаяние у всех нас продолжались. Наконец, мама согласилась на наши уговоры и обещания вновь привезти ее на днях к сироткам и мы так же медленно отвезли ее домой. От нее я помчалась в лечебницу, но, к счастью, там оказалось все благополучно: я застала и Любу и сестру милосердия крепко уснувшими на одной постели. Я разбудила девочку, поспешно ее одела и с нею поехала на весь остальной день к моей матери, не решаясь оставлять ее одну в таком тяжком горе.

Много горького пришлось мне переиспытать в моей жизни, были тяжелые утраты (смерть Ф. М., смерть Алеши, моего младшего сына), но такой полосы несчастий уже не было.

По возвращении моем в Руссу наступило некоторое затишье и успокоение; началась правильная жизнь и правильная работа. И вот тут нам с Ф. М. пришлось вынести еще одно испытание, повторившееся дважды в течение лета. Вследствие сильной простуды (лето было дождливое и холодное) у меня сделался нарыв в горле при высокой температуре (выше 40°) в течение нескольких дней. Лечил меня главный доктор, приехавший с военными, Шенк. В один несчастный день он сказал Ф. М., что если нарыв в течение суток не прорвется и будет стоять та же температура, то он за меня не отвечает, так как силы мои падают и сердце плохо работает. Можно представить мое отчаяние во все время болезни: я видела, что положение мое ухудшается, я уже несколько дней не могла сказать ни слова, а только писала на листочках мои желания. Просматривая записанную доктором 2 раза в день температуру (Ф. М. прятал листок, но няня, не понимавшая, по моей просьбе, показывала), я ясно понимала к чему клонится дело. Мне страшно жаль было умирать, тяжело было оставить дорогих моих, Ф. М. и моих деток, будущее которых мне представлялось вполне безотрадным. Без матери, при больном и необеспеченном отце, что могло их ожидать. Мать моя стара и больна, сестры нет на свете. Оставалась надежда на моего доброго брата, что он моих детей не оставит. Страшно жаль было дорогого моего мужа: кто его полюбит, кто о нем будет заботиться и разделять его горести и работы. Я звала к себе то Ф. М., то детей, целовала, благословляла и писала свои наставления. Но последние два дня перед кризисом наступило какое-то тупое равнодушие; мне как будто не стало жаль ни Ф. М., ни детей, точно я уже ушла из этого мира. Ф. М. очень пугала моя апатия. Когда Шенк сказал свой приговор, Ф. М. пришел в совершенное отчаяние. Не смея плакать при мне, он пошел к отцу Иоанну, присел к столу, закрыл лицо руками и залился слезами. Катерина Петровна Румянцева, хозяйка нашей дачи, подошла к Ф. М. и спросила, что сказал доктор. „Умирает Анна Григорьевна. Что я буду без нее делать. Разве я могу без нее жить“. Добрая Катерина Петровна обняла его за плечо и стала его уговаривать: „Ф. М., не плачьте, не отчаивайтесь, милостив господь, он не оставит вас и детей сиротами“. Сердечное участие и уговоры доброй Катерины Петровны благотворно подействовали на Ф. М. и подняли в нем упавшую бодрость.— Ф. М. всегда с благодарностью вспоминал эти добрые слова и всегда любил и уважал матушку.

К общей нашей радости кризис прошел в ту же ночь: нарыв в горле прорвался и я начала поправляться.

Недели через две нарыв в горле повторился, но уже в слабой степени. Им закончилась полоса несчастий, посетивших нас в 1872 году.

К ПИСЬМУ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1872 г.

63. Федька—сын Федор Федорович, родился в Петербурге 16 июля 1871 года, живший в последние годы в Москве и здесь скончавшийся в 1922 году.

64. Аверкиев, Дмитрий Васильевич (1836—1905), писатель—беллетрист, драматург, публицист и критик. В начале 60-х годов был близок к кружку братьев Достоевских, Аполлона Григорьева и Страхова. Сотрудничал в журналах Достоевских „Время“ и „Эпоха“. Напечатал здесь первую драму „Мамаево побоище“. Позднее, в „Заре“ В. В. Кашпирева, редактированной Н. Н. Страховым, напечатал „Комедию о российском дворянине Флоре Скобееве и стольничьей Нардын Нащокина дочери Аннушке“ (1869, 3). Достоевский дал в письме 6/18 апр. 1869 г. Н. Н. Страхову из Флоренции хвалебный отзыв об этом произведении Аверкиева: „Про Флора же Скобеева хотел бы написать к вам письмо, с тем, чтобы его напечатать в „Заре“, да некогда и слишком волнуюсь; впрочем, может быть, и исполню. Не знаю, что выйдет из Аверкиева, но после „Капитанской Дочки“ я ничего не читал подобного“. (Письма, стр. 278). В том же тоне Ф. М. отозвался о Флоре Скобееве в письме к А. Н. Майкову 15/27 июля 1869 г.: „Комедию о Флоре Скобееве Аверкиева я считаю лучшим произведением за этот год“ („Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы“. Под редакцией А. С. Долинина. П. 1922, стр. 429—430.) По примеру Достоевского, Аверкиев выпускал в 1885—1886 году единолично „Дневник Писателя“, в котором напечатал свою статью о Достоевском. Это был краткий отрывок из подготовляемого Аверкиевым критико-биографического очерка о Федоре Михайловиче к собранию его сочинений (второе, посмертное издание 1885—1886 г. г.). Очерк был поручен Аверкиеву А. Г. Достоевской. Помещение Аверкиевым биографического отрывка в своем „Дневнике“ было, по сообщению Е. А. Штакеншнейдер, неприятно Анне Григорьевне, в чем она откровенно признавалась Е. А. Штакеншнейдер (подр. см. в воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер, „Гол. Минувш.“, 1919, № 1—4, стр. 197).

67. О своей борьбе с Гинтерлах и другими кредиторами по приезде из-за границы Анна Григорьевна, не жалея красок, откровенно повествует в опубликованной части своих воспоминаний. См. сб. „Достоевский“, под ред. А. С. Долинина, Пг. 1922 г., стр. 484–491.

69. Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893), друг Достоевского, пострадавший вместе с ним по делу Петрашевского.

70. Чаев, Николай Александрович (1824—1914), писатель драматург. С ним Д. встречался в 1880 г. в Москве—на Пушкинских торжествах. (См. о нем и далее.)

71(54). „Беседа“—журнал ученый, литературный и политический, издав. в 1871 г. и 1873 г. ежемесячно Сергеем Андреевичем Юрьевым в Москве. С. А. Юрьев (1818—1888), литератор, известный в свое время переводчик испанских драматургов и Шекспира. Ответное письмо Д. на приглашение Юрьева, датир. 27 окт. 1871 г., напечатано вместе с другими письмами Д. к нему за 1878—1880 г. г. в сб. „В память С. А. Юрьева“, М. 1891, 279—280 стр.

К ПИСЬМУ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1872 г.

72. Отрывок из ром. „Бесы“ (Исповедь Ставрогина) опубликован в 1921 г. в первом вып. „Документов по истории литер. и общественности“, изд. Центрархива, М. 1921 г. Отрывок из трех глав (из них одна первая часть была опубликована Анной Григорьевной в юбилейном издании собр. соч. Достоевского 1906 г.) обнаружен в одной из тетрадей с материалами к романам в архиве Достоевского, поступившем в ноябре 1921 года в Центрархив.

73. Воскобойников, Николай Николаевич (1838—1882), инженер путей сообщения, публицист, постоянный и деятельный сотрудник, а с 1875 года помощник редактора „Московских Ведомостей“.

К ПИСЬМУ 27 МАЯ 1872 г.

75. Рохель (Ройхель), Александр Ансельмович—доктор, был директором Старорусских минеральных вод; жена его—Изабелла Исааковна. Они были дружны с семьей Достоевских; после смерти Д., когда в память его открыта была школа в Руссе, И. И. Рохель часто оказывала материальную помощь учащимся школы. Некоторые личные документы Ройхелей оказались в архиве Д., в той его части, какая поступила в Центрархив в 1923 г. (подр. см. наше описание архива Ф. М. Достоевского в ж. „Архивное Дело“, 1925, вып. II, стр. 85).

К ПИСЬМУ ОТ 28 МАЯ 1872 г.

78. Румянцев был настоятелем Георгиевской (Благовещенской) церкви г. Старой Руссы; в его доме Достоевские снимали себе на лето дачу в 1872 г. и с семьей этого священника были дружны долгие годы. Екатерина Петровна—жена Румянцева. После смерти Ф. М. Румянцев оказывал Анне Григорьевне помощь в деле устройства школы для девушек имени Федора Михайловича, открытой 30 октября 1883 г. В следующие годы он взял на себя хлопоты по постройке здания этой школы. Подробная история создания этой школы имени Ф. М. Достоевского, отношение к ней Победоносцева, исходатайствовавшего субсидию в 4.000 р., благожелательное отношение города и жителей к школе — рассказана В. Пылаевым в составленном им географическом очерке „Старая Русса“, ч. 1-я, Сергиев Посад 1916 г., стр. 146—147.

80. Продолжение романа „Бесы“, печатавшегося в „Русском Вестнике“ 1871 г., №№ 1—2, 4, 7, 9—12 и 1872 г., №№ 11—12. Ф. М., очевидно, в это время готовил материал (главы романа) для XI кн. журнала за 1872 год.

К ПИСЬМУ ОТ 30 МАЯ 1872 г.

83. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна о Павле Григорьевиче Сватковском дополнительно сообщила, что в 1866—1867 г.г. он состоял цензором.

К ПИСЬМУ ОТ 3 ИЮНЯ 1872 г.

84. Александра Михайловна Голеновская — самая младшая дочь в семействе отца Достоевских.

К ПИСЬМУ ОТ 8 ИЮНЯ 1872 г.

87. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна о семье Мих. Ник. Сниткина рассказывает следующее: „Как-то зимой 1871 года я была у моего двоюродного брата доктора Михаила Николаевича Сниткина. Весною того же года он женился на Екатерине Ипполитовне, сестре г-жи Сент-Илер. Услышав о моих злоключениях по поводу вещей, Екатерина Ипполитовна сказала мне: „Я слышала от сестры Саши (Александры Ипполитовны Сент-Илер), что на чердаке ее дома хранится какая-то корзина с бумагами, принадлежащая вашему мужу. Я стала расспрашивать, и оказалось, что года три назад Федор Михайлович „младший“ просил у г-жи Сент-Илер позволения поставить у нее на время плетеную корзину с бумагами его дяди. Сам он куда-то уехал, а корзина хранится у них. Я на другой же день послала за корзиной. Мне привезли большую плетеную корзину для платьев, битком набитую бумагами и тетрадями, не запертую на замок, а лишь обвязанную тонкой бичевой.

„Можно себе представить мое восхищение когда, рассматривая содержимое корзины я нашла несколько записных книжек Ф. М., несколько книг по ведению журналов „Время“ и „Эпоха“, доставшихся от Михаила Михайловича и массу самой разнообразной корреспонденции. Эти найденные бумаги не раз сослужили мне службу в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или отвергать какие-либо факты из неизвестной для меня жизни Ф. М. до 1867 г. Как потом выяснилось, эту корзину с письмами и тетрадями по нашем отъезде взял к себе Павел Алекс.; переезжая от Эмилии Ф., он оставил ей корзину; та не знала, что с нею делать, передала ее сыну, а Ф. М. младший поставил ее на хранение в дружественный дом. И все о судьбе этой корзины забыли. Я тогда же припомнила, что у Ф. М. могли быть тетради и рукописи более раннего времени, наприм., относившиеся к ром.: „Униженные“ или „Записки“. И вот, думается мне, что была и другая корзина с бумагами и рукописями, тоже взятая Павл. Алекс., перешедшая от него через несколько рук и лежащая на чьем-нибудь чердаке, всеми забытая, пока о ней не позаботились мыши. Но разъяснить об этом мне не удалось, несмотря на все старания“. *(Цитируем по рукописи).*

К ПИСЬМУ ОТ 12 ИЮНЯ 1872 г.

90. Брат Коля — Николай Мих. Достоевский, отличавшийся болезненным состоянием здоровья. Ф. М. и раньше помогал ему. Николай Михайлович страдал наследственным предрасположением к запою. Л. Ф. Достоевская отмечает в воспоминаниях эту болезнь

своего дяди: „Мой дядя Михаил, хотя и пил, однако, мог все-таки работать. Но несчастный дядя Николай, блестяще окончивший курс, никогда ничего не делал и всю жизнь был в тягость братьям и сестрам". („Достоевский в изображении его дочери"... Пт. 1922, стр. 19).—О постоянной денежной помощи, оказываемой Ник. Мих. братом-писателем, много говорит в воспоминаниях сама Анна Григорьевна (см. „Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы". Под ред. А. С. Долинина. П. 1922).

К ПИСЬМУ 14 ИЮНЯ 1872 г.

91. В это время Ф. М. должен был дать в „Р. Вестник" окончание романа „Бесы". Но Ф. М. задержался в работе, и очень значительно. Поехав в Москву в октябре того года, Ф. М. путем личных переговоров с Любимовым уладил этот тяжелый для него вопрос, и ему было отсрочено напечатание конца романа до ноябрьской и декабрьской книжки, о чем он спешил в свое время (см. письмо № 35—9 окт. 1872 г., стр. 67) уведомить и Анну Григорьевну.

К ПИСЬМУ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1872 г.

93. Так, действительно, и было: в ноябрьской и декабрьской книжках „Русского Вестника" 1872 г. Достоевский допечатал „Бесы", успев к сроку написать последние главы.

95. Перов, Василий Григорьевич (1833—1882), известный живописец, создавший ряд жанрового и исторического характера полотен, оставил несколько портретов деятелей русского искусства и литературы, как-то: Ф. М. Достоевского, Писемского, Рубинштейна и др. Достоевский, выступавший противником реализма в искусстве, высоко ставил талант Перова и весьма ценил его бытовую картину „Охотники". (См. „Дневник писателя" 1872 г., март.) В своих воспоминаниях Анна Григорьевна сообщает точно время и обстоятельства,сблизившие Федора Михайловича с художником Перовым и Третьяковым.„В ту же зиму 1871—1872 г. г. Третьяков,—пишет Анна Григорьевна,—просил у Ф. М. разрешения написать его портрет для своей московской галлереи и художник Перов приехал с этой целью из Москвы. Ф. М., конечно, был очень этим польщен, тем более, что сам Перов оказался чрезвычайно милым и простым человеком. Прежде чем приняться за работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели, заставал Ф. М. в самом различном настроении, беседовал, вызывал его на спор и сумел подметить и изобразить на портрете самое характерное выражение Ф. М., именно то, которое Ф. М. имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил в портрете „минуту творчества" Ф. М. Такое выражение я много раз примечала в лице Ф. М., когда, бывало, войдешь, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав, а потом узнаешь, что Ф. М. был так занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. В. Гр. был умный человек, и Ф. М. любил с ним беседовать. Я также с ним подружилась и всегда присутствовала на сеансах („Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы". Под редакцией А. С. Долинина. П. 1922, стр. 496). По словам Вс. С. Соловьева, когда этот портрет был на выставке в Академии Художеств, идейные противники Д.—редактора „Гражданина"—„приглашали... публику... посмотреть... портрет Достоевского работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных". (Воспоминания о Ф. М. Достоевском, „Исторический Вестник", 1881, март, 612 стр.) Это подтверждает в своих воспоминаниях Я. П. Полонский („Нива", 1884 г., № 4, янв. 28, стр. 79), и Анна Григорьевна Достоевская отмечает с огорчением то же в своих мемуарах: „На академической выставке 1873 г.,—пишет она,— между работами В. Г. Перова был выставлен и портрет Ф. М. Литературные враги его не задумались, описывая выставку и воздавая хвалы художнику, напечатать, что по портрету ясно видно, что Д. представляет из себя умалишенного. Этот отзыв очень огорчил Ф. М. и мне стоило много труда рассеять произведенное отзывом тяжелое впечатление. Какое, однако, нужно иметь жестокое сердце, чтобы это написать, тем более, что обозревателю не могло быть неизвестным та ужасная болезнь, которою страдал Д. и то тяжелое впечатление, которое мог произвести этот отзыв. Да, жестоки порой бывают люди. Я тоже пошла на выставку, чтобы еще раз взглянуть на портрет уже в роскошной раме, вследствие чего портрет несомненно выиграл". (*Цитируем по рукописи.*) Портрет оригинал кисти Перова и теперь хранится в Третьяковской галлерее.

96. Третьяков, Павел Михайлович (1832—1898).

К ПИСЬМУ 10 ОКТЯБРЯ 1872 г.

99. Дело Мясниковых, о котором вскользь упоминает Ф. М., было громким процессом, который „по трудности, сложности и важности превышал все дела, разбиравшиеся до сих пор в стенах (окружного) суда", как охарактеризовал его в речи прокурор. Сущность дела, очень затянувшегося (началось в 1859 г. и разбиралось в 1872 г.), — сводится к обвинению в подделке и подлоге завещания купца Козьмы Васильева Беляева двух братьев Мясниковых, из них один (Александр Константинович) занимал должность адъютанта начальника III отделения собств. е. и. в. канцелярии. В процессе участвовали видные судебные деятели того времени, в том числе акад. А. Ф. Кони. Вердиктом присяжных заседателей духовное завещание, оставшееся после купца Беляева, признано не подложным. Все остальные вопросы вследствие этого оставлены были без ответа, а обвиняемые признаны по суду оправданными. По протесту прокурора суда, уголовный кассационный департамент сената отменил решение и передал дело для нового рассмотрения в Московский окружный суд, в котором последовал такой же приговор. (Подробности дела см. в VI томе издания: „Русские судебные ораторы в известных судебных процессах". Москва 1902, стр. 1—72.) Федор Михайлович, несомненно, интересовался процессом и, как о знакомом и известном событии для Анны Григорьевны, он о нем кратко заметил в письме. Очевидно, Ф. М. застал процесс в московской стадии.

К ПИСЬМУ 20 МАЯ 1873 г.

100. Поляков, Борис Борисович — адвокат петербургский. Ф. М. он был не очень по душе. Характеристику его Ф. М. дает в своем письме Анне Григорьевне от 22 июня 1873 года.

101. Шеры — одни из претендентов, как Достоевские и Казанские, на известную долю в наследстве после общей для них и Достоевских тетки Куманиной, Александры Федоровны, урожденной Нечаевой, — родной сестры матери писателя, бывшей крестной матерью Ф. М. Достоевского. Эту тетку Достоевский изобразил в образе „бабуленьки" в романе „Игрок". А. Ф. Куманина скончалась 29 марта 1871 г. Ф. М., как видно из недавно опубликованного его письма А. Н. Майкову 14/26 августа 1869 года, тогда же предпринял меры в отношении этого наследства. Вот что он писал в этом письме А. Н. Майкову: „Я написал Веселовскому. Повернуть дело (то-есть даже и со мною) зависит теперь от него. Прочтя все внимательно, что вы мне писали, я рассудил, что в деле этом надо начать с осторожности. Этакое дело — щекотливое дело. Что тетка была не в своем уме несколько лет (года 4 последних наверно) — тому и я многократный свидетель и если надо, то найдутся 100 свидетелей. Но с другой стороны я ровно ничего не знаю о ее завещании и о настоящих ее намерениях насчет монастыря. Одно укрепляет меня в намерении — это то, что Веселовский должен основательно знать всю сущность ее завещания, равно и о том, кто будет против нас и кто за. Одним словом, я написал ему в том смысле, что я слышал от вас. Вслед за тем, я прошу у него разъяснения фактов и обстоятельств, подробностей завещания и заключаю тем, что если он твердо уверен в том, что завещание редактировано в последнее время, т.-е. не в своем уме, и что право стало быть очевидное, то, чтоб не оставили меня советами и руководством и изъяснился бы со мною в этом смысле. Я же дело начать, разумеется, готов при вышесказанных обстоятельствах". (См. сб. I, „Ф. М. Достоевский" под ред. А. С. Долинина, стр. 430.)

Дело сильно затянулось; ясности и определенности оно не приобрело за эти годы. Любовь Федоровна Достоевская в своих воспоминаниях отмечает грустный факт ссоры наследников из-за этого дела: „Тетка Куманина умерла во время пребывания моих родителей за границей и оставила очень запутанное наследственное дело. Наследники провели несколько лет в споре между собой, и лишь после смерти моего отца мы получили, наконец, нашу долю" (стр. 74, примеч. 1-е). — Намеки на недружелюбные отношения из-за наследства сестер к писателю находим в ряде писем Ф. М. за последующие годы к Анне Григорьевне. — Любовь Федоровна подробно останавливается на этой распре родственников, оспаривает права некоторых из них (особенно сестер Ф. М.), и ближайшим поводом к развязке с жизнью для Ф. М. она называет неприятный разговор Ф. М. с его сестрой Верой в Петербурге по поводу наследства.

102. Брат Андрей — так обычно Федор Михайлович называет и в следующих письмах Андрея Михайловича Достоевского. А. М.—родной брат Ф. М.—третий по возрасту (1815—1897 г.г.), гражданский инженер, по окончании образования жил в Петербурге.— Веселовский, к которому Федора Михайловича направил еще в 1869 г. А. Н. Майков, был приятелем Андрея Михайловича. А. М.— автор ценных воспоминаний о ранней поре жизни писателя, напеч. в I т. „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского", СПБ. 1883 г., стр. 5—42. Письма Ф. М. к нему и его жене Домнике Ивановне 1854 г. напечатаны в I т. „Биография, письма...", стр. 5—42.

102а. 10 тысяч рублей Ф. М. Достоевский взял у тетки Куманиной осенью 1864 года, когда у братьев Достоевских была нужда в деньгах ввиду закрытия журнала „Время". Об этом займе и плане воздействий Ф. М. на скупую тетку мы знаем из писем его Мих. Мих. 9, 13 и 15 апреля 1864 года из Москвы (см. Письма, стр. 148—150, 153—154, 157—158). Затем об этом же долге в 10 тысяч рублей Ф. М. говорит в письме А. Е. Врангелю 14 апреля 1865 года: „10.000 рублей выпросил у старой и богатой тетки, которые она назначила на мою долю в своем завещании" („Биография, письма...", стр. 280).

103. Жеромский — адвокат, живший в Москве. Он был, очевидно, другом детства Николая Михайловича Достоевского.

104. Витя—один из сыновей Веры Михайловны Ивановой. Вот дети этой семьи: 1) Софья (р. 1846 г.), 2) Мария (р. 1848 г.), 3) Александр—инженер (р. 1850 г.), 4) Юлия (р. 1852 г.), 5) Виктор (р. 1854 г.), 6) Нина (р. 1857 г.), 7) Алексей (р. 1860 г.), 8) Ольга (р. 1863 г.), 9) Владимир (р. 1865 г.), 10) Наталья (р. 1867 г.).

105. Даровое — деревня, купленная отцом писателя — Михаилом Андреевичем на средства жены—матери Ф. М. в 1831 году в Тульской губ., в Каширском уезде, в 150 верстах от Москвы. Сюда ездили на летние каникулы Достоевские всей семьей вместе с матерью (см. об этом в воспоминаниях Андрея Мих. Достоевского и в воспоминаниях Люб. Фед. Достоевской). Вместе с Даровым в состав имения Достоевских входила еще соседняя деревушка Чермашня (см. подр. там же). Деревня, по словам Фед. Мих., оставила в нем „самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь", и все в ней было полно для него „самыми дорогими воспоминаниями",—между прочим, о встречах с крестьянами—мужиком Мареем, Аленой Федоровной и др. лицами, отразившимися, как известно, в его романах.

К ПИСЬМУ 12 ИЮНЯ 1873 г.

106. Очевидно, на имя знакомого Достоевским священника Ивана Румянцева (см. выше, примечание 78). Анна Григорьевна с семьей в это время жила в Старой Руссе, а Ф. М. оставался в Петербурге. Он был занят как редактор „Гражданина" Мещерского и приезжал на 2—3 дня из Петербурга в Руссу, чтобы повидаться с семьей.

107. К судебной ответственности Ф. М. был привлечен, как редактор „Гражданина", за статью под названием „Киргизские депутаты в С.-Петербурге" в одном из первых подписанных им номеров газеты (№ 5, 29 января 1873 года, стр. 153—154).

В этой заметке сообщалось о комическом эпизоде, случившемся во время приема Александром киргизской делегации. В заметке „Киргизские депутаты в С.-Петербурге", доставленной в редакцию, очевидно, одним из свидетелей представления этой делегации императору, между прочим, сообщалось: „Старший из депутатов Султан Магомет, султан Киргиз, начав произносить речь, которая была им самим от имени всего народа составлена, произнес первоначально твердо и правильно: „Ваше императорское величество", но на этих словах, когда государь возразил: „А ты говоришь по-русски?"— Магомет до того переконфузился, что далее мог произнести тихо только несколько слов по-киргизски из приготовленной благодарственной речи и потом положительно онемел". Сам по себе совершенно невинный, этот эпизод не мог быть, однако, оглашен без особого разрешения министра императорского двора (подр. см. статью Ю. Г. Оксмана „Д. в редакции „Гражданина",—см. „Творчество Достоевского", сб. под ред. Л. П. Гроссмана, Одесса, 69 стр.), какового редакция журнала не пыталась получить. В силу этого председатель Спб. Цензурного Комитета обратился к прокурору Спб. Окружного Суда с предложением, на основании высочайшего повеления от 23 апреля 1870 г., возбудить преследование против отставного поручика Ф. М. Достоевского по ст. 1024 уложения о наказаниях. Дело, как известно, приняло дурной оборот. „Около святой, мне помнится,—рассказывает в своих „Воспоминаниях" Н. Н. Страхов,—произошла в кружке „Гражданина" большая тре-

вога; говорили, что издание невозможно продолжать, и Ф. М. был некоторое время в большом беспокойстве" (Биография, 299).

Об этом же эпизоде говорит в своих воспоминаниях А. Ф. Кони, но только не совсем точно: „В бытность мою прокурором Окружного Суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским, написала мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором „Гражданина"—имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного разрешения министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем, предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это, по своим соображениям, удобным. За любезным письмом Достоевского, с выражением благодарности, последовало его посещение, отвечая на которое, я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной обстановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных" (А. Ф. К о н и, „Некрасов, Достоевский. По личным воспоминаниям". Петербург. Коопер. Изд. Литераторов и Ученых, стр. 55—56; ср. его же: „На жизненном Пути", т. II, 96—108; в „Вестнике Литературы", 1921 г., № 2, стр. 7 и № 3, стр. 9).

Таким образом „за маленький редакторский грех" (выражение Ф. М., ср. Воспоминания В. В. Тимофеевой—„Исторический Вестник", 1904, II, 535) Ф. М. расплатился „арестом при гауптвахте на Сенной". По свидетельству Анны Григорьевны, „было это с четверга 11 часов утра по субботу 11 часов на вербной неделе 1873 г." (см. сб. „Творчество Достоевского" под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, стр. 33). Эта дата оказывается неверной. А. Гр. ошиблась в годе; это был 1874 год, а не 1873 год. Письма Ф. М. к ней вскрывают эту неточность: в июне 1873 г. Ф. М. говорит об аресте, как будущем факте, после суда над ним 22 июня 1873 г.— Затем воспоминания Всев. Серг. Соловьева, подтверждая месяц ареста, поправляют также год. Всев. Сергеевич (свидетель, вообще, надо признать, очень авторитетный и точный в своих показаниях) рассказывает об этом событии в жизни Д. так: „Весною 1874 года... как-то он (Ф. М.) заехал ко мне и, не застав меня дома, оставил записку, в которой между прочим объявлял, что через несколько дней должен засесть на гауптвахту в качестве редактора „Гражданина".

„Утром, 22 марта, пришел ко мне Аполлон Николаевич Майков.

— А я к вам знаете откуда?—сказал он,—от узника; сидит наш Федор Михайлович... ступайте к нему, он ждет вас.

— В каком же он настроении?

— В самом лучшем; непременно отправляйтесь...

Я поехал в известный уголок Сенной площади. Меня тотчас же пропустили. Я застал Ф. М. в просторной и достаточно чистой комнате, где, кроме него, в другом углу был какой-то молодой человек, плохо одетый и с самой бесцветной физиономией.

Ф. М. сидел за маленьким простым столом, пил чай, курил свои папиросы, и в руках его была книга. Он мне обрадовался, обнял и поцеловал меня". („Воспоминания о Ф. М. Достоевском". „Истор. Вестник", 1881, март, стр. 614).—Таким образом датой ареста надо считать 21—23 марта (четверг—суббота вербной недели) 1874 г.

108. М е щ е р с к и й, В л а д и м и р П е т р о в и ч (1839 — 1914), беллетрист и журналист, по матери внук Карамзина. Имела успех его комедия „Миллион" и сатирические романы. С 1872 г. Мещерский начал издание газеты „Гражданин", впоследствии ставшей органом ярко реакционного направления. Ф. М. в 1873 году был редактором этой газеты, сменив на этом посту А. Д. Градовского и передав в следующем году редакторство В. Ф. Пуцыковичу. Подробные сведения об этом эпизоде см. в статье Ю. Г. О к с м а н а „Ф. М. Достоевский в редакции „Гражданина"—сб. „Творчество Достоевского", Одесса 1921, стр. 63.—82. Сам Мещерский в своих воспоминаниях уделил место повествованию о своем сближении с Достоевским и дал некоторую характеристику Д. как противника женского движения. (Мои воспоминания, ч. 2, 1865—1881 г.г. СПБ. 1898, стр. 175—182.)— По словам Мещерского, Д. сам вызвался быть редактором „Гражданина", по словам Анны Григорьевны (см. воспоминания о 1872 г.—„Красный Архив", 1923, т. III, стр. 276), Мещерский и весь этот кружок склонили к этому решению Достоевского.— „К концу первого года издания „Гражданина", — рассказывает Мещерский (стр. 175), — мне пришлось разочароваться

в моем alter ego, Градовском, или, говоря вернее, убедиться в том, что он не моего прихода... Положение было критическое... Где искать такого сотоварища. И в эту трудную минуту, в одну из сред, когда за чашкою чаю мы говорили об этом вопросе, никогда не забуду, с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом — Ф. М. Достоевский обратился ко мне и говорит мне: хотите, я пойду в редакторы?

„В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Д. решился на это из сочувствия к цели издания...

„Но этого мало. Решимость Д. имела свою духовную красоту. Д. был, невзирая на то, что он был Достоевский,—беден; он знал, что мои личные и издательские средства ограничены, и потому сказал мне, что он желает для себя только одного самого нужного гонорара, как средств к жизни, сам назначив 3.000 рублей в год и построчную плату.

„Горизонт „Гражданина", потускневший к концу года, прояснился с этим отрадным фактом, явились надежды на успех „Гражданина", благодаря имени Достоевского. Но Достоевский оказался пророком.

— Нет,—говорил он,—не предавайтесь иллюзиям, мое имя вам ничего не принесет: ненависть к „Гражданину" сильнее моей популярности; да и какая у меня популярность. У меня ее нет, меня раскусили, нашли, что я иду против течения.—И он оказался прав.— Что-то холодное, что-то злое приветствовало Достоевского во всей тогдашней печати в его новой роли хозяина „Гражданина". Его признали виновным в совершении гнусного дела и не заслуживающим никакого снисхождения. Нападения на „Гражданин" стали злее и интенсивнее, а результатом было то, что подписка 1873 года обнаружила количество самое незначительное, приблизительно сотни на две увеличения числа подписчиков" (стр. 176).—О нападках на Д., как редактора „Гражданина", говорит в своих воспоминаниях и Всеволод Сергеевич Соловьев. „Его редакторская деятельность,—писал Соловьев,— на которую он (Д.) возлагал такие надежды... оказалась не вполне удачной... на нового редактора со всех сторон посыпались насмешки, глупые и пошлые. Автора „Преступления и Наказания" и „Записок из Мертвого Дома" называли сумасшедшим, маньяком, отступником, изменником, приглашали даже публику итти на выставку в Академию Художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек" („Истор. Вестник", 1881, март, 612).

109. Траншель, А.—владелец типографии, в которой печатался „Гражданин". Задержка работ типографии из-за неуплаты денег издателем, без сомнения, должна была отозваться на своевременности и аккуратности выхода газеты в свет.

110. Федя—Федор Михайлович младший—сын умершего в 1863 г. Мих. Мих. Достоевского. Ф. М. младший в эти годы, по словам Анны Григорьевны, хорошо зарабатывал, как учитель музыки. В ее воспоминаниях за 1872 год мы читаем: „Старший сын ее (Эмилии Федоровны—жены Мих. Мих. Достоевского) Федор Михайлович, младший, как его называли родные в отличие от моего мужа, Ф. М.» „старшего", имел в то время массу выгодных уроков на рояли". Родился он в Ревеле в ноябре 1842 г.—Вспоминая об утрате всего имущества, когда вернулись в 1871 г. из-за границы, А. Г. Достоевская поминает добрым словом Ф. М. младшего: „Обрадовал нас очень Федор Михайлович младший, возвратив большой сундук с письмами и тетрадями Ф. М., у него хранившимися". (*Цитируем по рукописи*).

111. Кашпирев, Василий Владимирович (1836—1875), издатель „Памятников новой русской истории" (СПБ. 1871—1873), в 1869 году приступил к изданию журнала „Заря" (в Петербурге) умеренного консервативного направления (выходил в 1869—1873 г. г.). Достоевский очень сочувствовал этому изданию, так как редактором его был друг его, Н. Н. Страхов. Здесь Ф. М. поместил свой роман „Вечный муж" (1870, № 1 и 2). Некролог Кашпирева принадлежит Н. Н. Страхову и напечатан в „Гражданине" (1875 г., № 50). Страхов характеризует Кашпирева, как человека очень доброго, очень деликатного, но крайне медлительного, что вызывало подчас сильное раздражение в его сотрудниках и в частности в Достоевском (см. письмо к Н. Н. Страхову из Дрездена от 16/28 октября 1869 г.). По приезде в Петербург Достоевские стали знакомы домами с Кашпиревыми. Извещения о бытовых мелочах их жизни порой проскальзывают в письмах Ф. М. к Анне Григорьевне, напр., в письме 26 июня 1873 года. „Бывала я вместе с Ф. М.,— пишет в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская,—и в семье Кашпиревых; Василий Владимирович, глава семьи, был издателем журнала „Заря", а его жена Софья Сергеевна, редактором детского журнала „Семейные Вечера". Оба были симпатичные люди. У них я запомнила в 1873 году интересный вечер, когда писатель Писемский читал свой ненапечатанный роман „Мещане". Наружностью он не производил выгодного впечатления, но читал он превосходно, удивительно оттеняя типы своего романа".

К ПИСЬМУ 14 ИЮНЯ 1873 г.

112. О какой статье пишет Ф. М.—точно неизвестно; очень вероятно, что это статья, помещенная в № 25 „Гражданина“ за 18 июня, гл. XII „Дневника Писателя“ (по поводу новой драмы), стр. 702—706. Статья эта отмечена Анной Григорьевной в сост. ею „Библиографическом указателе“ (СПБ. 1906, стр. 43; см. собр. соч. изд. „Просвещ.“, т. 19).

113. Александра — прислуга; несколько упоминаний о ней сохранилось и в воспоминаниях Анны Григорьевны.

К ПИСЬМУ 22 ИЮНЯ 1873 г.

114. В „Современных Известиях“ 12 июня 1873 года, в № 159, на 1-й стр. в отделе „Судебной Хроники“ действительно есть публикация среди других дел Окружного Суда по V Гражданскому Отделению о назначении к слушанию дела г.г. Шеров и Казанских, под № 19.

115. Страхов, Николай Николаевич (1826—1896), близкий и долголетний друг Ф. М., Аполлона Григорьева, позднее—Льва Толстого. С Ф. М. он близок и идейно, как последователь идеалистической философии. В критических статьях, помещенных во „Времени“ и „Эпохе“, Страхов выступал против „нигилизма“ и „материализма“—веяний 60-х годов. За статью Страхова „Роковой вопрос“ о польском восстании (не так понятую) закрыто было в мае 1863 г. „Время“ на 4-й книге. Во время заграничной жизни Ф. М. переписывался с ним в числе немногих своих друзей. Письма Ф. М., а также и воспоминания свои о Ф. М. Страхов издал в I т. „Биография, письма и заметки из зап. книжки Ф. М. Достоевского“. СПБ. 1883.

116. „Князем“ просто Ф. М., без сомнения, называл издателя журнала Вл. П. Мещерского; см. выше примечание 108.

117. Секретарем редакции „Гражданина“ в 1872—1873 г. г. был Пуцыкович, Виктор Феофилович. Пуцыкович (1843—1899), писатель и журналист. Он состоял секретарем редакции „Гражданина“, когда с ним познакомился Федор Михайлович. С 1874 г. Пуцыкович был редактором-издателем „Гражданина“, сменив на этом посту Ф. М. в апреле 1874 г. (см. Ю. Г. Оксман: „Ф. М. Достоевский в редакции „Гражданина“, напеч. в сб. „Творчество Достоевского“ под редакц. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921 г., стр. 81). С конца 1879 по 1881 г. Пуцыкович издавал и редактировал в Берлине „Русский Гражданин“. Ф. М. вначале обещал свое участие и готовил для № 1 статью, но статьи не дал и разрешил только выставить свое имя, а позднее стал еще более скептически относиться к этому предприятию Пуцыковича, что и высказал в письмах к Анне Григорьевне Достоевской в 1879 г. В письме к К. П. Победоносцеву 9/21 августа 1879 г. Ф. М. дал резкую характеристику его: В Пуцыковиче я „заметил одну... черту: это лентяй и работать не в состоянии. Я, вы знаете, до самого последнего времени брал в нем участие, но теперь он привел меня в отчаяние. И все сваливает на людей“. В 1879 г. Федор Михайлович принимает близкое участие в его судьбе и материальных делах и делает попытку примирить с Катковым и устроить его в „Московских Ведомостях“. Письма Ф. М. к нему за время 1874, 1878, 1879 и 1880 г. г. напечатаны в „Московском Сборнике“ под редакцией Сергея Шарапова. М. 1887, стр. 8—15.

118. Филиппов, Тертий Иванович (1825—1899), государственный и общественный деятель, был близок со славянофилами, с кружком „Молодого Москвитянина“, когда жил в Москве. Затем перешел в Петербург; в эти годы с 1864 г. служил в государственном контроле; в 1878 году—товарищ государственного контролера, с 1889—государственный контролер. Филиппов отличался твердо установленным мировоззрением, имел влияние в свое время на Островского, Ап. Григорьева и Писемского. Он участвовал в „Гражданине“ со времени его основания и входил в кружок Мещерского (см. воспоминания Анны Григорьевны о 1872 г. в ж. „Кр. Архив“, 1923, т. III, 276—277).

119. Клец.—Каких-либо сведений об этом лице нам не удалось найти.

120. Ареста не было. Ф. М. говорит о том же и в след. письме, назначая срок этому через 3 недели. Мысль об аресте очень беспокоила и волновала Ф. М., и он выражал даже открыто свое неудовольствие по этому делу на издателя Мещерского (см. об этом письмо 5 июля 1873 г.).

К ПИСЬМУ 26 ИЮНЯ 1873 г.

121. Подписки о невыезде с Ф. М. не брали, как известно.

122. Из Соловьевых были знакомы с Ф. М. с зимы 1872/73 г. братья Всеволод и Владимир Сергеевичи.

Владимир Сергеевич ездил за границу в 1875 году. И здесь, очевидно, речь идет о поездке Всеволода Сергеевича.—Всеволод Сергеевич (1849—1903), беллетрист, познакомился с Ф. М., по собственному заявлению в воспоминаниях о Ф. М. („Истор. Вестник", 1881, март, 605 — 606 стр.) 1 января 1873 г., когда Ф. М. жил в д. № 14, в Измайловском полку, во 2 роте. Их связывала долголетняя дружба; во время отъезда Д. за границу на лечение в Эмс (напр., в 1876 г.) они переписывались; некоторые из писем Д. Соловьев приводит в своих воспоминаниях („Истор. Вестник", 1881, апрель). Соловьев был большим поклонником таланта Д.; Д. любил с ним вести искренние беседы; содержание их частию передано С. в воспоминаниях. За два года до смерти Д. их дружеские отношения, к сожалению, прервались, и сведения Соловьева об этих годах до крайности скудны. Воспоминания С. надо признать ценными, точными и фактичными. Кроме „Воспоминаний", Всев. С. Соловьеву принадлежат статьи: Ф. М. Достоевский —„Нива", 1878, № 1; Памяти Ф. М. Д-го.—„Нива", 1891, № 7. Упоминания о Д. есть в его романе „Цветы бездны" („Русск. Вестник", 1895, янв., 34—37).

К ПИСЬМУ 5 ИЮЛЯ 1873 г.

123. В своих воспоминаниях Мещерский ни словом не обмолвился ни о факте ареста Ф. М. из-за редакторского промаха, ни о своем сочувствии Д. по этому поводу.

124. Дмитревский—сведений об этом лице не удалось разыскать.

125. Печаткин—владелец типографского дела в Петербурге.

126. Гладков (имя и отчество неизвестно)—очевидно, один из второстепенных сотрудников редакции.

127. Тришин—коммерсант, ссудивший в долг Ф. М. и получавший в это время с него проценты.

128. Хозяином Д. в это время был владелец дома на Лиговке гр. Сливчанский; неблагоприятный отзыв о нем Ф. М. дает в письме к Анне Григорьевне 19 августа 1873 г. (см. стр. 94).

129. Хозяевами в данном месте Ф. М. называет хозяев дачи в Старой Руссе,—это был Гриббе, Александр Карлович, ранее состоявший, по словам Анны Григорьевны, на службе в военных поселениях при Аракчееве и теперь проживающий на покое в Старой Руссе в собственном доме. „Лето 1873 года я с детьми жила в Старой Руссе,—пишет Анна Григорьевна в своих воспоминаниях.—Так как дача священника Румянцева была уже сдана, то мы поселились в доме полковника А. К. Гриббе, усмирителя бунта 1830 г., о чем он и описал в „Русской Старине" (См. „Русск. Стар.", 1876, т. XVII, 513—536: „Холерный бунт в Новгородских военных поселениях 1831 г."). Это был очень милый и добрый старичок, полюбивший моих детей. Нам чрезвычайно уютно и покойно жилось у Гриббе" (*Цитируем по рукописи*). Более подробно рассказывает о Гриббе и его доме Любовь Федоровна в своих воспоминаниях (см. 76 стр. русск. изд.).

К ПИСЬМУ 10 ИЮЛЯ 1873 г.

130. С Образцовым велись, судя по переписке, деловые сношения Ивана Григорьевича Сниткина. Точных сведений о нем не нашли.

131. Архангельский—сведений об этом лице мы также не нашли.

132. Победоносцев, Константин Петрович (1827—1907), известный обер-прокурор синода, имел большое влияние на консервативное направление внутренней политики в России, особенно в годы 1881—1904. Сближение Достоевского в последнее десятилетие его жизни (1871—1881) с Победоносцевым является моментом далеко небезынтересным для истории общественных отношений той эпохи и важным фактом как в личной, так и в литературной биографии писателя,—страницей, до сих пор оставшейся совершенно неосвещенной.

Знакомство Достоевского состоялось зимой 1871/72 г. в доме кн. Влад. П. Мещерского. Этому знакомству суждено было продолжаться; следующий 1873 год,—время редакторства Федора Михайловича в „Гражданине“,—сближает их на долгие годы. Победоносцев тепло и сердечно с первых же дней относится к Достоевскому. Об этом времени Победоносцев вспоминает в письме к И. С. Аксакову 30 января 1881 г.: „Нас (т.-е. Д. и Победоносцева) сблизило время его редакторства в „Гражданине“; тогда из участия к его отчаянному положению я целое лето работал с ним вместе, и мы весьма сошлись“.

Дружба окрепла, и в ответ на создавшуюся потребность общения Победоносцев уславливается с Федором Михайловичем о еженедельных встречах и беседах по субботам, в 9 часов вечера, после всенощной.

Беседы с глазу на глаз еще более сближают. И если вначале самолюбивому Достоевскому льстило знакомство с столь видной бюрократической фигурой, какою был обер-прокурор Победоносцев, приятна была близость и определенно проявляемый к его личности интерес со стороны синодального обер-прокурора, и он не-прочь был строить планы на этом знакомстве и питать уверенность в преодолении материальной нужды, тревожившей часто в те годы,—то через три—пять лет Достоевский уже очень дорожит мнением Победоносцева, к нему приезжает из Старой Руссы „лечить дух“ в период упадка, отдает на его суд свои литературные творения, поверяет свои творческие раздумья, обсуждает с ним свои замыслы—вроде образа Зосимы; ему откровенно поверяет свои грустные думы по поводу настроений и уклонений в дорогом ему мире литературы и в обществе, похожих — увы! — на „сумасшедший дом“ (выражение Достоевского); с ним делится тревожными сомнениями, как бы на Пушкинских торжествах в июне 1880 г. не одержала верх западническая партия, и тем самым дорогие ему убеждения и взгляды не потерпели крушения и не лишились бы сочувствия в обществе.

Понятно, как тяжело должна была отозваться смерть Достоевского в сердце Победоносцева и лиц, близких к нему по убеждениям—Аксакова и др. Сохранилась трогательная по своей искренности переписка Победоносцева с Аксаковым по поводу болезни и, наконец, смерти Федора Михайловича. В письме 30 января 1881 г. К. П. Победоносцев писал И. С. Аксакову: „Тяжко, пишешь ты, еще не знав о кончине Ф. М. Достоевского. А вот у его гроба и вдвое тяжко. Я близко знал этого человека. Для него исключительно у меня был назначен вечер субботний, и он нередко приходил проводить его вдвоем со мною. И своего „Зосиму“ он задумал по моим указаниям: много было между нами задушевных речей..... В нынешнюю пору он как раз пришелся по времени. И теперь незаменим, ибо стоял сам по себе“ *). В самый день смерти Д. (29 января 1881 г.) Победоносцев, ходатайствуя о субсидии для семьи писателя, обратился с письмом к Александру III (тогда наследнику), где выразил ту мысль, что смерть Д.—„большая потеря для России. В среде литераторов он — едва ли не один — был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря,— к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно. Многие..... обращались к нему, как духовнику, словесно и письменно. Теперь некому его заменить“ (см. „Красный Архив“, 1923, том II, стр. 252). Письма Ф. М. к Победоносцеву, ценные для знакомства с воззрениями Д. за 1879 и 1880 г. г., сохранившиеся в архиве Д. в количестве 6, и одно письмо Победоносцева к Анне Григорьевне опубликованы нами в журнале „Красный Архив“, т. II, 1923, стр. 242 — 252.

К ПИСЬМУ 20 ИЮЛЯ 1873 г.

133. Миша — второй сын Мих. Мих. Достоевского (род. в Ревеле в 1847 г.); в эти годы (с 1869 г.) он служит в банке; в 1875 г. — в Обществе Взаимного Кредита.

134. Клейн—книгопродавец, имевший контору в Петербурге; через него, повидимому, шла продажа сочинений Д.

135. Гриша — малолетний сын Ивана Григорьевича и Ольги Кирилловны Сниткиных.

---

*) „Новое Время“, 1909 г., № 12118 (иллюстрированное приложение); ср. В. Е. Чешихин-Ветринский — „Достоевский“, стр. 162—163.

К ПИСЬМУ 23 ИЮЛЯ 1873 г.

136. Белов, Евгений Александрович (1826—1895), по образованию историк; в 1873 году был одним из деятельных сотрудников „Гражданина“ по отделу „Библиографии“. Ему принадлежит несколько рецензий (и из них две—три значительные) в „Гражданине“ за 1873 год, как-то: на книги „Нашим Детям“, научно-литературный сб. А. Н. Якоби (№ 26 „Гражд.“), „Что читает народ“ (№ 21) и др. в №№ 30, 31, 32. В энциклопедическом словаре Брокгауза его участие в „Гражданине“ осталось неотмеченным. Д. и в следующих письмах не раз упоминает это имя как своего сотрудника по „Гражданину“. Белов был преподавателем средней школы до 1864 г. в провинции, с 1865 г. до смерти в Петербурге. в частности, в 1877—1891 г.г., он был преподавателем истории в младших классах Александровского лицея.

К ПИСЬМУ 26 ИЮЛЯ 1873 г.

137. Бретцель — петербургский врач,— подробностей о нем в литературе мало. Известно только, что Бретцель в продолжение ряда лет лечил семью Достоевского и самого Ф. М. до самой его смерти, как рассказывает это Людмила Федоровна Достоевская в главе своих воспоминаний „Последние годы и смерть Достоевского“ (см. в русском издании стр. 97 и 98).

138. Статьей Ф. М. задумал откликнуться на смерть Ф. И. Тютчева, последовавшую 15 июля 1873 г. Статьи своей Ф. М. не написал; в его личном архиве, находящемся в Центрархиве, ни отрывков, ни черновиков этой статьи не сохранилось. Краткую, но выразительную оценку Тютчева, как поэта, Ф. М. дал в поминальной заметке от редакции в № 30 „Гражданина“ от 23 июня 1873 г., где писал: „Некролог. 15 июня в Царском Селе скончался Федор Иванович Тютчев, сильный и глубокий русский поэт, один из замечательнейших и своеобразнейших продолжателей Пушкинской эпохи. С горестью сообщая об этой утрате нашим читателям, мы имеем в виду в непродолжительном времени, в отдельной статье, по возможности оценить поэтическую деятельность покойного поэта“ (стр. 842).

К ПИСЬМУ 29 ИЮЛЯ 1873 г.

139. Статья Мещерского по поводу смерти Ф. И. Тютчева помещена в № 31 „Гражданина“ от 30 июля 1873 года на стр. 846—848 под названием: „Свежей памяти Ф. И. Тютчева“.

140. Варгунин, Замысловские, Трощин и Печаткин — кредиторы Достоевского, владельцы разных отраслей типографского, бумажного и печатного дела в Петербурге; напр., торговый дом А. И. Варгунина, имевший склад бумаги, ссужал братьев Достоевских, когда они издавали журналы „Время“ и „Эпоха“.

141. Сниткин, И. Г., по словам Анны Григорьевны, весной 1874 г. нашел имение в Курской губ.— „Малый Прикол“ близ города Мирополья — и приобрел его. Туда Ф. М. с семьей в 1877 году летом ездил в гости. На тетради с материалами к роману „Подросток“, датированной на заглавном листе рукой Ф. М. „1874 г.“, Анна Григорьевна почерком, кам нам кажется, того же времени (1874), отличным от почерка 1909 г., которым на том же листе она сделала в 1909 г. запись: „Эта записная книга Ф. М. Достоевского подарена мною внукам моим Федору и Андрею Достоевским 28 января 1909 г. Анна Достоевская“,— записала адрес Ивана Григорьевича Сниткина: „Для письма Ивану Григорьевичу Сниткину, Курской губ., Суджанского уезда, в заштатный город Мирополье, до востребования“. — В случае телеграммы: „В город Сумы, Харьковской губ., до востребования эстафетой в деревню Малый Прикол, Курской губ., Суджанского уезда, Ивану Григорьевичу Сниткину“.

К ПИСЬМУ 10 АВГУСТА 1873 г.

142. Вольф, Маврикий Осипович — крупный книгоиздатель и книгопродавец в Петербурге, позднее в Москве. Подробный рассказ о деятельности М. О. Вольфа с момента его появления в Петербурге в 1848 г. до конца жизни дан С. Ф. Либровичем в книге: „На книжном посту“. Изд. Вольфа, 1916, см. на стр. 441—496 главу под названием „Сорок лет служения книге“.

143. Беспокойство Ф. М. о здоровьи детей во время пути объясняется сложностью и неудобствами передвижения между Старой Руссой и Новгородом, где было летом развито сообщение на пароходах; зимой же приходилось ездить на лошадях; от Новгорода до Петербурга—по железной дороге. Анна Григорьевна не раз в своих воспоминаниях рассказывает о неудобствах этого сложного передвижения, между прочим, она дает и точный маршрут: „От Новгорода пароходом шли по реке Полисти и, не доходя до Новгорода, остановились на озере Ильмене, против деревни Устрики, в 18 верстах от Старой Руссы, дальше ехали на лошадях“ (*Цитируем по рукописи*).

Примечания к письмам Федора Михайловича ко мне за 1874 г.*)

В своих летних письмах 1874 года из Эмса Федор Михайлович несколько раз возвращается к угнетавшей его мысли о том тяжелом времени, которое предстояло нам пережить в ближайшем будущем. Положение, действительно, было таково, что могло заставить задуматься нас, которым и всегда-то нелегко жилось.

Я уже говорила, что в апреле этого года приезжал к нам Н. А. Некрасов просить Федора Михайловича поместить его будущий роман в „Отечественных Записках“ на 1875 г. Федор Михайлович был рад возобновлению дружелюбных отношений с Некрасовым, талант которого он высоко ставил; был доволен также и тем обстоятельством, что Некрасов предложил цену на 100 рублей выше, чем получал Федор Михайлович в „Русском Вестнике“, то-есть 250 рублей за лист, а это при обычном размере романов Ф. М. (40—50 печ. листов) составляло для нас крупную сумму. Но в этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона: „Отечественные Записки“ были журналом противоположного лагеря и еще так недавно, во время редактирования Ф. М. журналами „Время“ и „Эпоха“ вели с ними ожесточенную борьбу. В составе редакции „О. З.“ находилось несколько литературных врагов Ф. М.: (Михайловский, Скабичевский, Елисеев, отчасти Плещеев) и они могли потребовать от Ф. М. изменений в романе в духе их направления. Но Федор Михайлович ни в каком случае не мог поступиться своими убеждениями. „Отечественные же Записки“, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений Федора Михайловича, и вот при первом сколько-нибудь серьезном разногласии, Ф. М. несомненно потребовал бы свой роман обратно, какие бы ни произошли от этого для нас последствия. В письме 20 июля/1 августа 1874 г. он говорит (последнее письмо из Эмса от 1874 г.) о том, что готов просить милост[ыню].

Чтобы мы стали делать в этом случае—мысль эта чрезвычайно беспокоила нас обоих. Не говоря уже о том, что пришлось бы тотчас же вернуть взятые авансом деньги; но они были уже прожиты и уплатить немедленно представляло бы для нас чрезвычайную трудность. Но кроме того, чем бы мы стали жить до того времени, пока Федору Михайловичу удалось бы пристроить свой роман. Ведь „Русский Вестник“ был единственный тогда журнал, в котором Ф. М. по своим убеждениям мог работать, но теперь „Р. Вестник“ был для Ф. М. почти недоступен. Катков приобрел для журнала „Анну Каренину“ Л. Н. Толстого и вряд ли мог или захотел бы сделать в том же году еще новую крупную затрату на приобретение романа Федора Михайловича.

Придумывая разные исходы на случай предвидимой для нас неудачи, я остановилась на мысли сколь возможно уменьшить расходы на содержание нашей семьи. Как скромно мы ни жили, но, кроме уплаты тяготевших над нами долгов и %, мы тратили в год не меньше трех тысяч, т. к. одна наша всегда скромная квартира стоила 700—800 р., а с дровами и всю тысячу. Мне и пришло в голову остаться зимовать в Руссе, тем более, что мы с Ф. М. твердо решили и будущею весною вновь переехать в Руссу, в виду той пользы, которую здешние купанья принесли нашим детям. Таким образом переезжать в Петербург приходилось всего лишь на 8—9 месяцев, из которых месяца полтора наверно ушли бы на приискание квартиры, устройство, а также на приготовления к переезду на лето. Все это время было бы потеряно для работы, а Ф. М. чрезвычайно дорожил возможностью скорее окончить роман, чтобы приступить к исполнению своей заветной мечты—изданию своего независимого органа „Дневника Писателя“.

Не говоря о дешевизне квартир в Старой Руссе, сама жизнь, жизненные припасы были втрое дешевле петербургских, сокращались и другие расходы, неизбежные в столице.

Но кроме материальных расчетов для меня лично была пленительна возможность пожить целую зиму тою же спокойною, мирною и столь милою нам семейною жизнью,

*) Кроме этого заголовка, в рукописи имеется еще заголовок, выставленный позднее карандашом: „VI (глава). Лето 1875 года“.

какою мы всегда жили летом, и о которой всегда с добрым чувством вспоминали зимой. В Петербурге по зимам Ф. М. слишком мало принадлежал семье: ему приходилось бывать в обществе, читать на литературных вечерах и принимать у себя много людей, подчас для него вполне ненужных и не интересных, но отказывать которым в приеме, по всегдашней своей доброте, он не считал возможным. К нему приходили многие лица, желавшие знать его мнение о своих произведениях и оставляли подчас толстые рукописи, которые Ф. М. добросовестно прочитывал, чтоб иметь возможность высказать свое искреннее мнение и дать добрый совет. Приходили просить протекции Ф. М. у его высокопоставленных друзей, просили занятий, работы, денег, которых у нас самих было мало. Ф. М. не мог ни в чем отказать людям, хотя эти бесчисленные посещения утомляли его, мешали его занятиям, отнимали его время для лечения его уже и тогда слабевшего здоровья (сколько раз из-за докучного посетителя он опаздывал на сеанс сжатым воздухом в лечебницу д-ра Симонова, что приносило ему такую очевидную пользу). Наконец отнимали Ф. М. от меня и детей, с которыми ему приходилось меньше видеться, а дети составляли для него счастье. Оставаясь на зиму в Руссе, мы разом избавились от многого, так портившего жизнь Федора Михайловича и мою.

Остановившись на мысли перезимовать в Руссе, я принялась искать квартиру. На нашей даче оставаться зимой было невозможно: кухня приходилась внизу, а так как мне, как хозяйке, приходилось часто бывать там, то ходьба по нетопленной лестнице была вечным источником простуды как моей, так и нашей прислуги. Но в Руссе большую квартиру найти было нетрудно: дачи, отдающиеся за 300 — 400 руб. в лето, зимой пустуют и их отдают рублей за 15 в месяц. Таких квартир мне удалось найти несколько. Но я решила ждать возвращения Ф. М. из Эмса: проездом через Петербург он мог найти подходящую квартиру и тогда о зимовке в Руссе нечего было бы и думать.

Федор Михайлович вернулся в Руссу около 10 августа *); в Петер[бурге] он пробыл два—три дня, но квартиры не нашел, да и не старался искать, так как он очень соскучился по семье и спешил домой.

Несколько дней спустя по приезде зашел у нас разговор о зимней квартире и о том, когда нам из Руссы придется уехать. Тогда я, в виде предложения, сказала: „Ну, а чтобы нам остаться на зиму в Руссе“. Мое предложение встретило прямой отпор со стороны Ф. М. Повод отказа был неожиданный, но очень для меня лестный. Ф. М. стал говорить, что я соскучусь в Руссе, живя такою уединенною, как летом, жизнью. „Ты и в прошлые зимы нигде не бывала и не пользовалась никакими удовольствиями; в этом году, бог даст, работа пойдет и денег будет больше, сошьешь себе нарядов и будешь бывать в обществе“. Видеть меня нарядно одетой было всегдашним желанием Ф. М., о котором он упоминает и в письмах**), увы, по безденежью, никогда не осуществлявшимся. „В Руссе же ты совсем у меня захиреешь!“ Я стала убеждать Ф. М., что зима предстоит нам рабочая, надо продолжать и закончить „Подросток“, а потому ни о каких нарядах и увеселениях мне не придется и думать. Да и не нужны они мне вовсе, а для меня милее и дороже та спокойная, тихая, семейная, несмущаемая разными неожиданностями жизнь, которую мы здесь ведем. Что, напротив, я боюсь, что он соскучится, не видя никого посторонних.

Но этому горю можно помочь съездив раза два—три в зиму в Петербург и повидав тех, кто для него интересен и дорог. Такие поездки одному ему не могут стоить дорого, а между тем дадут ему возможность освежиться и не отстать от литературных и художественных интересов. Я представила Ф. М. на вид все те удобства, материальные и другие, нашей зимовки в Руссе. В тот же вечер, гуляя, я предложила Ф. М. посмотреть квартиры. Осмотр одной из них решил вопрос окончательно: Федору Михайловичу чрезвычайно понравилась квартира в доме генерала адмирала Леонтьева на Ильинской оживленной улице. Это был большой двухэтажный дом ***), отдававшийся в наем (верх и низ) за 800 р. в лето. Нижний этаж состоял из 6 господских комнат. Главное, что нравилось Ф. М.—это, что его комнаты (спальня и кабинет) отделялись от нашей половины большой комнатой в 4 окна „залой“, как мы называли. Благодаря этому беготня и шум детей не достигали Ф. М. и не мешали ему работать и спать; да и дети не были стеснены (о чем всегда особенно заботился Ф. М.) и могли кричать и стучать, сколько душе угодно. Мы тут же сговорились с управляющей домом, сестрой хозяина и наняли квартиру по 15 мая будущего года за плату по 15 руб. в месяц.

---

*) Даты А. Г. Достоевская здесь не выставила. Но по другим сведениям, эта дата устанавливается более или менее точно, именно 10 августа. *Н. Б.*

**) В каких письмах—А. Гр. Достоевская не отметила, хотя и поставила знак для примечания. *Н. Б.*

***) Существует и поныне в том же виде. *Это примечание сделано Анной Григорьевной во время составления примечаний. Н. Б.*

Чтобы не терять времени для работы, мы решили тотчас же переехать и устроиться на зимнее житье. Эта зима 1874—1875 г. составляет одно из прекраснейших воспоминаний моей жизни: дети были вполне здоровы и ни разу во всю зиму не пришлось пригласить к ним врача, чего не случалось в Петербурге. Ф. М. тоже чувствовал себя хорошо: последствия Эмского лечения были самые благоприятные: кашель уменьшился, дыхание стало значительно глубже; он даже пополнел, о чем упоминает в письме.

Благодаря спокойной размеренной жизни (а, главное, благодаря отсутствию всяких неприятных неожиданностей, столь частых в Петербурге) нервы его окрепли и припадки эпилепсии стали значительно реже и были менее сильны. А как следствие этого Ф. М. редко сердился и раздражался, а был почти всегда добродушен, разговорчив и весел. Недуг, сведший Ф. М. через 6 лет в могилу, еще не развился, Ф. М. не задыхался, как впоследствии, потому позволял себе бегать и играть с детьми. Я, мои дети и старорусские друзья отлично помнят, как, бывало, вечером, играя с детьми, Ф. М. под звуки органчика *) танцовал с детьми и со мною кадриль, вальс и мазурку. Ф. М. особенно любил мазурку и, надо отдать ему справедливость, танцовал ее на диво, как настоящий поляк, он был чрезвычайно доволен, когда я, раз или два, высказала ему такое мое мнение.

Наша жизнь в Старой Руссе была вся распределена по часам и это строго соблюдалось. Работая всегда по ночам, Ф. М. вставал не раньше 10—11 часов утра. Выходя пить кофе, он звал детей и те с радостью бежали к нему и рассказывали все происшествия, случившиеся в это утро и про все виденное ими на прогулке. Ф. М. поддерживал оживленный с ними разговор.

После 12 часов Ф. М. звал меня к себе в кабинет, чтобы продиктовать мне то, что он успел написать в течение ночи. Работа с Ф. М. была для меня всегда наслаждением, как я уже писала. Он с ранней юности (с 15 лет) был моим любимым писателем и я про себя очень гордилась, что мне выпало на долю счастье быть ему полезной, работать вместе с ним, и что я первая из всех читателей слышу его произведения из уст его самого **).

Обыкновенно Ф. М. диктовал главу романа по рукописи. Но если он был [не] доволен работою или сомневался в том, удалась ли она ему, то он обыкновенно не диктовал главу, а сначала прочитывал мне ее всю. Получалось более сильное впечатление, чем при обыкновенной диктовке.

У нас с самого начала нашей совместной жизни вошло в обычай, что я никогда не высказывала нарочно никаких похвал или критики прочитанной им главе романа. Даже видя, что он сокрушается по поводу неудачно написанной главы, я не утешала его уверениями, что она удалась и будет иметь успех. Я всегда говорила искренно: если мне нравилось—говорила, что хорошо, не нравилось—молчала. Федор Михайлович очень ценил во мне эту искренность, верил и судил по моему непосредственному впечатлению, которое производил на меня роман, о том впечатлении, которое он произведет на читателя (среднего, толпы, конечно) и как-то всегда случалось, что впечатление такого читателя впоследствии оказывалось одинаковым и что восхищало или угнетало меня—восхищало и угнетало читателей.

Из нашей старорусской жизни припоминаю, что раз как-то зимой Ф. М. прочитал только что написанную главу романа, о том как девушка повесилась („Подросток", часть 1-я, глава девятая). Кончив чтение, он взглянул на меня и вскрикнул: „Аня, что с тобой, голубчик, ты вся бледная, тебе дурно?". „Это ты меня напугал!"—ответила я. „Боже мой, неужели это производит такое тяжелое впечатление? Как я жалею, как я жалею"***).

Окончив диктовку и позавтракав со мною, Федор Михайлович читал или писал письма и во всякую погоду в половине четвертого выходил на прогулку по тихим пустынным улицам Руссы. Почти всегда заходил он в лавку Плотниковых ****) и покупал только что привезенные из Петербурга (закуски, гостинцы), хотя все в небольшом количестве. В лавке его знали и не смущаясь, что он покупает полуфунтиками, спешили показать ему, если появилась какая новинка.

В пять часов садились обедать вместе с детьми и тут Ф. М. всегда был в прекрасном настроении. Первым делом подносилась рюмка водки старухе Прохоровне, нянюшке нашего сына*****).—Нянюшка—водочки!,—приглашал Ф. М. Она выпивала и закусывала, хле-

*) Ф. М. сам купил его для детей. Теперь принадлежит моим и его внукам.

**) Автора.

***) Эта глава произвела громадное впечатление на Некрасова, о чем Федор Михайлович сообщает мне в письме от 9 февраля 1875 г.

****) Она описана в „Братьях Карамазовых" в виде магазина, где Митя Карамазов закупал гостинцы, отправляясь в Мокрое.

*****) Ф. М. очень дорожил Прохоровной за ее горячую любовь к нашему мальчику. О ней Ф. М. часто упоминал в письмах и выставил ее в романе „Братья Карамазовы" в виде старушки в „Верующих бабах".

бом с солью. Обед проходил весело, дети болтали без умолку, а мы никогда не разговаривали за обедом о чем-нибудь серьезном, выше понимания детей. После обеда и кофе Ф. М. оставался еще с полчаса или более с детьми, рассказывая им сказки или читая басни Крылова.

В семь мы с Ф. М. отправлялись вдвоем на вечернюю прогулку и неизменно заходили на обратном пути в Старорусский почтамт, где к тому времени успели разобрать петербургскую почту *). Корреспонденция у Ф. М. всегда была значительна и потому мы иногда с интересом спешили домой, чтобы приняться за чтение газет и писем. В девять часов детей наших укладывали и Ф. М. непременно приходил к ним благословить на сон грядущий и прочитать с ними „Отче наш", „Богородицу" и свою любимую молитву „Все упование мое на тя возлагаю, мати божия, сохрани мя под кровом твоим!".

К десяти часам во всем доме наступала тишина, так как все домашние, по провинциальному обычаю, рано ложились спать. Федор Михайлович уходил в свой кабинет читать газеты; я же, утомленная дневной сутолокой и детскою беготнею, рада была посидеть в тишине и обыкновенно усаживалась в своей комнате и принималась раскладывать пасьянсы, которых знала до дюжины. С сердечным умилением вспоминаю я, как Ф. М. каждый вечер по нескольку раз заходил ко мне, чтобы сообщить вычитанное из газет или просто поболтать со мною (поделиться новостями) и всегда начинал помогать мне закончить пасьянс. Он уверял, что у меня потому не сходятся пасьянсы, что я пропускаю хорошие шансы, и, к моему удивлению, всегда находил нужные, но не замеченные мною карты. Пасьянсы были мудреные и мне редко удавалось торжествовать без помощи Федора Михайловича **). Когда било 11 часов, Ф. М. появлялся в дверях моей комнаты и это означало, что и мне пора итти спать. Я только просила его позволить разложить еще разочек, Ф. М. соглашался и мы вместе раскладывали пасьянс. Я уходила к себе, все в доме спали, и только Федор Михайлович сидел за работой до трех—четырех часов ночи.

Первая половина нашей зимовки в Старой Руссе (с сентября по март) прошла вполне благополучно и я не запомню другого времени, когда бы мы с Федором Михайловичем пользовались таким безмятежным покоем. Правда, жизнь была однообразна: один день так походил на другой, что все они слилися в моих воспоминаниях, и я не могу припомнить каких-либо особых происшествий за это время. Помню, впрочем, один трагикомический эпизод в самом начале, нарушивший на несколько дней наше спокойствие. Дело вот в чем: я прослышала, что торговцы в рядах получили с Нижегородской ярмарки партию нагольных полушубков для взрослых детей и как-то сказала об этом Ф. М. Он очень заинтересовался, вспомнил, что сам когда-то ходил в нагольном тулупчике и захотел такой же купить для нашего Феди. Отправились в лавки и нам показали с десяток полушубков один другого лучше. Мы выбрали несколько и просили прислать домой для примерки. Один из них—светло-желтый с очень нарядной вышивкой на груди и полах чрезвычайно понравился Ф. М. и пришелся как раз по фигуре нашего сына. В высокой шапке, одетый в тулупчик, подпоясанный красным кушаком наш толстый румяный мальчик выглядел совершенным красавчиком. Сделали и Лиле нарядное пальтецо и Ф. М. каждый день осматривал детей перед их прогулкой и любовался ими. Но нашему любованию скоро пришел конец. В злосчастный день я заметила на передней поле светлого тулупчика громадные сальные пятна, при чем сало на коже лежало кусочками. Мы все пришли в недоумение, так как мальчик на улице не мог запачкаться салом. Но истина скоро открылась: у нашей старухи-кухарки каждый день с утра сидел в кухне ее полуслепой муж. Позавтракав, он загрязнил жиром свои руки и, не найдя под рукой полотенца, вытер жирные пальцы о тулупчик, развешенный в кухне для просушки. Пытались мы разными средствами вывести из кожи сало, но после каждой новой пробы пятна становились заметнее и красивый тулупчик был совершенно испорчен. Я была страшно раздосадована за порчу вещи, заменить которую не [было возможности] хватало средств, досадовала и на кухарку, не сумевшую присмотреть на кухне и сгоряча чуть не прогнала ее совсем вместе с ее слепым мужем, но Ф. М. вступился и меня образумил. Но, конечно, это маленькое неудовольствие скоро забылось в обычной суете. *Написано далее карандашом*: Весною 1875 г. обнаружилось одно обстоятельство, которое мы не подозревали, именно, что Ф. М. продолжает находиться под надзором полиции. Узнала я вот каким образом. *(На этом рукопись обрывается. В других тетрадях нет продолжения этих воспоминаний.)*

---

*) В то время железная дорога доходила только до Новгорода, оттуда почту везли 80 верст на лошадях, так что мы обыкновенно получали №№ газет от вчерашнего дня.

**) Кстати о картах. В том обществе (преимущественно литературном), где вращался Ф. М., не было обыкновения играть в карты. За всю нашу 14-летнюю совместную жизнь Ф. М. один раз играл в преферанс у моих родственников и, несмотря на то, что не брал в руки карт более 10 лет, играл превосходно и даже обыграл партнеров на несколько рублей, чем был очень сконфужен.

К ПИСЬМУ 26 АПРЕЛЯ 1874 г.

144. Мельников-Печерский, Павел Иванович (1819—1883), писатель, автор рассказов „В лесах“, которые он в 1874—1875 г. г. продолжал печатанием в „Русском Вестнике“.—О взаимоотношениях его с Достоевским известно немного; опубликовано пока только одно письмо Мельникова к Ф. М., где Мельников приглашал Ф. М. в число почетных распорядителей на ряду с Гончаровым, Костомаровым, Майковым и др. для участия в двухсотлетнем юбилее Ломоносова в 1865 г.— Письмо напечатано в издании Центрархива: „Из архива Достоевского.—Письма русских писателей“. Под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1923 г. (стр. 38—40). Ответных писем Ф. М. ему в печати нет.

К ПИСЬМУ 6 ИЮНЯ 1874 г.

145. Шевяков—муж младшей сестры Ф. М., Александры Михайловны.

146. За границу Ф. М. ездил и в следующие годы (в 1875, 76, 78 и 79), именно в Эмс для лечения водами.

147. Рязанское имение осталось после тетки А. Ф. Куманиной (см. примеч. 100). Состояло из 6.000 десятин, в ста верстах от Рязани, близ посада „Спас-Клепики“. Имение осталось четырем братьям Достоевским по 500 десятин каждому; Ф. М. решил тогда взять землю натурой и уплатить требуемые расходы. Мысль о приобретении недвижимости сильно увлекала Ф. М. и в следующие годы. Под влиянием этого намерения Ф. М., Анна Григорьевна летом 1879 г. ездила вместе с главными наследниками осматривать имение на месте и выбрала для себя 200 десятин строевого леса в так наз. „Пехотке“ и 100 десятин полевой в Спас-Клепиках. В то время как в Москве летом 1879 г. все съехавшиеся для переговоров наследники обсуждали вопрос о разделе, Ф. М. писал 16 августа Анне Григорьевне, участвовавшей в московских переговорах: „Я здесь, в Петербурге, все мечтаю об устройстве будущего и о том, как бы купить имение. Поверишь ли чуть не помешался на этом. За деток и судьбу трепещу“.

148. Предложение Надеина, очевидно, не было одобрено и принято Анной Григорьевной, и в списке изданий полных собр. соч. Ф. М., составленном самой Анной Григорьевной, издания Надеиным не значится, так как его не было. (См. Библиографический указатель соч. и произвед. искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в „Музее памяти Ф. М. Достоевского“ в М. Ист. Музее, 1846 — 1903 г. г. Составила А. Достоевская, СПБ. 1906 г.). — Надеин, Митрофан Петрович (1839—1916 г.г.), народник. С идейными целями основал „Книжный магазин для иногородних“ в Петербурге, близок был с Кравчинским, Шишко, Чайковским и др. видными народниками 70-х годов. Некролог его в „Речи“ 1916 г. за 27 марта, в „Биржевых Ведомостях“ 1916 г. № 15468.

149. Статьи Ор. Фед. Миллера под названием „Русская литература после Гоголя (за исключением драматической)“ помещены в газете „Неделя“, изд. под редакцией П. А. Гайдебурова в № 20 от 19 мая и № 22 за 2 июня.—Позднее эти (десять) публичные лекции вышли отдельным изданием под тем же названием (Птрб. 1874 г.).

150. Бунтинг—зубной врач; речь идет о перемене пружины в челюсти искусственных зубов, которую носил Ф. М.

151. Тургенев в то время собирал материалы к задуманному им роману „Новь“; какие беседы он вел со Страховым и вел ли их на самом деле,—неизвестно. В переписке Т. с А. П. Философовой есть следы собирания Т. материалов для „Нови“ о „новых людях“. Так, в письме 6 (18) августа 1874 г. И. С. писал А. П. Философовой: „Цель ваша — при передаче.... документов — была, сколько я могу судить, познакомить меня с образом мыслей — вообще с личностями „новых людей“, которых я не мог изучать, живя за границей. Экземпляры, с которыми я должен был познакомиться, представлялись вам в весьма выгодном, почти идеальном свете — иначе вы бы не дали мне того портфеля... но представьте: все, что я в нем нашел, за исключением дневника, поразившего меня своею честною правдивостью и неподдельным энтузиазмом—все может служить материалом... только с сатирической, юмористической точки зрения! Эта точка зрения особенно применяется „молодому юноше“, к русскому „Лео“, г-ну ***. Это опьянение самообожания рядом с изумительной бездарностью (я много читал плохих стихов на своем веку, но вирши г-на *** все превосходят!). Этот догматический тон при таком невежестве! Все это просится в карикатуру. И заметьте — меня нисколько не смущает резкость мнений; меня изумляет эта пустота, воображающая, что она „на 20-м году жизни уже разрешила все вопросы науки и жизни (textuel). (Прошу вашего извинения, любезнейшая ****, в том, что

так жестоко выражаюсь о молодом человеке, в котором вы принимаете такое живое участие; но я не могу говорить иначе. Мне кажется, что и тут ваше добрейшее сердце вас обмануло: из молодых людей, подобных ***, никогда ничего не выходит. Откиньте все его разглагольствования о собственной особе под предлогом идеи и вы удивитесь, какой там останется нуль...

„Нет, любезнейшая ****, это еще не новые люди; я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименование. Зато в дневнике высказывается прекрасная, свободная душа, которой я от всего сердца желаю счастья, т.-е. исполнения ее заветных надежд и намерений, клонящихся к добру и благу меньшей братьи"... („Русск. Старина", 1883, кн. 10—12, 322—323.)

Из реакционеров современников в „Нови" Тургенев, как мы теперь знаем, вывел кн. П. А. Вяземского в образе кн. Коврижкина. Признания Т. по этому поводу сделаны в недавно опубликованных нами письмах к П. В. Анненкову. 23 ноября 1876 г. (См. И. С. Тургенев „Документы по истории литературы и общественности", вып. 2-й. М. 1923 г.)

По совету Анненкова, Тургенев удалил из романа „памфлетические" места, о чем и писал 30 ноября 1876 г. ему: „С общими вашими замечаниями насчет памфлетических шпилек я согласен — и непременно во время корректуры (мне будут присылаться листы) их выковырю.—Иных будет очень жаль, скажу прямо: прозвище князя Коврижкина „лакеем-энтузиастом" я, кажется, оставлю".

Достоевского же, судя по неопубликованной пока в целом переписке И. С. с Анненковым за те годы, он не изобразил в романе, и сообщение Ф. М., бывшего в то время уже большим идейным противником Тургенева, надо отнести на счет его излишней подозрительности.

152. Долг в 50 р., взятых у И. С. Тургенева в 1863 году, Ф. М. собрался уплатить в 1875 году. Об этом он рассказывает выше в письме 6 июня 1875 г. на стр. 190. Эпизод этот нашел себе отражение в воспоминаниях Анны Григорьевны; относящееся сюда место из воспоминаний ее и письмо Ф. М. к Тургеневу о деньгах и расписка Тургенева о получении долга напечатаны в издании Центрархива: „Из архива Достоевского. Письма русских писателей". Москва, Госиздат, 1923, стр. 110—112 и 123—129. Весь эпизод с возвращением Тургеневу денег живо рассказан самой Анной Григорьевной в ее записках, находящихся в Центрархиве: „В марте 1876 года,—сообщает Ан. Гр.,—произошло одно недоразумение, очень взволновавшее Федор. Мих. тем более, что за 2—3 дня перед тем у мужа был приступ эпилепсии. К Федору Михайловичу пришел один молодой человек, Алекс. Феод. Отто (впоследствии поселился в Париже под псевдонимом Онегина и составивший ценную коллекцию Пушкинских книг и вещей). Г. Отто сказал, что его друг И. С. Тургенев поручил ему побывать у Фед. Мих. и получить остальную часть должных ему, Тургеневу, денег. Ф. М. удивился и спросил—разве Тургенев не получил от Анненкова тех 50 руб., которые он уплатил Анненкову где-то в поезде и объявил, что Тургенев выслал ему в Висбаден 50 талеров, и эти 50 талеров он отдал в июле прошлого года П. В. Анненкову для передачи Тургеневу. Отто подтвердил получение этих денег, но сказал, что Тургенев помнит, выслал в Висбаден не пятьдесят, а сто талеров, и потому считает за Ф. М. еще 50. При чем показал письмо Ив. Серг. Ф. М. очень взволновался, предполагая свою ошибку и тотчас вызвал меня.

— Скажи, Аня, сколько я был должен Тургеневу,—сказал муж, представив мне гостя.

— 50 рублей.

— Верно ли, хорошо ли ты помнишь,—взволновался муж.

— Отлично помню, ведь Тургенев в своем письме сам обозначил, сколько посылает.

— Покажи письмо, где оно у тебя.

Конечно, письма не было у меня под руками, но я обещала отыскать его и просила молодого человека заглянуть к нам через дня два. Ф. М. очень был расстроен возможною с моей стороны ошибкой и так беспокоился, что я решила просидеть хоть всю ночь, но найти письмо. На беду корреспонденция (архив прежних бумаг) Ф. М. находилась тогда в порядочном хаосе, и пришлось просмотреть по меньшей мере 400—500 писем, пока я наконец, не напала на Тургеневское. Прочитав письмо и убедившись, что ошибки с нашей стороны не произошло, Ф. М. успокоился. Когда через два дня пришел г. Отто, мы показали ему письмо Тургенева, он был очень сконфужен и просил дать ему это письмо, чтоб он имел возможность послать его Тургеневу, при чем обещал письмо нам возвратить. Недели через три г. Отто вновь явился к нам и принес письмо, но не то, которое мы ему дали, а письмо самого Федора Мих. из Висбадена, в котором он просил Тургенева выслать ему 50-ю талерами. Таким образом, недоразумение объяснилось к нашему полному удовольствию, пострадал только А. Ф. Отто, который написал много лет спустя"... (*На этом обрывается запись Анны Григорьевны.*)

153. „Г р а ж д а н и н“ не прекратился, но продолжал выходить до 1878 г., когда ресурсы издателя истощились вовсе.— Через десять лет Мещерский, получив субсидию от Александра III, вновь начал издание газеты под тем же названием и с направлением еще более реакционным.

154. С о ф ь я С е р г е е в н а К а ш п и р е в а—жена Василия Владимировича (см. о нем подр. выше, в примеч. 111). В восьмидесятых годах С. С. предприняла издание для детского возраста под названием „Семейные вечера“, и Ф. М. принимал участие в привлечении к изданию тогдашних писателей; напр., Я. П. Полонского он просил поместить у Кашпиревой поэмку „Дети в лесу“ — см. письмо Я. П. Полонскому от 27 декабря 1880 г. в назв. книге „Письма р. писателей“, стр. 82. Полонский, очевидно, пошел навстречу Ф. М. и дал в первый номер „Семейных вечеров“ Кашпиревой „драматическую фантазию для детского театра“—„Лесные чары“.

155. Анна Гавриловна—жена Александра Карловича Гриббе.

К ПИСЬМУ 13/25 ИЮНЯ 1874 г.

156. Ф. М. в то время собирался писать роман „Подросток“. Все сообщения Ф. М. о работе над планом в дальнейших письмах из Эмса за лето 1874 г. относятся к этому роману. Сообщения Ф. М. особенно ценны для изучения истории создания этого романа. Краткая обмолвка в этом и в других письмах, напр., замечание: „Кое-что составил в плане, но и сам не знаю, доволен или нет“ (см. письмо 17/29 июля),— говорит об определенном этапе выработки плана, канвы романа. Привлечение к этим показаниям Ф. М. самих материалов дает возможность исследователю говорить о постепенном росте и созревании замысла романа в творческом сознании Достоевского, и прежде всего говорит том первоначальном ядре, какое к этому времени выкристаллизовалось в уме писателя. План романа, дававшийся так долго и не без борьбы автору, Достоевский составил в Эмсе,— но писать, очевидно, начал уже по возвращении в Россию, в Старую Руссу. Сохранившиеся в тетрадях материалы к роману не расходятся с сообщениями Ф. М. в письмах: в тетрадях находим лишь наброски мыслей, характеров, смену композиционных планов, задуманных и наспех зачеркнутых, но не встречаем цельно созданных образов или отрывков текста будущего романа в виде глав.

К ПИСЬМУ 28/16 ИЮНЯ 1874 г.

157. Причиной задержки писем, что Ф. М. крайне волновало и доводило до эпилепсии, являлась не неаккуратность Анны Григорьевны, как думал Ф. М. и в чем обвинял ее не раз в письмах (напр., в письме 60, 66 и 67), а то обстоятельство, что Ф. М. и в эти годы до 1880 г. состоял под надзором полиции. Старорусскому исправнику поручался надзор за Ф. М. По сообщению Анны Григорьевны в воспоминаниях, Ф. М. именовали в жандармских и полицейских донесениях и отношениях „отставным подпоручиком“, письма же его перлюстровались.

158. С л у ч е в с к и й, К о н с т а н т и н К о н с т а н т и н о в и ч (1837—1904), поэт, с Ф. М. в близких отношениях не был, и переписки между ними не сохранилось. В Петербурге они встречались в доме Е. А. Штакеншнейдер, который в семидесятых годах посещали видные представители тогдашнего литературного и художественного мира. (См. „Из дневников Штакеншнейдер“—„Голос Минувшего“, 1915, 7—8 и др.) Анна Григорьевна в своих воспоминаниях уделяет этому моменту такие строки: „В 1873 г. Ф. М.,— рассказывает она,—возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдер, центром которого была Елена Андреевна, дочь знаменитого архитектора. Она была литературно образована и соединяла у себя по воскресеньям общество литераторов и художников. Она была всегда чрезвычайно добра и с Ф. М. и со мной. Мы близко с нею сошлись. На ее воскресеньях я встретила Я. П. Полонского, Майкова, Страхова, Аверкиева, Случевского и многих других“ (*Цитируем по рукописи*).

К ПИСЬМУ 5 ИЮЛЯ/23 ИЮНЯ 1874 г.

159. Планы романа „Подросток“ сохранились в трех рукописях в личном архиве Ф. М. Достоевского, поступившем в 1921 г. в Центрархив; в настоящее время текст этих материалов подготовляется к печати. Кроме того, еще одна рукопись романа „Подросток“ имеется в Историческом Музее в Москве, куда она была пожертвована самой Анной Григорьевной в 1900—1904 г.г. (См. Библиографический указатель Музея, сост. А. Г. Достоевской, стр. 1.)

К ПИСЬМУ 6 ИЮЛЯ 1874 г.

160. Это письмо написано Д. на третьей и четвертой странице почтового листка, первую и вторую и начало третьей страницы которого Ф. М. занял предыдущим письмом. Окончанием этого письма занят еще отдельный листик.

К ПИСЬМУ 6 ИЮЛЯ/24 ИЮНЯ 1874 г.

161. Катков, действительно, давал Ф. М. деньги в моменты тяжелой материальной нужды. Еще в 1859 г., когда Д. был в Сибири и по выходе из тюрьмы нуждался в средствах, Катков, по первому обращению к нему Д., выслал ему крупную сумму денег в счет будущего романа. И позднее к помощи Каткова Ф. М. прибегал, чего и не скрывал от своих друзей. В отношении же Некрасова, как своего в то время идейного противника, Ф. М., естественно, должен был действовать сдержаннее и не обязывать себя денежным долгом перед редакцией „Отечественн. Записок", от которой он ждал возможных возражений по поводу своего романа, и с чем он, как замечает Анна Григорьевна в своих примечаниях (см. выше), не намерен был соглашаться и заранее готов был пойти на разрыв. Некрасов не ярославец по рождению, так как родился в местечке Юзвине, Винницкого у., Подольской губ., но с трехлетнего возраста детские годы прожил в селе Грешневе, верстах в 20 от Ярославля. Ф. М. намекает здесь на деловитость, практическую сметку Некрасова,—черту, присущую вообще ярославцам—дельцам и практикам и особенно ясно выраженную в характере Некрасова по сравнению с его современниками литераторами.

К ПИСЬМУ 10 ИЮЛЯ/28 ИЮНЯ 1874 г.

161 а. См. далее примечание 171.

162. Полонский, Яков Петрович был долголетним другом Д. со времени их знакомства в 60-х годах. Полонский участвовал, как сотрудник, в журнале Достоевских „Время". Сохранившаяся переписка Полонского с М. М. и Ф. М. за те же годы говорит о дружеских отношениях этих современников. По возвращении из-за границы Ф. М. возобновил дружбу с Полонским, встречаясь по воскресеньям в гостеприимном и дружественном для обоих доме Штакеншнейдер на Миллионной. Переписка Полонского с Ф. М. опубликована нами в изд. Центрархива „Из архива Достоевского. Письма русских писателей", стр. 62—84. Здесь же нами рассказана и история личных отношений этих писателей (см. стр. 62—65).

К ПИСЬМУ 1/13 ИЮЛЯ 1874 г.

163. Кублицкий, Михаил Евстафьевич (1821—1875), литератор, товарищ по гимназии Я. П. Полонского. Он часто бывал за границей с целью изучения истории западного театра; с такой специальной целью он ездил, напр., в 1857 году. Ироническую характеристику его дала гр. Евд. Ростопчина в своей сатире „Дом сумасшедших в Москве" (см. подр. „Русск. Старина", 1885, март).

164. Рассказ о мужике и Феде, очевидно, Ф. М. прочел в письме Анны Григорьевны. А. Гр. сообщила Ф. М., так как он в то время интересовался творчеством своих детей и на одной тетради, служившей для записи материалов к роману „Подросток" и ныне находящейся в Центрархиве, на 100-й странице Ф. М. сам сделал в сентябре 1874 года запись сказки Феди. Вот текст записи: „Сказка, рассказанная мне Федей 4 сентября 74 г. в Старой Руссе, поутру за чаем.

„Был дом, до потолка, как береза*). С жильцами. И вдруг попадаются волк и арап. Они вошли в дом и всех съели". И Феде три года и полтора месяца".

„NB. Сказку эту он сам сочинил, на основании слышанных им сказок, разумеется. Но все же сочинил. Тут замечательны слова: жильцы и попадаются. Он стало быть уже знает вполне, что такое жильцы. Но еще любопытнее, что он знает слово попадаются и так вполне усвоил себе значение его". Анна Григорьевна вела особые записи разговоров своих детей, приключений и т. п., о чем и сообщила в своей тетради № 5 с надписью на обложке: „En cas de ma mort ou d'une maladie grave" на 62 стр.: „К сведению моего сына и моей дочери скажу, что если их интересуют обстоятельства их детства, их детские разговоры и приключения, то все это они могут прочитать в записной книге (расходной) на 1902—1903 г. (с 28 октября 1902 г. по 15 октября 1903 г.)". Но этой книги в архиве нет налицо.

*) Т.-е. такой большой.—*Примеч. Ф. М. Достоевского.*

К ПИСЬМУ 17/5 ИЮЛЯ 1874 г.

165. „О н а“—жена Ивана Григорьевича—Ольга Кирилловна, с которой Достоевские не были в особенно дружеских отношениях, как видно из писем Ф. М., хотя и не ссорились.

166. День рождения Феди—16 июня (1871 г.). Ф. М. пробыл в Эмсе дольше; еще 20 июля (1 авг.) Ф. М. не мог двинуться из Эмса и писал в этот день письмо Анне Григорьевне, где, однако, дня своего выезда определенно не указывает.

К ПИСЬМУ 21 ИЮЛЯ 1874 г.

167. Штакеншнейдер, Адриан Андреевич, брат Елены Андреевны Штакеншнейдер, близкого друга Ф. М. и Анны Григорьевны. Родился в 1843 г., окончил Петербургский университет; начал службу с 1864 г.; в 1874—1877 г. г. А. А. был прокурором Изюмского окружного суда; затем членом Киевской судебн. палаты в 1884 г., в 1890—Харьковской судебной палаты, и в 1916 г.—жил и работал в Харькове.

168. Жена А. А. Штакеншнейдера—урожденная Малиновская.

К ПИСЬМУ 26/14 ИЮЛЯ 1874 г.

169. Ф. М. окончательно не вылечился в этот сезон, хотя результаты лечения были превосходны, по его определению в следующем письме: Ф. М. был в Эмсе и в следующие годы, откуда и слал письма Анне Григорьевне в каждую поездку.

170. О снах—предвестниках недоброго в его жизни Ф. М.—рассказывает с непосредственной живостью Анна Григорьевна еще в своих воспоминаниях. В главе „Признание“ она передает разговор с Ф. М. о вещем значении его снов: „Сегодня ночью я (слова Ф. М.) видел чудесный сон.—Только то, и я рассмеялась. Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны бывают вещими. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, особенно, когда мне снится отец, я знаю, что грозит беда“. (См. „Из воспоминаний Достоевской“. — Культура. Сб. литературы и науки. 1. Одесса, 1923. стр. 23. 1, а также в журнале Росс. Акад. Худож. Наук „Искусство“, т. I, 1923, стр. 34, 31).

К ПИСЬМУ 16/28 ИЮНЯ 1874 г.

171. В одной из тетрадей (№ 3), именно в той, в которой Ф. М. в Эмсе в это время записал план романа „Подросток“, на обложечном листе он сделал запись припадков с описанием своего состояния. Здесь читаем:

„Припадки. После перерыва в $5^1/_2$ месяцев в 1873 (в год редакторства):

20 апреля
4 июня
1 августа
3-го ноября
19-го ноября
27 декабря

В 1874 г. 28 января.

16 апреля (из сильных; головная боль и избиты ноги).
(NB. Суббота. 20 апреля, едва стало проясняться в голове и в душе; очень было мрачно; видимо был поврежден, 3-и сутки 19-е число было всего тяжелее. Теперь 20 апреля в 10 часов по полудни, хоть и тяжело, но как будто начало отходить).

13 мая (из довольно сильных)

27 июня—9 июля (довольно сильный. Суббота 29 июня очень тяжело в голове и в душе и пока еще очень ноги избиты).

15/27 июля (довольно слабый. Полнолуние. Погода сильно переменная дней 5, солнце, ветер, дождь, затишье,—все перебывает в день).

8 октября (ночью сильный. В 5 часов утра. Дни сухие и ясные).

18 октября припадок в пять часов утра, довольно сильный, но слабее предыдущих. Дни ясные.

28 декабря, утром, в 8 часу, в постеле, припадок из самых сильных. Более всего пострадала голова, кровь выдавилась на лбу чрезвычайно и в темя отзывается болью. Смутно, грустно; угрызения и фантастично. Очень раздражался. — День ясный. Мороз до 15°.

NB. Час после припадка жажда. Выпил 3 стакана воды залпом!!

Итого в 1874 г. с 28 января в год 8 припадков".

Затем записаны припадки за начало 1875 года:

„Один—4 января
и другой 11 января.

8 апреля. Припад[ок] в $^1/_2$ первого по полуночи. Предчувствовал сильно с вечера да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть чтоб хоть две страницы написать романа, как помню полетел ходя среди комнаты. Пролежал 40 минут. Очнулся сидя за папиросами но не делал их. Не помню как очутилось у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар. Мог заколоться. Всю неделю сырость: ныньче [ночью] лишь полнолуние и кажется морозец. 8 апреля полнолуние. Голова же болит не так, чтобы очень теперь, почти час после припадка. Пишу это и сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает еще проходить, но есть еще чрезвычайный, так не смею лечь. Бока болят и ноги. Пошел будить уже 40 минут спустя Аню и удивился услышав от Лукерьи что барыня уехала. Подробно расспрашивал Лукерью когда и зачем она уехала. За полчаса до припадка принял opii benzoedi: 40 капель в воде, во время полного беспамятства, т. е. уже встав с полу, сидел и набивал папиросы, и по счету набил их 4, но не акуратно, а в последние две папиросы почувствовал сильную головную боль, но долго не мог понять что со мною пока не пошел к Лукерье. Легкий геморой, туго, начало гемороидальных шишек".

Записи припадков с датами и описаниями состояний встречаются и в других тетрадях.

К ПИСЬМУ 17/29 ИЮНЯ 1874 г.

171а. Судя по записям в тетради, сохранившейся в архиве Д., план в то время и вся работа над романом шла туго: с мая до августа заполнено только 47 страниц; за август и сентябрь 140 (подр. см. в обзоре „Архив Ф. М. Достоевского" — „Архивное Дело", вып. 2, Л. 1925, стр. 81). Записи и заметки этой тетради относятся к той стадии творческого процесса, когда для художника не определилась даже тема романа. Майские записки относятся еще не к „Подростку", а к „роману 75 г.". Чем будет этот роман 75 года,—этого еще не знает и сам Достоевский.

172. В тетради, содержащей заметки к роману „Подросток", которые вел Ф. М. в Эмсе летом 1874 г., имеется на стр. 193—196 поденная запись о состоянии его здоровья, о погоде и т. д. под названием „Дневник лечения в Эмсе". Приводим полностью этот текст:

ДНЕВНИК ЛЕЧЕНИЯ В ЭМСЕ 1874 года.

„Четверг 25 июня. В 7 часов утра, в сильный дождь в первый раз пошел на источник Кессельбрунен; два стакана. Хоть и прояснилось, было довольно ветрено к вечеру и свежо. Кажется успел простудиться, на ночь кашлял и в груди хрипело. Ночью кошмарные сны (Голицын, брат, Аня). Вот уже дня четыре довольно сильный геморой (кровотечение). Желудок порядочно.

Пятница 26. День дождливый и переменный. Больше кашлял сухо. К вечеру даже заболела грудь (грудная верхняя доска). Засыпаю с вздрагиваниями. Спал без дурных снов. Желудок туг, но язык чище чем когда нибудь. (NB. Оба дня, несмотря на ненастье, много хожу). Хрипота при вдыхании сильная.

27, 28 и 29. Все дни дождливые, иногда только проглядывало солнце. От сырости, вероятно, мне хуже, кашель усиливается, преимущественно к ночи и бывает даже сухой. Желудок переменный, более склонность к запору. Ходил 29-го к доктору и объяснил ему состояние желудка. Назначил пить вместо Кессельбрунена Кренхен, по т р и стакана (NB. Пьющих Кренхен, как я заметил гораздо меньше чем больных, пьющих Кессельбрунен).

30. В первый раз ходил пить Кренхен; несмотря на барометр, со вчерашнего дня подвинувшийся к ясной погоде—облачно и даже небольшой дождь, хотя тепло и мягко. С 29 на 30 ночью в груди моей хрипело с сильным звуком, как в

самое худое время прошлой зимой. Кашляю впрочем гораздо меньше чем прошлой зимой. Но все таки слишком много, сравнительно с облегченными днями болезни даже и в Петербурге. Вздрагиваний в эту ночь не было.

Среда 1 июля. Погода великолепная и жарко. Вчера очень много ходил, всходил на горы, устал и ноги болят. Хрипота в груди не прекращается. Запор. Язык очень хорош. Ходил в баню. Вечером опять слишком много ходил и устал.

Четверг 2 июля. Хрипота в горле еще сильнее. Хоть нет особого позыва на кашель, но кашляю чтоб только отхаркнуться, скопленье же материи такое что, замечаю, мне труднее дышать чем прежде. Погода прекрасная, но утром в семь часов над городом лежало целое облако тумана и таяло от восходящего солнца. В 7 часов было только 14 градусов в тени Реом[юра] (NB. Не от бани ли, или не от большой ли ходьбы по горам и усталости у меня усилилось в груди хрипение?) Запор продолжается. В час по полудни было 24 град[уса] Реомюра в тени. К вечеру позыв на кашель усилился и раздражение в горле весьма сильное. Хрип, а к утру на другой день даже видимо труднее дышать.

Пятница 3 июля. После Кренхена как бы стало лучше и разошлось скопление материи в груди; но все еще порывами кашель. Наклонность к жолчи, язык весьма до того чистый, немного пожелтел. Хочу просить настоятельно у доктора об увеличении приемов Кренхена и, главное, с молоком. День сегодня великолепный и жаркий; барометр на beau temps, но как будто с позывом уклониться капельку назад, к переменному. NB. Все последние три дня как бы некоторое утомление и даже боль в ногах. Приписываю решительно чрезвычайной моей ходьбе в эти три—четыре дня и, главное, в горы. Может быть сильное движение вредно и груди.

Суббота 4 июля. Выпросил у доктора (принимать) пить Кренхен.

Суббота 11 июля. 2 раза в день, утром 3 стакана, а вечером 2. На 6 унц. Кренх. 2 унца молока. Вообще как бы легче, но припадок бывший в среду усилил скопление материи в груди. Со вчерашнего же дня, т. е. с пятницы (10-го) испортилась погода, была гроза, а сегодня, в субботу утром дождь. Сырость и скопление мокроты с усилением кашля—это неизменно. Что то скажет следующая неделя Кренхена? И будет ли наконец конечная польза?

Воскресение 19 июля. В начале недели лихорадка 2 дня и дня три потел. С пятницы пот уменьшился и даже перестал. Доктор, в четверг, решил прибавить еще стакан Кренхена, по утру. И так по утру 4 стакана, а вечером два. Очень подробно осматривал грудь: Везде все заилжо, кроме в двух местах: внизу спереди и сзади в спине. Действительно при кашле там ощущаю даже боль. За то всю неделю видимо дышать легче; несравненно меньше прежнего хрипит в груди, и вот уже три дня кашель решительно уменьшился. Даже при вставании утром нет кашля. (NB. Замечательно что это началось разом с 4 стакана Кренхена) Даже от папироски почти не щекочет в горле. Доктор накинул еще неделю к прежнему сроку. Итак оставаться мне здесь по теперешнему росписанию примерно до 30 июля нов. стиля. Доктор в таком случае ручается за успех лечения. — Пациенты же говорят что при таком долгом катарре, как мой, хотя можно получить громадное облегчение, но с одного курса ни за что не вылечиться радикально. Надо же приехать на будущий год, на второй курс вод, и тогда уже можно надеяться на радикальное излечение. (Все отправления превосходны. Аппетит чудесный, сплю прекрасно. Физические силы есть. Раздражительности даже меньше. Одним словом все, пока, пошло хорошо).

Среда 22 июля. Вчера ровно три недели минуло как я пью Кренхен. (Всего три недели, а Кошлаков велел пить шесть недель). Кашель и перхота заметно уменьшились и уменьшаются все более и более с каждым днем. Отправления физические превосходны. Потение ночью сильно уменьшилось, но не прошло: акуратно каждую ночь меняю по одной рубашке. И однако сил не теряю нисколько. Вчера был день с дождями, сегодня ветрено и довольно сыро, хотя светит солнце; несмотря на то кашель и хрипота видимо уменьшаются. Не худо бы как нибудь дотянуть до 5 недель Кренхена. Главная перемена что перхота видимо уменьшается; даже папироска перестает раздражать горло.

Суббота 25 июля. Вчера и сегодня (равно как отчасти и 3-го дня) было сыро, дожди в промежутке с солнцем, и туманы по утрам как вчера и особенно сегодня. Сырость отозвалась на груди: хрипоты большие, из чего ясно что больные

места еще далеко не зажили. Правда, перхоты меньше (хотя есть, н[а]прим. вчера) — дышать все таки свободнее, чем прежде. Все отправления очень хороши и даже сил чувствую в себе гораздо больше, чем когда приехал сюда". (Стр. 193—196).

К ПИСЬМУ 17 ДЕКАБРЯ 1874 г.

173. Пантелеев, Петр Фомич — владелец типографии и литографии в Петербурге (на Подольской ул.). С Пантелеевым в эти годы (1872—1880) и позднее (1890—1910) Анна Григорьевна вела дела по изданию соч. Ф. М. и была очень довольна отношением к себе со стороны Пантелеева,—о чем подробно она рассказывает в своих воспоминаниях, напр., об издании романа „Бесы" („Красный Архив", 1923, т. III, стр. 277—281).

К ПИСЬМУ 18 ДЕКАБРЯ 1874 г.

174. У Пантелеевых в типографии в то время печаталось отдельное издание (четвертое по счету) „Записок из Мертвого Дома", вышедших в 2-х частях, как раз, видимо, в те дни, когда Анна Григорьевна была в Петербурге. Так как это издание было собственным, то Анна Григорьевна и решила лично быть в Петербурге в первое время по выходе книги в свет, ожидая продажи книги.

175. Предположение Ф. М. не оправдалось. Некрасов как раз в тот же день писал Ф. М. письмо, где и ответил на тревоживший Достоевского вопрос. Некрасов писал: „Многоуважаемый Ф. М.—Ваш роман набирается, корректура будет у Вас на днях, прочту в корректуре и тогда Вам напишу. Весь Ваш Н. Некрасов. 18 дек. 1874 г.". (См. „Из архива Достоевского. Письма русских писателей". М. 1923, стр. 50).

К ПИСЬМУ 19 ДЕКАБРЯ 1874 г.

176. Черепин—книгопродавец, имевший магазины в Москве и Петербурге; с ним Ф. М. знаком со времени „Эпохи" (см. „Биография", СПБ, 1883 г., стр. 271).

177. Как шла продажа „Мертвого Дома", несомненно, было в точных цифрах записано в той специальной тетради под названием „Книга для записывания продажи Бесов, Преступления и др. до 1881 г.", которую называет Анна Григорьевна в „Списке тетрадей и записных книг, имеющихся у меня и хранящихся в верхнем ящике моего делового шкафа" под № 40, см. в тетради с надписью: „En cas de ma mort ou une maladie grave" („В случае моей смерти или тяжелой болезни"), куда Анна Григорьевна занесла свои деловые распоряжения и документы. Здесь же, в списке под № 39, значится и другая интересная для данного вопроса „Книга по книжной торговле Ф. М. Достоевского в 1880 г.". Ни та, ни другая тетради в личном архиве Ф. М. Достоевского, поступившем в Центрархив, не сохранились. — В названной тетради с заголовком: „В случае моей смерти или тяжелой болезни", Анна Григорьевна вела подробные записи расхода и прихода по шестому изданию соч. Ф. М. в 1905 г., в виде итогов за год, точно отмечая весь ход торговых отношений и долгов.

К ПИСЬМУ 20 ДЕКАБРЯ 1874 г.

178. Разница в гонораре чувствительно задевала самолюбие Ф. М., как писателя и как человека, очевидно, и ранее. Так, в воспоминаниях Анны Григорьевны за 1871 г., когда она рассказывает подробности их возвращения на родину из-за границы, находится такое ее рассуждение, связанное с вопросом о разнице в гонорарах, на тему о художественной форме произведений Ф. М.— Правда, весь пафос рассуждений Анны Григорьевны связывается с именем Тургенева, как счастливца, имеющего возможность работать спокойно, а не на-спех, как Ф. М. Мнение Анны Григорьевны, так внимательно всегда относившейся к Ф. М., имеет известное значение. Она занесла на страницы своих воспоминаний следующее:

„В литературе и в обществе часто сравнивают произведения Федора Михайловича с произведениями Тургенева и упрекают его, Достоевского, за то, что в романах его все так нестройно и запутано, так нагромождено, как будто несколько романов соединено вместе *), тогда как каждое произведение Тургенева так обточено, так ювелирски отделано. И редко кому приходит в голову припомнить и взвесить те обстоятельства, в которых жил и работал тот и другой писатель. Тургенев (*зачеркнуто*: богатый) барин, всю жизнь обес-

*) Мнение Н. Н. Страхова, высказанное в статье. Прим. А. Г. Достоевской.

печенный, нигде не служивший и имевший полную возможность обдумывать и отделывать свои произведения. Где-то было напечатано (*сверху*: когда-то в печати сообщали), что он по пяти раз сам (*зачеркнуто*: переделывал и) переписывал свои романы, вставляя и сокращая их, и, во избежание потери рукописи, хранил их в трех банках. Федор Михайлович был человек страдавший двумя тяжкими болезнями (эпилепсией и эмфиземой дыхательных путей), обремененный большою семьей, кругом в долгах и вечно занятый тяжелыми мыслями о завтрашнем дне, о насущном хлебе. Была ли возможность при таких обстоятельствах отделывать свои произведения. Сколько раз случалось, что две (*зачеркнуто*: три) главы романа были уже напечатаны (*зачеркнуто*: в журнале), третья набиралась в типографии, четвертая — шла по почте в Русский Вестник, а остальные были еще не написаны, а только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочтя напечатанную главу своего романа, вдруг ясно видел свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь. „Если-б можно было вернуть, говаривал он, если-б можно было исправить. Теперь я вижу,—говорил он,—в чем затруднение, вижу, почему мне не удается роман. Я, может быть, этою ошибкою вконец убил мою „идею". И это была истинная скорбь, скорбь художника, увидевшего ясно, в чем он ошибался, и не имеющего возможности поправить дела. Да, к сожалению, никогда не представлялось ему такой возможности: нужны были деньги для житья, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после припадка, работать, торопиться, еле просматривать рукопись, только бы она была послана к сроку и можно было бы получить за нее поскорее деньги. И никогда-то в его жизни (кроме „Бедных Людей") не пришлось Федору Михайловичу написать произведение не на-спех, не торопясь, обдумав все детали романа и обстоятельно обсудив его план, словом, „создать" произведение. Такого великого счастия судьба не послала Федору Михайловичу, а это всегда было его задушевной, хотя, увы, недостижимой мечтой. (*Вписано между строк*: А какое высокое нравственное удовлетворение испытал бы в таком случае мой дорогой).

„Да, вечная бедность Федора Михайловича, всегдашний недостаток средств был истинным несчастием нашей жизни. Она была бедой и в экономическом отношении: в то время, когда всегда обеспеченный Тургенев знал, что его произведение будут на перерыв оспаривать журналы и он получит по 500 *) р. за лист, в то же время необеспеченный Федор Михайлович должен был с а м предлагать свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то он получал значительно меньше. Так он получил за романы „Преступление и Наказание" (*зачеркнуто*: по 150 р.) „Идиот" и „Бесы" по 150 р. за лист; за р. „Подросток" по 250 р., и только за последний свой роман „Братья Карамазовы" получил по 300 рублей. А сколько было мучений для Федора Михайловича в мысли, что „Русский Вестник" (в котором обычно печатались его романы) может не взять романа по каким либо соображениям, напр., запасшись романом другого писателя (*зачеркнуто*: или не желая затрачивать). И вот тогда Федор Михайлович терзался мыслью, что же предпринять и как пережить время, пока роман не будет напечатан и не получатся деньги. Да, долгие безотрадные годы пришлось переживать необеспеченному Федору Михайловичу, и нужно поистине удивляться тому, как мог при таких гнетущих обстоятельствах писать свои „нестройные" романы.

С болью в сердце припоминаю я, как часто приходилось моему дорогому мужу отказывать себе в удовлетворении самых насущных потребностей, в самых скромных удовольствиях. Много раз, занятый срочной работой, Федор Михайлович, и слыша о каком-нибудь выдающемся спектакле или концерте, говорил мне: „Знаешь, Аня, вот кончу работу и съездим посмотреть эту пьесу". Я соглашалась, но когда наступал отдых и Федор Михайлович мог поехать, я предлагала ему ехать одному, а для себя придумывала отговорки: то мне нездоровится, то детей боюсь оставить одних. Федор Михайлович отказывался ехать один и с грустью, а иногда с досадой говорил: „Всегда-то тебе нельзя, вечно ты отказываешься. А мне так бы хотелось отдохнуть, освежиться, побывать вместе в театре, вместе посмеяться, набраться новых впечатлений". (*Цитируем по рукописи*). В недавно изданной Г. П. Гроссманом редакции „Воспоминаний А. Г. Достоевской" это место (см. стр. 150—151, Госиздат, 1925 г.) написано автором сдержаннее и в более общих выражениях, — говорится вообще, о многих писателях, тогда как здесь всюду Тургенев поставлен как противоположность Ф. М. во всем. Эта редакция ярче и откровенней.

179. Переписка и личные встречи Достоевского с Некрасовым возобновились после значительного перерыва весной 1874 г. по почину Некрасова (см. подр. 342 стр.).

Письма Некрасова к Достоевскому за 1874 г. в связи с печатанием „Подростка" в „Отечественных Записках" в значительной части сохранились и напечатаны вместе

*) Высшая цена по тому времени.

с ответными письмами Ф. М. в издании Центрархива: „Из архива Достоевского.—Письма русских писателей", под редакцией Н. К. Пиксанова. М. Госиздат, 1923 г., стр. 48 — 50.

180. В подлиннике написано именно „Михаилу и Николаевичу". По нашим наблюдениям, Ф. М. всегда очень внимательно относился к чужим именам и в публикуемой переписке нет ни одного случая, когда бы Ф. М. кого-либо назвал полуименем. Поэтому можно считать, что здесь простая описка, и надо читать „Михаилу Николаевичу", т.-е. Сниткину, двоюродному брату Анны Григорьевны. Но если здесь два лица: то Михаил— это Михаил Михайлович младший, племянник Ф. М. (см. о нем примеч. 132) и Михаил Николаевич Сниткин.

К ПИСЬМУ 4 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

181. Неизвестным оказался последний сын Достоевских — Алексей, родившийся в Старой Руссе 12 августа 1875 г. и неожиданно умерший в Петербурге 16 мая 1878 г. О его неожиданной смерти, потрясшей Ф. М., и похоронах рассказывает Любовь Федоровна Достоевская в своих воспоминаниях в особой XV главе „Маленький Алексей". (Подробн. см. „Достоевский в изображении его дочери", стр. 75—80, по русск. изданию.) В следующем письме Ф. М. называет его Incognito.

К ПИСЬМУ 6 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

182. Салтыков, Михаил Евграфович, был знаком с Д. еще в 1862 г. В 1863 г., когда Салтыков вступил в состав ближайших сотрудников „Современника", между ним и Ф. М. вспыхнул идейный спор. Эта „полемическая буря" отразилась в фельетонах-памфлетах Д.: „Молодое перо", „Опять молодое перо", „Господин Щедрин, или раскол в нигилистах", „Отрывок из романа", „Щедродаров". Эти статьи Д. перепечатаны Л. П. Гроссманом в 23 т. собр. соч. Д. изд. „Просвещения". Письма М. Е. Салтыкова (3 письма) и краткая история взаимных отношений с Д—м изложена Н. К. Пиксановым в изд. Центрархива „Письма русских писателей", стр. 99—104. Из писем видно, что в это время Салтыков уже спокойно относится к Д., забыв, как утверждает Н. К. Пиксанов (стр. 102), „горечь полемики" и в следующем году пишет к нему письмо с просьбой прислать небольшой рассказ для „Отечественных Записок".

183. Вс. С. Соловьев под псевдонимом „Sine ira" поместил в „С.-Петербургских Ведомостях" фельетоны: „Наши журналы" (№ 32 и 58).

184. Роман Л. Толстого „Анна Каренина", о котором велась беседа, печатался в то время в „Русском Вестнике" (1875 г., № 1—4, и в 1876 г. в № 1—4, в № 12 и в 1877 г. № 1—4); в „Отечественных Записках" печаталось „Утро помещика" (1856 г., № 12).

185. Корнилов, Иван Петрович (р. 1811)—служил в гвардии, в Восточной Сибири, по министерству просвещения, собиратель старорусских и славянских рукописей.

186. Статья Авсеенко, В. Г. о „Подростке" помещена была в „Русском Мире" № 27, среда, 29 января, под назв. „Очерки текущей литературы", 1875. Авсеенко, давая подробную оценку творчества Д. в связи с новым романом, которому он и посвятил настоящий фельетон, из всех своих суждений сделал следующий решительный и обидный для самолюбия Д. вывод: „Если считать ядовитыми для общества сладострастные изображения французских романистов, то еще более ядовитою надо считать литературу, которая держит читателя в смрадной атмосфере подполья"...

187. Ламанский, Порфирий — давнишний знакомый Ф. М. как участника кружка Петрашевцев. В 1875 г. он скончался, до этого служил в Государственном банке.

К ПИСЬМУ 7 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

188. Костомаров, Николай Иванович (1817—1885 г. г.)— историк, в 40-х г. был членом тайного украинского общества („Кирилло-Мефодиевское братство"), был лишен права преподавать и сослан в Саратов. Затем ему было разрешено жить в Петербурге, писать и преподавать в Университете. Он проводил идею народности, интересовался историей местных национальных движений, занимался больше историей Украины; затем написал работы по истории Пскова, Новгорода, о Степане Разине и др.

189. Крестовский, Всеволод Владимирович, писатель (1840—1895 г.г. автор известного романа „Петербургские трущобы". Он занимался обличением шестиде-

сятников, связывая движение 60-х г.г. с польским восстанием. — В 1875 г. вышли отдельным изданием его романы „Панургово стадо“ и „Две силы“ (печ. в „Р. Вестнике“) под общим названием „Кровавый пуф“.

К ПИСЬМУ 8 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

190. Несомненно, это Всеволод Сергеевич; подр. о нем см. в примечании 122.

191. В „Пчеле“ за 1875 г. напечатана повесть Соловьева, Всеволода Сергеевича: „Черная роща“ (в №№ 1—7).

192. В „Биржевых Ведомостях“ за 1875 г. в № 35 за 6 февраля напечатан литературный фельетон „Мысли по поводу текущей литературы.—Нечто о романах Достоевского вообще.—„Подросток“— роман Ф. М. Достоевского, ч. 1-я—за подписью „Заурядного читателя“.

К ПИСЬМУ 9 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

193. Славянский — Славянский Комитет; Достоевский состоял членом Комитета, от его имени был в 1880 г. делегатом на Пушкинских торжествах и должен был делать членские взносы.

194. „Любители“—это Петербургский отдел Общества Любителей Духовного Просвещения; деятельностью его интересовался Достоевский и в „Гражданине“ 1873 года № 14 поместил информацию о заседании Общества 28 марта 1873 г. (перепеч. Л. П. Гроссманом в 22 т. собр. соч. изд. „Просвещения“, стр. 219 — 223).

195. Какое „пари“ вел Достоевский,—не знаем.

К ПИСЬМУ 10 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

196. Корш, вероятно, Евгений Валентинович, адвокат.

К ПИСЬМУ 12 ФЕВРАЛЯ 1875 г.

197. Ламанский, Владимир Иванович (1833—1912 г.г.)—известный славист, в статьях развивал славянофильские идеи об особенностях славянского племени и его просвещения и подготовлял общественное мнение в пользу объединения славян.

198. Кони, Александр Федорович—известный судебный деятель, род. 28 января 1844 г; ныне здравствует; об отношении его к Д. и воспоминаниях см. выше примеч. 99 и 107.

199. Порецкий, Александр Устинович (1819—1879)—писатель, был официальным редактором „Эпохи“.

К ПИСЬМУ 14 МАЯ 1875 г.

200. Казанский—какой именно, трудно сказать. Известны трое: П. П. Казанский—капитан, К. П. Казанский—прапорщик и П. П. Казанский—поручик, все внуки А. Ф. Куманиной.

К ПИСЬМУ 25 МАЯ 1875 г.

201. Ф. М. с 1874 г. ездил в Эмс лечиться водами.

202. В библиотеке Ф. М. есть книга А. Суворина „Русские замечательные люди“. Рассказы изд. 1874 СПБ. (см. у Л. П. Гроссмана. „Библиотека Достоевского“, Одесса 1919, 151 стр.). Может быть, и другую книгу Суворина читал Ф. М.

К ПИСЬМУ 29 МАЯ 1875 г.

203. Комаровский, Егор Евграфович (1803 — 1875 г.г.) — зять поэта Веневитинова, конногвардеец, адъютант принца Евгения Виртембергского в 1828 г.; потом член Комитета иностранной цензуры. Может быть и его брат Алексей (1820—1895), дейст. стат. советник, отец профессора.

204. Вяземский, Петр Андреевич — поэт, близкий друг Пушкина. В это врмея ему было 85 лет; родился Вяземский 12 июля 1792 г., умер 10 ноября 1878 г. С Достоевским Вяземский не был знаком и в переписке не состоял.

205. Какой Аксаков – неизвестно. Был известен в то время еще Николай Петрович Аксаков, р. 1848 г., ум. в 1909 году, доктор философии Гессенского Университета, публицист по церковно-философским вопросам и поэт.

К ПИСЬМУ 10/22 ИЮНЯ 1875 г.

206. Иловайский, Дмитрий Иванович (1832 — 1919)— историк, выступил решительным противником норманской теории; как публицист известен статьями охранительного характера; ему принадлежали „официозные" учебники истории для школ.

К ПИСЬМУ 13/25 ИЮНЯ 1875 г.

207. По независящим обстоятельствам, нам не удалось найти этого журнала в библиотеках Москвы.

К ПИСЬМУ 21 ИЮНЯ/3 ИЮЛЯ 1875 г.

208. Гиршторн, А. — доктор, автор книги „Эмс и его целебные источники". СПБ. 1874 г. Экземпляр сохранился в библиотеке Д. — см. в книге „Библиотека Достоевского". Одесса 1919 г., стр. 158.

209. Это письмо Д. в печати неизвестно.

К ПИСЬМУ 27—28 ИЮНЯ/9—10 ИЮЛЯ 1875 г.

210. О публикации по поводу болезни Достоевского А. Г. Достоевская в своих воспоминаниях пишет: „23 июня я получила из Петербурга письмо, в котором меня уведомляли, что в „С.-Петербургских Ведомостях" появилось известие о тяжкой болезни Ф. М. Не поверив письму, я побежала в читальню Минеральных Вод, разыскала вчерашние газеты и в № 159 указанной газеты нашла в хронике следующую заметку: „Мы слышали, что наш известный писатель Ф. М. Д—й серьезно захворал".

К ПИСЬМУ 6 ИЮЛЯ 1875 г.

211. См. об инциденте с 50 талерами выше, в прим. 152, на стр. 347.

К ПИСЬМУ 13/25 ИЮЛЯ 1876 г.

212. Письма этого ни в подлинном виде, ни в копии в архиве Достоевского поступившем в Центрархив, не сохранилось.

К ПИСЬМУ 21 ИЮЛЯ/2 АВГУСТА 1876 г.

213. Елисеев, Григорий Евлампиевич (1824—1880 г.г.) — издатель „Русского Слова" и „Дела".

214. Белоголовый, Николай Андреевич (1832—1895 г. г.) — врач, долго лечивший Некрасова, Салтыкова; он оставил свои воспоминания о встречах с писателями (1 изд. 1897 г.).

К ПИСЬМУ 26 ИЮЛЯ/7 АВГУСТА 1876 г.

215. Статья В. С. Соловьева об июньском (в тексте писем опечатка; надо читать: „июньский") № „Дневника писателя" помещена была в № 189 за 11 июня „Р. Мир" под названием: „Современная литература". Ф. М. Достоевский и Эмиль Золя о „Жорж Занде".— Первая глава „Дневника" посвящена была Жорж-Занд по случаю ее смерти. В № 196 от 11 июня другая статья В. Соловьева: „Мысли по поводу Восточного вопроса"—отклик на 2-ю главу „Дневника писателя" за июнь 1876 г.

К ПИСЬМУ 2/14 АВГУСТА 1876 г.

216. Языков, Михаил Александрович (1811 — 1885 г.г.)—жил в Новгороде; был одним из близких друзей Тургенева; управляющий Новгородским акцизным управлением.

К ПИСЬМУ 6 ИЮЛЯ 1877 г.

217. Александров, М. А.—типограф; оставил воспоминания о встречах своих с Ф. М. в 1872 — 1881 г.г. См. „Ф. М. Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика" — „Русск. Старина", 1892, IV, 177—207; V, 293—336.

218. Мария Николаевна — сестра Михаила Николаевича Сниткина и двоюродная сестра Анны Григорьевны.

К ПИСЬМУ 7 ИЮЛЯ 1877 г.

219. Фельетон о Корниловой в „Сев. Вестнике" нам остался недоступным, в виду отсутствия журнала в московских библиотеках. — Делом Ек. Прок. Корниловой Ф. М. был сильно заинтересован и писал о нем в „Дневнике Писателя" за 1876 г., октябрь (гл. перв.) и декабрь (гл. перв.) и за 1877 г. апрель. Историю этого дела и свое отношение к нему Ф. М. рассказал в указанных статьях „Дневника".

К ПИСЬМУ 15 ИЮЛЯ 1877 г.

220. Прикол — имение Ив. Григорьевича Сниткина, брата Анны Григорьевны.

К ПИСЬМУ 20 ИЮЛЯ 1878 г.

221. Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900 г.г.)—известный философ-идеалист, поэт и литературный критик. Соловьев, по словам Анны Григорьевны, своим душевным складом напоминал Ф. М. друга его ранней юности, Ив. Мих. Шидловского, имевшего благотворное влияние на него. (См. примеч. Анны Григорьевны к соч. Д. в сб. „Творчество Д.". Одесса 1921, стр. 33.) Намек на это сделал Ф. М. в „Бесах" (стр. 302 — 303, изд. 1905 г.). Жизнь и личность Шидловского — типичной фигуры 30 — 40-х годов — обрисована в интересной книжечке М. П. Алексеева „Ранний друг Д.". Одесса 1921 г.

222. Лавров, Вукол Михайлович (1852 — 1912), издатель и переводчик. Характеристику его дает Ф. М. в своем письме от 27 мая 1880 года (см. стр. 287).

К ПИСЬМУ 22 ИЮНЯ 1878 г.

223. Не Прохоровщиков, а Пороховщиков, Александр Алекс., моск. купец, предприниматель, был издателем газеты „Минута" и др. (см. о его деятельности у А. Р. Кугеля („Homo novus") „Литературные воспоминания", П. 1924, стр. 79 — 80). Салтыков М. Е. в письме 13 окт. 1876 г. Некрасову писал о „самозванстве" Пороховщикова следующее: „У нас здесь ходят разнообразные слухи о депутациях, являющихся якобы в Ливадию и требующих войны. Между прочим, совершенно гомерический рассказ о некоем проходимце Пороховщикове, который, не будучи никем уполномочен, ездил депутатом от гор. Москвы и, к удивлению кн. Долгорукова, генерал-губернатора, посылал к нему телеграммы о своем времяпровождении в Ливадии, вытребовал себе особый вагон для следования в Москву и телеграфировал на известные станции, что он будет тогда-то, вследствие чего уже к нему являлись депутации. Ведь это почти повторение „Ревизора" (М. Е. Салтыков. Письма 1845—1889 г.г. Под ред. Н. В. Яковлева. Госиздат. Ленинград. 1924 г., стр. 149).

224. Новикова, урожденная Киреева, Ольга Алексеевна (1840 — 1921), — публицистка славянофильского направления; писала главным образом об англо-русских отношениях и подписывала свои статьи инициалами: „О. К.".

К ПИСЬМУ 29 ИЮНЯ 1879 г.

224а. В Оптиной пустыни Ф. М. видел три раза старца Амвросия и дважды наедине беседовал с ним, по словам А. Г. Достоевской, о том, „как мы горюем и плачем по не-

давно умершему нашему мальчику". Беседа с Амвросием, тронувшая Ф. М., нашла отражение в ром. „Бесы" в беседе матери и старца (см. стр. 54—57 изд. 1906 г.).

К ПИСЬМУ 7 НОЯБРЯ 1878 г.

225. Кашкин, Владимир Дмитриевич—имел книжный магазин и частную библиотеку в Камергерском переулке в Москве.

226. Цитович, Петр Павлович—в это время состоял профессором Новороссийского университета по кафедре гражданского права. Достоевский читал, очевидно, нашумевшую в это время его брошюру „Новые приемы защиты общинного землевладения" (Одесса 1878 г.). Брошюра была написана как особое мнение по поводу избрания на кафедру политической экономии А. С. Посникова и в ответ на диссертацию Посникова „Общинное землевладение" (т. II, 1878), защищавшего общину. Брошюра Цитовича вызвала большие споры о себе (ср. ответ Н. К. Михайловского в „Письмах к ученым людям" — „Отеч. Зап.", 1878 г.; см. Внутреннее обозрение „Вестн. Европы", 1878 г., № 12 и др.).

К ПИСЬМУ 9 НОЯБРЯ 1878 г.

227. Архипов, Иван Павлович (1839—1897)—профессор технической химии физ.-мат. факультета Моск. университета; затем председатель учен. Ком. мин. Земледелия Умер в Петербурге.

228. Трудно сказать, какой именно процесс интересовал Ф. М., — крупных политических процессов в это время не было.

229. Маркевич, Болеслав Михайлович (1822—1884) — романист, пользовался „невысокой" репутацией как человек „без предрассудков" и писатель „охранительного" направления.

230. „Лилины выдумки" — издание, которое, повидимому, Ф. М. предполагал издавать. Может быть, это отрывки из его сочинений, подобранные для детей младшего возраста. В этом и след. году издание не осуществилось.

К ПИСЬМУ 19 ИЮНЯ 1879 г.

231. Анна Григорьевна Достоевская любила собирать автографы русских писателей, — небольшая коллекция их оказалась в архиве Ф. М., поступившем в Центрархив. Здесь налицо автографы: Пушкина, Жуковского, Гнедича, Кольцова, Никитина и др.; часть из них известна в печати, часть не опубликована; из числа таковых опубликованы недавно письма Д. И. Писарева из крепости к матери (см. „Красный Архив", т. V, стр. 248—257). Сведений о Созонович не имеем.

К ПИСЬМУ 28 ИЮЛЯ/9 АВГУСТА 1879 г.

232. Нил—это Нилова мужская пустынь, в 8 верстах от города Осташкова, Тверской губ.

К ПИСЬМУ 1/13 АВГУСТА 1879 г.

233. Философова, Анна Павловна (рожд. Дягилева, 1837—1909)—известная либеральная общественная деятельница. В конце 60-х годов она выступила сторонницей высшего образования женщин, много работала во время самарского голода 1873—1874 г.г. Благодаря энергии ее и других, в 1870 г. в Петербурге были открыты курсы для женщин; состояла в числе учредительниц ряда обществ, задававшихся целью поднятия образовательного уровня женщин. О знакомстве с Д. А. П. Философовой см. в книге А. В. Тырковой „А. П. Философова и ее время", П. 1925, стр. 264—267; здесь же приведены воспоминания о Д. дочери А. П. Философовой, М. В. Каменецкой (там же, 265—266).

К ПИСЬМУ 16/28 АВГУСТА 1879 г.

234. Достоевские приобрели себе в 1876 г. собственный дом в Старой Руссе; Ф. М. письма адресует прямо в собственный дом. Сохранилось два конверта с таким адресом писем от 1879 г.

К ПИСЬМУ 19 АВГУСТА/1 СЕНТ. 1879 г.

235. „План"—план поездки А. Г. Достоевской в Рязанскую губернию для осмотра земли, доставшейся Д. по смерти тетки, из-за которой шло судебное дело в те годы.

К ПИСЬМУ 27 АВГУСТА/9 СЕНТ. 1879 г.

236. Сохранились письма Д. к Победоносцеву от 9/21 авг. и 24 авг. за 1879 г., писанные из Эмса; здесь, очевидно, речь идет о втором письме от 24 августа (напеч. нами в ж. „Красный Архив", т. II, 1923 г., 244—247).

К ПИСЬМУ 23—24 МАЯ 1880 г.

237. Мария Александровна, жена Александра II, умерла 22 мая 1880 г.

238. „Пушкинские дни" (май—июнь 1880 г.) были, без сомнения, крупным событием в московской общественной жизни, и естественно, что они должны были привлечь внимание „правящих сфер". Сохранилось особое дело в архиве б. секретного отделения московск. в. ген.-губерн. за 1880 г. по описи № 179, начатое до открытия памятника и до съезда делегатов, именно 21 мая 1880 г., под выразительным и объясняющим сущность дела названием: „По отношению Глав. Нач (альника) Вер(ховной) Рас(порядительной) Ком. о принятии мер к недопущению манифестаций при открытии памятника поэту Пушкину в Москве".

Дело открывается названным отношением начальника названной комиссии, каким был тогда М. Т. Лорис-Меликов, на имя б. м. в. ген.-губ. В. А. Долгорукова.

„Конфиденциально. 18 мая 1880 г. № 446. С.-Петербург.

Милостивый государь кн. Владимир Андреевич, 26 сего мая предположено в Москве торжественное открытие памятника поэту А. С. Пушкину. Имея в виду, что упомянутое торжество привлечет значительное стечение публики не только из местных жителей, но и иногородних и может подать повод к каким-либо противоправительственным манифестациям, я, на основании высочайше преподанных мне указаний, обращаюсь к вашему сиятельству с покорнейшей просьбой принять, совершенно негласно, все зависящие от вас меры к недопущению каких бы то ни было противузаконных проявлений и к установлению должного наблюдения за лицами, навлекающими на себя в этом отношении подозрение.

О распоряжениях, какие вы изволите признать нужным сделать по настоящему предмету, благоволите меня уведомить. Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности. Гр. *Лорис-Меликов*".

Синим карандашом рукой Долгорукова положена резолюция:

„Распоряжение с моей стороны уже сделано, о чем уведомлю в свое время гр. Лорис-Меликова".

Действительно, в деле сохранилась подробная переписка м. ген.-губернатора с м. полицмейстером и начальником м. губ. жандармск. управления, в результате чего совместно были выработаны меры „предупреждения". Эти меры и план действий изложены в отношении Долгорукова Лорис-Меликову; отношение исчерпывает всю переписку и дает общую картину предположенных „действий" встревоженной полиции.

„Конфиденциально".

„Милостивый Государь Граф Михаил Тариелович. На письмо вашего сиятельства от 18 минувшего мая [1880 г] за № 446 имею честь уведомить вас, милостивый государь, что о принятии совершенно негласно мер к недопущению каких бы то ни было противозаконных проявлений и к установлению должного наблюдения за лицами, навлекающими на себя подозрение и могущими дать повод к каким-либо противоправительственным манифестациям при открытии в Москве памятника поэту Пушкину, московским обер-полицеймейстером, вследствие указаний моих, предписано циркуляром по полиции учредить с 1 текущего июня ежедневный обход полицейскими офицерами всех гостиниц и меблированных комнат с тем, чтобы все пустые №№ в них были на особой отчетности и все пребывающие туда лица вносились в списки, которые с отчетного числа доставляются каждый вечер обходящими офицерами, в его канцелярию

и также сообщаются в московское губернское жандармское управление, так что все лица, пребывающие в гостиницу и меблированные комнаты, известны как полиции, так и жандармскому управлению, затем вменено в обязанность квартальным надзирателям внимательно следить за всеми обывательскими домами, где группируется учащаяся молодежь или куда могут прибывать и укрываться подозрительные лица и иметь за ними строжайшее наблюдение, донося тотчас же о всем замеченном, а также предписано по полиции обратить особенное внимание на предъявляемые к прописке письменные виды лиц, прибывающих сюда в это время и следить вообще за каждым подозрительным лицом. Кроме того, начальнику м. губ. жандармского управления сообщен список лицам*), ожидаемым в Москву в качестве депутатов от разных учреждений и обществ, для присутствования при торжестве открытия памятника. С 5 июня по 9 число назначены пешие и конные патрули от войск по всем частям города; в день же открытия памятника на площади Страстного монастыря будет достаточный полицейский и жандармский наряд с особым резервом.

Независимо же от всех мер этих даны надлежащие указания по предмету должных наблюдений как всем частным приставам и квартальным надзирателям, так и особым известным лицам. Одновременно с таковыми распоряжениями по наружной полиции со стороны начальника Московского губернского жандармского управления по моему предложению учреждено негласное наблюдение за теми лицами, которые окажутся подозрительными в своей благонадежности, а также будут находиться доверенные лица в среде участвующих на празднествах.

Примите милостивый государь уверение в отличном почтении и совершенной преданности“ **).

№ 1660.

3 июня 1880 г.

239. Юрьев, Сергей Андреевич (1821—1888) — литератор, переводчик испанских драматургов и Шекспира, в 1878 — 1884 г. г. председатель Общества любителей российской словесности, в 1880 — 1885 г. г. редактор издававшегося В. М. Лавровым журнала „Русская Мысль“, которому придавал некоторый славянофильский характер. — Сношения С. А. Юрьева с Достоевским начались в 1877 г., когда Юрьев издавал „Беседу“. Юрьев приглашал Д. сотрудничать в „Беседе“. Д. дал любезное согласие, виделся с Юрьевым. В 1878 г. Д. был приглашен Юрьевым участвовать в „Русской Мысли“. Пушкинский праздник дал повод сначала к переписке, а затем к личным беседам в Москве. (См. в сб. „В память С. А. Юрьева“, изд. друзьями покойного. М., 1890, стр. 277.) Сохранились и опубликованы в названном сборнике четыре письма Ф. М. Достоевского к нему: 27 окт. 1871 г., 11 июля 1878 г., 9 апреля 1880 г, 5 мая 1880 г. (см. стр. 278). — Юрьев был близок со многими видными современниками.

240. Лавров, Вукол Михайлович — с 1880 г. приступил к изданию журнала „Русская Мысль“.

241. Аксаков, Николай Петрович (1878—1880 г. г.) — секретарь Об. Л. Р. Словесности; см. о нем выше, прим. 205.

242. Барсов, Елпидифор Васильевич (1837 — 1919 г. г.) — этнограф и археолог, собиратель древних рукописей, член Общества любителей российской словесности, в 1880 г. бывший библиотекарем Чертковской городской библиотеки.

К ПИСЬМУ 25 МАЯ 1880 г.

243. Зверев, Николай Андреевич (1850—1911) — профессор Московского университета по кафедре энциклопедии и истории философии права, впоследствии сенатор и член Гос. Совета.

244. Брат Андрей — Андрей Михайлович Достоевский, как и все братья Достоевские, был внесен в 3-ю часть родословной книги Московской губернии по службе отца, штаб-лекаря Михаила Андреевича (в 1828 г.); из следующих поколений туда внесены потомства Михаила Михайловича и Федора Михайловича.

245. Маша и Нина Александровны Ивановы — племянницы Федора Михайловича, дочери его сестры, Веры Михайловны Ивановой.

---

*) К сожалению, все дела б. м. жандармск. управления за эти годы уничтожены еще самим ведомством и в архиве их нет. Таким образом список этот видеть невозможно. Примечание *Н. Б.*

**) Подписи Долгорукова нет, так как документ оставлен в деле в писарской копии.

246. Золотарев, И. Ф.—один из старейших членов Славянского благотворительного общества, второй депутат общества на торжествах. В „Венке на память Пушкину" ошибочно назван Золотаренко, так же и в газете „Русские Ведомости" 1880 г., № 144 назван д. тайн. сов. Золотаренко.

247. Сухомлинов, Михаил Иванович (1828 — 1901) — академик, историк литературы.

248. Гатцук, Алексей Алексеевич (1832—1891)—археолог, издатель газ. Гатцука и календаря.

249. Висковатов, Павел Александрович (род. 1842 г.) — профессор Дерптского университета по кафедре русской словесности, депутат от этого университета на открытии памятника Пушкину. О нем Д. был не совсем лестного мнения, доказательством чему служит приведенный в письме А. Ник. Майкову (16/28) августа 1867 г. рассказ Д. о встрече в Дрездене с одним русским, который живет за границей постоянно, в Россию ездит каждый год, недели на три, получить доход... жена и дети все онемечились. „Я спросил его для чего собственно экспатрировался? Он буквально с раздраженною наглостью отвечал: „Здесь цивилизация, а у нас варварство. Кроме того, здесь нет народностей; я ехал в вагоне вчера и разобрать не мог француза от англичанина и от немца". Человек этот принадлежит к молодым прогрессистам,—пишет Д.,— впрочем, кажется, держит себя от всех в стороне. В каких то шпицов, ворчливых и брезгливых, они заграницей обращаются". (Письма, 171.)

250. Речь И. С. Тургенева произнесена была в торжественном заседании Общества любителей российской словесности 7 июня; напечатана в „Вестнике Европы" за 1880 г. № 7.

К ПИСЬМУ 25—26 МАЯ 1880 г.

251. Поливанов, Лев Иванович (1823—1899 г.) — педагог, директор частной гимназии, в 1878—1880 г. г. временный секретарь Общества любителей российской словесности, член комитета, учрежденного для открытия памятника Пушкину.

252. Рубинштейн, Николай Григорьевич (1835—1881)—директор Моск. Консерватории.

253. Бессонов, Петр Алексеевич (1828—1898)—библиотекарь Московского университета, был секретарем Об. л. р. слов., потом профессор Харьковского университета по кафедре славянских наречий.

К ПИСЬМУ 27 МАЯ 1880 г.

254. На Пушкинских торжествах присутствовали все дети Пушкина: сыновья Александр А. и Григорий А. и дочери—Мария А. Гартунг и графиня Наталья А. Меренберг.

255. Павлищев, Лев Николаевич (р. 1834)—сын сестры Пушкина, автор воспоминаний о дяде; служил в Главном Интендантском управлении.

256. Соловьев, Кашкин, Преснов и Морозов — московские книгопродавцы. Соловьев стал владельцем магазина б. Базунова на Страстном бульваре.

257. Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899)—известный писатель, депутат от Литературного Фонда на Пушкинских торжествах.

258. Маркевич, Болеслав Михайлович—за 1880 г. напечатал в „Русском Вестнике" вторую часть своей трилогии, роман „Перелом".

259. „Сумасшествием" Толстого, очевидно, называли увлечение его религиозно-философскими вопросами и отказ от художественной деятельности. Как раз в то время, в 1880 г., Толстой выпустил „Критику догматического богословия", в 1880 г. писал и в 1881 г. издал „Краткое изложение Евангелия" и другие свои религиозные произведения. Возможно и другое. Известно, что Л. Н., отказываясь от участия в этом торжестве, выразился по этому поводу резко: „Это все одна комедия".

260. Анненков, Павел Васильевич (1812—1887) — литературный критик, издатель первого по времени собрания сочинений Пушкина, друг И. С. Тургенева.

К ПИСЬМУ 27—28 МАЯ 1880 г.

261. Графиня Менгден—может быть, жена бригадного командира 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, генерал-майора графа Георгия Федоровича Менгден, Зинаида Николаевна, урожденная Бурцева.

262. К. К.—великий князь Константин Константинович.

263. Наташа—племянница Достоевского, Наталья Александровна Иванова(р.1867 г.), младшая дочь его сестры Веры Михайловны.

К ПИСЬМУ 28—29 МАЯ 1880 г.

264. Ковалевский, Максим Максимович (1851—1916)—известный историк права и социолог, в 1877—1887 г.г. профессор Московского университета по кафедре государственного права.

265. Пушкин, племянник А. С. Пушкина—Анатолий Львович, сын его брата Льва Сергеевича.

266. Чаев, Николай Александрович—в 1878—1884 г. г. временный председатель Общества любителей российской словесности.

267. Николай Японский—Николай Касаткин (1836—1912), епископ Ревельский, начальник русской православной миссии в Японии, впоследствии архиепископ Японский.

268. Викарий Алексей—Алексей Лавров-Платонов (1829—1890), епископ Можайский, 2-й викарий московский, впоследствии архиепископ виленский и литовский.

К ПИСЬМУ 30 МАЯ 1880 г.

269. Сабуров, Андрей Александрович (1837—1916)—министр нар. просвещения, после графа Д. А. Толстого.

270. Энгельгардт, Анна Николаевна (1835—1903), переводчица, дочь известного составителя словарей Н. П. Макарова, жена публициста и образцового сельского хозяина Александра Николаевича Энгельгардта. Д. с ней был знаком давно. Анна Николаевна, по словам Б. А. Штакеншнейдер, нравилась Д. давно. Он даже говорил Штакеншнейдер, что „глаза ее как-то одно время его преследовали лет 8 тому назад... Потом в Москве, в Пушкинские дни, он то и дело заходил к ней". (См. „Из дневника Е. А. Штакеншнейдер".—„Голос Минувшего", 1919, № 1—4, стр. 186). Действительно, в письмах Ф. М. к Анне Григорьевне из Москвы май—июнь 1880 г., где он сообщает ей о событиях Пушкинского праздника, не раз встречаются упоминания о А. Н. Энгельгардт и о встречах с ней. В 1880 г. А. А. Энгельгардт была вызвана Стасюлевичем в Петербург из Москвы и в первых числах ноября она появилась в Петербурге в качестве сотрудницы газеты Стасюлевича.—В записной тетради Д. („Дневник писателя" 1881 г.) записан рукой Ф. М. на 3-й стр. адрес ее: „Садовая, Никольский рынок, Никольский мост, д. № 124 (Тона) в номерах Тона". В литературе работала с 1861 г.; в 1901 г. праздновала 40-летний юбилей („Новое Время", 1901, № 9031), некролог (там же, № 9785 (см. в „Словаре писательниц" Н. В. Голицына, СПБ, 1889 г., 282 стр.).

К ПИСЬМУ 31 МАЯ 1880 г.

271. В личном архиве Ф. М. сохранился единственный автограф Н. В. Гоголя—письмо его к К. С. Аксакову из Рима, март 1841 г.; очевидно, Ф. М. в бытность на торжествах в Москве не получил его, и И. С. Аксаков позднее прислал его в своем письме на имя Ф. М., от 30 сент. 1880 г. Таковые сведения дает Анна Григорьевна в надписи на конверте к этому письму Гоголя. В автографе есть небольшие варианты по сравнению с печатным текстом, изд. по ред. В. И. Шенрока (изд. Маркса, СПБ., т. II, стр. 102—103).

272. Лопатин - вероятно, Лев Михайлович (1855—1920), впоследствии профессор Московского университета, философ-идеалист.

273. Гаевский, Виктор Павлович (1826—1888), присяжный поверенный в Петербурге, один из основателей и главных деятелей Литературного Фонда, пушкинист, депутат от Петербургского отделения Росс. музыкального Общества Петербургской Консерватории и Литературного Фонда.

274. Краевский, Андрей Александрович (1810—1889), известный журналист, издатель „Отечественных Записок" и „Голоса", депутат от Пет. гор. общества и Лит. Фонда на Пушкинских торжествах.

275. „Ориньк а“—повидимому, это ласкательное название Ореста Федоровича Миллера, известного профессора и исследователя русской литературы (1833—1889 г.г.); Миллер заявил себя сторонником „мифологического“ направления в изучении фольклора

К ПИСЬМУ 2—3 ИЮНЯ 1880 г.

276. Собрания съехавшихся на Пушкинские торжества представителей происходили по утрам в квартире Ив. И. Маслова, управляющего Удельной Конторой, жившего в доме Удельного Ведомства на Пречистенском бульваре. И. И. Маслов—один из друзей Тургенева; у него Тургенев в последние годы останавливался в доме; и в этот раз жил у него. (См. Н. Я. Стечькин „Воспоминания о И. С. Тургеневе“. П. 1903, стр. 27; также Нелидова Л. Ф. „Вестник Евр.“ 1909 г., кн. 9, стр. 234.)

277. Самарин, Иван Васильевич (1817—1885)—знаменитый артист Моск. Малого театра.

278. Какого содержания записку подал Ф. М.—неизвестно. Дворянства Ф. М. был лишен в 1849 г, как государственный преступник, осужденный на каторгу по делу Петрашевцев, и в 1858 г., после ссылки, ему возвращено было право на потомственное дворянство. В архиве б. Московского Депутатского Собрания сохранились документы по вопросу об исключении Ф. М. из дворянского сословия Москвы в особом деле (Дело Архива М Депутатского Собрания о государственных преступниках Плещееве и Достоевском за 1850 г., № 62. Началось июля 12 дня 1850 г. Кончилось сентября 1 дня 1850 г. На 12 л.). В деле интересны для нас два документа: первый документ—копия с предписания б. министра Внутренних Дел Моск. Гражд. Губернатору о высочайшем повелении о лишении всех прав состояния Плещеева и Достоевского, как государственных преступников, с изложением сущности преступления и меры наказания; второй—сопроводительное отношение Начальника Московской губернии на имя Мих. Фед. Голицына. Текст документов опубликован нами в журн. „Красный Архив“ 1923 г., т. I, стр. 403—404.

К ПИСЬМУ 3—4 ИЮНЯ 1880 г.

279. Соловьев, присяжный поверенный. В Москве в это время было двое присяжных поверенных: 1) Филипп Гаврилович (1834—1888), депутат на Пушкинских торжествах от совета присяжных поверенных, и 2) Михаил Петрович.

280. Грот, Яков Карлович (1812—1893),—академик, лингвист, историк русской литературы и издатель русских писателей XVIII и XIX в. в., член комитета по сооружению памятника Пушкину.

281. Бартенев, Петр Иванович (1829—1912)—издатель „Русского Архива“, первый биограф Пушкина, собиратель материалов и воспоминаний о Пушкине.

282. Калачов, Николай Васильевич (1819—1885) — историк-юрист, сенатор, управляющий Московским Архивом Министерства Юстиции, инициатор архивной реформы в 70-х годах прошлого столетия.

283. Писемский, Алексей Феофилактович (1820—1881) — известный писатель.

284. Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912) — известный журналист, издатель „Нового Времени“.

285. Буренин, Виктор Петрович (1841—1919) — поэт и журналист, литературный критик „Нового Времени“.

К ПИСЬМУ 5 ИЮНЯ 1880 г.

286. Лентовский, Михаил Валентинович — театральный антрепренер.

287. Мельников, Иван Александрович (1831—1906)—известный певец-баритон, артист Петербургского Мариинского театра.

288. Корнилов, Федор Петрович (1809—1895)—член и управляющий делами Комитета по сооружению памятника Пушкину, в день открытия передавший его городу, член Государственного Совета, статс-секретарь.

289. Всех депутаций на открытии памятника было 106.

290. Принц Ольденбургский, Петр Георгиевич (1812—1881) — председатель Комитета по сооружению памятника Пушкину.

291. Дочь Пушкина Нассауская — графиня Наталья Александровна Меренберг (1836—1913), морганатическая жена принца Николая Нассауского.

292. Островский, Александр Николаевич (1823—1886) — знаменитый драматург.

293. Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893)—известный поэт, депутат от газеты „Молва“ на Пушкинских торжествах.

294. Гайдебуров, Павел Александрович (1841—1893) — журналист, издатель „Недели“.

295. 6 июня московское городское общество дало в зале Благородного собрания обед депутациям, приехавшим на открытие памятника. В тот же день Общество любителей российской словесности устроило литературно-музыкальный вечер. Тургенев прочел на нем стихотворение Пушкина „Туча“. 7-го июня было первое торжественное заседание Общества любителей российской словесности, а затем обед по подписке от того же Общества.

296. Третьякова, жена Павла Михайловича (1832—1898), основателя картинной галлереи, Вера Михайловна, урожденная Мамонтова (1844—1899).

297. Голохвастова—вероятно, Ольга Андреевна, урожденная Андреевская, писательница, жена Павла Дмитриевича Голохвастова, писателя и общественного деятеля.

298. В тетради „Дневник 1881 г.“ на стр. 84 имеется запись рукой Ф. М. под названием „Припадки 79—80 г.г.“:

10 октября /78 г.
28 апреля /79 г.
13 сентября /79 г.
9 февраля /80 г.
14 марта /80 г.

7 сентября /80 г. Из довольно сильных утром, без четверти девять часов, порванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность, вывихнул в спине косточку или повредил мускул.

6 ноября /80 г. Утром в 7 часов, в первом сне. Из средних, но болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю. Чем дальше, тем слабее становится организм к перенесению припадков и тем сильнее их действие. NB. С 6-го сентября очень скоро началась оттепель, продолжавшаяся очень долго, почти две недели. После слишком ранней зимы, предпоследний припадок 6—7 *) сентября соответствовал тоже крупной перемене погоды после долгого и мягкого лета, на холод и дождь.

К ПИСЬМУ 8 ИЮНЯ 1880 г.

299. В письме к гр. С. А. Толстой (вдове поэта графа А. К. Толстого) 13 июня 1880 г., на другой день после возвращения из Москвы, Ф. М. сообщает аналогичные любопытные подробности о впечатлении от его вдохновенной речи: „Верите ли ...., что в публике после речи моей, множество людей, плача, обнимали друг друга и клялись друг другу быть впредь лучшими, и это не единичный факт,—я слышал множество рассказов от лиц совсем мне незнакомых даже, которые стеснились вокруг меня и говорили мне исступленными словами (буквально) о том же, какое впечатление произвела на них моя речь. Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал: „Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло: после Вашей речи, мы теперь, сейчас помирились, и пришли Вам это заявить“. Это были люди мне незнакомые. Таких заявлений было множество, а я был так потрясен и измучен, что сам был готов упасть в обморок, как тот студент, которого привели ко мне в ту минуту студенты-товарищи и который упал передо мной на пол в обмороке от восторга... А сколько женщин приходило ко мне в Лоскутную Гостинницу (иные не называя себя) с тем только, чтоб, оставшись со мной, припасть и целовать мне руки“ („Вестн. Европы“, 1908 г., кн. 1-я, стр. 215—218). Литература о Пушкинской речи Д. указана Н. К. Пиксановым в его книге „Пушкинская студия“. П. 1923 г.

*) Трудно решить, какая цифра (6 или 7) была раньше поставлена.

300. Нелидова, Л. Ф. пишет: „Всем памятно то движение руки, поцелуй, посланный Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он (Д.) в своей речи говорил о Лизе из „Дворянского гнезда". Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника" („Вестн. Европы", 1909, кн. 9, стр. 236).— Но позднее, 15 июля 1880 г., Тургенев, по словам В. В. Стасова, признавался ему, как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа, чуть не вся интеллигенция, как ему была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Д., его мистические разглагольствования о „русском все-человеке", о русской „все-женщине Татьяне" и обо всем остальном трансцендентальном и завиральном сумбуре Д., дошедшего тогда до последних чортиков своей российской мистики. Тургенев был в сильной досаде, в сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обуявший не только всю русскую толпу, но и всю русскую интеллигенцию". (В. В. Стасов „Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним"—„Северн. Вестник", 1888, № 10, стр. 161).

301. Городской голова Третьяков, Сергей Михайлович (1834 — 1892), брат Павла Михайловича.

302. 8 июня происходило в зале Благородного собрания второе торжественное заседание Общества любителей российской словесности. Речь Достоевского была напечатана не в „Русской Мысли" и не в „Русском Вестнике", а первоначально в газете „Московские Ведомости" № 162, а затем в единственном выпуске „Дневника Писателя" Достоевского за 1880 г.

К ПИСЬМУ 12 АВГУСТА 1880 г.

303. Ф. М. интересовался продажей своих сочинений. Во многих тетрадях можно встретить веденные им лично записи о продаже выходивших в свет новых томов. Так, в тетради для „Дневника 1881 г." на стр. 82 Ф. М. сделал сводку суммам, вырученным от продажи сочинений за 1877—1880 г. г. (напеч. Н. Н. Страховым в „Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского" в кн. „Биография, письма и заметки из зап. книжки". СПБ., 1883 г., стр. 302—303). В той же тетради (стр. 59—62, 67—70, 71—75) имеются записки о продаже „Дневника" 1880 г.; последние записи сделаны Ф. М. за два дня до смерти, т.-е. 26 января 1881 г. (стр. 77—81); тогда же сделаны записи о „Братьях Карамазовых", „Бесах", „Идиоте". Записи Ф. М. вел с половины августа, продолжал в октябре, ноябре и декабре 1880 г.

Н. БЕЛЬЧИКОВ

15—
378700/III

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00039946522